

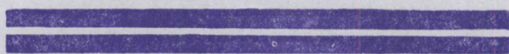
|| 5 ||

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

|| 1978 ||

5



1978



НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1978 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Л. И. БРЕЖНЕВ — Возрождение	3
СЕРГЕЙ ОРЛОВ — Юность, война и слава, стихи	40
ЮРИЙ НИКИТИН — Голубой карантин, рассказ. Предисловие Г. Коновалова	46
ВЛ. ЛИДИН — Страницы полдня	79
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — Стихи из старых и новых тетрадей	112
ВИЛЬ ЛИПАТОВ — Повесть без названия, сюжета и конца... Продолжение	118
СТЕПАН ЦИПАЧЕВ — Утренние строки, стихи	186
ОЛЕСЬ БЕНЮХ — Джун и Мервин, роман. Окончание	190
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
СОЛНЕЧНЫМ ФЕВРАЛЬСКИМ ДНЕМ. Галина Койранская, Арво Метс, Мargarита Вашкевич. Предисловие Феодосия Видрашку	249
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ — В Париже	258
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
Ч. ЧАПЛИН: «Я приветствую тебя, Россия!»	277
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
М. КУДИНОВ — Стихотворения Вольтера	281
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ю. СУРОВЦЕВ — Мир души человеческой. Женская лирика: обзор мотивов и попытки портретов. Окончание	286
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	304
Лев Славин. Очень серьезно! — Дм. Молдавский. Зоревая земля. — Ахияр Хакимов. Книга о поэте-борце. — Вадим Ковский. Пафос реальной слож- ности.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	316
Н. Яковлев. Труд о подвиге фронта и тыла.— Ю. Рытов. НТР в мире капитала.— В. Левин. Вектор личности.— Б. Никифоров. Преступность — недуг внутренних.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Георгий Степанидин.— Партия и армия. Под общей редакцией генерала армии А. А. Епишева. ♦ Б. Исаев.— Декреты Великого Октября. ♦ В. Бродер.— Оружием слова. Военно-патриотическая тема в советской литературе. Сборник статей. ♦ Марк Ефетов.— М. Певзнер. Высокое звание — писатель. ♦ Я. Кудряшов.— Ц. Солодарь. Дикая польнь. ♦ Г. Петрова.— Р. Киреев. Посещение. Повести. ♦ Наталья Лузкова.— Страницы европейской поэзии. XX век. Переводы Мориса Ваксмахера. ♦ Ст. Золотцев.— М. И. Стеблин-Каменский. Миф	328
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	336

Л. И. БРЕЖНЕВ

★

ВОЗРОЖДЕНИЕ

1

Трава уже успела прорасти сквозь железо и щебень, издали доносился вой одичавших собак, а вокруг были одни развалины да висели на ветвях обгоревших деревьев черные вороны гнезда. Подобное пришлось мне видеть после гражданской войны, но тогда пугало мертвое молчание заводов, теперь же они и вовсе были повержены в прах.

Шло жаркое лето 1946 года. В тот год партия направила меня в Запорожье. Мне поначалу было поручено ознакомиться со всеми делами области, обратив особое внимание на строительство и сельское хозяйство. ЦК партии выдал мне соответствующий мандат, и я, не теряя времени, выехал в область.

После Великой Отечественной войны я был демобилизован не сразу и прибыл туда, еще не сняв военной формы. Ранним утром отправился на стройку, но доехать удалось только до коксохима, точнее, до руин, оставшихся от мощных его корпусов. Дальше дороги не было, пришлось идти пешком. Бродил допоздна и повсюду видел вздыбленный бетон, крошево кирпича, груды мусора, переплетенье исковерканных балок. Не на чем было отдохнуть глазу.

Полным ходом велась разборка завалов, многие тысячи строителей работали на объектах, притом едва ли не на всех одновременно. Трудились почти без механизмов, вручную — казалось, конца не будет этой работе. По пути меня знакомили с людьми, многих я позднее узнал и запомнил, но пока только слушал их объяснения, а в основном смотрел, потому что главное и без того было ясно: прекрасного города металлургов и энергетиков, по существу, больше нет на нашей земле. Все взорвано, сожжено, порушено войной.

Довоенное Запорожье я знал хорошо. От Днепропетровска, где работал тогда, это совсем близко, на машине — часа полтора. Часто приходилось ездить к соседям, с которыми издавна шло у нас дружеское соревнование. В памяти остались тенистые скверы, уютные площадки с фонтанами, красивые жилые здания, которыми гордились запорожцы, их базы отдыха на острове Хортица и широкий зеленый проспект Ленина, тянувшийся через весь город, до самого Днепра. По вечерам, когда обычно возвращался домой, багряные отблески светились в синем небе над домами «Запорожстали», а впереди сотни огней, двоившихся в воде, очерчивали дугу знаменитой плотины.

Днепрогэс — это не просто одна из сотен электростанций, построенных за годы советской власти. Есть сегодня и более мощные, более совершенные, но эта, Днепровская, стала для нас как бы символом индустриальной мощи Страны Советов. Всем хорошо знако-

мая по кинохронике, по газетным и журнальным снимкам, как-то по особому красива эта плотина. Мне рассказывали, во время одной из недавних экскурсий молодая девушка, студентка, оставила такую запись: «Днепрогэс на нашей земле — это как Пушкин в литературе, как Чайковский в музыке. Какие бы гиганты ни появлялись на Волге, Ангаре, Енисее, им не затмить величия патриарха советской энергетики». Хорошо сказано!

А в тот послевоенный год горько и тяжело было видеть, какой урон нанесен уникальному сооружению. Гитлеровцы замуровали в тело плотины сто авиабомб весом по полтонны каждая, и лишь героизм наших саперов и разведчиков спас ее от полного уничтожения. Когда советские войска форсировали Днепр, на одной из опор плотины нашли перерубленный провод, который вел к взрывчатке, а рядом — тело убитого воина. Имя его установить не удалось, и высится с той поры у створа плотины памятник неизвестному герою.

Хотя фашистам не удалось до конца выполнить свой варварский план, все турбины, генераторы, краны были взорваны, из сорока семи водосливных пролетов уцелело четырнадцать. Не было больше водохранилища на Днестре. Обнажились древние скалы. Река, которую привыкли мы видеть спокойной, снова, как встарь, пенилась у порогов. На стройке тогда были популярны стихи, написанные одним из днепростроевцев:

Бьются волны о серый гранит
Приднепровских седеющих окол.
Этот берег навек сохранит
Славу тех, кто его защищал...

Есть образное, точное по смыслу, емкое украинское слово *перемога* — победа. Все превозмогли советские люди, все перетерпели, вынесли и победили в тяжелейшей из войн. Теперь им предстояло «перемочь» разруху, одержать победу в мирном труде.

И весь этот бесконечный, жаркий тягостный день, знакомясь с состоянием дел, я размышлял: с чего же здесь начинать? Впечатление складывалось, надо сказать, довольно мрачное. Фашисты взорвали в городе все семьдесят заводов. Когда на «Запорожстали» началось восстановление листопрокатного стана, на всех колоннах среднего ряда мы обнаружили нанесенные красной краской латинские литеры «F» (от немецкого «фойер» — «огонь»). Красные стрелки указывали, куда именно закладывать тол.

В руинах лежал и весь город. Государственная комиссия подсчитала: в Запорожье разрушено свыше тысячи крупных жилых домов, двадцать четыре больницы, семьдесят четыре школы, два института, пять кинотеатров, двести тридцать девять магазинов. Город остался без воды, без тепла, без электричества. Колоссальный ущерб был нанесен и сельскому хозяйству вокруг Запорожья.

Центральный Комитет партии направил меня в эту область в сложный момент. Примерно за месяц до моего приезда, 27 июля 1946 года, в «Правде» появилась корреспонденция «Почему задерживается восстановление «Запорожстали». Ответ давался такой: «Неорганизованность — главная причина. Нет проекта организации и механизации работ. Нет фактически и графика. Выполнение плана учитывается не в физическом объеме, а в рублях. На этой почве процветает очковитирательство...» Затем «Правда» выступила с новой статьей под заглавием «Три партийных комитета и одна стройка». В ней критиковались райком партии, горком и обком за то, что, бесконечно вмешиваясь в дела строителей, помощь им оказывают недостаточную, а порой и неквалифицированную. Наконец, вышли решение ЦК ВКП(б) и связанное с ним решение ЦК КП(б)У

«О подготовке, подборе и распределении руководящих партийных и советских кадров в украинской партийной организации».

Такова была обстановка, и об этом шел откровенный и острый разговор на XI пленуме Запорожского областного комитета КП(б)У, в котором я после предварительного ознакомления со стройками принимал участие. В канун пленума мне позвонили в Запорожье из ЦК партии:

— Принято решение рекомендовать вас первым секретарем обкома. Проводите пленум.

В Запорожье прибыл заведующий отделом ЦК ВКП(б). Вторым на пленуме был организационный вопрос: по рекомендации Центрального Комитета ВКП(б) меня избрали первым секретарем Запорожского обкома партии. Это было 30 августа 1946 года.

Впервые в жизни я ощутил так наглядно и зримо ответственность перед партией и народом за состояние дел в целой области. От меня ждали не просто честной работы, но заметных сдвигов, крутых перемен. Ждали обновления стиля работы всей областной партийной организации, резкого ускорения темпов строительства на ряде предприятий, и прежде всего на «Запорожстали». Я хорошо понимал, что задача эта важна для государства не только в хозяйственном, но и в политическом смысле.

В чем тут была суть? Закон о четвертом пятилетнем плане (1946—1950 гг.), принятый в марте 1946 года, предусматривал возрождение «Запорожстали»: «Восстановить производство тонкого холоднокатаного листа на Юге...» Всего одна строка, но для людей понимающих — очень весомая. Однако, учитывая сложность задачи, этот объект не сделали первоочередным. Шли разговоры, что-де только разборка завалов потребует нескольких лет. Высказывались мнения, что легче было бы создать производство заново, в другом месте. Так, например, советовали поступить специалисты ЮНРА — международной организации, которая была создана для помощи странам, пострадавшим от фашистского нашествия. Побывав в Запорожье, они написали, что восстановить «Запорожсталь» вообще немислимо, дешевле будет построить новый завод.

У меня нет никаких оснований считать этих специалистов некомпетентными или недобросовестными людьми. Они дотошно все осмотрели, все выяснили, все измерили — степень разрушения, уровень техники, нашу тогдашнюю энерговооруженность, наличие подъемных механизмов, трудовые ресурсы и т. д. Они не смогли оценить «всего лишь» жизнестойкость нашего народа, патриотизм советских людей, организующую волю партии.

Не учли этого и заокеанские политики. Видимо, очень уж им хотелось верить фашистскому генералу Штюльпнагелю, который после того, как его выбили из Приднепровья, докладывал Гитлеру: «Промежуток в двадцать пять лет — вот какой срок понадобится России, чтобы восстановить разрушенное». Самым мрачным прогнозам хотели верить империалисты США, потому что к тому времени они круто изменили отношение к СССР — своему союзнику по антигитлеровской коалиции.

Оказалось, с американскими политиками вообще трудно иметь дело. Умер президент Франклин Рузвельт, и новая администрация, заняв Белый дом, тотчас забыла все прежние «твердые» обещания и «прочные» договоры. Американцы, например, взялись изготовить для Днепрогэса полный комплект агрегатов, но, продав три машины, вдруг прекратили поставки. Они внесли стальной лист в перечень стратегических материалов и так же неожиданно перестали его нам продавать. Между тем без этого листа нельзя производить ни автомоби-

лей, ни тракторов. Люди старшего поколения, наверное, помнят, как в послевоенные годы ходили по нашим дорогам грузовики с дощатыми кабинами и фанерными крыльями.

Началась «холодная война». Она воцарилась на долгие годы, по существу на два десятилетия. Это был не первый и, к сожалению, не последний случай, когда капиталистические державы, уповая на наши трудности, пытались диктовать нам свою волю, вмешиваться в наши внутренние дела. Расчет был простой: все равно, мол, Советский Союз запросит эти машины, этот стальной лист, куда коммунисты не денутся, придут с поклоном, станут на колени... И что же, погибли мы? Отступили? Приостановили свое движение? Нет! Просчитались в своей политике заморские мудрецы, о чем полезно сегодня напомнить, поскольку это и поучительно, и актуально.

Лишний раз показаны были всему миру неисчерпаемые резервы социалистической экономики, возможности нашего планового хозяйства, великая мощь страны, которая может в случае необходимости перегруппировать силы, сконцентрировать их на главных направлениях.

В итоге работы на стройках, о которых здесь идет речь, не только не были приостановлены, но, напротив, пошли в нарастающем темпе. Отказанные американцами турбины и генераторы делали для нас рабочие, инженеры, конструкторы Ленинграда и Новокраматорска. И хотя сроки им были даны самые жесткие, машины они выпустили более надежные и более мощные, чем американские.

Ранней весной 1947 года возрожденный Днепрогэс дал первый ток. Что же касается производства стального листа, то советские люди сделали невозможное — восстановили сложнейшее производство всего за один год. Первую очередь завода «Запорожсталь» имени Серго Орджоникидзе (пять цехов, каждый из которых сам был, в сущности, заводом) мы сдали в эксплуатацию осенью того же 1947 года.

Я счастлив, что был свидетелем и участником этих больших свершений, что мне доверили важный участок послевоенного возрождения, что работал вместе с запорожцами в незабываемый год. Очень многое пришлось мне в ту пору передумать, понять, многому пришлось научиться. Школу здесь прошел труднейшую.

2

Работая над этими записками, я попросил работников партийных и советских архивов прислать мне некоторые материалы тех лет. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за помощь: ряд документов я основательно забыл, а иные увидел впервые.

Таковы, например, страницы протокола, который велся на одном из первых заседаний бюро обкома (1946 год, сентябрь). Помнится, мы заседали долго: много накопилось дел, которые срочно надо было решать. Вот их перечень, далеко не полный:

- отчет Нововасильевского райкома партии;
- об охране и сохранности хлеба на заготовках и предприятиях Министерства заготовок;
- о завозе нефтепродуктов для уборки урожая и хлебозаготовок в области;
- о ходе озимого сева и вспашки зяби в Васильевском и Осипенковском районах;
- о постановлении ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельхозартели в колхозах»;
- о подготовке к проведению третьей годовщины освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков...

В этом обилии дел, которые сразу обступили меня и которые жда-

ли решения быстрого, было легко потонуть. Думая об этом, я пришел к выводу: текущими делами надо заниматься — никуда от этого не уйдешь, — но во главу угла надо поставить вопросы коренного улучшения организаторской и партийно-политической работы.

Первые впечатления не обманули меня. На площадке «Запорожстали» людей было очень много (в «пик» стройки — сорок семь тысяч), а коллектив не сложился. Работало около сорока строительных управлений и субподрядных организаций, подчиненных разным главам разных министерств. Сразу же пришлось столкнуться с разобщенностью этих контор, бесконечными спорами, взаимными обвинениями. Повсюду они начинали работы и нигде ничего не кончали. Дисциплина была низкая, взаимодействия и сотрудничества никакого. Другими словами, не было всего того, что делает массу людей слаженным коллективом.

Первой моей заботой стало создание обстановки четкости, партийной требовательности. Сегодня никто без графика стройку не начнет, а тогда некоторые руководители всерьез доказывали, что он в наших условиях вообще неприменим. Это, мол, не «нормальное» строительство — разбираем завалы, вытаскиваем трубы, балки, рельсы, уцелевшие детали машин, такой труд нормированию не поддается.

Это вошло в практику: люди работали без норм, производительность труда мерили на глазок. Другими словами, план приспособлявали к узким местам, подравнивали под них темпы роста, исходили из того, что можно успеть сделать за смену или за месяц, а не из того, что нужно, совершенно необходимо сделать.

Подобные настроения надо было преодолеть, и на одном из пленумов горкома партии (по тогдашнему порядку я был одновременно и первым секретарем горкома) пришлось специально об этом говорить. Судя по стенограмме, стыдил строителей: «Посмотрите, в сельском хозяйстве, когда идет посевная, я каждый вечер получаю сводку, могу вмешаться, помочь, подбросить отстающему району горячее, запасные части. Неужели мы не можем добиться, чтобы такая же ясность была у нас на стройплощадке? Пусть трудно пока составить график для всего огромного комплекса, но на пусковых, решающих объектах он совершенно необходим. Если нет графика, — продолжал я, — если нет в наших руках средства, при помощи которого можно контролировать, требовать, поощрять, а если надо — и наказывать, то ни о каком резком продвижении дела вперед и думать нельзя».

Позицию обкома активно поддержали и директор завода «Запорожсталь» А. Н. Кузьмин, работавший здесь еще до войны, и новый управляющий трестом Запорожстрой В. Э. Дымшиц, прибывший сюда вскоре после меня. Люди они во всем были разные, но удивительно удачно дополняли друг друга.

Анатолий Николаевич Кузьмин, человек среднего роста, полный, носивший пенсне, сколько я помню, голоса никогда не повышал. По облику это был типичный инженер-интеллигент, и лишь много времени спустя я узнал, что он из семьи питерских пролетариев. Все в нем было: эрудиция, ум, высокая работоспособность. Пользовался он непререкаемым авторитетом в делах производства. Но больше всего мне запомнилось его спокойствие. Что-то не ладится, план срывается — Анатолий Николаевич внешне невозмутим. Пошли успехи, митинги — опять он спокоен. Ровный, деловой человек.

На заводе ему пришлось пережить тяжелое время. В августе 1941 года фашистские войска, выйдя на правый берег Днепра, начали обстреливать город. Сорок пять суток наша армия героически

удерживала левобережье, и за это время только с «Запорожстали» было вывезено девять тысяч шестьсот вагонов ценнейшего оборудования. Это был подвиг: под артобстрелами, под бомбежками люди демонтировали тяжелейшие станы, паковали узлы машин, грузили их на платформы, делали маркировку, составляли монтажные схемы. Все это под контролем А. Н. Кузьмина. Завод он покинул, как капитан свой корабль, последним, буквально за полчаса до того, как на территорию ворвались гитлеровцы.

И уже через полгода группа запорожских прокатчиков работала в Новосибирске на тонколистовом стане. Электрокабель, который успели извлечь из подземных тоннелей (более девятисот километров), помог доукомплектовать десятки оборонных заводов на востоке страны. А основная часть оборудования «Запорожстали» поступила на Магнитку, где очень скоро был построен среднелистовой цех, давший стране броню из высоколегированной стали.

По характеру Дымшиц — полная противоположность Кузьмину: в оценках бывал порою категоричен, но тоже отлично знал стратегию дела и был, можно сказать, мастером тактического руководства. Любил смелые инженерные решения, мог поддержать новатора и мог осадить болтуна. Строители вообще народ специфический: на их планерках звучали, случалось, совсем не парламентские выражения. И, хочю не упустить, — мягкий и доброжелательный Кузьмин тоже умел в этой обстановке отстаивать свою позицию принципиально и твердо.

Между строителями и эксплуатационниками обычно согласия нет, но Кузьмин и Дымшиц всегда находили общий язык, и конфликтов между ними я не припомню. Обком партии постоянно влиял на их отношения. В вопросе о графике оба с первых дней были со мной согласны, и в итоге он стал реальностью. Строгий суточный график увязывал воедино работы, производимые разными управлениями, помогал контролировать твердые сроки ввода объектов. Это была общая наша победа.

Тщательно составленные графики размножались потом в типографии в виде небольших книжечек. Эти книжечки были не только у строительного начальства, но и у мастеров, прорабов, партийных, профсоюзных, комсомольских работников, у журналистов, приезжавших на стройплощадку. Они способствовали гласности, что для становления коллектива также необходимо. Одно дело, когда человек ковыряется на своем участке, не ведая, что творится вокруг, и совсем другое, когда он в курсе всего, что происходит на стройке, знает свое место в общем строю.

Но, разумеется, ввести график — это полдела. Надо было добиться повседневного контроля за его выполнением, широкой и опять-таки гласной отчетности. Строители решили и эту задачу, создав аппарат диспетчерской службы. Главным диспетчером стал Григорий Лубенец, нынешний министр строительства предприятий тяжелой промышленности УССР. (Вообще на наших заводах и стройках выросло немало хороших партийных и хозяйственных руководителей.) Тогда это был молодой здоровенный парень, он сидел в окружении десятка телефонов, ухитрялся все видеть, все помнить, всюду поспевать и в 17.00, когда проводился ежедневный диспетчерский рапорт, мог ответить на любой возникший вопрос. Кончились пустые пререкания, ссылки на то, что чего-то не обеспечили, не завезли, — данные всегда были точны.

Мне нравилось бывать на совещаниях строителей: оперативки у них действительно проводились оперативно, пятиминутки не растягивались на два часа. Само собой, далось все это нелегко, прихо-

дилось преодолевать инерцию, бороться с психологией «авось да небось», но постепенно начал налаживаться порядок, стройка входила в ритм, и если случались неувязки, то разрешались они без проволочек.

Помню, в начале мая 1947 года в малом зале обкома мы проводили собрание партийно-хозяйственного актива Запорожстроя. О ходе работ докладывал Дымшиц, выступал и Кузьмин, со скрупулезной обстоятельностью перечисливший требования к строителям, брали слово рабочие. Заключать собрание пришлось мне, и я подчеркнул, что необходимо сконцентрировать силы на пусковых объектах — тогда это были ТЭЦ и доменная печь:

— Обстановка складывается весьма необычная. Даже при самом богатом опыте вы должны признать, что с такими темпами строительства, с такими масштабами сталкиваетесь впервые. А срок ввода является для всех нас безусловным. Без сосредоточения сил на пусковых объектах, без создания, если можно так выразиться, ударного кулака в сроки мы не уложимся. На некоторых участках, в частности на таком важном объекте, как домна, мы пока что действовали, как говорится, не кулаком, а растопыренной ладонью. А это не сильный удар.

Все мы учились в тот год и этот прием — собирать силы в кулак — приняли затем на вооружение. Он был замечен и оценен всей страной. Восстановление «Запорожстали» и Днепрогэса признано классическим образцом концентрированного сосредоточения сил и средств на ударных участках всенародного строительства. Впоследствии именно так велись многие наши крупные стройки. Так возводились сверхмощная домна № 9 в Кривом Роге и стан «3600» в Жданове, Волжский автозавод и КамАЗ; этот опыт используют и сегодня нефтяники и газовики Тюмени, строители Байкало-Амурской магистрали.

Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть самую тесную взаимосвязь вчерашнего дня страны, пройденного нами пути, с постановкой новых задач. Год от года возрастают размах наших планов, масштабность и сложность проблем, и решать их приходится на новом уровне, по-новому. Но при этом необходимо учитывать богатейшую практику строительства социализма, исторический опыт партии и народных масс.

Сейчас, например, программа особого значения — комплексное освоение недр и развитие производительных сил Западной Сибири. Это поистине великая стройка нашего времени, превосходящая по своему размаху, по объему капиталовложений, по сложности технических и транспортных задач все, что было у нас в прежние годы и пятилетки. Тем более важно, учитывая накопленный опыт, не допустить здесь распыления сил. Все настоятельнее встает задача своевременной концентрации ресурсов на главных направлениях, верно определения приоритетов, то есть очередности решения проблем в соответствии с их значением для народного хозяйства.

Умение выявить те конкретные звенья, где ценой минимальных затрат можно получить наибольший и быстрый эффект, умение подойти к решению любой задачи с точки зрения конечных результатов — именно в этом состоит искусство планирования, да и вообще хозяйственного руководства.

Словом, если говорить ленинским языком, выделение тех звеньев, ухватившись за которые мы можем выгащить всю цепь, по-прежнему имеет для нас решающее значение. И впервые я по-настоящему начал это понимать, осознал на основе собственного опыта в напряженный и боевой год запорожской стройки.

С первых ее дней, помимо организаторской работы, как уже сказано, пришлось уделять большое внимание работе партийно-политической. Эти вопросы решались фактически одновременно. Сложность состояла в том, что, в отличие от устоявшихся коллективов, все у нас тогда было в движении. Надо было решать вопросы жилья, быта, сферы обслуживания. Ведь ежедневно приезжали на стройку сотни людей — демобилизованные воины, монтажники из других областей, наши металлурги, возвращавшиеся из Сибири, с Урала, местные жители, которые были угнаны в Германию, молодежь из окрестных колхозов. Люди становились на партийный учет. И уже в ходе работ надо было присматриваться, кто чего стоит.

Из лучших людей стройки шло пополнение партийных рядов. На Запорожское за первую половину 1947 года мы приняли в ряды ВКП(б) почти вдвое больше рабочих, чем за весь 1946 год, среди них был, например, монтажник Иван Румянцев, имя которого гремело в те годы. Таким образом укреплялось боевое ядро многотысячного коллектива, и важно было напомнить людям, что секретарь партийного комитета — это прежде всего политический руководитель, а каждый коммунист — это политический боец.

На одном из пленумов обкома мне пришлось критиковать секретаря Нововасильевского райкома КП(б)У. Работник он был в общем хороший, инициативный, но чрезмерно увлекся хозяйственными делами, ушел в них с головой. Я сказал тогда, что секретарь райкома — это в первую очередь крупный политический работник, представитель ЦК нашей партии в большом административном районе. А выступления некоторых наших секретарей похожи больше на доклады хозяйственников — в них не чувствуешь политической линии. Вот и нововасильевский секретарь хорошо говорил о тракторах и волах, а как дошел до партийной работы, сразу забуксовал. Так не годится! В партийной работе необходим прежде всего политический анализ обстановки. Тогда и к хозяйственным делам будешь знать, с какой стороны подступиться.

В дни, когда отставали строители «Запорожстали», когда большие трудности испытывал Днепрострой, я все время слышал: дайте цемент, и дело пойдет на лад. Многим казалось, что все упирается в нехватку материалов. Нехватки, конечно, были, но было в то же время ясно: о собственных просчетах люди думать разучились. За бегом, спорами, сиюминутными заботами смещалась перспектива, терялось главное. Листая сейчас стенограммы пленумов, конференций, активов, вижу, как часто тогда приходилось мне говорить именно об этом.

— Цемент, бесспорно, нужен. Без него бетона не замесишь. Но гораздо важнее, чтобы человек, который кладет бетон в плотину, понимал, почему этот бетон надо укладывать и трамбовать при двадцатиградусном морозе на сорокаметровой высоте. У гитлеровцев было много техники и всего, что нужно для боя. И все-таки мы победили, потому что и мы, и солдаты, которых мы вели в бой, глубоко понимали, во имя чего мы идем на штурм вражеских укреплений, изрыгавших огонь и смерть. Вот почему партийные организации во главу угла своей деятельности обязаны ставить задачи воспитания человека. Тогда, к слову сказать, и цемент и все прочее будет появляться несомненно быстрее, и дела у нас пойдут гораздо лучше.

Войну в речах мы вспоминали нередко. Не только потому, что фронтовые примеры были тогда особо близки и понятны, но и потому, что вся обстановка напоминала в тот год боевую — стройки были

полями сражений. Хорошо помню свою первую встречу с днепростроевцами. Вскоре после того, как приступил к работе, по решению ЦК ВКП(б) был создан Днепростроевский райком партии, объединивший коммунистов огромной стройки. Первая их конференция проходила по-деловому, выступали рабочие, инженеры, начальники служб, поднимали острые технические проблемы, говорили о неполадках, не обошлось без взаимных упреков. Я сидел за столом президиума, внимательно слушал, кое-что записывал в блокнот. Потом попросил слова.

Возможно, некоторые ожидали, что секретарь обкома тут же рассудит, кто из выступавших прав, а кто виноват, но я сознательно в споры вмешиваться не стал. Посчитал: на первой встрече это было бы преждевременно. Сказал, что о технике гидростроения говорить не буду вообще — в этих делах они разберутся и без меня. Полезнее будет, если теперь мы сосредоточим внимание на организаторской и политической работе. Для начала решил взять три основных вопроса: дисциплина на стройке, критика и самокритика, развитие социалистического соревнования.

«Как обстоит у нас дело с соревнованием? Скажу откровенно: очень плохо. В дни Отечественной войны, особенно на решающих ее этапах, когда перед войсками ставилась трудная задача, несмотря на отсутствие материалов, мастерских и всего прочего, наглядная агитация использовалась исключительно активно. Например, когда готовились к взятию Киева, войска располагались в лесах, но не было места, где бы не бросались в глаза плакаты и лозунги. Вы могли увидеть дерево со срезом коры, на котором было написано: «Даешь Киев!» На куске фанеры — надпись: «Боец, завтра ты будешь в Киеве!» С такими краткими призывами, написанными на танках, повозках, автомашинах — где только можно было, — мы шли на Берлин, освобождали Прагу. А был я сегодня на станции, на плотине и ничего подобного не увидел: ни лозунга, ни призыва, ни одной фамилии передовика, ни одной цифры — за что и где боремся. Так обстоит дело с наглядностью соревнования.

Партийный комитет, — говорилось дальше, — должен знать всех ударников труда. И не только знать. С помощью агитаторов и пропагандистов их достижения и, что особенно важно, их методы надо сделать достоянием всех строителей. На сколько процентов выполнила та или иная бригада план, завтра же должно быть известно через печать, через радио, с помощью листовок. Мы обязаны использовать весь арсенал средств, накопленных партией. И если партийный комитет добьется действительности соревнования, сделает его по-настоящему массовым, то ДнепрогЭС будет пущен в срок. Если же партком знакомится только со сводкой планового отдела — это не руководство социалистическим соревнованием...

Голос из зала: А у нас сплошь да рядом только по сводке и судят!

— Надо, значит, с этим покончить. Соревнование прямо зависит от уровня внутрипартийной работы. Каждый из нас знает: когда партия хочет решить какой-то сложный вопрос, она усиливает внутрипартийную работу. Если на строительстве будет строгая партийная дисциплина, то мы наведем порядок и вся работа улучшится. Ибо нет такого приказа, который для коммуниста был бы сильнее приказа партии...»

Читая сегодня эти выступления, замечаешь кое-какие повторы, но в целом эту позицию я и теперь одобрил и поддержал бы. Поэтому что линия, политическая линия, выстраивается лишь тогда, когда изо дня в день, из месяца в месяц добиваешься поставленной цели, развиваешь свои идеи, не отказываешься от своих слов, не забы-

ваешь своих же решений. Вот еще одна стенограмма, разговор идет уже в другой аудитории, а тема та же:

«...Вынужден также отметить, товарищи, что наглядная агитация у вас никак не отражает хода и размаха стройки. Общие призывы, они ведь никому еще не помогли. «Запорожсталь» — это жемчужина Юга!» Красивый плакат? Да, красивый. Верный? Конечно, верный. Но что он дает, на что нацеливает? Нам нужны конкретные призывы к действию, нужны плакаты, в которых были бы цифры, даты, имена инженеров-новаторов, стахановцев, рабочих ведущих профессий. Причем не одних и тех же, так сказать, раз и навсегда утвержденных, а все новых и новых — тех, кто сегодня вырвался в соревновании вперед. Мы должны показать народу эту замечательную когорту тружеников Запорожстроя!»

Как организаторская работа, так и политическая вели к одной цели. Обком партии добивался, чтобы масса людей стала коллективом, чтобы в коллективе выросли вожаки, заметные, яркие люди. И, конечно, таких людей выросло много. Я знал их не понаслышке. Бывая на стройках, беседовал с ними прямо там, где они работали. В этой обстановке, как в боевой траншее, лучше всего узнаешь человека.

Вот одна удивительная судьба. Всякий раз, когда приходилось бывать на Днепрострое, еще издали слышал звонкие голоса девчат, которые подавали бетон в тело плотины. До бровей закутаные платками, обсыпанные цементной пылью, в жару ли, в холод, они не теряли бодрости никогда. Спросишь, как идут дела, и всегда в ответ звонкое: «Хорошо!» Это была бригада Ани Лошкаревой, занесенная в Книгу почета республики. На одном из собраний актива, в котором участвовали бригады ударные, комсомольские, фронтовые, ко мне подошли в перерыве принаряженные девушки, и я не сразу узнал старых своих знакомых.

— А ваша бригада тоже ведь фронтовая?

— Была фронтовой.

— Нет, Аня, не согласен. Предстоит паводок, нужен хороший бетон, от вас зависит качество работы всех бригад. Ваш фронт еще впереди.

Работали девушки хорошо. Во время празднования тридцатилетия Октября увидел их среди демонстрантов, крикнул в микрофон: «Привет бригаде Ани Лошкаревой!» Оглянулись, заулыбались...

А вскоре мне стало известно, что Аня тяжело больна. Сказалось голодное военное детство — у нее открылся туберкулез. Конечно, мы сделали все, чтобы Аня поправилась, предложили ей другую работу, но она наотрез отказалась: «Не могу без стройки и без девчат».

За восстановление Днепрогэса Анна Лошкарева получила орден Ленина. А несколько лет спустя, в Молдавии, наши пути снова пересеклись: она выздоровела и вместе с мужем строила Дубоссарскую ГЭС. Убежден: исцелили ее не только лекарства и южные санатории. Спасла Аня сама себя тем, что сохранила бодрость, не бросила работу, не замкнулась в себе, жила полнокровной жизнью. Мне рассказали недавно: Анна Степановна вырастила четырех здоровых ребят и работает комендантом рабочего общежития. Думаю, это хороший наставник для молодежи.

На другой стройплощадке познакомился с трубомонтажником Иваном Румянцевым. Это был молодой, сероглазый, красивый парень, выдумщик, умница, настоящий мастер своего дела. Рабочим стал, пожалуй, слишком рано: отец погиб на фронте и он решил помочь матери. Но чего не получил в школе, добрал пытливым, опытом и талантом. Иван строил крупные предприятия в Ярославле, Горьком,

Чирчике, а у нас работал в Запорожстрое. Именно он предложил новый по тем временам метод крупноблочного монтажа.

— Собираем трубы на земле,— объяснял он мне.— Правим, рихтуем, монтируем в звенья. Работать так легче, удобнее и, конечно, быстрее. Краном или лебедкой поднимаем готовые узлы наверх, остается только соединить в единое целое. Ничего хитрого!

— А не рискованно? Не опасно ли для людей?

Он улыбнулся:

— Глазам страшно, а руки делают. Да вы не беспокойтесь, Леонид Ильич, мы все заранее рассчитали, инженерами это проверено.

Трубопроводов в металлургии много, они связывают все цехи, переплетаются во всех направлениях — это был напряженный участок работы. Я посоветовал членам партбюро монтажного управления попросить Румянцева выступить на открытом партийном собрании. Отчет о собрании поместила наша газета «Строитель», за тем «Правда» опубликовала большую статью «Опыт Ивана Румянцева — всем стройкам», и метод широко пошел по стране.

Впоследствии Иван Александрович работал на строительстве Дворца культуры и науки в Варшаве, помогал монтировать Бхилайский металлургический комбинат в Индии...

Таких встреч было много, всех не перечислишь, и пусть не обидятся товарищи, которых не смог здесь назвать. Я не забыл их.

4

Вообще, замечу, память на людей, особенно на хороших людей, у партийного работника является и человеческим долгом, и профессиональной обязанностью. Общение с ними всегда необходимо. Оно обогащает партийного работника, укрепляет его связь с жизнью, помогает, как говорят, из первых рук узнать замыслы, интересы, нужды людей. Наконец, просто приятно бывает открыть для себя хорошего человека — рабочего, колхозника, строителя, агронома, художника, журналиста, ученого. Я никогда не жалел на это времени, да и сам характер партийной и политической работы, к счастью, способствует этому.

На одном из заседаний бюро в Запорожье мы распределили обязанности между секретарями обкома. Назову те из них, которые выпали на мою долю: общее руководство областью, подготовка вопросов на бюро, сельское хозяйство, пропаганда и агитация, руководство работой облплана, обкома комсомола, управлений МГБ, МВД, прокуратура, кадровые вопросы. И во всей этой работе главное — люди, главное — понять их и быть понятым ими.

В работе первого секретаря нет второстепенных дел. Скажем, прием населения — можно ли не считать его важным? Не так давно по Центральному телевидению выступал старый экскаваторщик с «Запорожстали» и рассказал о таком эпизоде. Его жена потеряла все продуктовые карточки. Четыре человека почти на месяц остались без хлеба. И вот, рассказывает рабочий, он пошел на прием к первому секретарю обкома, и тот распорядился помочь. Сам я давно забыл этот случай. А вот человек помнит. Для него тогда это было жизненно важно.

История с хлебными карточками — символический эпизод. За ним стоят огромные трудности, пережитые нами. Невероятных трудов после военной разрухи стоило собрать хлеб на полях, сохранять этот хлеб, едва ли не заново развивать животноводство на разоренных, сожженных фермах. Огромные усилия надо было затратить, чтобы наладить питание в рабочих столовых, обеспечить продуктами дет-

ские учреждения и больницы, которые к тому же приходилось заново строить. Непостижимо трудно было обеспечить десятки тысяч людей жильем. «Мы не можем сдавать завод, не имея жилья», — повторял едва ли не на каждом собрании Кузьмин и был, конечно, прав. Забегая вперед скажу, что именно Запорожстрой в период восстановления города внедрил поточно-скоростной метод, сокративший втрое обычные сроки сооружения домов. А ведь дома не были, как сейчас, типовыми, восстанавливать приходилось коробки — разные и по-разному разрушенные. В 1947 году сдано было пятьдесят пять тысяч квадратных метров жилья — по тем временам огромное достижение...

Речь шла до сих пор в основном о Днепрогэсе и «Запорожстали», но это вовсе не значит, что не было в городе и области других объектов, требовавших неустанныго внимания. Восстанавливался, скажем, комбайновый завод «Коммунар». Вначале, еще в полуразрушенных цехах, он выпускал жатки-копнителы, помогал колхозам ремонтировать уцелевшие комбайны, делал для них хедеры, и это было очень важно для нас. Осенью 1946 года бюро обкома потребовало ускорить выпуск новой машины, притом более совершенной. Весной 1947 года на бюро шел разговор о серийном производстве комбайнов «С-6», а на октябрьском пленуме обкома уже отмечалось, что выпуск их возрос в третьем квартале по сравнению со вторым в 3,3 раза.

Оглядываясь назад, вспоминая сделанное, мы обычно черпаем из этого опыта то, что годится сегодня и полезно на будущее. В трудное, напряженное время я на собственной практике убедился в правильности метода, ставшего у нас традиционным: бюро обкома постоянно, настойчиво, требовательно возвращалось к сложным проблемам. Если уж поставлена задача, то надо доводить ее решение до конца! С годами укрепился в этой позиции: повышение организованности, дисциплины и ответственности неотделимо от проверки исполнения решений. Если бы наши хозяйственные руководители полностью выполняли все ими же принятые решения, то о многих недостатках давно бы не было и речи.

Одно время в Запорожье очень остро стояла проблема местных строительных материалов, от которых зависели и Днепрострой, и Запорожстрой, и тот же «Коммунар», и жилищное строительство по всей области. Как водится, я слышал ссылки на объективные трудности, были всевозможные отписки и отговорки, казалось, что и сделать ничего нельзя, но в марте 1947 года мы слушали на бюро этот вопрос, в мае вернулись к нему, не забывали о повседневном контроле, и со второй половины года слово «кирпич» исчезло из наших протоколов. Проблема была решена.

Приходилось заниматься и такими вопросами, которые не связаны с хозяйством, с житейскими проблемами, но которые тоже были важны, ибо затрагивали человеческие судьбы. Органами безопасности велась работа по розыску и разоблачению предателей, помогавших фашистам, полицаям, карателей, укрывшихся во все щели. Они не должны были уйти от возмездия. Но эту работу следовало проводить с предельным вниманием и осмотрительностью, чтобы не оскорбить подозрением честных людей. Партийное участие в таком деле было обязательным. Мне специально приходилось подчеркивать, что нельзя подозревать в предательстве каждого, кто не по своей воле оказался на оккупированной территории.

С другой стороны, стоит отметить, что послевоенное время требовало особой бдительности. Недели не проходило без различных ЧП, еще появлялись даже вооруженные банды, приходилось слышать стрельбу в ночное время. Я много ездил по дорогам, нередко ночью, в одиночку, сам садясь за руль. И было бы обидно, пройдя всю войну,

напоротся на глупую пулю. Но, откровенно говоря, думать о личной безопасности было некогда, волновало другое — следовало обеспечить безопасность, спокойную жизнь всего населения.

В феврале 1947 года бюро обкома пришлось принять особое постановление о мерах по усилению борьбы с преступностью. Помнится, было сказано, что мы обязаны бросить на этот фронт коммунистов и комсомольцев, усилить органы охраны порядка, очистить от неустойчивых людей: «Раз совершил аморальное действие — замени этого человека! Лучше пусть будет пустое место. Тогда, по крайней мере, все увидят, что место пустое, что надо направить туда сильного работника. Либо возьмитесь по-серьезному, всем коллективом за его перевоспитание».

Очень важна была работа милиции. Всякий народ приезжал в Запорожье, а город — темен, без фонарей, без транспорта, и помню момент, когда грабежи и случаи хулиганства серьезно мешали наладить работу в третью смену. Требовалось поднять авторитет милиции, укрепить ее, а была она (вспоминается и такая деталь) даже просто обношена. На одном из заседаний я говорил: «Надо нам в первую очередь милиционеров одеть. Чтобы издали видели — идет блюститель законности и порядка».

Можно назвать много других, как будто не крупных по сравнению с делами гигантских строек проблем. Но это все — жизнь, и для всего надо было находить время и безошибочные решения. Разумеется, мне никогда не удалось бы, как говорится, вытянуть этот воз, если бы нагрузка не распределялась между другими секретарями обкома, если бы не подключены были к работе все отделы и аппарат областного комитета партии, если бы, наконец, большая часть этих вопросов не решалась практически в советских и хозяйственных органах. И тут хочу подчеркнуть одну важную черту партийного руководителя: он должен уметь не подменять других работников, а находить соотваричей, доверять им, делить с ними заботы и труд, принимать ответственные решения коллективно.

В Запорожье народ подобрался в основном сильный, знающий, дельный. Хочу сказать, что вторым секретарем обкома был Андрей Павлович Кириленко. Секретарями областного комитета были Г. В. Енютин, П. С. Резник, вторым секретарем горкома партии работал Н. П. Мойсеенко. Таким образом, мне было на кого опереться...

Начиная с весны 1947 года едва ли не через день я стал бывать в Запорожское, а летом даже перенес туда свой рабочий кабинет. Между строящейся ТЭЦ и домной № 3 была подстанция, половина которой уцелела после взрыва. Здесь мне нашли комнату, поставили в ней письменный стол, телефон, пару стульев и кровать на тот случай, если останусь в ночную смену. Таких случаев становилось все больше.

Приходилось заниматься практически всеми вопросами стройки. Время было трудное, и каждый день ставил перед нами новую проблему. Приняли мы, помню, решение перейти на работу в две смены. Это давало возможность ускорить строительство, выполнить план. Но, понятно, без освещения вечером работать нельзя. Достать же в области электролампочки было практически невозможно. И вот я решил обратиться с письмом в ЦК КПСС к тов. Жданову. Объяснил положение и попросил помочь прислать три тысячи лампочек. Прошло не более трех дней, и мы получили не только положительный ответ, но и лампочки. Стало возможным организовать вторую смену, облегчить труд многих людей. Это говорит о том, с каким большим вниманием относился ЦК к каждой даже небольшой просьбе, которая касалась восстановления индустриального гиганта.

От стройки все же приходилось иногда отвлекаться. Во время сева, помню, возвращался из Бердянска, спешил, заночевал в поле. В прошлогодней копне, а часов в семь утра заехал в Пологовский район. Беседуя с секретарем райкома Шерстюком, спросил, как идет сев, что с техникой, а он, смотря, как-то мнетя.

— Ты что, Александр Саввич? Говори прямо, что у тебя?

— У меня порядок... Вы радио слышали утром?

— Нет, а что?

— В «Правде», понимаете, в передовой разделали нас. За низкий темп восстановления «Запорожстали». Формулировки очень резкие. Помолчали.

— Так...— говорю.— Значит, будет звонить Сталин. Надо ехать.

Ночью мне действительно позвонил И. В. Сталин, и разговор был серьезный. То, чего мы успели добиться, что еще недавно считалось успехом, обернулось вдруг едва ли не поражением. Изменились обстоятельства — не у нас в области, а в стране и в мире. Сроки ввода всего комплекса, который должен был производить стальной лист, нам перенесли на ближайшую осень, темпы строительства предписали форсировать. Я уже говорил, что это связано было с «холодной войной».

16 марта 1947 года вышло постановление Совета Министров СССР о новых сроках, следом еще одно — об ускорении монтажа оборудования, а 8 апреля Центральный Комитет ВКП(б) принял постановление о работе парткома стройки, то есть о ее партийно-политическом обеспечении. Трижды на протяжении одного месяца высшие партийные и государственные органы страны возвращались к нашим делам.

Постановление ЦК резко критиковало партийный комитет Запорожстроя за то, что в сложных условиях он оказался не на высоте положения. И хотя лишь в конце года я приступил по-настоящему к работе, хотя мог бы сказать, что моей вины здесь нет, весь груз ответственности следовало принять на свои плечи. Это еще одна черта работы первого секретаря обкома: как руководитель, как коммунист, он не может отговориться тем, что, мол, при каком-то событии не присутствовал, чего-то не знал, а за что-то отвечают другие товарищи. С того часа, как он принял руководство областной партийной организацией, первый секретарь за все в ответе.

На третий день после выхода постановления Центрального Комитета было проведено партийное собрание Запорожстроя. Разговор шел откровенный, нелицеприятный, крутой. В своем выступлении, сделав критический анализ положения дел на стройке, я подробно говорил и о недостатках в работе горкома и обкома КП(б)У.

28 апреля вопрос о постановлении ЦК ВКП(б) мы вынесли на заседание пленума Запорожского горкома партии. Строители и эксплуатационники пришли к нему уже с наметками новых планов, с графиком, и разговор шел конкретный. Кузьмин, например, привел такой расчет: если идти на уровне достигнутого нами в марте, то для пуска доменной печи потребуется четыре месяца, для пуска слябинга — еще четыре, а для цеха холодной прокатки — больше восемь.

— Нельзя успокаиваться, что план марта выполнен,— говорил директор завода.— Даже по сравнению с апрелем темпы должны быть увеличены по крайней мере вдвое.

Необходимо было значительно повысить производительность труда.

— На стройке,— говорилось тогда на пленуме горкома,— трудятся сегодня тридцать тысяч рабочих. И все же участки испытывают нехватку людей. Если бы нам удалось повысить производительность

труда на двадцать процентов, это было бы равнозначно тем шести тысячам человек, которых стройке недостает!

Пришло время, когда счет пошел у нас не на годы, а на месяцы и даже на дни. Всем стало ясно: планировать мы обязаны, исходя не из того, что «можно», а из того, что «нужно». Когда было объявлено, что ежедневно придется выполнять строительно-монтажных работ на миллион рублей, зал загудел, многие еще сомневались в своих силах. (Между тем этот рубеж был достигнут уже к концу мая, а осенью, когда вводились прокатные цехи, стоимость работ, выполняемых за сутки, доходила до двух миллионов.)

Я выступал в конце заседания. Говорил главным образом о том, что на стройке необходимо создать обстановку боевой мобильности, всеобщей подтянутости, бережливости и самодисциплины. Именно это теперь стало главным, основным, от этого зависит все. У меня к тому времени накопилось немало наблюдений, чтобы наглядно показать наши упущения и возможности.

Напомнил случай, когда в большом цехе застеклили все окна и фонарь крыши, а вскоре произвели по соседству взрыв. Окон как не бывало. Выходит, рабочих мы агитируем за экономию, а сами стекла бьем. Так работать не годится! За бесхозяйственность партком Запорожстроя должен взыскивать с руководителей-коммунистов, невзирая на лица. Это было подчеркнуто самым решительным образом. Но тут же я посчитал нужным добавить:

— Когда мы бездействуем, прощаем безответственность, это очень опасно. Однако я не хочу призывать партийный комитет исключать кого-то из партии или, как говорится, насыпать мешок выговоров. Это тоже не метод.

Важно было предупредить товарищей от шараханья в другую крайность...

5

С первых дней мы добивались бережного отношения к кадрам, дорожили обстановкой партийной доброжелательности, которая уже установилась в нашей организации. Я вообще никогда не был сторонником грубого, крикливого, или, как его еще называют, «волевого», метода руководства. Если человек напуган, он ответственности на себя не возьмет. А нам надо было не сковывать, а, напротив, поддерживать самую широкую инициативу. В тех напряженных условиях без новаторства, без активных поисков мы ничего бы не добились. Впрочем, в спокойных условиях и вовсе шуметь ни к чему.

Приведу такой пример. На монтаже у нас работал башенный кран БК-151, по тем временам мощный. Желая ускорить дело, его перегрузили, и кран упал, вышел из строя. Когда сообщили об аварии, я поспешил на площадку, а там — крик, шум, бледный стоит крановщик, успели уже приехать из котлонадзора и даже из следственных органов. Спокойствие сохранил, кажется, лишь Кузьмин.

— Жертв нет? — спросил у него.

— Нет, — отвечает. — Упал более чем удачно. Если бы делали специальный расчет, так и то в нашей тесноте лучше его не уложишь.

Стали разбираться: действительно, кран упал на свободный участок, никого не убил, ничего не разрушил. А уже слышу истерику: «Вредительство! Машиниста судить! Прораба судить!» Хочу, чтобы меня правильно поняли: я за строгую и, главное, неотвратимую кару действительным негодяям и преступникам, вина которых полностью доказана. Но тут, убедившись, что никакого злого умысла не было, а была неосторожность, потребовал, чтобы изменили тон. Зачем создавать атмосферу нервозности и страха? Наоборот, апеллируя к чув-

ству горечи, вызванному этой бедой, нужно побудить людей к поискам быстрого, наиболее разумного выхода из положения.

И выход был найден, строители применили систему вантовых дерриков, монтаж продолжался и даже не вышел из графика. Что дало бы строгое наказание людям, строительству, делу, которому мы служим? Ну, допустим, устрасил бы этот пример других крановщиков, других прорабов. Однако начни наши ударники и инженеры-новаторы работать «от сих до сих», следуй они всем параграфам инструкций, нечего было бы и думать о выполнении жесточайших сроков строительства.

Науки о восстановлении разрушенного не существовало, учебников, которые бы учили, как поднимать из пепла сожженные, разбитые, взорванные сооружения, не было. Все впервые, все сизнова. Сама задача была дерзка, и важно было не убить дух новаторства, надо было поощрять смелость у всех — у рабочих, инженеров, партийных работников. В то жаркое в прямом и в переносном смысле лето на всех участках ударной стройки люди ломали привычные нормы и, следовательно, шли на риск. Но это был риск оправданный и обдуманный, опиравшийся на знания, опыт, тонкий расчет.

Понадобилось, например, снять с железнодорожной платформы станину прокатного стана, весившую восемьдесят две тонны. А кран на листопрокате — тридцатитонный. По всем инструкциям требовалась более мощная техника, и ничего не было проще для бригады, чем отказать от работы. Ищите, мол, нужный кран, привозите на место, а мы подождем. Однако поступили люди иначе.

Старый мастер такелажных работ Александр Николаевич Чепига, молчаливый, даже угрюмый на вид, обошел платформу со всех сторон, осмотрел тяжелейшую станину, потом — фундамент, приготовленный для нее. Что-то он прикинул сам, потом посидел с бригадой, с инженерами проверил расчет, и в результате проделан был номер, который назвали у нас «цирковым». Между платформой и фундаментом соорудили помост из шпал. Затем подцепили станину за верхнюю часть, и по команде Чепиги кран (тот самый, тридцатитонный) перенес эту часть на помост. Затем подцепили другой конец и подвели к фундаменту. Так постепенно поставили станину в нужное положение. Фокус заключался в том, что все время основная часть тяжести приходилась на твердую опору. И это действительно был фокус, основанный на смекалке, находчивости и точном расчете талантливого рабочего человека.

Точно так же он кантовал потом станину ножниц прокатного стана весом уже в сто тридцать тонн. Норма времени была при этом сокращена в девяносто раз! Похожий эпизод был и при восстановлении ТЭЦ, когда тяжелый барабан котла поднимали на большую высоту. Дело ответственное, нужных кранов и тут не было, но один из инженеров предложил комбинированный подъем с помощью мало-мощной стрелы и ферм самого здания. Специалисты Союзпромонтажа забили тревогу. Но когда они пришли в котельный зал, барабан уже был установлен. Вместо нескольких дней на это ушло тридцать две минуты.

Как-то я подошел к группе монтажников, приехавших из Сталинграда: «Здравствуйте, товарищи гвардейцы!» Называл их так не только потому, что многие еще не сняли солдатских гимнастеров, но и потому, что монтажники шли у нас замыкающими, от них зависел окончательный срок, и, как говорится, отступать им было некуда. Спросил по обыкновению, что нового на участке, а они хохочут. Когда рассказали, что у них стряслось, рассмеялся и я.

Случай был забавный. Попал к ним чертеж, а на нем категориче-

ская резолюция: «Аварийно! Сделать сегодня же. Лившиц». Ну, монтажники посмотрели и ужаснулись: по самым жестким нормам работы тут было дня на три. Не обошлось без крепкого слова, однако деваться некуда, навалились по-умному и смонтировали все в тот же день. Тут бежит к ним девушка из конструкторского бюро: «Где чертеж?» Оказалось, резолюция товарища Лившица, начальника энергосектора Гипромеза, относилась вовсе не к монтажникам. Он просил сделать всего лишь копию чертежа.

Буквально на всех участках люди работали самоотверженно, талантливо, смело. Случалось, не уходили домой, пока не выполнят задания, по несколько дней оставались на стройке — поспят где-нибудь в тени три-четыре часа и опять за работу. Возникла атмосфера, которой с самого начала добивался обком, атмосфера всеобщего подъема, огромной целеустремленности, неиссякаемой веры в свои силы. Я почувствовал: на стройке наступил решительный перелом, теперь мы будем идти вперед и вперед. Выросла трудовая гвардия, которой по плечу самые дерзкие планы, самые сжатые сроки. Важно было не утратить темпа, как на фронте брать за крепостью крепость...

Результаты труда запорожцев стали заметными на общем трудовом фронте. «Так же, как в годы первых пятилеток, — писала «Правда», — вся страна строила «Магнитострой» и «Кузнецкстрой», так и теперь слово «Запорожстрой» должно быть паролем боевой работы не только строителей, но и всех, от кого зависит быстрое восстановление Запорожского металлургического завода».

Среди многих средств воодушевления людей большую роль сыграла в то лето печать, яркое большевистское слово. Прибыв на работу в Запорожье, я сразу же настоял на увеличении тиража областных газет. И хотя бумаги в стране не хватало, ЦК ВКП(б) пошел нам навстречу. Мы добились также радиодиффузии рабочих поселков. Потом работники аппарата удивлены были тем, что впервые в их практике первый секретарь обкома поставил на бюро отчет редакции запорожстройской многотиражки «Строитель». В решении бюро было записано: «Партком недооценивает огромной организующей роли газеты в усилении идеологической работы с массами, не использует ее как трибуну...»

В самое горячее время на стройплощадке работали выездные редакции газет «Правда», «Радянська Україна», «Большевик Запорожья». Заведующего отделом агитации и пропаганды нашей областной газеты Андрея Ключенко я знал по фронту, вместе мы прошли от Кавказа до Праги. Он был смелым комиссаром полка и журналистом стал смелым — в газетном деле это качество тоже необходимо. Помню и редактора выездной редакции «Большевика Запорожья» Владимира Репина. Худоцавый, высокий, в очках, он отличался необыкновенной дотошностью, умел первым узнавать новости стройки, и мгновенно — через газету, через листовки — они становились известны всем.

Листовки по поводу особо важных событий мы стали выпускать регулярно. Комсомольцы сбрасывали их в городе с грузовиков, а иногда и с маленького самолета «ПО-2». Вот текст одной из них, посвященной очень дорогой для нас победе:

«Молния. Родина, принимай наш рапорт:

ЕСТЬ

ЗАПОРОЖСКИЙ

ЧУГУН!

Сегодня доменчики произвели первый выпуск послевоенного

чугуна. Запорожстроевец! Ты видишь плоды своего самоотверженно-го труда на благо и во славу любимой Родины.

Весь советский народ приветствует возрождение сверхмощной домны и ТЭЦ «Запорожстали» как воскресение из мертвых, потому что знает, до каких пределов разрушения были они доведены фашистскими извергами.

Вся страна с благодарностью произносит сегодня твое имя — запорожстроевец!

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!»

Однако я забежал вперед: до этого торжества надо было еще, как говорится, дожить. Выпускались листовки и острокритические — с фамилиями тех, кто задерживал стройку. Приведу такой, казалось бы, незначительный пример. Кто-то оставил на дороге сляб. Он мешал работать. И вот на этом слябе на следующее утро появляется надпись: «Мастер пролета! Уберите сляб — он мешает работать. Срок — 5 часов». И подпись. И что вы думаете — убирали, расчищали! Надо сказать, это оказывало сильное воздействие.

Хорошо «работала» и всякого рода наглядная агитация. Идешь по площадке, и всюду цифры, даты: пустить слябинг к такому-то числу, холодный прокат — к такому-то, осталось 30 дней, потом 15... 10... 5 дней. О делах на стройке знал весь город, на митинги мы приглашали всех жителей, строители приходили с семьями.

— Что это, — могла спросить чья-нибудь молодая жена, — других хвалят, а про тебя ни слова?

Или детский вопрос:

— Почему, папа, дяде Петру хлопают, а тебе нет?

Это и есть настоящая, живая массовая работа, и эффективность ее очень велика. Большое заблуждение — полагать, будто лишь материальные стимулы нужны человеку. Нет, советскому человеку очень многое нужно — сознание своей причастности к большому делу, стремление выразить себя в труде, гордость своим мастерством, уважение товарищей, почет.

Но все эти нравственные потребности, конечно, надо воспитывать. И тут вездесущие газетчики нам очень хорошо помогали. Передовой опыт, яркая судьба человека, чей-то рекорд, боевые дела на каком-то участке — все это оперативно освещалось в газетах. Журналист был полноправным участником стройки.

Помню, советовал сотрудникам выездных редакций непременно участвовать в обходах пусковых объектов, которые вместе с руководителями завода и стройки мы совершали ежедневно. Тут всегда всплывали интересные вопросы, завязывались полезные разговоры, становились известны новые герои стройки. От печати мы ждали не только похвал, но и острой критики.

Замечу, кстати, что мы старались оградить строителей, монтажников, эксплуатационников и от лишних вызовов в различные инстанции. «Всю работу переносите на объекты, — говорил я нередко своим товарищам. — Если есть дело, выезжайте на площадку». А поскольку они видели: первый секретарь обкома и сам поступает именно так, то вскоре это вошло в обычай у всех секретарей, заведующих отделами, инструкторов районного, городского и областного комитетов партии. И это было и для них самих очень полезно.

Работы велись в нарастающем темпе, стройка требовала мобилизации всех возможностей, новаторских методов труда, прогрессив-

ных технических решений, дерзости и смекалки. Я заметил: всевозможные наши трудности и нехватки часто рождали новые и оригинальные идеи. Вот два примера из многих, сохранившихся в памяти.

Домна № 3, которую восстанавливали первой, была единственной, устоявшей после взрыва. Но она осела, наклонилась в сторону, словно Пизанская башня, и от окончательного падения ее удерживала только зависшая внутри шихта. Выход, казалось, был один: демонтировать гигантскую печь, а потом ставить заново. Однако работники управления Стаьконструкция, которое возглавлял опытейший монтажник М. Н. Чудан, пошли другим путем. Решено было выровнять домну, чего никто и никогда еще не делал. Главный инженер управления А. В. Шегал, разработавший этот проект, говорил мне так:

— Обстановка вынуждает нас дополнять известные приемы строительного искусства элементами «лечебной хирургии».

В одно прекрасное утро монтажники удалили козел (застывший чугун), подвели под домну девять гидравлических домкратов мощностью от ста до двухсот тонн, потом разрежали кожух печи и приступили к подъему. Сотни строителей застыли вокруг. Многие остались после смены, уставшие, невыспавшиеся, но все напряженно ждали, чем это кончится. Я тоже остался. Были в тот день и другие дела, но уйти, как и все, не мог. Гигантская печь чуть заметно дрогнула и стала медленно приближаться к вертикали. Пять с половиной часов шел подъем, и никто площадку не покинул. Я тоже стоял до конца, пока образовавшуюся щель не заварили с обеих сторон стальными прокладками. Дело было сделано. Вместо двух месяцев — пять с половиной часов! Государству это сэкономило свыше миллиона рублей. За смелое решение Михаил Николаевич Чудан и Айзик Вольфович Шегал были удостоены Государственной премии.

Лауреатом Государственной премии стал и начальник управления Стаьлмонтаж Марк Иванович Недужко, человек большого таланта и смелости. Он был моим земляком, с Днепропетровщины. Родился в семье крестьянина-бедняка, на заводе был слесарем, сварщиком, потом стал монтажником. В годы пятилеток руководил уже монтажом на стройках Урала и Сибири, во время войны вел прокладку бензопровода в осажденный Ленинград. Трубы смонтировали на льду Ладожского озера, а затем опустили на дно, обеспечив таким образом горючим Ленинградский фронт. При обстреле Марк Иванович провалился в ледяную ладожскую воду и с тех пор тяжело болел. Но работал он до конца своих дней.

В Запорожье его управлению было поручено восстанавливать прокатные цехи — те самые, которые разрушались фашистами с особой, изуверской тщательностью. (Я уже говорил о красных литерах «Г» на колоннах.) И вот, разобравшись в этом стальном буреломе, Марк Иванович предложил поднимать пролеты целиком. Мысль поражала смелостью и новизной. Он разделил возрождаемый цех на огромные блоки: каждый включал до двадцати колонн и весил не менее тысячи тонн. Затем отделил один блок от другого, разрезав их автогеном, и после этого вступили в действие телескопические стойки — подъемные устройства, которые Недужко сконструировал вместе с главным инженером своего управления Григорием Васильевичем Петренко. Как бы ухватив цех за крышу, они тянули вверх целые участки пролета, и постепенно изуродованные колонны выпрямлялись, стропила и балки занимали свое законное место. Многие детали, конечно, были невозстановимы, их удаляли, а на некоторые конструкции накладывали швы и заплаты — это была все та же «лечебная хирургия».

В итоге — работы на сложнейшем участке удалось ускорить по меньшей мере на год. Спасено было немало очень дорогих конструкций, которые предполагалось сдать в металлолом. Так создавалась наука возрождения поверженных заводов, которая тогда очень была нам нужна, хотя лучше бы никогда и нигде ею больше не пользоваться.

Мы восстанавливали технологическую цепочку первой очереди «Запорожстали», включавшую лишь те звенья, которые требовались для выпуска стального листа. ТЭЦ с воздухоудвными агрегатами должна была дать дутье для доменной печи, домна, выдавая чугун, даст и горячий газ, необходимый прокатным цехам. Но ограничиться только этим мы не могли, и одновременно велись работы по возрождению всего предприятия — железнодорожной сети, водоснабжения, энергоснабжения, подсобных производств и так далее. Опыт, накопленный ударной стройкой, был очень ценным, и важно было ни в коем случае его не утратить, не позабыть, всемерно использовать на других объектах. Запорожский горком КП(б)У принял специальное постановление «Об изучении и распространении передовых методов труда новаторов Запорожстроя». Незадолго до первой задувки доменной печи мы проводили партийно-хозяйственный актив. Больше всего я говорил на нем, естественно, о предпусковых насущных задачах, но сказано было и о перспективе:

— Мы сумели вместе с вами за короткий период повернуть внимание хозяйственных руководителей и коммунистов к делу выполнения государственных планов. Но надо смотреть шире. Хотел бы, чтобы урок Запорожстроя, наиболее характерный с точки зрения партийного руководства делом, стал примером для всей нашей партийной организации, для всех промышленных предприятий.

Вся страна к тому времени помогала возводить наш завод. Рядом со стройплощадкой стояли палатки с надписями: «Горький», «Рига», «Ташкент», «Баку», «Дальний Восток» — в них жили строительные бригады. Наши заказы выполняли более двухсот заводов, находящихся в семидесяти городах. Из Горького шли грузовики, Архангельск поставлял шпалы, Ярославль — электромоторы, Баку и Грозный — битум и другие нефтепродукты. Станки поступали к нам из Москвы, рельсы — из Кузнецка, лес — из Белоруссии, металлоконструкции — с заводов Днепропетровской области, в том числе с моей родной Дзержинки. Даже проекты восстановления цехов готовили для нас Киев, Харьков, Днепропетровск, Ростов-на-Дону, Ленинград, Москва. Хотя в Запорожье уже появился свой филиал Гипромеца.

И тут мне хочется помянуть добрым словом одну скромную женщину — инженера «Запорожстали» Е. С. Шеремет. Много ли может сделать один человек? Много, если предан делу и помнит свой долг. В черные дни отступления, когда гитлеровцы обстреливали город, она собрала, вывезла, потом сберегла и наконец вернула на завод все кальки и чертежи. Многие тысячи листов. И как они пригодились! Поступало оборудование — и возвращенное из эвакуации, и заново выпущенное для нас, — проектировщикам и монтажникам старые чертежи помогли сэкономить драгоценное время. Характерно, что даже старые машины конструкторы и рабочие ухитрились модернизировать, улучшить. Например, слябинг, который монтировали у нас краматорцы, остался тот же, что был до войны, но мощность этого обжимного стана с 1.200.000 тонн слитков в год возросла до 2.000.000 тонн.

Всесоюзное социалистическое соревнование началось в тот год по инициативе коллектива Запорожстроя. Очень популярной была тогда крылатая фраза о том, что в ударном году на ударной стройке

не 365 дней, а 365 суток. Помню, как обрадовало нас сообщение ленинградцев: они не только сами раньше намеченного срока отправили нам очень нужную аппаратуру, но призвали все электротехнические предприятия страны выполнять запорожские заказы досрочно. Тут же мы послали ответную телеграмму:

«Ленинград, обком партии тов. Попкову, завод «Электроаппарат» тов. Каменскому, Снабчермет тов. Спекторову:

Получили ваше сообщение о досрочной отгрузке высоковольтной аппаратуры. Положение с электромонтажом резко улучшилось. Это дает возможность в срок выполнить электромонтажные работы по ряду пусковых объектов. Благодарим коллектив завода за досрочную отгрузку.

Секретарь Запорожского обкома КП(б)У
Л. БРЕЖНЕВ

Директор завода «Запорожсталь»
А. КУЗЬМИН».

На последнем, предпусковом собрании актива, о котором уже говорил, возник вопрос о «мелких работах». Руководители многих участков с гордостью докладывали о завершении самых крупных по объему работ, а оставшиеся, вроде бы незначительные, сбрасывали со счета. Но до окончания этих «незначительных» работ о вводе предприятия в действие не могло быть и речи. Следовало обеспечить подлинный порядок на стройке, настоящую плановую дисциплину, и вот что было сказано по этому поводу:

«Тов. Кузьмин: Сумма мелких работ бывает иной раз важнее большого объема. А ведь у нас сроки всех работ на исходе.

Тов. Брежнев: Хорошо, что вы подняли этот вопрос. Надо бы жестче сказать: строители должны еще предоставить заводу три недели для опробования механизмов. Я 10 мая вылетаю на Политбюро с докладом о ходе строительства, и мне ваше заявление очень важно...»

Хотел бы подчеркнуть: ни у строителей, ни у обкома, ни у меня лично даже мысли не возникло, что мы можем сорвать намеченные сроки, просить о переносе ввода, ставить вопрос о «корректировке» планового задания. План — главный инструмент реализации экономической политики партии. Его можно и надо обсуждать на стадии разработки. Но когда план утвержден и принял силу закона нашего государства, остается одна обязанность — его выполнять, причем выполнять только в срок, с наименьшими издержками и наилучшими показателями.

Разумеется, стройку такого масштаба мы не могли бы поднять без самой активной и действенной помощи ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР. С нас спрашивали строго, но и помогали, если требовалось, оперативно. Достаточно сказать, что бывали дни, когда на стройплощадке одновременно собирались пять министров, приехавших из Москвы. «Запорожстали» должны были помочь и помогали министерства автомобильной и авиационной промышленности, министерства вооружения, транспортного машиностроения, угольной промышленности, нефтяной.

Чаще других приезжали министр строительства предприятий тяжелой индустрии СССР П. А. Юдин и министр черной металлургии СССР И. Ф. Тевосян. С Иваном Федоровичем мы познакомились на фронте, в дни освобождения промышленных центров Юга. Он тогда еще говорил о возрождении домен, мартенов, прокатных цехов. Теперь, приезжая к нам, Иван Федорович неизменно участвовал в

утренних обходах и решал на месте возникающие проблемы. Это был крупный руководитель, авторитетный, знающий дело.

Дни бежали, время становилось все более напряженным, работали люди и днем и ночью, а в целом это время вспоминается мне как ясное и радостное. Прибыл в Запорожье первый маршрут криворожской руды — это было торжество. Домну поставили на сушку — радость. Началось опробование воздуходушных агрегатов ТЭЦ, поползли по наклонному мосту первые скипы с шихтой — опять это были события, исполненные для каждого участника стройки особого значения.

Из Москвы приехала государственная комиссия, ее возглавлял известный металлург, вице-президент Академии наук СССР Иван Павлович Бардин, знакомый мне еще по Днепродзержинску. Обычно сдержанный в формулировках, он записал в акте приемки первой очереди завода «Запорожсталь»: «Строители и монтажники произвели здесь такие крупные работы, которые не имеют себе равных ни по объему, ни по решению технических задач».

Наконец пришел долгожданный, знаменательный день. В последний раз проверили, все ли в готовности, и отдан был приказ: «Задуть домну!» Газовщик повернул шибер горячего дутья, обер-мастер побежал с зажженным факелом к чугунной летке, печь загудела, и в этот самый момент на главном корпусе ТЭЦ во всю мощь заревел гудок, возвещая второе рождение «Запорожстали». Услышав его, в городе все высыпали на улицу, знакомые люди обнимались, плакали от радости. А днем позже, 30 июня 1947 года, был выдан такой дорогой для всех нас запорожский чугун.

Помню во всех подробностях этот день. Печь ровно гудела, говорить приходилось с усилием, но это был гул, привычный для каждого металлурга, да и меня он радовал, потому что в глубине души я все еще чувствовал себя металлургом. Кислородный резак прожег летку, и показался тонкий ручеек расплавленного до белизны металла. Рассыпая по пути звезды, ручей набирал силу и стал чугунной жидкой рекой. Рябь бежала по этой реке, а мы все шли следом, смотрели, как в первый раз наполняется ковш. Помню, мы с Бардиным долго жали друг другу руки, перецеловали всех горновых.

Тут же во дворе завода состоялся митинг, на который собралось более шестнадцати тысяч человек. Я поздравил строителей, монтажников, металлургов с выдающейся производственной победой и призвал их не сбавлять темпов — завершить годовой план и сдать в эксплуатацию прокатные цехи к большому юбилею страны, тридцатилетию Великого Октября.

Да, это было более тридцати лет назад... В конце июля на слябинге мы прокатали первые слитки, 30 августа правительственная комиссия приняла цех горячей прокатки, а 28 сентября состоялся у нас главный, «пусковой» митинг — в цехе холодной листоделки. Прямо перед трибуной стоял украшенный цветами паровоз, за ним — платформы с готовой продукцией, которую мы отправляли Московскому автозаводу. На одной из платформ укреплен был плакат: «Принимай, Родина, запорожский стальной лист!»

Запорожцы сдержали слово, и страна по заслугам оценила их подвиг. Двадцать тысяч участников стройки получили медаль «За восстановление предприятий черной металлургии». Были опубликованы Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении передовых коллективов. Трест Запорожстрой и завод «Запорожсталь» были удостоены высшей награды Родины — ордена Ленина. Орден Ленина получили многие рабочие, инженеры, командиры производства, партийные работники. Среди них были и те, кто назван в этих записках, — И. А. Румянцев, М. Н. Чудан, А. В. Шегал, М. И. Недуж-

ко, В. Э. Дымшиц, А. Н. Кузьмин. Значилась в списке и моя фамилия. Это была очень дорогая награда — мой первый орден Ленина.

В ноябре 1947 года в Запорожье начал работу поднятый из руин коксохимический завод — доменщики имели теперь надежные тылы. Но на этом торжестве присутствовать уже не пришлось: решением Центрального Комитета ВКП(б) я был направлен в Днепропетровскую область.

Уезжал из Запорожья с сознанием выполненного долга. Вот какой обмен репликами произошел на XIX пленуме Запорожского обкома КП(б)У — последнем, в котором принимал здесь участие. Вначале говорились всякие добрые слова о моей работе, которых не буду здесь приводить, а потом поднялся с места секретарь обкома Петр Савельевич Резник, ведавший вопросами сельского хозяйства. Глаза у него были хитро сощурены. Приведу все так, как записано было в стенограмме:

«Тов. Резник: Ну что ж, будем соревноваться теперь с тов. Брежневым. А наша область, между прочим, на подъеме, фундамент заложен неплохой. Во-первых, мы засеяли вместо 500 тысяч в этом году 600 тысяч гектаров. Озимые находятся в самом хорошем состоянии. Дальше, мы зябь подняли, государственный план сдали, сейчас сдаем дополнительный. Тов. Брежневу придется в Днепропетровске создавать такое же напряжение, какое он создал в Запорожье, и могу заверить, что туговато ему придется. *(Смех в зале.)*

Тов. Брежнев: Надо учесть, в Днепропетровской области сильные большевики.

Тов. Резник: Но учтите, что и запущенность сейчас сильная! *(Смех.)*

Тов. Брежнев: Спасибо, товарищи! Что же касается соревнования, то оно будет носить здоровый, большевистский характер...»

7

Итак, новое место работы...

Конечно, все эти годы я не терял связи с краем, где родился и вырос. Работая в Запорожье, при всякой оказии навещал мать, родных, бывал на своем заводе, ездил по делам в соседний областной центр, где, естественно, заходил в обком, встречался с прежними товарищами по работе. И вот теперь я снова дома и уже надолго. Избран первым секретарем областного комитета партии. И с прежними своими товарищами мы уже не только вспоминаем минувшее время, мы говорим о том, что будем делать завтра.

Днепропетровщина славилась до войны своей металлургией, десятками железорудных и марганцевых шахт, богатыми урожаями пшеницы и кукурузы, высокой продуктивностью животноводства. Это была одна из крупнейших на Украине сельскохозяйственных и промышленных областей, и, хотя я неплохо изучил ее в довоенные годы теперь мне нужно было заново и притом быстро войти в курс дела, разобраться в трудностях, понять ближайшие задачи, наметить перспективы.

Разруха и здесь была страшная. В Днепропетровске гитлеровцы взорвали и сожгли сто семьдесят заводов, шестьсот пятьдесят семь крупных жилых домов, двадцать восемь больниц. Сняли и вывезли в Германию шестьдесят восемь километров трамвайного пути и более ста километров медного контактного провода. Разрушили театр оперы и балета, художественный музей, университет, почти все школы и все институты, вокзалы и железнодорожные мосты. Великолепный Дворец металлургов фашисты превратили в конюшню: светлые залы были разгорожены стойлами, наборный паркет завален конским навозом.

Пытались фашисты наладить производство металла в этом краю. Прилетели представители фирм «Штальберке — Брауншвейг», «Фош», «Ферайнигте — Алюминийверке», «Юнкерс». Они хотели восстановить Запорожский алюминиевый завод, «Днепроспецсталь», «Запорожсталь», но диверсии подпольщиков и сопротивление наших рабочих все их замыслы провалили. Правда, в Днепропетровске оккупанты одно производство все же наладили: после многократных и неудачных попыток пустить мартены и домны они открыли на металлургическом заводе имени Петровского... мармеладную фабрику...

Помню как сейчас радостный день освобождения родных для меня мест — Днепропетровска и Днепродзержинска. Наш штаб находился на Таманском полуострове. Расквартированы мы были на территории бывшего животноводческого совхоза. Хозяйственные постройки совхоза стали для нас своего рода палатками. Ночью 25 октября 1943 года прибежал ко мне генерал Зарелуа, разбудил:

— Радость-то какая — Днепропетровск освободили! Наши войска штурмом овладели и Днепропетровском и Днепродзержинском! Москва салютует!

К тому времени мы уже привыкли к победным салютам, но этот был для меня особенным.

Будучи еще на фронте, я постоянно интересовался, как шли дела на Днепропетровщине после изгнания оккупантов. Уже на третий день, 28 октября 1943 года, рабочие-петровцы ввели в строй одну из турбин ТЭЦ и дали городу электричество, а летом 1944 года пустили в эксплуатацию первую мартеновскую печь. На родной Дзержинке меня тронул до слез скромный памятник в сквере у проходной. На постаменте лежал слиток стали. Только и всего. Надпись гласила:

«Первый слиток, отлитый 21 ноября 1943 года на мартеновской печи № 5 на 26-й день после изгнания немецких оккупантов из гор. Днепродзержинска. Плавка № 5—1. Сталевары Ф. И. Маклес и Г. А. Панкратенко».

Мне рассказали о том, что Франц Иосифович Маклес и Гордей Антипович Панкратенко не только сварили эту первую сталь, они сами разобрали стенки и свод разрушенной печи, извлекли спекшийся козел, сами восстанавливали мартен. Оба были уже стариками, оба участвовали и в гражданской войне, оба были артиллеристами на бронепоезде, который склепан был на нашем заводе в далеком 1919 году. И оба олицетворяли трудящихся людей, о которых Владимир Ильич Ленин сказал в том же 1919 году:

«Первая производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся. Если он выживет, мы все спасем и восстановим».

После Великой Отечественной войны мысль эта подтвердилась необычайно ярко. И в этой связи хотелось бы высказать одно соображение. В мире идет противоборство двух социальных систем. Оно началось при жизни Ленина, оно продолжается сегодня, и неизбежны сравнения — кто сколько выплавил стали, добыл нефти, произвел электричества, хлеба, хлопка. К этим подсчетам прибегаем мы, ведут их и наши идеологические противники. Вынужденные признать, что во многих отношениях Советский Союз догнал, например, США, а по ряду важнейших экономических показателей и далеко обогнал, они, однако, все время выпячивают те показатели экономики, в которых крупнейшая капиталистическая держава пока еще не уступила первенства.

При этом они старательно замалчивают, пытаются скрыть от своих читателей и слушателей те исторические условия, в которых были мы и были они. Между тем в этом, по их словам, «честном» соревновании одна сторона, отгороженная океаном от вражеских казней,

наживалась на любой войне, а другая подвергалась непрерывным провокациям, несла тяжелейшее бремя войн и разрушений, вынуждена была начинать во многих областях едва ли не с нуля. Так было и в Запорожской области, и в Днепропетровской — это я видел своими глазами. Так было по всей стране: вторая мировая война уничтожила *треть* нашего национального богатства.

Невольно думаешь о том, что сделали бы мы, насколько дальше ушли бы вперед и в социальном, и в экономическом развитии, если бы нам не мешали, не ставили палки в колеса, не отрывали от мирного труда, не вынуждали бы гонкой вооружений тратить большие силы и средства на оборону страны. И какая же сила присуща советскому строю, народу нашему, если, невзирая на все помехи и преграды, мы добились высочайшего уровня экономики, науки, культуры, с какими пришли к шестидесятилетию Октября!

...Всего год и три месяца пришлось мне поработать в Запорожье, но в Днепропетровск я перешел уже с определенным опытом. Здесь также начал с поездок по заводам и колхозам, часто бывал на стройках, спускался в шахты, старался как можно больше общаться с людьми. Характер партийной работы многим известен, поэтому скажу о другом, о самом стиле этой работы. К тому времени трудовой опыт, война, общение с людьми, чтение и размышления уже определили, конечно, свой стиль работы и жизни. В принципе у всех наших руководителей стиль должен быть один — ленинский, партийный, так оно, в общем, и есть. Но при этом у каждого могут быть свои особенности. При всей общности задач, круга обязанностей, меры ответственности первых секретарей обкомов черты характера человека на этой работе сказываются непременно.

В Днепропетровске мне пришлось сменить человека, которого знал еще до войны: П. А. Найденов был тогда председателем облисполкома. Фронтвик, активный, напористый руководитель, глубоко честный человек и мой хороший товарищ — помню о нем много хорошего. Однако были в его работе и недостатки, дела в области шли не блестяще, и кончилось все тем, что Центральный Комитет ВКП(б) поставил вопрос о смене руководства.

Мой жизненный опыт пригодился и здесь, в Днепропетровске. Помню первое знакомство с директорами крупнейших заводов. Шла уборочная, я спросил у Ф. Е. Ганзина, заведующего сельскохозяйственным отделом обкома: как у нас с транспортом? Ответ был тот, какого я ожидал: плохо. А городские машины? Он ответил, что разрядка заводам — сколько какому отправить грузовиков — дана, но директора тянут, обманывают, а если и дают, то самые худшие.

В этом деле была порочная система: сверху — цифры, взятые с потолка, снизу — увертки людей, которым тоже надо выполнять свой заводской план. При этом и требующие, и отвечающие отлично знали, что если записано, к примеру, сорок машин, то ждут не больше двадцати, — это повторялось ежегодно. Я сел за телефон и попросил соединить меня с директором Никопольского трубного завода Н. А. Тихоновым. Поздоровался, представился, потом сказал:

— Обязательно, Николай Александрович, приеду к вам, но позже. А сейчас, пожалуйста, помогите — созрел отличный хлеб. Знаю, что вы хороший директор, знаю, что у вас хороший завод. Если сможете помочь уборке, будем очень благодарны. Только, прошу, лучших шоферов, исправные машины.

— Пятнадцать смогу выделить, — сказал он, подумав.

— Подумайте, посоветуйтесь с людьми. Жаль, если хлеб поте-
ряем...

Примерно так же поговорил с другими директорами. Назначенного по разверстке числа грузовиков они на уборку не послали, но получили мы действительно хорошие машины и чуть ли не вдвое больше, чем в прежние годы. И этого можно было добиться всего лишь спокойным человеческим разговором.

К тому времени я уже основательно понял, что, даже расходясь с кем-то по принципиальному вопросу, по-человечески надо стараться работника не ущемить, не загнать в угол и не унизить. Можно сказать: «Ерунду порете!» — а можно, если человек говорит от души, сказать: «Спасибо за совет, подумаем. А что, если попробовать так?..» Я понял, что надо сдерживать эмоции, что на том посту, куда выдвинут партией, не имею права на необдуманное слово. Когда собирал людей на совещание, то действительно советовался с ними, давал каждому высказать мнение и не торопился со своим. А то ведь есть и такие товарищи — уловят «начальственную» точку зрения, и все, другого мнения уже не услышишь.

Руководитель всегда на виду и потому не может проявлять растерянность, слабость. Что бы ни было на душе, обязан быть собранным, бодрым и нервы должен держать в узде, чтобы и люди получали от него заряд уверенности. Порой мы недооцениваем роль юмора, а ведь очень часто можно и шуткой помочь делу.

Важным рычагом в подъеме сельского хозяйства, в борьбе за хлеб мы считали в то время шефскую помощь заводов колхозам. Особенно важны были крытые токи, и можно было бы, конечно, снова начать с разнарядки, с приказов, взысканий, но я поступил по-другому. Как-то собрались в обкоме директора Ф. Н. Балакин, Н. Р. Попов, И. И. Коробов, П. В. Савкин и другие, беседа шла о заводских делах, а я вдруг сказал:

— Вот мне передали, что Петр Васильевич изъявил желание оборудовать двадцать крытых токов.

Савкин, директор завода имени Ленина, в будущем Герой Социалистического Труда, даже поперхнулся:

— Нет, Леонид Ильич, двадцать не вытяну. Девять — это еще куда ни шло.

— Ну что же, договорились! А что скажет Илья Иванович?

Потом мы все смеялись, но дело сдвинулось с места. Или другой случай. Летом, в самую жару пригласил к себе председателя облплана и заведующего отделом местной промышленности обкома. Поговорили об очередных делах, и как бы между прочим я спросил:

— Неплохо бы выпить хлебного кваса, а?

— Хорошо бы! — кивают оба.

— В области он производится?

— Нет... пока.

А я нажал кнопку, и, как было условлено, в кабинет внесли жбанок с квасом, принесенный одной из сотрудниц из дома.

— Угощайтесь...

Облпланом заведовал Г. М. Дрюченко, старый мой знакомый, с которым мы служили еще в Забайкалье в одной танковой роте. Он-то сразу понял, куда я клоню.

— Как, Григорий, — спрашиваю, — хорош квасок?

— Займемся, — отвечает. — Сегодня же соберем людей.

— Как же вам не стыдно, — говорю. — Если здесь у нас жарко, то что же сейчас у мартенов, у доменных печей? Чем рабочему утолять жажду? Кто как не облплан, не местная промышленность должны были об этом подумать? Когда сделаете? Сроки!

Дошло: в то же лето квас появился в городе.

Люди есть разные, и говорить с ними тоже надо по-разному, а иной раз и молчание бывает красноречиво. На заводе Петровского было острое положение с пуском рельсобалочного цеха. Сроки на исходе, а там недоделки, споры между проектировщиками, строителями, субподрядчиками — пришлось собирать их в обкоме партии. Междоусобица продолжалась и здесь — в основном все нападали на завод, который-де затягивает приемку. Тогда встал начальник рельсобалочного цеха и стал загибать пальцы: там болты не затянуты, там деталь не на месте, там электрика не отлажена — не может он подписать акт, ему же на этом стане работать.

Все высказались. И, как водится, ждали резюме первого секретаря, может быть, и нахлобучки, но я спросил только:

— Товарищи, всем ясно, что надо делать?

— Ясно, — отвечают.

— Тогда идите и делайте.

Вот и все заключительное слово. Я увидел, что люди, еще готовясь к совещанию, разобрались в своих неувязках, ощутили свою ответственность. Важно было дать им почувствовать, что областной комитет партии следит за этим важным объектом и верит, что они с заданием справятся. Так оно и вышло.

8

Очень большое внимание уделял Днепропетровский обком подбору, расстановке и воспитанию кадров. Вопрос этот стоял тогда с особой остротой: тысячи партийных и советских работников погибли на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье. Людям, которые пришли им на смену, еще не хватало опыта, знаний. «Вопрос о руководстве — это вопрос о кадрах» — вот принцип, которым мы руководствовались, налаживая работу. Бюро обкома часто обсуждало политические и деловые качества коммунистов, выдвигаемых на руководящие посты, требовало смелее выдвигать энергичных, способных людей, и в целом, как показало время, мы в них не ошиблись.

Попадались, конечно, и недобросовестные работники, руководители, которые «закисли», люди «с дырявыми душами» (выражения из тогдашних стенограмм) — к ним мы были непримиримы. В декабре 1947 года в стране прошла денежная реформа, и нашлись деятели, которые, используя свое служебное положение и зная заранее условия обмена, кинулись вносить деньги в сберкассы, чтобы на этом выгадать. Я настоял на исключении их из партии. Точно так же добивался снятия с постов (без «трудоустройства» на другие, тоже руководящие должности) людей, которые проваливали дело по неумелости, ограниченности. По-человечески некоторых бывало и жалко, но нельзя быть добрым за государственный счет.

А те, кто доказал свое умение работать, кому областной комитет партии верил, должны были это доверие ощутить. Общим отделом обкома заведовал у нас Е. Н. Маляревский, с которым мы были знакомы еще до войны и с которым встречались на фронте. «Если что нужно, заходи в любой момент», — сказал ему, приехав в Днепропетровск. И действительно, всегда его выслушивал, поддерживал, помогал, когда надо, советом. Вижу — дело знает. Значит, надо дать ему инициативу в исполнении тех задач, которые перед ним поставлены.

Показав многим работникам, что доверяю им, и действительно передав им решение большинства текущих вопросов, я освободил себе время для анализа обстановки, обдумывания перспективных проблем, постановки принципиальных задач. Первая из этих задач была твердо усвоена еще в Запорожье — добиться заметного улучшения

как организаторской, так и партийно-политической работы. На областной партийной конференции в феврале 1948 года по этому поводу говорилось:

— Задача заключается в том, чтобы правильно сочетать партийную работу с хозяйственным руководством. Это — искусство. И этому искусству в партийной работе надо учиться...

Должен сказать, самому мне тоже приходилось все время учиться. И это необходимо, конечно, для всех — обстановка все время меняется, возникают новые проблемы. Партийный руководитель, если не хочет отстать, должен учиться всю жизнь.

В Днепропетровске я застал очередной этап восстановления: заводы уже начали давать продукцию. И хотя многие их цехи еще были разбиты, хотя многие шахты были затоплены, промышленность вставала на ноги. Теперь следовало подтянуть жилищное строительство, культуру, быт. Чтобы ясна была острота вопроса, приведу часть выступления на X городской партийной конференции в Днепродзержинске:

«Я вижу в зале многих моих товарищей, бывших соучеников, которые сейчас работают начальниками цехов, начальниками смен, — тт. Левинова, Олейника, Гречкина и других. Им и всем вам хочу прямо сказать, что жилищным строительством областной комитет и горком партии занимались недостаточно. До чего дошло дело, если приходится докладывать конференции, что план по жилью выполнен всего на 11 процентов.

Голос из зала: На 7 процентов!

— Даже на 7. Это же позор! Говорим, что нужно закреплять рабочих, а терпим такое положение. Вновь избранному составу горкома и обкому партии надо положить этому конец. Люди достаточно натерпелись в годы войны, перенесли большие лишения ради нашей победы, и теперь они вправе требовать улучшения бытовых условий. Мы, большевики, дали известный вексель народу, что будем повышать материальный и культурный уровень трудящихся. Мы обязаны выданный вексель оплатить!»

Сложность ситуации заключалась в том, что у местных Советов денег было еще мало, основные средства находились в руках заводских директоров, а они строить города отказывались. В Днепропетровске, по существу, не было центра, проспект Карла Маркса еще лежал в руинах, а на окраинах строились примитивные рабочие поселки. Даже своего рода теорию придумали, что, мол, начальники цехов — доменного, сталеплавильного, прокатного — обязаны жить при заводе. Тогда ведь ни телефона еще не было, ни трамваев, ни машин, в лучшем случае — бедарка с лошадью. (Помню, один из руководителей на вопрос, почему опоздал на планерку, ответил басом: «Машины у меня нет, а кобылу поставил на профилактику».)

Необходимо было заставить заводы строить не дешевые временки, а благоустроенные дома, не на заставах, а в центре. Дружески беседуя с директорами, я доказывал: их ведомственная строительная политика дает лишь иллюзию экономии средств, рано или поздно она обернется убытком. На бюро обкома шел уже официальный разговор о том, что мы обязаны застроить главные магистрали города, поставить на них красивые дома, заселить их лучшими производственниками, инвалидами Отечественной войны, семьями погибших, чтобы они на деле ощутили заботу партии и правительства об улучшении их жизни. Но дело двигалось медленно.

В конце мая 1948 года я объехал в очередной раз всю область, побывал в Никополе, Павлограде, Кривом Роге, Новомосковске, Марганце, многое увидел и, укрепившись в своих замыслах, собрал ди-

ректоров крупных заводов и прямо сказал, что кустарщину обком больше терпеть не будет, город должен быть городом — пришло для этого время. Директора держались осторожно, говорили, что они бы всей душой, но средств нет, да и проектов хороших нет, стройбаза слаба и разное другое, что говорится в подобных случаях.

— У меня предложение,— сказал я в конце.— Давайте все вместе посмотрим хорошо организованное скоростное строительство. Решим, что можно перенять. Ехать далеко не придется. Согласны?

— Согласны,— отвечают.

— Что ж, не будем откладывать. Сбор завтра у здания обкома в семь ноль-ноль.

И вот в семь утра мы двинулись цугом на нескольких машинах — директора, руководители строительных трестов, работники горкома и горисполкома. Помню, день был пасмурный, мы миновали Мандрыковку — одну из слобод с домишками, лепившимися по склону,— и двинулись на юг по разбитой дороге. Почти на всем протяжении была она пуста, путников мы почти не встречали, машин — ни одной. Деревья по сторонам были сожжены, поля изрыты окопами, лишь кое-где работали тракторы или трофейные тягачи. Так мы ехали часа два, потом поднялись на взгорок, и внизу открылась панорама Днепрогэса. За ней в котловине лежал большой белый город. Как раз выглянуло солнце, заиграло в окнах, дома казались высокими, светлыми... Теплое чувство охватило меня: ехал в Запорожье как представитель соседней области, но в то же время был тут своим человеком.

Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мои экскурсанты увидели асфальтобетон, о котором я не раз им говорил. Заинтересовались кабель-кранами, которые уже использовали запорожцы. С особым вниманием смотрели, как укладывался «методом прокалывания» водопровод. Гидравлические домкраты вдавливали 800-миллиметровые трубы в грунт, и таким образом у нас на глазах был пройден чуть ли не целый квартал. Конечно, много было вопросов — о сроках, о стоимости, производительности труда, строительных материалах. Потом мы пообедали в рабочей столовой и поздно ночью вернулись домой. На обратном пути выяснилось, что двое директоров — завода имени Бабушкина и завода имени Либкнехта — уже приглядели подходящие многоэтажные дома и даже договорились о повторном использовании проектов... А через полгода выросли на главном проспекте эти красавцы дома, дав толчок застройке центра. Начало было положено!

Интереснее всего, пожалуй, сложилась судьба набережной. Сейчас это красивейшее место в городе, а тогда фашисты оставили от нее одни развалины. Я представлял себе эту набережную отстроенной. Но хозяйственники, вникая в радужные перспективы, только головами качали: «Кто же доживет увидеть такую красоту?» Почти все и дожили! Довольно скоро смекнул народ, что обосноваться на берегу совсем не плохо — Днепр есть Днепр,— кинулись просить участки, а было поздно: их уже раздал под застройку исполком городского Совета.

Разумеется, в трудные послевоенные годы основные силы и средства страна бросала на возрождение промышленности, сельского хозяйства — это было закономерно и правильно. Но иногда под прикрытием этого верного лозунга таились нерасторопность, бесхозяйственность, простое неумение работать. Между тем отставание с жильем, транспортом, бытом, культурой неизбежно сказывалось на производительности труда, а значит, и на росте производства.

Обком партии требовал инициативы от руководителей — партийных, советских, хозяйственных. Как-то я сказал секретарям Днепропетровского горкома КП(б)У К. К. Тарасову, П. Ф. Храпунову и председателю горисполкома Н. Е. Гавриленко:

— Берите большую сумку и езжайте в Москву. Обязательно на прием к министрам. Расскажите о разрушениях, снимки покажите. Чтобы дали средства по долевному участию — на водонапорную башню, на трамвай, на детские сады, на жилье. Скажите, что это нужно для их же рабочих. Входите решительно, требуйте твердо, вы коммунисты, а коммунист должен быть смелым.

Приходилось так действовать, и это давало хорошие результаты. Заводы отливали чугунные решетки для скверов, ставили фонари, опоры для трамвайной линии. Тысячи рабочих и служащих выходили на воскресники — разбирали завалы, сажали цветы и деревья. Тогда заложены были парк Чкалова и парк Шевченко — красивейшие в городе. Большой радостью для ребят было открытие детской железной дороги. Потом мы получили в ВЦСПС деньги на восстановление дворца екатерининских времен. Его решено было передать студентам, и каждый вузовец отработал пятьдесят часов на строительстве. Так появился у нас Дворец культуры студентов — замечательный памятник архитектуры и самый популярный молодежный клуб в Днепропетровске.

Но вот что следует здесь добавить. Требуя инициативы от людей, партийный руководитель должен их в сложные моменты брать под защиту, принимать удар на себя. Так было, например, с директором Никопольского трубного завода Н. А. Тихоновым. О быте рабочих он заботился, пожалуй, лучше других, и на заводе у него дела шли неплохо. (Это, впрочем, закономерно: где нет заботы о людях, там и хорошей работы не жди.) Поддерживая линию, взятую обкомом партии, Тихонов открыл стационар для заболевших рабочих, организовал хорошую орсовскую столовую, начал восстанавливать разбитую фашистами дорогу, клуб завода отремонтировал одним из первых в области. Но на ремонт ему выделили, помнится, семьсот тысяч рублей, а израсходовать пришлось чуть ли не втрое больше. Тут прибыл к нам Тевосян, мы ехали втроем, и Иван Федорович отчитывал директора:

— Ты кто, Рокфеллер? Для этого тебе деньги дали?

Между тем машина остановилась, мы вышли — перед нами было просторное, чистое, красивое здание клуба.

— Да-а,— сказал я как бы в поддержку министра.— Такую «дачку» построил лично для себя!

Тевосян хмыкнул, мы поехали дальше, свернули на новую дорогу, и тут он снова возмутился.

— Что с тобой делать?— повернулся к директору.— Мне уже из Минфина звонили, знают об этой дороге.

— И обком знает,— сказал я.— Без нее не было бы ночной смены. Он ведь не для себя, Иван Федорович, не в свой личный карман. Хотите, мы эту дорогу закончим как народную стройку?

Так потом и сделали, а грозу от хорошего директора отвели. И это стало известно в области, такие вещи быстро разносятся и, конечно, идут на пользу, отзываются в других местах.

Дело — вот оселок, на котором познается истинная цена человека. А кто не знает дела, сидит не на своем месте, тот рано или поздно попытается восполнить свои недостатки приписками и прочим. Как это у баснописца Крылова?.. «Но в сердце лысец всегда отыщет уголок».

— Вы предлагайте дело,— говорил я обычно таким людям.— Не надо нам дифирамбов и расшаркиваний. Не для этого мы вас пригласили в обком.

И последнее, если говорить о стиле работы, о взаимоотношениях с людьми: я понял, что не следует пытаться переделать их на свой лад. Ничего хорошего из этого, как правило, не выходит. Партийный руководитель должен принимать товарищей по работе такими, каковы они есть. Знать обязательно их слабости, но видеть и направлять на пользу дела сильные стороны. Приходит на память такой пример.

В Днепропетровске у меня не сразу сложились отношения с Ильей Ивановичем Коробовым, директором крупнейшего в области металлургического завода имени Петровского. Он был представителем знаменитой рабочей династии, отец его работал обер-мастером в Макеевке, братья тоже были доменщиками, да, по-моему, и сыновья, а теперь и внуки продолжают традицию. Семью Коробовых знал Сталин, она была известна в стране. И все бы ничего, но, как бы это мягче выразиться, человек иногда терял чувство реальности, бывал заносчив.

Что же, я вел свою линию, неизменно держался с Коробовым ровно, часто бывал на заводе, встречался с коллективом, беседовал с рабочими, поддерживал начинания сталеваров этого предприятия Невчаса, Соцко, горнового Трофимова и других. Знал я и сильную сторону Коробова: доменщик он был действительно первостатейный. И хотя по-человечески строптивость его, не скрою, немного раздражала меня, через это надо было перешагнуть, потому что работник он был хороший, и это определяло все.

В конце 1949 года на Украине сложилось напряженное положение с топливом и электроэнергией. Завод Петровского, как и многие другие, сидел на голодном пайке, под угрозой был план. И вот пока директора добивались помощи по своим каналам, мы в обкоме проанализировали обстановку и установили, что немало топлива выбрасывается в атмосферу в виде колошникового газа. Это знали все, но поразила итоговая цифра: потери были равны полумиллиону тонн угля. Я собрал директоров: вот выход! Надо объединить усилия, найти и прокатать металл для труб (из завалов, из некондиции, из сверхплановой продукции) и проложить газопроводы. Должен признать, что Коробов одним из первых ухватился за эту идею, многое сделал, и мы довольно быстро воплотили ее в жизнь.

А потом крутой характер Коробова дал себя знать, пошли с завода жалобы в ЦК ВКП(б). Был поставлен вопрос о его снятии с директорского поста. И тут я решительно воспротивился, хотя, повторяю, наши личные отношения оставляли желать много лучшего.

— Считаю, что товарищ Коробов не потерянный руководитель,— сказал я на бюро обкома.— Да, были ошибки, были заскоки, и правильно ему указали на них, но, убежден, за этого человека надо еще побороться.

Дело ограничилось выговором. И это пошло на пользу. Илья Иванович возглавлял завод еще ряд лет, он много сделал для развития доменного производства по всей стране, стал доктором технических наук, лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического Труда. Стало быть, я не ошибся, вступившись за него.

Похожий случай был и в Запорожье. Днепрострой возглавлял известный гидростроитель Федор Георгиевич Логинов. Это был, можно сказать, самородок. Рабочим он стал с одиннадцати лет, пришлось ему воевать с колчаковцами, деникинцами, и еще мальчишкой он вырос до помощника командира полка. Потом, окончив институт, работал десятником на первом Днепрострое, прорабом на Боксане и сред-

неволжских ГЭС, начальником строительства на Чирчике. Колоритный был человек — огромного роста, решительный, своенравный. Все он брал на себя, замечаний в свой адрес ни от кого не терпел.

Принцип единоначалия полезен, на стройке такого масштаба даже необходим, но плохо, когда «единоначальник» перестает воспринимать критику. Логинов бывал груб с людьми, несдержан, вспыльчив и, зная это за собой, даже завел четки. «Переберу по зернышку, — объяснял мне, — глядишь, и успокоюсь». У нас с ним случались серьезные столкновения, и мне, в ту пору еще молодому секретарю обкома, было с этим человеком нелегко.

Первые агрегаты Днепрогэса работали, но ввод остальных затягивался, и кончилось дело тем, что вышло постановление ЦК КП(б)У о недочетах на стройке. Логинов, привыкший к печатным и устным похвалам, послал телеграмму в ЦК о том, что он решительно с этим постановлением не согласен. 1 ноября 1947 года состоялось партийное собрание коллектива Днепростроя, на котором с докладом поручили выступить мне.

И опять, сказав подробно о недостатках, убедив людей, что ошибки отнюдь не выдуманы, а действительно допущены, я не стал, как говорится, топить человека, а, напротив, постарался указать ему достойный выход из положения. Специально подчеркнул, что обком партии ценит Логинова как работника, считает важным, что именно он возглавляет эту огромную стройку, и выразил уверенность в том, что, сделав выводы из критики, Федор Георгиевич обеспечит скорейший ввод станции на полную мощность. Я действительно видел и ценил сильные стороны этого человека — большие знания, огромный опыт, волевые качества, преданность делу.

— При всем уважении к должности, партийности, стажу Логинова, — сказал я в заключение, — при всей несомненной необходимости поддержки его авторитет как руководителя, готовности помогать ему, я считаю, что мы должны со всей жесткостью и до конца критиковать его недостатки, не делая уступок ни Логинову — начальнику строительства, ни Логинову-коммунисту. При такой постановке вопроса мы сможем помочь и строительству, и Логинову. Иная постановка вопроса — не наша, и мы ее обязаны решительно отбросить!

Если человек знает дело, предан делу, если добивается общего блага, то надо его поддерживать. Тут цель одна: поправить, скорректировать, воспитать работника, а не сломить. Главное, раскрыть и использовать для дела его хорошие стороны.

Вопрос о критике и самокритике настолько серьезен, что я считаю полезным специально остановиться на нем. Не случайно в нашей новой Конституции, в статье 49, записано, что каждый гражданин СССР имеет право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе. И подчеркнуто, что преследование за критику запрещается.

Эту статью Основного Закона считаю принципиально важной. Если сегодня мы добиваемся высокой, я бы сказал, высочайшей организованности, хотим укрепить дисциплину на всех уровнях — дисциплину трудовую, дисциплину технологическую, дисциплину плановую, — то нам необходим заинтересованный, пристальный, критический взгляд на состояние дел. Он поможет обеспечить необходимый для этого общественно-политический климат. Климат, который рождает бы стремление работать эффективнее, производительнее, лучше. Создавал обстановку нетерпимости к прогульщикам и лодырям, к каждому факту халатности и бесхозяйственности, очковтирательству и припискам.

Оградить руководителя от критики — значит, его погубить. Тот, кто перестает воспринимать критику, потерян для дела. Если поднять сейчас стенограммы пленумов, конференций, активов тех лет, о которых здесь ведется рассказ, то вы не найдете такой, где бы не было критики. Она была у нас и деловой, и убедительной, и конструктивной. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров.

Вот короткий диалог, который произошел в 1947 году на XVI пленуме Запорожского обкома КП(б)У. В прениях выступал А. М. Жалило, секретарь партийной организации завода имени Кирова, и позволил себе такой пассаж, что пришлось мне вмешаться.

«Тов. Жалило: ...К сожалению, есть на нашем заводе и другие товарищи, которые слишком много критикуют. Вот, например, начальник механического отдела тов. Зайцев...»

Тов. Брежнев: А вы что, зажимаете?

Тов. Жалило: Нет. Но им тоже надо самокритичными быть.

Тов. Брежнев: Значит, вы хотите, чтобы только себя критиковали, а если вас, то нельзя. (Шум в зале.)

Тов. Жалило: Критика и самокритика безусловно хорошее дело, но нельзя критиковать для подрыва авторитета руководства.

Тов. Брежнев: Немножко все-таки неясно, туманно как-то...

Тов. Жалило: Я говорю, что некоторые товарищи недостаточно понимают партийную дисциплину и партийную этику. Нужно самому работать, а не разводить склоку.

Тов. Брежнев: Ну, если завелись склочники, стоит ли на пленуме об этом говорить? Всюду есть склочники, а на вашем заводе тем более они обязательно есть. (Смех в зале.)

Тов. Жалило: Да, исключительно узкое место у нас на заводе.

Тов. Брежнев: Насколько я понял, самое узкое место на вашем заводе — это критика. Бояться ее нечего, потому что она предполагает и уважение к человеку!»

К зажимщикам критики отношение у обкома было вполне определенное, и выражалось оно без обиняков, невзирая на лица. С другой стороны, читая эти стенограммы, увидел: довольно часто, критикуя с трибуны человека, здесь же подчеркивал, считал нужным добавить, что как работника его ценю. Сказать об этом иногда бывает необходимо.

В Днепропетровске крупнейшим промышленным районом был Ленинский, а первым секретарем райкома был в нем Георгий Петрович Куцов. Инженер-металлург с Петровки, работал он энергично, дельно, но на одном из пленумов городского комитета партии, где он выступил с отчетом, мне пришлось резко его покритиковать.

— Хочу остановиться на докладе товарища Куцова. Я не хотел бы вас обидеть, товарищ Куцов, но не могу не высказать свое мнение на пленуме горкома. Считаю, что доклад был безобидный. Он же никого абсолютно не затронул, не вскрыл недостатков в работе райкома партии, ни одного директора завода или секретаря парторганизации вы не назвали, а все внимание сосредоточили на красных уголках. Я не представляю, как можно было с этим выступать. Если меня вызывают на пленум ЦК — пусть по вопросу промышленности, или сельского хозяйства, или партийно-массовой работы, — то я трачу несколько дней, чтобы как можно глубже осмыслить положение дел в городе и области. Центральный Комитет интересуется, как оценивает бюро обкома положение дел на месте. А у нас даже такой проверенный, дельный работник, как товарищ Куцов, секретарь райкома в крупнейшем заводском районе, приходит на пленум городского комитета партии, не считая необходимым как следует подготовиться.

Как это нередко бывает в таких случаях, Куцов стоял во время перерыва особняком, вид у него был невеселый, лицо хмурое, и, заметив это, я к нему подошел:

— Здрóрово я тебе выдал?

— Да уж... Никому не пожелаю.

— Но ведь и поддержал!

Не помню, о чем еще говорили с ним, но тут важно было дать понять людям, что отношения у нас не переменились: да, была критика достаточно острая, но вот стоим, дружески беседуем — как были, так и остались товарищами.

10

Вспоминая свою работу в те годы, перебирая в памяти многие встречи с людьми, вижу, что ценил в них прежде всего упорство, самостоятельность мысли, компетентность, обостренное чувство нового, умение вовремя заметить и поддержать инициативу и творчество масс. Должен заметить, что и сегодня эти качества, этот, если хотите, стиль деятельности необходимы нам больше всего. Важно до конца изжить из практики хозяйственного руководства перестраховку и волокиту, ненужные обращения по малозначительным вопросам в вышестоящие инстанции, стремление уйти от ответственности, переложить ее на чужие плечи. К сожалению, приходится с этим сталкиваться.

В своей практике старался поддерживать думающих, смелых, передовых людей. Знал, что это всегда окупится сторицей. Одно время, к примеру, узким местом по всему Приднепровью была у нас футеровка доменных печей. Узнав, что огнеупорщики из бригады И. Ф. Карпачева неизменно перевыполняют нормы, я отправился к ним. Застал рабочих на дне горна домны. Сели, закурили, разговорились.

— Печи мы выкладываем разные,— начал обстоятельно Карпачев.— Мартеновские, нагревательные, прокалочные, обжигательные. Много их в промышленности, и почти все надо футеровать. Эти еще не самые сложные.

— А собственно домен сколько вы выложили, Иван Федорович?

Ему пришлось загибать пальцы, столько их было в Кушве, Нижнем Тагиле, Кузнецке, Запорожье... Замечу кстати, что такие беседы должны быть неспешными, комкать их нельзя. Дескать, некогда мне, давайте побыстрее, ближе к делу! И если удавалось обычно найти с рабочими или колхозниками общий язык, то, видимо, потому, что они видели — интерес к их делам был у меня ненаигранный, я действительно получал удовольствие от таких встреч.

С той же подробностью Карпачев рассказал об организации труда, о прогрессивно-премиальной системе, принятой у них, о заработках бригады (суммы назывались, понятно, в старом масштабе цен).

— Вот вчера,— сказал он,— заработал за смену сто пятьдесят четыре рубля. Норма — шестьдесят девять кирпичей, а я уложил двести четыре.

— Втрое перекрыли!

— Почти,— кивнул бригадир.— Но можно и больше. Тихонов у нас дал триста пятьдесят процентов.

— А качество? — задал я вопрос.— Вы ведь укладываете лещадь, требования тут самые жесткие.

Рабочие переглянулись: поняли, что имеют дело не с профаном. Кладка лещади всегда считалась не только тяжелым, но и тонким делом. Шов между кирпичами не должен превышать полмиллиметра.

За каждым огнеупорщиком идет контролер и проверяет швы особым щупом. Ведь именно здесь будет собираться расплавленный металл.

— Точность в дозировке раствора,— сказал Карпачев,— вот главный секрет. Раствор у нас применяется жидкий, кельмой его не положишь. Каждый кирпич должен быть намочен с трех сторон. Многие и макают его три раза. А мы научились делать это одним движением.

Естественно, вникнув в суть достижений умельцев, стараешься сделать все для того, чтобы их «секреты» не остались секретами. Вскоре по моему настоянию инженеры Союзтеплостроя помогли И. Ф. Карпачеву описать приемы его труда, и они стали достоянием многих бригад — и в Запорожской области, и в Днепропетровской.

Встреч таких было множество. Если уж вырывался на завод или на стройку, то застревал там надолго и с людьми говорил, что называется, не на ходу. Помню, на шахте «Гигант», облачившись в горняцкую робу, пошел по штрекам, увлекся и пробыл с шахтерами часов пять или шесть. После этого легче понять настроения, запросы, планы людей.

На крупнейшем в области заводе имени Петровского, на знаменитой Петровке, бывал особенно часто. Случалось, в заводоуправлении ждали первого секретаря обкома, готовились к приездам. Но я шел не туда, куда приглашали, где, глядишь, и дорожку подмели, а сворачивал, скажем, за печи, где порядка как раз было меньше. Помогал опыт металлурга: в юности сам прошел на таком же заводе едва ли не все ступеньки — от кочегара до инженера.

Помогало это и в общении с рабочими. Побеседую с одной бригадой, с другой, встречу с горновыми, сталеварами, прокатчиками, с ними же пообедаю в заводской столовой. И чего не сказали бы в официальной обстановке, тут выложат с полной откровенностью. Потом обычно запирался в каком-нибудь кабинете на полчаса, на час, набрасывал тезисы и вечером на партактиве готов был не только ставить общие задачи, но привязывал их к конкретной обстановке данного предприятия:

— Будем, товарищи, говорить начистоту. Я вам высказал все, что думаю, теперь давайте и вы по-рабочему, прямо. Как нам улучшить дело? Что мешает? Где наши резервы?

Критика в таких случаях была не голословной, а предметной, следовательно, и конструктивной.

Читатели могут задать законный вопрос: легко, мол, было других воспитывать, а как сам автор воспринимал критику? Отвечу честно: тяжело воспринимал, да иначе, наверное, и быть не может. Критика не шоклад, чтобы ее любить. Только легкомысленный, пустой человек может слушать упреки, посмеиваться и тут же все выбросить из головы. Как-то мне пришлось специально затронуть эту тему на областной комсомольской конференции в Днепропетровске (февраль 1948 г.). Знаю, говорилось тогда, что нет среди нас такого человека, который бы сказал: завтракать не могу, если меня никто не покритиковал. Но критика создает у настоящих большевиков напористость, из недовольства рождается задор, стремление лучше работать.

Приходилось мне в жизни выслушивать разные замечания, и, как ни трудно иногда было, старался извлечь из них рациональное зерно, делал серьезные выводы, что в конечном счете всегда шло на пользу и мне самому, и делу. Однако критику сверху, в общем-то, все так или иначе принимают, куда сложнее обстоит с критикой снизу. Бывало, слушаешь сердитого оратора и даже ловишь себя на неприязни к нему: «Экая язва, как подковыривает!» Но положи руку на сердце

могу сказать: не было ни одного случая, чтобы после таких выступлений в мой адрес я изменил отношение к человеку. Всегда это оставалось без последствий.

В Днепропетровске мне особенно запомнились критические речи Николая Романовича Миронова, секретаря Октябрьского райкома партии. Человек был оригинальный, смелый, добровольцем ушел с пятого курса университета на фронт, прекрасно воевал, был тяжело ранен, но остался веселым парнем, хорошим спортсменом. У нас работал в большом вузовском районе, и, скажем, восстановление Дворца студентов было его затеей. Так вот, выступления Миронова на наших конференциях тоже отличались смелостью, остротой в постановке проблем. И если он говорил о недостатках в работе горкома или обкома партии, то не дипломатничал, не искал обтекаемых выражений, а называл имена конкретных работников, в том числе и мое имя.

Что тут скажешь? Слушал я подобные выступления, и казалось мне, что не во всем они справедливы, я ведь и сам с первого дня ставил эти вопросы, добивался того же, чего требуют ораторы. Однако, думал я, если они говорят об этом, значит, еще не добился. Со стороны видней. К тому же мне ясно было, что Миронов хочет поправить дело, болеет за дело, критика его продиктована только этим, и потому мое отношение к нему оставалось не просто хорошим, но, я бы сказал, дружеским — и в Днепропетровске, и позже в Москве, когда Николай Романович перешел на работу в аппарат ЦК КПСС, — до самой его трагической гибели в авиационной катастрофе.

Теперь покажу (по стенограмме), что говорилось в ответ на критику, скажем, на областной партийной конференции 1948 года:

«Тов. Брежнев: Я внимательно слушал все выступления и не ошибусь, если скажу, что критика причинила тому или иному работнику, тому или иному деятелю нашей областной партийной организации известные неприятности. Должен сказать, что во многих случаях я эту критику принял в свой адрес и также переживал, но мы должны из этой критики сделать для себя выводы. У нас, у большевиков, это недовольство, это внутреннее беспокойство должно, в свою очередь, вызвать инициативу, энергию в работе, стремление как можно быстрее исправить недостатки, которые подвергались критике. Я лично для себя делаю только такой вывод».

Не следует думать, что обилие критических замечаний свидетельствует о плохом состоянии дел. Соотношение как раз обратное: чем больше открытой, гласной критики, тем лучше идут дела. Труженики Днепропетровщины успешно завершили четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства. Посевные площади в нашей области превысили довоенные. Петровка, Дзержинка и многие другие заводы также превзошли довоенный уровень производства. Шахты Криворожья и Никополя были восстановлены и обеспечивали рудой металлургию Юга и Центра страны. Раны, нанесенные Приднепровью тяжелейшей из войн, были залечены.

Этап возрождения народного хозяйства мы к 1950 году, можно считать, закончили. К перечню дел первого секретаря обкома, которые отнюдь не сократились, прибавились новые интересные дела. Помню, часов до двух ночи сидели у меня актеры Театра имени Шевченко. Объясняли, почему нет классики в их репертуаре, жаловались, что очень трудно с декорациями, не хватает костюмов, и во все приходилось вникать, оказывать им помощь. В 1949 году у нас проводились всесоюзные соревнования по водному спорту, хлопот с ними тоже было много, но такие заботы, я бы сказал, не

тяготили, а, наоборот, радовали. Значит, пришло для них время и люди гянутся к культуре, искусству, спорту — это тоже свидетельство возрождения. Когда выдавались свободные часы, и сам, бывало, ездил на стадион. Особый интерес вызывали матчи давних соперников, футбольных команд из Запорожья и Днепропетровска — «Металлург» и «Сталь». И, говоря по чести, «болел» одинаково за тех и за других.

В моем кабинете все чаще стали появляться архитекторы со своими проектами, художники с эскизами оформления, режиссеры художественной самодеятельности, ректоры вузов, мастера спорта, ученые, педагоги, врачи. Добавлю к этому, что в ту пору я встретился с выдающимся руководителем чехословацких коммунистов Клементом Готвальдом. Несколько часов мы провели в товарищеской обстановке, он делился со мной планами развития социалистической Чехословакии, я говорил об углублении дружбы между нашими народами, вспомнил, как участвовал в освобождении Праги.

Сегодня подобные встречи — с друзьями из социалистических стран, гостями из развивающихся стран, представителями капиталистических государств — все шире входят в практику руководителей областных партийных комитетов, да они и сами все чаще выезжают за рубеж, что делает их работу еще более важной для партии и страны. Из собственного опыта я понял, сколь многое зависит от первого секретаря обкома, какой это сложный, трудный и, я бы сказал, ответственный пост в нашей партии.

* * *

Оглядывая свой путь, вспоминая годы, безраздельно отданные Приднепровью, могу сказать, что во второй раз породнился тогда с чудесным краем мощных предприятий и цветущих нив. Отраднo, что мне довелось потрудиться вместе с рабочими, колхозниками, строителями, инженерами, агрономами, учеными этой щедрой земли.

«Где родился, там и пригодился» — гласит русская пословица. Сегодня она, пожалуй, устарела. Сотни тысяч, миллионы советских патриотов по зову партии уезжают от своего порога, чтобы принять активное участие в преобразении страны, в строительстве коммунизма. И дважды родной, по-особому дорогой становится для них земля, с которой пережили они трудности и большие победы, на которой работали, к которой, как говорится, руки свои приложили.

Вот и я, когда приходится бывать в родных местах, не просто люблюсь красотой днепровских берегов, но вспоминаю: эта дорога прокладывалась еще при мне, и этот Дворец культуры строился в мою бытность, и эти заводы, электростанции, шахты, и эти городские улицы, и колхозные села — в них есть частица моего гряда, моих раздумий, моих волнений, бессонных ночей...



СЕРГЕЙ ОРЛОВ

★

ЮНОСТЬ, ВОЙНА И СЛАВА

Забывтый орудийный гром
Мне память по ночам тревожит...
Да, я не в силах об ином,
Да, я пишу о том и то же.
Мои старинные друзья,
Ровесники,

однополчане,
Из тех, кого забыть нельзя,
Тем паче обойти молчаньем,
Не вытирая с ног земли,
Шинелей не стряхнув при входе,
Какими в жизнь мою вошли,
В мои стихи сегодня входят.
Лишь час назад окончен бой
И через час опять сраженье...
Вновь дым газойля голубой
И башен тяжкое вращенье...
Поскрипывает тишина
Под коваными каблуками.
Встает ущербная луна
И разбивается о камень...
Пропахший порохом простор,
Полотнища зари и дыма,
Косматый ветер распростер.
Сквозь все пройти необходимо.
Огонь по плечи.

Снег по грудь.
Упала из-за туч ракета.
И вновь неповторимый путь
Ты повторяешь до рассвета.
И вновь лить кровь у Мги на мхи,
Тонуть на нарвской переправе...
Вот так рождаются стихи
О юности, войне и славе.

1945.

БЕРЕЗА

Тонкая российская береза
Посредине польмя, огня.
Ничего, что небольшого роста,
Кротко встала, голову клоня...

Падал, умирая, ветер сбоку,
Шел стеной расплавленный металл,
Будто бы коса траву осоку,
Убивал деревья наповал.
Вся была снарядами изрыта
Черная, чугунная земля.
Били танки кованым копытом.
Вкруг нее — долины и поля.
А она стоит себе простая,
Будто не бывало ничего,
Белая, лучистая, босая,
Вечной жизни свет и торжество.

1944.

МАТЬ

Она молилась за победу,
Шесть сыновей на фронт ушли.
Но лишь когда упал последний,
Чтоб никогда не встать с земли.
Победа встала на пороге,
Но некому ее встречать...
«Кто там?..» — спросила вся в тревоге
Ослепшая от горя магь.

1945.

ВЕСНА

Вокруг весна беспутная легла,
От нетерпенья жгучего дрожа,
И даже медь на гильзах зеленела
И прорастали бревна в блиндажах.

И мы стояли над могилой кругом,
Она, как двери рубленой проем,
В тот мир, откуда нет возврата другу,
Где и весна и зелень — ни при чем.

Ему теперь ни осени, ни лета
Не увидеть над самой головой,
Навек в шинель сосновую одетый,
Он навсегда расстался с той весной.

1943.

ПОДО МГОЮ

На старый рубеж подо Мгою
Пришел на рассвете солдат.
Места отшумевшего боя
В тиши и туманах лежат.
Он здесь воевал в сорок третьем,
Но память была ни при чем,
Когда он увидел, как ветер
Взмахнул над лесами огнем.

В атаку высокие ели
 Пошли полукругом вперед
 В тяжелых зеленых шинелях,
 Забрызганных грязью болот.
 Косматыми взрывами сосны
 Взлетают над черной землей,
 В бинтах умирают березы,
 Гремит нескончаемый бой.
 А ели в атаку в долинах
 Идут и идут на ветру,
 И флагом багряным рябины
 Над дотом горят на бугру.

1945.

СКВОЗНЯК

Я словно опустевшая квартира,
 Откуда за полночь ушли друзья.
 В ней происходит перестройка мира,
 Которую откладывать нельзя.
 Передвигаю вещи и предметы,
 Сор выметаю. Убираю дом.
 Переключаю свет. Поменьше света.
 И больше трезвой ясности притом!
 Слова, слова... Они еще клубятся,
 Как дым несвежий старых сигарет,
 Даешь сквозняк!
 Пусть ветер с Петроградской
 Обдаст прохладой стены и паркет.
 Но главное не в этом. Тихо стало.
 С Невы влетел и зазвучал во мне
 Крик чайки. Отдаленный гром вокзала,
 Стук каблучков, как строчка в тишине...

1950.

ПОДНЯТЬСЯ И ПОЙТИ

Мы не пытались в жизни окопаться,
 Нас мало уцелело под огнем,
 Мы думали немного отдышаться,
 Но вот уже опять гремит подъем.

Выходим мы в последнюю атаку,
 Как в сорок первом вышли в первый раз,
 По грозному пылающему знаку
 И мой сегодня наступает час.

Собратся надо, чтобы встать, подняться
 И не кричать ни здравствуй, ни прости...
 Пускай совсем не так, как в восемнадцать,
 Но надо встать, подняться и пойти...

ДЕНЬ

Я много раз в пути встречал рассветы.
 Еще темно и сыро у земли,
 Но в высоте, сияньем дня задемы,
 Вершины сосен небо подожгли.
 Еще звезда летит не потухая
 Пушинкой одуванчика на нем,
 Но облака, поляна золотая,
 Полны живым трепещущим огнем.
 И пусть с высот нисходит день на травы,
 От облака, от опаленных крон.
 Все тонет в нем, на то имея право,
 Иначе б днем не назывался он.

ТИШИНА

Вода и небо воедино
 Слились в сплошной голубизне,
 И облака недвижно стынут
 В спокойной древней вышине.

Вода, как воздух, невесома,
 Как светлый вымысел, ясна.
 И над безбрежным окоемом
 Плывет далекая луна.

Березы вдаль по побережью
 Идут неслышны и легки,
 Лишь где-то в тростниках прилежно
 Посвистывают кулики.

И тишина вокруг такая,
 Что слышно мне, как пух летит,
 Как рядом сердце замирает
 И кровь в висках твоих стучит.

.

И вдруг нахлынет, вновь пойдут слова,
 И тайный трепет вновь охватит душу,
 И захмелеет разом голова,
 И полночь вдохновенья не нарушит...

Быть может, предок дальний по реке
 Плыл поутру и слушал скрип уключин,
 Увидел дым становья вдалеке,
 Холм, облака — весь мир в красотах жгучих,

И вдруг запел, и звук пленил его,
 Заныло сердце неизвестной властью...
 Вот так и ты — творишь, и ничего
 Нет выше для тебя, чем это счастье.

НАВСЕГДА

Стал я стар не душой, не телом,
И неведом покой душе —
Дела главного я не сделал,
А пора уходить уже.

Остаются леса и доли,
Солнце в небе и города,
Светло-светлый мир и веселый,
Что вошел в меня навсегда.

70-е годы.

* * *

До вершин занесена снегами,
Холодна, пустынна и кругла,
Голубыми легкими тонами
На равнинах серебрится мгла,

Где сугробов голубые башни
До небес не достают чуть-чуть...
Будто дымный след пурги вчерашней,
Распластался длинный Млечный Путь.

Затеряться б в призрачном сиянье
И потом еще раз, в век иной,
Пролететь над спящим мирозданьем
И погаснуть на земле звездой...

РОМАНТИКА

Когда качнется дымный берег
И чайки вдруг поднимут крик,
Хочу в неведомое верить
И думать вновь, что мир велик.

Что есть еще в туманной дали
Архипелаги, острова,
Каким названья мы не дали,
И что романтика жива...

Как мало нам бывает надо,
Чтоб вдруг увидеть мир иным,—
Лишь ветра влажного прохладу,
На горизонте синий дым,

Пусть будем мы в лесах, в пустыне
Давать названья городам,
Пусть много дел на свете ныне,
Иным моря повеют нам.

Мы скажем с завистью: ведь было —
Давали землям имена,
В неведомое заносило
Морепоходцев по волнам...

Как к морю мы, он к лесу тоже
Однажды тихо подойдет.

Все так же будут в хвойной дреме
Шуметь деревья и трава,
И он решит, что мир огромен
И что романтика жива.

1945.



ЮРИЙ НИКИТИН

★

ГОЛУБОЙ КАРАНТИН

Рассказ

Писатель Юрий Никитин хорошо уравновешен для серьезной работы: богатый жизненный опыт и все крепнущий навык правдивой лепки характеров без насилия над природой и социальной самовитостью человека. У него есть о чем поведать читателю. Был он военным летчиком-истребителем, летал на реактивных. После демобилизации окончил Саратовский университет по филологическому факультету. «До университета мне казалось, что я знаю все о литературе, необходимо только формальное закрепление этого ощущения дипломом. Но годы учебы дали понять мне, что я ничего не знаю и писать не умею». В этом его писательская строгость и требовательность к себе. И среди ярких, своенравных героев его рассказов устойчиво живут люди, которых «вечно стерегло сознание внутреннего несовершенства своего».

В 1974 году вышла книга его «Цвет неба»; рассказы печатались в Болгарии и Чехословакии. Никитин работает в полную силу своего взыскательного дарования, работает по принципу, высказанному одним из героев рассказа «Голубой карантин», капитаном Алентьевым: «В авиации надо летать, а не делать карьеру».

Г. Коновалов.

1

Трапезников принадлежал к той редкой в военной среде категории застенчивых людей, которые будто удивлены окружающим их множеством сильных характеров. Застенчивость Трапезникова проистекала скорее из внутреннего такта, а не из замкнутости, и за долгие четыре года авиационного учения он так и не научился приказывать. И вот теперь, выгрузив из машины завтрак для летчиков — термос с какао и бутерброды с сыром, и тем исполнив нехитрую обязанность помощника дежурного по полетам, он сидел на подножке стартовой радиостанции, размышляя о своих невоенных качествах. Как-то помимо сознания он ощущал вокруг себя прозрачный день бабьего лета и видел белые облака в небе и низко над самой землей белую толстую паутину, и далеко в степи огромную стаю скворцов, улетающих на юг, стая то растягивалась, то собиралась в огромный черный клубок; он, привыкнув, почти не слышал рева турбин взлетающих самолетов, и деловые голоса переговаривающихся по рации людей не касались его слуха. Трапезников думал о себе и еще о развзке той смелой и в то же время странной истории, в которой он сам и был виноват.

Вина его заключалась в легкомыслии, а легкомыслие в том, что на одном из вечеров в офицерском клубе он поспорил с Борисом Вотинцевым, что «обаяет» Зойку — женщину своенравную и красивую. Вотинцеву не хватало роста, чтобы приударить за Зойкой, а Трапезников, воспитанный в семье интеллигентной, таких женщин побаивался. Глупый спор тут же и состоялся за одной из колонн

танцевального зала, по другую сторону от сидящей в кресле Зойки, смеявшейся излишне громко тому, что ей говорил огромного роста солдат; спорили на двенадцать бутылок шампанского, которые проигравшийся должен был выставить в поезде, когда оба поедут в первый свой офицерский отпуск. Пospорили со скуки и от беспечности, которые всегда сопровождают жизнь в голубом карантине, и еще потому, что молодые летчики всегда немного пижоны и гордецы, причисляющие себя к касте избранных, но все в них искренне и мило — и любовь к небу и снисходительность к земле.

Когда Трапезников, длинный, худой, нескладный, вышел из-за колонны и смешной, прыгающей походкой направился через шумный зал к Зойке, он уже раскаивался и сердился на Вотинцева, но ступить было поздно, и он пригласил ее на танец... Как потом хватило ему решимости попроситься проводить ее? Впрочем, кажется, она сама его попросила. И опять потом, уже не ради спора — шут с ним, с этим спором, и помыслами, которых на самом деле не было, и этим дурацким шампанским! — а из одного только желания не обидеть женщину, он пришел к ней на свидание, да еще с букетиком ромашек, которые, боясь насмешек, нес за пазухой гимнастерки...

В неприятностях слабые люди чаще всего винят время и обстоятельства, забывая, что время течет так, как ему положено природой, всякие же обстоятельства человек готовит себе сам. Во всяком случае Станислав Трапезников обвинял теперь себя, а не беспечное колоритное время голубого карантина, в котором все простительно.

Есть просто карантин: он начинается, когда хмельной и бритый наголо новобранец, распрощавшись на вокзале с родными, друзьями и девчонкой, которая обещает ждать, просыпается поздним утром в вагоне и вдруг осознает необычное состояние — он еще не солдат, но уже и не вольная гражданская личность, которой был вчера, при выкшии слушаться только самого себя, он взъерошивается от покрякиваний парня в армейской форме с тремя лычками на погонах, гражданская натура его протестует и огрызается; но на то и существует этот карантин, чтоб новобранец ощутил всю неприкаянность своего положения и начал бы томиться по прочно-устойчивой жизни — в жесткой шинели и тяжелых кирзовых сапогах. И есть карантин голубой, в авиации, названный так, вероятно, по цвету кантов на золотых погонах, которых каждый ждет с великим нетерпением, а время будто остановилось: ты уже не солдат, точнее не курсант, но еще и не офицер, в тебе еще бродит беспечность прошлого, но и подступает ответственность будущего. Какая-то неделя, от силы две отделяли Трапезникова от светлого и долгожданного будущего, и Трапезников с каким-то даже наслаждением ходил последние дни в замусоленной солдатской робе, выгоревшей до горохового цвета, с белыми солеными разводами от марш-бросков, в масляных пятнах от самолетной смазки и в стоптанных сапогах, проширканых до дыр в щиколотках... Но ведь Зойка — не проширканые сапоги, которые нужно сдать прапорщику перед уходом в будущее...

— Станислав! Подлетнуть не желаешь?

Отвлеченный от невеселых дум неожиданным окликом, Трапезников повернул голову и встретился с усмешливым взглядом капитана Алентьева; тот стоял возле стартового домика, темнолицый, как крестьянин, с глубокими морщинами на щеках, обнажающих летнюю старость, с сетчатым шлемофоном в руке и, цыкая, чистил спичкой безукоризненно белые зубы.

— Ну? Спишь, что ли?

— Думаю, — виновато сказал Трапезников, улыбаясь и тут же

забывая свои волнения.— Конечно, полечу, Владимир Петрович! Разве надо об этом спрашивать?

— У меня полет на отказ двигателя. Но на боевом что-то щиток полностью не выходит, и надо лететь на спарке. На ней вдвоем привычнее.

— Мне во второй, за пассажира?

— Валяй сам,— поразмыслив, сказал капитан.— Мне уже этот полет ни к чему. Тренируйся.

Алентьев отшвырнул спичку, и они пошли к заправочной, где в ряд стояли реактивные истребители.

— У меня же шлемофона нет,— спохватился Трапезников.

— Найдем. Ты вот что, не забыл, что нужно делать при отказе?

— Нет, все помню.

— Ошибки Жигалина помнишь?

— Тоже помню.

— Время до вылета пока есть, проверю. Напутаешь, выгоню из кабины...

О катастрофе с Жигалиным, которая произошла несколько лет назад, знал каждый последующий выпуск, на ней капитан Алентьев учил Трапезникова и других ребят своей летной группы не терять самообладания в воздухе. «Сначала Жигалин сделал одну ошибку,— рассказывал капитан, оглядывая всех сердито, исподлобья,— слишком резко убрал газ на петле. Двигатель, естественно, заглох. Ошибаются все, но исправляют. Тот, кто теряет самообладание,— сыграет в ящик... Боясь малой скорости, чтобы не свалиться в штопор, Жигалин слишком разогнал машину— это его вторая ошибка, потому что запустить двигатель на такой скорости невозможно. Затем он допустил третью, грубейшую— в спешке бестолковых запусков перепутал бетонную полосу с заветрившейся пахотой километра в пятнадцать от аэродрома и стал сажать машину на поле, на брюхо. Но перед посадкой он сделал последнюю, роковую ошибку: не выключил аккумулятор, не разгерметизировался и не открыл фонарь. Посадил он хорошо, но из-за повышенной скорости удар был очень жестким. Он ударился лбом о прицельную подушку и потерял сознание. Его еще могли спасти колхозники, прибежавшие с картофельного поля, если бы они знали, как открывается фонарь. При посадке на брюхо рвет керосиновый бак. А Жигалин аккумулятор не выключил. Вот вам замыкание и пожар. Когда колхозники увидели, что кабина наполняется дымом, они стали бить по фонарю лопатами, чтобы спасти летчика. И хотя это очень трудно сделать они все-таки пробили дыру, но поздно. Горящий керосин подтек под пиропатрон, и Жигалина выбросило из кабины катапультной. Вот и все... А когда прилетели с аэродрома, он еще дышал и сердце у него билось долго. Он умер в госпитале, не приходя в сознание. Это был парень не трус. Но он наделал слишком много ошибок для одного полета. Мотайте на ус».

— Залезай в кабину, рассказывай и показывай все, что положено. У тебя в верхней точке петли остановился двигатель.— Сидя на верхней перекладине стремянки, капитан надвинул свою фуражку на глаза Трапезникову, чтобы он делал все вслепую, и, облокотившись о борт кабины, долго и придирчиво слушал.

Потом капитан сел во вторую кабину спарки, и они взлетели.

Самолет оторвался от земли, и Трапезников готов был запеть от восторга: удалось сорвать один лишний полет, да еще в голубом карантине, когда остальные ребята томятся бездельем в надоевшем многолюдстве большой казармы: ему здорово повезло, и он летит и смотрит на удаляющуюся землю, на военный городок, на виляю-

щую ленту серебристой реки, шахматные квадраты полей и далекую резкую линию горизонта. На ум Трапезникову пришли строки стихов, и он стал читать вслух, невольно покачивая в такт головой..

— Ты чего головой мотаешь? — спросил его капитан по переговорному устройству.

— Так,— смущенно пожал плечами Трапезников, уличенный в земной забаве, и признался: — Стихи читаю.

— Ну-ка.

— «Не потеряв, ищу чего-то, молчу натянутой струной, и ожиданием полета мне ломит крылья за спиной».

— В полете больше старайся не читать. Гробанешься. Брось-ка управление, я тебе сейчас покажу полет с крыльями за спиной.

Капитан Алентьев свалил машину в пологое пикирование и змейкой погнал ее под большое мощно-кучевое облако, снежной искристой горой висящее среди океана голубого воздуха. Когда машина нырнула в сумрачную подоблачную тень, он круто взмыл вверх, пронизав белую гору насквозь, и покойно висящее облако забурило, заклокотало, взбудораженное раскаленной реактивной струей. Плавной нисходящей спиралью капитан облетел клубящееся месиво тумана, на котором то вздымались, вырастая, белоснежные утесы, то обрушивались и разверзалась пропасть с отвесными стенами, открывая на миг желто-зеленую пятнистую землю; во втором открывшемся тоннеле блеснуло солнце, и капитан бросил в него машину и проскочил в синее небо раньше, чем сужающийся тоннель сумел поглотить его. Поднявшись к вершине облака, капитан положил машину на спину и, почти касаясь фонарем сверкающей поверхности, описал вокруг облака петлю, пошел на вторую и сказал, чтобы Трапезников брал управление. Подумав, что капитан и ему разрешил поиграть с облаком, Трапезников опустил ноги с подножек кресла на педали и, почувствовав, что скорость падает, хотел двинуть вперед сектор газа, но его будто заело. Он сильнее надавил на рукоятку.

— Отлочишь ты ее. У меня ж двигатель остановился,— услышал он насмешливый голос в наушники.

— Забыл. Увлекся.

— Сам выкручивайся.

Доли секунды провозился Трапезников с газом, а самолет уже завис в верхней точке петли и провалился в облако. Оба летчика отделились от сидений и уперлись головами в фонарь, с пола кабины в лицо, в глаза посыпалась пыль. Трапезников выбрал слабинку ручки и, когда оба плюхнулись в сиденья, подумал, что капитан по обычной своей манере начнет сейчас материть его, но Алентьев смолчал. Он смолчал потому, что тряс головой, стряхивая пыль, еще потому, что поставил завтрашнего лейтенанта в слишком сложное положение и теперь хотел, не мешая, поглядеть, как тот из него выкрутится. И Трапезников, несмотря на то, что провалился в облако, выкрутился, точно рассчитал планирование и посадил машину на аэродром.

— Ни одной жигалинской ошибки не допустил, а завис. Чуешь, чем могло кончиться? Перевернутым штопором! Хорошо, что не торопился выводить,— сказал капитан Алентьев, когда они вылезали из самолета.

— Я это знал.

— Знал он! А чего рот разинул? В воздухе ко всему надо быть готовым. Ладно. На земле ты чертовски нескладный какой-то, но в воздухе хорош. Я доволен. Ну, иди к гаврикам. Можешь похвастаться, что сам летал.

- Они умрут от зависти,— засмеялся Трапезников.
 Алентьев, увидев подошедшего техника, сказал сердито:
 — Кабину пропылесось. Бардак какой-то, а не кабина.

2

До того как проснуться, Трапезникову привиделся дождь за окном, слышен был даже стук капель по жестяному карнизу, и полет в облаках, только летит он не в самолете, а сам по себе, как птица или рыба в прозрачной воде. Назойливый стук капель мешал его игре с облаками, Трапезников сделал усилие, чтобы остаться в приятном сне, и проснулся.

Дождя не было. Но серая сырая пелена облаков уползала с неба после ночного осеннего дождя. Сунув ноги в сапоги, Трапезников распахнул окно и вдохнул холодный свежий воздух, показавшийся особенно свежим после настоявшегося за ночь сырого духа казармы. Внизу, на плацу и на асфальтовых дорожках, стояли лужи. С высоты третьего этажа Трапезников как бы вновь оглядел весь военный городок, изученный до мелочей, с офицерскими домами, учебными корпусами, солдатскими казармами, столовыми, магазином, клубом, а рядом с зеленым городком лысое, выжженное огнем реактивных турбин поле аэродрома и торчащие хвосты самолетов на стоянке — и почувствовал облегчение от мысли, что скоро он со всем этим расстанется.

Городок просыпался. От проходной не спеша шагал прапорщик Меняйло в хромовых сапогах с галошами; последнее время он позволял себе опаздывать к подъему эскадрильи. Растянутой цепочкой, обходя лужи, пошла смена часовых, один заспавшийся солдат отстал и догонял их вприпрыжку. Потом из караулки вышел выводной с автоматом за спиной, зевнул, поговорил о чем-то с часовым под грибком и стал отпирать гауптвахту; он вывел оттуда пятерых и повел их в сортир по другую сторону плаца, они брели не торопясь, в гимнастерках без ремней, глаза по сторонам и на небо. В казарме тоже некоторые уже неприкаянно шатались между длинными рядами двухъярусных коек; кажется, что Борис Вотинцев и Кокурин чего-то колдуют возле койки Хлынова, подходили и, улыбаясь, оставались в ожидании очередного утреннего развлечения. Быстро работая иголками, Вотинцев и Кокурин пришивали к матрацу края одеяла, под которым спал невозмутимо похрапывающий Хлынов; все величали его Федором Ивановичем, потому что он был старше других года на три-четыре, женат, пришел в авиацию не со школьной скамьи, а после колхозного бригадирства, еще потому, что был он молчаливым, дисциплинированным и необидчивым. Вот его-то Вотинцев и избрал для своих проказ.

— Полк, смирно! — крикнул дневалящий Кокурин и, потопав на месте, громко продолжал: — Товарищ полковник, во время дежурства никаких происшествий не произошло. Полк находится на завтраке.

— Вольно, — напыжив горло, Вотинцев очень похоже воспроизвел низкий голос командира полка. — Это хорошо, что никаких происшествий.

Федор Иванович дрогнул в пододеяльной темноте и замер, сообщая свое положение, потом он попытался руками отбросить одеяло, не получилось, и он снова затаился, видимо, решив выждать, когда командир полка уйдет. Но шаги приближались.

— А это кто до сих пор спит? — пробасил Вотинцев.

— Хлынов, товарищ полковник. В дождь Федора Ивановича ни-

как не разбудить. У него, наверное, при дожде сонная болезнь начинается,— с холодным удовольствием импровизировал Кокурин.

Все стояли вокруг, зажав рты ладонями.

— Я вот ему дам болезнь. Поднять живо!

— Драться будет, товарищ полковник!

Но Федор Иванович уже не слушал, он ворочался под одеялом, отыскивая выход, пока не догадался разорвать нитки. Лицо его было красно от духоты и усилий, он ошалело таращился по сторонам, еще ничего не понимая и моргая длинными белыми ресницами, а вся казарма повалилась в смехе. Глядя на общую потеху, и Хлынов стал улыбаться.

— Федор Иванович, зачем ты терпишь? — поморщившись при виде этой мягкой улыбки, упрекнул его Трапезников.

— Обижаться на шутку не надо,— проговорил Хлынов.— Мне ведь и самому смешно. Проснулся и не пойму, что возле меня творится.

Все эти забавы казались Трапезникову грубыми, ему становилось обидно за Федора Ивановича и как-то даже жаль его; но, действительно, что бы он сам на его месте сделал? И стань он сам предметом вот таких проказ, он, пожалуй, тоже только бы улыбался; ведь если скучно и если представилась возможность, грешно не посмеяться, особенно в голубом карантине.

3

Метров за пятьдесят до столовой прапорщик Меняйло, шагавший позади эскадрильи, забежал вперед и скорее попросил, чем приказал:

— Подтянись, эскадрилья!

Строй уплотнился, послышался убывающий разнобой усердного в топоте шага.

— Нож-ку! Нож-ку! — тягуче выкрикнул прапорщик, будто репетировал с балетной труппой.— Р-ряс-ва! Р-ряс-ва!

Теперь эскадрилья печатала шаг по мощенной булыжником дороге, сотрясая сырую осеннюю землю, кусты акаций и волчьей ягоды, стены столовой. Гул слитного мощного шага катился по городку. На столах звякали вилки и пробки в графинах, официантки глазели в окна.

— Стой! — испуганно, будто совершая святотатство, вскрикнул прапорщик и замер. Склонив голову набок, он некоторое время слушал, как затухает вдали эхо строевого шага, толстое лицо его расплывалось от удовольствия, и он сказал совсем мирно: — Разойдись.

И уже не сердился на гомон и толкотню в дверях столовой, на весь тот нетерпимый беспорядок, которого не должно быть, но который есть, потому что власть его, по сути, кончилась и он, старый служака, скоро вынужден будет первым козырять при встрече молодому офицеру. Раньше Трапезников трепетал при одном звуке его голоса; да что Трапезников — все. Подними они вот такой гвалт раньше, Меняйло вывел бы их из столовой и на потеху официанткам прогнал раз пять мимо окон, да с песней, да чтоб весело, чтоб звонко и игриво. А зимой! Зимой он мог положить эскадрилью в снег — и по-пластунски вперед сто метров марш! — и все ползли, утопая в сугробах. Он мог все. Трапезникову вспомнилось, как однажды прапорщик вызвал его и Кокурина из клуба с кинофильма и заставил поливать цветы у казармы, хотя накрапывал дождь, а потом разра-

зился настоящий ливень, и все потому, что, сдавая дежурство, они увидели тучу и не стали поливать клумбы. Меняйло мог все и теперь, но не желал напоследок цепляться за уходящую свою власть, считая, вероятно, что главная его заповедь — прежде чем сесть в самолет, надо сделать три строевых шага — усвоена курсантами по гроб жизни.

За своим столиком, в углу под пальмой, Трапезников, Вотинцев, Кокурин и Федор Иванович сначала разыграли плитку шоколада, которую положено делить на четыре части, но делить и мало и неинтересно. Это тоже каждодневное развлечение в голубом карантине: стучать яйца попками — Трапезников с Федором Ивановичем, Вотинцев с Кокуриным, потом стучаются оба финалиста — честнейшая, без судей и пристрастий олимпийская система. Трапезникову досталось крупное коричневое яйцо с прочными стенками, и хотя ему теперь особенно было не до забав, он выиграл шоколад. Выиграв, он собрался машинально сунуть плитку в карман, чтобы потом отдать ее Зойке, но передумал, подержал в руке и снова положил на стол.

— Слушай-ка, Стас, хочешь я затолкаю яйцо в графин? — объявил Кокурин. — На спор, а? На твой миротворческий шоколад?

— Чего ты так за мое примирение переживаешь? Вам-то не все равно?

— Не хотим терять члена офицерского холостяцкого клуба. Ну, спорим?

— Спорь, Стас. Тебе везет, — подзадорил Вотинцев. — Будет с чем шампанское пить.

— Я соглашаюсь только из любопытства, — сказал Трапезников, загадывая про себя: если яйцо не пролезет целым, а это ж почти наверняка, то он женится на Зойке, а если пролезет... впрочем, это невозможно.

Оглядевшись по сторонам, чтоб не видел Меняйло, Кокурин вылил под пальму воду из графина, сунул внутрь клочок зажженной бумаги и заткнул горлышко очищенным яйцом. Чуть не вся эскадрилья собралась возле их стола наблюдать за фокусом. Какие-то доли секунды яйцо было неподвижным, но когда бумажка внутри погасла, когда от нее потянулась сизая струйка дыма, оно вдруг начало вытягиваться, всасываясь в горлышко, пошло быстрее и с чмоканьем проскочило в графин.

4

После завтрака Трапезников вышел раньше других, чтобы коротко объяснить с Зойкой, и, обогнув столовую, направился к другому входу, уступив дорогу ефрейтору и огромному, в гимнастерке распояской, заросшему пегой щетиной стройбатовцу Додонову, несшему зеленый металлический термос с кашей и тяжелый литой чайник с чаем. Первый раз так близко увидел Трапезников своего соперника и особенно поразился даже не ростом солдата, а сапогами его — размера необычайного. Странная эта пара о чем-то спорила, и видно было, что маленький, щуплый и какой-то кукольный казах-ефрейтор вовсе не боится огромного солдата.

— Вот двину чайником, и душа из тебя вон! — грозился Додонов мирным голосом. — Поговорить с человеком нельзя, что ли?

— Дай, дай. Сидеть будешь.

— Я уж сижу, дура.

— То гауптвахта, а ты тюрьма сядешь, — сказал ефрейтор, но

для острастки сдвинул автомат из-за спины на грудь и положил палец на спусковой крючок.

— Тю! — добродушно сказал солдат. — Посажу я тебя на губу, Рамазан. Сегодня и посажу. Шибздик ты, а вредный, как... как... Уж я потешусь. Попомни!

— Гауптвахта не посадишь. Я хорошо службу служу. Меня командир десять суток домой отпускает.

Стройбатовец и ефрейтор повернули за угол на дорогу, а Трапезников задержался у двери.

В узком сумеречном коридорчике с тусклыми, пыльными окнами громоздились вдоль стены пустые деревянные и картонные ящики, слышался шум горящего под плитой газа, шипение жаркого, несло смешанным запахом готовой пищи, всегда неприятным сытому человеку, доносился звон тарелок, журчанье и плеск воды, бречанье ножей и вилок. Трапезников открыл дверь с надписью «Посудомойка», и в ноздри ему ударил густой серый пар, в котором, казалось, плавали оранжевые капли жира. Сквозь полутьму у чанов виднелись три женские фигуры. Трапезников легонько свистнул, подражая переливчатому свисту иволги, и женщины оглянулись, не оставляя работы.

— Еще один явился, — сказала одна.

— Чем ты их приваживаешь, Зойка? — засмеялась другая.

Зойка вышла из облака пара и ногой захлопнула за собой дверь. Лицо ее с худыми щеками блестело, распаренные голые руки она держала на отлете, а по ним и по глухому, до полу, клеенчатому фартуку скатывались маслянистые серые капли, и все-таки она оставалась красивой. Трапезников забыл и слухи, что ходили о ней по городу, и желание свое кончить все разом, одним коротким объяснением — и улыбнулся ее улыбке.

— Я б тебя поцеловала, да видишь, какая я. Ты чего сюда-то пришел?

— Давно тебя не видел.

— Так ты чего ж, дорогу ко мне забыл?

— Нет. Не забыл.

То, что он намеревался сказать ей, как-то неловко показалось ему говорить в этой глупой обстановке, да еще когда они оба улыбаются и рады, что увиделись; он почувствовал, что у него нет сил, нет решимости выговорить, выдать из себя подготовленные грубые, жестокие слова, оскорбительные не сами по себе, а по смыслу. — Что с тобой, Стасик? Надутый какой-то.

Она все еще улыбалась, хотя в глазах ее проглянул холод. И вдруг Трапезников совершенно ясно осознал, что она все прекрасно понимает и только чуточку хитрит, не желая ему помочь и ожидая, чтобы он сам сказал эти слова, а она послушает, какие они будут. Невероятной силы жар захлестнул глаза до боли, и на них выступили слезы. Никогда в жизни ему еще не было так стыдно, как сейчас. Зойка отвернулась и стала глядеть в окно, сквозь которое ничего нельзя было видеть, и Трапезников понял, что она вовсе не хочет тешиться его позором. Чтобы быстрее овладеть собой, он достал сигарету и закурил.

— Знаешь что, милый Стасик, — сказала Зойка, все так же глядя в окно, — приходи сегодня... Последний раз. Я скоро замуж выйду.

— Да?

— Ты ведь на мне не женишься. Ты про это шел мне сказать?

Дверь посудомойки приотворилась, и вместе с клубом пара высунулась голова одной из женщин.

— Мы что, одни за тебя подрядились работать?! Кончай тут свои шашни.

— Приходи. Последний раз... Господи, как мне хочется тебя обнять! — И она засмеялась, оглядывая фартук и руки. — Ну иди, иди.

Закрыв за собой дверь, Трапезников отшвырнул сигарету, вдохнул свежий воздух, почувствовал величайшую легкость свою и побежал догонять эскадрилью, пытаясь достать пальцами высокие ветки деревьев и посвистывая иволгой.

5

— Рад? Простился? — заговорщицки подмигнул ему Меняйло, когда Трапезников догнал строй.

— Это вы о чем? — не сразу догадался Трапезников.

— Ты мне мозги не крути. Мне это не нравится. Из вас какой еще чего только надумал, а я уж чую. Я вашего брата, архаровца, насквозь чую, — самодовольно сказал прапорщик. — Знаю даже, чего она тебе сказала.

— А что она мне сказала? — все больше удивлялся Трапезников.

— Да что. Что ты на ней все равно не женишься. А потому она замуж за Додонова выходит, стройбатовца. Из тех, кого к нам пригнали бетонку удлинять. Так? Так. Я ж говорю, что знаю, — хлопнул прапорщик его по спине и снова подмигнул.

— Фамилию она мне не назвала.

— Неумный мужик, этот Додонов. Полслужбы на гауптвахте просидел. Ну, становись в строй.

Высоким и чистым тенором Кокурин пел гимн голубого карантина — старую-престарую авиационную песню.

Вместе служили мы в летной школе той,
Он в первой эскадрилье, а я во второй,
И вы не удивляйтесь, чудес на свете нет,
Он тоже кончил школу семидесяти лет.

Последние тучи ушли с неба, светило солнце, и дул хороший сухой ветер. Трапезникову было весело и свободно, и, когда Кокурин допел до конца, он рывкнул припев вместе со всеми:

Дедушка-летчик — так будут звать меня.
На голубых погонах нету ни шиша.
Всю свою службу курсантом прослужил —
Во многих летных школах стоянки сторожил.

Возле казармы прапорщик Меняйло остановил эскадрилью и сказал:

— Кто еще не примеривал офицерские мундиры — три шага вперед шагом марш! Для остальных объясняю распорядок дня: до обеда... — Меняйло сделал паузу, прислушиваясь к начавшемуся ропоту в строю, — свободные, после обеда еще свободней. — И засмеялся, довольный своей шуткой. — Р-разойдись!

На последней примерке Трапезников не был и не видел еще офицерского костюма готовым, поэтому ему не терпелось надеть темно-синий мундир и фуражку во всем стеснительном великолепии золотого блеска позументов. На пути к вот этому блеску парадной формы самым трудным было не небо и не учебные классы с философией, формулами баллистики, бесчисленными деталями двигателей самолета, невидимыми волнами эфира, а вот этот плац, по которому

он идет сейчас к вещевому складу,— голая, намертво вытоптанная плешь земли, где они, курсанты, маршировали, рапортовали, ползали по-пластунски, обучались штыковому бою и истерли, выбили сапогами, выскребли бедный клочок земли так, что и весной на нем не пробивалось ни травинки...

У распахнутых дверей склада их встретил закройщик — худой подслеповатый старик, настолько сутулый, что, казалось, будто его маленькая сухая головка на тонкой морщинистой шее торчит из середины груди и в случае опасности может спрятаться в ней, как в черепашьем панцире; нескладность старика и его неряшливость были особенно заметны, потому что рядом стояли крепкие, здоровые парни. Но это был и самый знаменитый в городе человек по портняжному делу; говорили, будто все уважающие себя мужчины заказывали костюмы только у него, но профессиональной страстью старика были военные мундиры, и к осени он отказывался от любых соблазнов, доплат и шил только на молодых летчиков. Закройщик вытащил из кармана толстую тетрадь, развернул ее на нужной странице, потом суетливыми шажками направился к висящим на плечиках костюмам, прочел вслух фамилию Вотинцева и понес его отутюженную форму к зеркалу. В нетерпеливом ожидании ребята остались в полупустом холодном отсеке склада, а Трапезников вышел курить. Пока не приблизилась очередь, он сел прямо на землю, испытывая даже наслаждение от ненужности теперь заносенной своей робы и уважительное пренебрежение к ней, оперся спиной о белые кирпичи складской стены и закурил.

Сначала он ни о чем не думал, просто сидел и курил, и смотрел на солдата-собаководов, не спеша обходящего длинный ряд дощатых домиков, в которых дневали сторожевые овчарки. Потом поползли неясные обрывочные мысли; они тянулись вяло, лениво, мысли ни о чем, пока не мелькнула в них Зойка. Ему вспомнилось, как он впервые остался у нее, и свое смущение оттого, что за тонкой перегородкой другой половины хаты был еще один человек — бабка, которая могла все слышать, и удивление, что Зойку это обстоятельство несколько не волнует, и свою стыдливую податливость в открытии ночной человеческой жизни; еще вспомнился ему зеленый глаз радиоприемника с какой-то, вероятно, музыкой, но теперь ему казалось, что никакой музыки, никаких звуков вообще не было, просто в полной тишине и темноте маленькой хаты горел зеленый электронный глаз...

Каждый живет собственными ощущениями и оценками, а не чувствами, как бы правильны они ни были. Трапезников понимал, что многие будут пожимать плечами, если он женится на Зойке, но понял и другое, что не может уехать просто так, тихо и подло. Смелость и осуждать будет первое время, а потом начнут завидовать, что у него такая красивая жена. Кому какое дело! — сказал он себе. Плевать на всех! Но беспокоила встреча дома. Мама, конечно, будет в шоке: ее Стасик, ее единственный, женился на посудомойщице. Да и чего следовало ожидать, после того как он, золотой медалист, поэт, чертя голову сунулся в эту неглубокую, рискованную и неинтеллектуальную профессию, в армию, — и если Стасик не верит, пусть заглянет в Куприна. В каждый отпускной приезд Трапезников молча выслушивал нравоучительные лекции матери и ее приятельниц, старых филологических дев, которые всю жизнь измеряли мерками классических романов, а офицерство — купринским «Поединок». В последний раз Трапезников не выдержал — волнуясь и негодуя, он расхаживал по толстому ковру и убеждал их, что современная сверхзвуковая машина с полутысячью приборов, датчиков

кнопок, тумблеров, с радио, электронным, инфракрасным оборудованием — это острие науки и техники, что современный летчик может повлиять на ход международных отношений, что, наконец, интеллект — качество врожденное и есть многознающие, но дураки. Он выпалил все это и остался собой доволен, видя молчаливо-одобрительный взгляд отца, лишённого в семье права решающего голоса, ледяную вежливость матери и снисходительную ироничность старых дев. И вот в обстановке редких книг, хрусталя, матриархата и филологических бесед на каком-то птичьём языке появляется — Зойка. Отец, смешной и тихий человек, который смотрит на женщин как на предмет искусства и в то же время панически их боится, несомненно одобрит его выбор. Но мать? А сама Зойка?

6

— Стас! Твоя очередь! — крикнули ему из склада.

Старик занялся примеркой с тою же нарочитой суетливостью, с какою делал все, единственно желая угодить работой, услышать похвалу и на нее ответить известными всему городу и военному городку словами.

— Хорошо. Спасибо, — чувствуя, что краснеет от удовольствия, сказал Трапезников. Стоя босиком на мешковине в парадном мундире, он будто влился в него плечами и всем корпусом.

Но закройщик все щупал то под мышками, то одергивал спину и все ворчал под нос, вроде бы недовольный.

— Все хорошо, — постарался убедить его Трапезников. — Спасибо.

— Спасибо будете говорить потом, когда захотите второй такой костюм. Но старый Яков умрет и второго уже не будет. А будет мешок. И вы тогда будете вспоминать меня всю жизнь и всю жизнь говорить спасибо. Это так. Мне не надо ваше спасибо сейчас. Оно сейчас ничего не стоит, потому что вы не знаете другого костюма. Я вижу сам, что моя работа хорошая. Плохую я не отдаю.

Из вещевого склада они вышли вместе с Вотинцевым, который все еще переживал восторг от парадного вида себя в зеркале и шел пританцовывая и шибая носком камушки.

— Эх и наведем мы с тобой шороху во время отпуска! Точно, Стас? — сказал он, боднув Трапезникова плечом. — Девчонки будут штабелями валиться. Но чтоб я в семейный хомут попался — ни-ни. Только под пистолетом. Я дал себе зарок: пять лет холостякую, потом женюсь. На той, которая согласится, чтоб у нас на свадьбе играл похоронный оркестр. Специально приглашу этих красноносых алкашей, и пусть дуют похоронные марши, здорово, а? — в упоении фантазировал маленький юркий Вотинцев. — А ты сочинишь слова... ну, наподобие: погиб наш верный холостяк-ак, тари-тата, руаа-та-та... Блеск! И из загса нас повезут на катафалке. И все будут плакать. Да здравствуют свадебные катафалки! Ура-а-а!

— Чепуху говоришь, Боря. Как влюбишься, не до фокусов с катафалками станет.

— Я зарок дал. Я слово сдержу, понял? Давай друг другу поклянемся: пять лет — ни-ни.

— Мне поздно зарок давать. Я сегодня скажу Зойке, что хочу на ней жениться, — спокойно улыбнулся Трапезников.

— Слушай, Стас, идея: ты женишься на Зойке, а я — на ее бабушке! Тогда ты станешь моим внуком. Да мы с тобой мир потрясем этой великой хохмой.

— А я правда на ней женюсь. Без всякой хохмы.

— Разыграть меня не удастся. Таланта у тебя такого нет.

— Я вполне серьезно.

— Да зачем тебе жениться? Ты ж спор и так выиграл.

— Это не важно. Мне кажется, я ее люблю... И мне кажется, я смогу сделать ее счастливой.

Присмиривший Вотинцев ничего не ответил, в задумчивости шагая рядом. Не доходя до казармы, они свернули с дороги в сквер и, выбрав сухую полянку меж кустов волчьей ягоды, в празднои лени повалились на пожухлую траву. Трапезников лег на спину, подсунув под голову ладони, и стал глядеть на небо и на верхушку полутолого ясеня, раскачиваемую ветром; он улыбался, чувствуя себя совершенно пустым и глупым оттого, что принял наконец решение и сказал о нем вслух, и еще оттого, что такая красивая женщина будет его женой.

— Знаешь, Стас, я чего-то вдруг тебе позавидовал,— тихо сказал Вотинцев и снова замолчал. Потом он повернулся на бок и, глядя на Трапезникова, спросил: — А Наденька как же? Помнишь ту, белую мышку, которую тебе мать сватала?

— Я перед ней извинюсь. Нехорошо, конечно, я о ней совсем забыл. Будто ее и не было. А мы с ней в кино ходили, на пляж ездили. Но какая-то она... пресная,— нашел Трапезников подходящее слово, удивился его точности и подумал с удовольствием, что сказать его мог только мужчина.

— Я тебе не говорил, это не мое дело, но Наденька и мне не показалась. А я вот уж если влюблюсь, то плюну на свой зарок. Но мне хочется любить знаешь как? Чтоб землю копытами рвать, когда ее нет, чтоб от тоски по потолку бегать! Может, и мне жениться?

— Женись! Это будет даже здорово! Нам в полку дадут квартиру, и мы будем жить вместе: две комнаты и зал. Зал будет общий, для разговоров, гостей, веселья. А потом каждый в свою комнату.

— Что делают летчики, когда не летают? — услышался рядом насмешливый голос. Они обернулись и увидели за кустами ухмыляющееся тонкогубое лицо Кокурина.— Девяносто пять процентов времени они говорят о женщинах, в остальные пять ругают начальство.

— Подслушивать непорядочно, Кокурин. Разве ты этого не знаешь? — поморщился Трапезников.

— Да я нечаянно. Только самый конец,— сказал Кокурин и засмеялся.— Пошли, капитан велел всех собрать. Хочет произнести прощальную речь.

7

Капитан Алентьев ждал свою летную группу в беседке за стоянкой самолетов, где всегда проводилась предполетная подготовка; он сидел на скамейке боком, опершись локтем о столик, смотрел, как не спеша подходят эти четверо мальчиков, воображающих себя мужчинами оттого, что научились держаться в воздухе. Он любил их, чуточку завидовал, чувствуя рядом с ними свою старость — не человеческую, а летную. Возможно, это его последняя группа, если на скорой медицинской комиссии ему пропоет петух: ведь пошаливает и печенька и левая рука после давнего ранения разгибается все хуже. Возможно, потому и любил он их больше, чем прошлые выпуски. И они его любили. Он в этом не сомневался; любили, несмотря на грубость его в воздухе — ведь когда полет у кого-нибудь из них не ладился, он ругался от взлета до посадки, любили и за те полулегенды, которые курсанты сочиняли о нем — воздушном волке, лично сбившем то ли

бомбардировщик, то ли самолет-разведчик, нарушивший границу, офицере, навечно застрявшем в капитанском звании, скором на расправу человеку, летчике, который признавал только небо, а к земле относился как к вынужденной посадке... Он не опровергал ребячьи досочинения, потому что они льстили его самолюбию и утешали в должностной неудачливости.

Он молчал — переживал оглушающий рев двигателей, которые техники гоняли на стоянке после регламентных работ. Все четверо расселись перед ним: легкий, насмешливый Вотинцев, мягкий Трапезников, хитрый, всегда себе на уме Кокурин и невозмутимый, вроде бы сонный Хлынов, единственный на его памяти курсант, загоревшийся в воздухе и не бросивший машины. Был еще пятый, в самом начале, тот, что не выдержал испытательного пилотажа в зоне — это не летчик, о нем не следует помнить.

— Следующий раз мы соберемся обмывать звездочки, чтоб крепче держались. — У Алентьева улыбались одни глаза. — А сейчас я хочу поболтать с вами о будущем, именно поболтать, потому что основательно рассчитывать будущее при нашей профессии затруднительно. Сначала сообщу, кто куда едет. Трапезников, твое право окончившего с отличием — выбирать место назначения. Ты хотел ехать с Вотинцевым — поедешь. Хлынов и Вотинцев — Бакинский военный округ, ВВС, а не система ПВО. Разницы, впрочем, почти никакой. Тебя, Кокурин, оставляют в училище инструктором.

Лицо Кокурина побледнело с заметной прозеленью и еще более заострилось; он уставился на Алентьева, сдвинув узенькие брови, надеясь, что капитан пошутил или оговорился. Но Алентьев молчал, спокойно разглядывая его мальчишечье разочарование.

— Я хотел бы в нормальный полк, — выговорил наконец Кокурин.

— Я бы хотел быть генералом. Но нас с тобой, брат, не пожелали спрашивать. Потом ничего обидного в этом назначении нет: кто-то ж должен учить салажат, какими вы были. А у тебя прекрасное глубинное зрение, землю ты чувствуешь, пожалуй, даже лучше меня — тебе сам бог велел быть инструктором. Да и голос у тебя... Нам надо укреплять художественную самодеятельность.

— Я не петь пришел в авиацию, Владимир Петрович.

— Пойми, я ничем не мог тебе помочь, да и не хотел. У тебя все данные летчика-инструктора. Разрешаю: иди вверх по начальству, проси, но предупреждаю, бесполезная затея... Кто из вас, убежден, доберется до полковничьих погон — это Вотинцев. Когда он посерьезней станет. Я не каркаю, избеги бог. Но кое-что мне дано разглядеть в людях. Вы будете капитанами, как и я. В лучшем случае вам дадут майоров. Тут ни огорчаться, ни расстраиваться не надо. Было бы смешно, если все, кто желает, стали генералами. Вы, братцы, учтите одно: вся полноценная боеспособная авиация держится на капитанах. Это асы. Они в небе — боги! Они летают при любой погоде, стреляют ночью, в облаках, бросают бомбы с полупетли и не мажут по цели, спасают себе жизнь и машину в казалось бы безвыходной ситуации. Лейтенант — это зелень, старлей — наполовину зелень. Ни в том, ни в другом звании долго не задерживаются. Майор — это капитан, которому повезло. Я для того вам это говорю, чтобы вы не очень обольщались правилом, что, мол, плох тот солдат, который не стремится в генералы. Стремиться можете сколько вам влезет. В авиации нужно летать, а не делать карьеру. Это моя личная точка зрения. Никому ее не навязываю... То, что вы попали на юг, — хорошо. Там больше ясных дней. Быстрее войдете в строй и начнете летать ночью и в облаках.

— Знаете, Владимир Петрович,— сказал Трапезников,— мне хотелось бы летать только днем, когда светит яркое-преяркое солнце и висят белые кучевые облака.

— Синьга ты зеленая, Станислав! — улыбнулся Алентьев.— Ты сначала полетай ночью. Попади в мощно-кучевую или грозовую облачность. И вот когда увидишь ореолы по обоим бортам и увидишь, как по фонарю скользят голубые шары разрядов, тогда мне скажешь. Только главное — в полете рот не разевай на эти красоты. И стихов не читай. Иначе в ящик сыграешь. Полет — это работа, а потом уж наслаждение. Именно тебя, признаюсь, я вначале хотел отчислить. Не военный ты по характеру. Но в воздухе хорош. Даже не верилось.

— Мы вам не говорили раньше, Владимир Петрович, а ведь Стас чуть не гробнулся на полигоне. Хотел увидеть, как рвутся снаряды на мишени. И еле-еле успел выхватить машину из пикирования. Помнишь, ты сам рассказывал,— повернулся Кокурин к Трапезникову.— О последнем полете, зачетном.

— Последняя у попа жена! — стукнул кулаком по столу капитан Алентьев.— Сколько можно долдонить, что в авиации нет слова «последний»!

— Мы не суеверные,— пожал плечами Кокурин.

— Мне наплевать, какие! А при мне этого слова не произносить! Запрещаю!

Насупя брови, Алентьев остывал в мгновенном гневе, и все ждали, когда он снова заговорит.

— Назавтра полеты ожидаются вроде,— нарушил молчание Хлынов.— Может, возьмете меня, Владимир Петрович, на аэродромные побегушки. Стасу вон повезло слетать. Может, и мне удастся.

— Полеты будут, если запасная полоса подсохнет. Бетонку стройбатовцы оккупировали. Сам понимаешь.

— Бугор к вечеру уже проветрит. А на всполье лужа останется.

— На каком всполье?

— Да в низинке, перед отрывом.

— Будут — пойдешь дежурить.

— Не сомневайтесь, Владимир Петрович, будут,— засмеялся Вотинцев.— Погоду Федор Иванович под одеялом наколдует.

— Как это?

— Болтают они. Взяли нынче да зашили в постели.

— И ты не проснулся?

— А чего мне просыпаться? Это они булгачатся, как дети малые. Ничего, как-нибудь осерчаю, я их повалю в одну кучу да помну хорошенько. Дождутся.

— Еще о чем-то хотел вам сказать... Да. Отныне вы становитесь теми людьми, которым платят за удовольствие и риск. И платят хорошо. Я не знаю ни одного летчика, который бы продолжал летать, однажды испугавшись неба. Вы пришли в авиацию не из-за денег, это я знаю. И знаю, например, что Трапезникову и Вотинцеву можно вообще не платить, и они будут летать. Но все равно, ребяташки, бойтесь денег. Советую вам научиться их совсем не замечать. У настоящего мужчины в руках должно быть дело, у женщин — деньги...

Капитан Алентьев откинулся спиной к перегородке, раскинув по ней руки и цыкая воздухом сквозь зубы,— дурная привычка, которую многие в полку принимали за презрение к собеседнику,— медленным взглядом обвел сидящих напротив завтрашних офицеров. Оглядывая их, он хотел убедиться — интересно ли им то, что он говорит? — и увидел: интересно, но непонятно. Непонятно потому, что всякая вера

утверждается в человеке опытом, а опыта у этих мальчишек нет, значит, слова он тратит впустую. Алентьев не оскорбился, а внутренне усмехнулся пустому своему замыслу, но раз уж начал, решил досказать.

— Почему я вам об этом говорю? Зачем пугаю? Как только вы почувствуете вкус к большим деньгам, как только вы скопите тыщонки три-четыре, в вас может незаметно родиться страх к небу. В летчике страх убивает хладнокровие, а без хладнокровия в критической ситуации это уже не летчик.

— Не беспокойтесь, Владимир Петрович, деньги у нас долго не задержатся,— сказал Вотинцев.

— У тебя — да,— улыбнулся Алентьев окончательно убеждаясь, что советовал впустую; да и можно ли заранее предостеречь этих мальчишек? Ведь каждое новое поколение начинает со старых ошибок! — Поговорили — довольно,— сказал он, поднимаясь,— а то на обмывании звездочек молчать придется.

— А можно с женой прийти? — с нарочитой невинностью спросил Кокурин, затаив смех.

— Мели, Емеля.

— Да не за себя я спрашиваю, Владимир Петрович. Вот Стас Трапезников женится.

— Лучше, конечно, без жены. Но не запрещается... И хорошая девчонка, Станислав?

— Лучше некуда,— быстро, чтоб опередить Трапезникова, смутившегося оттого, что оглашали его тайну, проговорил Кокурин и добавил: — У стройбатовца любовницу отбил.

— Как ты смеешь?... — испуганно выкрикнул Трапезников в наступившей тишине.

И тут же Вотинцев резко метнулся со скамейки и в коротком размахе ударил Кокурина в челюсть так, что голова его мотнулась назад и раздался стук зубов.

— Но ведь это же правда,— продолжая насильно улыбаться, сказал Кокурин.

Вотинцев снова размахнулся, но Хлынов перехватил его руку, сграбастал и силою усадил рядом с собой.

— Она была невестой Жигалина. Разве она виновата, что он погиб? Теперь можно о ней распускать всякие слухи,— тихо сказал Трапезников, обращаясь только к капитану Алентьеву, спокойно наблюдающему всю эту потасовку.

— Извинись, скотина,— сквозь зубы выговорил Вотинцев.

— Перед кем?

— Перед нами.

— Зачем же вы тогда на нее спорили? На двенадцать бутылок шампанского? — не тая насмешки, спросил Кокурин.

— Не надо извиняться,— поморщился Трапезников.— Во всем я виноват. Но я не знал ее тогда. И Борис тоже.

— Станислав,— перебил капитан Трапезникова,— если женишься, придешь с женой. Ясно? Я не поп и не сват, я делаю летчиков. Остальное — ваше дело

После обеда Трапезников подшил белый подворотничок, начистил сапоги, но к Зойке идти было рано, и он, сидя на койке, написал домой письмо — торопливое, скучное, короткое. Потом он стал искать Хлынова, в последний момент почему-то решив взять на трудный разговор с Зойкой именно его, а не легкого на язык Вотинцева. В ка-

зарме Федора Ивановича не оказалось, и Трапезников спустился вниз, где ребята играли под стеной, в затишье, в пинг-понг, а другие курили, издали наблюдая за игрой и ожидая своей очереди, некоторые жгли в железной бочке, врытой в землю, истрепанные конспекты по философии, радиоделу, метеорологии и просто бездельничали. Здесь же в курилке сидел Вотинцев и брэнчал на гитаре. Оглядевшись, Трапезников наконец увидел Хлынова, идущего от военторга с двумя большими новенькими чемоданами.

— Я искал тебя,— обрадовался ему Трапезников.

— Пора уже? Ну чего ж, пойдем сейчас. Вот только положу. Да баул заодно выкину.

За годы учебы хлыновский баул столько раз привлекал к себе внимание насмешников, что, увидя Федора Ивановича, выходящего из каптерки с фанерным, стыдным в офицерстве баулом, многие повскакали с двухъярусных коек и, окружив, пошли за ним, приплясывая и напевая:

В старом разбитом бауле
Клопик танцует фокстрот,
Крепко блоху обнимает,
В рот шоколадку кладет...

Это была веселая песенка о жизни клопика в хлыновском бауле, о том, как он полюбил блоху и кормил ее шоколадом, но злой Федор Иванович, обнаружив недостачу, прихлопнул бедного клопика каблуком, а несчастная блоха умерла от горя.

Вся процессия вывалилась из казармы, Вотинцев крикнул:

— Аутодафе старой баульной жизни!

— Да здравствуют фибровые чемоданы!

— Будет вам озорничать-то,— улыбаясь, отбивался Хлынов, но его подхватили под руки, подняли над головами баул и под торжественные гитарные аккорды направились в курилку.

Баул положили на железную бочку, зажгли и начали плясать вокруг разгорающегося костра. По крышке сначала поползли черные пузыри вздувшейся краски, затем они лопнули, пыхнув ядовито-зеленым дымом, и занялась фанера, слоясь, закручиваясь в красные кольца. Горячим воздухом вверх понесло серый летучий пух сторевшей фанеры, и он закружился над головами, как снег.

— Опять небо коптите! — укоризненно покачал головой прапорщик Меняйло.— Не нравится мне это.

— Надо правильно говорить — не нравится,— сказал Вотинцев.

— Я знаю, не учи. У меня от привычки язык по-другому не выговаривает... Вот каждый год так. Как голубой карантин — жгут и жгут что ни попадя. Думаете, что из прошлой жизни ничего уж не пригодится, только одна будущая будет? Спыхватитесь после. Да вам говорить бестолку! — Меняйло вынул из кармана гимнастерки блокнот, ручку, спросил: — Песню про клопа кто придумал? Ты небось сочинитель, Вотинцев? Давай-ка запишу.

— Зачем она вам?

— Занадом. У меня, понимаешь, тут все зафиксировано,— самодовольно произнес Меняйло, постучав блокнотом по ладони.— Может, кто из вас знаменитым станет, героем там или космонавтом. И вот приведет столкнуться где с ним, понимаешь, на улице. А он меня и узнать не узнает. Или нос отворотит. А я приду домой, гляну в блокнотик...— Прапорщик наугад раскрыл блокнот, но то, что он прочел, ему не приглянулось, и он полистал странички.— Вот для примера Трапезников. Что? Поливал цветы в дождь. За то поливал, что пререкался со мной, отцом родным, на метеосводку ссылался. Значит, скажу, мало его воспитывал, раз меня не узнает. Чего смеяться, тут вы

все есть. Вся эскадрилья. Только Хлынова нет. Про него эту песню запишу. Хотя он меня всегда узнает. Узнаешь ведь, Хлынов?

— Чего же не узнать, узнаю. Но и окликнуть можно.

— А вот ты, Вотинцев, как за проходную, так и думать обо мне забудешь. А может, где на проспекте с девками своими встретишь, так в отместку и для куражу перед ними возьмешь да и строевым старика погоняешь. Угадал?

— Была такая мысль.

— Я вас всех насквозь чую.

— Но, слава аллаху, теперь ваша власть кончилась.

— У меня и сейчас еще власти над тобой довольно. Вот ты си-дишь, а я перед тобой стою, а кто старше по званию, товарищ кур-сант Вотинцев? И как в уставе записано? — холодно сказал прапор-щик и стал приподниматься на носках и раздвигать каблуки, что оз-начало, что он рассержен и придумывает наказание и как только при-думает, то щелкнет каблуками и произнесет его с холодной учти-востью.

— Там, в уставе, товарищ прапорщик Меняйло, о голубом каран-тине ничего не сказано, — полез на рожон Вотинцев.

— Тогда я покажу напоследок свою власть. Или не стоит, а?

— Можно вас на минутку, товарищ прапорщик, — неожиданно отвлек его Кокурин. — Мне надо с вами посоветоваться. Тет-а-тет.

— Ты мне по морзянке не говори. Давай по-человечески.

— С глазу на глаз, значит.

— Пойдем в каптерку.

И когда они оба направились в казарму, Вотинцев громко ско-мандовал:

— Товарищи офицеры!

Все вскочили и встали навтыжку, улыбаясь последней вспышке угасающего развлечения и «пожирая» глазами прапорщика, а он недоуменно оглянулся: какие офицеры? — и, догадавшись, покачал го-ловой:

— Не терпится. Играете все.

9

Чтобы не идти мимо офицерских домов, где было слишком лю-дно, а, главное, чтобы не идти без увольнительной через проходную, Трапезников и Хлынов прямо от военторга, где они сделали кое-ка-кие покупки, двинулись жесткой полынной степью. В полутора кило-метрах за складом горюче-смазочных материалов виднелся поселок с садами, огородами, белеными хатками, маленьким прудом с густыми ивами на плотине; этот поселок с одной стороны подпер военный го-родок, кирпичным забором оградивший свои нехитрые тайны от сто-роннего глаза, а ревуший аэродром занял поля, с другой же стороны наседад разрастающийся каменными коробками гражданский город с манящим по вечерам праздным временем, кинотеатрами, стадио-нами, танцевальными площадками в садах и парках. Лишившись ро-довой профессии, мужики пристроились на окраинные заводы, а бабы, чтобы оставаться поближе к дому и хозяйству, определились вольно-наемными — поварами, официантками, прачками, нянечками, продав-щицами — в большое военное хозяйство. В этом поселке и жила Зойка.

Чем ближе они подходили к поселку, тем сильнее поднимались в Трапезникове какие-то дикие совершенно, смешанные чувства не-объяснимого страха, восторга, суетливости, немоты. Трапезникову за-хотелось, как хочется это всякому мягкому по натуре человеку, чтобы

другие одобрили его выбор, его решение, чтобы они, может быть, даже позавидовали ему.

— Как ты думаешь, Федор Иванович, никого не удивляет, что я на ней женюсь? — спросил Трапезников, замедляя шаг и равняясь с Хлыновым.

— Тебе-то какое дело до других! В таком вопросе других не спрашивай.

— А тебе она нравится?

— Да я на нее с такой стороны не глядел. Вроде хорошая девка.

— Слушай, вот если б ты оказался на моем месте, женился бы на ней?

— Почему бы нет? Да зачем тебе знать-то?

— Как тебе сказать... интересно.

— Себя проверяешь, — неодобрительно хмыкнул Федор Иванович и остановился. — Знаешь, чего я подумал? Ты будто одобрения ждешь. Хочешь, чтоб я сказал, что ты молодец, на вольной девке женишься. И для того это тебе, что ты Зойку не попросту берешь в жены, а знаешь — доброе дело делаешь. И еще хочется, чтоб тебе все за него... ну, хлопали, что ли, как в театре.

— Нет, мне хочется, чтоб где-то в глубине души люди чувствовали, что они неправы.

— Дались тебе люди. Ты ж не спектакль устраиваешь, а судьбу. Знаешь чего? может, назад пойдем? Подумаешь маленько.

— Назад не пойду. Я решил твердо! — сказал Трапезников. — Хотя меня, конечно, угнетают все эти разговоры. Мне бы хотелось, чтоб все считали мое решение обычным событием. Или радовались. Вот ты почему такой скучный? Тоже разговоров боишься? Я ж тебя не неволю. Я могу и один идти.

— Вот чудак! Пойдем.

И они снова двинулись по тропке: Трапезников впереди горопливой, скачущей походкой, Хлынов сзади, мерным, развалистым шагом, засунув руки в карманы шаровар.

10

Через калитку в плетне они сначала попали на огород, и Трапезников повел Хлынова узкой тропкой меж истлевшей картофельной ботвы и тыквенных плетей. От густых зарослей малины на них бросился крупный гончий пес, он бежал с сердитым лаем, скачками, высоко вскидывая передние лапы, и бежал как-то неестественно далеко огИБая стволы яблонь.

— Свой, Слепыш, свой! Иди ко мне! — позвал Трапезников, хлопнув себя по ноге, и пояснил Хлынову. — Он не кусается, а только пугает. Он слепой.

Пес остановился шагах в пяти, нерешительно помахивая хвостом и нюхая воздух, а уловив запах чужого, уставился на Хлынова влажными голубыми бельмами.

— Это тоже свой. Понимаешь, Слепыш, свой. Пойдем вместе, пойдем.

Только зная, что пес по-настоящему слеп, и можно было угадать это в его движениях: слишком твердо, не по-звериному, ставил он лапы, слишком высоко вскидывал их при беге, точно гарцуя. В сопровождении его они пошли дальше, мимо колодца с болтающимся на журавле помятым ведром и деревянным желобом к грядкам, мимо дощатой купальни с самолетным подвесным баком наверху. На краю сада воздух загустел от тонкого яблочного аромата, и Хлынов сразу

определил: осенние, пепин-шафран,— прежде чем увидел два дерева, усыпанных продолговатыми, желтыми с розовым плодами; ему хотелось сорвать яблоко, но он не осмелился и, пригнув ветку, вдохнул с наслаждением запах. В закути возле хлева повизгивали три крупных подсвинка, а рядом с загородкой стояло полное ведро с борщом и гречневой кашей, которые, вспомнил Хлынов, были у них сегодня на обед. Откинув крючок второй калитки, Трапезников пропустил его в основной маленький дворик, выложенный плоским серым камнем, с диким виноградом, закрывающим застекленные сени, и все еще цветущей мальвой.

— Вроде и крестьянское хозяйство и не крестьянское,— удивился Хлынов, оглядывая двор.— Как дача городская.

Возле абрикосового деревца посреди двора Трапезников остановился и, разволновавшись, шепотом спросил Хлынова:

— Мне сразу говорить или потом?

— Там видно будет,— тоже шепотом проговорил Хлынов.

— А что сначала сказать? Как?

— Да попроще говори, и все. Чего выдумывать. Все равно смысл один остается.

— Что ты! Так — некрасиво. Нужно какие-то слова подобрать.

— Когда подбирать-то? Может, она из сенцев на нас смотрит. Во дворе стоим.

— Начни ты, Федор Иванович. Первый. Прошу тебя. Присказку какую-нибудь старинную вспомни. Ты ж недавно сам женился. Сваты, наверное, ходили.

— Они без меня ходили. Ладно.

Хлынов подумал, оправил гимнастерку под ремнем и решительно шагнул к низенькой сенной двери. Он уже протянул руку, чтобы толкнуть ее внутрь, как она сама отворилась, и из полутемных сеней сначала высунулась клюка в сухой коричневой руке, а затем, Хлынова аж оторопь взяла, на свет дня шагнула ведьма: коренастая, сутулая старуха с морщинистым, вроде бы замшелым лицом и громадным горбатым носом, привораживающим взгляд. В оторопи Хлынов так и замер с поднятой рукой.

— Здравствуй, бабушка Оксана! — сказал Трапезников, выступая из-за спины Хлынова, а потом оглянулся и тихо спросил: — Испугался?

— Да нету,— криво улыбнулся Федор Иванович.

— Не обманывай! Первый раз меня самого чуть кондрашка не хватил. Но ты ее не бойся. Это золотой человек,— развеселился Трапезников оттого, что начинать разговор нужно не с Зойкой, и обнял старуху за плечи.— И она меня любит. Так, бабушка Оксана?

— Це так, Стасик, так. Што ты давно не був? С Зойкою поругавсь? Не ругался. А где она?

— Щас буде. В магазин побигла чого-то купуваты. До ней зараз ктой прийде. Я чула, жених, а це полюбовник явивсь. Заходи, Стасик, у хату. Це хто?

— Друг. Вместе летаем... Это тот, бабушка Оксана, который горел в воздухе.

— А чого ж ты не прыгав, дурень?

— Сам не знаю.

— Што ж тобі дороже — жизнь чи та железяка, шо реве, як бишана! О, дурень, тай дурень!.. Для чого вы прийшли? Чи сватами, чи ни? — снова развеселилась старуха, усаживаясь за столик под абрикосовым деревом.— Ото бачишь, жених який! Дуже великий хлопец. Як войде, дак хата лопуваецьця. От який! — И она подняла над головой клюку, желая показать, какой высокий жених у ее внучки.

— Видел я его,— так же весело сказал Трапезников и добавил: — Так мы тоже свататься.

— Может, тебя завидки взялы? Такой молодой, красивый, тай в петлю лизе. На кой ляд тобі сдалося!

— Неужели тебе не хочется, бабушка Оксана, чтоб у внучки муж был офицер, летчик!

— Боится одна остаться,— проговорил Хлынов.

— Ничого я не боюсь,— строго сказала старуха.— Мени помираты пора. Жалкую Стасика. Скиль та злыдня просыла, чтоб я його приворожила. Ни! Не хочу. Тильк так, пошубуршу трохи, шоб вона не гавкала, а сама ни.

— Не меня ты жалеешь, наверное,— Зою. Вот и отговариваешь. Но я ведь ее не обижу.

— Це так, Стасик. Вирю я, шо ты добрый хлопец. Дак Жигалин тоже був добрый. А поглянь, шо потом сделалося: Зойка ж чуток умом не стронулася. Ты ж своо рэвуна для ней нэ кинешь. Ни дай господе, тож сверзисься з нэба! Вона ж помре. Ее жалкую.

— Ты, бабушка, совсем уж нас застращала,— вмешался Хлынов.— Жигалин сам виноват. Растерялся в воздухе и погиб. А Станислав...

Слепыш, лежавший посреди двора, вдруг поднялся, нырнул через какую-то лазейку под плетнем в сад, и уже оттуда раздался его громкий лай. Но скоро оборвался, и тою же дорогой, какой пришли Трапезников с Хлыновым, появился рослый солдат с черными погонами стройбатовца, небритый, без ремня и простоволосый. Трапезников не сразу узнал Додонова, настолько неожиданным было его появление, а узнав, расстроился и помрачнел.

— Людей-то полон двор! — сказал солдат, широко улыбаясь.— Я думал ты, бабка, скучаешь. А у тебя тут кавалеров пруд пруди!

— Шось ты який расхлестанный? Отой женишок! Ты поглядь! — покачала головой старуха.

— Давай без критики, старая! Дай-ка мне лучше напитокся.

Трапезникову показалось, что солдат наслаждается своей величиной и силой в этом крохотном дворе, ставшим еще теснее. Солдат шагнул к нему и протянул открытую ладонь.

— Догадываюсь, ты — Станислав Трапезников. Наслышан.— Солдат пожал руку хорошо, без дурного усердия, с пониманием своей силы.— А я — Додонов, Гришка. Не наслышан?

— Нет. Не наслышан,— сухо сказал Трапезников, замирая сердцем от вдруг всколыхнувшегося острого чувства ревности.

Но солдат уже отвернулся от него, знакомясь с Хлыновым, и тут же, будто он был хозяин, остановил поднимающуюся было старуху:

— Сиди, старая, я сам напьюсь.— И, пригнувшись, шагнул в сенцы.

— Ну и Гришка! Силен! — восхитился Хлынов.

Хата вдруг содрогнулась от удара, затем послышался гром пустого ведра и чертыханье.

— Хе-хе-хе! — зашлась старуха, раскачиваясь над клюкой.— Развалэ вин хату! Ох, развалэ!

— Туды ее в чачель! — держась за лоб одной рукой, а другой неся два табурета, ругался Додонов. И Трапезников, придирчиво наблюдавший солдата в надежде подметить что-нибудь в нем неприятное, чтобы возникло хоть основание для чувства мужского превосходства, не мог не рассмеяться. Как он ни разжигал в себе неприязни, веселый стройбатовец все-таки ему нравился.— Построила себе нору, старая! Ух, черт!.. У тебя пятака нету? Шишак ведь будет.

— Тоби ж пятак не сгодицьця. Тоби ж медну сковороду треба.

— Кроме своей норы, ты небось и земли-то не видала. Я вот пол-Сибиря протопал. Вы б, мужики, взяли ее разок с собой полетать. Как ты, старая, даешь согласие?

— Меня вже той свит жде. Сорок днів летать буду.

— Брось приbedняться. Ты еще сто лет проскрипишь.

— Возьми пятак,— протянул ему Хлынов монету и спросил: — Без ремня-то зачем ходишь, Григорий? Заберут тебя.

— Не заберут, а добавят. Трое суток еще подбросят,— подмигнул Додонов.— Я сюда не собирался. Сначала. Я выводного решил посадить на губу. Вредный, как хорек. Подстроил ему: отведи, говорю, меня в сортир. А там с другой стороны окошко. Он снаружи остался, а я в окошко да в кусты. Сначала думал в кустах с часок отсидеться, а потом решил: дай заодно Зоеньку навещу. Ну вот, через забор и сюда.

— Тебя, поди, ищут.

— Я скоро назад пойду. На трое суток больше, на трое меньше... Все равно служба к концу идет. У вас, летунов, не гауптвахта — курорт. У вас здоровье — государственная собственность, расхищать не дозволено.

Солдат наконец замолчал, поняв, что остальные только слушают и что он уж слишком заболтался. Но это обстоятельство его нимало не смутило, как и то, что он явился не ко времени и не к месту, что всем холодным видом своим и хотел показать Трапезников. Поняв, что им тяготятся, Додонов уперся локтями в столик и с настырной откровенностью стал разглядывать Трапезникова, его фигуру, лицо с пятнистым нервным румянцем, губы, в выражении глаз его Додонов уловил настороженность и сказал:

— Чувствую, мешаю я вам? — Помолчал, ожидая ответа, но не дождался и усмехнулся: — Мешаю. И ты, Станислав, ужасно хочешь, чтоб я смотался поскорее. Хочешь, а?.. Молчишь? Ну молчи, молчи... Вот только одного я не пойму: зачем ты пришел? Как пойму, уйду... Если сам скажешь, сразу уйду.

— Зачем уходить — оставайтесь. Только мне несколько не по себе от такой прямолинейной назойливости. Мне кажется, вы или в приятели напрашиваетесь, или скандала хотите.

— Ишь ты, на мораль попер! Надоед, значит. А мне вот кажется, вас обоих надо отсюда попросить.

— Брось ерохтиться, Григорий. Сам небось тут на соплях держишься, а ерохтишься. Шел бы ты, не мешал,— сказал ему Хлынов.

— Во-во, уже гонят.

— Тай нэ дурьсь! Щас Зойка прийдэ, тай рассудэ. Тильк нэ дурьсь, а то вона дуже рассудэ.

Старуха с угрозой стукнула клюкой о землю, поднялась и ушла в хату.

Новое молчание устоялось. Додонов расхаживал теперь взад-вперед, от ворот до плетня, заложив руки за спину; одна подковка на его сапоге цокала по камням, второй же не было, а Трапезникову, угловым зрением видевшему солдата, казалось, будто по двору ходит одноногий.

— Дай закурить, Станислав,— остановился перед ним солдат.

Трапезников молча протянул ему сигареты и зажигалку и как же молча положил все обратно в карманы шаровар, когда Додонов закурил.

— Ты на меня не сердись. Она ведь меня сейчас сама прогонит. С тобой у нее жизнь ожидается... слаще,— усмехнулся Додонов, хотел еще что-то добавить, но раздумал и снова зашагал по двору, цокая подковкой.

Только Хлынова, казалось, не тронул ни наметившийся скандал, ни натянутое молчание. Развернув пакет с покупками, он отломил кусок колбасы и, присев на корточки, стал подманывать Слепыша. Пес учуял запах, но остерегался и не подходил. Тогда Хлынов бросил ему кусок, но неудачно, и он откатился далеко в сторону, пес на удивление легко нашел его. Отломив новый кусок, Хлынов бросил его в край двора: ищи,— и снова пес с тою же легкостью отыскал колбасу.

— Трудись, умная псеха, трудись,— ласково приговаривая, Федор Иванович без боязни подошел и потрепал Слепыша за загривок.

Игра всех забавляла тем, что не надо было разговаривать, а само молчание не тяготило. Проглотив кусок, пес возвращался точно на то же самое место, настораживался, ждал, а едва раздавался шлепок падения в любом конце двора, он мчался и находил так легко, будто видел сквозь голубые бельма. Наблюдая за псом, все трое вроде бы даже забыли, зачем они пришли сюда, кого ждут, и вздрогнули, когда калитка с шумом распахнулась и через порожек перешагнула Зойка.

На ней была пушистая бежевая кофточка, черная короткая юбка, открывающая сильные ноги, волосы уложены в прическу: видно было, что она только что из парикмахерской. В руках она держала сумку и какие-то свертки. Лицо казалось усталым, потом в глазах ее мелькнул бесенок, но она сдержала его и не засмеялась, а с затаенным довольством подошла к столику.

— Калитку кто-нибудь закройте, недогадливые.

Додонов скорым шагом устремился к калитке.

— А ты, Стасик, сумки прими. Я себе все руки отмотала, пока их тащила из города... Чего это вы все какие вытаращенные?— улыбнулась она.

Никто ей не ответил. Только Хлынов поднялся с корточек и сел на табурет.

— Ты, Григорий, я вижу, сбежал. Зря сбежал. Не вовремя. Уходи. Мы с тобой потом поговорим. Если, конечно, захочешь. Я Стасика провозжать буду, а тебе пока рано сюда.

— Я чего тебе говорил — прогонит! — повернулся Додонов к Трапезникову, выговаривая слова с трудом, через замешательство.— А ты боялся... Смотри только не обидь ее. А то я ведь снова сбегу. Понял? Я тебя из-под земли достану!

— А вы ведь не пугаете,— мягко улыбнулся Трапезников.— Просто вам неловко, что вас... что вам отказывают. Вот вы и пытаетесь смущение прикрыть грубостью. Но ведь это же заметно. И некрасиво как-то. Ей-богу, за вас как-то начинаешь смущаться. А вы ведь такой... внушительный.

— Не твое дело — какой я. Важно — какая она.

— Ну и какая же я? — холодно спросила Зойка.

— Да какая... Разве тебе такой кисель нужен? Тебе мужик нужен.

— Ты?

— Да хотя бы и я.

— И чем же ты лучше-то?

— О чем вы говорите! Разве об этом можно говорить! Ведь это... это как торговля,— с горечью проговорил Трапезников.— Лучше — хуже. При чем здесь это. Важен ведь человек... вернее, чувство.

— Помолчи, Стасик. Что ты скажешь, я знаю. Мне интересно, что Додонов скажет.

— Что? Вот что: зачем тебе эти проводы? Одним днем все равно не надышишься. Но и я терпеть не буду... твоих этих проводов. Додонов, запомни, второй раз не кланяется.

— Ты меня не учи, Додонов. Я пока вольная. Хочу — люблю, хочу — страдаю. Мое дело! Уходи, Григорий. Не порть мне последний день.

— Он не последний, Зоя, — тихо проговорил Трапезников. — Я... это... Выходи за меня замуж. — И удивился, что так просто, будто само собой нашлось, сделал предложение. Удивился и, боясь взглянуть на Зойку, уставился на Додонова.

После его негромких слов все замерли.

Додонов постоял, обводя всех тяжелым, беспокойным взглядом, от прежнего веселья, с каким он явился, не осталось и следа. При общем молчании он переступил с ноги на ногу, усмехнулся, постучал себя пальцем по лбу, неизвестно кому относя осуждение в глупости, и ушел.

Зойка повернулась к Трапезникову и сказала, прищурясь:

— Что это с тобой, Стасик? Утром разводиться, вечером жениться. Вот уж не чуяла я за тобой таких завихрений. С чего это ты вдруг передумал?

— Я не передумал. Просто не решался. Страшно было.

— Теперь чего ж — осмелел?

— И сейчас страшно немного.

— Меня, что ли, боишься?

— Ты же знаешь, что не о том говоришь. Зачем ты так?

— Понять хочу. Я ведь не пойду, если ты из жалости решился.

Я не поверю, что за полдня полюбить можно.

— Чего ты его мучаешь, — вступился Хлынов. — Допрашивать взялась. Ты сама решай прямо: да или нет. А то допрос учинила.

— Почему б не спросить? За все время он ведь мне ни разочка и люблю-то не сказал. Я только и знаю, что добрый и мягкий. А что у него ко мне — жалость... любовь?

— Не нравится мне это слово. А когда я на тебя смотрю, то во мне... прямо какая-то... ну вот... нежность растекается. Соглашайся, Зоя.

Зойка села, согнувшись, положив жесткие ладони на колени; ничего не осталось в ней от прежней Зойки, а сидела несчастная, очень молодая женщина с рабочими ладонями, стертymi короткими ногтями со свежим лаком, красным от слез носом, раскисшая, некрасивая и — милая.

— Вот так же мне и Витя говорил, Жигалин, что слова «люблю» не признает, — не поднимая головы, произнесла Зойка.

— Я вот к тебе ходил, а мне ведь стыдно было, что не могу его произвести. И получалось, будто я к тебе... так просто ходил. Ты меня извини, Зоенька.

После всей сумятицы последних дней Трапезникову говорилось легко, свободно, он превозмог в себе обычную стеснительность, верил, что отыскал самые простые и точные слова объяснения своей решимости. Он даже пододвинулся к Зойке и, успокаивая, провел ладонью по взбитым лакированным завиткам.

— Пожалуй, я теперь тут лишний. — поднялся Хлынов. — Пойду я.

— Когда это сваты лишними бывали! — встрепенулась Зойка, улыбнувшись сквозь последние слезы. — Да мы сейчас такой пир закатим... Бабка! — крикнула она громко. — Шо там сховалася? Вылазь до свиту, гулять будэмо.

— Ото чуяла, цим кончитьца. Йдыть у хату, усе вже приготоувано, — отозвалась старуха из сеней.

Зойка осталась в сенях у газовой плитки, а Трапезников с Хлыновым, толкая по хлопающим половицам, прошли в хату и уселись за стол, покрытый желтой плюшевой скатертью. Над кроватью висел ковер с оленями в лесу, тоже плюшевый. Трапезников подумал, что ничего отсюда они с Зойкой не возьмут, у них будет совсем иная жизнь, иная обстановка: будет широкая тахта, покрытая ковром, и на полу будет толстый мягкий ковер, все они будут темно-бордового цвета, только потолок светло-голубой с хрустальной люстрой; еще будет приемник с дистанционным управлением и мягким, сочным тембром музыки, а телевизора не будет, телевизор — это опиум, к чертям его; еще будут книги, в основном — поэзия; и вечерами, когда он вернется с полетов, он будет говорить Зойке самые нежные слова, и еще он по-настоящему начнет писать стихи, сначала читать ей, а потом их напечатают не только в окружной армейской газете, но и в Москве, и она будет любить его еще сильнее, потому что это будут стихи о ней и о высоком небе...

— За что выпить-то полагается? — сказала Зойка, оглядывая всех блестящими глазами, когда уселись.

— Шоб тобі со Стасиком прибуло щасте, — сказала бабка Оксана, выпила и тут же заплакала, сморкаясь в край косынки.

— За вас, люди. Чтоб все было по-доброму, — весомо проговорил Хлынов.

— Эх, треснуть бы сейчас об пол! — крикнула Зойка, замахиваясь опустошенной рюмкой. — Да рано. Время не пришло.

— Потерпи, Зоенька, — засмеялся Трапезников, обнял ее за плечи и неуклюже ткнулся губами в щеку. — А если не терпится, тресни. Если душа просит.

— Нет, не буду. Слушай, сват, а ты к нам в свидетели пойдешь?

— Коль взялся за муж, пойду.

— Стасик, а ведь у меня все есть — и белое платье и фата. У нас с Витей не как-нибудь все строилось. Если ты не против, я завтра надену.

— Конечно, не против, Зоенька. А сейчас ты можешь одеться? Мне хочется посмотреть.

— Це примета плоха до венца плаття з фатою одягати.

— Да что же может до завтра случиться? — удивился Трапезников. — Всего несколько часов осталось... Полетов не будет. Хочешь надеть — надень.

— Ничего не случится, — согласился Хлынов. — Но, может, лучше без нас.

— А я не боюсь! — сказала Зойка. — Я тебе, Стасик, верю. И уж раз на то пошло, скажу, что знаю. На сколько бугылок ты с Борькой Вотинцевым поспорил, а?

— Я бы сам тебе об этом сказал. Позже, — вспыхнул Трапезников, испытывая даже не стыд, не позор, от которого, говорят, хочется сквозь землю провалиться, а чувство невыносимой, почти физической боли.

— Не казись, Стасик. Я для того тебе сказала, чтоб между нами все было в открытую. Не хочу ничего таить.

— Тебе Борька сказал? — спросил Хлынов.

— Кокурин все сказал. В тот же вечер и предупредил.

— Зачем же ты тогда... позволила? — тихо сказал Трапезников.

— Интересно было. Иначе, может, я б и внимания на тебя не обратила, — засмеялась Зойка. — Тогда бы и не узнала, какой ты хороший.

Зойка поцеловала его и ушла за деревянную перегородку, где была вторая, бабкина комнатка с огромным сундуком и иконой над

ним. Обе надолго задержались там, слышно было, как они поднимали крышку сундука, бабкино ворчанье; по всей хате распространился приятный лесной запах душицы; снова бабкино ворчанье и резкие незлобивые ответы Зойки. Трапезников сидел в нетерпеливом ожидании конца того таинства свадебного одевания, что творилось за перегородкой.

— Ну-у?

Трапезников повернул голову к дверному проему и встал. Не перешагивая порожка, Зойка стояла в длинном белом платье и фате, с белой розой в серебряных блестках. Прозрачные серо-голубые глаза ее потемнели от волнения и страха. Она ждала суда. Сзади, из-за спины ее, глядела пристальным ревнивым взглядом старуха.

— Что же вы молчите? — еле проговорила Зойка.

— Я себе завидую,— шагнул к ней Трапезников.— Я никому не завидую, я завидую себе, что у меня такая красивая жена.

— Невеста,— сказала Зойка.

— Все равно. И знаешь, я жалею только об одном, что завтра на мне не будет парадного офицерского мундира.

— Да, жаль,— согласился Хлынов.— В этой робе ты, Стас, не смотришься рядом.

— О чем вы, чудаки? Любить надо. И все.

12

Выходной курсантский мундир Трапезников отверг сразу: с наглухо застегнутым воротом, грубой ватной подбивкой на плечах и груди, отчего появлялось ощущение петушиной надутости и важности, к тому же перехваченный ремнем в талии, китель округло топорщился в стороны, как балетная пачка,— он никогда и никому не нравился. Гораздо бы лучше поехать в простой солдатской робе — гимнастерке, шароварах и пилотке, будь они хоть немного почище. И тут Трапезников вспомнил, что у кого-то из ребят в третьей эскадрилье есть превосходная темно-зеленая гимнастерка из диагонали и такие же бриджи, к ним он достанет хромовые сапоги, и вид будет этакого лихого, военных времен летчика-истребителя!

Ему повезло, и он достал все вещи, которые наметил, хотя во второй эскадрилье кто-то из ребят тоже женился и тоже нужны были гимнастерка и сапоги, но Трапезников попросил первым. Чтобы не колготиться поутру, он начистил пуговицы и бляху асидолом, отменно нагладил гимнастерку и бриджи, заменил обколотую звездочку на пилотке новой, надраил сапоги кремом и бархоткой, аккуратно сложил все на табурете. Увлеченный сборами, он и не замечал, что делалось вокруг. Раза два к нему подходил Кокурин, пытаясь заговорить, но Трапезников не отвечал ему и старался не слушать, что тот говорит.

Окончательно подготовившись к завтрашнему событию, он постоял у окна, глядя на военный городок, на самолетную стоянку, где уже расхаживал часовой, на густеющее перед скорым закатом небо, попытался было представить, что делает сейчас Зойка, но не смог. Затем он взял с чьей-то тумбочки книгу и лег поверх застланной койки, задрал ноги на спинку. Это была сухая, военная книга, в которой герои разговаривали правильным уставным языком, на самом деле не существующим в живом армейском общении. Нехотя полистав, он отложил ее в сторону, закрыл глаза и вроде бы забылся в чуткой дреме.

— Вы почему лежите на койке, курсант Трапезников? — услышал он над собой голос прапорщика Меняйло.

— Да так просто. Отдыхаю.

— Нет, я спрашиваю, почему вы лежите?

— Устал.

— Нет, почему вы лежите?

— Я же сказал, что устал и лег.

— Нет, почему вы лежите? — задавал Меняйло один и тот же тупой вопрос, которым мог свести с ума.

— Потому что и все лежат, кто хочет! — с обидой в голосе сказал Трапезников и показал на ряды коек, с которых сползли курсанты, заслышав шум.

— До отбоя в сапогах, в обмундировании! Нет, почему, я спрашиваю, вы лежите? — накаляясь голосом и приподнимаясь на носках, твердил Меняйло.

Трапезников растерянно оглянулся, не понимая, чего хочет прапорщик. Он увидел, как со второго яруса прыгнул Вотинцев и тут же улизнул из-под горячей руки, увидел недоуменный взгляд Хлынова, увидел Кокурина, стоящего позади прапорщика с неизменной своей ухмылочкой... Надо было бы сказать: виноват, товарищ прапорщик, больше не повторится — и дело с концом, но в голубом карантине, в том возвышенном ощущении, в котором находился Трапезников, эти слова, пришедшие на ум, показались слишком уж по-мальчишечьи жалкими, недостойными, унижительными, и, чтобы не уронить себя в глазах любопытствующих ребят, он повернулся к прапорщику спиной и стал ладонями разглаживать смятую постель.

— Довольно вам придирааться, — сказал он негромко, но так, чтобы все слышали.

И едва он сказал, раздался резкий щелчок каблуков.

— Товарищ курсант Трапезников, за нарушение дисциплины объявляю вам сутки простого ареста с содержанием на гауптвахте.

— Да это ж самодурство! Вы ж понимаете, что нельзя...

— Двое суток простого ареста. — Меняйло снова козырнул и щелкнул каблуками.

Пока его вели через плац к караулке, без ремня, с перекинутой через руку шинелью, пока дежурный по караулу офицер, пошептавшись о чем-то с прапорщиком, записывал его в книгу, он ждал в узком коридоре с длинным обеденным столом и находился в гнетущем состоянии полной беспомощности и отупелости.

После теплого ветреного дня ему показалось, что в камере темно, холодно и сыро; привыкнув к полупотемкам, он увидел в углу на разостланной шинели маленького казаха-ефрейтора. Все еще не двигаясь с места, Трапезников оглядел высокие беленые стены, небольшое подпотолочное оконце, затянутое снаружи колючей проволокой, и чисто выскобленный деревянный пол, от которого и пахло сыростью. Бросив шинель на пол, он стал ходить из угла в угол, даже досадуя на себя, что не испытывает ни злости, ни волнения, а только все то же отупляющее безразличие и усталость.

— Э-э, братцы! — послышался голос из пустого коридора.

Трапезников остановился и прислушался.

— Слышь, братцы! — повторил голос.

— Что? — ответил Трапезников.

— Сколько осталось до ужина?

— Немного.

— Слышь, кореш, давай поговорим, — предложил солдат. — Меня за самоволку посадили, а тебя за что?.

— Ни за что.

— Это ты врешь. Так не бывает...

Разговаривать Трапезникову не хотелось, и он снова заходил из угла в угол, а солдат начал рассказывать о своих самовольных похождениях, сам же и смеясь своему рассказу. Потом он понял, что его не слушают, и замолчал на некоторое время, но тоска и одиночество совсем доконали его, и, помолчав, он начал потихоньку мурлыкать, постепенно входя во вкус, пока не запел во весь голос:

Пускай дале-око
Твой верный друг,
Любовь на свете
Сильней раз-лук.

Едва он замолчал, в уши будто набралась вода, до того густой, вязкой показалась тишина, теперь ее нарушал только звук его шагов; Трапезников сел на разостланную шинель и стал бездумно глядеть на гаснущий за оконцем день и на листья клена, обрываемые ветром.

13

Быстро темнело. Когда Трапезников уже совсем перестал различать ефрейтора, сидящего напротив, вспыхнула яркая лампочка под потолком, дверь открылась и, тяжело бухая сапогами, вошли пятеро. После работы в овощехранилище от них шел острый запах пота и погребя, волосы и подола гимнастерок были мокры оттого, что они умывались под колонкой. Последним шагнул Додонов и, довольный, уставился на ефрейтора, который сердито нахохлился и отвернулся. Но тут Додонов увидел Трапезникова, и на корявом его лице отразилось крайнее удивление.

— Станислав! — воскликнул он, растопырив ладони. — Я-то переживал, думал, у вас там пир горой под оркестр духовой! А ты, оказывается, тут кукуешь!

Улыбаясь, даже радуясь Трапезникову, он сел с ним рядом, все продолжая удивляться и качать головой. Не желая пока себе в том признаться, Трапезников тоже обрадовался ему, не чувствуя недавней острой неприязни. Додонов и здесь вел себя по-хозяйски: кряхтя снял сапоги, обмотал прогорклые портянки вокруг голенищ и, шлепая босыми ногами по полу, выставил их к дверной щели, откуда тянуло сквозняком.

— Первый раз на губе? — приподняв голову, спросил Трапезникова рыжий конопушчатый солдат, лежавший у противоположной стены.

— Первый.

— Значит, сегодня, Гриша, двоих к присяге приведем. Или одного на завтра отложим? — засмеялся конопушчатый.

— Достань-ка лучше закурить, Степка. Разлежся!.. Или погоди. После ужина закурим, — не отвечая на его вопрос, сказал Додонов. — За что ж тебя сюда, Станислав?

— Откровенно говоря, не знаю. Лежал на койке в сапогах... Правда, с прапорщиком немного повздорил.

— Та-ак, — протянул Додонов.

— Нехороший ты человек, Додонов. Зачем бежал? Гнать тебя армия надо. Такой солдат, плохой солдат. Зачем бежал? — резко заговорил ефрейтор, вспыхивая узкими черными глазами.

— Я хороший солдат для войны, а не для мирной службы. Понял, Рамазан? Не понял, сиди обдумывай.

— Я давно понял. На праздник меня домой пускать хотели. Ты отнял. Зачем бежал?

— А тебе лень было рядом со мной постоять? Теперь сиди, коль плохо службу нес.

— Я хорошо нес...

— Ну, хватит! — оборвал Додонов. — Вот побудешь с нами, научишься не хорошо и не плохо ее нести, а по-человечески.

Новый выводной, заменивший Рамазана, сам принес из столовой термос с перловой кашей и чай. Вместе со всеми Трапезников вышел в коридор и сел за длинный стол, получив полную чашку крутой перловки и кружку сладкого чая.

После ужина по двое ходили по плацу туда и обратно: проветриться перед сном. Проветривались все долго. Кроме Трапезникова. Наконец посторонние дела были закончены, все улеглись на деревянных лежаках, предоставленные сами себе.

Додонов пододвинулся к Трапезникову и протянул ему сигарету.

— Кури. Долг возвращаю.

— Спасибо. Эта сигарета гораздо вкусней, чем моя, на воле.

От доверчивости, которою он теперь проникся к Додонову, ему захотелось говорить откровенно, и он признался:

— Завтра мы в загс должны были ехать. Мы, знаешь ли, женимся. — Трапезников посмотрел на солдата, ожидая его одобрительных слов или хотя бы удивления, но на корявом лице додоновском отношение не выразилось. — Теперь придется отложить на двое суток.

Опершись головой о беленую стенку, Додонов курил. Потом искоса поглядел на Трапезникова и заговорил лениво:

— Не пойму я, ты меня дурачишь или сам себя. Вроде непохоже, что ты такой ушлый... Но вот не могу отделаться, что ты дурачком прикидываешься.

— Зачем мне это?

— Для чего ж тебе тогда с прапорщиком цапаться, если сам хотел в загс ехать.

— Да я и не ссорился. Просто лежал на койке, а он придрался.

— Ты говорил, что ссорился.

— Я его самодуром назвал. Но это ж действительно самодурство. Он ведь прекрасно знал, что наутро мне увольнительная нужна. Что я женюсь.

— А может, ты сам захотел сюда? Отсидеться, а?.. Ну, попрыгал, почирикал, а жениться неохота. Зачем это тебе, а? Офицер и какая-то посудомойщица — не климатит, точно?!

— Я тебе не нравлюсь, я это понимаю, — раздумчиво произнес Трапезников. — И еще ты меня... ну, ревнуешь, что ли. Но зачем же так судить. Это... не по-мужски. Напрасно я с тобой поделился.

— Слушай, а, может, тебя нарочно сюда? Спрятали. Чтоб одумался. Не прикидывал?

— Да пусть прячут. Два дня ничего не решают, — сказал Трапезников, припоминая и излишнее любопытство Меняйлы, и злорадную улыбку Кокурина, когда его отправляли на гауптвахту: противников у Зойки было много, это он знал.

— Она ведь тебя ждать будет, а ты не придешь. Ей-то каково!

— Да она уже сейчас знает. Ей Хлынов, наверно, сказал.

— Я б на твоём месте сбежал, — задумчиво произнес Додонов и вдруг загорелся: — Давай, Станислав, мы попозже окно выставим, подсадим тебя и беги. Вернешься после загса, покаешься! Куда им деваться!

Трапезников поглядел на подпотолочное оконце, и в душе его колыхнулось желание сбежать. Но тут же он представил себе и все

возможные последствия побега: первое — это может заметить часовой у караульного помещения, случайно глянув за угол, и тогда он непременно поднимет шум, весь городок поднимет на ноги...

— Беги! Ты представь, как Зойка тебя встретит. Эх! Если б меня она так приняла, да я б... Вали, Станислав! До утра никто не спохватится. Тебя ж поймут. По-человечески если. За чужую дурость никто отвечать не должен.

...Ну, а если часовой и не заметит, то утром все равно все узнают. Его, разумеется, поймут и простят, когда он все объяснит, но смеяться будут. Весь городок: и офицеры, и солдаты, и вольнонаемные — пальцами будут тыкать. Ржать будут, а это унижительно, когда над тобой смеются.

— Нет. Это авантюра, — сказал Трапезников. — Смеяться будут... Мы себя на посмешище выставим.

— Тьфу! — со злостью плюнул Додонов. — Унизиться боишься.

— Не хочу украдкой, по-воровски.

— Ну и сиди! Хрен с тобой! Только мне Зойку жаль. Она ведь не спит, готовится. Сиди, сиди. Сиди! Завтра нашу присягу примешь. Сейчас Рамазан, завтра ты. Здесь тоже смешно. Сиди!

Додонов встал, бросил свою шинель на лежак у противоположной стены, взял из рук конопушчатого Степки рукописный циркуляр, будто забыв про Трапезникова, уселся на шинель по-турецки, подвернув под себя большие желтые ступни ног. В каждом движении его чувствовал теперь Трапезников превосходство. Это было обидно, и Трапезников, отчуждаясь, решил ни на кого не обращать внимания, закрыл глаза и стал прислушиваться к жизни, доносящейся извне: приглушенные голоса, топот, бряцанье карабинов — новая смена отправлялась на посты. Потом сквозь стены проник гул строевого шага и припев «дедушки-летчика» — прапорщики вывели эскадрильи на вечернюю прогулку и ребята маршировали и пели озорные, ухарские, околесные солдатские частушки; эскадрильи соперничали между собой в силе голосов, будоража безмолвие ночи.

14

— Суд начинается! — торжественно объявил Додонов.

Все заулыбались, размещаясь возле него полукругом. Ефрейтор начал было сопротивляться прислуживающему Степке, но присмирел, поняв, что суда все равно не избежать, покорился участи и позволил усадить себя у стены, почти рядом с лежащим Трапезниковым.

— Объявляю состав суда, — прочитал Додонов, глядя в циркуляр. — Председатель и обвинитель — я, судебный исполнитель приговора — Степка. Подсудимый — ефрейтор роты охраны Рамазан. Объявляю теперь порядок суда: всякий, кто первый раз попал на губу, обязан быть подвергнут допросу и телесному наказанию ложками в меру вины. Подсудимый обязан отвечать быстро и одну только правду. Если он будет уличен во вранье, то мера наказания увеличится. Если кто из зрителей нарушит ведение суда смехом, ржанием или пустыми разговорами, то будет наказан тридцатью ударами ложкой, — сохраняя серьезность, читал Додонов, тогда как все остальные улыбались. — Подсудимый, тебе все ясно?

— Права не имеешь такой! — вскинулся было Рамазан.

— За высказанное неуважение к суду — сорок ложек.

— А-а... — раскрыл рот Рамазан, но быстро что-то сообразил и прищурился. — Уважаю, уважаю. Суди давай! — И повернувшись к Трапезникову, сказал: — Потом его судить будем, вместе.

- За что сидишь?
- Сам знаешь. Ты бежал, я сижу.
- Ясно. За плохое несение службы! Десять ложек.
- Всего пятьдесят,— подсчитал Степка, похлопывая по ладони заплесневелой алюминиевой ложкой.
- Родители есть?
- Есть.
- Сколько раз в неделю пишешь им письма?
- Один.
- За непочитание родителей...
- Нет, иногда много пишу.
- Сколько?
- Два дня одно письмо.
- За неэкономное расходование бумаги — двадцать ложек! — спокойно, без улыбки вел суд Додонов, изредка заглядывая в циркуляр.— Возражал ли когда-нибудь начальству?
- Н... д...— заикнулся ефрейтор, уже поняв, что ложки могут только прибавляться, и все-таки стараясь выгадать меньшее зло.— Да.
- За неуважение старшего по званию...
- Нет. Спутал. Начальнику — никогда.
- Рыжий смешливый Степка залился таким веселым смехом, что все, кто крепился только улыбаясь, рассмеялись совсем громко.
- За отсутствие собственного мнения — сорок ложек. Всем присутствующим на суде делаю первое серьезное предупреждение,— угрозил пальцем Додонов и продолжил допрос.
- Ты женат?
- Нет.
- Ну а баба у тебя есть?
- Есть.
- В каких ты с ней отношениях?
- Плохо суд понимаю.
- Ну спишь ты с ней или нет?
- Сплю,— торопливо, желая представиться в лучшем свете, сказал ефрейтор.

— За разврат — семьдесят ложек.

Смех грохнул с такой силой, что и Трапезников засмеялся, подчиняясь общему веселью. На следующий вечер все это предстояло испытать и ему. Наконец все уgomонились; Рамазана как самого легкого подняли под потолок, он отвернул лампочку, и в темноте почти мгновенно уснули. Для Трапезникова тоже закончился самый ералашный день голубого карантина, но он еще долго ворочался, таращась в бессоннице то на желтый луч света, косо падающий из коридора, то на темное, вновь закрытое тучами небо за оконцем.

Наутро бабье лето кончилось и осень обнаружила свою власть сразу: небо было серое, ветреное, набухшее, сыпал дождь пополам со снежной крупкой, слышно было, как она порывами сечет в оконце.

У рыжего Степки кончился срок; после завтрака ему выдали ремень, из караулки он зашел проститься — чисто выбритый, подтянутый, веселый.

— Что ж, бывайте, братцы! Не скучайте без меня,— подмигнув, скороговоркой выпалил он, ощущая себя уже чужим в этой обстановке, но веселостью своей пытаясь выразить сохранившееся товарищество.

Вскоре после ухода Степки их увели в овощехранилище перебирать картошку, а Трапезникова оставили в камере. Невыспавшийся за ночь, он быстро уснул под шум дождя и крупки, успокоенно подумав, что это хорошо, что дождь и не надо идти в загс, потому что как же Зойке идти в такую скверную погоду в длинном белом платье и воздушной фате?..

Он не слышал, когда отпирались запоры, и проснулся оттого, что рядом с ним стояли и разговаривали прапорщик Меняйло в сапогах с галошами и начальник караула. Открыв глаза, Трапезников глядел на прапорщика снизу вверх, на его висячие бурые щеки и круглые ноздри, не понимая, откуда он взялся здесь.

— Чего же ты лежишь? Вставай. Отменяю я свое наказание.

Сдерживая торопливость, Трапезников сел, обмотал ноги портянками, натянул сапоги и поднялся, пытаясь скрыть радость от снова тронувшейся вперед жизни.

Исполнив формальности вызволения, прапорщик с Трапезниковым вышли в утреннюю непогоду и зашагали через плац. Прапорщик взял его под руку и заговорил:

— Ты уж на меня, старика, не серчай, Станислав. Я для пользы дела тебя посадил. Подумать не грех на досуге, стоит тебе в хомут семейный голову совать иль не стоит. Я посчитал, не стоит. Капитан Алентьев тоже так считает, но вот велел тебя отпустить. Хлынов, вишь, ему пожаловался. Выговорил: не твое, мол, дело и не суйся. Мое дело, конечно,— сторона. И ты мне можешь так сказать: не суйся. Говори, я не обижусь.

— У каждого свое мнение... Только зачем же властью пользоваться?

— Власть, конечно,— последнее дело. Но у тебя уж больно все вскорости закрутилось. Надо бы с тобой поговорить, побалакать мирно. Да меня еще Кокурин сбил: спасать, говорит, Станислава надо...

— Я не хочу об этом слушать,— перебил Трапезников, освобождаясь от руки прапорщика.

— А ты послушать послушай, а поступай как хочешь. Знаю я о Зойке. Не пара она тебе. Не я один так говорю. А характер какой? Понесет — не дай бог! Тебе-то она небось другой представляется. Бабы, они это умеют.

— Мне не важно, что о ней говорят. Я ее люблю. И все. Вы сами-то знаете, что такое любовь?

— Эх, люблю! Любовь — вещь строгая. Она не в постели начинается. А бабы — народ сладкий, липучий, опасней их никого нет. Я их знаю. Вот поживешь ты с ней год, другой, тогда ответишь — любишь иль нет. Уж сколько вас в голубом карантине попало...

— Никто Зойки не знает, а знают о ней. Говорить об этом, особенно мужчине, должно быть стыдно,— запальчиво сказал Трапезников.

Они подошли уже к казарме и теперь остановились под козырьком у входа.

— Если б она была вашей дочерью, товарищ прапорщик, вы б меня тоже отговаривали и на губу сажали?

— Уел, Трапезников. Уел,— покачал головой Меняйло.

— Скажите честно.

— Ну что ж, как ее отец — не сказал бы, но про себя подумал. Да. Ее бы одобрил, а тебя... Да, поди, тоже бы одобрил.

— Вот видите.

Прапорщик протянул ему увольнительную на сутки, повернулся и скорым шагом, обходя лужи, направился к офицерскому клубу.

В казарме никого не было, кроме дневального; от него Трапезников узнал, что ребят увели в клуб на лекцию о международном поло-

женин,— и это даже к лучшему, что никого не было, а то пришлось бы объяснять, рассказывая, вызывая невольный смех и подробности ночи на гауптвахте. Приготовленная и отглаженная форма так и лежала на табурете, и хромовые сапоги стояли под койкой, чуть припыленные. Трапезников быстро побрился в умывальной комнате, вымылся по пояс, оделся, протер бархоткой сапоги, снова вымыл руки и, последний раз оглядев себя в зеркале — подтянутого, надушенного, с напряженно блестящим взглядом,— сбежал по лестнице вниз. Дождь все еще шел, но редкий, мелкий, снежная крупка хрустела под подошвами. Трапезников опять подумал, как же им добираться в город, но решил очень просто: от проходной он вызовет такси.

Новой дорогой, по асфальту, не таясь, Трапезников побежал к Зойке. Он бежал, выбирая чистые места, смешно, на прямых ногах перепрыгивая через лужи, чтоб не забрызгаться. Немногие встречные — начальник ремонтных мастерских, майор, которому он козырнул, три офицерские жены, с которыми он поздоровался, медсестра из санчасти — оглянулись на него; как нарочно, одной из женщин была жена капитана Алентьева, она приостановилась в плывущей походке, увидев спешащего Трапезникова, удивленно подняла черную бровь, улыбнулась, желая остановить его и полюбопытствовать, но он превозмог свою обычную вежливость и, поздоровавшись, не остановился. В проходной Трапезников заказал по телефону такси, оставил дежурному сержанту деньги, чтоб таксист ждал и не беспокоился, и, выйдя из городка, свернул на поселковую улицу.

Пес встретил его во дворе; узнав по слуху, он не залаял, а только проводил его до двери слепыми глазами.

Шагнув через порог, Трапезников остановился на половичке и свистнул иволгой.

— Карета подана, Зоенька! — крикнул он и засмеялся неожиданно придуманным пышным словам.

Пока он шел, он не знал, не думал, что скажет первым, ему почему-то представлялось, что Зойка сидит в белом платье и ждет его, а фата еще не надета и лежит на желтой плюшевой скатерти стола, что вообще они с бабкой сидят молча, как на вокзале при запоздавшем поезде... Вместо Зойки из своего закутка выглянула бабка Оксана. Маленькие голубые глазки ее смотрели холодно и пристально поверх огромного носа.

— Што жэ ты явивсь? Тебя ж на губу посадылы.

— Уже выпустили. А где она?

— Та дэ ж ей быти — на работи.

— Да зачем же...

Трапезников недоговорил и выскочил из хаты. Он бежал теперь старой короткой дорогой по раскисшей земле и остановился лишь перед дверью посудомойки. Снова в ноздри ему ударил густой пар, и снова в жирном тумане он увидел три женские фигуры у чанов, услышал шум льющейся воды и громоуханье тарелок.

— Зоя! — переводя дыхание и успокаиваясь, в каком-то недобром предчувствии позвал Трапезников.— Я тебя ишу. Пойдем быстренько. Нас уже, наверное, у проходной такси ждет.

Из тумана женщины глядели на него молча и словно бы испуганно. Молчание длилось так долго, что стало стеснительным для всех, и тогда Зойка сказала, не отходя от чана, а только повернувшись:

— Зря ты торопился. Никуда я не поеду.

— Но... ведь нас таксист ждет.

— Я не шучу, Стасик. Вот при них говорю: не поеду и замуж за тебя не пойду.

— Почему же?

— Раздумала я. Могу я раздумать? Первое слово за тобой, последнее за мной.

Обе женщины сторонкой продвинулись к двери, тихо протиснулись мимо ошарашенного Трапезникова и исчезли.

— Я ничего не понимаю,— растерянно пожал плечами Трапезников.— Разве я в чем провинился?

— Не ты, Стасик, они, — смягчившись, но все так же жестко сказала Зойка.— Они же все считают, что я заманила тебя жениться. А я не хочу! Что я — такая уж тигрица, что только и думаю, кого подкараулить да замуж выскочить! Велика честь! Не пойду — и все тут.

— Я убью того, кто тебя обидит!

— Не убьешь, Стасик. Додонов убьет, а ты нет. Ты — добрый. Не переживай.

— Что вы все твердите — добрый, добрый, добрый! Я скоро возненавижу это слово!.. Я знаю, ты меня не любишь. В этом все дело.

— Я в тебе Витю Жигалина любила. И теперь люблю. Это ведь как назад вернуться, — уже тихо закончила Зойка.

И никакие его уговоры не помогли.

Он вышел тихо. Ему хотелось плакать, и когда неумогу накатывало, он сглатывал горлом, борясь не со слезами, а с этим унижительным горловым звуком, которого стыдился. Так и дошел до казармы.

Пробился возвышающийся до шипения свист запущенного реактивного двигателя на самолетной стоянке; скоро он перешел в рев: огненная струя турбины рвала холодный плотный осенний воздух. Мелко дребезжали оконные стекла. Потом рев опал, утихнул до шипящего свиста и снова возник с взрывной мощью прикованного к земле летающего зверя. Техники опробовали новый двигатель. Когда рев снова опал, Трапезников услышал тихий свист.

В пустой казарме у окна одиноко стоял капитан Алентьев, засунув руки в карманы куртки.

Первым желанием Трапезникова было уйти и не встречаться с Алентьевым, как и ни с кем вообще, но тут же он подумал, что капитан, вероятно, специально ждет его. Прекрасно понимая, что как раз ему-то ничего не следует объяснять и рассчитывать на сочувствие Алентьева не приходится, Трапезников, подавив расслабляющую жалость к себе, остановился рядом.

— Ну как? — спросил Алентьев, коротко взглянув в натянуто-спокойное лицо Трапезникова.

— Никак, товарищ капитан, — сказал Трапезников и, поняв, что голос его достаточно тверд, добавил с нарочитой небрежностью: — Все пошло прахом.

Алентьев помолчал, осмысливая сообщение, и объявил недовольным тоном:

— Сам виноват. Я вас чему учил: всегда принимай одно решение, не мельтеши. А с женщинами, как и в небе, нужна твердость. Колебаться нельзя...

С высоты, из-за облаков, накатила тугая волна взрыва, дрогнули земля и здания, и жалобно дзинькнули стекла, а мгновение спустя докатился гул стремительного полета.

— Кто-то за сверхзвук ушел, — сказал капитан.— Радуйся, Станислав. Все еще у тебя за сверхзвуком.

Под окнами казармы раздался гул строевого шага, громкие команды и шум множества голосов: ребята вернулись из офицерского клуба.



ВЛ. ЛИДИН

★

СТРАНИЦЫ ПОЛДНЯ

Мне принесли общую тетрадь, чтобы я хоть чем-нибудь занялся в те дни, когда не мог работать как обычно, и память, у которой не было необходимости торопиться, подсказала, о чем следует вспомнить, чтобы это не совсем унесло время.

«Ганс Кюхельгартен»

Военная зима 1942 года была сурова и тревожна. Все было отдано войне, и великие ценности культуры казались вчерашним днем интересов и склонностей.

Покинутые библиотеки собирателей стыли в полусогреваемых домах, их владельцы были на фронте или в эвакуации и — если даже оставались в Москве — не смогли бы притронуться к тому, что некогда согревало и утешало: книги были предметом мира, а сейчас шла война и все напоминавшее о мире было оставлено до лучших времен.

Брошены были и мои книги: я работал в редакции газеты «Известия», жил там на казарменном положении, как это именовалось тогда, и взамен книг лежали на моем столе блокноты военного корреспондента. Но книги жили, однако: мне привелось повидать и том «Войны и мира», разодранный на листки, переходившие из одних солдатских рук в другие; привелось повидать и пропитанную кровью книгу Николая Островского, простреленную вместе с комсомольским билетом того, кто носил эту книгу за пазухой. А на московских улицах с баррикадами и противотанковыми ежами озябшие люди задерживались возле книжных развалов.

Как-то в редакцию «Известий» пришел незнакомый человек. Дежуривший внизу вахтер сказал мне по внутреннему телефону, что меня хочет видеть приезжий из Ленинграда. И он поднялся ко мне, приезжий из Ленинграда, изможденный по всем законам дистрофии, измученный человек, вывезенный вместе с другими и вечером направлявшийся дальше — в Сызрань. Я не спросил тогда его профессии, а человек назвался лишь Николаем Ивановичем, сказал, что прослышал от ленинградских книжников о моем книголюбии и сейчас, когда все так трудно сложилось для него, решил расстаться с некоторыми особенно дорогими ему книгами.

Я принес из буфета стакан чая с двумя бутербродами, но он только покосился на бутерброды, спросил, несколько помедлив:

— Можно мне захватить их с собой — меня будет ждать дочь на вокзале?

Я предложил ему съесть пока эти, а для дочери я принесу другие, и он пил чай и ел бутерброд с крошечным кусочком сыра так, словно выполнял некий благоговейный обряд, поддерживая снизу ладонь другой рукой, чтобы не просыпались крошки.

Он выпил чаю, согрелся и достал наконец из рюкзака, в котором помещалось, наверно, все, что он вывез из Ленинграда, завернутую в газету книгу.

Я никогда не видел этой книги, она даже не составляла предмет моих вождлений, потому что книга эта ненаходима. На темно-вишневом марокене работы, вероятно, какого-нибудь знаменитого переплетчика оттиснута была золотом надпись: «Ганс Кюхельгартен».

Общеизвестна судьба этой первой книги Гоголя, уничтоженной автором с таким рвением, что лишь несколько экземпляров осталось в наших главных хранилищах. Книга побывала, наверно, в Париже, все ее странички были отбелены, как это делается с особо редкими книгами, попавшими к реставратору, и, видимо, эту жемчужину добыл какой-нибудь высокопоставленный собиратель или, может быть, неистовый коллекционер, отвезший ее в Париж, чтобы оформить по всем правилам библиофилии.

Я подержал в руках книгу «Ганс Кюхельгартен», а человек, именуемый Николаем Ивановичем, покорно и печально сидел, пожалуй еще больше устав от чая и двух кусков невиданного белого хлеба с маслом и ломтиками сыра. Я мысленно прикинул, сколько мог бы предложить за эту книгу, подсчитал все текущие гонорары и, может быть, аванс, если только дадут.

— Сколько же вы хотите за эту книгу, Николай Иванович? — спросил я, однако без эгоистического рвения собирателя, а понимая, как ему нелегко расстаться с ней.

— Деньги мне не нужны, я хочу за нее пять килограммов сливочного масла, — сказал он грустно. — Моя жена умерла в Ленинграде, а дочь со мной, ей шестнадцать лет, и такая дистрофия, такая дистрофия! Если бы у меня было масло, я поправил бы ее.

Но достать масло в ту пору было невысказано. Я вспомнил, сколько усилий потратил, чтобы добиться полкилограмма для умиравшего писателя А. И. Свирского, во скольких учреждениях мне пришлось побывать и сколько разрешительных резолюций стояло на поданном мной заявлении. Лучше всего было бы достать хоть немного сливочного масла без всякого обмена, и это доставило бы мне больше удовлетворения, чем поставить книгу на полку.

— Я, между прочим, так и думал, — сказал он. — Достать масло даже в Москве, наверно, очень трудно. Я хотел бы, конечно, чтобы эта книга осталась у вас, но вы поймите меня — что же мне делать? Что же мне сделать с моей Любочкой?

Мы больше не говорили о книге, он спрятал ее в свой рюкзак, однако скорбно: он мысленно уже расстался с этой книгой и не жалел ее. Перед ним стояла судьба дочери, а что в сравнении с этим может значить даже величайшая ценность?

Мы посидели еще немного, не сказав больше ни слова о книге, а бутерброды для дочери он спрятал, пожалуй, даже более бережно, чем «Кюхельгартена».

— Спасибо вам,— сказал он и, подумав, добавил: — А может быть, в рассрочку, килограмма два сразу, остальное пришлете? Я сообщу вам из Сызрани свой адрес, а книгу оставьте у себя.

Вероятно, он подумал, что мне в редакционном буфете дадут в виде аванса два килограмма масла. Но я только покачал головой, и он поднялся, пожал обеими высохшими руками мою руку, худой, иконописный, как изображали древние живописцы великомучеников. Его мечта — достать для дочери масло — не сбылась, а книга, что ж... ею не накормишь, какой бы ценности она ни была.

И «Ганс Кюхельгартен» навсегда отправился в неизвестность, направился в Сызрань, а что и как было дальше — я не знаю, свой адрес Николай Иванович не прислал мне, не знаю я и того, как попала к нему эта книга, — впрочем, в блокаду Ленинграда в чьей-нибудь выстуженной квартире ею просто могли истопить печурку, — и это была моя единственная встреча с книгой Гоголя, все прижизненные издания которого у меня есть, и присоедини я «Ганса Кюхельгартена», это было бы, пожалуй, единственное по полноте собрание.

Однако до сих пор я не жалею о том, что эта книга не досталась мне; я жалею лишь, что не смог в свое время достать хотя бы немного масла для Любочки, которая ждала отца на Казанском вокзале в ноябрьский вечер 1942 года.

Строки Л. Н. Толстого

Лев Николаевич Толстой обычно скупно надписывал свои книги. Он просто писал имя того, кому дарил книгу, ставил подпись, и уже это одно служило доказательством его расположения.

В воспоминаниях дочери Власа Дорошевича, Натальи Власьевны, частично опубликованных и хранящихся ныне в отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина, горько описано возвращение ее отца в Петроград, после того как он оказался в Крыму, в самой гуще обреченной врангелевщины. В Крыму он отказался написать хотя бы одну строку для осаждавших его белых газет, и наши военные, несомненно оценив это, привезли Дорошевича в штабном вагоне в Петроград.

Но дома, в своей квартире, Дорошевич нашел полное разорение. У его жены был уже другой спутник жизни, встретивший Дорошевича в его пижаме. Строки этих воспоминаний Натальи Дорошевич скорбны, отца она любила, жалела, и ей было тяжело вспоминать о нем. Еще тяжелее было вспоминать о его трагическом конце: помещенный в дом отдыха под Петроградом, Дорошевич однажды ушел из него, заблудился, обессилел, его подобрал прохожий, он заявлял: «Я Дорошевич», но его приняли за маньяка и отправили в психиатрическую больницу, откуда Дорошевич уже не вышел, и лишь несколько человек хоронили его; об этом сохранились короткие строки Михаила Кольцова.

Власа Дорошевича называли в свое время «королем фельетона». У него была большая и необыкновенная библиотека. Его всегда волновала та роль, какую играет газета в формировании общественного сознания. Во время своих зарубежных поездок он, не жалея денег, выискивал газеты времен Французской революции; в частности, у него был комплект «Друга народа», издававшегося Маратом.

Разорение коснулось, конечно, в первую очередь библиотеки: книги, когда что-либо случается с их владельцем, нередко разлетаются, как голуби из голубятни.

Из этого разоренного собрания мне удалось приобрести лишь одну книгу. Из биографии Дорошевича известно, что в 1903 году он побывал в Ясной Поляне. Обличительную сторону деятельности Дорошевича Толстой несомненно ценил: голос Дорошевича звучал, когда дело касалось стяжателей, притеснителей, взяточников: не одного из них поставил он к позорному столбу.

На книге, которую я приобрел, лондонском издании «Воскресения», была лаконичная, как обычно, надпись: «Власу Михайловичу Дорошевичу. Лев Толстой. 3 января 1909». Я не успел показать книгу дочери Дорошевича, тяжело больной в то время, только рассказал о книге.

— Берегите ее,— сказала она как-то трепетно.— Отец перед Толстым благоговел. У отца было много книг с надписями писателей, но книга Толстого, я уверена, была для него одной из самых дорогих.

Помогал Толстому в его работе не раз и славный русский деятель Анатолий Федорович Кони, к которому Толстой обращался нередко по поводу всяческих судебных несправедливостей.

«Моя судьба утруждать Вас письмами, многоуважаемый Анатолий Федорович,— писал Толстой 1 января 1894 года.— Только что написал Вам о сердечно интересующем меня деле Ханевинской, как вот появляется необходимость еще утруждать Вас по делу Берманов, приговоренных в Житомире к каторжным работам. Прилагаю при этом письмо Бермана. В какой степени справедливо то, что он пишет, Вы, может быть, уже знаете, а если не знаете, то с Вашей опытностью узнаете по письму. И само собой разумеется, если справедливы его утверждения о невинности его родных, сделаете то, что можно, чтобы спасти их. Пожалуйста, не сердитесь на меня.

Преданный Вам Лев Толстой.

1 Января 1894.

Письмо это передаст Вам мой друг Павел Иванович Бирюков».

Речь шла о деле брата и сестры Берман, обвиненных в убийстве извозчика Бойчука и приговоренных к двенадцати годам каторжных работ.

Известный исследователь Толстого Эвелина Ефимовна Зайденшнур разъяснила, что письмо не опубликовано, а известно лишь ответное письмо А. Ф. Кони на это обращение Толстого.

А на своей визитной карточке Толстой писал врачу яснополянской больницы:

«Очень прошу Старшего врача принять в больницу Анастасию Афанасьевну Бирченкову. Прошу извинить за то, что по незнанию не обращаюсь лично, и за то, что утруждаю просьбой. За исполнение ее буду оч. благодарен. Лев Толстой».

Толстой всегда писал тем или о тех, нравственные или физические испытания которых волновали его, и в каждом обращении ощущаешь тревогу его сердца.

В 1920 году я был младшим письмоводителем штаба 8-й пехотной дивизии, разместившегося в особняке, принадлежавшем прежде В. Морозовой, гражданской жене редактора газеты «Русские ведомости» В. М. Соболевского; возле печи я обнаружил заготовленную для топки груды бумаг и среди них письмо Л. Н. Толстого по поводу ареста его секретаря Н. Н. Гусева. Прихватив еще письмо П. И. Якушкина и визитную карточку Артура Шницлера, я пошел к комиссару дивизии, и остатки архива Соболевского были спасены. Наверно, это письмо Толстого в редакцию газеты «Русские ведомости» находится ныне в его музее.

Не могу не упрекнуть себя, однако, в том, что, подарив в свое время писателю Стефану Цвейгу одно из писем Толстого, я не снял с письма копии. Письмо было адресовано М. П. Погодину с просьбой о некоторых поправках к печатавшемуся в катковском журнале «Русский вестник» роману «Война и мир».

Несколько лет назад, побывав в Вене, я посетил скромный музей Стефана Цвейга, созданный его почитателями. Хранитель музея не смог ответить мне, куда девалось замечательное собрание рукописей великих писателей и партитур композиторов, принадлежавшее Цвейгу. Но если собрание все же, нужно надеяться, цело, то обнаружится, несомненно, и это письмо Толстого. По сведениям наших литературоведов, в собрании Цвейга была и рукопись Ф. М. Достоевского.

Вишневый сад

Как-то с милым человеком Сергеем Михайловичем Чеховым, племянником А. П. Чехова, мы сажали вишневые деревья возле дома-музея Чехова на Кудринской площади, ныне площади Восстания. Сергей Михайлович, художник, оставивший немало зарисовок чеховских мест, зарисовок, украшающих ныне и музей Чехова в Москве и мелиховскую усадьбу, был всегда мягок, предупредителен и стеснителен.

Посадив деревья, которые впоследствии должны были разрастись и стать символическим вишневым садом, мы вернулись в дом, сели на один из подоконников и поговорили.

— Мне всегда хотелось побывать в домах, где жили писатели,— сказал я.— Когда видишь покинутый стол писателя, обычно обращаешься мыслью к тому, что и сам покинешь свой письменный стол и все, что было твоей деятельностью, растворится во времени.

— А книги? — спросил Сергей Михайлович.

— Книги — что ж... кто знает, будут ли читать их.

— Антон Павлович, судя по рассказу Бунина, полагал, что его будут читать семь лет... Видите, как не угадаешь иногда!

А когда я рассказал ему далее, в каких писательских домах привелось мне побывать, Сергей Михайлович сказал:

— Для писателя главное бывать почаще в том доме, где он сам работает, а то случается — писатель жив, а его письменный стол заброшен.

И мы согласились с ним, что труженичество важнее всего, посидели еще на подоконнике, а на память об этом дне у меня сохранились фотографии, на которых мы с Сергеем Михайловичем сняты с лейками в руках.

Рассказывая С. М. Чехову о писательских домах, где мне привелось побывать, я вспомнил и то, что оставило глубокий след в моей памяти.

...Мы возвращались на редакционной машине газеты «Сельская жизнь» из Плавска, стоял поздний октябрь, рано темнело, и были уже сумерки, когда мы подъехали к свороту в сторону Ясной Поляны.

— Давайте заедем в Ясную Поляну,— предложил я своему спутнику, славному журналисту Никите Афанасьевичу Иванову.

Иванов, журналист писательского толка, сразу понял, что может дать посещение Ясной Поляны в вечерний октябрьский час, когда никого из посетителей уже нет, а есть единственно Лев Николаевич Толстой. Мы свернули с шоссе, и вскоре яснополянские ворота с их

известными всему миру столбами возникли перед нами. В парк уже не пускали, но я назвал имя старожилы Ясной Поляны, в ту пору хранителя дома Толстого, Николая Павловича Пузина, и нас пропустили.

Дом Толстого был закрыт, аллеи парка засыпаны опавшими листьями, и мы поторопились, пока совсем не стемнело, пройти в заповедную зону. Могила Толстого лежала в той тишине, когда слышишь стук собственного сердца, столетние деревья могуче оберегали покой, и хотя прошли уже годы и я не раз бывал впоследствии в Ясной Поляне, посещение вечернего, живущего своей особой жизнью парка, когда в нем нет никого, я никогда не забуду...

Рассказывая Сергею Михайловичу Чехову о писательских гнездах, я вспомнил также, как уже в давние времена побывал в Таганроге. Дом, в котором родился Чехов, стоял в зное таганрогского лета, но местный учитель, имя которого я ныне забыл, посадил по своей инициативе вишневые деревца вблизи дома. «Придет время — начнут плодоносить вишенки,— сказал он тогда.— Доживем до этого — хорошо, а не доживем — другие посмотрят». Учитель был из числа тех, о ком сочувственно писал не раз Чехов, построивший впоследствии школу в Мелихове, писал не раз о самоотверженном их труде и верности своему высокому делу.

Сергей Михайлович Чехов пришел ко мне однажды посоветоваться насчет своей книги «О семье Чеховых», которую я прочел еще в рукописи, и мне было приятно сказать, что книга эта, по моему разумению, займет достойное место среди книг, посвященных Чехову. Потом мы с ним вспомнили, как сажали вишневые деревца возле того «дома-комода», в котором прошли, может быть, самые лучшие, озаренные молодостью годы жизни Антона Павловича Чехова.

А год или два спустя Сергей Михайлович умер, и я специально пошел взглянуть, поднялись ли деревца, которые мы вместе с ним сажали. Деревца выросли, это был уже вишневый сад почти, и я вспомнил таганрогского учителя, сказавшего, что доживем, когда начнут плодоносить посаженные им вишенки,— хорошо, а не доживем — другие посмотрят.

Вечер в Померанцевом переулке

Ахматова вошла в комнату Софьи Андреевны Толстой царственно и поздоровалась со всеми царственно. Но никакого царства у нее не было, а царственность создавали те, кто восхищался ею и ее поэзией.

В комнате Софьи Андреевны висел портрет ее великого деда, но не было ни одного портрета Есенина, грустную жизнь с которым она прожила стоически. Многие эта внучка Л. Н. Толстого сумела принять мудро и стоически.

Побывав как-то в Кочетковке близ Ясной Поляны, где среди других сородичей похоронена и Софья Андреевна, я постоял у ее могилы, вспомнил образ этой особенной женщины, преданной литературе, ни одного дня не прожившей без действия во славу литературы, будь то директорство в толстовском музее или собирание материалов для увековечения памяти Есенина.

В Москве, в Померанцевом переулке, где она жила, у нее часто собирались литераторы, а для приехавшей из Ленинграда Анны Ахматовой устроен был вечер. Ахматова, едва появившись, сразу погрузилась в атмосферу почитания и восхищения. Впрочем, того и другого

пришлось ей немало узнать в своей жизни, как пришлось узнать и немало горького.

Хотя и появившись царственно — но больше от настроения собравшихся, — Ахматова казалась просто уставшей и давно равнодушной ко всяческому восхищению ею: главное было для нее, конечно, то, что она положила себе еще сделать, а не то, что уже сделала. Она и надписала мне в этот вечер свой сборник «Из шести книг» после обращения по имени — «в долготу дней», что означало и для меня и для нее будущее, а не только прошедшее.

Анну Андреевну стали, как обычно, просить почитать свои стихи, но она сказала будничным голосом:

— Я думала, меня позвали пить чай.

И Софья Андреевна смущенно заторопилась:

— Конечно, конечно...

А тарелки с закусками стояли уже приготовленные на подоконнике, и вместо чтения стихов был просто чай с домашними пирогами.

Чувствительная, однако, к писательским настроениям, Софья Андреевна озабоченно спросила меня на другой день по телефону:

— Мне показалось, Анна Андреевна осталась вчера недовольной, что ее будто пригласили только для того, чтобы послушать ее стихи.

Я ответил:

— Ей просто хотелось выпить чаю, а у вас к тому же пахло сдобой от ваших пирогов. Читать стихи она всегда успеет, а посидеть с хорошими людьми за чаем с пирогами не так-то часто выпадает на долю поэта.

— Скажете! — отозвалась Софья Андреевна. — Впрочем, это правда, надо чаще встречаться друг с другом.

Но она всегда была столь пленена Ахматовой, что даже отказ читать стихи показался ей тоже одной из ее необыкновенных черт.

— А что вы знаете об Ахматовой? — спросила меня в тот вечер Анна Андреевна, когда мы спускались вместе по плохо освещенной лестнице большого дома в Померанцевом переулке.

— Знаю, что она пишет прекрасные стихи.

— Ничего-то вы о ней не знаете, — как-то удивительно горько сказала она. — Разве жизнь писателя состоит только в том, что он пишет стихи или рассказы?

Я не смог заставить себя спросить, в чем же главное, да она, наверно, и не ответила бы.

Ее не ждали у входа ни царственная колесница, ни даже такси, которое не удалось вызвать, и мы пошли по Кропоткинской улице. Приезжая в Москву, она зачастую останавливалась у милого человека, писателя Виктора Ефимовича Ардова, жившего на Большой Ордынке.

— С Анной Андреевной хорошо молчать, — сказал мне Ардов как-то. — Только многим кажется, что с ней нужно непрестанно говорить, и при этом только о стихах. Попробуйте-ка поговорить со мной о юморе!

«Долготы дней», о которой Ахматова написала мне на своей книге, для нее не получилось... Но взяв в руки эту книгу, я всегда вспоминаю, как спукались мы по плохо освещенной лестнице большого дома в Померанцевом переулке и как Ахматова спросила у меня, что я знаю о ней, и, почти не дав мне ответить, как-то горько сказала: «Ничего-то вы об Ахматовой не знаете»...

А потом мы шли по Кропоткинской улице, был холодный вечер ноября с мелкой ледяной крупой, Ахматова скоро озябла, отчужденно несла в себе свое, и я думаю, что этого ее своего никто и не узнал, даже те, кто знал назубок ее поэзию...

Погребок Менабде

Сергей Павлович Бобров начал писать стихи под весьма манерным псевдонимом: Мар Йолэн. Мы познакомились с ним в далекую весну, которую можно было бы взять в кавычки: в журнале «Весна», издававшемся журналистом Николаем Георгиевичем Шебуевым. Его журнал вовлекал как в водоворот все, что плавало на поверхности, вплоть до мелких щепочек; щепочки эти писали стихи, исчезающие, как дождевые пузыри, одни — в виде пробы пера, другие — в поисках славы, но Сергей Павлович Бобров впоследствии весьма уничтожительно относился к своим первым пробам.

Несмотря на разность наших характеров, мы с ним сдружились, он писал мне письма на бланках «Шахматного обозрения», которое издавал его отец и которое несомненно воспитало в Боброве хорошего математика. Однажды он даже посвятил мне стихотворение, оригинал которого сохранился у меня и которое привожу как свидетельство поэтических вений того времени.

СОНЕТ

Моя она — прекрасна и нежна,
И взор ее, как светлый взор газелей.
Печален я — печален звук свирелей,
И внемя им — грустит она.

Меня ласкает бледный, грустный взор.
Мне тонких рук пленительны извивы,
И кружева вокруг шеи так красивы;
В душе моей горит костер.

О, пламена священного молчанья!
О, нежный взор, ласкающий меня
На побледневшем склоне дня.

Я затаю печальное страданье —
И в трепете поющего огня
Приму твое лобзанье!

Бобров был человеком острым на словцо, легко мог любого высмеять, и ему явно нравилось поддразнивать людей.

Мы облюбовали для встреч кавказский погребок Менабде на Тверской, находившийся на том месте, где ныне Центральный телеграф. В погребке подавали хороший шашлык и грузинские вина. Несколько анемичным и томным был в ту пору поэт Николай Асеев, носил в петлице цветок, и хозяину погребка, стоявшему за стойкой в черкеске с газырями и с кинжалом у пояса, нравилось, что у него собираются поэты. Он даже выставил однажды три бутылки напареули, выслушав стихи, которые читали Бобров и Асеев.

Николая Николаевича Асеева я знал затем много лет, хотя мы никогда не были близки: нас некоторым образом связывало, что его родным городом был Льгов Курской губернии, а я приезжал во Льгов на каникулы к своему дяде и мы с Асеевым гуляли в парке Бяратинских и даже гарцевали вместе на лошадях, а льговские барышни поглядывали из окон одноэтажных домов на московских кавалеристов. Впоследствии, встречаясь с Асеевым, мы нередко вспоминали Льгов и широкий прекраснейший Сейм.

В ту пору, когда литераторы собирались в погребке Менабде, Асеев только начинал свою поэтическую деятельность. Тогда же я впервые познакомился с Маяковским, показавшимся мне слишком

громоздким, что не мешало, однако, провести и с ним не один вечер у Менабде и даже как-то поехать втроем на Воробьевы горы в ресторан Крынкина, где можно было выпить пива и откуда открывался прекрасный вид на Москву. Третьим был поэт, имя которого я забыл, помню только длинную, похожую на преискуртант книгу его стихов под названием «Опалы».

Маяковский в ту пору, хотя и смущал обывателей своей желтой кофтой, цилиндром и громкогласием, был, по существу, весьма застенчивым и казался одиноким в своем внутреннем существе. Художник Давид Давидович Бурлюк пестовал и оберегал его, по-отцовски прощая всякие несомненно огорчавшие его выходы. Как-то, встретившись со мной, Бурлюк, прослышав, что я интересуюсь живописью, предложил приобрести у него две его картины, с тем чтобы я сразу же заплатил за них пять рублей. Ему нужно было именно пять рублей, чтобы выручить попавшего в какое-то затруднительное положение Маяковского. У меня и поныне висят два отличных, вполне реалистических пейзажа Бурлюка ранней поры, изображающие уфимскую степь, куда Бурлюк ездил молодым художником, еще не вкусив футуризма. Пейзажи эти так хорошо написаны, что не раз искушенные в искусстве люди, увидев их, дивились: неужели Бурлюк умел писать так?

Одним из детищ издательства «Центрифуга», созданного при ближайшем участии Сергея Боброва, был несколько странный писатель Федор Платов, выпустивший роман «Блаженны нищие духом» и «Третью книгу от Федора Платова», никаких следов, однако, в литературе не оставившие. Но самым дорогим детищем издательства был Борис Пастернак, книгу которого «Поверх барьеров» также выпустила «Центрифуга», и Бобров всегда гордился этим.

Как-то я рассказал ему, что приобрел случайно экземпляр этой книги, видимо подготовленный автором для второго издания, со множеством поправок и дописанных строф, замененных в первом издании, наверно, по требованию цензуры многоточиями.

— Гм,— сказал Бобров,— совершенно непонятно, почему эта книга у вас, когда она должна быть у меня.

Всякие ссылки на собирательство и книголюбие показались ему совершенно ничтожными. Он специально пришел ко мне посмотреть эту книгу.

— Вы стяжатель,— сказал он безжалостно,— я просто потеряю к вам всякое уважение, если вы не отдадите мне эту книгу.

Книгу, однако, я не отдал ему, дружество наше этим не нарушилось, а сравнительно недавно ко мне приходил сын Пастернака Евгений Борисович, чтобы внести все поправки и разночтения в новое, готовившееся издание стихов Пастернака.

Сергей Павлович Бобров написал в дальнейшем ряд интереснейших книг: «Волшебный двурог», «Архимедово лето». Он был человеком эрудированным, знал множество вещей на свете, знал высшую математику, теорию стихосложения, отлично переводил с других языков, и хотя мы редко встречались за последнее время, я всегда сохранял к нему дружеское чувство.

Обращаясь к тем молодым годам, когда писатели не отсиживались каждый в своем углу, а шумно общались друг с другом, несмотря на то, что писали по-разному, а некоторые даже не признавали друг друга, думаешь о том, что такое широкое общение было на пользу каждому и, во всяком случае, в интересах литературы.

Несколько лет назад я встретил Сергея Павловича Боброва возле писательской поликлиники; он был уже уставшим, старым человеком, шел со своей женой, известной переводчицей М. Богословской.

— Знаешь, кто это? — сказал он жене. — Это юноша, которого я помню еще студентом. Хороший был мальчик.

— Но и вы были неплохим, Сергей Павлович, — сказал я. — У меня даже сохранилось одно ваше стихотворение, которое вы посвятили мне в ту пору. Я помню Мара Йолэна.

— Смотри пожалуйста, — сказал он. — Разве был когда-нибудь такой поэт?

И мы оба расчувствовались немного.

— Такой поэт был, и мы с ним не раз посиживали в погребке Менабде на Тверской.

Бобров задумался — он забыл фамилию владельца погребка, покачал головой:

— Подумать только — фамилию хозяина погребка помнит, а я даже Мара Йолэна забыл.

Он предложил зайти к нему — он хотел через столько лет подарить мне свою последнюю книгу «Мальчик», — но я торопился, и мы отложили это до следующей встречи. Но следующая встреча, как это нередко случается, не состоялась: Сергей Павлович Бобров умер.

Примерно так же сложилось и с Николаем Николаевичем Асевым: мы встретились с ним на Центральном телеграфе, почти одновременно сказали друг другу:

— Сколько же лет мы знакомы!

— А у меня нет ни одной вашей книги, — сказал я.

— Зайдемте ко мне, я подарю вам, — предложил Асеев.

Он жил через улицу, но было как-то не в пору, и мы договорились, что я зайду в другой раз. Но этого другого раза, как было и с Бобровым, не получилось: Николай Николаевич умер и у меня сохранилась только старая фотография той улицы во Льгове, где молодыми мы гарцевали на лошадях, а по вечерам гуляли в парке Барятинских, и Сейм широко нес свои воды, как несет и сейчас...

Факелы

Георгий Иванович Чулков, пасторски-красивый, с медальонным профилем, был человеком многосторонним. Он писал стихи, выпустил книгу стихов «Тайга» и поэму «Мария Гамильтон», писал романы, имевшие в свою пору успех, как «Сережа Нестроев», «Сатана», «Метель», писал теоретические статьи, изучал Тютчева, был в свое время редактором-издателем альманахов «мистического анархизма» «Факелы». Конечно, от выдуманного Чулковым «мистического анархизма» и следов не осталось, но остался образ писателя, человека просвещенного, написавшего не одну книгу прозы и не одно исследование.

В общении с людьми Чулков был всегда необычайно деликатен и когда, уже несколько постарев и отяжелев, появлялся со своим благородно-бледным лицом и спадающей гривой седеющих волос, неизменно создавал высокое литературное настроение.

В февральские дни 1917 года, когда поток вешних вод шумно подтачивал то, что предшествовало Октябрьской революции, Чулков, деловой и озабоченный, пришел однажды к историку литературы М. О. Гершензону. У Гершензона я часто бывал, мы жили рядом в Никольском, ныне Плотниковом, переулке, Гершензон благоволил ко мне, тогда еще совсем молодому, даже написал раз: «Зайдите ко мне, вы так молоды, а я так стар» — и я любил бывать в светелке этого знатока той молодой России, которая была связана с именами Герцена и Огарева...

В районе Арбата и Пречистенки проживало тогда много литера-

торов, однако столь разъединенных, словно они жили в разных городах. С этим беспокойством Чулков и пришел к Гершензону.

— Михаил Осипович, — сказал он, едва войдя в комнату, — не находите ли вы, что пришло время литераторам объединиться?

Гершензон был человеком скептическим.

— Для какой же цели? — спросил он, по своей принципиальности никак не желая объединяться с кем-либо, кого он не уважал.

— В целях защиты своих профессиональных интересов, — ответил Чулков, видимо чувствуя свою оторванность от тех потоков, которые шумели не только на улицах Москвы.

Так, несмотря на первоначальный скептицизм Гершензона, создан был Клуб московских писателей, разросшийся впоследствии до Московского профессионального союза писателей, причем никакого отношения к профсоюзам не имевшего, но сыгравшего, однако, свою роль, когда в трудные голодные годы писатели были приравнены к ученым, и не я один «отоваривал» продовольственные карточки в ЦЕКУБУ.

О «мистическом анархизме» давно, в том числе и сам Чулков, позабыли, да и символизм отцвел, его бывшие столпы работали в ТЕО или ЛИТО Наркомпроса, и, бывая у Чулкова в маленьком флигеле на Новинском бульваре, бывшей дворницкой каких-то московских богачей, я чаще всего встречал Чулкова погруженным в грустное раздумье: многое не состоялось в его жизни и мне казалось, он горько ощущает это.

Придя к нему как-то, я захватил с собой маленькую книжечку его ранних стихов «Тайга», с тем чтобы он надписал ее. Но Георгий Иванович лишь грустно посмотрел на книжечку:

— Стихов я давно не пишу... Лучше подарю вам свою книгу о Тютчеве.

Примерно то же сказал мне и поэт Юрий Никандрович Верховский, несколько дремуче-бородатый, вдохновивший Александра Блока на строки «Дождь тихий, разговор неспешный, из-под цилиндра прядь волос»: «Меня сейчас больше интересует Пушкин, чем Верховский, а Чулкова Тютчев, чем Чулков».

Действительно, за последние годы Верховский выпустил исследование о Боратынском и Дельвиге, собрал и книгу «Поэты пушкинской поры», но стихи, с которых начали и Чулков и Верховский, остались для обоих все же как первая любовь. Правда, в войну Верховский вернулся к стихам, выпустив книгу «Будет так», внеся как бы и свою долю во всенародную борьбу.

После смерти Чулкова его вдова Надежда Григорьевна с трогательной верностью сохранила во флигельке, ныне уже давно не существующем, память о человеке, с которым прожила полную взаимной привязанности жизнь. На полке стояли книги Георгия Чулкова, в альбомах хранились его фотографии, и неизменно, когда я приходил к ней, она доставала альбомы или читала оставшиеся ненапечатанными стихи Чулкова.

Проходя ныне по улице Чайковского, я всегда гляжу в ту сторону, где стоял когда-то флигелек, на месте которого возвышается ныне громада современного дома, и вспоминаю то утро, когда Чулков пришел к Гершензону, чтобы, образно говоря, кинуть первое зерно... но совсем не важно, кто посадил дерево, важно, что оно выросло.

А про свои «Факелы» Георгий Иванович сказал мне:

— Сохраните как библиографическую редкость... Может быть, какой-нибудь литературный археолог покопается в старом кургане и найдет нечто вроде наконечника копья... Ведь в литературе тоже сражались и побивали друг друга не только копьями, но и булыжниками.

Свою сентенцию он закончил тютчевскими строками: «О, бурь зашнувших не буди — под ними хаос шевелится!..» — и, наверно, посчитал, что убедил меня отнести его «Факель» к области археологии.

Печальная повесть

Имя писателя Семена Юшкевича было в свою пору довольно широко известно. Его пьесы «Король» и «Комедия брака» шли во многих театрах России, а пьеса «Miserege» в одном из лучших — Московском Художественном. Собрание его сочинений выпустило горьковское издательство «Знание», имели успех и его книги «Леон Дрей» и «Повесть о господине Сонькине».

С Юшкевичем я познакомился в Москве весной 1916 года, а затем шесть лет спустя встретил его в Берлине, когда Юшкевич оказался в эмиграции. Обычно уверенный, он показался мне растерянным и подавленным.

— Что в России и когда можно будет вернуться? — спросил он сразу же, но больше самого себя.

Ответить, что в России, я мог, но сказать, когда ему можно будет вернуться, затруднился. Следует все же вспомнить, что Юшкевич был из печальников народного горя, писал в защиту угнетенных, презирая самодовольство и сытость.

— Неужели появится когда-нибудь «Повесть о господине Юшкевиче»? — сказал он горько, видимо поняв из моего умолчания, что уехать было проще, чем вернуться. — Черт возьми, это будет печальная повесть! — Он на минуту задумался, добавил: — Подарю вам свою книгу на память. Когда еще мы с вами снова увидимся!

Он достал изданную одним из берлинских издательств книгу «Леон Дрей» с изображенным на обложке щеголеватым господином в котелке и с тросточкой под мышкой, надписал ее, добавил:

— Интересно, что может делать ныне в России этот господин?

Юшкевич даже в ту пору, когда шли его пьесы и выходили одна за другой его книги, был мнителен и несколько подозрителен, по крайней мере так рассказывал мне о нем хорошо его знавший писатель А. И. Свирский. Юшкевичу казалось, что кое-кто подсмеивался над некоторыми одессизмами его речи, хотя, казалось бы, следовало понять и оценить преодоление тех трудностей, когда писатель пишет все-таки не на родном языке.

Иван Бунин по своей природе был человеком язвительным, о чем немало рассказано в воспоминаниях о нем. Случилось, видимо, сказать словцо и в адрес Юшкевича, вызвавшее резкую отповедь Юшкевича, отповедь такого рода, что Бунин послал ему несомненно обидное письмо. Текста этого письма я не знаю, но ответ Юшкевича хранится у меня. В своем письме от 8 сентября 1914 года Юшкевич на бланке «Люкс-отеля» писал Бунину:

«Иван Алексеевич, самое странное для меня в Вашем письме — это угроза. Поймите, если создастся положение, когда я вынужден буду сказать Вам резкое слово, то Ваша угроза не остановит меня. Сказать правду, я больше понимал бы Ваше письмо без угроз. Что же до дела по существу, то извольте, объяснюсь. Когда я вошел в переднюю, Вы, узнав меня, вместе с другими создали восклицание. Вслед за этим я услышал Ваш голос и сейчас же смех гостей. Слов Ваших я, правда, не расслышал, но мне показалось, что смех вызвали какие-то Ваши слова, сказанные обо мне. Я смутился и, чтобы отшутиться, сказал о «гнилых остротах». Ваше письмо дает мне основание думать (Вы пишете: «Не постигаю, что побудило Вас ни с того ни с сего»), что

ни какие-то Ваши слова, ни смех не относились ко мне, и потому очень извиняюсь за неприятность, которую невольно причинил Вам. Но согласитесь, что в ту минуту мое положение было прегадкое. Сожалею об этом недоразумении, но ведь его не исправишь. Еще раз шлю свои извинения.

А угрозы все-таки нехорошо. Недоброе сердце продиктовало их. Семен Юшкевич».

Не знаю, как сложилось в дальнейшем — примирились ли они или Бунин отверг извинения.

— Вы сохраните мою книгу,— сказал Юшкевич, надписав ее.— Приеду в Москву — посмотрю, как вы храните книги.

Мне казалось, он хотел протянуть хотя бы какую-нибудь ниточку к Москве, и я заранее приветствовал его возвращение, сказал Семену Соломоновичу, что отдам переплести его книгу и поставлю ее рядом с книгами тех писателей, с которыми он соседствовал, в частности, в сборниках «Знание». Его книга и поныне стоит рядом с книгой Ильи Сургучева «Соседка», тоже в свое время знакомого в России писателя рядом с книгами Скитальца, Е. Чирикова...

Доставая иногда с полки «Леона Дрея», я вспоминаю, как встретил в Берлине потерянного и печального Юшкевича, о котором впоследствии узнал, что он написал с сочувствием к русской революции роман «Эпизоды», мечтал вернуться на родину, но это не осуществилось: он умер всего пять лет спустя после нашей последней встречи — в 1927 году.

У меня сохранилась фотография встречи вернувшегося из эмиграции А. И. Куприна, окруженного на московском вокзале советскими писателями, вспоминаю я и встречу вернувшегося не то из Харбина, не то из Шанхая Скитальца. Они узнали то, о чем мечтал Семен Юшкевич: радость встречи с теми, кто забыл об ошибочном в их судьбах, памятуя лишь деятельность этих писателей во славу русской литературы.

Заграничный издатель

В ту пору четыре волнореза делили поток молодой советской литературы: крестьянские писатели отъединялись от пролетарских, поэты — от Всероссийского союза писателей, большинство членов которого именовались попутчиками; и ныне мы, конечно, несколько иронически относимся к этому отделению овец от козлиц.

Писатель Глеб Васильевич Алексеев прожил трудную и тревожную жизнь. Вернувшись в 1924 году на родину после бесплодных и горьких лет на чужбине, куда вовлечен был потоком эмиграции, он всем существом обращен был к родной стране, быстро стал советским писателем, вскоре стали выходить его книги, а года два-три спустя издательство «Земля и фабрика» выпустило и собрание его сочинений.

В Берлине, где обосновалось большинство эмигрантов, в двадцатых годах возник ряд издательств, одно из которых, «Книгоиздательство писателей», издававшее главным образом книги советских авторов, возглавлял в качестве редактора Глеб Алексеев.

Возвращаясь на родину, он пообещал издателям, что станет и впредь подыскивать для них книги лучших советских писателей, но его возвращение сразу же в литературных кругах обросло легендой: был пущен слух, что берлинский издатель покупает рукописи, тут же подписывает договор и чуть ли не сразу рассчитывается (следует вспомнить, что в ту пору книги ряда советских писателей печатались в таких берлинских издательствах, как И. П. Ладыжникова или З. И. Гржебина; и велись переговоры о том, чтобы для облегчения на-

ших полиграфических трудностей некоторые издательства печатали бы книги по нашим заказам, а книги продавались бы и у нас).

Глеб Алексеев привез, однако, из Берлина лишь широкополую шляпу, вызывавшую зависть у московских модников, и тяжелые роговые очки, которых в Москве еще никто не носил и которые казались свидетельством причастности к западному миру. На этом, собственно, все заграничное в Алексееве и кончалось: он был русским до мозга костей, любил свою родину, сразу же вошел в строй ее писателей и, наверно, мог бы многое сделать, если бы в дальнейшем его жизнь не сложилась трагически.

Вскоре после его приезда у меня собралось несколько писателей, чтобы почитать друг другу свои рассказы, а может быть, втайне помышляя познакомиться с издателем, который тут же, заинтересовавшись прочитанным, может купить на корню рукопись. Алексеев действительно сначала поговорил об издательстве, поинтересовался, кто может предложить что-либо из своих рукописей, и все опьянели от возможности пристроить свою книгу.

Во время чтения мои домашние позвали меня в кухню, где стоял похожий на прасола, в поддевке, с прямым пробором в гладко приглаженных волосах незнакомый мне человек.

— Прослышал я,— сказал он чуть нараспев,— что заграничный издатель покупает у писателей рукописи. Желал бы познакомиться.

Прасол оказался поэтом Николаем Клюевым. Войдя в комнату, где сидели писатели, он низко поклонился, сказал «мир вам» или что-то в этом роде добавил:

— Добрые люди поведали, что благой дух появился в Москве. Я захватил на всякий случай свою рукопись.

И он достал рукопись, на которую со страхом взглянул Алексеев. — Видите ли, рукописи приобретает издательство в Берлине,— сказал он несколько косноязычно.— А я только представитель издательства, так что могу лишь переслать вашу рукопись.

Клюев с явным недоверием посмотрел на него. Он решил, вероятно, что издатель уже скупил у всех присутствующих их рукописи и он опоздал на дележку.

— Я много не прошу,— сказал он.— Дайте мне сейчас сколько-нибудь, а потом сочтемся.

Но никакого «сколько-нибудь» у Алексеева не было, в Москве он еще не устроился и сам тосковал по «сколько-нибудь».

— Денег у меня нет,— сказал он, с грустью расставаясь с навязанной ему славой заграничного издателя.— Ей-богу,— добавил он уже с русской откровенностью.— Даже где буду ночевать сегодня, еще не знаю.

Но Клюев все же не верил ему.

— Мне бы только в Ленинград уехать. На билет-то найдется, я сегодня и уехал бы.

Мне казалось, что разыгрывается какая-то комедийная сцена, похожая на одну из гоголевских, и я вмешался и сказал:

— Мы собрались почитать друг другу кое-что. Может быть, вы прочтете, Николай Алексеевич, какие-нибудь ваши стихи?

Но Клюеву стало, видимо, уже скучно, читать стихи он не собиравался, заграничный издатель в роговых очках казался ему, наверно, просто пройдохой, и он, пососав с блюдечка чай, поднялся, пригладил ладонью по обе стороны масляно блестящие волосы и ушел с таким видом, будто его просто ввели в искушение.

Издательская слава Алексеева потухла еще и потому, что кое-кто из собравшихся тоже рассчитывал на щедрость издателя, и если не на аванс, то хотя бы на договор. Чтение не состоялось, к тому же

чай не вино, и вскоре мы с Алексеевым остались вдвоем в моей комнате.

— Какой же черт пустил про меня эти слухи? — спросил Алексей. — Я сам за договор с любым издательством все на свете отдал бы.

— Даже шляпу? — поинтересовался я.

— Даже шляпу.

— Даже трубку и очки?

Алексеев задумался.

— Нет, очки, пожалуй, нужны мне для вида.

Его портрет в книге автобиографий советских писателей, выпущенной в 1928 году, воспроизводит облик именно того заграничного издателя в широкополой шляпе, роговых очках и с трубкой в зубах, которому пришлось вскоре помытарствовать, как и каждому из нас, с устройством своих рукописей. В пору «волнорезов» его зачислили в попутчики, а в Литературной энциклопедии сказано о нем, что «первые свои произведения он посвятил изображению перестройки советской деревни и провинциального города и пытался раскрыть психологию нового человека».

В «Словаре русского языка» Сергея Ивановича Ожегова, с которым я дружил, слово «попутчик» объяснено так: «Случайный спутник, идущий или едущий по одному с кем-нибудь пути». Когда я спросил Сергея Ивановича, почему не указано второе толкование этого слова, он ответил:

— Это вы, батенька, в словарь современных слов загляните... а мой словарь — кондового языка.

И он с некоторым прищуром посмотрел на меня — хорошо ли я понял его?

Просматривая недавно «Книгу для чтения», составленную В. Л. Львовым-Рогачевским, вышедшую в 1926 году, я прочел, что попутчики делились еще на составные частицы — попутчики-символисты, попутчики-реалисты, попутчики-формалисты, — и пожалел, что не могу продолжить с Сергеем Ивановичем Ожеговым, которого давно уже нет, разговор и послушать, что он сказал бы об этих языковедческих осыпах.

Меценат

Как-то, еще в давние времена, ко мне пришел несколько странный незнакомый человек. Он был высок, весьма мрачен на вид, и я с неудовольствием ждал, зачем понадобился ему в утренний рабочий час.

— Вот нашел вас все-таки, а давненько собирался найти. Вы меня, конечно, не помните, но я именно вам обязан своей судьбой. Сейчас я на пенсии по возрасту, а еще несколько лет назад мы с моим напарником были клоунами-эксцентриками братьями Чижукowymi. Братьями, между прочим, мы не были, а фамилию сложили из двух наших фамилий — Чижов и Жуков. А я Чижов. И вот позвольте напомнить, почему я обязан вам своей судьбой.

И он действительно напомнил мне многое.

В Красноярске после ухода Колчака обосновался в 1922 году штаб Восточносибирского военного округа, где я был секретарем окружного комиссара, испытанного революционера и вместе с тем писателя Алексея Ивановича Окулова.

В составе писарей штаба было несколько вольнонаемных, среди них был и Чижов, которого я хоть и смутно, но все же вспомнил. Чижов был одним из самых скверных писарей, к тому же не очень

грамотным, прельстившимся возможностью отъестся немного в Сибири, где было посытнее, чем в Москве. Намучившись с Чижовым, его решили уволить. Чижов пришел тогда ко мне в полнейшем отчаянии — поезда в Москву не ходили, вдоль путей еще лежали сброшенные при отступлении Колчака составы,— и мне стало жаль Чижова, виновного лишь в том, что не справился с писарской работой. Я пошел к Окулову, человеку сердечному и понимающему человеческие незадчи.

— До Москвы Чижов никак не доберется. Выходит, что мы сорвали его с места и бросили,— сказал я Окулову.

Он задумался.

— Попробуйте устроить его в Красноярске, поговорите с военкомом Петерсоном, может быть, у него найдется что-нибудь,— предложил Окулов.

Штаб округа размещался тогда на дачах на берегу Енисея, я поехал в Красноярск и по дороге на одной из улиц увидел объявление, что местному цирку нужны униформисты. Директором цирка оказался бывший кавалерист-буденовец, и я уговорил его взять на работу Чижова, объяснив, что он увольняется из-за переполнения штатов. Чижова на работу приняли, выдали ему униформу — по бедности того времени бязевую, брюки держались на резинке, а к куртке были пришиты большие золоченые пуговицы.

Вечером, когда униформисты выстроились в два ряда у выхода, чтобы пропустить акробатов — первый номер программы,— один из клоунов, проходя мимо униформистов, ударил Чижова по голове бычьим пузырем на палке. Чижов был самолюбив и чувствителен, ринулся вслед за клоуном на арену, наступил себе ногой на штанину, а так как штаны были на резинке, то со спадающими штанами стал догонять клоуна, вызвав восторженный смех и аплодисменты зрителей, уверенных, что это подготовленный номер. После представления директор цирка сказал Чижову: «Да у тебя, брат, талант... Давай, будешь работать коверным, станешь получать втрое больше». Чижов сначала обиделся, потом согласился, начал работать коверным, а так как неплохо играл на баяне, смастерил себе маленькую гармошку, потом ксилофон, стал сначала музыкальным клоуном, затем эксцентриком, соединился с клоуном Жуковым, и дуэт братьев Чижуковых пошел по городам и весям.

— Видите как,— сказал мне Чижов,— я всей своей известностью обязан вам. Это вы меня на дорогу вывели, и я — сколько лет уже прошло — все помышлял встретить вас, для того чтобы выразить великую благодарность.

И получилось так, что именно я угадал его талант в далеком военном Красноярске, став своего рода меценатом.

Чижов порылся в карманчике вязаного жилета, достал завернутый в папиросную бумагу жетон, сказал:

— К моему двадцатипятилетнему юбилею поднесли. Значит, не зря я трудился, если даже в мою честь жетон изготовили. А вам оставлю на память фотографию братьев Чижуковых: может быть, пригодится, когда станете вспоминать свою жизнь.

На фотографии братья Чижуковы были в клоунских костюмах, один с маленькой гармошкой в руках, другой с бычьим пузырем на палке через плечо, и я вспомнил Красноярск 1922 года, когда в саянских лесах еще вылавливали колчаковцев, вспомнил и неудачливого писаря Чижова, с опозданием узнав, что был провидцем таланта.

— Теперь бог знает когда мы снова увидимся,— сказал Чижов,— и увидимся ли.

Он надел высокую шляпу с непромятой тульей и ушел, сумрачный и невеселый, меньше всего похожий на клоуна-эксцентрика, но ведь известно, что юмористы обычно самые грустные люди.

А за год или два до посещения Чижова ко мне пришел однажды один человек, которого я правда с напряжением памяти, но узнал.

По возвращении из Сибири я был откомандирован в качестве сотрудника для поручений при начальнике финансового отдела Реввоенсовета республики. Поручения, которые мне полагалось выполнять, были нехитрые, хозяйственные, но в ту пору достать, например, мыло или воск для натирки полов было делом, требующим немалой энергии, которой мне не хватало.

Человек был большой, по-медвежьи схватил в свои лапы мою руку, назвалса неожиданно высоким, почти женским голосом: «Вострюков» — и я вспомнил Вострюкова.

...Начальник финотдела, разочаровавшись в моих снабженческих способностях, сказал однажды безоговорочно:

— Будете заведовать клубом финотдела.

— Но я никогда не заведовал клубом, — ответил я.

— Я тоже никогда не был начальником финотдела, — сказал он.

И я стал заведовать клубом, устраивал доклады и лекции с оплатой выступавшим натурой — бараниной или мукой, устраивал и спектакли, подобрав из сотрудников тех, кого манили огни рампы.

При постановке инсценированного мной рассказа Чехова «Аптекарьша» Вострюков должен был играть роль отсутствующего на сцене аптекаря, мирно храпящего за стеной, когда офицеры любезничают с его женой. Роли были розданы, мизансцены разучены, и действие началось. Вострюкову было поручено только время от времени издавать легкий храп по всем правилам театра Станиславского. Но когда офицеры начали свои любезности, послышался такой чудовищный храп, что заглушил все голоса. Неопытные исполнители растерялись, а одернуть Вострюкова я не мог, так как сцена не имела задника, им служила стена большого зала особняка московских богачей Найденовых.

Спектакль прошел под сплошной хохот зрителей, а когда занавес задернулся и в зале зажегся свет, я набросился на Вострюкова, не понимавшего — неужели он плохо храпел, хотя старался изо всех сил? Он был явно обижен и не пожелал больше участвовать ни в каких спектаклях. Но после провала «Аптекарьши» я предпочитал приглашать лекторов читать лекции или профессиональных актеров разыгрывать сценки...

Вострюков, похожий на Собакевича, сгреб меня в объятия, прижал к огромной груди и огромному животу, сказал, задыхаясь, как трагик:

— Бесценный! Это вы меня вывели на дорогу искусства! Спасибо вам превеликое. Теперь, будучи на пенсии, хорошо подрабатываю, стал уже некоторой известностью, в «Мосфильме» без меня иногда — никуда.

И Вострюков рассказал далее, что выступает в «Мосфильме» в ролях бывших людей, когда они требуются по сценарию: играет и приставов и городских, играет и сановников, играет и просто обывателей, прогуливающих по старой Москве в котелке или цилиндре, и всегда, когда нужен бывший человек, он на первом счету.

Вострюков еще несколько раз прижал меня к себе, сдвинув некоторые из моих суставов, сказал напоследок:

— Мне за исполнение хорошо платят, и если бы не вы, я никогда не нашел бы дороги к искусству. Навеки спасибо вам!

Так я дважды стал меценатом, обогатив и цирк и кино талантами.

Шкатулка

Станиславский — это был таинственный, притушенный театр в Камергерском переулке, театр, в котором мое поколение училось правде жизни и правде искусства. Станиславский — это было своего рода волшебство, и я, почти не писавший для театра, не мог даже представить себе, что увижу Станиславского вблизи, в его доме, при том с моей рукописью в руках.

Однажды Художественный театр предложил мне сделать инсценировку «Хижины дяди Тома» Бичер-Стоу. Обращение ко мне последовало, вероятно, потому, что в Государственном детском театре шла моя инсценировка «Тома Сойера» Марка Твена.

Так или иначе, этот второй Том должен был прозвучать в лучшем театре мира, я с энтузиазмом и стремительностью принялся за работу и через месяца полтора сдал пьесу. Теперь оставалось ждать, что скажет о ней Станиславский.

Я пришел к нему под вечер в тот дом по Леонтьевскому переулку, который именуется ныне улицей Станиславского. Мне всегда кажется, что отличительной чертой гениальных людей является чрезвычайная вежливость, почти стеснительность. Станиславский обладал ими в высшей степени. Он предложил мне удобное кресло возле стола с зажженной лампой, на столе лежали рукопись моей пьесы и ее конспект с поправками рукой Станиславского.

Я начал читать длинную, пятиактную пьесу, Станиславскому было неудобно, свет лампы резал ему глаза, но он не сделал ни одного движения, только прикрыл глаза щитком руки и, не выражая никакого утомления, выслушал пьесу до конца.

— В пьесе не хватает главного — сквозного действия, — сказал он. — Нужна шкатулка.

Я не понял.

— Нужна шкатулка, — повторил он. — Разберемся, что происходит в пьесе. Тома собираются продать на невольничьем рынке. Ева с Джорджем решают во что бы то ни стало выкупить его. У них есть наследственная шкатулка с деньгами, с которой они торопятся на невольничий рынок в Нью-Орлеан. По дороге у них эту шкатулку крадут на постоялом дворе. Все рушится, денег для выкупа нет, Тома продадут, и зрители напряженно ждут пятого акта с невольничьим рынком в Нью-Орлеане. Аукционер называет начальную цену. Купленных негров покупатели отводят в сторону. Очередь за Томом. Аукционер оглашает его стоимость, идет торг, наконец предложена высшая цена, удар молотком, второй удар, и в эту минуту крик Евы, на ходу набавляющей цену: шкатулку с деньгами обнаружил хозяин постоялого двора. Третий удар молотком — и Том выкуплен!

Пятиактную малодейственную пьесу Станиславский наполнил мелодраматическим движением — и эта пьеса навсегда осталась для меня уроком применительно и к прозе.

Я сохранил конспект пьесы с поправками и рисунками Станиславского, это очень дорогой для меня автограф. Есть люди, которых достаточно увидеть один раз, чтобы навсегда плениться ими. Какая-то высшая мудрость была в домашнем облике Станиславского, которого до этого я видел только на сцене... Отошли и Арган, и Крутицкий, и Вершинин, и Сатин, и Астров, а были только глубоко видящие глаза человека, для которого законы сцены неотделимы от нравственных законов.

Позднее в конспект с поправками и рисунками Станиславского я вложил собственноручное письмо Элен Бичер-Стоу, письмо не ко

мне, конечно, но это ее рука, когда-то тревожившая воображение великого режиссера, задумавшего в постановке «Хижины дяди Тома» призвать к милосердию и вместе с тем гневно осудить то, что и поныне существует в Америке с ее расовыми законами.

Чагин

Сама фамилия Чагин уже включала в себя имя, и отчество, и личность, и издательскую работу этого деятеля. В ту пору Государственное издательство — ГИЗ — помещалось в Большом Черкасском переулке, в одном из тех зданий, которые составляли некогда комплекс московского купеческого сити.

Вход к Петру Ивановичу был общедоступен. Его не охраняли секретари, а сидевшая в приемной машинистка лишь кивала на вопрос: «Петр Иванович у себя?»

В дыму своей трубочки, с которой никогда не расставался, благожелательный, внимательный к просьбам, он неизменно обещал помочь, если считал это нужным, помогал обычно, хотя и не всегда по причинам, от него не зависевшим. Чагин хорошо понимал судьбы писателей, зачастую нелегкие, и чем судьба была труднее, тем больше Чагин тратил усилий, чтобы помочь.

Отличный редактор, хороший знаток языка, умевший привести в должный порядок несовершенную рукопись, Чагин действительно добился, что его имя стало почти нарицательным. Писатели шли к нему не задумываясь, но и он шел к писателям, в обычной жизни отличный рассказчик, особенно за накрытым столом, веселый, живой тамада. И писатели искренне любили этого человека без всякой желчи и без всякого предубеждения против кого-либо.

Биографию Сергея Есенина нельзя представить себе без страниц, связанных с Чагиным: в свою бытность редактором газеты «Бакинский рабочий» Чагин опекал и оберегал Есенина, подтвердившего впоследствии, какую роль Чагин сыграл в его жизни.

Случалось и мне обращаться в затруднительных случаях к Чагину, но я никогда не испытывал при этом стеснительного чувства. Петр Иванович не ставил обращающегося к нему в положение просителя, сам шел навстречу, хорошо понимая, что прийти с просьбой всегда нелегко.

Лестница в здании Государственного издательства, когда оно находилось в Большом Черкасском переулке, была столь крутой, что уже через несколько ступенек приходилось отдышаться. Как-то на этой лестнице я встретил отдувавшегося, в шубе, Константина Андреевича Тренева.

— Уф,— сказал он, поглядев на следующий марш лестницы,— крутовата дорога в литературу.

— Как в рай,— отозвался я.— Но все-таки наверху не без ангела.

— Чагин?— спросил Трнев.— Нет, батенька, трубочка не заметит ангелу крыльев.

Однако все знали: крылышки бы ему — и Чагин сделал бы многое для писательского дела.

Константин Андреевич Трнев, отлично начавший в литературе, но широкую известность получивший лишь впоследствии своей пьесой «Любовь Яровая», сознавал, однако, что мало в своей жизни написал. И сейчас, поднимаясь к Чагину, он пришел поговорить о переиздании основного тома рассказов «Владыка».

— Мизантропы вы, писатели,— сказал мне Чагин позднее,— и Трнев мизантроп. Пришел не с тем, что хочет выпустить свою книгу,

а погорчаться, что мало в своей жизни написал. Я сказал: «Мало, да хорошо»; он ответил: «Лучше бы много да хорошо». Я сказал: «Пока издадим хорошее много, а там разберемся».

Подразумевалось, конечно, издание книги массовым тиражом.

Пришлось и мне прийти как-то к Чагину погорчаться: в готовой к сдаче в набор моей книге один из рецензентов предложил заменить весьма известную повесть.

— Как же так?—спросил я Чагина.— Ведь эта повесть печаталась в ежемесячном журнале, потом дважды переиздавалась.

Чагин поднялся, прикрыл дверь своей комнаты и сказал заговорщическим тоном:

— Соглашайтесь. Замените эту повесть другой, а то начнут снова рецензировать. А через годик самым милым порядком выпустим эту повесть отдельным изданием.

При этом он с таким волнением дырил своей трубкой, что я сказал:

— Хотите одурманить меня своим табаком?

— Ну знаете ли... кепстен. Английский король курит такой табак.

— Да, но король не имеет дела с авторами.

— Тем более. Король курит чистый табак, а я пополам со всяческими неприятностями.

Повесть вышла отдельным изданием через год, как Чагин и сказал, притом в массовом издании.

— Что будем пить?—спросил он при встрече.

— Шампанское.

— Я не балерина, я человек крепких правил.

И сколько раз, за сколькими трапезами встречал я Чагина—всегда во главе стола, всегда во главе речей, располагающего к себе своей уютностью, скромностью, неприязательностью, позволявшими иным поверхностным людям забывать его богатую революционную биографию, работу с Кировым и множество других достойных дел.

Оставить доброе имя—это не меньше чем оставить хорошую книгу, а если плодотворные дела человека уподобить книгам, то Петр Иванович Чагин оставил не один том.

Майским утром

Майским утром, на рассвете, я возвращался на московском извозчике с молодым человеком, недавно вернувшимся из политической эмиграции,— Константином Михайловичем Черновым. Мы были с ним в гостях у Алексея Ивановича Окулова, тоже недавно вернувшегося из эмиграции и пробующего силы в литературе. И Чернов и Окулов прожили несколько лет в Париже, и у обоих за плечами были тюрьмы, а у Чернова еще и зарентуйская каторга...

Был тот ранний час, когда улицы еще пустынные, старая чалая лошадь неспешно отстукивала подковами по булыжнику Бутырской улицы с угрюмым кирпичным монолитом Бутырской тюрьмы. Вечер, проведенный в дружеском кругу, весенний поднимавшийся день, видимо, расположили Константина Михайловича к откровенности.

— Откроюсь пока вам одному: мое настоящее имя Андрей Михайлович Соболев. Но сохраните пока это в тайне.

В России действовало Временное правительство, кое-кто мечтал о реставрации, да и Николай II со своей семьей отсиживался в Царском Селе.

В одном из лучших ежемесячных журналов, «Русская мысль», только недавно был напечатан роман Андрея Соболева «Пыль» о политической эмиграции в Париже и разладе в ее рядах.

После ряда лет эфемерной жизни Андрей Соболев испытывал нервическую потребность действовать. С торопливостью набросился он на литературную работу, стали выходить его книги «Люди прохождения», «Китайские тени», «Салон-вагон», «Записки каторжанина», а вскоре издательство «Земля и фабрика» выпустило и собрание его сочинений. Некоторая несобранность, нестроение фразы, свойственные его прозе, тревожили и его самого. Он старался собрать себя, но уже столько было растеряно в его драматически сложившейся жизни.

Соболев принадлежал к числу людей, которых называют непоседами, стремился из дома, стремился домой, по дороге забегал во множество мест, оставляя торопливые записки, и неизвестно было, где и когда можно застать его. Но он и сам не знал, где и когда может оказаться.

Уже обосновавшись в Москве, став советским писателем, он сказал мне однажды:

— Я и в Париже был как на каторге... И вообще чертовски трудно найти самого себя!

И все же, несмотря на свою торопливую жизнь, Соболев успевал поработать и за рабочим столом. В ту пору во многих газетах и журналах зачастую появлялось его имя.

Однако ему не сиделось в Москве, у меня хранится много его писем, посланных то из Муганской степи, то из-под Воронежа, то еще откуда-то, писем неуспокоенного, искавшего свое небо человека. Но чтобы найти это небо, нужны были твердая воля и определенная цель, которых Соболеву не хватало.

Забегав ко мне как-то и посидев с полчаса, он сказал вдруг даже с некоторым испугом:

— Знаешь, кажется, мне больше некуда идти. Это страшно, когда некуда идти!

Но уже через несколько минут он озабоченно достал записную книжку с десятками адресов и телефонов.

— Совсем забыл... нужно непременно забежать к Таирову поговорить насчет моей пьесы.

И я так и не узнал, действительно ли написал он пьесу или не мог примириться с тем, что ему некуда идти.

Майским утром, когда человек чувствует себя особенно усталым после минувшего дня, да еще и большей части ночи, в одиночестве на скамейке Тверского бульвара Соболев выстрелил себе в грудь из револьвера...

— Пыль — это миллионы частиц, — сказал он мне однажды, — я тоже частица, и что изменится в мире, если ее сдует ветром?

Я попробовал напомнить ему, сколько еще сможет он сделать и вообще сколько всего в руках у человека, но он не внял мне, несмотря на свою любовь к жизни и стремление действовать. Он просто выпустил из рук этого человека, искал его всю жизнь, а в одно майское утро в минуты душевной слабости навсегда расстался с ним.

Это было ровно десять лет спустя после того, как таким же майским утром ехал я на московском извозчике с нелегально вернувшимся в Россию Константином Михайловичем Черновым, открывшимся мне, что он писатель Андрей Соболев.

На осенней аллее

В один из ненастных дней я приехал в писательский городок Переделкино за какой-то позабытой мной книгой. Была та особенная переделкинская осень, когда писатели, постоянно живущие здесь, с

утра сидят за своим рабочим столом, а день сначала понемногу наливался светом, потом незаметно тлеет за окном, а там уже недалеко и до снега.

Я нашел нужную мне книгу, походил по мокрому саду, потом поехал обратно в Москву и, едва отъехав от ворот дачи, увидел высокую, давно вписанную в пейзаж Переделкина фигуру: в осеннем, застегнутом доверху пальто брел в полном одиночестве Корней Иванович Чуковский. Подобно тому как день сначала наливался светом, а потом начал постепенно тлеть, так было и с Чуковским. Когда-то длинными своими ногами вышагивал он по аллее, на которой стояла его дача, и своим высоким, умело, несколько по-актерски поставленным голосом, шумный, общительный, сказал мне про себя и своего сына Николая:

— Коля в поезде может всю дорогу проехать молча, а я со всеми в вагоне перезнакомлюсь.

И он знакомился со всеми, заходил в Дом творчества, и там все было тоже знакомы, а если незнакомы, то знакомились с ним. Обычно Корней Ивановича сопровождала целая свита, и чем было больше людей вокруг, тем оживленнее он вышагивал. Но чаще всего его свита состояла из детей, для них были и костры и библиотека с игрушечной крышей, и когда в дыму и отблеске пламени костров читались стихи, громче всех звучал голос Чуковского, вмещавшего в себе и Тараканатараканищу, и Муху-цокотуху, и Бармалея Бармалеевича.

Но годы шли, и Корней Иванович начал стареть. Однако старость была не для него, в этом сугробе уединиться он не собирался: он попирал годы, попирал страстно, в меру сил попирал и недуги с их собачьим нравом укусить побольнее. И все же стала уже чуть горбиться его высокая фигура, зябнувшей голове нужен был теплый картуз, а руке нужна была палка, но это лишь в минуты уединенной прогулки. А стоило подойти собеседнику — и снова раздавался молодой, пусть уже деланный голос, Чуковский выпрямлялся, иногда скандировал стихи, иногда подтрунивал, он ничего не хотел уступить времени от прежнего Чуковского.

Но тот Корней Иванович, которого я встретил в осенний переделкинский день, шел один, сгорбившись, выпрямляться было не для кого, осень мокро и печально лежала на пустынной аллее, и когда я остановил машину, чтобы поздороваться с ним, Корней Иванович сказал:

— Не торопитесь, голубчик, поговорим немного.

Я вышел из машины, и Корней Иванович сразу же взял меня под руку, ему нужна была опора.

— Зайдемте ко мне в сад, — предложил он.

И мы зашли с ним в его сад и сели на скамейку.

— Все стало плохо, — сказал он, — главное — страдаю от бессонниц. Принимаю, чтобы заснуть, черт знает что, утром просыпаюсь мутный, два часа нужно, чтобы пришел в себя, а я привык с утра работать.

Не я один дивился трудолюбию Чуковского, его трудовому дню, начинавшемуся чуть ли не с рассвета, его размеренной, в работе жизни с определенными часами отдыха и определенными прогулками, но теперь, казалось, ничего этого уже не было.

— Сколько мне осталось жить еще — год, два? — сказал Чуковский вдруг. — А что испытать пришлось мне за последнее время... умер единственный мой сын Коля, и это тоже нужно было пережить.

Я знал Корнея Ивановича много лет, знал с той поры, когда Переделкино стало частью его существования, а Чуковский стал частью Переделкина. Мы бывали друг у друга, правда не столь уж часто, но

я никогда не видел Чуковского как бы согбленным под невеселыми думами и тем более сетующим на ту или иную тяготу жизни. Но тот Чуковский, который сидел рядом со мной на скамейке, был согбен, печален, видел недалекий свой конец, говорил об этом конце, и никакое напоминание о том, что его Бармалей Бармалеевич, или Мойдодыр, или знакомый всем счет «от двух до пяти», или исследования о Некрасове, или воспоминания о современниках стали спутниками не одного поколения, — ничто это уже не радовало его.

Мне трудно было покинуть Чуковского в такую минуту упадка его духа, но в это время у ворот дачи остановилась машина, какие-то молодые люди — не то из радиостудии, не то с телевидения — вышли из нее, и Корней Иванович живо и молодо поднялся, сказал молодым, высоким голосом: «Здравствуйте, здравствуйте!» — и прежним озорным шагом направился к ним.

Я вспоминаю эту встречу с Чуковским на засыпанной опавшими листьями скамейке его сада, и хотя от писателя остаются его книги, все же следует сохранить и климат тех лет, когда он эти книги писал.

Вадим Андреев

Вадим Леонидович Андреев был высок, благородно красив, унаследовав от своего отца Леонида Андреева черты его лица. Об отличительной внешности Леонида Андреева писал М. Горький, в свое время влюбленный в этого писателя. Горький писал и о том, как после смерти своей первой жены Андреев приехал на Капри с сыном и как, почти полубезумный после несчастья, пугал своими видениями маленького мальчика...

О всем дальнейшем в своей жизни, о том, как рос без матери, как прошло его детство, Вадим Андреев написал в своей отличной книге «Детство».

Я познакомился с ним в один из его приездов из Женевы, где он достойно работал в советском отделе ООН. Как-то случилось при этом, что Андреев первому мне показал свою рукопись «Детства», порадовавшую меня отличным языком и художественностью, и я порекомендовал ее издательству «Советский писатель», а когда книга вышла, Вадим Леонидович подарил мне ее с надписью: «Крестному отцу этой книги». Вскоре он написал еще две книги — «История одного путешествия» и «Остров Олерон», писал и стихи, печатавшиеся в журнале «Звезда».

По своему обхождению чрезвычайно корректный и воспитанный, даже с некоторым дипломатическим оттенком, чему способствовала, несомненно, его работа в ООН, Вадим Леонидович мог казаться несколько суховатым. Но он был сердечен и душевен, любил свою страну, от которой оторван был еще с детства, с предельной откровенностью рассказал в своей книге «История одного путешествия», как всеми усилиями воли выбрался из эмиграции, стал советским гражданином, а следом и писателем. В другой своей книге, «Остров Олерон», он рассказал об участии в движении Сопротивления во Франции, рассказал честно и правдиво.

Приезжая в Советский Союз, Вадим Леонидович прежде всего стремился к тем местам, с какими связано было его детство. Он помнил огромную, несуразную дачу отца, о которой столько написано, помнил — конечно, уже не по детским впечатлениям — сложную и трагическую историю славы отца, когда после лет всеобщего признания пришло и развенчание, театры все чаще стали отказываться ставить пьесы Леонида Андреева, и одинокий, растерявший былой успех,

бродил он по огромным комнатам своей дачи, которую зимой нельзя было даже протопить.

Закат Андреева в Финляндии был горький, и Вадим Леонидович всегда с болью говорил о последних годах жизни отца.

— У отца было вдребезги разбитое сердце,— сказал он мне однажды.— И как он страдал, я смог понять лишь впоследствии, когда и сам хлебнул такой горечи, что лучше и не вспоминать.

Но появляясь в Москве, сдержанный, как бы застегнутый для посторонних на все пуговицы, он был нежен и дружелюбен с теми, кого любил и кому верил, и искал этого дружественного общения.

В Женеве в те дни, когда был свободен по службе, он с утра садился за рабочий стол и, отпивая по глоточку черный кофе, писал, радуясь свежému горному воздуху, входившему в полуоткрытое окно; он всегда как-то лирически рассказывал о своей работе.

— Не знаю, чего во мне больше — прозаика или поэта: сядешь за прозу — хочется писать стихи, и наоборот. Вообще писать нужно начинать смолоду, а то столько уже пропущено в жизни!

Он сам, казалось, сознавал, что поздно сел за рабочий стол. Помимо этого ему пришлось поработать еще и над тем, чтобы его имя не звучало лишь отголоском имени известного русского писателя.

— Мне кажется, что я понемногу разделался с этим,— сказал он, когда вышла его книга «Детство» и была сочувственно встречена нашими читателями.— Я не хочу ничего занимать у отца, да и отец не захотел бы, чтобы его сыновья пробивали себе дорогу при помощи его имени.

С отцом, однако, было связано все, что Вадим Леонидович глубоко нес в себе. Я помню, как, щурясь и словно вспоминая что-то, он прочитывал некоторые надписи отца на его книгах, хранящихся у меня. Он знал и любил мелкие, отдельные буквы отцовского почерка, был в эти минуты как бы весь обращен к даче на Черной речке, видел свое беззащитное сиротство, видел и то, что ему пришлось пережить, упустив с молодых лет синюю птицу, которая помогла бы ему еще в те годы стать писателем.

Обращаясь к нескольким книгам Вадима Андреева, думаешь о том, что многотомье еще не обеспечивает длительности жизни оставленного писателем книг: иногда одна-две книги побеждают многотомье.

Саванны

На плоской крыше нашего посольства в Стамбуле в поздний вечерний час, под турецкими звездами и луной, сделавшей весь Золотой Рог голубовато-желтым, я познакомился с человеком, которого звали Петр Михайлович Жуковский. Он был невысокий, с живой, несколько неровной речью, притом романтик, судя по тому, как в одиночестве сидел в шезлонге и смотрел на звезды и луну.

— Вы в Москву? — спросил он, когда мы познакомились.— А я в Ленинград. Может быть, поедем вместе на пароходе до Одессы.

Позднее я узнал, что Петр Михайлович возвращается из большой, трудной экспедиции по Малой Азии, что он ботаник и искал в самых засушливых местах Малой Азии тот род, который принимал участие в происхождении пшеницы и столетями противоборствовал засухам, чтобы в дальнейшем вывести высокоустойчивый сорт, в каком особенно нуждается не раз страдавшее от засух Поволжье. Впоследствии самые иммунные виды оказались связанными с именем Жуковского, а один вид был назван его именем.

После возвращения из Турции Петр Михайлович выпустил большой том «Земледельческая Турция», написав половину этой книги, а я под впечатлением встречи с Жуковским посвятил ему один из своих рассказов.

Странствия Жуковского охватывали Северную Сирию, Северную Месопотамию, остров Родос, Латинскую Америку и Италию, Чили и Перу, Францию и Сицилию, Аргентину и Мексику... Он десять лет был директором Всесоюзного института растениеводства, созданного вместе с его лучшим другом и учителем Н. И. Вавиловым, которого с глубокой горечью он всегда вспоминал.

Но и судьба самого Жуковского была далеко не из легких. Я встретил его как-то в пору самых тяжелых для него испытаний, когда ему казалось, что вся его научная жизнь перечеркнута.

— Ну что вы, Петр Михайлович, разве такой труд, как ваш, может кем-нибудь быть опровергнут? — сказал я.

Он помедлил.

— А запасное сердце вы предложите мне?

— Сердце и предназначено для испытаний.

Он моей сентенции не принял, но несколько лет спустя, при новой встрече, каким-то посвежевшим голосом сказал:

— А вы оказались реалистом, хотя я счел вас фантастом тогда... Моя «Ботаника», которую разобрали в ту пору, вышла все-таки в свет!

А затем «Ботаника» вышла вторым, и третьим, и четвертым изданием, став своего рода энциклопедией не только для естественников, но и писатель черпал из нее, когда писал что-либо о природе. А на моей книжной полке она стоит с надписью, дорогой мне по памяти: «Старому другу времен путешествий по Средиземью и Малой Азии».

Петр Михайлович писал мне обычно пространные письма, это был как бы ночной разговор очень одинокого человека, а его жизнь сложилась так, что он был одинок. Но письма были не только пространные, но и пространственные, полные воспоминаний о его скитаниях.

Мы долго не виделись с ним, но побывав в Ленинграде, я позвонил ему. Он обрадовался:

— Как раз собирался напомнить вам о себе... послать свою книгу «Культурные растения и их сородичи». Читать, может быть, и не станете, но на полку поставьте.

— Почему же не стану читать? Ваши книги были не раз мне в помощь.

— А не забыли, как я затащил вас в Малую Азию? — спросил вдруг.

И мы вспомнили с ним, как переплыли однажды в лодчонке из Галаты на другой берег Золотого Рога, пили в маленькой прибрежной кофейне черный кофе, а над нами были большие библейские звезды, под которыми лежала Малая Азия.

— Еще действую, читаю в Ленинградском университете лекции, редактирую журнал, — сказал он мне напоследок. — Только ноги стали отказываться служить.

— Ну, ноги — дело наживное, — обнадежил я.

— Знаете ли, в восемьдесят пять лет времени на наживное дело остается с гулькин нос!

...Отрезая ломоть хлеба, я нередко думаю о том, что, может быть, этот хлеб испечен именно из той пшеницы, прародителей которой искал Жуковский на высохших плато Малой Азии или в саваннах Южной Америки.

«Мне иногда снятся саванны,— написал он мне в одном из писем.— Саванны — это не только тропическая степь, это еще и моя молодость. Не вы один были молоды, случилось это и со мной, хотя и давненько, но случилось».

А в некрологе о Петре Михайловиче Жуковском, помещенном в журнале «Генетика», сказано: «Как много он сделал для науки, для страны, для людей».

Колыбельная

В Лондоне, на файф-о-клоке у писательницы Сесили Честертон, написавшей книгу «Серп или свастика?», я встретил главного героя прославленного романа Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» — именно Тома. Это был большой, как-то необыкновенно располагающий к себе негр с доброй улыбкой и умными глазами, широкий и великодушный. Негра этого звали, однако, не Томом, а Полем Робсоном.

В ту пору Робсон еще не был известен, играл с негритянской труппой в одном из маленьких лондонских театров, труппа имела несколько экзотический успех, и Робсона постепенно стали все шире приглашать в литературные салоны. Но самым замечательным было то что Робсон старательно, показывая при этом два ряда зубов, говорил по-русски и что его любимым поэтом был Пушкин, которого Робсон считал африканских кровей.

Россию он любил какой-то мечтательной любовью, спросил, в какой гостинице я остановился в Лондоне, и два дня спустя заехал за мной в многоэтажный и многоязычный «Стренд-палас».

— Мы сегодня немножко поедем в Сохо,— сказал он,— поедем в какой-нибудь итальянский ресторан есть улиток и всякую другую гадость.

Зубы его блестели, он был на голову выше меня, и я чувствовал себя несколько тщедушным рядом с этим великаном.

Сохо в Лондоне — квартал иностранцев со множеством ресторанов итальянских, французских, китайских, и мы оказались вскоре в одном итальянском ресторане, ели, правда, не улиток, а «фрурти ди маре», иначе — обжаренных рыбешек, креветок, щупальца спрута и еще какой-то живности подводного мира.

— Мы выпьем за то, что я хочу приехать в Россию,— сказал Робсон, наливая из фьески по стакану кьянти.— Россия — замечательная страна. Кроме того, в ней родился мой великий предок. Выпьем за Пушкина!

И Робсон достал из кармана маленький томик Пушкина, полистал его, прочел старательно, как ученик: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя», — но я понял, что он не прочел, а знает стихотворение наизусть.

Мы выпили за то, что он хочет приехать в Россию, и за его замечательного предка Пушкина, и за то, что Россия — замечательная страна.

Широкий образ этого любимого с детства героя «Хижин дяди Тома» как-то согрел для меня чужой огромный город, в котором началось празднование серебряного юбилея короля Георга. На улицах стали строить трибуны, цены на места исчислялись не фунтами, а гинейми, еще существовавшими тогда, и чтобы посмотреть на средневековый выезд в золоченых каретах королевской семьи, съехалось больше миллиона людей со всех концов страны, а я в первый же день уехал из этой праздничной пустыни.

Я приехал на вокзал, поезд шел до Дувра, откуда предстояло вернуться во Францию через Ла-Манш. Перрон вокзала был пустын, и в поезде, казалось, не было ни одного пассажира, кроме меня: мало кто в этот день уезжал из Лондона, зато все поезда в Лондон были забиты, и город густо заполнился старичками со склеротическим румянчиком, в цилиндрах или бежевых котелках и покрашенными старушками с голубыми фарфоровыми зубами — по улицам Лондона шествовала викторианская эпоха.

Я шел один по перрону, направляясь к своему вагону, как вдруг чей-то голос крикнул мне вслед: «Алло, алло!»

— Я хотел, чтобы вы захватили с собой,— сказал запыхавшийся Поль Робсон, протягивая мне сверток.— Здесь мои пластинки, я буду петь вам в патефоне, а потом приеду и буду петь еще.

Но лишь месяц спустя я достал в Москве его пластинки, и протяжные, полные негритянской печали песни прозвучали в моей комнате.

Несколько лет спустя Робсон осуществил свое страстное желание приехать в Советский Союз, был у нас почетным гостем, мы возобновили наше знакомство, я повез его к себе на дачу, и на террасе после обеда он пел по-русски «Полюшко-поле» и колыбельную «Спи, младенец мой прекрасный».

— Как хорошо все-таки, что встретил вас через столько лет! Я знаю вас с детства, когда читал «Хижину дяди Тома», а в свое время инсценировал этот роман и снова встретился с вами на невольничьем рынке в Нью-Орлеане,— сказал я.

— Меня не продали, потому что меня нельзя купить, я очень дорого стою. Но для вас готов уступить.

На этот раз мы сдвинули стаканы за то, что для меня он готов уступить.

А еще несколько лет спустя я встретил Поля Робсона за кулисами Большого театра на одном из юбилейных вечеров. Он показался мне очень постаревшим и печальным: я знал, что незадолго до этого умерла его жена.

— Я часто слушаю пластинки с вашим голосом и не забываю нашей первой встречи в Лондоне,— сказал я.

— Да, да, конечно,— ответил он, может быть, лишь по инерции дружелюбия, не сразу узнав меня: столько за это время было у него и странствий и встреч!

А может быть, он вспомнил все же и итальянский ресторанчик в Сохо, и то, как мы выпили за его приезд в Советскую страну, вспомнил и как пел на террасе дачи в Переделкине колыбельную, почти зримо видя младенца, которого уговаривал спать...

В тот день, когда узнал из газет о смерти Робсона, я достал пластинки с его голосом. Я ставлю их нередко и ныне, и тогда образ этого человека, любившего какой-то особенной, сердечной любовью нашу страну и наш народ, вновь возникает передо мной... возникает читающим стихотворение Пушкина «Буря мглою небо кроет», которое знал наизусть.

Расплеснутое время

В 1919 году, в пору голода и холода, в Москву приехал из Колумбии начинающий литератор Борис Андреевич Вогау. Он был высок, рыжеват, носил очки и походил на провинциального учителя. Только недавно были напечатаны его первые рассказы в альманахе «Сполохи», а следом вышла и книга рассказов «Былье».

Очень быстро Борис Андреевич, писавший под фамилией Пильняк, завоевал известность. Пожалуй, это был первый писатель, писавший о сегодняшнем дне той поры, когда голод, холод, тиф, интервенция наступали сплошным строем на молодую Советскую республику.

Борис Пильняк был деятелен, много видел, не боялся поездок с мешочниками, не боялся и трудностей того сурового времени. Он сразу же сдружился с московскими литераторами, и все в его жизни пошло нарастающими темпами вплоть до быстро завоеванной известности.

Однако такого рода темпы бывают нередко опасными для планомерного развития писателя. Вслед за первыми книгами Пильняка последовали вскоре одна за другой его новые книги, он стал активным деятелем возникшего писательского издательства «Круг», стал активным деятелем и Всероссийского союза писателей.

Когда я познакомился с Пильняком и мы заговорили о литературе, он сказал, что больше всего учится у Бунина, но в дальнейшем с удивительной поспешностью стал следовать стилистическим и композиционным приемам, казалось бы, совсем чуждых ему писателей — Андрея Белого, Ремизова и еще более — несколько цинически-откровенного в самообнажении В. В. Розанова с его «Уединенным» и «Опавшими листьями», вплоть до включения в текст рассказов полученных личных писем, что практиковал и Розанов.

В неопубликованном письме к И. И. Белоусову, сыну писателя И. А. Белоусова, Пильняк писал:

«Этой зимой я написал уже роман «Голой год». У меня роятся какие-то странные образы и ощущения. Писать так, как писал Чехов, Бунин, Ценский, нельзя. Правее всех, нужнее всех — Андрей Белый. Но надо оставить его формальности, математичность.

Буду читать Розанова: очень талантливо и самобытно».

Пильняк был безусловно богато одарен, наблюдателен, обладал зорким глазом, хорошим слухом, но использовал это как-то отъединенно, не слитно, и то, что принималось сначала как его собственный стиль, обратилось против него в дальнейшем. Я уверен, что сложись судьба Пильняка иначе, он сам позднее счел бы многое огрехами молодости.

Жизнь Бориса Андреевича с его вхождением в литературу стала торопливой: всюду с достойной уважения жадностью он хотел побывать, побольше увидеть, побольше узнать. Но рабочий стол требует от писателя усидчивости и отказа от многих радостей жизни — такова суровая природа искусства, выводящая, однако, на простор, ради которого еще и еще готов посидеть в одиночестве. Одну из своих книг, подаренную мне с авторской надписью, Пильняк как бы в соответствии со своей собственной жизнью назвал «Расплеснутое время»; но расплескав время, уже не соберешь его.

Увлеченный сменами впечатлений, поездками, пришедшей известностью, Пильняк писал торопливо, материал не был достаточно обработан рукой художника, хотя и казался автору найденным им собственным стилем. Однако неорганичен был этот стиль для натуры того, кого я знал как русского интеллигента, воспитанного все же на образцах классической литературы, любившего и почитать в одиночестве, любившего и долгие душевные беседы с каким-нибудь таким же интеллигентом или правдоискателем.

В 1922 году я встретился в Берлине с Алексеем Михайловичем Ремизовым. Маленький, с ершиком волос, в очках, неизвестно для самого себя зачем попавший на чужбину. Ремизов спросил:

— Ну, как мои ученики? Как Пильняк?

Вернувшись в Москву, я рассказал Пильняку, что Ремизов справлялся о нем как о своем ученике.

— Ну я-то совсем не его ученик,— ответил Пильняк несколько самолюбиво.— Найдутся, пожалуй, и у меня ученики.

Он сказал так, однако, не из самомнения: просто разорванность фразы и композиционная разладица были в то время своего рода поветрием. Следует вспомнить, что это была пора переоценки многих ценностей, и кое-кому требующей коренного обновления казалась и русская классическая речь с ее строгими синтаксическими правилами. Нашлись ниспровергатели, готовые свергнуть даже Пушкина, и один из них, кроткий в жизни и внутренне тишайший человек, пролетарский поэт Владимир Кириллов, был на этот счет особенно немилосерден. Мы с ним дружили, и я сказал ему как-то:

— Что же ты, Володя, все свергаешь и свергаешь? Даже Луначарскому пришлось вмешаться — уж очень все вы неистовы.

— Надо же построить новую культуру,— ответил Кириллов.

— Но зачем же свергать то, без чего новой культуры не построишь?

Кириллов задумался.

— Ну, свергать, может быть, и не нужно, но потеснить некоторых следует.

Впрочем, ниспровергатели сами вскоре осознали, что они не без роду и племени, и в особняке на Воздвиженке, где обосновался «Пролеткульт», Андрей Белый, целиком начиненный культурой прошлого, стал одним из самых популярных лекторов.

Пильняк побывал в Германии, Англии, Америке, Японии, поселился по возвращении в домике-коттедже на 2-й улице Ямского поля, ныне *улице Правды, создал некое гнездо, сердечно, доброжелательно относился ко многим писателям, любил почитать им свои рассказы, любил послушать и их рассказы, стал в издательском деле влиятелен, посещали его и крупные военные деятели и иностранные корреспонденты,— и Пильняк шумно растворялся в этой жизни. Но вместе с тем он больше всего любил свою Коломну, уезжал туда, читал в одиночестве книги, внутренне обращался к той поре, когда жил провинциальной жизнью и писал в тишине свои первые рассказы. В одном из писем он писал мне из Коломны:

«Милый брат мой! По комнате летают комары, у стола ведро с сиренью, я сижу в жилете, принесли почту. Ремизов пишет, что вишни в Германии уже отошли; у меня в палисаде воробьи чирикают — еще не пыльно.

Пишу тебе по двум поводам.

1) Просто хочется написать, что скучно, рукописи и книги колом...

2) Ты книжник, при книгах. Достань, пожалуйста, где можно книжки Ремизова, они ему очень нужны...

А. Соболев обещал прислать свою книгу: напомни, пожалуйста. У меня вышел — скверный — «Голый год», на днях выходит еще том: и тебе и Соболеву — с надписанием, как приеду.

Прошли солдаты около Николы. Пели:

Все пушки, пушки — грохотали,
Трещал наш пулемет,
Поляки отступали —
Мы двинулись вперед!

Так-то. Целую крепко. Приезжай. У меня тепло. А я: двигаясь дальше, лягу книги читать».

В другом письме он писал:

«Сиюю дома. Задумываю, как написать про Саратов — странные дела у господ, получается целая повесть!»

Это была близкая его сердцу и нужная ему тишина Коломны, но по приезду в Москву он поистине расплескивал время: дни его распланы, встречи тоже, записки по разным поводам похожи на телеграммы:

«Володя, Юра, мальчики, родные, — иду на вас. Но ежели не застану, оставляю это послание. Что же вы не звоните — жду нетерпеливо. Кроме того, я забыл еще сказать, что нами приглашены и они будут без вторичного приглашения — Чехов, Берсенев, Гиацинтова, они вместе с Диким сыграют какую-то малую пьесу. Целую, всего хорошего».

В другой записке столь же торопливо:

«Я тебе по пунктам:

1) Передай мои билеты сему моему брату.
2) Я считаю неприличным и невежеством, когда люди уславливаются приехать и надувают, а я вас с Юриусом ждал с четырех до полвосьмого.

3) Луначарский нас примет сегодня в шесть.

Засим, господа, когда же мы столкнемся о вечере Андрея?»

Юриусом он называл литератора-чеховеда Юрия Васильевича Соболева, а в обеих записках речь идет о вечере, посвященном пережившему душевную драму писателю Андрею Соболю.

Несколько лет назад писатель А. В. Перегудов подарил мне снимок той поры, когда Пильняк лишь входил в литературу. Он был снят сидящим на траве, вероятно, в своем коломенском «палисаде», в русской рубахе, целиком такой, каким был по внутреннему своему существу. Но в Москве он носил и смокинг и даже подаренное ему в Японии кимоно, а из Америки привез маленький спортивный автомобиль, которым сам управлял в ту пору, когда Москва еще не знала троллейбусов, да и автобусы только появились: это была уже не коломенская тихая жизнь, а стремительная московская, которую он сам только ускорял и ускорял.

Обращаясь к оценке писателя, легче всего говорить о тех или иных недостатках, однако нужно оценить и достоинства, памятуя, в какую эпоху писатель действовал. Такого описания жизни двадцатых годов, какое есть в книгах Пильняка, мало у кого другого найдешь. Без «Голого года» Пильняка, или «Правонарушителей» Сейфуллиной, или «Ташкента — города хлебного» Александра Неверова не представишь себе кануна той большой литературы, которая создана в нашей стране, и мы благодарны писателям, сохранившим для нас приметы времени. Конечно, многое казалось тогда в дыму метели, которой уподоблялась революция, но ведь и Александр Блок в «Двенадцати» тоже прислушивался к голосу метели, однако он звучал для него провозвестием будущей, хотя и далекой весны, но когда весна эта пришла, тех, кто лишь проглядывал ее в полосах несущейся метели, уже не было...

Страницы полдня

Я остановился возле маленького театра на площади Гольдони в Венеции. Был тот вечерующий час, когда каналы и лагуны Венеции зеленовато отражают притихшее небо, а на площади Святого Марка желто от огней и голуби уже уселись на ночлег на выступах собора.

На афише возле театра я прочел, что драматическая труппа

Татьяны Павловой дает спектакль «Дни нашей жизни» Леонида Андреева. Мне захотелось взглянуть, как итальянские актеры изображают русскую жизнь, и я подошел к окошечку кассы, где несколько горбатенький человек подсчитывал вместе с кассиршей выручку: спектакль уже начался.

— Яков Львович! — окликнул я, и человек удивленно поднял голову.

В тот 1925 год мало кто из Советской страны появлялся в Италии, а несколько горбатенький человек оказался моим старым знакомым — театральным критиком Яковом Львовым, до революции много писавшим о театре в московских газетах и журналах. Мы протянули друг другу руку, и он спросил меня, полагая, наверно, что я один из тех, кто заблудился в эмигрантских джунглях:

— Откуда вы?

Но я назвал не Стамбул или Париж — я назвал Москву. Львов был взволнован: Москва, наверно, ему только снилась, он уехал давно, еще до революции, стал своего рода импресарио театра русской драматической актрисы, которую итальянцы уподобляли Дузе.

Я никогда не видел игры Татьяны Павловой, но я увидел нечто поразившее меня не менее, чем могла бы поразить ее игра: русская актриса, некогда спутница неистового, замечательного актера Павла Орленева, в такой степени изучила итальянский язык, что не только стала играть на итальянской сцене, но и создала свою труппу, именованную драматическим театром Татьяны Павловой. Для этого нужно было обладать не одними лингвистическими способностями, но и страстной преданностью искусству.

Львов усадил меня в ложу, чтобы я посмотрел первый акт андреевской пьесы, а в антракте повел за кулисы, и я познакомился с женщиной, замечательной своей артистичностью, широтой и обвораживающего дружелюбия.

— Вы из Москвы? — спросила Татьяна Павлова. — Это просто замечательно! Не уходите после спектакля, мы поужинаем вместе. А потом я буду вас спрашивать о Москве, столько спрашивать!

В ту пору я мало что знал о Татьяне Павловой, мало что знал и о ее личной жизни, связанной с Орленевым, имя которого не для одного меня несколько легендарно звучало, но я никогда не видел и Орленева.

После спектакля почти вся труппа, хотя и драматическая, но весьма разношерстная, перешла в маленькую трактирню, ввиду позднего времени уже закрытую для посетителей, но широко открытую для актеров: со времен Комедии дель попели — иначе народного театра — искусство живет в душе каждого итальянца, а если, к примеру, он гондольер, то полагает, что по его должности ему отпущен тенор.

Театральное действие продолжилось в трактирне, в составе труппы была младшая дочь Ф. И. Шаляпина Таня с прелестными веснушками на девичьем носике, и я был вовлечен в актерскую, подогретую кьянти стихию.

А на рассвете, когда с песнями и бряцанием на гитаре актеры вышли на улицу, карабинер на площади Святого Марка потребовал прекратить пение. Но актеры были в разгуле, пожелали отправиться в префектуру, где мой советский паспорт — тогда большого формата, со складывающимися наподобие грамоты страницами — сделал меня единственным нарушителем порядка. Актеры изображали смятение, умоляли дежурного не губить меня, сочувственно жали мне руку, огромного роста сицилианец, игравший в пьесе Андреева роль Онурфия, сказал мне трагическим голосом: «Мужайся, бедняга!» — а актриса, игравшая роль Евдокии Антоновны, вытирала платочком уголки

глаз. Полицейский, видимо не безучастный к искусству, сначала был неумолим, потом смягчился, великодушно возвратил мне паспорт, сказал назидательно: «Нужно уметь вести себя», актеры бросились благодарить его, и он снисходительно разрешил нам удалиться.

— Ты был на волосок от гибели,— сказал мне сицилианец.— Муссолини распорядился бы, может быть, повесить тебя.

И актеры с песнями и хохотом покинули префектуру, а на другой день Татьяна Павлова, узнав о происшедшем, сказала мне:

— Вы должны быть довольны. По крайней мере увидели, какие замечательные импровизаторы наши актеры. Это они специально для вас разыграли спектакль.

Я провел затем почти неделю в обществе итальянских актеров, поблагодарив в заключение Павлову:

— Ваши актеры поистине открыли для меня Италию.

Она задумчиво посмотрела на меня. Она была очень красива в ту пору зрелой красотой.

— Не забывайте же нашей встречи,— сказала она.— И помните одно: полдень для человека бывает только раз в жизни, старайтесь возможно полнее заполнить эти страницы, они так быстро листаются — и смотришь, на календаре уже сентябрь.

Она сказала это, правда, в расцвете своего дарования, но я не знал тогда, сколько для нее уже позади.

Ее удивительной любознательности и удивительного жизнелюбия мать, из глухой русской провинции оказавшаяся на европейском перекрестке, сказала мне сокрушенно:

— Ах, как трудно быть матерью сумасшедшей дочери!

Однако этим словом она выражала восхищение своей «сумасшедшей» дочерью, сумевшей завоевать и итальянского зрителя.

Во дворце Мурозини, принадлежавшем потомкам некогда прославленных дождей, устроен был вечер с участием последнего носителя венецианского наречия актера Загго. Неожиданно — разумеется, через Павлову — я получил приглашение на этот вечер, а на картоне с изображением герба Мурозини было приписано: «Будьте в такой-то день в такой-то час дома, за вами заедут».

И в такой-то день, в такой-то час я, снимавший у некой вдовы комнатушку с косым потолком, увидел внизу, под окном, гондолу, похожую на футляр от дорогого музыкального инструмента, а гребцы были в белом одеянии с оранжевыми полосами.

Я плыл затем в этой гондоле, чувствуя себя попавшим на какую-то кинематографическую съемку зрителем, которого, однако, заставили участвовать в съемке. Гондола, минуя горбатые мосты, выплыла на простор Большого канала и подошла вскоре к омываемым водой широким мраморным ступеням дворца Мурозини. Служитель, который помог мне выйти, сообщил мое имя мажордому, ожидавшему на ступенях лестницы, наверху рядом с современной маркизой стояла довольная зрелищем Татьяна Павлова, а в большом зале дворца со стаканчиком вермута или мартини в руке теснились мужчины во фраках и женщины в бальных платьях. Но Татьяна Павлова весьма торжественно вела меня под руку, словно я в своем сером костюмчике был приезжей знаменитостью.

— Чего они стоят, все эти герцогини и графы, в сравнении с гостем из Москвы,— шепнула она.— А вы, может быть, напишете когда-нибудь, как побывали в Венеции!

После представления нескольких сцен из пьес Гольдони гостей провели в боковой зал, где на диванах и креслах разложены были всевозможные экзотические предметы вроде мавританских подносов

с перламутровой инкрустацией, негритянских эбеновых божков и кожаных подушек из Марокко.

— Вам необходимо приобрести что-нибудь,— сказала Татьяна Павлова.— Мурозини поддерживают существование этого дворца своего рода аукционами. Купите, например, эту кожаную подушку.

Подушка стоила примерно столько же, сколько у меня было денег на всю поездку.

— Хорошо, я куплю,— сказал я Павловой,— а вы напишете мой некролог.

— Купите будто вы, так нужно, а я распорядюсь, чтобы послали мне в гостиницу. Потом подарю вам эту подушку без всякого некролога.

Подушку я не взял, но медальон с изображением покровителя Венеции святого Марка Павлова подарила мне на память, и он и поныне цел у меня.

В Милане, куда переехала затем на гастроли труппа Павловой, все было уже не так, как в Венеции: Милан — столица, с песнями по улицам не пройдешь, со сборами было неважно, актеры посерьезнели и приуныли, как-то помрачнела и Павлова.

Впоследствии, читая вышедшую недавно книгу об Орленеве, я подумал, что Павлова, может быть, переняла от него страсть к скитальчеству с сопровождающей цепью забот, невзгод и неприятностей, которые приносят и касса театра и пресса с ее отзывами.

Ее последний портрет, помещенный в книге об Орленеве, трагичен: полуохватив сгибом локтя нижнюю часть лица, она как бы защищается от времени и всего того безжалостного, что приходит к человеку в свою пору, особенно к человеку сцены, особенно к актрисе. Я и обратился к памяти о Павловой, увидев этот портрет, и вспомнил все: и Венецию, и шумное действо актеров, сделавших меня участником разыгранного ими спектакля, вспомнил и то, как простился с Павловой в Милане перед своим отъездом. Она сидела в какой-то надломленной позе, опустив одну руку, а в другой держала пуховку, которой так и не провела по лицу.

— Вы возвращаетесь в Москву? — спросила она.— Ах, боже мой, боже мой.— И ничего не добавила, только достала из ящика стола свою фотографию и написала на ней: «Не забывайте нас, всегда думающих и живущих думами о России».

Но я сохранил еще и фотографию, снятую мной на площади в Венеции: словно задержавшись на пути, стоит русская актриса, ставшая и итальянской знаменитостью. Когда-то ее имя звучало наряду с именем другой драматической актрисы — Е. Полевицкой, и целый романтический строй связан с этими именами.

А ее завет — возможно полнее заполнить страницы полдня — я выполнил все же с большим опозданием: многое уже заглохло и ушло, но образ Павловой все же остался в моей памяти, и мне захотелось написать о ней как бы при сильном свете полдня, хотя кое-что и пришлось уступить тускнеющему небу, если иметь в виду человеческую память.



АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ

★

СТИХИ ИЗ СТАРЫХ И НОВЫХ ТЕТРАДЕЙ

* * *

Комета, комета по черному небу,
По синему небу черту прочертила;
И кажется — прошлое спряталось в небыль,
И память, что было, навеки забыла.

Забыла курганы и степи забыла,
И ветры над морем и море забыла;
Забыла все то, что когда-то открыла,
Когда как по сердцу дугу прочертила.

Но это неправда — она не исчезла,
Не может из памяти память исчезнуть;
Она по составу еще не известна,
Но дышит, но дышит она, как железо.

И светит, и светит она радиально;
От точки восхода к зениту уходит;
И пусть исчезает из глаз моментально,
Но след оставляет навеки в природе.

Не может погаснуть, поскольку возникла,
Как старый романс в современной подаче;
Как стих, выпадающий чем-то из цикла,
Который особостью этой богаче.

Богаче других непохожестью цвета,
И ярче звезды, и быстрее кометы,—
Как лист на пороге наставшего лета,
Весну опрокинувший зрелостью цвета.

* * *

Да, в жизни всякое бывает,
Как у начала всех начал;
И только тот не забывает,
Кто помнить все не обещал.

Когда касаешься ленивой,
В ночи трепещущей волны,

Тебя хватает торопливо
Знакомый признак старины.

И ты все это где-то видел,
Но вовремя не распознал;
Как будто ковш студень выпил
И опрокинут наповал —

Виденьем белых гор и пиков,
Теченьем, рвущимся в глуби,—
На землю падаешь без крика,
Но так, что стынет все в крови.

И только слышишь неохотно —
Река ворочает скалу;
И, слыша чью-то там походку,
Из света попадаешь в мглу.

Но мгла вдруг двери открывает
И луч бросает за лучом —
И тот, кто этого не знает,
На тупость вечно обречен.

Он обречен на плоскость чувства,
Где все как бурей сметено;
Непонимание искусства
Ему возмездием дано.

И эта мета, эта мета —
Одна из самых страшных мет —
В такие тягости одета,
Что ей на свете равных нет!

* * *

Еще один, еще полет —
И перемена местности...
А сердце трудный счет ведет,
Стучит от неизвестности.

С какой к тебе бы стороны
Добраться до Крещатика —
Где океанский плеск волны,
Где плещет Адриатика.

Доплыть к тебе иль долететь,
Ракетой в небо ринуться,
Но чтоб увидеть, посмотреть,
К тебе с порога кинуться.

...Я слишком много в эти дни
Встречал здесь горя затемно,—
Казалось, что горят огни
Атаки с неба атомной.

Я видел страшную тоску,
Ладони обгорелые,—

На океанском берегу
Виски рыбацьи белые.

Где сети сушат на песке
И лодки заарканены;
Где от руин недалеко
Душой и телом ранены.

Как много скорби на земле
И человеческой горести!
А шар наш крутится во мгле
На той же прежней скорости...

Пока не сдвинулись пути,
Пока планета вертится —
В какую сторону пойти,
Чтоб снова где-то встретиться?

Токио.

..*

Ты шла ко мне не в платье подвенечном,
Но чище самой чистой ты была;
Во всем казалась легкой и беспечной,
По небу светлым облачком плыла.

И было просто... Никакой тревоги,
Живет — и все — хороший человек...
И мы с тобой простились на пороге,
И Киев спал, и падал мокрый снег...

И ни звонков, ни писем, ни открыток,
Сигналов нет и никаких лучей...
Но под сугробом, от всего укрытый,
Наружу рвался спрятанный ручей.

И вырвался... Московские рассветы...
Зари столичной терпкий холодок...
Все было просто... Наступало лето,
Синела даль нехоженных дорог.

Все стало трудным, сложным и тревожным,
Еще не покидая простоты,
Уже заметить было невозможно,
Где появлялась, исчезая, ты...

...Лежит платком туман над Фудзиямой,
Отель шумит на разных языках;
В окно стучится ливень телеграммой,
И кажется, что вот она — в руках.

И все не просто... Стало все не просто,
Уже не скажешь сердцу: погоди!
И я опять в дороге, как подросток,
Которому все трудно впереди.

Токио.

* * *

Ток высокого напряженья
Через сердце мое идет...
Сколько прожито от рожденья —
Может, нынче меня убьет?

Может, нынче сгорю я в пепел
От невидимого огня;
Упадут, громыхая, цепи,
Что сковали, сожгли меня.

Это будет цена свободы,
Дорогая моя цена,
И за все молодые годы
И за многие имена.

Если это все наказание
За горячечную любовь —
Успокоенными глазами
Повтори мне все это вновь.

Будь безжалостной и жестокой,
Без амнистий и без добра...
Лучше прямо, вот так, до срока
Ты скажи мне: прости, пора...

И тогда эти тяжкие цепи,
Для коллекции забирай...
И тогда понесется пепел
На Задонщину, в милый край.

* * *

Как может чувство быть учтенным,
Как белый парус над волной?
Кто может сразу быть прочтенным,
Чтоб сохранить себя со мной?

Всей строгостью своей прямою,
Души своей не шевеля,
Остаться полностью немой,
Но быть живою, как земля.

Холодным морем, темным морем,
Все чувства напрочь заглуша,
Без радости, но и без горя
Брести вдоль моря,
вороша

Созвездия ракушек мелких,
Песка застынувшую твердь,
Чтоб поздней осени на стрелки
Голубоглазо не смотреть.

Проходит в жизни все, как смерчи,
Как ураганы по ночам,—

И все же мы до самой смерти
Отринем чуждости печаль.

Не забывая мрамор белый,
Могил построчья и гранит,
Я не жалею все, что сделал
И чем не буду знаменит.

Пусть осень ходит над Таманью,
Над Темрюком во тьме морей.
И пусть она нас остро ранит
Всей неизбежностью своей.

Но если луч во мгле пробьется,
Раздвинув в небе облака,—
Меня закат едва коснется.
Как чья-то теплая рука.

Я с этим розовым закатом,
Который мне уже сродни,
Как брат с единокровным братом,
Объединился в эти дни.

Чем я могу согреть озябших?
Каким теплом их охранить?
А может, так — за руки взявши,
Весь жар души для них открыть?

Но даже если не согрею
И если даже не пойму,
Охолодею сам скорее
Назло сознанию моему.

Охолодею, кровотока
И застывая на ходу,
Чтобы осталось многоточье
У тех, кто дышит на виду.

И тот, кто руки мне протянет,
Желая и меня найти,
Тот как солдат в шеренгу станет,
Чтобы в бессмертие войти.

Войти один, не ожидая,
Что кто последует за ним...
Лишь только осень золотая
Развеет в синем небе дым.

Октябрь 1977 г. Тамань.

* * *

Грохочет море грозным штормом,
И тучи стелются вдали,
Но так же точно и упорно
Идут по курсу корабли.

К землегибаются деревья,
Летит по ветру желтый лист...
Как в жизни все... Но ты, наверно,
В окошко смотришь, как радист.

И сердце сводки принимает
Из всех ушедших в Лету дней...
Но ты уже не будешь в мае
Березы тонкой зеленой.

С надеждой смотришь ты на море
И веришь: шторм опять пройдет
И снова солнце на просторе
Тебя среди других найдет.

И дождь пройдет... И этот ливень,
Что хлещет косо по садам,
Рассыплет щедро сотни гривен —
Добро с печалью пополам.

Уходит все, но соль из моря
Не исчезает никогда;
И как понять, где в жизни горе,
Где настоящая беда?

И ты живи, смотря, как блещут
Озера солнца серебром;
Пусть будет этот ветер вещим,
Теплом наполнен и добром.

Исчезнут мутные потоки,
Что намешал осенний дождь...
И ветер высушит дороги,
И ты душою отойдешь.

Сентябрь 1977 г. Варна.



ВИЛЬ ЛИПАТОВ

★

ПОВЕСТЬ БЕЗ НАЗВАНИЯ, СЮЖЕТА И КОНЦА...*

Между тем Нина Александровна, поглядывая на себя в зеркало, тщательно готовилась к встрече с домработницей Вероникой, которая на кухне ожесточенно гремела посудой — опять бунтовала, угрожая уйти к англичанке Зиминой, так как по Таежному разнесся слух — дом отдают Булгакову, распущенный, несомненно, самим Булгаковым в связи с приездом Стамесова. Поэтому вчера вечером Вероника ушла из дому на полчаса раньше обычного, сегодняшним утром с Ниной Александровной не разговаривала, а отдельно завтракающему в кухне Борьке (сын уходил в школу позже Сергея Вадимовича) заявила: «Чего расселся, как барин? Можешь сам налить молоко — руки не отсохнут! Ишь какой интеллигентный!»

Когда Нина Александровна с холодным лицом вошла в кухню, домработница Вероника немедленно включила на полную мощность собственный транзистор «ВЭФ-201», настроенный на «Маяк», и он так заорал, что у Нины Александровны закололо в ушах. Тем не менее она взяла себя в руки — чего не сделаешь для домработницы! — и вежливо проговорила:

— Добрый вечер, Вероника.

И первое мгновение — никакого отклика, потом беззвучное шевеление алых губ, саркастический взгляд и наконец откровенно хамская улыбка: ну чего приперлась сюда? При случае Вероника материлась виртуозно, смачно, никого не стесняясь, и сейчас в ее глазах можно было прочесть столько нецензурных слов, что их хватило бы на бригаду сплавконторских грузчиков.

— Вам пора в школу, Вероника, — сухо напомнила Нина Александровна. — Без пятнадцати семь.

После этого произошло что-то непонятное: домработница выключила транзистор, села на стул и по-бабьи подперла рукой круглый подбородок.

— Как бы я замуж не вышла! — после сосредоточенной паузы озабоченно сказала Вероника. — Валерка мне проходу не дает, а получает триста и другими бабами не интересуется... Говорит: «Помогу выучиться в институте». Что вы мне посоветуете, Нина Александровна?

Вот тебе и уход к англичанке Зиминой! Вероника вообще поражала Нину Александровну неожиданностями, а тут рассмешила, так как несколько дней назад о том же Валерке говорила презрительно: «На кой он мне нужен, молокосос-то! Ему же двадцать пять лет и некуль-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

турный — вилку не умеет держать». А вот сегодня обстановка так резко переменилась, что Нине Александровне пришлось надолго задуматься, чтобы вспомнить Валерку — одного из бесчисленных поклонников Вероники. А как же! За всю жизнь вокруг Нины Александровны не было столько ухаживающих за нею мужчин, сколько образовалось вокруг Вероники за неполный год. Кто только не приударял за ней — от главного инженера сплавконторы до монтера, который чинил в их доме электроприборы.

— Так чего же мне делать? — требовательно переспросила Вероника. — Вы, Нина Александровна, умная, ловкая, вот и посоветуйте.

Ну не хамство ли?! Да за словечко «ловкая» Нина Александровна от другой женщины оставила бы мокрое место, а вот сейчас терпеливо промолчала и даже вспомнила Валерку — длинного и прямого, как оглобля, парня, по субботам всегда слегка пьяненького, добродушного и ясноглазого. Понятно, что слесарю Валерке, уроженцу Таежного, должна была нравиться Вероника — этакая копия картины Кустодиева «Красавица». О, сколько упругой плоти и соблазнительных ямочек носила на себе домработница Вероника!

— Я бы не вышла за Валерия, — обстоятельно сказала Нина Александровна, подстраиваясь под задумчивую озабоченность Вероники. — В школе он учился плохо, да и вообще, по-моему, глупый.

— А триста рублей! — быстро возразила Вероника. — Он больше всех слесарей зарабатывает.

— Да разве в деньгах счастье, Вероника? Валерка вам ничего не даст — он скучный и неинтересный человек.

Нина Александровна не успела закончить последнюю фразу, как на лице Вероники появилось по-девчоночьи лукавое выражение, а глаза сделались фальшиво-глуповатыми.

— Ка-а-а-кая хитрень-кая! — протянула Вероника. — А ваш-то Сергей Вадимович-то, он, что ли, умнее вас? От него только и слышать, что кубометры да кубометры. А получает он небось не триста, а все четыреста... Ой, Нина Алекса-а-андровна, я ведь точненько опаздываю!..

И убежала, а Нина Александровна осторожно присела на табуретку, все еще теплую от необъятного Вероникиного зада... Конечно, в Таежном не одна Вероника поддерживала сплетню о том, что Нина Александровна Савицкая не захотела жить с первым мужем потому, что он, рядовой врач, мало зарабатывал и был в десять раз глупее и несамостоятельнее (поселковое словечко!) жены, но она еще ни от кого не слышала, что Сергей Вадимович тоже скучный и неумный.

Нина Александровна довольно долго сидела на высокой табуретке, думая, вспоминая, сравнивая, и, наверное, поэтому решила больше не откладывать в долгий ящик дело, которое она задумала еще в тот день, когда расправилась с физкультурником Мышицей. С юмором называя задуманное «следственным экспериментом», она решила провести его сейчас же, немедленно, так как обстановка для «следственного эксперимента» складывалась благоприятно: Борька смотрел в десятый раз кинофильм «Белое солнце пустыни», Сергей Вадимович сидел на заседании партийного бюро, а у нее самой образовался сравнительно свободный вечер, как всегда бывало перед четвергом.

Пахло в кухне жареной картошкой с салом — любимая еда Сергея Вадимовича, — единственное окно казалось синим до черноты, слышались по-зимнему легкие и одновременно усталые шаги прохожих, возвращающихся с работы. Тишина была такая, что даже сквозь двойные рамы слышался гул далекой электростанции, морозный треск льда на реке, и Нина Александровна вороватым движением включила

гие родственнички?» Сергей Вадимович в это время дочитывал газету «Красное знамя», из-за развернутых страниц виднелась только его вихрастая макушка, и, видимо, увлеченный областными происшествиями, не услышал даже вызывающего стука Борькиных коньков. Так как насчет речки, родственнички? — настойчиво спрашивала порочья независимая физиономия сына. Все ребята пошли на речку, какие же будут указания от вас? И это на девятом году жизни, при полутороклассном образовании, с тройками по арифметике, русскому языку и при портретном сходстве с Ниной Александровной. Брови, подбородок, уши, линия щеки — все было материнское, но искривленное и преувеличенное, как в зеркалах комнаты смеха. Так как насчет речки, родственнички? Вопрос уже был готов вылиться словами, а Нина Александровна все молчала и даже покашливала, чтобы привлечь внимание Сергея Вадимовича: как поступить, Сергей? И вот в этот момент на физиономии Борьки и появилась сразившая ее снисходительная улыбка: эх, мама, мама, ничего ты толком не знаешь и не умеешь! «Можно кататься по реке, — неожиданно слышалось из-за газеты. — Больше лед мы не взрываем...»

...Как же все-таки поступить с выстиранными мужниными носками? Бросив выжатые носки снова в грязное белье и усмехнувшись, Нина Александровна вышла из кухни с мыслью найти во что бы то ни стало другую домработницу. Ведь надо же было как-то жить дальше, не топча саму себя, продолжая по-прежнему уважать ту женщину, которая совсем недавно значительно и гордо именовалась Ниной Александровной Савицкой, а вот теперь домработница называет ее ловкой и намекает на то, что Нина Александровна вышла замуж по расчету.

В «большой» комнате громко стучали часы с двойным заводом и мелодичным боем, сидел возле теплого бока печки кот Васька, и все это вместе — часы и кот, чувствующий приближение ужина, — означало, что скоро придет домой сын Борька. До его возвращения оставалось полчаса, то есть как раз столько времени, сколько хватило бы Нине Александровне на то, чтобы еще раз обдумать вопрос, решить который она не могла до сих пор.

Следует ли передавать Сергею Вадимовичу совет Стамесова просить новую квартиру не для мужа, а для Нины Александровны? Вот в чем была заковыка! Поэтому она села в свое любимое кресло возле газетного столика, закрыв глаза, принялась взвешивать все за и против такая напряженная и от этого побледневшая, точно решала сложнейшую математическую задачу. Нина Александровна была совершенно неподвижна, и только ноздри трепетали..

Сначала громко стукнула тяжелая зимняя дверь, потом раздалось веселое и потешное кряхтенье, которым всегда сопровождал раздевание Сергей Вадимович; на снятие пальто и шапки у него ушло три секунды, на стаскивание сапог и одевание домашних тапочек — семь, и вот в дверь уже просунулась легкомысленная физиономия.

— Здоровеньки булы! Как ваше ничего? Каково политико-моральное состояние? — резвился Сергей Вадимович, усаживаясь в кресло напротив жены и крепко потирая пальцами усталое, но хорошо выбритое лицо. — Как у нас сочетается личное и общественное, что новенького в области контактов с окружающей нас славной действительностью? Нет, понимаете ли, разлада, конфликта, некоммуникабельности? И почему вы, гражданочка, молчите, когда с вами разговаривает роскошный мужчина, пахнувший «Красной Москвой»?

В кресле развалился на самом деле болтун и сибарит, бездельник

и пижон, стилига — таким мужа Нина Александровна еще никогда не видела.

— Что произошло, Сергей? — тревожно спросила она, наклоняясь к нему.

Он прищурился и спросил:

— А ты знаешь, чем отличается поп от реки Волги?

— Не валяй дурака, Сергей!

Сергей Вадимович с удовольствием захохотал:

— Ага, не знаешь! А они отличаются тем, что поп — батюшка, а Волга — матушка... Три раза «ха-ха-ха!»... Слушай, а в нашей фатере вполне терпимая жизнь: светло, тепло и мухи не кусают! Что, опять лесосплавной юмор?

— Будет тебе, Сергей, паясничать, — сказала Нина Александровна, хотя в их «большой» комнате не хватало только розового абажура и геранек на окнах — так было по-мещански уютно, славно, тепло. В тишине потрескивали печные кирпичи, в трубе подвывало, крашенный сосновый пол потрескивал под тяжестью кресел, на которых они сидели, а от нового и громадного дивана-кровати пахло волнующе лаком, как в детстве от нового деревянного пенала с переводной картинкой на крышке. В пенале Нинка Савицкая отчего-то была отчаянно влюблена, на покупку новых часто тратила все карманные деньги, и, наверное, поэтому с тех пор запах лака у нее вызывал волнение.

— Не шалю, никого не трогаю, починая примус в кресле, — смиренно сказал Сергей Вадимович, цитируя строчку из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». — Какие будут еще указания?

Какие могли быть еще «указания», когда на стуле, ерничая и скрывая, видимо, громадное внутреннее напряжение, сидел катастрофически красивый мужчина... Передаем по буквам: Константин, Анна, Тимофей, Александр... Катастрофически красивый, так как Сергей Вадимович не только приближался к Мышице, но и стоял ступенью выше. Чем это все объяснялось, знал только бог, а Нина Александровна задала обычный вопрос:

— Ты почему не переодеваешься, Сергей?

— Кто? Я? Да я уже в твоём обожаемом лыжном костюме!

Шерстяной спортивный костюм Нина Александровна купила мужу сама — достала его ценой унижений перед орсовской продавщицей Клавой, но муж в этом костюме ей нравился. Покупка спортивного костюма произошла недавно, буквально на днях, поэтому Сергей Вадимович, привыкший ходить дома в задрипанной рубашке, в него влезал неохотно — ворчал, что жарко и давит в плечах. Однако сегодня муж спортивный костюм натянул так моментально, что она и не заметила. Это было неприятно, и Нина Александровна, досадуя, вышла в коридор, пробыла там секундочку и вернулась с газетой в руках.

— Пожалуйста, Сергей!

Когда муж погрузился в чтение, Нина Александровна стала пришивать пуговицу к Борькиной лыжной куртке, изредка поглядывая на Сергея Вадимовича. Обычно он начинал читать газету с первой страницы, даже с передовой статьи, а уж затем... На этом месте тихих вечерних размышлений Нина Александровна обнаружила, что не знает, какую страницу газеты Сергей Вадимович читает после первой. Это отчего-то заинтересовало ее, и Нина Александровна, исхитрившись, при помощи зеркала в платяном шкафу увидела, что сегодня Сергей Вадимович газету, оказывается, начал читать вообще не с первой, а с последней полосы, где была помещена крохотная заметка о том, что в областном городе Ромске вышел на шоссе лось и долго шлялся неподалеку от бензозаправочной колонки, задерживая движе-

ние; потом зверь переплыл реку неподалеку от карандашной фабрики, задержав стремительный бег судна на подводных крыльях. Нина Александровна газету «про-о-бе-жала» еще в школе и сейчас подумала о муже так: «Сергей Вадимович, наверное, сегодня изрядно устал...»

— Мы чрезвычайно любим животный мир! — откусывая нитку, сказала она. — На каждого лося приходится один корреспондент... Тьфу! Даже нитки пахнут бензином!

Муж на это отозвался согласным мычанием, а Нина Александровна мирно продолжала:

— Корреспонденты так же преданно любят солдат, вытаскивающих из воды мальчишек... Между прочим, мне нравится десантная солдатская форма.

— Угу. Угу.

— Мне также нравится, что у тебя исчез нос, — тем же тоном продолжала Нина Александровна. — Поверь, без носа, гуляющего по Невскому проспекту, ты выглядишь элегантнее.

— Угу. Угу.

И все это из-за «лосиной» информации и сообщения о том, что в Ромск приезжает квартет имени кого-то! Нине Александровне стало так весело, словно ее щекотали, на глазах, ей-ей, выступили слезы, и она опять — второй раз за этот вечер — почувствовала, как ей хорошо и спокойно сидится в тихой и по-мещански уютной комнате. «Я, наверное, тоже порядочно устала, — подумала она. — А нитки пахнут бензином оттого, что сейчас во-о-бще все пахнет бензином — двадцатый век на дворе».

— Ты о чем-то меня спрашивала? — спохватился вдруг Сергей Вадимович. — Не об ужине ли?.. Чем ты сегодня собираешься меня питать?

— Свиными котлетами, сырниками и чаем...

— Это нам не подойдет! — шутивным протоиерейским басом ответил Сергей Вадимович и решительно отложил в сторону газету. — Дело в том, уважаемая гражданочка, что у вашего покорного слуги открылась язвочка двенадцатиперстной кишки, помалкивающая уже лет надцать. Она когда-то сама зарубцевалась в конце студенческих годов... А вот сегодня мы, к вашему сведению, изволили посетить даже местный рентген...

Так вот почему Сергей Вадимович начал читать газету с последней полосы! Эти мужчины болеть спокойно не умеют и никогда не научатся. Ай-ай-ай, как все просто объяснялось, а она-то забралась в такие психологические сложности, что запуталась в трех соснах.

— Тебя Васина смотрела? — спросила Нина Александровна.

— Ну уж дудочки! Приезжало какое-то светило из района. Я человек государственный: времени для разъездов не имеем...

— Будешь ложиться в клинику?

Сергей Вадимович только плотоядно ухмыльнулся.

— В ближайшие три месяца, Нинусь, — сказал он, — я ни в какие клиники не лягу...

— Почему?

— Потому, что кончается на «у».

Нина Александровна отложила в сторону Борькину куртку, к которой пришивала уже третью пуговицу, помолчав, настойчиво спросила:

— Что все-таки случилось?

— А вот то, что питаться с этих пор я буду только вместе с каше-дом Борькой и даже пить с ним парное молоко... Перехожу на прием!

Нина Александровна спокойно молчала, думая о том, что она поступила совершенно правильно, не рассказав мужу о совете Игоря

Стамесова насчет жилищных проблем, потом же отчетливо почувствовала, что ей в наикратчайшие сроки придется решить два самых важных для нее теперь вопроса: почему Сергей Вадимович сделался писанным красавцем в те дни, когда у него открылась язва двенадцатиперстной кишки, и почему в конце студенческих годов та же язва у него зарубцевалась самостоятельно?..

— А вот и Васька пришедши! — обрадовался Сергей Вадимович коту, вылезшему из-под стула. — Милости просим к диетическому столу, Василий Васильевич!

7

Дни не шли, а летели; сразу же после морозов опять примчался с юга такой теплый сырой ветер, что поселковые старики недоуменно трясли бородами и говорили по-нарымски протяжно: «Этакого не бывало годов пятьдесят, а то и поболее...» Впрочем, оттепель продлилась всего неделю, а затем ударил сорокаградусный мороз—сухой, трескучий, легкий для дыхания. Небо сделалось безоблачным, блестящим и ровным, точно его отполировали; по ночам в небе висел гранатом стылый одинокий месяц. Утрами с реки доносились пушечные удары—это трескался двухметровой толщины лед... На стройке нового трехкомнатного дома с наступлением морозов работы прекратили совсем, а в дни оттепели выяснилось, что водяное отопление будет работать плохо: то ли неправильно смонтировали газовую установку, то ли в системе были какие-то недостатки; кроме того, на потолок дома, надеясь на чудеса водяного отопления, насыпали такой тонкий слой земли, что дом не прогревался, и Сергей Вадимович вовсю резвился: «Пирамиды строили быстрее, чем это трехкомнатное самолюбохранилище! Вам еще, товарищ Нина, неизвестно, что у терема-теремича в холода-с полопался каменный фундамент...» Одним словом, дни были разные — то неселые, то грустноватые, но скучно не было никогда: много работы, сутолоки и разных мелких происшествий, естественно, не выходящих за рамки обычности. К концу второй четверти Нина Александровна из школы уходила позже, а приходила раньше, много занималась в неурочные часы с отстающими учениками.

Происходили события и школьных масштабов. В девятом «б», в котором Нина Александровна была классным руководителем, получил восторженное письмо из новосибирского Академгородка математический гений Марк Семенов; почти профессионально сыграла очередную роль в школьном драматическом кружке дочь экс-механика Булгакова загадочная Лиля; нахватал двоек по трем предметам сын Василия Васильевича Шубина, помощника местного киномеханика, а в девятом «а» сын знатного слесаря механических мастерских Альберта Яновича Юрисона с Ниной Александровной стал вести себя дерзко, то есть сухо здоровался с ней и, отвечая хорошо выученный урок, делал нарочно это так медленно, что она выходила из терпения.

Тем не менее, повторим еще раз для закрепления, жизнь текла в высшей степени привычно, и Нина Александровна сегодня, как и полагалось по школьному расписанию, давала урок в своем девятом «б» классе. Обычной энергичной походкой, элегантно и продуманно одетая, она вошла в класс, поздоровалась, положила на столик журнал и, не садясь, чтобы на глаз проверить отсутствующих и присутствующих, медленно пошла меж рядами к Лиле Булгаковой. Девушка сегодня была в обязательной школьной коричневой форме, которая ничем не отличалась от одежды других учениц, но все равно было заметно, какая она особая, отдельная, только приблизительно похожая на всех остальных, наверное, потому, что в удлинненном и нежном лице девушки многое свидетельствовало об артистичности: и лоб вы-

пуклый, как у женщин елизаветинских времен, и глаза, которые банально можно было назвать глубокими, и длинный страстный рот, и, наконец, руки — нервные, подвижные, длиннопалые, живущие самостоятельно. А может быть, Нина Александровна все это преувеличивала, на нее, возможно, гипнотически влияли частые разговоры в учительской о Лилиной талантливости, а на самом деле девица была приметна лишь внешней броскостью и выдающейся заурядностью. Ведь исключительная заурядность — это тоже проявление неординарной личности.

— Здравствуйте, Лиля,— подойдя к девушке, сказала Нина Александровна.— Мне передали о вашем желании поговорить со мной... Но я не понимаю, почему вы не сказали об этом сами. Тем не менее после шестого урока я в вашем распоряжении.

— Спасибо, Нина Александровна... Но я ни в чем не виновна.— Лиля простенько улыбнулась и убрала со щек распущенные прямые волосы.— Это все доброты вроде Машеньки Выходцевой.

— Да, это я попросила Нину Александровну выслушать тебя! — тоненьким голоском сказала с первой парты добрая и отзывчивая Машенька Выходцева.— Ты же говорила мне, что хотела посоветоваться с умным человеком...

Нина Александровна просто и весело засмеялась; захохотали басами на задних партах длинноволосые парни; Лиля Булгакова пожалала плечами и посмотрела на Нину Александровну так, словно хотела сказать: «Ну вот теперь вы понимаете, что я ни в чем не виновата», а сама Машенька Выходцева хохотала по-детски радостно, счастливая за всех и за все сразу — за то, что Нина Александровна пообещала поговорить с Лилей, что их классная руководительница была умным человеком, что у мальчишек уже прорезались басы, что Нина Александровна уже не будет обвинять Лилю в том, что Лиля сама не обратилась к ней, а невольно действовала через нее, Машеньку.

— Итак, договорились,— сказала Нина Александровна и вернулась к доске.— Сегодня у нас постоянная Больцмана,— продолжала она, по-прежнему не отрывая глаз от Лили Булгаковой, так как хотелось понять раз и навсегда, почему эта девочка, сидящая в расслабленной и безвольной позе, казалось, кричала на весь мир: «Не подходите ко мне!» — но никто из преподавателей, кроме Нины Александровны, не слышал этого истошного крика, а, наоборот, все в голос говорили, что Лиля самая дисциплинированная и послушная девочка в школе.

— Людвиг Больцман — великий австрийский физик,— рассеянно сказала Нина Александровна,— один из основоположников молекулярно-кинетической теории...

Физику Нина Александровна любила больше, чем математику; ей казалось, что многие физические законы эмоциональнее математических, и вообще привлекала стройная философичность одной из самых модных и важных современных наук.

— Больцман взял за основу...

Ясно было одно: Лиля не походила на отца, в ее внешности и характере не было ничего от экс-механика, а скорее, наоборот, они были полной противоположностью; объединяло их только одно — нелюдимость, пронзительные и немигающие глаза. Внешностью Лиля походила на мать — красивую когда-то, но скромную и совсем незаметную в поселке женщину, умудрявшуюся даже в те времена, когда она была четвертой дамой Таежного, никому не бросаться в глаза.

— ...отношение универсальной газовой постоянной...

Поставив на доске меловую точку и произнеся последние слова так, чтобы можно было сделать длинную паузу, Нина Александровна думающей походкой прошла между рядами, глядя только и только на Лилю Булгакову. Ведь если девочка, казалось, истошно кричала: «Не подходите ко мне! Не трогайте меня!» — то причину этого можно было понять, находясь только вблизи нее и только близко глядя в жесткие глаза...

— ...Теперь, когда у нас имеются все исходные данные и когда мы знаем, что это число называют...

Лиля нехотя подняла голову, подобрала тонкие и яркие губы; зрачки посветлели, сделались осмысленными, потом...

— ...Это число называют числом Лошмидта...

Боже мой! Какая ненависть, какое презрение и какая женская страсть к ненависти проглянули из глаз Лили Булгаковой! Это было неожиданно и оттого еще более страшно, так что Нина Александровна запнулась, потеряла ход мысли и остановилась возле Лили, не закончив предложения...

— Лиля! — неожиданно для самой себя воскликнула Нина Александровна и повторила шепотом: — Лиля!

Секунду — не больше! — Лиля Булгакова молчала, ненависть на донышке глаз полыхала, затем вдруг все мгновенно изменилось: девочка смутилась, покраснела и в уголках тех же самых глаз, которые полсекунды назад смертельно ненавидели Нину Александровну и весь мир, появились две фальшивые слезинки.

— Ой, Нина Александровна, у меня голова болит! — простонала Лиля и уронила голову на руки.

Только тогда Нина Александровна услышала стук крышек парт, обеспокоенный шум класса, взволнованный голосок Машеньки Выходцевой:

— Лилечка, Лилечка!

— Спокойно, спокойно! — громко сказала Нина Александровна и тут же с болезненной остротой прозрения поняла, что ненависть Лили к ней, Нине Александровне, не имеет никакого отношения к будущей трехкомнатной квартире, — это была ненависть, которую может испытывать женщина только к другой женщине. Чтобы прийти в себя, Нина Александровна торопливо посмотрела на презабавнейшего ученика Василия Шубина, сына помощника киномеханика местного кинотеатра «Тайга» Василия Шубина, так похожего на отца, как отпечатки с одного и того же фотонегатива. Его отец Василий Васильевич Шубин был известен тем, что каждому встречному-попечечному, отвечая на вопрос о своей профессии, с той самоуничижительностью, которая паче гордости, отвечал: «Второй киномеханик, или помощник киномеханика, — как угодно, так и называйте!» Кроме того, помощник киномеханика, или второй киномеханик, славился тем, что, будучи хилым, тщедушным и болезненным человеком, отчетливо открыто считал себя главным поселковым донжуаном, а про свою внешность напыщенно говорил: «Я на батьку Махно похожий!» Впрочем, Шубин-старший на самом деле носил такие же длинные волосы, как прославленный бандитский атаман.

Сын Василия Васильевича Шубина, которого звали, конечно, тоже Василием, был уморительной копией родителя и этим так смешон, что при одном взгляде на него у Нины Александровны всегда улучшалось настроение. Сегодня ей было достаточно всего нескольких секунд, чтобы почувствовать облегчение, а когда Нина Александровна, повернув голову налево, увидела примечательное лицо выдающегося математика Марка Семенова, она внезапно поняла, что сейчас даст один из лучших своих уроков: так была взвинчена ненавистью Лили Булга-

ковой, забавностью Василия Шубина, Марком Семеновым с его усталым и отрешенным лицом.

— Постоянная Больцмана красива и вызывает уважение к оригинальному уму ее создателя...

После этих слов Нина Александровна перестала замечать, что в помещении девятого «б» класса все скрипело; это доводило до экземы и псориаза некоторых учителей, но только не Нину Александровну Савицкую. Скрип на самом деле был ужасным: скрипели старые парты и рассохшийся пол, скрипела под мелом доска, скрипели перья, преподавательский столик, колеблемая ветром форточка.

— В его трудах молекулярно-кинетическая теория...

Твердо наступая на каблуки лакированных туфель, в которых Нина Александровна всегда приходила в классы, сменяя на них в учительской теплые сапоги, она еще раз медленно прошла по комнате, вглядываясь в лица учеников, замечая, что они усаживались поудобнее, клали подбородки на руки, расслабляли спины, девочки, влюбленные в красивую математичку, следили за ней восхищенно, как за прима-балериной, и только самовлюбленный Василий Шубин — сын демонически улыбался.

— ...приобрела логическую стройность...

В классе было абсолютно тихо. Марк Семенов по-прежнему находился, как подумала Нина Александровна, «во взвешенном состоянии», и вид у него был аховский: под глазами синяки, губы потрескались, рука, свисающая с парты, вздрагивала. «Это все злодейка Вероника, будь она неладна!» — мельком подумала Нина Александровна. Нужно было заставить Марка Семенова поднять голову, чтобы он не только слышал, но и видел доску, так как сами латинские буквы, их начертание, размер и манера написания всегда производили на него — прирожденного математика — успокаивающее впечатление.

— Продолжаем, продолжаем работать! — сказала Нина Александровна и сразу после этих обычных слов почувствовала себя легкой, как облачко пара.

Она снова, казалось, не касаясь пола, проплыла меж партами, ощущая, как сердце тепло и радостно поворачивается: нежно-гладкий мел в пальцах был таким бодрящим, приятным, как любимое платье, и, наверное, от этого в кончиках пальцев почувствовались колющие иголки, голова кружилась, а в груди творилось бог знает что! Все было возможным, достижимым, мир виделся как бы издалека, сквозь тонкую и теплую пленку, расцвеченную радужно. Подле левого виска разгоралась яркая красная точка, словно к голове прижали маленькую электрическую лампочку; от ее света было ярко левому глазу и щекотно коже.

— Нужно представить обстановку, в которой работал Больцман...

Нина Александровна почувствовала спиной, как Марк Семенов пошевелился, но голову не поднял, а только вздохнул и опять замер. «Ничего, голубчик мой, ничего, сейчас ты у меня вздрогнешь!» — подумала она с торжествующим упрямством... Меловые линии на доске сделались толстыми, выпуклыми, даже объемными.

— Борец по натуре, — слыша себя издалека, говорила Нина Александровна, — Больцман страстно боролся с учеными, не признававшими молекулярную теорию...

Марк Семенов поднял голову. Сделал он это медленно, но зато перестал тяжело вздыхать, и Нина Александровна теперь чувствовала и видела только одного его, радуясь, что в глазах юноши появился тусклый, но все-таки блеск. «Вот так!» После этого Нина Александровна уже ни о чем, кроме постоянной Больцмана, думать не могла...

С неба на землю падали в неурочный месяц года звезды, ледяная земля под ногами звенела и лопалась, лунные тени от заснеженных рябин и черемух в палисадниках были резки, точно их вырезали из металла; луна висела в черном небе высоко, но не сиротливо, так как была полной, заново родившейся. На главной поселковой парикмахерской, в которой работал приятель Нины Александровны мастер Михаил Никитич Сарычев, не унимался радиодинамик — слышался голос Людмилы Зыкиной, сладкий и сердечный: «В селах Орловщины, в селах Смоленщины слово «люблю» непривычно для женщины...»

Лиля Булгакова осторожно шагала по деревянному тротуару, Нина Александровна шла по земле, и поэтому они были одинакового роста, а лунный свет так мягко и ровно освещал лица, что они казались ровесницами. Некоторое время они шли молча, наслаждаясь тишиной, вечерним морозцем, хрустом льдинок под ногами, и Нина Александровна испытывала отчего-то такое чувство, словно это не она согласилась побеседовать с Лилей, а сама девушка решила провести душевную беседу с Ниной Александровной. Это, несомненно, объяснялось сильным характером Лили, умеющей значительно молчать, привыкшей при отце — механике сплавконторы — считать себя важной персоной, стопроцентным отсутствием в характере девушки чинопочитания или школьной влюбленности в учителей. Все это было таким явным, открытым, незамысловато лежащим на поверхности, что Нина Александровна уже несколько раз незаметно улыбнулась и вспомнила второго киномеханика, или помощника киномеханика, — как хотите, так и называйте! — Василия Васильевича Шубина, который любил произносить важно: «Мы свободные люди!»

Зимой поселок Таежное спать укладывался рано, особенно в тех районах, где жили рабочие сплавной конторы, и теперь Нину Александровну и Лилю Булгакову обступала добротная деревенская тишина, в которой лишь негромко пела Зыкина. От Второй Трудовой улицы, по которой они шли, до края тайги было всего километра полтора, и при лунном свете отчетливо было видно, где начинаются кедрачи и как они уходят все дальше и дальше, приподнимаясь, чтобы на горизонте плавно слиться с ночным небом.

— Ну и что же? — отдохнув немного от школьной сутолоки, мирно спросила Нина Александровна. — Я слушаю вас, Лиля.

Девушка замедлила шаги, завидно раскованная и свободная, осмотрела Нину Александровну так, как это делают мужчины, — с ног до головы.

— Я боюсь, что меня не примут в комсомол, — сказала она. — Самая добрая и отзывчивая девочка нашего класса Машенька Выходцева меня информировала, что комсомольцы настроены против...

Нина Александровна тоже замедлила шаги, задумалась, сморщив лоб: во-первых, ей и в голову не могло прийти, что комсомольцы так демонстративно не любят Булгакову, во-вторых, и это самое главное, сама Нина Александровна о Машеньке Выходцевой думала такими же словами — «самая отзывчивая и добрая», и вкладывала в них такую же долю насмешки, какую сейчас уловила в тоне Лили Булгаковой.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — шутиливо проговорила Нина Александровна. — Но почему комсомольцы против вас, Лиля?

— Они мне завидуют! — ни секунды не подумав, ответила Булгакова. — Я опередила всех!

Это, пожалуй, было правдой. Только Марк Семенов в девятом «б» мог соперничать с Лилей Булгаковой. Размышляя, Нина Александровна сначала, естественно, предположила, что имеет дело с изредка случающейся в классах ситуацией, когда коллектив злобно травит наиболее яркого ученика: молодость жестока. Ох, какой безжалостной становится молодость, если она основана на соперничестве!

— Вот я и решила с вами посоветоваться как с классным руководителем,— простым до бесцветности голосом продолжала Лиля.— Подать мне сейчас заявление в комсомол или немножко переждать?— Она помолчала.— Возможно, страсти утихнут, если я откажусь участвовать в драмкружке, писать стихи и постараюсь не быть слишком красивой...

Лиля недавно играла в школьном спектакле Ларису из «Бесприданницы», спектакль ставил бывший профессиональный режиссер, который при сокласниках Лили сказал: «Эта девочка, если захочет, будет актрисой». На сцене Лиля — Лариса была прекрасна и недоступна, играла на гитаре и пела так, что у семиклассник — самый блаженный возраст для сентиментального восприятия искусства — текли слезы, а после спектакля девчонки и мальчишки младших классов приходили на второй этаж школы, чтобы, подкараулив Лилю, посмотреть на нее хоть издали...

— Подать заявление или подождать? — машинально повторила Нина Александровна, продолжая отчего-то осторожно двигаться рядом с деревянным тротуаром.— Подать заявление или подождать?.. Знаете что, Лиля, я к этому вопросу, кажется, не готова... Нужно подумать и поговорить с некоторыми ребятами из нашего класса...

Ей-богу, Нина Александровна не хитрила и не дипломатичала, но, продолжая размышлять о безжалостности соперничающей молодости, подумала, что недовольство Лилей может объясняться и другими причинами, скорее всего эгоцентричностью. Жалко, что Нина Александровна на Лилю Булгакову раньше обращала, если признаться, мало внимания. В девятом «б» она преподавала чаще всего для Марка Семенова и предельно много занималась им. «Классная руководительница плоха,— подумала она,— если занимается только одной звездой».

— Я должна подумать,— рассеянно повторила Нина Александровна.— Все это для меня, Лиля, каюсь, неожиданность!

— Подумайте, посоветуйтесь,— согласилась Лиля.— Я вам верю, Нина Александровна! Вы очень умная! Если это лезть, простите.

Звезды падали и падали, место Людмилы Зыкиной в радиодинамике на удаляющейся парикмахерской заняла Майя Кристалинская, сообщающая о том, что «ты пришел к нам таежной тропинкой, на моем повстречался пути, ты меня называл «бирюсинкой», все грозил на медведя пойти...». Звезды падали и падали в неуточный месяц года, но ведь и время было такое космическое, что многое происходило не по старинке: снегопады, оттепели, морозы, снежные бури; расцветали нежданно рано цветы, хороводились над землей незнакомые звезды и туманности, ночью на небе то гасли, то зажигались теплым человеческим огоньком искусственные спутники Земли, испытывали влияние атомных испытаний воздушные течения, путались во времени и силе приливы и отливы в морях и океанах, меняла облик древней Сибири по-новому живущая река Обь, в лесах и на равнинах всего мира становилось меньше зверья и птиц; люди, испытывая на себе разрывную научно-техническую революцию, страдали от футурошока... Раздумывая о сложностях XX века, Нина Александровна на ходу жестом подруги обняла девушку за плечи и сказала:

— Никогда не следует преувеличивать опасность. Не так страшен черт, как его малюют. Слышите, Лиля?

— Я знаю, что вы добрая,— ответила девушка.— Вы только внешне не кажетесь суровой, а так вы добрая... Но вы очень самостоятельная. Нина Александровна, вы независимая. По Киплингу, вы кошка, гуляющая сама по себе... Да и я такая же!

— Образно,— улыбнулась Нина Александровна и неожиданно для самой себя спросила: — Вы не ведете дневник, Лиля?

— Веду...

И вот тогда-то Нина Александровна почувствовала, что она и Лиля чем-то (пока еще трудно уловимым) действительно похожи внутренне, а уж внешняя похожесть была до смешного заметной: длинноногие, узкобедрые, большеротые, с такими гордо вздернутыми подбородками, словно их держали на туго натянутой узде.

Глава вторая

1

Незадолго до Нового года, когда трехкомнатная квартира все еще бесконечно доделывалась и доделывалась, Сергей Вадимович на неделю улетел в Ромск. За пять дней пребывания в столице области Нине Александровне он позвонил всего раз, да и то для того, чтобы сообщить: «Задержусь, Нинусь, еще на недельку! Передай Борьке, что обещанное достал... Целую крепко. Ваш Сережа! Да, гражданочка, а такелаж-то я выбил!.. Ну спасибочки! Пы-ры-вет!»

Вот таким образом у Нины Александровны появилась еще одна безмужняя неделя, наполненная естественной скукой по Сергею Вадимовичу, легкими и веселыми перебранками с Борькой, привычно трудной работой в школе и напряженными раздумьями о ее теперешней замужней жизни: почему Сергей Вадимович сделался писанным красавцем? почему у него зимой — не сезон — открылась язва? отчего у мужа в конце студенческих годов язва зарубцевалась сама? и почему муж в домашней обстановке все ерничает и ведет себя так легкомысленно, что при его характере это надо было истолковывать вот таким макаром: ему трудно в родном доме. Так почему же? Тревожного было так много, что Нина Александровна наконец-то решила пойти на дом к бывшей директорисе средней таежнинской школы, а ныне не захотевшей уйти на пенсию учительнице начальных классов Серафиме Иосифовне Садовской — женщине, увенчанной всеми лаврами, доступными преподавателю школы. Она была и заслуженной учительницей РСФСР, и депутатом облсовета, и членом райкома партии, и внештатным корреспондентом «Учительской газеты» и носила по пролетарским праздникам на груди многочисленные ордена и медали. В жизни Нины Александровны старая учительница играла роль советчицы по всем «унутренним и унешним» делам, как шутила сама Серафима Иосифовна, и если могла существовать дружба между женщиной возраста Нины Александровны и пенсионеркой, то они были настоящими друзьями — преданными, откровенными и добрыми друг к другу.

За несколько дней до Нового года зима, перенесшая нежданное оттепели, наверстала с лихвой упущенное: в последних числах месяца прошли обильные снегопады, снег вопреки ускорениям XX века падал на землю по-старинному просто и медленно; за несколько дней выросли сугробы двухметровой толщины, и промышленный поселок

Таежное превратился в большую декорированную матушкой зимой деревню. Из-за глубоких сугробов и толстых снеговых шапок на крышах дома стали ниже, превратились в гномьи избушки, и даже сплавконторский клуб, именуемый Домом культуры, как бы врос в землю; по ночам небо очищалось от туч и облаков, звезды перестали падать, но луна по-прежнему оставалась добродушной, глазастой, доброй к влюбленным парочкам.

Дом и двор учительницы Садовской были так же знамениты в Таежном, как и сама она: никаких украшений, излишеств, все квадратное, геометрически строгое, угловатое, откровенное; летом двор походил на футбольную площадку, кое-где расцвеченную клумбами с лесными и полевыми цветами. Зимой двор был расчищен, утрамбован, безукоризненно ровен, и все это было делом рук самой Серафимы Иосифовны, которая все домашние работы, включая колку дров, делала сама, хотя могла содержать домработницу, так как с северной надбавкой зарабатывала много. Вероника, например, приехав в Таежное, только о том и мечтала спервоначалу, чтобы устроиться к Серафиме Иосифовне, где могла бездельничать и, значит, хорошо учиться в вечерней школе.

Была знаменита на весь поселок и восьмидесятилетняя мать Садовской — веселая старуха на кривых по-степному ногах, Елизавета Яковлевна, полубурятка-полуеврейка — вот какое необычное сочетание! Елизавета Яковлевна, в свою очередь, славилась тем, что имела болезненную, по-сибирски хлебосольную страсть кормить встречного-поперечного, то есть всякого, кто лишь переходил порог их дома. Единственный сын учительницы Садовской тридцатилетний Володька работал заведующим промышленным отделом областной газеты, и о нем в Таежном много говорили: хорошо и интересно писал, любил мать, но имел буйный характер и понемножку попивал горькую, хотя вырос в непьющем доме. Володька иногда приезжал в Таежное, и с ним Нина Александровна встречаться не любила — был неприятен пьяной слабостью. Он мог, например, остановиться возле нее в самом центре Таежного и, заикаясь, громко объявить: «А я повесть написал... Блеск! Не хуже Хемингуэя!»

С тех пор Нина Александровна с Володькой старалась встречаться реже, хотя все его статьи в газете читала, а когда в журнале «Юность» появились два его первых «столичных» рассказа, нашла их оригинальными и самобытными; особенно ей импонировала Володькина манера писать сжато, как бы спрессованно, начинать каждый абзац энергично, в чем он, наверное, отдаленно походил на Бабеля, который «буйствовал на бумаге и заикался в жизни...».

К дому знатной учительницы Нина Александровна подошла еще при дневном свете, свежая и веселая. В первую смену она дала всего два урока, Сергей Вадимович, как известно, сидел в областном центре, Борька с коньков перешел на более спокойные лыжи, и все-таки в душе Нины Александровны не было улаженности. Да, ей так нужна была Серафима Иосифовна, как бывал необходим духовник запутавшемуся в сложных обстоятельствах человеку... Миновав квадратный и умопомрачительно чистый двор, Нина Александровна поднялась на крыльцо, тщательно почистив веником теплые сапоги, негромко постучала в толстые двери, которые мгновенно открыла восьмидесятилетняя Елизавета Яковлевна и обмерла от радости:

— Нинуля!

— Я сыта, — торопливо сказала Нина Александровна и чмокнула старуху в замшевую щеку. — Убегу убегом, если будете кормить... Серафима Иосифовна дома?

— Ну и дурища! — с обидой сказала старуха. — Я таких дурищ давно не видывала. У меня приготовлены пель-ме-ни!

— Ладно, ладно. Подавайте мне вашу дочь!

— Да пожа-а-а-луйста! Твоя Серафима Иосифовна тоже дурища... Я ей связала белые шерстяные носки, а она заладила: «Колются!» Таких дурищ...

В этот момент в коридор вышла Серафима Иосифовна, сердито посмотрев на мать, перекатила папиросу «Беломорканал» из одного угла губ в другой — она всегда была с папиросой в зубах, кроме уроков и школьных перемен, которые она почти всегда проводила в классе, не любя сидеть в учительской.

— Что-то больно много у тебя дурищ, мамуля, — сказала Серафима Иосифовна. — Не по возрасту буйно живешь... Полежала бы.

— Сама лежи! «Колются!» Видывали неженку! В миллионный раз: дурища! Видеть тебя не хочу!

В гостиной — такая комната в доме Садовской была — Нина Александровна села на свое законное место, то есть на сосновую табуретку, хотя здесь существовали и стулья. Затем Нина Александровна улыбнулась тому, что Серафима Иосифовна, как всегда, была искренне огорчена ссорой с матерью, хотя сама охотно острила, что в доме житья не станет, если они с матерью перестанут ссориться. Мать с дочерью действительно всячески поносили друг друга, даже находясь в разных комнатах, — тонкие перегородки. Серафима Иосифовна, казалось, давно уже должна была привыкнуть к такому положению, но к каждой ссоре все-таки относилась трагически. Сейчас она огорченно сказала:

— И кто тебя надоумил вязать шерстяные носки?

— Меня надоумливать не надо! — донеслось из-за тонкой перегородки. — Я, как некоторые, из ума не выжила! Соображаю что к чему... «Колются!» Это из кроличьего пуха-то?! Я тебе еще покажу: «Колются!»

Но Серафима Иосифовна даже не улыбнулась.

— Пошли, Нина Александровна, на улицу, — сумрачно сказала она. — Разве в этом доме дадут поговорить! Это не дом, а таверна... Вот заштукатурю перегородки...

— Я тебе заштукатурю! Володьке напишу, что мне от тебя житья нету... Я тебе вспомню: «Колются!»

На улицу Серафима Иосифовна вышла в телогрейке, подпоясанной солдатским ремнем, ноги были обуты в большие валенки, и только платок на ней был достойным — настоящая оренбургская шаль, из тех, которые можно пропустить в обручальное кольцо.

— Устала я от мамы, — сказала она, прикуривая одну папиросу от другой. — Так устала, что голова болит... Но ничего: на свежем воздухе пройдет... Давай, Нина Александровна, прибавим шагу, тихо ходить не умею...

Не сговариваясь они выбрали для прогулки узкий и немногочисленный переулочек, ведущий к реке; радуясь тому, что в переулочке прохожие снег угрэмбовать не успели и можно разгрести его ногами, как в детстве, двинулись вперед в энергичном темпе Серафимы Иосифовны, привыкшей ходить не только быстро, но как-то бочком, ссутулившись и зигзагом, хотя характер у нее был, как говорится, прямолинейный... Падали редкие снежинки, откуда они летят на землю, понять было нельзя, так как над головой было чистое и светлое небо; ей-богу, на нем не было ни единой тучки, облачка, но снежинки, все увеличиваясь и увеличиваясь, откуда-то падали на лицо — нежные и теплые. Слышалось, как на парикмахерской старается радиодинамик: «Нью-Йорк. От корреспондента ТАСС. Сегодня здесь состоялась очередная

встреча представителей СССР, США, Англии и Франции по вопросам мирного политического урегулирования на Ближнем Востоке...» Они рассеянно слушали, и Нина Александровна умилялась рукавицам Серафимы Иосифовны — они были большие, длинные, меховые, и старая учительница походила на дошкольницу, которой рукавицы пришивают на веревочку, пропущенную через спину, чтобы не потеряла. Руки Серафима Иосифовна держала растопыренными, и это тоже было трогательно.

— Не браните меня, Нина Александровна, за ссоры с мамой, — сказала Серафима Иосифовна. — Об отсутствии чувства юмора вы мне говорили, но вы не понимаете главного... Видит бог, не понимаете!

Старая учительница ко всем людям, кроме близких родных и младшеклассников, обращалась на «вы», а тех, кого любила и уважала, всегда называла по имени-отчеству.

— Видит бог, Нина Александровна, вы ничего не понимаете! — Она суеверно закатила глаза и трижды поплевала через левое плечо: — Тьфу, тьфу, тьфу. — Потом тихо добавила: — Когда мама перестанет ругаться, она... она будет... она заболит... Тьфу, тьфу, тьфу! — Серафима Иосифовна помолчала, затем выжала-таки из себя улыбку. — Если мама перестанет ругаться, это будет равносильно тому, что она ушла на покой, что ли... Булгаковский случай! Слушайте, почему вы не уступаете ему новый дом?.. Впрочем, я порю чушь: дом ему нужен, как маме ругань. Жить в нем он все равно не будет...

Дойдя быстро до конца переулка, они повернули обратно, пошли навстречу крупным мокрым снежинкам, глядя под ноги, разгребая снег, и лицо у Серафимы Иосифовны сейчас было бабьим, несмотря на лихо закушенную папиросу, и Нине Александровне было жалко, что она пришла на встречу со старой учительницей в редкий момент ее слабости. «А я-то собиралась выпить полную чашу возмущения за разгромленного Мышицу», — все-таки шутливо подумала она, и ей показались еще более трогательными растопыренные руки старой учительницы, а в отсвете дымчатой оренбургской шали глаза Серафимы Иосифовны казались серыми. мужские морщины возле губ разгладились.

— А Светлана Ищенко — жертва! — сказала Серафима Иосифовна. — Зачем вы заставляете этого физкультурника Моргунова жениться на ней?.. Разве это не жестоко? Моргунова вы прозвали Мышицей, прозвища я не люблю, но зачем ему жениться на Светлане? Он добрый, с комплексом неполноценности, но ловкий и рациональный, а главное — глупый! — Она вдруг воскликнула: — Что произошло с человечеством, если классическая красота Светланы Ищенко гроша медного не стоит! В моде простушки или дурнушки, но ведь не в этом же демократизм... Простушки простушками, а красавицы красавицами!

Этот вопрос Нина Александровна тоже задавала себе не один раз. Что случилось в Таежном, если красавица Светлана Ищенко имела только одного поклонника — Мышицу? А за толстухой Вероникой, домработницей Савицкой, ухажеры ходили стадами? Что это все значило для Таежного, а не для Москвы, где красивые девушки и женщины давно шли привычными косяками, как холодной осенью журавли?

— Я, кажется, догадываюсь, в чем дело, — задумчиво продолжала Серафима Иосифовна. — В этом суматошном веке люди боятся сложности, лишней психологической нагрузки, увеличения напряженности... Вот вам, Нина Александровна, не осточертела сложность? Не устаете?

— Устаю, Серафима Иосифовна. Да еще как! Хотя... хотя временами я себя чувствую такой счастливой, что похожа на лягушку из рассказа Гаршина. Помните, она закричала: «Это я!» — и свалилась на землю...

Серафима Иосифовна кивнула:

— Понимаю...

Нина Александровна снова вспомнила о том счастье, которое дает ей работа и умение работать... Говорят, что от счастья не умирают, но совсем недавно в ее жизни выдался такой день, когда Нине Александровне померещилось, что она, как паровой котел без доступа холодной воды, взорвется. День с утра был вот какой. После вчерашних лыж она проснулась с таким ощущением здоровья и радости, что сразу пришла на ум первая фраза из «Зависти» Ю. Олеши: «Он по утрам поет в клозете». Сын Борька прошлым вечером на родную мать посмотрел с большим уважением за то, что она ни о чем не попросила Сергея Вадимовича, уезжавшего через сутки в Ромск. На последнем уроке никто из ребят не получил даже тройку. Один из членов постоянной комиссии по жилищным вопросам — старшина катера Симкин — с Ниной Александровной на улице поздоровался особенно почтительно. Глупый Мышица в первый раз подошел к ней в учительской с таким видом, словно между ними ничего не произошло. Домработница Вероника подавала на стол обеда. Мужу два раза звонил секретарь обкома партии Цукасов и разговаривал с ним о пустяках. С ее любимого клетчатого костюма удалось вывести кофейное пятно. Монтер Вася переменял телефонный аппарат, и теперь силу звонка можно было регулировать. Директриса Белобородова все чаще и чаще обращалась к Нине Александровне на «ты» в присутствии других учителей. От матери пришло письмо, в котором была такая фраза: «...впрочем, я в тебя всегда верила, дочь!» — и прочее и прочее — банальное и небанальное, важное и неважное, но у Нины Александровны с первой минуты пробуждения было такое острое ощущение счастья и благополучности, что она торопливо села на краешек многоспального дивана-кровати и заставила себя дышать редко и глубоко, стараясь найти оправдание неприличной, с ее точки зрения, благополучности. В ход была снова пущена треклятая эрудиция, и быстренько вспомнилась фраза, ставшая эпиграфом к книге «Лыжи по-французски», недавно вышедшей в русском переводе: «Лыжи, может быть, не являются счастьем, но вполне могут заменить его». После этого Нине Александровне стало легче: причина была найдена...

Серафима Иосифовна и Нина Александровна опять дошли до конца переулка, постояв на месте, молча решили вернуться еще раз к противоположному концу, так как снег все гуще падал и падал с чистого неба.

— Я сложности не боюсь, — сказала Серафима Иосифовна. — Простоты у меня — навалом! Корова Люська, чистка хлева, колка дров, расчистка снега...

И Нина Александровна — в который уж раз! — подумала о том, что в Таежном, где, согласно французскому утверждению, мини-юбки короче сантиметра на три, чем в столице, сложность современного бытия среди интеллигенции преувеличена, о чем ей сейчас и дала понять Серафима Иосифовна. Значит, беда была не в окружении, не в сложности космического века, а в самой Нине Александровне — она и только она вызывала на себя сложности.

— Купи корову! — сказала Серафима Иосифовна. — Не запасись на зиму сеном, как я, и будешь такой же озабоченной. Тебе наверняка неизвестно, что сейчас содержание коровы обходится дороже, чем покупка молока?

Конечно, «простое, как коровье мычание», давало старой учительнице свою долю тихого счастья, но было проблематично еще, подойдет ли это Нине Александровне. Как бы не дать маху, вот что! Как бы не разложиться на простые составные части, не стать такой же одноклеточной, как амeba или физкультурник Мышица. Ух!

— Когда вернется Сергей Вадимович,— продолжала Серафима Иосифовна,— буду просить у него трактор для вывозки сена...— Она из-под пухового платка исподлобья посмотрела на Нину Александровну.— Что, красавица, нехороши дела с муженьком? Не надуйте губы: от меня не спрячется.

А снег повалил — нешуточный! Мокрые лепешки уменьшились и затвердели, колючие, начали носиться простынными полосами, а минутой позже закружились, замельтешили, заплавали; дружно лаяли собаки, напоминая старинную шутливую песенку: «Дружно лаяли собаки в затихающую даль, вы пришли в нарядном фраке, эlegantный как рояль...»

— Я и не собираюсь от вас ничего скрывать,— поднимая воротник, сказала Нина Александровна.— Заявить, что с муженьком дела у меня нехороши, я не могу: клевета! Живем дружно и, простите, весело, всегда единодушны в оценке людей и событий.— Она помолчала, подумала.— Чувства до сих пор экстремальны, мы еще чрезвычайно интересны друг другу, но...— Нина Александровна замаялась.— Сергей Вадимович живет и в ус не дуеет, а я — я мучаюсь бог знает чем и почему...— Она запнулась.— Короче, похвастаться нечем...

— Это заметно, Нина Александровна... Мне кажется, что после замужества вы стали еще строже, жестче и настороженней. На конфликт с физкультурником Моргуновым начхать с верхней полки, но я не чувствую в вас покоя. Вы все время начеку, как револьвер со взведенным курком... Вам трудно. Это видно за версту.

Нина Александровна узнала голос одной собаки: ньюфаундленда Игната, принадлежащего деду Митрофану. Игнат лаял солидным, радостно-сдержанным и самовлюбленным голосом, но псом он был хорошим: всегда улыбался и вилял коротким хвостом.

— Белобородова без тени сомнения утверждает,— ироническим тоном произнесла Нина Александровна,— что Сергей Вадимович хватит со мной лиха... Это раз! А во-вторых, Лиля Булгакова назвала меня кошкой, гуляющей сама по себе.— Она иронически улыбнулась.— В-третьих, у Сергея Вадимовича открылась язва двенадцатиперстной кишки, которая сама собой зарубцевалась в конце студенческих годов. Что еще? Да. Мы, кажется, любим друг друга.

После этого Нина Александровна подумала, что у кабины исповедальни надо скорее задернуть штору, так как Серафима Иосифовна глядела почему-то строго, испытующе. Затем лицо старой учительницы помягчело.

— Простите меня, Нина Александровна,— сказала она,— но мне хочется кой о чем спросить вас.

— Спрашивайте, Серафима Иосифовна.

— Анализируете каждый шаг и каждое слово мужа?

— Да.

— Свое поведение по отношению к мужу контролируете?

— Да.

Ах, как он разгулялся, этот предновогодний холодный ветрище! И как быстро, как неожиданно, точно по модной песенке «Вьюга смешала землю с небом», и вот уже оренбургский головной платок старой учительницы от снега походил на чалму, и вообще Серафима Иосифовна напоминала снежную бабу, в губы которой шутники сунули горящую папиросу.

— А мой Володька не только пьет, но еще и переженивается! — сквозь гудящую метель крикнула Садовская. — Нашел себе эмансипированную москвичку. От этого дела добра не жди... Эмансипе да еще богема... Вместе будут пить — сердцем чувствую... Зовет на свадьбу! — еще громче крикнула Садовская. — Вернемся, Нина Александровна, мать накормит отличными пельменями... Я вам рада!

Они еще только прошли в сени, еще счищали снег с валенок и сапог, как в доме началась суматоха — Елизавета Яковлевна, почувствовав, что и на ее улицу пришел праздник, уже кипятила воду, доставала разные специи для пельменей и была такой проворной и занятой, что, выбежав в сени, чтобы взять мешочек с замороженными пельменями, на Нину Александровну едва обратила внимание: старухе было все равно кого кормить, лишь бы пришел гость. На ней было обыкновенное старушечье платье до пят, но Елизавета Яковлевна — вот какая проворная! — успела надеть неожиданно современный и кокетливый передничек — синтетический! В гостиной старуха опомнилась и радостно крикнула:

— Молодец, Нина! Добрая, славная! Счас тебя пельменями накормлю лучше ресторанного...

Нина Александровна всегда отдыхала душой и телом в доме знаменитой учительницы. И этот стерильно чистый пол без дурацких половичков и ковров, не крашенный, а выскобленный острым ножиком, отчего на дереве выступил древесный кедровый узор, более прекрасный, чем узор на любом ковре; и белые полотняные занавески на окнах, и якобы мещанский фикус в большой кадке; на стене висела в широкой раме, под стеклом репродукция с картины «Дети бегут от грозы», да и стол, за которым работала Серафима Иосифовна, был тоже некрашеным, смастеренным из нескольких сибирских пород дерева, отличный был стол и совсем голый: все тетради еще на первом петушином крике были проверены, письма десяткам бывших учеников написаны, обязанности депутата областного Совета выполнены, свежие педагогические журналы прочитаны, газеты просмотрены и т. д. Так что на письменном столе было пусто, как на стадионе при пятидесятиградусном морозе, да и в доме вообще ничего лишнего, кроме фикуса, не держали.

— Холодно, — привычно пожаловалась Нина Александровна. — Выше шестнадцати градусов не греем, — тоже привычно ответила Серафима Иосифовна, считающая, что более высокая температура в доме располагает к изнеженности и лени. — Садитесь на свое любимое место, Нина Александровна.

— А ты сумасшедшая! — донесся из кухни голос Елизаветы Яковлевны. — Видишь ли, Володька переженивается!.. Да он умнее нас всех, вместе взятых. Если мой внук переженивается, значит, надо пережениваться, значит — любит... Попомните, мой внук будет человеком, холера бы меня подрала с такой дочерью! Психичка ненормальная!.. Счас пельмени поспеют, Нина, голубушка ты наша! И чего ты к этой холере ходишь? Сидела бы дома да миловалась с муженьком.

— Мама, замолчи!

— Я тебе замолчу, я тебе замолчу... Вот и вода закипела, Нинуля, счас пельмени брошу...

И от ругани тоже веяло спокойствием, умиротворенностью, улаженностью быта и человеческих отношений. Права, права Садовская, когда говорила о том, что в современном мире человек ищет простоту. Ах, как элементарно, амебно, одноклеточно было вокруг Нины Александровны: фикус с прямыми, строго геометрическими листьями, Володькино переженивание, деревянная лопата для снега, ругань с любимой матерью, мороженые пельмени, непорочное дерево...

— Готовы пельмени! — восторженно завопила за стенкой Елизавета Яковлевна и через несколько секунд появилась с дымящимися пельменями. — Вот я вас сейчас так накормлю, что вы у меня от радости языки проглотите... Нинуля, давай свою тарелку! А ты тоже, холера-язва, пошевеливайся: укус принеси!

Знаменитые пельмени Елизаветы Яковлевны благоухали на всю комнату тремя сортами мяса, луком и чесноком, лавровым листом и укропом, а для заправки к пельменям подавался домашний капустный сок такой крепости и ароматности, что от него кружилась голова. Пельмени в доме Садовой ели, как ни странно, с хлебом — черным черствым хлебом.

— Ты знаешь, Нинуля, что еще задумала эта сумасшедшая баба? — спросила Елизавета Яковлевна. — Она хочет бросать курить! Ну не психичка ли?

— Мама, дай спокойно поесть!

— А тебе спокойствие — тьфу, если ты ведешь гостью гулять в такой ветродуй. Ты от спокойствия лопнешь!.. Она, Нинуля, из Лермонтова, дай бог памяти... ищет бурю, холера!

Нина Александровна ела пельмени, запивала их капустным соком, заедала черным хлебом и безмятежно думала о том, что она — правда и еще раз правда! — пришла к Серафиме Иосифовне так, как раньше ходили к духовникам на исповедь. Опять, оказывается, все было просто, элементарно, понятно, как дважды два — четыре... От капустного сока у Нины Александровны на самом деле кружилась голова, мысли были легкими, скользящими и прозрачными, как декоративные рыбы в аквариуме, и хотелось есть, есть, есть...

— Володька раньше пельмени без водки не жрал, — сказала Елизавета Яковлевна. — А вот теперь жрет... Они там, в Ромске-то, коньяком пробавляются... Все не водка, черт ее побери! — Она подумала и добавила уверенно: — Володька пить бросит с новой-то женой... Не сразу, а перестанет бражничать — у него характер сильный, как вот у этой оглашенной бабы, которая задумала бросать курево... — Она постучала сухоньким кулаком по столу. — Да пойми ты, дурища, что нельзя бросать курить, если ты начала смолить махорку еще с гражданской! Ты от этого заболеешь. Организм-то у тебя уж привык к «Беломору», черт его дери! Так что кури как курила, сумасшедшая учителька!

— Я брошу курить в ту же минуту, как Володька перестанет пить, — сказала Серафима Иосифовна и закурила. — Это вы так и знайте!

— Ну и бросай, если ты сама себе не дорога. Мне жить недолго, я скоро преставлюсь, дура ты этакая! А Володьке ты нужна: он тебя любит сильнее ста жен, идолица.

После того как были съедены все пельмени — чертова уйма! — Елизавета Яковлевна ушла на кухню мыть посуду, Серафима Иосифовна закурила очередную папиросу, а Нина Александровна откинулась на спинку стула и закрыла глаза — так хотелось спать, что сладко ныла поясница.

— А вы закурите, Нина Александровна, — посоветовала Садовая, вынимая из нагрудного кармана полувоенной рубахи, заправленной под ремень, свежую пачку «Беломорканала». — Вы же иногда допускаете этукую расхлябанность... Папиросу, а?

— Спасибо.

От крепкой папиросы закружилось в голове и вещи в комнате показались сдвоенными, но сонливость действительно быстро прошла, и Нина Александровна села прямо — свободная, легкая, умиротворенная и спокойная, как после лыжной прогулки. Объяснялось это

все тем же: простой, как мычание, жизнью Серафимы Иосифовны... Спокойно, мирно, улаженно, не так, как Вероника, погромыхивала на кухне посудой Елизавета Яковлевна (в ее-то возрасте), довольная тем, что до отвала накормила гостью и любимую дочь, а в центре комнаты лежал сонный огромный пес — овчарка по кличке Джек, известная каждому человеку в Таежном странностями и не собачьими повадками... Никто из поселковых жителей, включая самых ближайших соседей Серафимы Иосифовны, никогда не слышал, как Джек лает, не видел его бегущим, спешащим или возбужденным; в самые жаркие дни пес никогда не вываливал язык, чтобы облегчить жизнь под плотной блестящей шерстью, — такой был мирный, выдержанный, интеллигентный. Однако все таежнинские собаки молча шмыгали в подворотни, когда Джек вразвалочку проходил по улице. Его до судорог в позвоночнике боялся ньюфаундленд ростом с трехмесячного теленка, от Джека стремглав убежали, поджав пышные хвосты, три громадные ездовые лайки охотника и рыбака Иннокентия Сопрыкина — злые, кровожадные и совершенно дикие собаки, сделавшие только крохотный шаг к одомашниванию. Вот какой это был пес! Таежное много лет уже ломало голову над проблемой Джека, который за всю жизнь не подрался ни с одной собакой, ни на кого не нападал, а все-таки сеял вокруг себя страх и ужас...

— Эй вы, оглашенные бабы! — прокричала из кухни Елизавета Яковлевна. — Чувствую, что вам надо пошутукаяться, — так я ухожу к себе. Болтайте на здоровье! Только ты, Нинуля, не шибко слушай эту дурицу. Она тебе наговорит три бочки арестантов. Ты ее с умом, мою шальную доченьку-то, слушай. И не поддавайся, не поддавайся, а я пошла к себе...

Действительно шаркающие шаги старухи быстро смолкли, затем раздался бухающий дверной удар, и в доме Серафимы Иосифовны Садовской наступила тишина. Несмотря на простоту обстановки, дом был велик: кабинет-гостиная, три спальни — Серафимы Иосифовны, Елизаветы Яковлевны, Володьки, — кабинет Володьки и спальная комната для приезжих гостей. Во всех этих помещениях было чисто, пусто и холодно (шестнадцать градусов), кроме комнаты для гостей, которую жарко натапливали (если кто-нибудь жил в ней).

— Мать права, Нина Александровна, — сказала Серафима Иосифовна, стряхивая пепел в гильзу от небольшого снаряда. — У вас на лице написано желание задавать вопросы и получать ответы... Конечно, мой юмор близок к юмору Моргунова, которого вы прозвали Мышицей и которого...

— Я вас перебую, Серафима Иосифовна, — решительно сказала Нина Александровна. — Я раскаиваюсь за гнусную сцену в учительской. Простите меня.

Окутанная папиросным дымом, прямая, как солдат у знамени полка, Серафима Иосифовна искоса посмотрела на Нину Александровну, едва приметно покачав головой — не понять, одобрительно или осуждающе, — сделала еще три глубоких затяжки, затем с тонкой улыбкой сказала:

— Климат повсеместно меняется в сторону потепления. — И вдруг сделалась такой незамысловатой, какой бывала всегда и везде. — Я еще раз говорю, что рада вам, Нина Александровна, и если по-прежнему ноет сердечко, если не помогли даже пельмени, выложите как перед духовником...

Нина Александровна сдержанно засмеялась.

— Удивительное совпадение, — сказала она, — весь этот вечер я мысленно называла вас своим духовником... Вы угадали, Серафима

Иосифовна: на сердце не только скребут кошки, но так муторно, что даже не хочется проверять тетради Марка Семенова.

Они помолчали с загадочным видом сообщников.

— Я догадываюсь, что с вами происходит, Нина,— сказала знаменитая учительница, впервые в жизни назвав Нину Александровну по имени.— Простите за наукообразность, но вы жертва всемирного процесса феминизации мужчин и маскулинизации женщин... Во! Во какие термины употребляет окоровленная и огимнастеренная училка Сима Садовская! Мой муж Володька от этих слов схватился бы за маузер. Впрочем...— Она вынула из пачки еще одну папиросу и прикурила от догорающей.— Впрочем, мне не кажется, что Сергей Ларин испытал на себе хоть унцию феминизации. Он такой же настоящий мужчина, как мой бывший ученик Олежка Прончатов... Нет, нет, Ларина в грехе феминизации не обвинишь — он не плановик Зимин, а его антипод... Во! Опять попалося ученое словечко... Это у меня такое пельменное настроение... Вы почему-то молчите?

— Я думаю...— замедленно ответила Нина Александровна.— Сергей Вадимович действительно не подвержен феминизации. Он мужик что надо!

Профиль у Серафимы Иосифовны был энергичный, резко очерченный, полумужской; она носила, кроме всего прочего, выдающиеся острые скулы, обязанная этим монгольской крови бабушки Батьмы Балданжабон.

— Вы правы, вы правы...— несколько раз повторила Серафима Иосифовна и положила подбородок на ладонь согнутой руки.— А каким мужиком был мой Володька! Ростом он, правда, не вышел: был на полголовы ниже меня, а я далеко не Голиаф. Храбр, осторожен и хитер был, как соболю...— Она подложила под подбородок и другую руку, перекатив папиросу в левый край губ.— О моем Володьке хорошо сказано у Ярослава Смелякова: «В отрешенных его глазах, не сулящих врагу пощады, вьется крошечный красный флаг, рвутся маленькие снаряды!»... Хорошо и точно! Я до сих пор люблю Володьку и умру с этим, — вдруг просто добавила она.

До отказа напичканные звуками, чакали обыкновенные часы-ходики, на маятнике которых было изображено солнце, а гири походили на еловые шишки; какие-то звуки — вздохи или медленный раздельный хохот — доносились из комнаты Елизаветы Яковлевны; ныли за окном телефонные и электрические провода да повсистывало в печной трубе.

— После Володьки я выходила замуж,— сказала Серафима Иосифовна.— Был такой грех — выходила... День и ночь — вот как отличались мои мужья, хотя второй был чекистом из окружения Феликса Эдмундовича. От него я и родила Володьку. Кузьма был не просто храбр, как Володька, а совсем не знал, что такое чувство страха. Не из подражания Дзержинскому, а естественно, как растет дерево. Он пошел в вооруженный до зубов отряд бандитов-налетчиков и вернулся с телегой оружия и с бандитами за телегой. Из маузера стрелял прекрасно: обернется, вскинет ствол — и амба! Слушайте, Нина, я, кажется, произношу монолог. Не осточертело?

Нина Александровна просительно заглянула в узкие глаза знаменитой учительницы:

— Продолжайте, ради бога, Серафима Иосифовна! Вы остановились на самом главном. Почему «день и ночь»?

— По одной-единственной причине,— вздохнула Серафима Иосифовна.— Кузьма мог пойти с голыми руками на бандитов, но боялся меня... Вот такая история, подруг-сердечен, как говорит мне через каждые две фразы Иннокентий Сопрыкин. Это его три одичавшие

лэйки боятся самого доброго и послушного пса на белом свете — Джека... О, услышал свое имя! Ну поди сюда, чудовище.

Неторопливо поднявшись с некрашеного пола, Джек сонной раскачечкой подошел к хозяйке, тычком нрса заставил ее повернуться к себе вместе со стулом и положил длинную морду на полувоенную юбку из так называемой диагонали. С места Нины Александровны глаза пса, отражая электрический свет, сверкали зловеще, по-волчьи, но зато весь он — от кончика нежно вздрагивающего носа до судорожно виляющего хвоста — источал добро, как голландская печка в доме Садовской, сложенная легендарным Мистером-Твистером.

— Любишь ласку, зверина, — изменившимся голосом произнесла Серафима Иосифовна и подняла голову. Теперь она сидела лицом к Нине Александровне, и, наверное, поэтому ее голос снова переменялся: покрепчал и стал басовитее. — Как вы относитесь к поэзии Марины Цветаевой? — спросила она довольно резко. — Это важно.

— Момент! Я подумую...

Нет, в комнате Елизаветы Яковлевны определенно что-то происходило: может быть, старуха слушала по радио спортивную передачу — она, на удивление и потеху всего Таежного, увлекалась хоккеем, знала фамилии всех игроков знаменитых команд и в магазинных очередях признавалась оторопевшим домохозяйкам, что любит динамовца Мальцева. А может быть, Елизавета Яковлевна читала смешную книжку и хохотала во все горло, так как до сих пор не утратила эту молодую завидную способность.

— Я равнодушна к Цветаевой, — наконец заявила Нина Александровна, вспомнив все, что знала наизусть или помнила приблизительно. — Правда, мне близко все, что касается ее письменного стола...

— Я так и думала, — отозвалась Садовская. — Я так же отношусь к Цветаевой, люблю все о столе, но я... — она на секунду замялась, словно подыскивая слова, — но я часто завидую поэтессе...

— Почему?

— Ну как это почему? Я завидую ее женственности... На портретах Цветаева мужеподобна, а в стихах она прекрасно, по-бабьи завидно слаба... Вот строки: «Само, что дерево трясти! — В срок яблоко спадает спелое... За все, за все меня прости, мой милый, что тебе я сделала...» — Она ухмыльнулась. — У нас не беседа, а поэтическое чтение... — Садовская, опустив голову, почесала за ухом Джека. — Я такого, наверное, не почувствовала бы даже тогда, когда меня бросил Володька-старший, — сказала она печально. — Мы в то время на любовь смотрели как на пережиток, и прощать... Ого-го! Я бы скорее пустила Володьке пулю в лоб, чем молила бы: «За все, за все меня прости...»... Что это там происходит в комнате у мамы?

— А вот что происходит! — закричала, появляясь в дверях, Елизавета Яковлевна. — Где вы встречали бабу, которая не стала бы подслушивать, о чем говорят две другие бабы, особенно если одна из них моя оглашенная доченька? Так вот и заявляю: я ваш разговор от первого слова до последнего слышала. Ну что у меня дочь дурица — это я полсотни лет знаю, а вот что ты, Ниноля, с жиру бесишься — это для меня новость! Так что сейчас я за вас обеих примусь, язва вас побери, дурехи стоеросовые!

И мать знатной учительницы павой вплыла в комнату, заблистав и заискрившись, так как на ней было надето шелково-салопное платье, голову, можете себе представить, охватывал черный кружевной шарф, точно такой, какой можно видеть на пожелтевших фотографиях купчих или богатых мещанок, а в руках она держала фотографию в рамке черного дерева.

— Вы не бабы, а солдаты в смазных сапогах! — прежним могучим голосом продолжала Елизавета Яковлевна. — Вам не с мужьями спать, а со станковыми пулеметами, леший вас подери! — Она, как икону, вздела над головой портрет в черной рамке. — Вот этому мужику, твоему отцу, Симка, я пятьдесят два года половиком для ног служила и жалею только о том, что под него половиком в гроб не легла. У меня — я во всех анкетах это пишу — кучер, кухарка и горничная были, но я Марфушке-горничной к Иосифу Рафаиловичу пальцем прикоснуться не давала, да не из-за ревности, дурищи вы этикие, а оттого, что он — мой, мой был! Приедет, бывало, верхом на вороном Крестоносце из даурских степей, я перед ним бух на колени и ну сапоги снимать. «Ой отец ты наш родной, ох муженек мой милый, да ты от пыли черен, как эфиоп!» Еврейского языка у нас в доме сто лет не водилось — мы на русском и бурятском разговаривали, так вот я на бурятском и приговариваю: «Любимый ты мой, птичка ты моя!» Твоего отца, баба ты оглашенная, доченька ты моя непутевая, бурятско-скотоводы звали Мунгухойлой, что значит Серебряное Горло. — Она волчком повернулась к Нине Александровне. — Мой благоверный простудился, когда собственноручно сплавлял плоты по Шилке. Для этого, бабы вы непутевые, характер надо было иметь... Ты чего глазами лупаешь, но молчишь, холерная баба?

— Маскарадом люблюсь! — хохоча во все горло, ответила Серафима Иосифовна, а Нине Александровне объяснила: — Отцу в результате послепростудного отека гортани была сделана операция и в трахею вставлена серебряная трубка. Он и умер с ней, а когда говорил или кашлял, то прикрывал пальцем трубку...

— ...пользуясь косынкой из лучшего лионского материала! — перебила ее мать и медленно-медленно опустилась на грубую сосновую табуретку. — Вы думаете, что я выжила из ума, так вот вам — выкусите! Фигу вам под нос, бараньи головы! Да я вас обеих в тысячу раз умнее!.. Я в Нерчинске родилась и выросла, в Нерчинске первая на Руси женская гимназия открылась, а я прадеда помню, который с декабристами дружил... Да я вас, выражаясь по-Володькиному, в упор не вижу!

Казалось, само Величие сидело на грубой табуретке, и только в глазах — молодых, блестящих, по-модному узких — сверкала жизнь. А какие каменные складки лежали на ее лице, а как могуче были сложены на груди сильные высохшие руки, а как был надменен выпяченный раздвоенный подбородок, как мудры покатые линии высокого лба, специально не прикрытого кружевной шалью!

— У меня характера побольше вашего, — ровным механическим голосом произнесла Елизавета Яковлевна. — Мой муженек на революцию деньги давал, но ни сном ни чохом не ведал, что в нашем флигеле работала большевистская типография... Я его волновать не хотела — вот какой у меня характер. Меня нерчинские жандармы боялись... Ха-ха-ха! Посмотрите на мою доченьку! Как она тарашит глазенки-щелочки!.. Не знала о типографии? А зачем тебе знать, коли ты Симка с наганом! У тебя и без типографии было хлопот целый рот... — Она вдруг наострила уши, склонив голову, прислушалась. — Ну и ветрище, ну и ветродуй на улице-то! Вот еще напасть!

Ветер за стенами на самом деле разгуливался, в печной трубе уже не выло, а рычало по-медвежьи, и было слышно, как на крыше дома сиверко раскачивает шесты трех скворечников, установленных Володькой еще в школьные годы. Шесты скрипели, ветер в них посвистывал, как в корабельных снастях.

— Я о декабристах потому вспомнила, что мне на вас глядеть тошно, — слегка помягчевшим голосом сказала Елизавета Яковлев-

на.— Что уж там говорить о княгине Волконской, большинство жен сосланных перед мужьями в три погибели гнулись, а не подсчитывали, кто сильнее да умнее — муж или жена. Ты меня, Нина, за вопли прости, это я для самой себя кричу, но ты с Серафимы пример не бери. Она мне дочь родная, я ее, единственную, люблю чуть меньше Володьки, но ей уже поздно мужика из себя выгонять. Замуж ей выходить теперь так же опасно, как бросать курево, а вот ты, Нинуля... Тебе, Нинуля, надо встать с ног на голову, чтобы сделаться счастливой...— Она расцепила руки, сложенные на груди, потеряв величественность скульптуры, прикоснулась костистыми пальцами к открытому колену Нины Александровны.— В семейной жизни, Нинуля, мясорубку вертеть — это самое простое. На это тебя хватит без всяких Вероник и Дашек-Машек. А вот мужчину мужчиной делать, а не давить его, не превращать в бабу — это трудно, Нинуля! Но ты хоть попробуй, голубушка моя, хоть попробуй! — повторила Елизавета Яковлевна с такой страстью и желанием помочь, что Нина Александровна нечаянно пробормотала:

— Да пробовала я, пробовала. Даже носки в кухне стирала, а толку... О господи, да не умею я делать это!

И в гостиной-столовой наступило длинное молчание: сидела, положив подбородок на руки, Серафима Иосифовна и раскуривала шестую после пельменей папиросу, сутулилась на своем любимом месте Нина Александровна Савицкая — жена главного механика сплавной конторы, печально качала головой бывшая купчиха Елизавета Яковлевна Садовская, сидел возле ее бедра с преданной лаской на морде Джек, немедленно перешедший от дочери к матери, как только Елизавета Яковлевна появилась в гостиной. В напряженной тишине раздался веселый и разбитной голос старухи Садовской:

— А насчет облабления мужиков ты, Симка, права! Для меня хоккей — от всех бед спасение, но как начнут мои любимцы целоваться, я бы их — из пулемета! А все кто? Неженки европейцы да бразильцы, язвы их, сопляков!

2

Муж прилетел из Ромска во второй половине дня, от районного аэродрома до Таежного ехал на час больше, чем летел от областного центра, а от здания сплавконторы до собственного дома пешком шел по времени десятую часть авиационного пути от Таежного до Ромска. Соскучившийся по пешим прогулкам и морозу, Сергей Вадимович нес здоровенный чемодан, хотя уехал в Ромск с пустыми руками. О приезде мужа Нину Александровну предупредил Борька, сидящий на крыльце в ожидании приятелей.

— Сергей приехал! — сказал Борька, возникнув на пороге.— Чего же он телеграмму-то не дал?

— Опомнись, Борька! Телеграмма идет медленнее, чем летит самолет...

— Тогда я ушел! — объявил сын и скрылся прежде, чем Нина Александровна успела объяснить, что говорить «я ушел» нельзя — неграмотно. Однако почему Борька умчался вихрем, было понятно: не хотел мешать встрече, это раз; во-вторых, был болезненно самолюбив — вдруг Сергей Вадимович забыл привезти Борьке подарок!

— Ну и ну! — поразилась Нина Александровна.

Войдя в дом, Сергей Вадимович поставил чемодан у порога, подмигнув жене, вернулся в коридор, чтобы раздеться, и хотя в комнате остался запах таежнинского снега и мороза, но уже преобладали ароматы самолета, аэродромов, автомобилей и прочей цивилизации. Кро-

ме того, пахло швейной фабрикой, должно быть от чемодана, но тут же выяснилось, что швейной фабрикой пахло от самого Сергея Вадимовича; раздевшись, он вернулся в комнату, представ перед женой, повернулся несколько раз вокруг правого каблука, прогулялся по полу, как по высокому эстраднему помосту, и наконец раздумчиво прислонился к дверному косяку.

— Не убил? — спросил Сергей Вадимович, издеваясь над самим собой. — Переживешь?

На муже был черный английский костюм (показал лондонскую марку), под пиджаком сияла полотняная рубашка, на рукавах запонки из янтаря, ботинки теплые, французские, и сам он на вид был иностранистый. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, Сергей Вадимович делал вид, что сосредоточенно чистит ногти и одновременно кому-то призывно подмигивает: «А ты недурна, канашка!» Так продолжалось с полминуты, потом Сергей Вадимович тихо сказал:

— Здорово, Нинка!

— Здравствуй, Сергей!

Она была рада приезду мужа: в груди плясали веселые человечки, губы сами раздвигались в улыбку, по спине катились мурашки, так как у дверной притолоки стоял родной, понятный, наверняка очень серьезный и сильный человек, старающийся казаться легкомысленным и фатоватым.

— Здорово, здорово, Нинка!

Они бесшумно сошлись на середине комнаты, обнялись крепко-крепко, счастливые, поцеловались сдержанно, целомудренно, как полагается зрелым, дующим на воду людям, которые когда-то обожглись на молоке. Запах коньяка и аэрофлота был приятен, все вообще было отлично, кроме запаха швейной фабрики и помолодевших волос Сергея Вадимовича — они у него сделались мягкими, слегка потемнели и даже начали блестеть, словно смазывал бриолином.

— Соскучился я по тебе, Нинка! — сказал Сергей Вадимович, проводя теплыми пальцами по ее шее и подбородку. — Ты моя длиненькая... Ты моя ста-а-а-арушка... Ты моя... — Он вовремя понял, что нельзя идти дальше, и добавил с украинским акцентом: — Ты моя хорлынка, то есть пытичка...

Нина Александровна, само собой, думала о помолодевших волосах мужа. Как это могло сочетаться — открывшаяся язва и блестящие волосы? Нина Александровна совсем недавно прочла в одном из популярных журналов о том, что состояние человеческих волос точно отражает его душевное и физическое состояние, да и по себе знала, что стоит какому-нибудь классу сбиться с панталыку или самой заболеть гриппом, как волосы становились сухими, ломкими и тусклыми.

— Ты стал красивым мужчиной! — сказала Нина Александровна и слегка отодвинулась от мужа. — Вам об этом известно, милостивый государь?

Он сделал рот ижицей, комически сведя глаза к переносице, пошел медленно к зеркалу, вделанному в шкаф. Возле чисто протертого стекла Сергей Вадимович остановился, начал разглядывать себя все-сторонне и добросовестно.

— Элемент покрасивения есть, — наконец сказал он. — Думаю, все дело в черном костюме...

— Ты и до костюма был красавцем... Девочки возле кинотеатра «Октябрь», наверное, проводили манифестации...

Засмеявшись, Нина Александровна подошла к мужу со спины, положила подбородок ему на плечо, заглядывая в зеркало на свое и мужнино лицо, произвела сравнение — они были, можете себе пред-

ставить, красивыми, похожими на мужчину и женщину из модного журнала; поэтому Нина Александровна опять засмеялась, вдохнув запах коньяка и аэрофлота, подула мужу в шею, отчего он съежился — боялся щекотки.

— Этого еще не хватало! — шутливо сказала она. — Образовался муж-красавец... Чего же ты об этом раньше-то не сигнализировал?

— Прости, больше этого не повторится...

Она поцеловала Сергея Вадимовича в шею.

— Несколько дней назад я была у Серафимы Иосифовны Садовской. Мы с ней долго гуляли и разговаривали... Как твоя язва? Ты показывал ее в столице нашей области?

— Показывал, — ответил он и поджал губы. — Можешь себе представить, не рубцуется язвочка-то, не рубцуется!.. Вон в том чемодане лежит еще одна книжечка о кормежке язвенных больных... — Он вдруг рассердился: — Да пойми ты, идолице, не могу я сейчас ложиться в больницу! Не могу! Почему? Ну, знаешь ли... Начало года, ремонт техники, жалобы Булгакова, дружеские звонки Цукасова — это тебе не баран начихал... А новый дом?

Обнявшись, они медленно раскачивались, словно танцевали старинное танго на одном месте, в зеркале скользили их строгие красивые отражения, и было такое ощущение, точно Сергей Вадимович вовсе и не уезжал в Ромск, и это, наверное, возникло оттого, что речь зашла о новой трехкомнатной квартире.

— Я люблю тебя, Нинка. Чес-слово, люблю!

— Ты мой красивенький, — прошептала она и провела пальцем по шее мужа, еще тише прошептав: — Ше-я...

Несколько секунд они раскачивались в полной тишине, потом Нина Александровна сняла подбородок с плеча мужа, попятившись, села в кресло при журнальном столике, чтобы немножко передохнуть — было тяжело от любви к Сергею Вадимовичу.

— Раздаются подарки! — торжественно произнес он, потроша чемодан. — Производится также материализация духов!

Это он цитировал из Ильфа и Петрова, и это теперь уже казалось таким же остальным, как самолет «ПО-2» по сравнению с «ТУ-104». О «Двенадцати стульях» и «Золотом тельенке» теперь говорили как о далеком прошлом, почти все преподаватели в учительской хором утверждали, что московский быт ильфовско-петровских времен острее и лучше написан в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, и даже Мышица перестал цитировать Ильфа и Петрова, а уж об англичанке Зиминой и говорить не приходилось: она самоотверженно работала на романе «Сто лет одиночества» Маркеса, причем врала, что читала роман в подлиннике.

— Хох-моден! — еще торжественнее прежнего произнес Сергей Вадимович, вынимая из чемодана яркий брючный костюм для Нины Александровны, мохеровую кофточку, что-то из белья и почти настоящий автомат для Борьки. Все это он небрежно бросил на стол и спросил:

— Где отрок?

— Шляется, — ответила Нина Александровна, рассматривая автомат. — Спасибо, Сергей.

Она аккуратно свернула подарки, положила их на стул и поглядела на мужа так, словно хотела сказать: «Ты же понимаешь, что я не буду сейчас мерить тряпье». И он понял ее...

— Носи на здоровье, Нинка-корзинка.

Значит, у сына Борьки образовался оружейный склад, походило на то, что он превращался в самого боееспособного мальчишку в Таеж-

ном, и, значит, не зря сейчас гордо разгуливал по улице, стараясь не проявлять суетности...

— Я стра-а-ашный провинциал! — вспоминающе хлопнув ладонью себя по лбу, сказал Сергей Вадимович и почесал кончик носа. — Твой Володька Садовский — тоже деревня, и притом порядочная... Не гляди на меня, как баран на новые ворота! Володька Садовский первым позвонил мне в гостиницу: «Не хотите ли пойти, Сергей Вадимович, в кафе «Космос»? Там бывает весь Ромск». И вот куплен английский черный костюмчик... Оторвал, как говорится. Сила! В моей разлюбимой гостинице швейцар Дима перестал меня уважать... Он из-за плохой одежды раньше думал, что я из... писателей или артистов...

Ей было легко, весело, просторно в небольшой комнате, хотя... Нет, честное слово, Нина Александровна просто не знала, что делать с катастрофически покрасивевшим мужем! Не разлюбить же его за то, что за какой-то месяц с небольшим Сергей Вадимович превратился в хрестоматийного красавца? «Дура я, дура», — подумала она, но не сразу поняла, почему сурова к себе. Может быть, просто так, на всякий случай, а возможно, потому, что глядела на сверхмодный, купленный непременно с рук и дорого брючный костюм из тонкой шерсти, и бордовый — любимый цвет! Почему она его не примеряла? Почему? Подарку рада, от цвета в восторге, вообще нуждается именно в таком костюме — почему не примеряет? Не похожа ли она на сына Борьку, который сейчас с фанаберией разгуливает в одиночестве по улицам, так и не дождавшись, естественно, придуманных приятелей? Отчего не примеряла? Перестала быть женщиной? И почему, спрашивается, она занимается, точно кроссвордом, покрасивением законного мужа, вместо того чтобы его просто любить?

— Нина, а Нина, к тебе можно? — раздался сбоку насмешливый голос. — Неплохо, понимаешь ли, пристроить к тебе белую пупочку звонка: «Разрешите?» «Ах, входите!..» Крик моды: электрифицированная женщина!

Длинно поглядев на мужа, Нина Александровна шуточно сказала:

— Я вошла в соприкосновение с членами комиссии по жилищным делам. Провожу социологическое исследование...

— Молодец, Нинка!

Нина Александровна не напонила Сергею Вадимовичу о том, что, прежде чем войти «в соприкосновение с членами комиссии по жилищным делам», она еще до его отъезда в Ромск провела очередной эксперимент. В один из дней, когда на дворе было ни солнечно и ни пасмурно, а так себе, средненько, она решилась пройтись по «хозяйству мужа», как называла про себя Таежнинскую сплавную контору. Заделем для похода в дирекцию и другие службы сплавконторы Нина Александровна выбрала — явно не случайно — письмо старшины катера Симкина, члена жилищной комиссии, жалующегося депутату райсовета Савицкой на то, что дважды за квартал была задержана заработная плата. Одним словом, она решила наконец-то пройтись по «хозяйству» Сергея Вадимовича, так как после замужества еще ни разу не была в дирекции сплавной конторы.

В четвертом часу дня трудно было понять, пойдет снег или не пойдет; серенькое небо висело над землей ни высоко и ни низко, три старых осокоря на берегу понемножку роняли на землю позавчерашний снег, хотя ветра не было — видимо, снег, устав висеть на ветвях, падал сам; по главной улице Таежного один за другим шли большие и горячие автомобили, моторы урчали тяжело, шоферы на Нину Алек-

сандровну поглядывали игриво, и, наверное, поэтому было весело. Она шла по левой стороне улицы, под мышкой у нее была зажата папка с бумагами, на голове пестрел незатейливый платок с розовыми блеклыми цветочками.

Дирекция сплавной конторы находилась в одноэтажном доме, имеющем форму буквы «п», обе ножки буквы были обнесены палисадниками, а в провале, то есть в перекладине, виделось резное крыльцо с шестью ступеньками; коридор в конторе, как ему и полагалось, был гулкий, пыльный, пропахший сухой бумагой и бензином — приходили механизаторы. Пробравшись сюда, Нина Александровна вспомнила, что муж, как он выразился, «окончательно и на все времена» покончил с методами давления и принуждения, заведенными стараниями Булгакова. В первый же день прихода в контору, с первого же слова нового главного механика в подчиненной ему службе поняли, что все изменится, хотя Сергей Вадимович в «тронной речи» говорил так: «Новой метлы не будет, товарищи! Принцип таков: каждый работает как хочет и как умеет, но результаты оцениваются кубометрами. Есть положенный кубометр — прекрасно, нет — привет с кисточкой. Так что на работе можно и не появляться... Прошу задавать вопросы... Понятно?.. Спасибо за внимание!»

Через два-три месяца после «тронной речи» в службе главного механика на треть снизилось количество бюллетенящих, конторские женщины перестали в рабочее время бегать по магазинам, пожилые конторщики бросали курить, чтобы постоянно находиться в рабочей форме, а секретаршей начальника производственного отдела и главного механика сделалась — одна на двоих — красивая девушка, хотя по стране катилась повальная мода на пожилых безопасных секретарш. Звали секретаршу Ириной, имела она среднее образование, училась заочно в лесотехническом институте и одевалась модно на деньги отца — мастера сплавного участка.

В длинном коридоре дирекции сплавной конторы стояла деловитая тишина: не распахивались то и дело двери, не пробежали по коридору с озабоченными лицами служащие, никто никого не держал в коридоре за пуговицу и никто не ловил нужного человека; все работающие сидели на своих местах, делали тихонечко свое дело. Нина Александровна несколько мгновений постояла возле серой от времени стены; потом она неторопливо пошла в сторону приемной Сергея Вадимовича, из-за дверей которой тоже никаких звуков не доносилось.

Красота секретарши Ирины была такого свойства, которое для Нины Александровны не только не было опасным, но и надежно защищало, — девушка была скопирована с первой страницы журнала «Моды» прибалтийского издания. Блондинка, нормандский разрез глаз, длиннющие ноги и прочее...

— Добрый день. Начальство дома?

— Сергей Вадимович говорит с областью, подождите минуточку. Ой, простите, Нина Александровна, не узнала... Сразу не узнала.

Колыхаясь и покачивая бедрами, Ирина исчезла в кабинете, оставив Нину Александровну все-таки подумать: «Совершенно безопасна» — и через мгновение появилась снова с театрально-деловитым лицом:

— Пожалуйста, Нина Александровна.

Сергей Вадимович сидел за громадным столом — «империей», как говорил он часто, — слева от него стояло несколько телефонов старинной и современной вперемежку конструкции, лежал на стекле простенький бювар, и можно было заметить дань тщеславию — один из телефонов был такой, какие когда-то стояли на столах наркомов: высокий, облезлый, дребезжащий. При механике Булгакове все телефоны были немецкой марки, разноцветные, кроме того телефона, по которому

можно было разговаривать с областью,— этот, конечно, при Булгакове был белым.

— Я не могу, гражданин хороший, сделать этого,— звучно говорил Сергей Вадимович в телефон своим обычным голосом и был привычно несерьезен.— Ей-богу, я не могу, хотя очень бы хотел... О-о-очень! Ну конечно, конечно... Я отдаю себе отчет в грозных последствиях. Не могу, не могу! Пы-ры-вет!

Стараясь не слушать ерничаение мужа, Нина Александровна приватно устроилась в низком кресле, а пока Сергей Вадимович укладывал на рычаг трубку, успела развернуть папку, вынуть из нее жалобу старшины катера Симкина и даже повернуть бумагу в сторону Сергея Вадимовича так, чтобы он мог прочесть первые строки.

— А, знаю,— пренебрежительно сказал он и энергично вышел из-за стола.— Симкин не только прав, но и долго тянул с жалобой... Изволь поглядеть вот эту пергаментину, товарищ депутат Нина Александровна.

На хорошей бумаге было написано, что служба главного механика извиняется за допущенные задержки в выдаче зарплаты и что бухгалтер мехмастерских Григорьев предупрежден; в каждой букве ответа на жалобу чувствовалось пижонство и зазнайство, но это тоже было данью моде — за последние годы на жалобы трудящихся старались отвечать не только молниеносно и правдиво, но и подчеркнуто высокопарно, а вот при механике Булгакове обязательно выдерживался двухнедельный срок, отведенный законодательством на прохождения жалобы.

— Симкин уже наверняка получил ответ. Можешь снять копию,— сказал Сергей Вадимович, одновременно с этим незаметно нажимая кнопку.— Прошу вас, Ирина, немедленно снять копию.

— Сию минуту, Сергей Вадимович, но...

— На любой бумаге!

В просторном кабинете от деревьев в палисаднике, заснеженных и тесно растущих, было сравнительно темно, и это мешало бы, но настольное стекло блестело, да и белые стены кабинета, покрашенные так по желанию Сергея Вадимовича, отражали мягкий свет. За несколько минут, напряженно наблюдая за мужем, Нина Александровна поняла, что Сергей Вадимович несколько не менялся в служебном кабинете по сравнению с родным домом. Ничего иного, впрочем, она не ожидала.

— Можно найти Симкина? — попросила она и не успела передохнуть, как на пороге снова возникли длинные ноги и белокурые прямые волосы до плеч.

— Найти Симкина, но так, чтобы он не знал, что его ищут,— приказал муж.— Срочно!

— Сию секунду, Сергей Вадимович.

Нина Александровна подумала, что, может быть, защитой мужа от изнуряющих темпов XX века, от всей этой свистопляски как раз и были легкомысленные морщины на лбу, несерьезность, фатоватость, старательно подчеркиваемое якобы наплевательское отношение ко всему сущему на свете. Сергей Вадимович и сидел-то в кресле бочком, неосновательно, словно хотел сказать: «Велика важность — работа! Вот посидим немно-о-о-ожечко да и пойдем куда глаза глядят!» Между тем вокруг мужа бурлили водовороты, дули ураганы, совершались землетрясения и взрывались небольшие атомные бомбы — в многочисленных телефонах щелкало и что-то происходило, пол кабинета едва приметно вздрагивал, так как за стеной конторы, во дворе, работал трактор; пальцы Сергея Вадимовича, лежащие на холодном стекле, вибрировали... Сотни человек в Таеж-

ном, на сплавучастках и плотбищах, в райцентре и областном городе были связаны прочными нитями с кабинетом Сергея Вадимовича и с его легкомысленной улыбкой... «Этого еще не хватало,— подумала Нина Александровна.— Черт знает как плохи дела!»

Легкий, как поролон, несерьезный, как актер-трагик, разглагольствующий в ресторане, сидел за столом Сергей Вадимович и смотрел на Нину Александровну клоунскими глазами.

— Симкин — ого-го! — сказал он.—Христос!

— Товарищ Симкин находится в мехмастерских, через полчаса уйдет, его можно перехватить на территории, но надо торопиться,— на ходу доложила секретарша Ирина, по-прежнему раскачиваясь и виляя бедрами.— У Симкина завтра отгул, механик сказал, что Симкин уже немножечко...

— Айн момент, Ирина! — остановил стремительную секретаршу муж и повернул голову на короткой шее к Нине Александровне.— Пардон, старушка, но мне надо съесть нечто обволакивающее: пробил торжественный час! Гоните мой термос с рисовым отваром, Ирина! Будем сплоченными рядами бороться с язвочкой... А ты, мать моя, вали-ка к Симкину, пока он не надрался до непроходимой божественности...

Термос с рисовым отваром был очередной уступкой домработницы Вероники, и Нина Александровна поднялась:

— Да, мне надо шагать... До вечера, Сергей.

Мощные современные механические мастерские Таежнинской сплавной конторы находились на берегу реки, со всех сторон были обнесены высоким, тюремного типа забором, а в проходной сидел старик в таком огромном тулупе, словно старика не было; правда, возле тулупа стояло ружье, и по нему можно было заключить, что в тулупе есть человек. Он поднялся, сделал вид, что не узнает Нину Александровну, долго выглядывал из-за шерсти одним глазом, затем пророкотал:

— Войди, учительша.

Огромный двор механических мастерских напоминал что-то космическое, абстрактное, непривычное для нормального человека: снега здесь не было, измельченная гусеницами тракторов в пыль снежно-желтая земля была похожа на вулканическую породу, воронки и холмики казались кратерами; искалеченный металл лежал повсюду — торчал, распластывался и закруглялся; над всем этим хаосом висел победительный или конвульсивный гул моторов, отремонтированных или пришедших в негодность... Хорошо разбираясь в топографии лунной поверхности, Нина Александровна все-таки осторожно продвигалась по двору мехмастерских, держа путь к самому большому зданию, где после ремонта производили сборку моторов катеров, тракторов и автомобилей.

Ее все здесь узнавали. Конечно, Нине Александровне было далеко до Серафимы Иосифовны Садовской, которая могла себе позволить разгуливать по двору мехмастерских с папиросой «Беломорканал» в зубах, не обращая внимания на метровую высоты буквы: «Курить воспрещается! Штраф 10 руб.» — но и Нина Александровна не чувствовала себя чужой: ремонтники, что трудились под открытым небом, первыми здоровались с ней и хорошо улыбались, девчонки конторского вида, бегающие по двору с бумагами в руках, в накинутых на плечи пальто, смотрели на жену главного механика без особой ненависти, так как не могли ей завидовать — для них Сергей Вадимович был пожилым человеком, а оделась Нина Александровна сегодня достаточно просто: платочек-то был блекленький.

Старшина катера, на котором разъезжал главный механик сплав-конторы С. В. Ларин, Евгений Валентинович Симкин, на зимнее время превратившийся в разнорабочего, находился действительно в самом большом помещении «хозяйства» Сергея Вадимовича; был ли он под мухой, понять Нина Александровна еще не могла, но сразу повела себя с ним так, словно симкинское состояние никакого отношения к делу не имело.

— Товарищ Симкин, нельзя ли вас на минуточку?

— Почему нельзя? Можно... Привет, Нина Александровна!

— Здравствуйте, Симкин.

Старшина-разнорабочий наверняка был под газом, коли позволил себе так легко и панибратски поздороваться с Ниной Александровной, у которой только в прошлом году кончил девятый класс вечерней школы. Правда, учился он прилично, занятия пропускал редко, в особенном внимании не нуждался, но сейчас должен был бы держать себя поостроже. Фамильярность симкинского «привет, Нина Александровна!» можно было объяснить и его положением разнорабочего — только очень волевые и умные старшины катеров сравнительно легко переносили «превращение из богов в разнорабочих», как выразился однажды Сергей Вадимович.

Это на самом деле был трудный переход — превратиться на всю зиму из старшины катера в разнорабочего! Даже Нина Александровна, родившаяся и выросшая на Оби, до сих пор не могла освободиться от трепета перед капитанами пароходов и старшинами катеров. В краю, где «всего девять месяцев зима, но зато три месяца — лето», где зимой на самолет достать билет почти невозможно, а о постройке железной дороги до Таежного только ведутся разговоры, капитаны пароходов и старшины катеров до сих пор были овеваны дымкой романтики.

— Ваша жалоба рассмотрена, товарищ Симкин, — подчеркнуто сухо произнесла Нина Александровна и протянула старшине-разнорабочему лист бумаги с грифом «Депутат районного Совета депутатов трудящихся Таежнинского райсовета Нина Александровна Савицкая», на который она приклеила копию ответа мужа. — Вот, пожалуйста.

— Мало наказали бухгалтера, — сказал Симкин, небрежно перегибая хорошую плотную бумагу. — За такое дело надо бы увольнять с работы. Надо!.. Я просто не знаю, что еще можно производить над такими хреновыми бухгалтерами...

Внешне Евгений Валентинович Симкин выглядел оригинально — длинное лицо, близко поставленные глаза, всегда удивленный вид и сутулая спина.

— Вы правы, — сказала Нина Александровна. — Вы правы, но я не думаю, что за одну промашку надо снимать с человека кожу...

— А кого же увольнять, если не бухгалтеров? — удивился Симкин. — Цельный день дурака валяют, сидят на бархатных тряпочках да про погоду балаболят... А рабочий человек — без копейки. Так кого же увольнять-то, как не ихнего брата?

И выпил-то Симкин, наверное, оттого, что превратился из старшины катера под номером 33 в разнорабочего. А каким роскошным мужчиной сделается Симкин, как только с верховьев Оби подует влажный ветер, пахнувший снегом и корой оттаивающих осокорей! Какие там бухгалтера мехмастерских — он собственной любимой жены не будет замечать, так как все-все на земле превратится для него в зеленый плес перед стеклом ходовой рубки да в гул двух мощных моторов. Как поглубеют глаза старшины, как широко развернутся плечи, окрепнет голос и как быстро исчезнут из речи на-

рымские древние словечки! О, благословенная «тридцатьтешка»! Без тебя разнорабочий Женька Симкин только за первые двадцать пять зимних дней успел четырежды захворать — грипп, обыкновенная простуда и два чирья на шее, — а за время всей навигации Евгений Валентинович Симкин ни разу даже не чихнул...

— Вот уж никогда не думала, товарищ Симкин, что вы способны на демагогию! — сказала Нина Александровна и приблизилась к старшине на опасное для него расстояние, когда можно было уловить запах водки. — И не предполагала, что вы такой мелочный... Разве вы не знаете, что у бухгалтера Григорьева болен сын? И разве не вы мне однажды сказали после уроков: «Хоть в пекло, лишь бы не в канцелярии штаны просиживать!»? — Она огорченно махнула рукой. — Эх, Евгений, Евгений! — И в школьные времена и в рубке катера Симкин откровенно нравился Нине Александровне. — Надо кончить курсы токарей, чтобы устроить себе человеческую жизнь в ледовое время, — сказала она и помолчала. — Разленился, успокоился, остановился. Сам страдает и Лину мучает... А как же ей не печалиться, если муж... Ну кто пьет в рабочее время!

Израженный и здоровый гул моторов — разбитых и отремонтированных — давно сделался привычным для слуха; из всеобщего шума теперь можно было выделить только буханье тяжелого лома в затоне, и Нина Александровна, конечно, вспомнила о Борьке: его, вероятно, не следовало пускать кататься на реку, если снова обдалбливали крупные катера.

— Простите, Евгений, — сказала Нина Александровна, — что лезу в чужое дело, но ведь вы писали на мое имя... Не смешно ли? Христос жалуется на бухгалтерию!

Старшину катера «33» Симкина прозвали Христом после того, как новый главный механик сплавной конторы Ларин, встретив однажды на улице празднующую команду катера, сказал Симкину: «Тридцать три года — это Христов возраст! Вы такой молодец, товарищ Симкин, что вас хочется обожествлять! Поздравляю от души с тем, что номер катера совпадает с вашим возрастом, но разделить торжество не могу — служба и желудок...» После этого Симкин медленно превратился в Христа, так как в его длинном лице и сутуловатости было что-то мученическое, крестораспятое, этакое неземное, хотя глаза были хитрыми, вкрадчивыми и он был членом постоянной комиссии по жилищным вопросам...

— Еще раз простите, Евгений.

— Да ладно, Нина Александровна, чего там «простите», когда я сам все понимаю... Я дура!

— Не пижоньте, Евгений, а лучше проводите меня в бухгалтерию мастерских... Дрова! Опять дрова, лопни они, эти дрова!

Дрова, дрова, острый недостаток которых третий год переживало Таежное, сделались для некоторых жителей поселка определителем отношений между депутатом райсовета Савицкой и ее мужем — главным механиком сплавконторы Лариным. Принцип был так гениально прост, что хотелось кататься от смеха: «Дал тракторы — любит, не дал — не любит!» Конечно, Нине Александровне было не безразлично то обстоятельство, что несведущие люди считали главного механика Ларина всемогущим человеком, не зависящим от директора сплавконторы, но ей-то, бедной, приходилось застегиваться на все пуговицы, когда, например, отказывали в дровах продавщице орсовского магазина. Дело в том, что, во-первых, добрая треть поселковых кумушек считала, что у Нины Александровны с продавщицей «шуры-муры», во-вторых, активная часть кумушек из этой трети была уверена, что Нина Александровна продавщицу подкармливает.

Ну разве нельзя после всего этого сделать вывод, что Савицкая передрадалась с Лариным, если продавщице дрова так и не привезли? Перецарапались, передрались, скоро разводятся, у механика-то романчик с той, которая у него секретаршей. Не зря на ней такая короткая юбка, что все видеть!

Не дрова — казнь египетская! Через полчаса, выходя из комнаты, в которой сидел бухгалтер Григорьев, имеющий на руках больного сына, но у которого дров осталось дней на десять, не более, Нина Александровна действительно напоминала пистолет со взведенным курком: такая была опасная. В конце разговора бухгалтер Григорьев, разгневанный выговором за несвоевременную выдачу зарплаты, прошипел: «Вы, дорогая, с мужем хоть горло друг другу перегрызите, а дрова подавайте! Выговора давать можете, а вот дров от вас не дождешься... Ну ничего, и на механиков с ихними женами найдем управу!» Бухгалтер Григорьев от скрипучих письменных столов, арифмометров, больного сына, ворчливой жены был человеком желчным.

Изучая дело под кодовым названием «хозяйство мужа», непременно следовало навестить затон — тронное место Сергея Вадимовича. Контора, кабинет — пустяки, а вот затон, в котором зимой отстаиваются мощные катера сплавной конторы, — вершина мужниных забот и гордости, и, выйдя на берег, Нина Александровна, настроившись на юмористический лад, увидела, что затон и Сергей Вадимович были близнецами, один из которых брюнет, второй блондин...

Да-а! Место, где зимовали катера, рисовало образ иного, чем Сергей Вадимович дома и в кабинете, человека! Бухал лом, скрежетали металлические скребки, висело над головой клубящееся серое небо, а сам затон походил на глубоко промерзшее озеро, в котором рыба, оставшись без воздуха, выбрасывается через полыньи на поверхность; катера походили на китов, умерших у кромки берега.

Затон был страшен. Нина Александровна мгновенно и навсегда простила старшину Евгения Симкина, катер которого лед мог в любой неудачный час превратить в лепешку. Старшина Симкин имел право жаловаться на бухгалтера, сидящего на бархатной тряпочке, не ходить в вечернюю школу, бросать ей небрежно: «Привет, Нина Александровна!» — и так далее и так далее. Затон казался большим, пронзительно жалким, и если он был любовью Сергея Вадимовича, то это значило, что именно здесь, в затоне, он, наверное, был самим собой, то есть сильным, волевым, жестким человеком, ничем не напоминающим домашнего Сергея Вадимовича.

Продолжая дотошно осматривать «хозяйство мужа», Нина Александровна между тем искала слесаря Альберта Яновича Хансона, по слухам занятого на ремонте «пятерочки» — комфортабельного катера. Она решила не откладывать дело в долгий ящик, то есть немедленно встретиться со слесарем, хотя десятью минутами раньше думала ограничиться беседой только с одним членом комиссии по жилищным вопросам — старшиной катера Евгением Симкиным.

Альберт Янович славился добротой, справедливостью и анекдотичной прибалтийской невозмутимостью. Альберт Янович Хансон, например, разговаривал — произносил слова — только по большим праздникам да в бане, построенной во дворе собственного дома на финский манер. Правда, ходили слухи о том, что Альберт Янович охотно общается на латышском со своей пятилетней внучкой, но в Таежном этому не очень верили — весь поселок знал слова слесаря-латыша, произнесенные как-то в праздничном застолье: «Я имею возможность высказать мысль, что человек есть плохо устроен, а мотор устроен лучше!»

— Здравствуйте, Альберт Янович,— поздоровалась Нина Александровна, когда втиснулась в промасленное машинное отделение катера.— Ах, как здесь зло накурено!

Альберт Янович курил огромную трубку, она у него никогда не гасла, говорили, что в курении латыш перещеголял саму Серафиму Иосифовну Садовскую и на этой почве— по непроверенным слухам— с ней однажды обменялся двумя словами.

— Отниму всего полминуты,— сказала Нина Александровна.— Насчет нового дома...

Само собой понятно, что на лице Альберта Яновича никакого особенного выражения не появилось. Голубые глаза были непроницаемыми, маленькие губы сухи и блестящи, на красной, точно у индейца, коже резко выделялись признаки альбиноса: белые усы, брови, ресницы. Рыжие волосы слесаря были перехвачены кожаной лентой, отчего Альберт Янович походил на средневекового мастерового.

— Отложим разговор на будущее,— объявила Нина Александровна.— Не буду больше мешать занятому человеку. До свидания.

Она вышла на берег, надела теплые перчатки и пошла прочь от затона; шагала Нина Александровна подчеркнуто энергичной походкой, держалась прямо, со знакомыми для пустых разговоров не задерживалась и не была удивлена тем, когда на полпути к дому за ней пошел следом экс-механик Анатолий Григорьевич Булгаков. Наверное, уже проведал, что Нина Александровна Савицкая встречалась со старшиной катера Симкиным и слесарем Альбертом Яновичем. Деревня— это деревня: здесь слухи опережают события.

3

Отношения с Анатолием Григорьевичем Булгаковым окончательно были испорчены после того, как он субботним вечером снова непрошенный явился в дом Савицкой и Ларина, да еще и без палки. Вежливо ответив на сердитое «здравствуйте» экс-механика, Нина Александровна выждала, когда он усядется на облюбованный стул, и восхищенно сказала:

— Анатолий Григорьевич, а вы здорово помолодели! Выглядите молодцом!.. Создается такое впечатление, что на борьбу за новый дом вы тратите много больше сил, чем когда-то тратили на сплавную контору.— Она сама услышала, что слова прозвучали слишком зло, и попыталась смягчить удар:— Вам можно позавидовать: такая энергия!

— Да, да и еще раз да!— немедленно ответил Булгаков и самодовольно погладил себя по коленке.— Вы, Нина Александровна, человек злой, ехидный, но у меня и кровяное давление пришло в норму...

Фланирующий по комнате Сергей Вадимович остановился, повернувшись к Булгакову, посмотрел на него как на чудо морское: он, часом, не выпивши ли? Однако глаза у экс-механика были трезвыми, разумными, тело сбитым, здоровым, и рука, гладившая коленку, казалась тяжелой, словно чугунной. Вспомнилось, что Анатолий Григорьевич никогда не курил, с молодых лет и до ухода на пенсию не брал в рот ни капли спиртного, лет двадцать подряд занимался регулярно спортом, работал с лентой, умеренно, без суетни, а на руководящих должностях находился не потому, что был способен на позитивные поступки, а только потому, что не совершал негативных. Сейчас розовыми щеками Булгаков напоминал героя с обложки «Крокодила», где на рисунке несколько пенсионеров вязали узлы из рельсов широкой колеи.

— Напортачили с пенсионным возрастом! — вдруг серьезно сказал Сергей Вадимович, но сел все-таки на кончик стола. — Скоро до трех выходных дней в неделю доедем... Вы могли бы еще лет десять работать, Анатолий Григорьевич.

— Спасибо! — ответил Булгаков и многозначительно покачался. — Ходят слухи о том, товарищ Ларин, что вы очень хорошо прошли в Ромске во время последней поездки. Говорят, что вас принял секретарь обкома Цукасов.

— Принял!

— Кажется, и в отделе обкома вас обласкали?

— Обласкали!

— Позвольте поздравить?

— Пожалуйста!

— Тогда разрешите вас предостеречь, — вкрадчиво сказал Булгаков. — Не вздумайте после ваших головокружительных успехов нарушить социалистическую демократию. Не запугивайте членов постоянной комиссии, товарищ Ларин!! Чем выше сидишь, тем больнее удар о землю...

Нине Александровне было интересно наблюдать за тем, как муж отреагировал на оскорбление, — он, смеясь и паясничая, подошел к Булгакову и словами чеховского героя предложил:

— Позвольте вам выйти вон!

— Что?.. Ах вот как!

— Позвольте вам выйти вон!

Экс-механик величественно поднялся, с задранной головой громко спустился с крыльца, потом, затишиваясь, как глохнущий трактор, каменной глыбой двигался по маленькому двору, и все эти минуты супруги Савицкая и Ларин весело улыбались, поглядывая друг на друга заговорщически. Мужа в эти секунды Нина Александровна любила, думала, что не имеет права не быть счастливой, что ей грешно, ей-богу, жаловаться на жизнь Серафиме Иосифовне Садовской и заглядывать при этом тревожно в ее загадочные монгольские глаза.

— Булгаков молодец! — искренне похвалила Нина Александровна. — В дубленке ходит!

— В обыкновенном полушубке, — задумчиво отозвался Сергей Вадимович и недовольно добавил: — Когда наконец правительство разберется с пенсионерами?.. Смешно получается, граждане! Хвастаемся увеличением продолжительности жизни, неуклонно повышаем жизненный уровень народа, выпускаем многомиллионным тиражом журнал «Здоровье», а бугаеобразно Булгакова спроваживаем на пенсию... На кой хрен увеличивать продолжительность жизни, спрашивается?..

Нина Александровна и Сергей Вадимович переживали один из тех субботних вечеров, когда позади были лыжи и баня, когда ерничание Сергея Вадимовича граничило с благодушием, а сын Борька после всех субботних удовольствий завалился спать необычно рано — сейчас он уже проспал часа полтора. Домработница Вероника сидела в клубе на фильме «Любовь и розы», который демонстрировали в Таежном несколько раз, но все равно нравился; соседи из ближайших домов тоже были в кино, прохожие в этот час редко шли по центральной улице имени Ленина, и в доме стояла деревенская тишина.

— Сережа, а Сережа, — стесняясь, спросила Нина Александровна, — а когда это произошло, что твоя язва само-о-о-стоятельно зарубцевалась?

— Счас сообразим... Дай бог памяти, как говаривал дед. Она у меня залечилась само-о-о-стоятельно на третьем курсе...

После этого с Ниной Александровной произошло совсем непонятное: забыв как бы о болезни мужа, она глубоко задумалась, так как именно сегодня, возвращаясь с лыжной прогулки, встретила на улице наиболее опасного и непримиримого члена комиссии по жилищным вопросам — самого Вишнякова, личность примечательную. Это был тот самый «железный парторг», который объявил войну легендарному директору Тагарской сплавной конторы Олегу Олеговичу Прончатову и не только иногда одерживал победы, а минутами умудрялся загонять Прончатова в угол, хотя Олег Олегович был одним из наиболее талантливых и самобытных директоров сплавных контор во всей Западной Сибири. Железный Вишняков, несгибаемый Вишняков, пуленепробиваемый Вишняков, вечный Вишняков — вот как называли врага Прончатова. Одно уж то, что Вишняков за последние тридцать с лишним лет не снял с плеч гимнастерку, говорило, что он человек выдающийся. Славен был Вишняков и другим качеством: работал по расписанию прежних времен — появлялся в конторе к десяти часам, трудился до четырех дня, с четырех до шести отдыхал, а потом в окне служебного кабинета «железного парторга» свет горел до рассвета. В Таежное Вишняков переехал после окончательной победы над ним Олега Олеговича Прончатова и вскоре ушел на пенсию, превратившись в активного общественника.

Когда «железный парторг» и Нина Александровна встретились на улице, то на его больших и полных губах появилась такая улыбка, словно «железный парторг» давно ожидал этой встречи и даже заготовил соответствующее выражение лица: «Здоровье бережете, на лыжах бегаєте, жить хотите долго? Ну-ну! А вот мы здоровье не бережем, мы живем ровно столько, сколько надо народу...» Поверх гимнастерки на Вишнякове, естественно, была шинель выпуска сорок второго года, пола шинели в двух местах была прожжена фронтовым костром. «Здравия желаем, Нина Александровна! Как сынишка? Здоров?» Она ответила. Тогда Вишняков спросил строго: «С лыжной прогулки? Два выходных дня имеете...»

К двум выходным дням в неделю пенсионер Вишняков относился отрицательно, будучи не согласен с линией партии и правительства в этом вопросе, при всяком удобном случае говорил о том, что два выходных дня окончательно развратили рабочий коллектив, а на последнем партийном собрании выступил с речью, в которой, между прочим, сказал: «Я не могу умолчать о том, что имеется налицо государственная практика ослабления дисциплины!» «Сегодня хорошая лыжная погода, — сказала Нина Александровна, — Вам бы тоже не помешали лыжи, товарищ Вишняков...» «Плевал я на лыжи! — ответил «железный парторг» и пошел дальше, пробормотав презрительно: — Никто не работает, все на лыжах бегают». Вишняков уже сворачивал в переулок, когда Нина Александровна подумала о том, что «железный парторг» на заседании комиссии по жилищным вопросам решительно выступит против их стремления переселиться в новый дом, но вот два выходных дня...

— Знаешь, Сережа, — медленно проговорила Нина Александровна, — а ведь Вишняков, прозванный железным парторгом, придерживается твоей точки зрения.

— Какой?

— О вреде двух выходных дней... — Она осторожно улыбнулась. — Вам нетрудно найти общий язык.

— С какой это стати, Нина...

Она перебила:

— Прости. Язва у тебя была серьезная?

— Нормальная студенческая язва. Миллиметр на миллиметр, можете себе представить...

Только теперь, пожалуй, Нина Александровна сообразила, почему в ее сознании бывший парторг Вишняков и язва Сергея Вадимовича как-то связывались. Дело, наверное, было в том, что она болезнь мужа стремилась объяснить его напряженной работой и заботами о получении новой квартиры. Язва двенадцатиперстной кишки, как известно, болезнь нервного происхождения, и объяснить ее появление у Сергея Вадимовича внешними влияниями было мечтой, но, с другой стороны, и подружить мужа с Вишняковым было заманчиво — одним отрицательным голосом меньше.

— Нормальная язва, так нормальная, — машинально сказала она.

На плечах у Сергея Вадимовича светилось синим необыкновенное достижение Нины Александровны — куртка из атласа; вся простроченная, с кистями, с накладными карманами, великолепная по самой идее, так как в сочетании с продранными тренировочными брюками давала большой эффект: видно было, что человек безразличен к одежде, но в то же время, в то же время...

— Везет же некоторым, — сказала Нина Александровна. — Залезают самостоятельно язвы размером миллиметр на миллиметр... А теперь ты мне вот что объясни, Сергей Вадимович. Почему ты не надеваешь пасхальные штаны, чтобы идти на прием к англичанке Людмиле Павловне Зиминой и ее супругу Геннадию Ивановичу?

— Ой-ой! — завопил Сергей Вадимович. — Если мы не явимся к Зиминым, пропала моя головушка... Ой-ой, я и не заметил, что вы при полном параде, сударыня!

Нина Александровна медленно улыбнулась, так как на самом деле еще за полчаса до визита Булгакова была при всех регалиях: темное длинное вечернее платье, шелковые ноги вбила в парадные кожаные сапоги, а на шее поблескивало что-то дорогое, высокая прическа была увенчана башенкой. Красива, строга и неприступна.

— Ой-ой! — продолжал вопить Сергей Вадимович, натягивая новый сногшибательный костюм и взглядывая на часы. — Ой-ой, ты не можешь себе представить, как я завишу от Зиминой! Это не человек, а ходячий арифмометр. Он множит в уме трехзначное на трехзначное и редко ошибается, когда множит четырехзначное на четырехзначное... Саша Корейко, ей-богу!

А Нина Александровна, продолжая медленно улыбаться, решила все-таки не заниматься вопросом, почему «железный парторг» Вишняков и ее родной муж одинаково мыслят. Ей было забавно наблюдать за Сергеем, который резвился на всю катушку, а о похожести мышления пенсионера Вишнякова и Ларина можно было поразмыслить на досуге...

— Галстук, вот эта штука называется галстуком? — спрашивал Сергей Вадимович, нарочно суетясь и хохоча. — Запонки? Жилет? Правильно?

— Ради бога, Сергей, не паясничай! Мы здорово опаздываем...

Они опоздали примерно на полчаса, то есть пришли в то время, когда англичанка Людмила Павловна Зиминая, отстояв с мужем положенное время в прихожей, где они по светским обычаям встречали гостей, перешли в гостиную и медленными зигзагами переходили от одних гостей к другим, следя внимательно за тем, чтобы все были заняты разговорами, как это делала Анна Павловна Шерер из «Войны и мира».

На англичанке Зиминой было надето длинное, со шлейфом платье, сшитое у районной портнихи; сам Зиминой стоял на месте или передвигался среди гостей болванчиком-манекеном, так как на нем

затвердевшей пластмассой чернел костюм из синтетической ткани и выпархивала из-под лацканов пестрая бабочка. Среди гостей были еще две женщины в длинных платьях, но мини пока явно позиций не уступали, так как на молоденькой преподавательнице истории Екатерине Викторовне Цыриной юбки как бы и не было — виделись очень хорошо натянутые колготки на крепкие, фигурной резьбы ноги, которые от этого казались почти длинными. А симпатичная литераторша Люция Стефановна Спыхальская была не только в мини-юбке, но в кофточке с таким декольте, на которое могла решиться только женщина, окончательно потерявшая надежду выйти замуж.

— Нина Александровна, Сергей Вадимович, как мы рады вам, какие вы безобразники, что опоздали, нехорошо, мои милые, опаздывать, что такое с вами стряслось, что мы все глаза проглядели, какие вы все-таки недисциплинированные, а вот сами за дисциплину, но ничего, мы все наверстаем, ах, ах, лучше поздно, чем никогда, милости просим к нашему шалашу, какая вы красивая, Нина Александровна, какая у вас модная прическа, Сергей Вадимович, спасибо, спасибо, что все-таки пришли, всем известно, что вы человек занятой, государственный, ах-ха, какие роскошные камни, проходите сюда, Нина Александровна, голубушка вы наша...

Так шумела «ткацкая мастерская», в которой Зими́на-Шерер запустила все станки, и теперь переходила от агрегата к агрегату, чтобы вовремя заметить непорядок: там свяжет оборвавшуюся нить, там капнет маслом, там ослабит гаечку, там затянет болтик. Людмила Павловна Зими́на была крохотной шустрюшкой, личико у Зиминой тоже было крохотное, носик заборный, глазки острые, губы бантиком. Одним словом, все у нее было такое, что хотелось произнести вот так: «Стютюэточка!» И вот эта самая «стютюэточка» со свободной решительностью набросилась на Нину Александровну и Сергея Вадимовича, ухватив их за локотки железными пальчиками, с ловкостью фокусника вовлекла в ритм «ткацкой мастерской». Все это было проделано так быстро и незаметно, что Нина Александровна и улыбнуться не успела, как уже стояла возле Мышицы, плановика Геннадия Ивановича Зими́на и Люции Стефановны Спыхальской, что отвечало всем дальновидным планам англичанки Зиминой: помирить Мышицу с Ниной Александровной, дать возможность мужу сотворить подхалимаж перед механиковой женой и доставить Нине Александровне удовольствие от общения с Люцией Стефановной.

— Здорово, Лю,— шепнула Нина Александровна, пожимая голую руку Спыхальской.

— Здорово, Ни, мать их всех за ногу! Кончай с Мышицей: он мне душу вынул жалобами на тебя.

На преподавателе физкультуры Моргунове-Мышице был точно такой же синтетический костюм, как на плановике Зимине, но вместо галстука-бабочки расплывался во всю грудь наиширочайший галстук, завязанный узлом величиной в кулак, отчего Мышица в профиль походил на голубя из породы дутьшей. При этом он еще картинно выпячивал грудь и выставлял ногу вперед... Заметив Нину Александровну, Мышица сделал стойку, затем, отвесив глубокий поклон, стал глядеть на нее жандармскими глазами.

— Нина Александровна,— прочувствованно сказал он,— вы — луч света в темном царстве!

Сергея Вадимовича эмансипированная преподавательница английского языка устроила в кружок, где слышался мужественный бас директрисы Белобородовой, дымила злая папироса Серафимы Иосифовны Садовской и виделось классически красивое лицо бывшей десятиклассницы Светочки Ищенко, наряженной в вышитую кофточ-

ку и светлые, расклешенные внизу брюки; девушка была так хороша, что Сергей Вадимович на нее не обращал никакого внимания, а, напротив, занимался вплотную веселой сегодня директрисой — изда- лека было ясно, что разговаривают они о дровах.

— Хорошо выглядишь, Ни,— шепнула Люция Стефановна Спы- хальская Нине Александровне и повеяла на нее какими-то странными духами.— Глаза блестят...

— От лыж, Лю. Не обращай внимания...

У мягкой и доброй Люции Стефановны от бонтонности вечера у Зиминых временами появлялся на лице злой волчий оскал, левое веко подергивал тик, а стоять на месте она спокойно не могла, ноздри у нее дрожали, словно принюхивалась: а не горит ли что-нибудь в этом доме? На щеках светились два ярких красных пятна.

— А как сюда попала Серафима Иосифовна?— шепотом спроси- ла Нина Александровна.— Ей же через полчаса ложиться спать. Она доит Люську в пять утра...

— Завивает горе веревочкой. Ее Володька ушел из редакции,— тоже шепотом ответила Люция Стефановна.— Сел на свободные писа- тельские хлеба, и Серафима Иосифовна боится, что это... Ах, как хороша Светлана!

Светлана Ищенко действительно была хороша необыкновенно, любая киностудия схватилась бы за нее обеими руками, но она была ленива, глуповата и неэнергична, а сегодня с ней происходило вообще что-то новенькое: казалась сонной, вялой, такой, словно ее не дер- жали ноги. Все опиралась спиной то на стену, то на подоконник, то прислонялась к дверной стойке, хотя обычно была стройной и пря- мой.

— Георгий Победоносец!— торжественно раздалось слева от Нины Александровны.— Эту икону Жорж достал в деревне Канеро- во у одной древней старушки. Семнадцатый век.

Показывая гостям на стену комнаты, увешанную иконами, англи- чанка Зимина грациозными пальчиками одной руки поддерживала левый край волочащейся юбки, мизинец другой руки у нее был оттопырен, словно она держала рюмку.

— Эта икона уникальная! Специалисты говорят, что такой нет даже в областном музее... Тоже семнадцатый век!

После этого в том кружке, где Сергей Вадимович отражал «дро- вяные» атаки директрисы Белобородовой, сделалось тихо и только кто-то солидно и начальственно прокашлялся. Сначала Нина Алек- сандровна не разобрала, кто это так умеет нагнетать внушительность, но вдруг с удивлением поняла, что руководящий кашель принадле- жал Сергею Вадимовичу. Мало того, он деловито потер руку об руку, состроив непроницаемое лицо, загустевшим басом спросил:

— Какой иконы нет в областном музее? Гм! Повторяю: какой чер- ной доски нет в музее? Ах, этой!— Сергей Вадимович протянул руку в сторону иконы, висящей в самом центре стены.— Вот этой, значит, иконочки нет в музее! Посмотрим, посмотрим...

Сергей Вадимович, как давеча Мышица, выставил ногу и, подне- ся к глазам пальцы, сложенные трубочкой, стал рассматривать ред- костное искусство в почтительной тишине. Нина Александровна до- садливо морщилась.

— Ценная, знаете ли, икона!— между тем важно заявил Сергей Вадимович.— Мне остается только поздравить хозяев, то бишь моих искренних друзей Людмилу Павловну и Геннадия Ивановича... Мо-о- ло-о-дцы!

А если муж не придуривался? Нина Александровна вкрадчиво сказала:

— В Сибири вообще редко встречаются хорошие иконы. Сибирь богоульна... Что касается именно этой иконы, с ней вопрос предельно ясен.— Она скромно улыбнулась.— Эту икону писал мой прадедушка-богомаз.— Нина Александровна небрежно сдернула икону со стены, обращаясь теперь сразу ко всем гостям, продолжала:— На каждом Георгии Победоносце с обратной стороны иконы дедушка писал такую фразу: «Едет Егор во бою, держит в руце копию, колет змия в ж...»! Прошу извинить... А теперь посмотрим! Прадедушка прятал надпись вот за эту пла-а-но-чку... Ну, так и есть! Прошу убедиться!

Ох, как засияла Люция Стефановна Спыхальская, как загрустил преподаватель физкультуры Мышица и как прекрасно повела себя англичанка Зимина, слывшая все-таки дурочкой! Она расхохоталась, откидываясь назад и показывая белые зубы, всплеснула красивыми руками — они у нее были округлые, с ямочками на локтях:

— Ох, я умру с этим Геннадием Ивановичем! Гена! Гена!

— Я слушаю тебя, Людочка.

— Ты слышал разговор об иконе, которую купил так дорого?

— Увы! Увы!

На вкус Нины Александровны плановик Геннадий Иванович Зимин был просто-напросто славным человеком, если бы жена не наряжала его в синтетический костюм и в галстук-бабочку и не заставляла бы ходить гусиной походкой. Без всего этого он был забавным, неординарным даже и внешне: в очень сильных квадратных очках, с круглым бабьим лицом, со ртом до ушей, с прекрасными каштановыми волосами и безупречно курносый носом. Цвет лица у Геннадия Ивановича был свекольный, губы по-мальчишески свежи и непорочны, глаза наивные.

— Как же ты обманулся, Геннадий Иванович! — хохотала Людмила Павловна.— Как же ты позволил обвести себя вокруг пальца, если иконы смотрел сам Гаргантюа!.. Знаете, Нина Александровна, знаете, товарищи, Гаргантюа — художник и старый друг Геннадия. Они учились в одном классе... Что же вы, Анна Ниловна, не отведаете сок манго? Он очень полезен!

Красиво переливаясь платьем, стараясь при каждом шаге выставить из-под длинного подола носок лакированной туфли с вычурной пружкой, Людмила Павловна Зимина бросилась сразу ко всем оставившимся «ткацким станкам»: связывать нити и смазывать, регулировать и настраивать, менять рисунок ткани и скорость челноков. Начала она, естественно, с группы Нины Александровны — Мышицы — Спыхальской, торопясь погасить торжествующую улыбку Люции Стефановны, а уж потом англичанка наладила другие «станки» и «агрегаты» — ловкая, подвижная и такая непосредственная, что ей все прощалось. Светочке Ищенко она сказала вразяжечку: «Кра-а-са-ви-и-и-ца!» — директорисе Белобородовой поправила бантик на груди, с Мышицей пошептала о прелестях Светочки Ищенко, а с самим председателем поссовета Белобородовым...

Белобородов, муж директорисы, не стоял, как все гости, а развалился в низком кресле, сколоченном из грубых, едва тронутых рубанком кедровых досок и планок, так как обстановка гостиной у Зиминых вообще напоминала финскую баню или крестьянскую курную избу — было ненужно много нестроганого дерева, на стенах висели серпы, лапти, косы, веретена, в углу стоял сноп пшеницы, а на одной из стен был нарисован зев русской печки, возле которого стояли помело и старый заржавевший ухват — всё на несколько сантиметров длиннее и ярче, чем в пижонских домах Москвы. И вот Николай Николаевич Белобородов сидел возле рисованной русской печки — меж-

ду помелом и ухватом,— безразличный ко всему на свете, потихонечку дремал. Он был головастький, коротконогий, блондинистый, и от этого трудно было понять, сколько Николаю Николаевичу лет: то ли тридцать, то ли шестьдесят. На нем была мягкая вязаная куртка, серые брюки и такие замечательные черные валенки, какие теперь уже редко катают пимокаты-частники в нарымских краях.

— Товарищи, товарищи, внимание!— всплеснув ладонями, воскликнула Зими́на.— Сейчас нам Эммануил Карпович расскажет презабавный случай... Сергей Вадимович, Анна Ниловна, Нина Александровна, Лю́ция Стефановна, прошу внимания!

Обнаружилось, что среди гостей эмансипированной и ультрасовременной англичанки присутствует неизвестный Таежному мужчине, державшийся ранее незаметно: он как-то растворялся среди бесперебойно действующих «ткацких агрегатов» и, одетый в темно-серый костюм, сливался с крестьянским колером гостиной. Поставленный в центр внимания, незнакомец тонко улыбнулся, движением головы отбросив назад легкие и длинные волосы, театрально-смущенно выдвинулся вперед, и только тогда Нина Александровна узнала в нем актера областного театра Кулачкова, слывшего талантливым. У него на самом деле было хорошее мужское лицо, широкоплечая, узкотазая фигура и безупречное умение держаться.

— Вы смущаете меня, Людмила Павловна,— взвинченным голосом областного актера сказал Кулачков.— Видит бог, ничего забавного вашим уважаемым гостям я рассказать не смогу...

— Да что вы, что вы! — заохала Зими́на-Шерер, угощающая гостей залетной знаменитостью точно так, как ее толстовская литературная предшественница угощала светский круг беглым французом.— Что вы, что вы, Эммануил Карпович! Вы такой чудесный рассказчик!

Зими́на-Шерер вся превратилась в небрежность, когда Кулачков прислонился к боку имитированной русской печки, умело покраснев от тишины и напряженного внимания гостей, искренне пожаловался:

— Ну ей-богу, я плохо рассказываю!

— Просим, просим, Эммануил Карпович,— аплодируя, воскликнула англичанка.— От вашей прелестной истории хохотала безумно...

Как только Кулачков поднял глаза на слушателей и, «настраиваясь», потупился с отсутствующим видом, Нина Александровна увидела, что ее законный муж до сих пор разглядывает ее на редкость серьезно и напряженно, и лицо у него такое, какое может быть у человека, выведенного на яркое весеннее солнце после длительного заточения в темнице. «Откуда? Кто такая? Зачем? Почему?» — казалось, спрашивал Сергей Вадимович у Нины Александровны, и это был первый, пожалуй, случай, когда Сергей Вадимович глядел на жену и без любви и без ерничества. «Вот как!» — подумала она.

— Сдаюсь на милость победителя, но это даже не случай,— негромко, чтобы слышали все, сказал актер Кулачков.— Это, друзья мои, целая эпопея... Мы, актеры, без сцены плохие рассказчики, без прихода, как говорится, рассказывать трудно, но... Я попытаюсь, друзья мои, передать хотя бы суть... Естественно, что моя история относится к актерским историям, и начать, вероятно, надо с того, что в недавние поры большинство московских театров было заражено игрой в шлеп-шлеп...

Нина Александровна не слушала рассказ Кулачкова. Теперь она осторожно, с изумлением и непониманием следила за Люцией Стефановной Спы́хальской и преподавателем физкультуры Моргуновым-Мышицей, между которыми, оказывается, что-то происходило. Щеки Люции Стефановны то бледнели, то покрывались красными пятнами, а Мышица глядел на нее тихими, по-коровьи опечаленными глазами,

отчего, будучи Мышицей, не походил на Мышицу. Потом Нина Александровна мгновенно перевела взгляд на красавицу Светочку Ищенко и внутренне охнула: «Ах вот оно что!» Жизнь-то, оказывается, продвигалась вперед темпами XX века, а она, Нина Александровна, барахталась еще в пыльной учительской, когда ей пришлось изничтожить преподавателя физкультуры за большое восклицание Люции: «Как хочется иногда выстирать мужские носки!» И девальвация женской красоты, выходит, не была только прихотью кинорежиссеров, а даже в Таежном превращалась в практику, жизнь, судьбу...

—...Выиграв пари, актер приглашает коллегу в Сандуны,— рассказывал Кулачков.— Сандуны — это баня в центре Москвы...

Люция Стефановна опять побледнела, ломая пальцы, старательно отвернулась от Мышицы, хотя он был хорош как никогда— печальный, тихий, несчастный, не похожий на брюнета; наверное, поэтому и увиделось, что у Моргунова ладный нос, скулы остяцкие, да и линия лба непритязательна. Моргунов родился неподалеку от деревенного города Пашево, отец у него рыбак, мать доярка, сестры и братья работают в колхозе, и Мышица, то есть Моргунов, каждое лето ездит в родную деревню, хотя потом напропалую врет: делится крымскими воспоминаниями. Хороший сын, старательный преподаватель, честный человек, а девичьи коленки... Коленки, конечно, безобразие, но ведь Моргунов до сих пор говорит не «одеяло», а «одъяло»...

—...Они выпустили банку килек в сандуновский бассейн и начали развлекаться. Каждый старался вылавливать кильку из воды зубами. За это, то есть за каждую выловленную кильку, полагалась премия — рюмка водки...

Бог ты мой! Люция Стефановна несомненно любила Мышицу, а Мышица любил Люцию Стефановну. Вот почему он так долго не хотел жениться на Светочке Ищенко, вот почему Лю страдала, когда Нина Александровна делала из Мышицы «котлету», и вот почему Серафима Иосифовна Садовская просила Нину Александровну быть доброй к простому, как окружность, преподавателю физкультуры. Впрочем, Мышица, получается, не был безнадежно одноклеточным, если понял и полюбил Люцию Спыхальскую.

— ...Только милиционер, взломавший двери в бассейн, прекратил веселое времяпрепровождение великолепной четверки...

Сама не понимая, почему она поступает именно так, Нина Александровна под рокотанье актерского голоса перешла к той группе, где стоял Сергей Вадимович, молча пожалала руку Серафиме Иосифовне, директрисе Белобородовой и легкомысленно подмигнула красавице Ищенко. Сергей Вадимович по-прежнему изучал немигающим взглядом жену, Садовская грустила, а Белобородова, верная себе, держалась бодро.

— Хорошо, когда жена дура, а муж арифмометр,— шепнула директриса Нине Александровне и почему-то погрозила пальцем.— Переходишь на максы, Ниноля? Не торопись — успеешь.

— Ха-ха-ха! — напоследок пророкотал областной актер Кулачков, но сам не засмеялся.— Ха-ха-ха!

— Прелестно, прелестно!

...Итак, Светочка Ищенко любила Мышицу, Мышица любил Спыхальскую, Спыхальская любила его, а директриса Белобородова... Анна Ниловна Белобородова дом англичанки покинула вместе с Ниней Александровной и Сергеем Вадимовичем и в первом часу ночи на скрипящей морозом улице, разделив Нину Александровну и Сергея Вадимовича, взяла их под руки и басом сказала:

— Я рада вам, голубки! — И повернула лицо к Сергею Вадимовичу: — Ну как делишки? По зубам ли тебе наша кошка, гуляющая сама

по себе?— Директриса громко захохотала, но продолжила тихо:— Глядите, ребятишки, не зашибите друг друга!

А позади них шел величественной походкой председатель поселкового Совета Белобородов, настоящая фамилия которого была Карпов, но все жители Таежного председателя издавна звали по фамилии жены. Тем не менее логике и психологии вопреки Белобородов-Карпов ходил королевской походкой, на а-ля фуружете единственный сидел и со всеми без исключения разговаривал сквозь зубы.

«Глядите, ребятишки, не зашибите друг друга!» Эти слова директрисы вспомнились Нине Александровне позже, когда Сергей Вадимович курил последнюю сигарету, перед тем как лечь в постель, и когда произошло то, что ей показалось переломным и значительным в их дальнейших супружеских отношениях, хотя Сергей Вадимович— это главная беда!— так ничего и не заметил. Куря последнюю сигарету, он сидел на подоконнике и как-то странно поглядывал на кроватку, уже расстеленную Ниной Александровной. Он мычал сквозь зубы, вид у него был отсутствующий, рассеянный, подбородок как-то увял, с опущенной головой он стал на вид низкорослым, а сигарета в пальцах выглядела неумело зажатой. «Что с ним происходит?»— подумала Нина Александровна, поняв, что муж не знает, что делать: раздеваться или не раздеваться.

И тут— в который уж раз!— ее чуть не погубила эрудиция: вспомнилась белошвейка Маргарита из горьковского «Клима Самгина». Когда Клим, целуясь с белошвейкой, нанятой матерью для его «просвещения», не решался на дальнейшее, Маргарита деловито говорила: «Ну, в постельку!» И вот Нине Александровне показалось, что ее законный и родной муж Сергей Вадимович, оробев и растерявшись, боясь поглядеть на жену, ждет клича: «Ну, в постельку!»

По-бабы взволнованная, оскорбленная, чувствующая, что у нее от возбуждения пылают щеки, Нина Александровна уж было открыла рот, чтобы отправить Сергея Вадимовича спать на раскладушку, предварительно заявив ему: «Я не хочу такой любви!»— как перед глазами возникло лицо с дымящейся папиросой «Беломорканал» и услышался хриловатый голос Серафимы Иосифовны Садовской: «Анализируешь каждый шаг и каждое слово мужа? Следишь за ним?»— и ее откровенные ответы: «Анализирую! Слежу!»... По улице осторожно прошагал прохожий в подшитых валенках— скрип, скрип и скрип!— потом наступила на несколько секунд такая тишина, что показалось: все в мире исчезло, умерло, испепелилось и даже земля перестала вращаться вокруг своей оси. Так всегда бывает в поселках типа Таежного, когда полночью за окном затихают шаги одинокого прохожего.

4

Заседание комиссии поссовета по жилищным вопросам назначили на 22 февраля, то есть на канун Дня Советской Армии, когда, по крайней мере, четыре человека из комиссии были обязаны серьезно заниматься предстоящим праздником, что вполне устраивало Нину Александровну Савицкую. По опыту прошлых лет она знала, что член комиссии «железный парторг» Вишняков за неделю до Дня Советской Армии ходит по Таежному церемониальным шагом, председатель поселкового Совета Белобородов вспоминает о том, что он Карпов, а помощник киномеханика Василий Васильевич Шубин, прошедший войну в тыловых частях, ведет себя смиренно. Будет готовиться к встрече Дня Советской Армии еще один член жилищной комиссии— разнорабочая Таежнинской сплавной конторы Валентина Осиповна Сосина, женщина особенная, занятая и битая-перебитая.

До войны Валька Сосина считалась самой красивой девушкой в Таежном, да и после фронта вернулась, как выразился один из поселковых стариков, «при большом достижении» — белокурая и завитая на немецкий манер, с перламутровым аккордеоном и с любимой песней: «Бьетса в тесной печурке огонь...» Действительно, в первый вечер после возвращения из Берлина Валька Сосина прошлась по поселку в туго натянутых хромовых сапожках, с перламутровым аккордеоном на груди, с черепаховым гребнем на затылке, с пышным шелковым бантом под черным жилетом... Через три дня она вышла замуж за председателя орска, несколько месяцев жила с ним, а на октябрьские праздники укатила в областной город, чтобы вернуться в Таежное только через десять лет — без аккордеона, увядшей и незамужней.

...С членом комиссии по жилищным вопросам Валентиной Осиповой Сосиной депутат райсовета Нина Александровна Савицкая встретила задолго до Дня Советской Армии. Это произошло утром, часиков этак в восемь, когда в Таежном только-только рассветало, снег скрипел под ногами прохожих так громко, что шаги слышались за километр, и было холодно. Нина Александровна надела пушистую шубу, закуталась в оренбургскую шаль, руки спрятала в большие меховые рукавицы. Третий день у нее без всякой причины было сумеречное осеннее настроение, и, наверное, поэтому утреннее Таежное казалось ей лишенным смысла и содержания — серая земля, серое небо, серая тишина, а когда она поднималась на крыльцо дома барачного типа, где проживала Валентина Сосина, и нечаянно оглянулась, ей померещилось, что дома поселка подвешены к серому небу на волнистых непрочных ниточках дымов, истекающих из печных труб.

Валентина Осиповна Сосина жила в отдельной комнате длинного барака постройки тридцатых годов, топка ее печки выходила в коридор, и возле топки на железном листе лежало несколько сырых сосновых поленьев. Обратив внимание на это, Нина Александровна остановилась в холодном коридоре, сняла рукавицы и опустила на плечи оренбургскую шаль, чтобы легче было думать о предстоящем разговоре с Сосиной, с которой когда-то была на «ты». Минуту-другую Нина Александровна стояла, потом рванула дверь в комнату под безнадёжным номером 13.

— Привет! — сказала она, входя и глядя на полураздетую Валентину. — Прости, что так рано.

Сразу же после этого Нина Александровна спросила себя, правильно ли, будучи женой главного механика сплавной конторы, обращаться на «ты» к женщине с растрескавшимися до крови губами, которая работает на морозе и ходит по Таежному в стеганых брюках, но все кончилось благополучно.

— Здорово, Нинша! — ответила Сосина и показала рукой на грязную табуретку. — Садись, я сейчас поднаденусь...

Любимого парня Валентины, друга школьных лет, убили за месяц до конца войны, за Гришку Карина, влюбленного в нее с восьмого класса, Валентина выходить замуж не хотела и славилась тем, что, потеряв аккордеон и заграничную прическу, оставалась такой же «железной», как Вишняков.

На Вишнякова Валентина Сосина походила и тягой к одежде своей юности. Она в этом отношении ушла даже дальше, так как Вишняков носил одежду военного времени, а Валентина — довоенного. Ну кто теперь носил синие сатиновые трусики, юбку со складками, белые носки с тапочками и свободную вышитую кофточку? Ну кто теперь держал в комнате этажерку? Боже мой, этажерка! То-

ленькая, шаткая, с салфеточками на каждой полке... Батюшки мои, а кто теперь знал о портрете Максима Горького, сделанном из черных и светлых квадратиков?.. Нина Александровна смутно помнила, что поступило приложение к какому-то довоенному журналу, в котором рассказывалось, как, закрашивая на клетчатом листе бумаги определенные клетки черным, можно получить портрет Максима Горького. Этим занимался какой-то из отчимов Нины Александровны — светила керосиновая лампа, на стене дребезжал круглый черный репродуктор: «Говорит радиостанция Коминтерн!» — и в пальцах у отчима был карандаш, пахнущий лаком...

— Ты садись, Нинка, нечего ноги простаивать... А дрова так и не привезли!

— Знаю. Видела.

На сатиновые трусики Валентина надела стеганные серые брюки, перетянула их мужским ремнем с латунной пряжкой, на которой был выдавлен якорь, потом натянула на плечи лыжную куртку и сунула ноги в валенки с кашолами-чунями, изготовляемыми ромским заводом резиновой обуви; затем она взяла главный предмет женского туалета довоенных времен — железный обруч для придерживания волос.

— Я готовая! — сказала Валентина. — Мне через полчаса надо убежать, но ты все-таки садись, чего ртом воробьев ловишь?.. Может, шубейку замазать боишься?

— А ну тебя к черту, Валька!

— Так садись!

— Села, — сказала Нина Александровна, садясь и распахивая шубу. — Я вот что тебе скажу, Валентина. Я и для себя-то дрова выбиваю из Сергея Вадимовича с трудом... Вчера Вероника говорит: «На два дня! И сырые! Если сухих не привезете, уйду к Зиминым!»

— Твоя Вероника дура, — сказала Валентина Сосина. — Расшвыривается телесами направо и налево... Нет, милочка, каждой бабе свой резерв отпущен! Ты скажи ей, что она дура!

— Ты сошла с ума! Да я лучше мужу скажу «дурак»!

В комнате, конечно, стоял комод довоенной пузатости, на нем две длинные-предлинные голубоватые вазы с искусственными цветочками и зеркало с палочкой-подпоркой позади. Да, все было чистейших довоенных кровей, и это почему-то Нине Александровне показалось добрым признаком, свидетельством того, что их прошлая дружба с Валентиной, завязанная на покосе-воскреснике, ничуть не заглохла. Кроме того, одетая Сосина чувствовалась близким человеком.

— Хочу жить в новом доме, Валентина! — сказала Нина Александровна. — Проголосуй за!

— Хоть сто раз! — ответила Сосина и улыбнулась своему отражению в зеркале. — Тебе бы и унижаться за это дело передо мной не надо: я голову положу, чтобы ты получила все тридцать четыре комнаты. Я же не дура, Нинка!.. Ты про шалаш-то не забывай!

— Я помню!

— Так какого же хрена просишь?

Нина Александровна и Валентина на воскреснике-покосе так вымотались, перевертывая подмокшие валки сена, что от усталости в Таежное решили не ехать, а переночевать на берегу озера в шалаше, на комарах и в ночном сыром зное. Комаров в тот год на сорах жила прорва, спрятаться от них в шалаше не удалось, а дымокур выедал глаза. Поэтому они выбрались на берег озера, где воздух все-таки чуточку двигался, намазав открытые места тела мазью «Тайга» (тоже не спасение), легли рядом на теплую землю... Торчком стояли над

ними длинные звезды, в болотистом озере Квистаре квакали лягушки, фыркали позади них стреноженные кони, над черным озером стлался сигаретным дымом туман; пахло свежескошенной травой, и запах этот был тосклив и могуч, как удар в солнечное сплетение: детство, первая любовь, холодок в коленях от мальчишеского прикосновения... Нина и Валентина разговаривали долго и много, быстро перешли на «ты», ночная беседа шла правильно, понятно, благополучно, пока Валентина не прошептала небу: «Дай мне в руки автомат — перестреляю всех замужних баб!»

И вот теперь Нина Александровна была замужем за главным механиком сплавной кофторы, в которой давняя приятельница, как она выражалась, «вкалывала разнорабочей».

— И дров мне не надо! — брезгливо сказала Сосина. — Обойдусь! Без ваших дров обойдусь...

От презрения Сосина мило улыбалась своему старушечьему лицу в зеркале, видимо, от стеганых толстых брюк она казалась коротышкой, хотя вид у нее по-прежнему был фронтной, снайперский, а рост сто восемьдесят сантиметров. Более двадцати немцев уложила под березовые кресты она за четыре года войны, получила несколько орденов и несметное количество медалей, но осталась доброй.

— Погоди сердиться, Нинка! — попросила Валентина, как только Нина Александровна пошла к дверям. — Я это так — от утрянки, от пересыпу... Ведь если помараковать, то ты к замужним бабам касательства не имеешь. Ну какая ты мужняя баба, если за коренника тянешь, а твой механик — на пристяжке... Я вот одного понять не могу: откуда ты такая вылупилась? Ну, Серафима Иосифовна после гражданской войны бабой сделаться не может, я — с Отечественной больше мужик, чем баба, а вот ты откуда? Слушай, да ты не обижайся на меня, битую-перебитую!.. Ты чего, Нинка, с лица побледнела? Да ты куда? Опомнись, Нинка, не убегай! Да ты хоть скажи, за кого голосовать надо? За тебя или за этого?.. Вот чумная — рукавицы за была!

...Вышвырнувшись из дома Валентины Сосиной, преподавательница физики и математики Нина Александровна Савицкая с понятным облегчением заметила, что дома поселка, еще недавно, казалось, подвешенные на зыбкие ниточки дымов к серому небу, упали на землю, да так удачно, что все до единого встали на фундаменты. Впрочем, в мире по-прежнему было холодно и сумеречно, смысла и содержания в нем не присутствовало, но время двигалось вперед и надо было идти дальше... «Давай, Нинка, двигай, двигай ножками! — приказала себе Нина Александровна и улыбнулась солнечной кинематографической улыбкой. — Шагай, Нинка, вали, Нинка, строевым шагом железного парторга или снайперской походкой Сосиной — один хрен, как говорит сама Валька... Давай, давай, Нинка, мы из глухой деревни! Мы в десяти щелоках варены, прошли огонь и медные трубы, в воду щенком брошены! Ать-два-три, ать-два-три, ать-два-три!»

Дома Таежного прочно стояли на своих местах, небо и земля разъединялись, приобретая разные цвета — белый и голубоватый. Одним словом, положение в мире улучшалось, но самым крупным достижением вселенной являлась все-таки сама Нина Александровна Савицкая, одетая в дорожную шубу, теплые сапоги и предчувствующая радость от урока математики в девятом «б». Вот какая она снова была улаженная, благополучная, эта дрянная женщина, которой теперь оставалось только одно: перед будущим счастьем работы вспоминать большое и тревожное, как раскаты грома в декабре. Во-первых, ночь после великосветского раута у англичанки Зиминной, во-вторых, бан-

ную среду Сергея Вадимовича, когда он после злой парной выпил полбутылки коньяка. Сделал он это, как и следовало ожидать при его характере, привычках и склонностях, предельно легкомысленно. Из бани Сергей Вадимович пришел с такой красной физиономией, точно с нее содрали кожу, сияя и ерничая, молча полез в буфет; при этом он подмигивал Борьке, который сидел с ногами на диване и читал Родари — в двадцать пятый раз. Нина Александровна в уголке проверяла тетради девятого «б», ей уже здорово надоели пижонские почерки мушкетеров балбесов, и она обрадовалась возможности отвлечься.

— Лимон, конфеты и томатный сок на кухонном столе, — сказала она деловито. — Мог бы заранее предупредить. Я забыла, что сегодня баня.

— Обойдемся! — отмахнулся Сергей Вадимович. — Не терплю организованных выпивонов... Борька, сколько раз можно читать одну и ту же книгу? Это самоедство.

— Я переутомился, — лениво ответил Борька. — Могу читать в своей комнате, пожалуйста!

— Сделайте одолжение, милорд! — обрадовался Сергей Вадимович. — Какой из меня Песталоцци, если я при тебе, ваше степенство, буду хлестать коньяк... Да, между прочим, скотские хозяева, а особенно Булгаков, не любят, когда ихним коровам на хвост привязывают консервную банку! Зачем ты это, коварный, совершил?

— Сергей! — осуждающе протянула Нина Александровна. — Мы эту тему уже исчерпали.

— Прошу оставить меня, понимаете ли, в покое! — весело рассердился Сергей Вадимович. — Борька не дурак! Борька сам с усам... Борька, докажи!

— Пожалуйста, — по-прежнему лениво отозвался Борька. — При ребенке нельзя употреблять слово «хлестать» и говорить неграмотно «ихним»... Надо произносить «их»...

— Гений, ваше превосходительство! Ну а как же насчет банки?

— А пусть Булгаков не пишет жалобы на тебя, Сергей!

Сунув неполную бутылку коньяка под мышку, Сергей Вадимович сел рядом с Борькой, широко раскрыв рот, бесшумно захохотал, стуча при этом одним каблуком по другому, словно аплодировал ногами.

— Караул! — шепотом крикнул он. — Если я правильно понял вас, милорд, это была кровная месть?

— Но! — по-нарымски ответил Борька, так как целых два дня катался на коньках и дружил с Гелькой Назаровым, дед которого говорил только по-старинному.

— Хочет ли переехать в новый дом? — прохихотавшись, спросил Сергей Вадимович. — Желаете проживать в комнате без мадам Вероники? Так ставите вопрос, мистер Борька?

— Но!

— Ах, ах, какие мы аристократы!

— Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, Сергей.

После ухода Борьки муж начал деловито готовиться к выпивке. Спиртные напитки Сергей Вадимович вообще-то не любил, по воспитанию и образу жизни в молодые годы доступа к винам, коньякам не имел и, конечно, не был приучен к тому, чтобы получать удовольствие от самого процесса питья — не смаковал, не разбирался в качестве вин и коньяков, не рассматривал их на свет, не грел рюмку в пальцах, да и вообще пил отличный коньяк из стакана, наливая понемногу.

— Ваше здоровье, Нина Александровна!

После первого большого глотка Сергей Вадимович быстро — одну за другой — выкурил три сигареты «Новость», понемножечку бледнее и блаженно вздыхая, стал ковырять в зубах спичкой, хотя ничего, кро-

ме лимона, не съел. Именно от зубочистки у него был вид хорошо пообедавшего и чрезвычайно довольного жизнью человека: щурился, поглаживал пальцами подбородок, на Нину Александровну поглядывал игриво и уже замедлялся, то есть все движения у него становились плавными, словно Сергей Вадимович оказался в тяжелой морской воде. Он уже не источал энергию, не жил ритмом сплавной конторы, скоростью «Волги», четырьмя телефонами на столе, молодостью секретарши, лихорадочной работой перегруженного интеллекта и тяжестью чрезмерной информированности.

— Слушай, Ни, ты не помнишь, сколько колонн у храма в Коринфе? — спросил Сергей Вадимович. — Это раз! Во-вторых, сколько колонн у Большого театра?

— Ну, знаешь ли...

— Ладно, ладно! Сам разберусь...

После третьего глотка глаза Сергея Вадимовича повлажнели, спина сделалась волнообразной, обмякла, как бы от этого расширилась; затем Сергей Вадимович начал буквально молодеть на глазах у Нины Александровны, словно его специально гримировали под юношу... Интересный, интересный был процесс — для врача-психиатра!

— Вспомнил! — преувеличенно трезвым голосом произнес Сергей Вадимович. — Я даже вспомнил, сколько колонн у храма в афинском Акрополе... Моя любимая песня — «Издавна, долго течет река Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной... Где Борька?

— Борька в своей комнате.

— Тебе известно, сколько у меня шариковых ручек?

— Сто девяносто четыре.

— Фигушки! Уже двести одна... Вот какое у меня замечательное хоб-б-би!

Нина Александровна так любила мужа, что на глаза навертывались слезы. Хотелось подойти к нему, пригладить волосы, прижать к груди голову, баюкать, тихонечко петь колыбельную и что-то лепетать. Однако Нина Александровна не поднялась, не подошла к Сергею Вадимовичу, хотя сама не знала, что удерживает ее на месте: то ли ученическая тетрадь, которую она проверяла, то ли остатки коньяка в стакане, то ли ее невежество в вопросе о количестве колонн храма в Коринфе. Оставалось на ее долю единственное — проверяя тетрадь молодого гения Марка Семенова, решившего обыкновенную задачу шестью необыкновенными способами, тихонечко думать: «А нужна ли тебе, милый мой Ларин, жена, если ты не находишь иного способа отключения от перегрузок, кроме нескольких глотков армянского коньяка? Нет, милый мой, ты даже не подозреваешь, что женщина тоже способна снять лишние нагрузки, если ты умеешь пользоваться ее помощью... Да любишь ли ты меня, в конце-то концов?». Поставив перед собой такой важный вопрос, Нина Александровна тщательно и неторопливо допроверила все шесть тонких и мастерских решений Марка Семенова, потерев уставшие веки пальцами, искоса посмотрела на блаженного мужа. «Он любит меня! — убежденно подумала она. — Он, видимо, по-настоящему меня любит!»

— Сейчас я разделяю с коньяком ра-аз и навсе-егда! — шепотом, но грозно сказал Сергей Вадимович. — Аб-сис-тентов и нервных просят не смотреть! Алле — гоп! А Борьки здесь нет?

— Борька давно спит.

— Тогда займемся вами, Нина Александровна! — грозно пообещал Сергей Вадимович и быстро заглянул в глаза жены. — Слушай, Савицкая, а ты мне мо-о-о-жешь ответить на один, понимаешь ли, а-а-ктуальный вопрос?.. Нет, ты мне ответишь на ак-ту-аль-ный вопрос, Савицкая?

— Отвечу, Ларин.

— Прекрасно! Ты вот что мне объясни, гражданочка, ты мне объясни, почему мне иногда хочется надавать тебе пощечин? А вот три-и дня назад, когда ты вот так же сидела за своим столом, мне хотелось заехать тебе в мордализацию... Вот ты и объясни, почему мне хочется побить тебя, хотя ты ни-че-го плохого мне не говоришь и ни-че-го плохого не делаешь?

Нина Александровна долго молчала. Ни единой мысли не было у нее в голове до тех пор, пока она снова не посмотрела на нежную и по-детски незащищенную шею Сергея Вадимовича, сидящего в горестно-блаженной позе. Под сердцем шевельнулся горячий комок.

— А ты надавай мне пощечин, Сергей! — дрогнувшим голосом сказала она. — Ты мне, пожалуйста, расквась нос!

— Фигушки! — испуганно завопил он. — Я тебя иногда боюсь, Савицкая... Боюсь — и точка!

Нина Александровна сейчас испытывала к мужу такое же чувство, какое ощущала в те минуты, когда ей приходилось купать в ванночке совсем маленького Борьку, а он еще ничего не понимал; розовое вялое тело, складочки-мешочки, пустые глаза, восторженный лепет, пузыри на губах и самое для нее счастливое — удары маленького сердца под пальцами. Все в Сергее Вадимовиче вызывало любовь — шея, слегка распухшее в бане лицо, рассуропленные губы, руки между коленями, мягкие волосы, тупой нос, но она все-таки подумала: «Он меня боится. Вот какие дела!»

Когда муж нечаянно уснул на диване, Нина Александровна кое-как оделась и вышла на улицу, лишь смутно понимая, зачем ей понадобилось именно сейчас, в десятом часу вечера, в холоде, идти еще к одному члену комиссии по жилищным вопросам. Звали этого человека Василием Васильевичем Шубиным, работал он вторым киномехаником, или помощником киномеханика, — как хотите, так и называйте! — в сплавконтторском клубе. Важно было знать, как он относится к кандидатуре Ларина, претендующего на новый дом...

Субботний вечер был морозным, шумным и светлым от уличных фонарей и окон; меж домами и над ними висела голубоватая дымка, луна сквозь нее проглядывала в окружении нескольких радужных колец, ни одна звезда сквозь туман пробиться не могла, и поэтому казалось, что луна со своими кольцами штопором ввинчивается в небо. Лаяла одна-единственная собака, кажется у Сопрыкиных: такой у нее был хриплый забитый голос... Второго киномеханика, или помощника киномеханика, — как угодно, так и называйте! — для деловых встреч выгоднее было бы изловить у него дома, где он стыдился бедности обстановки и очень некрасивой жены, добродушного сына и злой, как кобра, матери, при которой он становился ручным, но после того, что произошло между Ниной Александровной и Сергеем Вадимовичем, она хотела сильных ощущений, встряски, если хотите, поражения. Должен же был найтись сейчас человек, который взамен ее трусящего мужа мог надавать ей пощечин, и, таким образом, Нина Александровна за триста метров до клуба окончательно и четко поняла причину своего торопливого, неурочного, глупого выхода из дома. Короче, приход к Василию Васильевичу Шубину, в будку киномеханика, был равносильен тому, что Нина Александровна собиралась сунуть руку в клетку голодного льва.

К деревянному клубу была пристроена стоящая на бетонных столбах кирпичная будка, случайно похожая на киноаппарат, сунутый объективом в стенку. Наверх вела узкая, крутая, опасная во всех отношениях деревянная лестница — пожарном, травматическом и античучлочном, так как на второй ступеньке Нина Александровна уже за-

дела коленкой за дерево и почувствовала, что капроновый чулочек-то того — пополз! Это происшествие даже такой женщине, как Савицкая, могло испортить настроение, но сейчас Нина Александровна только иронически поморщилась, когда на коленке остренько засветился холодок.

В кинобудке жужжало, вспыхивало и шелестело; пахло приятно грушевой эссенцией, которая входит в состав клея для пленки. Первый киномеханик Григорий Мерлян — местный Кулибин с искалеченной на войне рукой и длинным лошадиным лицом — сидел за деревянным столиком и закусывал соленым огурцом только что выпитую по случаю субботы водку. Он любил выпить, в отличие от Сергея Вадимовича разбирался в напитках и закусках — перед ним лежали мелко нарезанные огурчики домашнего посола, огромный красный маринованный помидор, на крышке от консервной банки возвышалась горка густого хрена, в миске тускло светило жиром холодное вареное мясо; отдельно стояла бутылка минеральной воды из местного областного источника, так как Григорий Мерлян водку запивал только и только минеральной водой.

— Драться, Нина Александровна, — добродушно проговорил он и, вежливо встав, показал на свободный стул. — Садитесь.

— Где же Шубин?

— Шубин здесь! — послышался медленный барский баритон, и Василий Васильевич Шубин вышел из-за киноаппарата. — Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Савицкая!

Естественно, что человек, способный быть загороженным киноаппаратом, имел маленький рост; зубы у него были редкие и длинные, завидно белые, а руки и ноги такие субтильные, что сын Борька мог похвастаться лучшей мускулатурой. И волосики на голове у Василия Васильевича Шубина росли такие тонкие, что подымались кверху от слабого тока воздуха, который создавался разницей температур в кинобудке: холодный бетонный пол и разогретое вольтовой дугой горячее пространство верхней части помещения.

— Я бы на вашем месте на этот стул не сел, товарищ Савицкая! — многозначительно сказал Шубин. — Гвозди торчат, и шатается... Как бы советскому народу не потерять жену главного механика сплавной конторы товарища... как его там?.. Гриша, как там фамилия нового главмеха сплавной конторы?

— Ларин, — спокойно ответил Григорий Мерлян. — Лариным он и прозывается, Василь Василч.

В хилом теле и крохотной голове второго киномеханика Василия Васильевича Шубина поселились такая сильная воля, такой бойцовский дух, такая непримиримость и ненависть ко всему существу на свете, что добродушнейший киномеханик Мерлян не только плясал под дудочку помощника, но всегда глядел на него обожающими глазами, да и в поселке было немало людей, которые уважали и боялись второго киномеханика. Сам Василий Васильевич однажды, отглядев себя в большом зеркале, что стояло в фойе клуба, сказал: «Говорят, я исключительно напоминаю батьку Махно. Вечная ему память! А что?! Надеть на меня папаху, к боку — маузер...» И славен-то он среди своих поклонников был тем, что на словах и на деле воевал с начальством всех доступных ему рангов: поносил с любой трибуны всю дирекцию сплавной конторы, председателя поселкового Совета Белобородова-Карпова и председателя артели имени 8 Марта Бурмистрова, писал на них жалобы в разные газеты, обращался в Верховный Совет СССР и ЦК КПСС, если кто-нибудь из начальства поступал не так, как хотелось бы Василию Васильевичу Шубину.

— А я ведь к вам, товарищ Шубин,— холодно сообщила Нина Александровна.— Не сможете ли вы мне уделить минутку?

— Не смогу,— ответил Василий Васильевич.— Ответственный киномеханик закусывает, а я демонстрирую фильм яркого политического содержания... Кстати, на дверях висит таблица «Посторонним вход воспрещен!». Как вы смели войти в кинобудку?

— Там темно,— прожевывая мясо, сказал киномеханик Мерлян.— Табличку не видать...

— А вы бы лучше помолчали, гражданин! — стремительно обернулся к нему Шубин.— Вышивший человек не может считаться при исполнении служебных обязанностей... Почему же вы все-таки не заметили табличку, Савицкая? Вот вашу фамилию я помню... Чисто случайно, конечно!

Сын Василия Васильевича Шубина по имени, естественно, Василий учился у Нины Александровны в девятом «б» и был точной копией отца внешне, хотя внутренне был другим — добрым и общительным. Учился младший Шубин отлично, но особых склонностей ни к одной из наук не проявлял, увлечений не имел, вышколенный отцом и ведьмой бабушкой, вел себя примерно. Таким образом, помощник киномеханика, или второй киномеханик,— как хотите, так и называйте! — за сына не беспокоился и мог не церемониться с его преподавательницей.

— Простите, гражданка Савицкая,— отвертываясь, сказал Шубин.— Я должен контролировать работу киноаппаратуры, а вы извольте покинуть будку!

— Да, да, проконтролируй!— обрадовался киномеханик Мерлян, осторожно приступая к большому маринованному помидору, чтобы из него во все стороны не брызнул сок.— Надо уже давно электроды проконтролировать...

Разбирая перчатки — где левая, где правая,— Нина Александровна тихонечко пошла к дверям, усмехаясь уголками губ. Думала она о том, что Василий Васильевич Шубин — счастливый человек, если всегда живет в таком же состоянии нервного опьянения, какое испытывала она, когда смешивала с грязью физкультурника Мышицу. Ах, какой восторг ощущает человек, когда он позволяет себе гулять по спинам ближних! Солнце светит ярче и цветы пахнут гуще, когда можно позволить себе считать навозом все человечество, кроме самого себя. «Надо мне извиниться перед Мышицей»,— подумала она, а вслух сказала:

— Я весьма сожалею, Василий Васильевич, что у нас с вами не нашлось общего языка.— Нина Александровна как бы грустно потупилась.— Сама-то я легко переживу тот факт, что вы меня, как девочку из класса, выставили из кинобудки, но мужа я должна защитить...

— Его не защищать надо, а гнать с работы! — крикнул Шубин, высовываясь из-за киноаппарата и ощеривая крысиные зубы.— За одного Пакирева его надо — вон из партии!

— Ну, партия — это не вашего ума дело, Шубин,— кротко ответила Нина Александровна.— А вот небольшую справочку я вам дам, коли вы не в состоянии запомнить фамилию Сергея Вадимовича.

Нина Александровна вынула из среднего пальца правой перчатки крохотную скомканную бумажку, по-прежнему усмехаясь уголками губ, произнесла еще печальнее прежнего:

— Запомнить фамилию моего мужа нетрудно. Вот данные поселкового Совета. В Таежном проживает один человек по фамилии Ларин и одиннадцать человек по фамилии Шубин, даже не родственников...

— Во дает! — радостно заорал киномеханик Григорий Мерлян.— Во баба!

Он, видимо, все-таки немножечко опьянел.

— Позвольте вам не поверить,— медленно сказал Шубин, но все-таки вышел из-за киноаппарата.

— Надо верить, гражданин Шубин. Смотрите: штамп, печать, число. Меня предупредили, что вы имеете обыкновение не запоминать чужие фамилии, вот я и запаслась справочкой...

На левом киноаппарате кончалась бобина с пленкой, надо было переключаться на правый аппарат, и второй киномеханик Шубин в третий раз скрылся за громоздким механизмом — такой он был все-таки мизерный, сублильный; защелкали держатели роликов, затрещала кинопленка, потом громыхнула заслонка глазка второго киноаппарата, в нем вспыхнула вольтова дуга, загудело и зашуршало, и через секунду левый аппарат умер, а правый ожил. После всего этого Василий Васильевич Шубин неторопливо прошагал к центру помещения, вынул из бокового кармана пиджака расческу в футлярчике, причесал волосы-пушинки. Он тщательно продул расческу, аккуратно уложил ее в футлярчик, который сунул обратно в нагрудный карман так, чтобы чуточку высовывался голубой кончик — похоже на уголок платка.

— Лестница у нас в сам деле опасная,— любезно сказал он.— Я лично на нее с карманным фонариком влезая... А при фонарике-то и табличку видать...

— Во дает! Во мужик!

— Садитесь, Нина Александровна! — пригласил Шубин.— Вот этот стул покультурней будет...

...Минут через пятнадцать Нина Александровна опять шла по улице под концентрическими кругами, заковавшими луну, дышала туманным морозцем и думала о том, что это хорошо, когда в таком поселке, как Таежное, становится все больше людей, которых можно назвать личностями. Ведь тот же Василий Васильевич Шубин лет пятнадцать назад, по рассказам его старинных приятелей, был незаметным человеком с затаенно-злыми глазами, а вот теперь он так развернулся, что ей пришлось заранее готовиться к визиту и даже обманывать секретаря поселкового Совета, чтобы получить справку о количестве Лариных и Шубиных в поселке. Брось палку в собаку, попадешь в личность — это здорово нравилось Нине Александровне, доставляло радость, импонировало... Шубин, Валентина Сосина, старшина катера Евгений Симкин, слесарь Альберт Янович, Белобородова, домработница Вероника, экс-механик Булгаков, Люция Стефановна Спыхальская, Серафима Иосифовна Садовская, гениальный Марк Семенов... Ох, как хорошо! Но Шубин, этот самый Шубин все-таки оставался вне конкуренции. В конце разговора по жилищным проблемам он все-таки опять демонически усмехнулся, глядя ей неотрывно в глаза, сказал: «Несерьезный вам муж достался, товарищ Савицкая, на хлипких ногах... Вот я вам — человек вполне подходящий! Обдумайте этот вопрос, товарищ Савицкая, хорошо обдумайте...»

Начинался уже, видимо, одиннадцатый час, в клубе продолжался киносеанс, по улице усталой походкой возвращался домой вечерний лыжник, так уморившийся, что поленился снять лыжи и мучающийся оттого, что вчера по распоряжению сплавконторского начальства улицы посыпали песком. Приглядевшись, она узнала в лыжнике Мыщицу, но встрече с ним не обрадовалась: слишком уж быстро и фатально развертывались события. Да, Нине Александровне хотелось извиниться перед физкультурником, но не так быстро, как это организовала жизнь. В этой встрече был маленький переборчик — вот что!

Вблизи Мышица — при ярком свете уличного фонаря — показался не только усталым, но и нервным, утомленным, болезненным; глаза у него ввалились, нос заострился; над верхней губой образовалась складочка, острая как ножевой разрез. Узнав Нину Александровну, он заранее начал вымученно улыбаться, морща лоб, готовить шутку — одним словом, старался придать себе бодрый вид.

— Привет! — лихо поздоровалась с ним Нина Александровна и домашним голосом приказала: — Снимай-ка лыжи, лентяй! Испортишь...

Моргунов охотно остановился, щелкнув ротафеллеровскими креплениями, отстегнул лыжи, тяжело дыша, улыбнулся Нине Александровне.

— Ты откуда? — переходя на взаимное «ты», хорошим от простоты голосом спросил он. — Кино еще идет, а в той стороне тебе делать нечего... Ой, Нин Александровна, не пустить ли мне про тебя сплетню!

Она ничего не ответила, молчала, глядя на Моргунова-Мышицу во все глаза, и думала о том, что вечерние лыжи Моргунова и бег до изнуряющей усталости понятны. Этот остряк, пижон и пошляк нарочно перегружал себя работой и спортом, для того чтобы можно было не думать о трагическом положении, в котором оказались он, красавица Светочка Ищенко и Люция Стефановна Спыхальская. Будучи добрым человеком, он понимал безвыходность положения Светланы, возложившей все надежды на него, и в то же время любил Люцию Стефановну, но не знал, как сказать об этой женщине, считающей себя до того некрасивой, что не поверила бы любовному признанию красавца bruneta, имеющего возможность жениться на потенциальной кинозвезде. Трудное было положение у Ивана Евстигнеевича Моргунова, очень трудное, и Нина Александровна, вздохнув, опять посмотрела на луну, которая, казалось, стремилась сблизиться с землей.

— Если увидишь Люцию, передавай ей привет, Иван, — попросила Нина Александровна и притронулась пальцем к локтю Моргунова. — А теперь шпарь рысью: тебе опасно стоять на месте — простудишься!

Когда визгливые ботиночные шаги затихли в глухоте ближайшего переулка, Нина Александровна еще раз вздохнула, теребя перчатку, решила, двинуться или нет к родному дому, где спал здоровым непробудным сном ее родной муж, боявшийся родной жены. Вот она и стояла на месте, «муча перчатки замш», как говаривал Маяковский, и не зная, куда направить свои стопы — то ли домой, то ли к Серафиме Иосифовне Садовской.

Она стояла на месте до тех пор, пока случайно не вспомнились самые последние слова помощника киномеханика Василия Васильевича Шубина, сказавшего с придыханием и наигранной страстью: «Вы, Савицкая, женщина — первый сорт! На вас поглядишь — голова кругам идет! Чувствую я, что придется проголосовать за... Ой придется!»

Нина Александровна улыбнулась сама себе и двинулась в сторону дома.

Проснувшись, но еще не открыв глаза, Нина Александровна почувствовала, что где-то в доме находится нечто крупное, горячее, энергичное и опасное, точно взрывчатка, к которой по шнуру подбирается запальный огонь. На кухне гремели ложки-чашки-поварешки, слышалось пение сквозь зубы: «Загудели, заиграли провода: мы такого не видали никогда!» Это Сергей Вадимович радовался пробуждению: нервы у него были отменные. Накинув нейлоновый халат, Нина Александровна вошла в кухню. Взглянув на Сергея Вадимовича, она

вдруг сделалась такой собранной, энергичной, ясной, точно и не спала: за столом сидел и допивал чай, казалось, незнакомец. Каждая черточка лица Сергея Вадимовича была графически безупречна, четка, глаза были деловито-холодными, контуры губ кто-то обвел острым рейсфедером, подбородок заносчиво торчал.

— Здравствуйте-пожалуйста! — протянула Нина Александровна, запахивая халат.— Как говаривал Остап Бендер: «Не мужчина, а какой-то конек-горбунок!» Куда ты это собрался в такую рань? Пятнадцать минут седьмого...

— Вы бы спали, Нина Александровна! — с неудовольствием заявила домработница Вероника, с лакейской готовностью следящая за каждым движением Сергея Вадимовича.— Сергей Вадимович у меня все съедят, так что вас и Борьку мне кормить пока нечем... Поэтому вы еще поспите часочек.

Вероника сегодня щеголяла в своем лучшем рабочем платье и фартуке, волосы у нее были причесаны так, словно она собиралась в клуб на танцы, губы были уже подкрашены сердечком и влажны оттого, что она их то и дело облизывала,— соблазнительна была, чертовка, до крайности!

— Вот у меня где сидит эта демократия! — вдруг сердито сказал Сергей Вадимович и попилил ребром ладони по горлу.— Нет, серьезно, Нина Александровна, я тремя руками за демократию, но если в этой комиссии сидят такие прохиндеи, как помощник киномеханика Шубин, я против демократии. Какая это, к черту, демократия! Мне передали, что Шубин активно против меня...

Ля-ля-ля! Нина Александровна села на Вероникин табурет и скрестила руки на груди. Несколько секунд она размышляла о том, стоит ли на этом этапе активных действий рассказывать Сергею Вадимовичу о том, что она побывала с визитами у большинства членов жилищной группы, и все-таки опять решила не говорить.

— Сережа! — ласково обратилась она к мужу.— Сережа, а может быть, плюнуть нам на этот трехкомнатный дом, черт бы его побрал, если он требует столько энергии и нервов?.. Разве нам плохо в этой квартире?

Он глядел на нее исподлобья по-прежнему холодными пронизывающими глазами, две волевых складки залегли возле больших губ, белели остренько плотные, молодые и крепкие зубы; вздрюченный вчерашним алкоголем, Сергей Вадимович казался металлическим, остроугольным, колющим, режущим — каким угодно!

— Прошу оставить ваших глупостей! — после сердитой паузы сухо ответил он.— Поймите, милая моя, что мне придется чапать из Таежного, если дом все-таки отдадут Булгакову... Вот до каких высот поднял эту историю борющийся за собственный престиж экс-механик! — Он поджал губы.— Усекли, товарищ жена?..

Три тарелки, две больших кружки, громадная салатница, миска для холодца и масленка были чисты, словно их вымыли горячей водой,— вот какие гастрономические чудеса совершал Сергей Вадимович! И все это от вчерашней коньячной разрядки. Улыбнувшись, Нина Александровна вспомнила заграничную рекламу бензина «ессо»: «Посадите в свой автомобиль тигра!» На пять-шесть дней в Сергее Вадимовиче как в работнике поселился не тигр, а сам лев — царь пустыни. Он и сейчас, допивая чай, опять напевал сквозь зубы самое легкомысленное и любимое: «Загудели, заиграли провода...»

— Вероника,— сказала Нина Александровна,— я сегодня буду завтракать только кипяченым молоком... Борька поест кашу и баранки. У него вчера побаливал живот...

Резкоконтинентальный климат нарымских краев приносил в Таежное не только синоптическую неразбериху, но и такие перепады давления, от которых у Нины Александровны, склонной к гипертонии, начинался шум в ушах, как только барометр падал на пять-шесть делений. Сегодня же давление было отменно нормальным, и Нина Александровна чувствовала себя так хорошо, как давно не бывало, а от приближения первого урока, который — она это точно знала — будет удачным, у нее снова счастливо замирало сердце.

Мороз потрескивал, всходило маленькое, съезжившееся от холода солнце, по-утреннему бодро, без хрипоты ляли собаки, пыхтела старательно поселковая электростанция, на крыше парикмахерской радиодинамик рассуждал об израильской агрессии; серединой улицы шла с сумкой мирная задумчивая старуха из тех, кто приходит к орсовскому магазину за час до открытия и в полном одиночестве, отдыхая и наслаждаясь тишиной и безлюдьем, стоит неподвижно на крыльце, подперев плечом закрытые на большой замок и перекладину двери. Старушка была маленькая, уютно закутанная в пуховый платок, валенки у нее были разношенные, удобные, словно домашние тапочки. Она короткими шажками шла по дороге и все примечала добрыми глазами — навоз, воробьев, Нину Александровну, твердый снег и съезжившееся солнце.

На высоком скворечнике сидела сойка — глупая, яркая, театральная птица.

Было как раз такое время, когда по главной улице Таежного письмоносица Вера разносила утреннюю почту — вести позавчерашнего московского дня. Как многие почтальонши, Вера была сердита и напыщенна, становилась доброй только в тех случаях, когда приносила на дом денежный перевод, за что от Нины Александровны, изредка выступающей со статьями на педагогические темы в областной газете, получала щедрый рубль. Сегодня перевода не было, так как Вера, завидев случайно на своем пути Нину Александровну, зло крикнула:

— Вам ничего нету!

Улица постепенно наполнялась людьми; первым прошел, кланяясь и чмокая губами, словно целуя руки, парикмахер Михаил Никитич, обожающий Нину Александровну за то, что она никогда не делала завивку и не меняла цвета волос. Кроме того, внук парикмахера Тарас учился плохо, был дурнем и неумехой, хотя, кажется, имел склонность к ботанике: собирал гербарии да любил засовывать под кепку осенние листья. Репродуктор на парикмахерской запел: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно...» А мир от нарастающего солнечного света делался желтым, как ранние лепестки подсолнуха, — от этого тоже было легко, спокойно, так как из всех цветов и оттенков Нина Александровна предпочитала горчичный, а сейчас небо имело почти такой цвет, правда со значительной желтизной.

— Здравствуйте, Нина Александровна!

Перед ней стоял выдающийся математик и физик Марк Семенов, юноша, лицом похожий на китайца — такой же желтокожий и от этого тревожный, загадочный, непроницаемый; шапка на нем была большая, но едва прикрывала половину лба — такой был высокий, узкий, покатый лоб. Ответив на приветствие Марка, Ница Александровна смотрела на него удивленными глазами, так как редко случалось, чтобы занятый днями и вечерами обожаемой математикой и физикой Марк Семенов встречался с ней на улице, а не в школе; дома у него Нина Александровна ни разу не была, так как Марк жил на квартире у полусумасшедшей старухи, сдающей комнаты приезжим учащимся. Марк родился в крохотной деревеньке Тискино. Не случайно, види-

мо, существует афоризм: «Поэты рождаются в Руане, а умирают в Париже».

— Здравствуйте, Марк. Как дела?

— Обычно, Нина Александровна.

Хотелось взять у Марка Семенова автограф, позвать его в гости или расспросить о жизненном пути, как это любят делать читатели при встрече со знаменитыми писателями. Ведь только позавчера Марк легко и изящно решил самую сложную из всех задач, которые специально присылали для него из новосибирского Академгородка, и дело пахло тем, что решенная задача могла стать основой кандидатской диссертации будущего академика Семенова.

— Я сегодня не приду на занятия,— сказал Марк.— Начинаются головные боли... Рано! До первого весеннего месяца еще далеко, а у меня уже по-майскому болит голова.

— Сходите к врачу, Марк.

— А что врачи?.. К богу, родителям и математике надо обращаться, Нина Александровна... До свидания!

— До свидания, Марк! Болейте спокойно.

— Спасибо!

Горчицкая желтизна понемножку линяла, снег, наоборот, начал голубеть, солнце было оранжевое, словно мандарин; прохожих было уже много — начался час пик, когда весь поселок спешил на работу; гудели автомобили, тракторы, мотоциклы и прочий моторный сброд, создающий нервное ощущение торопливости, зуда в пальцах и стремление не идти, а бежать. Именно поэтому Нина Александровна еще сильнее прежнего замедлилась, высчитав, что до начала урока оставалось целых двадцать пять минут, сунула руки в карманы, чтобы идти прогулочной походкой и дышать глубоко, спокойно. Однако прежнего покоя не было: хотелось спешить, опаздывать, ежесекундно глядеть на часы и вспоминать забытое, несделанное, незаконченное, и это происходило в поселке Таежном — что же делается в столице!

Нина Александровна неожиданно обнаружила, что идет не в школу, а в контору Сергея Вадимовича. Она решительно поднялась по шести ступенькам, прошагала стремительно по звонкому коридору, пахнущему пылью и солидолом, открыв двери приемной, поздоровалась и сухо потребовала у секретарши Ирины:

— Мне нужен Сергей Вадимович!

— У Сергея Вадимовича заседание, через десять минут он едет на плотбища, но для вас, Нина Александровна...

Сергей Вадимович был вызван в приемную; выбежав из кабинета с изжеванной сигаретой в зубах, он на Нину Александровну поглядел пустыми глазами.

— Что случилось?

— Ничего! — медленно ответила Нина Александровна и улыбнулась, прикрыв рот ладонью.— Представь, я забыла, почему зашла к тебе. Наверное, пожелать счастливой поездки... До свидания!

— Будь здорова! Я все-таки не понимаю...— сказал Сергей Вадимович, но, скрываясь в кабинете, браво крикнул: — Желаю вам больших творческих успехов! — то есть, как всегда, ерничал.

Нина Александровна с хорошим настроением, совсем повеселевшая, выбралась из учрежденческого коридора, забывшись, потопала на крыльце сапогами так, словно не выходила из конторы, а входила в нее, когда полагается стряхивать с сапог снег. Заметив свою ошибку, она вслух засмеялась и уже быстро, устремленно и бездумно пошла в школу, где ей предстояло дать отличный, запоминающийся

урок, сулящий сделать ее после всех неприятностей привычно счастливой.

Она уже была на полпути к школе, когда из узкого переулочка без палки, с гордо закинутой головой вышагал экс-механик сплавной конторы Анатолий Григорьевич Булгаков, выбрасывающий вперед ноги таким образом, каким, наверное, разгуливали щеголи прошлого века по улицам Петербурга. Да, да и еще раз да! Булгаков походил на ледачок, который раздавливает стальным форштевнем толстый лед, но что это с ним произошло в ту самую секунду, когда экс-механик заметил энергично шагающую Нину Александровну? Что с ним случилось, если, вместо того чтобы еще больше выпятить грудь, Булгаков вдруг ссутулился и стремглав юркнул в тот же узкий переулочек, из которого вышагал павлином?

От удивления Нина Александровна остановилась... Что на самом деле произошло с Булгаковым? Уж не сдался ли он на милость победителя? А?! Ась? Как все это было интересно!

5

Сергей Вадимович с плотбищ приехал поздней ночью; «газик» за окном зарычал по-звериному, свет фар метнулся по комнате, обрисовав узор на занавесках, и Нина Александровна, накинув на халат шубу, пошла встречать мужа. В синей и холодной темноте он сбивал снег с валенок, уши зимней шапки болтались, на Сергее Вадимовиче было полупальтишко, и в этом наряде он казался низкорослым.

— Уйди, уйди, простудишься! — бодро закричал Сергей Вадимович, но голос у него от усталости был тонким и хриплым. — Уходи, хозяйка, пока не огрел по шее веником!

Было ясно, что Сергей Вадимович за несколько дней изъездил на «газике» добрую тысячу километров, переговорил с сотнями людей, отсидел на десятке совещаний и собраний, ел всякую столовую дрянь, курил беспрерывно и постоянно нервничал из-за плана, недисциплинированности, ошибок местных руководителей. Между тем, войдя в собственный дом и раздевшись до майки, он состроил потешное лицо и, зная, что Борька с Вероникой спят мертво, таежным голосом закричал:

— Здорово, Нинка! А ну рассказывай, как жила, как берегла мужнину честь, как спала и с кем гуляла?

— Здорово, Сережа! — ответила она, смеясь и поеживаясь от холода, которым несло даже от полуголого мужа. — Давай-ка, товарищ из глубинки, подожди, пока я нагрею воду. А сейчас долой эту грязную майку и — боюсь представить какие — кальсоны!

— О невыразимых ни слова! — опять закричал он. — Мне известно, что ты не перевариваешь мужчин в невыразимых, но попробуй-ка, гражданочка, поехать по плотбищам в белых трусах польского производства...

От всего этого: рычания отъезжающего «газика», опять полоснувшего светом фар по окнам, белых, оскаленных от радости зубов Сергея Вадимовича, мороза, исходящего от него, таежных криков, крепкого тела под грязноватой майкой, валенок, пахнувших хвоей и бензином, — в доме сделалось шумно, парадно и так тесно, словно в комнату ввалилась бригада грузчиков, волоча на лямках роля.

— Мыться, кормиться и спать! — рычал Сергей Вадимович, натужно снимая валенки, под которыми была намотана чертова уйма байковых портянок да надеты шерстяные носки, натянутые к тому же на вигоневые, чтобы не намозолить пальцы. — Про конторские звонки мне все уже известно по рации, так что отвечай, хозяйка, кто

и откуда звонил на дом героическому механику Таежнинской сплавной конторы. Это во-первых! А во-вторых, соопчи беззаветному труженнику, какие письма получены, какие журналы пришедши... Черт возьми эти валенки — словно примерзли. Кстати, поступил ли очередной номер журнала «Вокруг света»?

Нина Александровна задумалась, вспоминая.

— Никаких чрезвычайных звонков не было, — наконец ответила она. — Получено два письма: одно от Прончатова, второе от твоих родителей... Журнал «Вокруг света» поступил и лежит на ночной тумбочке. Вот, кажется, и все...

— Ура-ура-ура! — обрадовался Сергей Вадимович. — На сон грядущий мне изволишь вслух почитать с конца любезный моей душеньке журнал «Вокруг света»! Жизнь прекрасна и удивительна... А как Борька?

— Здоров и шалит.

— Еще один раз «ура»...

Она стояла и внимательно наблюдала за тем, как Сергей Вадимович, натуживаясь до красноты и тяжело дыша, пытался снять второй валенок, а ей, деревенской жительнице, и в детстве и в зрелые годы десятки раз доводилось наблюдать за тем, как женщины, опустившись перед мужем на колени, помогали ему, усталому от дневных трудов кормильцу, снять тугие сапоги или валенки. И если признаться начистоту, то Нине Александровне сейчас хотелось сделать то же самое: опуститься перед Сергеем Вадимовичем, по которому она соскучилась, на колени, произнося ласковые слова, снять с него валенки и засаленные стеганые брюки, а потом посадить Сергея Вадимовича в ванну и вымыть его наконец-то собственными руками с ног до головы, как когда-то Борьку. Вот какие желания ощущала Нина Александровна Савицкая, но вместо этого она насмешливо сказала:

— Мне, оказывается, не придется греть воду... Слышишь, что творится на кухне?

— Сейчас послушаю... вот только стяну этот проклятый валенок... Ага, поддается, холера, пошел, язви его в корень... Уф, как хорошо держать босые ноги на теплом полу!.. Так что же делается в кухне? А! Содом и гоморра...

И действительно: повернувшая свой курс по отношению к Сергею Вадимовичу на сто восемьдесят градусов, домработница Вероника производила рабочий шум — готовила плитку и тазы для нагревания воды.

— Не Вероника, а тайфун! — еще раз послушав кухонные звуки, опять закричал Сергей Вадимович, но на этот раз объяснился: — А вы знаете, гражданочка, почему я кричу? Да потому что набегался по тайге на лыжах... Надобно вам доложить, Нинусь Александровна, что снега ноне выпали такие, какех, как говорил мне дед Абрам на Коло-Юле, опосля первой ампералистической он не видывал... «До того, говорит, сурьезный снег, что сам заяц в ем путается, а глухарь из такех снегов по утрам ель жив выбирается!» Потом дед Абрам заявил, что такой снег к хорошим хлебам, а вот сплавщику придется плохо: «Как бы, Вадимыч, весенняя вода лесок по сорам не растащила. Ты за эфтим делом поглядай в обои гляделки!»... И он прав, черт возьми! Весной придется держать ухо остро... Слушай, а для чего я начал все это рассказывать?

Она радостно улыбнулась:

— Чтобы объяснить, почему ты кричишь...

— А! Так вот я потому и кричу, что находился по тайге на лыжах, где обычными голосами не общаются... Есть ко мне вопросы? Нет! Что тогда прикажете делать?

Нина Александровна уже было открыла рот, чтобы сказать Сергею Вадимовичу, что надо дождаться горячей воды, как в дверь постучали, и, получив разрешение, домработница Вероника вплыла в комнату.

— С благополучным прибытием вас! — сказала она и низко, по-бабьи поклонилась. — Вода уже готовая, Сергей Вадимович, так что можете мыться. И щи с котлетами разогрела... Ой, эти портянки сейчас же возьму да по утрянке выстираю!

Шел четвертый час ночи, Вероника уснула около одиннадцати, с момента появления «газика» за окном прошло минут восемь, но на домработнице было надето одно из ее лучших платьев, на фартуке горели диковинные цветы, волосы, пепельные и густые, были уложены в замысловатую прическу, лицо напудрено, губы накрашены, круглые руки соблазнительно обнажены.

— Так пожалуйста мыться, Сергей Вадимович! Вода уже в большую деревянную ванну налита, как бы не остыла... А я, Нина Александровна, пока с вами посижу, чтоб после мытья их покормить... Так что вы можете ложиться, Нина Александровна! — И вдруг хихикнула. — Постельку нагреете, пока Сергей Вадимович моются да кушают... Больше вам сейчас делать нечего, Нина Александровна...

Вероника сегодня разговаривала почти на таком же местном языке, каким разговаривал с Сергеем Вадимовичем коло-юльский дед Абрам, но от нового платья пахло тонкими духами, губы были подкрашены искусно, без перебора, тоненькая цепочка с крестиком, опоясывающая гладкую и белую шею, была к лицу и платью; одним словом, говорящая на местном наречии домработница Вероника внешне была ультрасовременной. И, наверное, оттого, что Вероника перешла на родной говор, а привычную с детства работу выполняла по собственной охоте, лицо у нее было доброе, славное, домашнее. У нее было такое лицо, что, поглядев на Веронику, Нина Александровна поднялась, ласково кивнув мужу, пошла ложиться.

— Я на самом деле полежу, Сергей, пока ты моешься и ешь.

— Решение правильное и обжалованию не подлежит... Только не захажывай мой журнал «Вокруг света»!

Когда Нина Александровна забралась под одеяло, а Сергей Вадимович, босой и сизый, ушел в кухню, Вероника демонстративно шумно и зло брякнулась в любимое кресло хозяйки, схватив со стола журнал, взялась разглядывать латышские моды с таким лицом, словно была смертельно обижена тем, что не может пойти в кухню вместе с Сергеем Вадимовичем, чтобы помочь ему вымыться.

Нина Александровна думала о том, что Серафима Иосифовна Садовская, наверное, права, когда ищет счастье «в простом, как мычание»... Это ей, Нине Александровне, знавшей от диспетчера о сегодняшнем возвращении Сергея Вадимовича, следовало встретить мужа в своем лучшем платье, пахнуть тонкими духами, поблескивать ниточкой жемчуга и сгорать от счастья и нетерпения. Нице Александровне — это теперь было предельно ясно — надо было, встав перед Сергеем Вадимовичем на колени, снять с него тугие валенки, собственноручно вымыть мужа в деревянной ванне, накормить его щами и котлетами, причесав мокрые волосы, уложить в кровать. Все это было бы таким же счастьем, какое она испытывала от крошечного Борьки, но она ничего не могла поделать сама с собой — по-прежнему лежала в постели, словно гостя, а в деревянной ванне одиноко сидел ее собственный муж и никак не мог потерять губкой усталую от дорог и лыж спину. «Может быть, я не люблю Сергея? — откровенно спросила себя Нина Александровна, но тут же твердо и определенно ответила: — Я его люблю!» А еще через несколько минут в ее раздер-

ганные, беспорядочные мысли вклинилась одна из самых примитивных, базарно-крикливых и самолюбиво-тщеславных мыслей. «Почему,— спросила себя Нина Александровна,— почему я должна тереть Сергею Вадимовичу спину и подавать ему котлеты, если я сама сегодня дала четыре урока, посетила два ученических дома и проверила тетради двух классов? Я ведь...»

Настенные часы зашипели, потом мелодично и бойко пробили четыре раза, а Нина Александровна все лежала и лежала под огромным одеялом с кружевным пододеяльником, купленным когда-то первым мужем Алексеем Евтихиановичем, любившим в те годы кружева, коврики и прочие мещанские побрякушки. «Надо бы как-нибудь повидаться с ним»,— подумала Нина Александровна и почувствовала некоторое облегчение. Может быть, после еще одной встречи с пресупевающим и счастливым Алексеем в ней самой что-нибудь возьмет да и переменится. Чем черт не шутит! Ведь не без помощи бывшего мужа, которого она увидела в образе бога и дьявола районной больницы, у нее возникло такое острое желание опуститься перед Сергеем Вадимовичем на колени, чтобы стать слабой, очень слабой... Чем черт не шутит, а! Вдруг после еще одной встречи с Замараевым его бывшая жена Савицкая почувствует в самой себе облегчающее чувство женской слабости? Ведь никто, кроме самой Нины Александровны, не знает, как тяжело и больно ощущать себя с утра и до вечера, с вечера и до утра сильным человеком!

Нина Александровна проснулась поздно, в одиннадцатом часу. Муж, сын и домработница, видимо, своевременно отправились из дому, а вот она неожиданно и позорно проспала, чего давно не случилось, и было неприятно, как выговор по служебной линии. Тихо, пустынно, но вот это что такое? Нина Александровна набросила халат, вышла в коридор, где остро пахло Вероникиным потом, на полу валялось вышитое крестом деревенское полотенце, а из кухни — это, оказывается, не ветер раскачивал ставни — доносились ухающие рыдания Вероники. Поморщившись, Нина Александровна вернулась в свою комнату, но домработница, услышавшая, вероятно, шаги хозяйки, мгновенно догнала ее.

— Нина Александровна, ми-и-и-лая! — зарыдала Вероника, заламывая руки и опускаясь на коврик возле дверей.— Нина Александровна, ой, простите меня, глупую, ой, простите меня, неразумную! Да зачем мне это среднее образование, когда Галка моего Валерку увела... Они через воскресенье расписываются! Ой, нет мне жизни-жизнюшки, ой, какая я несчастная-несчастливая!

Тело красавицы коровинско-ренуаровского вкуса крупно вздрагивало, точно внутри рвались маленькие бомбочки, слез у Вероники было так много, что ими можно было умыться с головы до ног, распухший нос занимал добрую треть круглого лица; она лежала на коврике, как груда поверженного здорового мяса.

— Ой, Нина Александровна, да мне хоть завешайся!

Подобно деревенскому полотенцу, оброненному в коридоре, Вероника имела безупречно селянский вид, плакала истинно по-бабьи, а Нина Александровна с открытой завистью думала: «Тебе, голубушка, вешаться нечего, ты, голубушка, через три дня найдешь другого Валерку... В тебе жизненной силы на десять баб!» Однако Вероника продолжала рыдать и отчаиваться, причитать и наслаждаться своей несчастью:

— Ой, да мне лучше утопиться, чем так жить, ой, да мне нет покоюшки на этом белом светушке! Ой, да...

Она рыдала в течение всего того времени, пока Нина Александровна неторопливо, с толком переодевалась в домашнее; потом же,

когда на хозяйке оказалось легкое ситцевое платьё, модное и красивое, Вероника вдруг села на коврик, широко раскинув в стороны толстые ноги, начала деловито причёсываться и прихорашиваться. Карманное зеркальце она оставила на кухне в сумочке, поэтому ей пришлось подкрашивать губы на ощупь, и сделала она это очень ловко. Затем Вероника трижды энергично вздохнула, словно выпуская из себя остатки воздуха, необходимого для воплей и рыданий.

— Щенка я вам принесла,— сказала она.— Счас приволоку.

Резво вскочив, Вероника умчалась на кухню, чем-то громыхнув по пути, через три секунды возникла на пороге с большой черной сумкой в руках, застегнутой на замок, но не до конца, а так, чтобы оставалась щелочка для воздуха.

— Если вы меня не прогоните, Нина Александровна,— деловито сказала Вероника,— то щенка назовем Верный, как у моей тетки Фроси... Гадить он, конечно, будет, но ничего — до весны недалеко. А там мы Верного на улку выселим. Пускай себе шерсть погуще наживает.

— Покажите-ка вашего щенка!

— Да вот он, Вернеюшка, да вот он, лапушка!

Вероника до конца расстегнула замок-«молнию» на сумке, распахнула створки, но щенка не было — вместо него Нина Александровна увидела старые иностранные журналы с цветными картинками и фотографиями.

— Это я у Зиминной наворовала,— театрально потупившись, сказала Вероника.— Они всякую дрянь собирают, так я немного увела...— Домработница скорбно вздохнула.— Очень люблю иностранные журналы...

— Щенок! Щенок где?

Серый, круглый, беспородный щенок лежал под грудой иностранных журналов и сладко спал. Размером он был с Борькину рукавичку, но действительно такой пушистый и круглый, что было трудно понять, где у щенка начало и где конец. Когда Вероника вытрясла его на коврик, он повертел коротким хвостиком, но не проснулся — правда, левый глаз у него на секундочку сделался тонюсенькой щелочкой. Тем не менее щенок остался лежать на коврик в том положении, в каком его вытрясла Вероника,— с неловко подвернутой лапой и свернутой набок головой.

— Вот какие мы лапушки, вот какие мы важные, вот какие мы хорошие! — нежным голосом пропела Вероника и вся засветилась.— Вот как мы спим, напившись молочка-то! Вот какие мы сытенькие!

Нина Александровна, усмехаясь, с удовольствием глядела на такого как раз щенка, какого давно хотела иметь: серого, пушистого, беспородного, вальяжного и сонного.

— Ой, Нина-а-а-а Алекса-а-а-андровна! — по-обычному удивленно и мило протянула Вероника.— Ой, Нина-а-а Алекса-а-а-андровна, что делается! Что делается... Я вчера пошла бить Гальку Семенову, вытащила ее, заразу, из клуба и говорю: «Сейчас я тебе твои длинные косы-то повыдергиваю!» А она мне и отвечает: «А повыдергивай! Повыдергивай!» И ка-а-ак заплачет, как заплачет: «Возьми мои косы, возьми! Избавь меня. Валерка все равно опасается на мне жениться...» Это что же такое, Нина Александровна? Это как же так, что такая красота — лишнее? Ведь Галька сильно красивая, хотя Светка Ищенко еще покрасивше... А я после Светки и Гальки — третья по красоте-то.

— Вы побили Семенову?

— Да ну ее... Отпустила.

В комнату вошел Борька, удравший с физкультуры, увидев на

коврике щенка, остолбенел, перестал дышать, затем медленно подошел к нему, бесцеремонно схватив за шерсть, поднес к глазам.

— Так!— деловито сказал Борька.— Так! Это, мам, кобель, по всему виду, что кобель. Он нам щенят приносить не будет, чтобы их не топить в ведре... Ну да, конечно, это кобель! А чем это от него так пахнет? Ах, какими-то духами!.. Мы его назовем Мухтаром, как в кино... Мам, ты мне разрешишь щенка назвать Мухтаром?

«Первый звонок! Первый звонок!» — почему-то думала Нина Александровна...

6

Очередная оттепель закончилась так же неожиданно и резко, как и началась, сороки опять сделались сороками, а не воронами от грязи, дороги обледенели, могучие лесовозные «МАЗы» теперь не буксовали, а при резком торможении, грозя гибелью всему живому и неживому, повергались чуть ли не на триста шестьдесят градусов; на сорах и веретях, по которым шла любимая лыжня Нины Александровны, образовался крепкий ледяной наст из тех, которые не способны пробить копытами олени в поисках ягеля, а лоси становятся беззащитными перед охотниками — не могут убежать от собак по зеркальной поверхности снега, на которой разъезжаются копыта. После оттепели, однако, мороз начал дозимовывать несильный, умеренный, человеческий, как бы созданный для того, чтобы взбадривать и подгонять взрослых, радовать чистым льдом ребятишек и порой — на секундочку! — приносить с ветром захлебывающийся запах далекого, в сущности, апреля.

В один из таких дней Нина Александровна одна-одинешенька сидела в учительской, проверяла тетради девятого «а», когда в двери деликатно — по-ученически — постучали, и после возгласа Нины Александровны: «Входите же!» — в комнату медленно проник Анатолий Григорьевич Булгаков.

— Мне бы товарищ Савицкую, — незряче глядя на Нину Александровну, сказал Булгаков и потыкал тростью в пустоту. — Не могу ли я увидеть товарищ Савицкую? — повторил он маниакально-настойчивым голосом. — Мне надо срочно поговорить с товарищ Савицкой...

— Я слушаю, Анатолий Григорьевич! Бог с вами!

Нина Александровна не видела Булгакова всего четыре дня, но как он за это время похудел, побледнел, осунулся; одежда висела мешком, под глазами синяки, рот провалился, так как Анатолий Григорьевич, наверное, забыл вставить искусственную челюсть — зубы у него выпали давно, еще в годы молодости, когда инженер-выдвиженец Булгаков болел цингой на заснеженных перепутьях Крайнего Севера.

— Мне нужно с вами поговорить с глазу на глаз, — прошамкал Булгаков, приближаясь к ней падающими шагами. — Сделайте одолжение — поговорите со мной с глазу на глаз...

— Конечно, конечно, Анатолий Григорьевич! Но ведь здесь, кроме нас, никого нет... Мы одни. Мы одни, понимаете, Анатолий Григорьевич?

— Да, да, да... Понимаю, понимаю. Спасибо!

Сев на скрипучий стул, стоящий под рисунком трепанированного черепа, которому какой-то хулиган подрисовал усы, Анатолий Григорьевич уронил голову на грудь так, как она, наверное, падает у казненного через повешение.

— Случилось большое несчастье, — вяло сказал он желтому щелястому полу, — очень большое, непоправимое несчастье... Я в отчаянии... Я просто в отчаянии...

— Что случилось, в конце концов, Анатолий Григорьевич? Говорите же! На вас лица нет! Рассказывайте же, я вас прошу...

Булгаков застонал, перекосившись, полез дрожащей рукой в карман широких брюк, слепо и нервно тычась, наконец нашел то, что искал.

— Вот что я обнаружил в столе у Лили и... прочел! Прочел, так как случайно поймал глазами сразу три строчки... Потом не мог остановиться... Поймите, я не мог не прочесть все, после того как прочел сразу три строки... Это ее дневник!

Неживым, лунатическим движением Анатолий Григорьевич протянул Нине Александровне общую тетрадь в коричневом дерматиновом переплете и толстым ногтем отчеркнул три строки, в которых было написано: «...расскажу о своих родителях, так как они у меня очень подходят под этот распространенный тип «самоотверженных», «влюбленных в свое дело»...»

— Это копия письма подруге, которую Лиля по-о-дклеила в свой дневник,— сказал Булгаков, осторожно кладя палку на пол.— Какой ровный, четкий почерк... Муторно мне, Нина Александровна, ох как муторно!..

Н-да! Не существовало сейчас на земле того Булгакова, который умел потрясать рыком громадные кабинеты, был способен трое суток не есть и не спать, объезжая плотбища, в пенсионном возрасте содержал тридцатилетнюю любовницу, храбро и успешно боролся за новый дом с тем самым Лариным, который был одним углом дружеского треугольника Цукасов—Прончатов—Ларин, умел ходить походкой английского лорда и так кашлять, что все окружающие почти-тельно замолкали.

— Лиля подклеивает в дневник все письма вот такого рода,— сказал он, по-прежнему глядя в пол.— Почерк у нее машинный...

Нина Александровна задумчиво прогулялась по учительской, остановилась, подумала.

— Хорошо!— наконец сказала она энергично.— Я прочту это письмо, но больше ничего читать не буду... Чужой дневник...

— И не надо! — выдохнул Булгаков.— Это письмо... А, да что там говорить! Читайте, а я постараюсь прийти в себя...

Вот что писала своей старшей подруге Татьяне Валовой, студентке Ромского университета, ученица девятого «б» класса Лиля Булгакова:

«Привет, Татьяна! Прости, что долго не отвечала. Вздохнуть некогда. А сейчас навязали подготовку концерта к 8 Марта. Но ничего не поделаешь! Надо уж до конца держать марку, хотя вся эта школьная возня мне осточертела. Скорей бы экзамены и наконец — десятый класс! А тут еще наша мудрая Нинусь Александровна в союзе с наивной Люцущкой, преподавательницей литературы, вдруг заинтересовались, «чем мы дышим». Эта уродливая Лю, как зовет ее роскошная баба Нинусь Савицкая, задала домашнее сочинение на тему «Кого в жизни, в литературе или кино я считаю своим идеалом?». Некоторые ребята расписывают своих пап и мам, бабушек или дедушек, скромных героев наших будней. Вероятно, и я расскажу о своих родителях, так как они у меня очень подходят под этот распространенный тип «самоотверженных», «влюбленных в свое дело»... Но они вовсе не мой идеал. Живут отраженной жизнью на сцене, а что у них под носом — не замечают. Тетя Клава зовет их «блаженненькими чудаками». Денег получают много, а в доме ни современной мебели, ни модной одежды, ни дорогой посуды. То маминим старикам посылают, хотя у них приличная пенсия, то разным двоюродным, троюродным племянникам-студентам помогают, то отчисляют в какой-то фонд. Пред-

ставляешь? Мама принципиально делает себе в год только одно платье.

Отдыхаю душой лишь у тети Клавы, в райцентре. Она там управляет комиссионкой. В субботу прямо из школы на автобус, еду к ней, а в понедельник она на своей машине подвозит меня в школу. Ребята из класса насмешничают, а мне что — ясно, завидуют. Когда мои предки уезжают отдыхать — представь себе, на деревню к дедушке! — я совсем перебираюсь к тете Клаве. Как будто в другой мир попадаешь. У нее своих детей нет, и она ничего для меня не жалеет. Все мои лучшие костюмы — ее подарки. Она часто говорит: «В жизни нельзя зевать, Лилечка! Живем-то один раз»... Я тоже так думаю. Одно мне досадно: зачем она, умная, красивая, в тридцать лет вышла замуж за шестидесятилетнего директора рыбозавода? Впрочем, это ее дело. Но я хочу светить собственным светом. Сама добыть славу, почет, богатство. Никому дорога не заказана, были бы способности и желание. А всякие там идеалы — это удел сентиментальных барышень XIX века. Теперь, чтобы достигнуть цели, нужны знания и знания. Конечно, я напишу «правильное» сочинение. Мне нужна медаль.

Как ты? Хорошо ли сдала сессию? Я твердо решила тоже в университет на мехмат... Ой, Татьяна, знала бы ты, какая роскошь наша классная дама Ниночка Савицкая! Красивой ее, пожалуй, не назовешь, но шарма в ней, как в Софи Лорен или в Маньяни. Вот эта своего не упустит! Была замужем за хилым врачиком на сто десять рублей зарплаты, потом сделала вид, что он ее бросил, и выжидала своего часа до того дня, пока в Таежное судьба не забросила лакомый кусочек — разведенного механика сплавной конторы. Не мужик, а объеденье! Этот через три года пойдет в область, а там и в столицу нашей Родины! Вот у кого я учусь — у Нины Савицкой! Умная, образованная, прекрасно одетая, сильная, злая, мудрая... Ой, я могу о Нинусь говорить часами, но времени у меня в обрез! Сяду писать школьное сочинение о своем родителе, который сейчас отвоевывает новый дом с ванной — моя хрустальная мечта! — но не потому, что хочет жить в роскоши, а потому, что паче всего для него важен престиж, который денежного выражения не имеет. Итак, напишу, какой у меня самоотверженный, идейный и высокоидейный папаша, не сказав, естественно, ни слова о том, что он обзавелся любовницей, которая от него тоже имеет фиг с маслом! Ну, до скорого твоего письма, Татьяна! Твоя еще наивненькая по-таежнинскому Лилетта Булгакыдзе!»

— Вот и все! Вот и все! — прошептал Булгаков, когда Нина Александровна опустила на колени тетрадь. — Вот и все!

До звонка оставалось минут десять, в учительскую уже ящерицей прошмыгнула и села под фикус, чтобы казаться незаметной, преподавательница истории Екатерина Викторовна Цырина, наперсница и наушница директрисы Белобородовой, одинокий, лишенный человеческого дружба и тепла человек, и Нина Александровна показала глазами на дверь. Булгаков сразу понял ее и уже на лестничной клетке сказал:

— Мне polegчало, что вы прочли письмо, Нина Александровна. Супруге я показать дневник не мог, а одному переваривать написанное... Вы сами понимаете, как это трудно... — Он распрямился, помолчал, повертев трость, твердо уперся на нее обеими руками. — Что будем делать, Нина Александровна, с Лилей? Я со страхом думаю, что поздно... Поздно я узнал, какой человек вырос из той Лильки, которую я любил и люблю больше сыновей... Она росла самой послушной, умной и благополучной. Никаких хлопот... Вы это прекрасно знаете...

Булгаков говорил о дневнике дочери, вспоминал, какой она росла, а Нина Александровна думала о его словах: «...одному переваривать

написанное... Вы сами понимаете, как это трудно...» Каково же сейчас сидеть под фикусом всегда одинокой преподавательнице истории Екатерине Викторовне Цыриной? В палачи пойдешь, не то что в наушницы, только оттого, что тебе не с кем поговорить из пятидесяти двух преподавателей таежнинской средней школы № 1. А дома у Цыриной — парализованная глухая мать, а мужа Цыриной убили в сорок третьем, а дочь Светлана живет в Ленинграде.

— Что будем делать с Лилей? — почти неслышно спросил Булгаков, пораженный необычным выражением лица Нины Александровны. Оно было по-детски добрым, тронут нежностью, задумчиво и поразительно тем, что казалось помолодевшим чуть ли не вдвое. — Я очень надеюсь на вашу помощь, очень надеюсь, Нина Александровна!

— Вы сказали дочери, что прочли ее дневник?

Булгаков засопел.

— Да! — ответил он с горечью. — Мало того, Нина Александровна, я сказал Лиле, что прочту письмо вам, чтобы вы знали, какой лицемерной двурушницей является моя плоть от плоти.

Еще не менее четырех минут оставалось до звонка с очередного урока, но уже из всех классов доносился стук крышек парт, успокаивающие окрики преподавателей, нетерпеливый шорох подошв — все это объяснялось тем, что в начале семидесятых годов у каждого второго мальчишки или девчонки в таежнинской школе имелись наручные часы, идущие более точно, чем те, по которым техничка тетя Паша нажимала кнопку электрического звонка. Предпеременный шум был всегда ненавистен Нине Александровне, но сейчас она едва обратила на него внимание.

— Я еще не знаю, плохо вы поступили или хорошо, — честно призналась она и задумалась на несколько секунд. — Однако я считаю, что мы не имеем права на бездействие. И будьте уверены, Анатолий Григорьевич, я никогда не вспомню о той нелестной оценке, которую дала мне Лиля.

— Я знаю, — медленно сказал Булгаков, — я знаю давно, что вы порядочный человек.

— Спасибо! — поблагодарила Нина Александровна и улыбнулась. — Однако этот порядочный человек не пустит вас даже на порог нового дома!

И сразу после этих слов — минутой позже точного времени — раздался звонок на перемену, такой радостный для учащихся и такой досадный для любящих свое дело учителей.

— До свидания, Анатолий Григорьевич. Будем действовать сообща. Заходите, позванивайте...

Белобородова давала урок истории в одном из десятых классов; как только прозвенел звонок, она нашла Нину Александровну и вручила ей ключ от своего кабинета: «Желаю успеха! Лиля Булгакова — крепкий орешек. Ты с ней не церемонься, Нинусь Александровна». И ушла, помахивая длинной указкой, а Нина Александровна стала ждать, когда школа совсем затихнет. Вот уже захлопнулись все двери, пробухали шаги опаздывающих, учительская опустела, и можно было идти, но Нина Александровна продолжала сидеть неподвижно, вращая надетый на палец ключ от кабинета директрисы. Если честно признаться, она не знала, о чем будет разговаривать с Лилей Булгаковой — не было ни первой фразы, ни последней, было только раздражение на нее да недовольство собой. Вместе с тем надо было идти, и Нина Александровна неохотно поднялась.

Лиля Булгакова смиренно стояла на лестничной клетке, шелковые банты в ее косах были непорочно белы, выражение лица невинное; коричневый портфельчик она трогательно, словно первоклашка, прижимала к бедру. Увидев Нину Александровну, Лиля широко и радостно распахнула красивые глаза, вся — с ног до головы — засияла радостью.

— Ой, Нина Александровна, а я уж думала, что вы не придете!

Нина Александровна облегченно вздохнула: ни в голосе, ни в позе, ни в движениях, ни во взгляде Лили Булгаковой не было ничего естественного. От всего веяло такой фальшью, таким презрением и к преподавательнице и ко всему на свете, что у Нины Александровны совсем улучшилось настроение. Она движением головы приказала Лиле следовать за собой, не сразу от злости попала ключом в замочную скважину, а по кабинету прошла такой энергичной походкой, что половицы жалобно заскрипели. Нина Александровна села на стул Белобородовой, положив обе руки на стол, коротко взглянула на Лилю.

— Вы знаете, зачем я вас пригласила?

— Еще бы! — быстро ответила Лиля и картинно тряхнула непорочными бантами. — Вы собираетесь за тридцать — сорок минут убедить меня в том, что человечество состоит из донкихотов и гамлетов, а я, Лиля Булгакова, выродок. Кроме того, вы обижены мною... — Она ослепительно улыбнулась. — Я готова выслушать любую нотацию, а если хотите, Нина Александровна, покраснею еще до того, как вы начнете меня стыдить и корить... Ну, хотите, покраснею?

Нина Александровна выжидательно молчала, а Лиля Булгакова, хихикая и торжествуя, начала краснеть. Сначала словно помидорным соком налились мочки ушей, потом стали розоветь щеки и розовели до тех пор, пока не съездились пунцовыми; одновременно с этим налились горячей искренней влагой прекрасные Лилины глаза, в уголках появилось по слезинке.

— Видите, как это делается, Нина Александровна! Вот как мне стыдно за то, что я написала в письме к подруге...

Нина Александровна посмотрела на свои пальцы; на мизинце левой руки синело чернильное пятнышко, на указательном пальце правой, оказывается, краснела царапина, но в остальном пальцы Нины Александровны Савицкой казались безупречными — длинными, тонкими, холеными. «Преуспевающие пальцы», — подумала она мимоходом и только после этого опять посмотрела на Лилю Булгакову. Девушка сидела прямо, слезинки глицериновыми каплями посверкивали в уголках ее глаз, щеки оставались красными.

— Лиля, — тихо сказала Нина Александровна, — объясните, пожалуйста, отчего вы меня боитесь.

Они сидели в пяти метрах друг от друга, но Нине Александровне казалось, что она ощущает жар Лилиных щек, биение синей жилки на нежном виске девушки, ее смятение и растерянность. «Я сейчас, наверное, выгляжу шестидесятилетней старухой, — замедленно подумала Нина Александровна. — Такой старухой, которая все знает, но ничего не хочет...»

— Я жду, Лиля, — лениво напомнила Нина Александровна. — Говорите же...

Усталость навалилась сразу, порывом, словно из кабинета выкачали воздух и стало нечем дышать; хотелось по-рыбьи разинуть рот, биться о что-нибудь твердое или мгновенно уснуть — все годилось сейчас, когда Нине Александровне померещилось, что вместо Лили Булгаковой на расшатанном стуле сидел главный механик Таежнин-

ской сплавной конторы Сергей Вадимович Ларин. Он любил купаться в проруби при тридцатиградусном морозе, не задумываясь перебежал реку по скользким бревнам, четыре года назад отбил от волка с волчицей гаечным ключом, а несколько дней назад у него были такие же глаза, как у Лили...

— Вы правы, Нина Александровна,— уронив руки на колени, незнакомым голосом произнесла девушка.— Я вас боюсь, хотя не знаю почему... Вы не кричите, не наказываете, но... Я вас очень боюсь!

Тусклый свет серенького дня походил на электрический: казалось, что в кабинете включены лампы дневного света, мертвенного и холодного. Нина Александровна поежилась, ощущая по-прежнему недостаток воздуха в кабинете, дважды глубоко вздохнула; легче от этого не стало, но вспомнилось о том, что на дворе полдень.

— Говорите, Лиля, говорите,— жалея девушку, сказала Нина Александровна и поморщилась оттого, что собственный голос показался чужим.— Говорите, вам будет легче...

Нет, Нина Александровна ошибалась: чужим был не голос, которым она произносила обыкновенные слова, а сами слова. Бог ты мой, зачем она упрашивала Лилю говорить, когда в течение четырех лет ежедневно появлялась перед девушкой такой, какой сейчас сидела перед ней,— сдержанной, затаенной, настороженной, готовой когтями и зубами отстаивать себя от макушки до пяток. Что могла сказать Лиля нового, если четыре года смотрела на преподавательницу математики влюбленными глазами, если видела насмешливую улыбку Нины Александровны на диспуте о любви и дружбе; о чем могла говорить Лиля Булгакова, если ее письмо к подруге отдаленно, но все-таки напоминало студенческий дневник самой Нины Александровны? «Молчите, Лиля, молчите!» — вот что надо было говорить девушке, которая от страха перед ней, Ниной Александровной, демонстрировала умение краснеть по собственному желанию...

— Я не знаю, что говорить...— издали донесся до Нины Александровны по-прежнему незнакомый голос Лили.— Делайте со мной все что хотите...

Нина Александровна поднялась, выпрямилась, на несколько мгновений замерла — чувствовала, как она высока ростом, как длинны ее ноги, как пряма шея, как привычно закинута голова; она ощущала упругость собственной кожи, твердой как рыцарские доспехи, напряжение каждого мускула, удерживающего ее на ногах, готовых к стремительному рывку, она даже ощущала, как густы волосы на величественно вознесенной голове...

— Идите домой, Лиля,— сказала Нина Александровна.— И, если можете, поплачьте в подушку...— Она тускло улыбнулась.— Говорят что это сладко — плакать в подушку...

(Окончание следует)



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ



УТРЕННИЕ СТРОКИ

ИЗ ЕЕ БИОГРАФИИ

Шла школьница по сугробам,
где волки. Шла через лес.
Заметена дорога
к родителям в МТС.
Жила она там, где школа,
где надо ей бегать в класс.
За рощею снова голо,
ни вешки, и ночь у глаз.
Тетрадки свои не забыла,
под шубкой несла на груди.
Тридцатые годы. Было
у девочки все впереди.
А время шло круто, круто,
над ней забирая власть.
Студенточка мединститута
на драном трамвае тряслась.
Любовь. И она стороною
хоть поздно, но не обошла...
О ней даже сердце не ноет —
была она и не была.
Шли годы и годы. Вернее,
летели они, а не шли —
под небом тоскливым
над нею
ее журавли.
И слезы свои не напрасно
вдруг вспомнит, грустна и светла...
Я счастлив, что глаз своих ясность
она до меня донесла.

РАЗБИРАЯ АРХИВ

Развязываю тесемки.
Не этого ль папка ждала,
затолканная в потемки
письменного стола?

Не трогал. Казалось, рано
пылить по бумажным полям,

угадывать области, страны
по вылинявшим штемпелям.

Всё письма и письма. Листаю,
уж не подымая лица.
От солнца почти золотая
на кончиках пальцев пыльца.

Архив. Он чего не иссушит,
какие не стонит черты!
Хранятся в нем женские души
гербариями, как цветы.

Но есть и живое в нем имя,
хотя и бесплотно давно.
Лепилось губами моими
в стихах не для тлена оно.

С другою по жизни иду я.
Но если б увидеть могла
ушедшая эту другую,
за голову мою седую
она бы спокойна была.

Все было: дымились поземки,
хлестали дожди по глазам...
У папок архивных тесемки
развязываю
еще сам.

УТРЕННИЕ СТРОКИ

Мне утро торопит строкою строку.
Не славить начавшийся день не могу
хотя бы за то — в том и светится толк,—
что лучиком солнце задело за стол,
задело за стол, прикоснулось к руке...
Его золотинки остались в строке.

ПО НИМ И ДАЛЬШЕ ЖИТЬ...

Семнадцать было, восемнадцать было
когда-то за незримою чертой,
где многое размылось и забылось.
А годы шли все той же чередой.
Тебе за тридцать, нет, уже за сорок.
Спохватишься — уже за шестьдесят,
а там, походки не сбивая скорой,
другие годы по ледку скользят.
Чего не вспомнишь — отошло куда-то
за горы, за туманы, за лета.
Но в жизни есть немеркнущие даты,
дела сегодняшние и мечта.
По ним и дальше жить. Они и есть
твоя судьба... из будущего весть.

ТЕНЬ ШЕКСПИРА

Лицом к лицу стоят два мира
в доспехах тягостных. Не ты,
прославленная тень Шекспира,
а я гляжу на их щиты.

В том веке — копья, шпаги, стрелы
да склянки с ядами, а тут
рванется смерть — и душ бестелых
потом и звезды не сочтут.

Повис, как острием секира,
щербатый месяц в вышине.
Не удайся, тень Шекспира,
дай силы хоть частицу мне!

КУБА

Я с Кубой — взгляд и там не тонет —
беседу мысленно веду.
Она у моря на ладонях
и вся у неба на виду.

Она у той черты неблизкой,
где на посту и быть должна.
На острогранных обелисках
ее святые имена.

Был штурм, каким и был загадан.
От автоматных гильз дымок
у стен казарменных Монкада
рассеяться не скоро смог.

Глядит в зарю над тростниками
страна мечты, страна борьбы,
кубинок смуглыми руками
плетет венки своей судьбы.

РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ

Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куюм мы счастья ключи.

Ф. С. Шкулев.

На стране лежала мгла —
тень двуглавого орла.

Шел булыжной мостовой
с фабрики мастеровой.
Мысль ясна и не ясна.
Значит, снова ночь без сна.
Нелегко, забыв покой,
самоучке над строкой.
Но душа не в кабаке —
мучилась в его строке,

чтобы песнею народ
славил жизни поворот,
чтобы с ней под красный флаг
тверже был рабочий шаг,
чтобы время — под уздцы
с песнею «Мы кузнецы...»,
чтоб «Интернационал»
в ней сестру свою признал.
Но вначале было то:
в куртке, может быть в пальто,
шел булыжной мостовой
с фабрики мастеровой.



ОЛЕСЬ БЕНЮХ

★

ДЖУН И МЕРВИН*

Роман

Часть вторая

1

Стращнее всего — рассвет. Ночь была невольной союзницей обеих сторон. С наступлением же дня хозяевами джунглей становились ветконговцы.

Сквозь черный хаос ветвей начинали медленно проступать фиолетовые пятна утреннего неба. Громче, беспечнее звучали крики птиц. То и дело из джунглей доносились кваканье, стоны, рев и уханье. Почти тотчас стихала беспорядочная ночная пальба. И как страшное, неотвратимое проклятие начинали греметь откуда-то одиночные выстрелы. Бесперывный посвист пуль в темноте никого не пугал. Дневные выстрелы снайперов поражали цель наверняка. Пятнадцать бездыханных солдат и офицеров из отряда Мервина и Дьлды Ричарда были отправлены в цинковых гробах в Сан-Франциско и Сидней, Саутгемптон и Ванкувер. Отряд был сводный. Вот уже третью неделю он безуспешно гонялся за подразделением партизан в нескольких десятках миль от Сайгона. Боевые действия осуществлялись по ночам. Днем приходилось отлеживаться под прикрытием вертолетов.

Впереди едва заметным контуром вырисовывалась чья-то сутулая спина. Мервину казалось, что светает быстрее обычного. С каждым шагом, с каждым движением он все ниже и ниже пригибался к земле. Трудно дышалось. Пот заливал глаза. Ломило ноги, в ушах звенело — давала себя знать многодневная усталость. Наконец, когда двигаться стало совсем невозможно, по цепочке была передана команда залечь.

Сутулая спина нырнула в высокую траву. Мервин упал навзничь, расстегнул защитную армейскую рубашу. Сквозь полуприкрытые веки он видел, как по красно-оранжевому небу бежали легкие золотистые облачка.

Было тихо. Сначала Мервин ощущал гудение крови в руках и ногах. Но вот его начало медленно покачивать словно на качелях. Еще несколько секунд — и он уже мчался вместе с Джун на «судзуки». И хотя под колесами мелькало полотно шоссе, Мервину казалось, что мотоцикл летит по воздуху — не было тряски, не ревел мотор. Потом Джун и «судзуки» исчезли. Осталось лишь ощущение покачивания, будто он плывет в невесомости.

Словно удар гонга тишину разорвал истерический крик: «Гангстеры! Дьяволы!» Мервин раскрыл глаза, с трудом пришел в себя. Метрах в трех от него кто-то кричал: «Вам бы, ублюдки вонючие, этих змей в Капитолий запустить! Сотнями! Тысячами! В Пентагон! В Белый дом...» Раздался выстрел. Крик оборвался. Далеко-далеко в бледно-палевом небе появились три вертолета. Они приближались медленно и бесшумно — ветер дул в их сторону. Мягко шелестела трава. На невысокой пальме пересвистывались две синие птицы с красными клювами. Тихо, безмятежно, сонно. Мервин достал из сум-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

ки банку с пивом, швырнул ее высоко и в сторону. Прогредел выстрел. Выстрел снайпера. Из банки с шипением в две струи вырвалась пивная пена.

Мервин, прижимаясь что было сил к земле, стараясь не дышать, подполз к тому месту, откуда недавно раздавался крик. Как-то странно запрокинув голову, там лежал негр Джек из Чикаго. Глаза его были широко раскрыты. В них застыло выражение недоумения, ужаса, злости. Неожиданно из-под правой руки убитого выползла и какое-то время пристально смотрела прямо в глаза Мервину небольшая серая кобра. Мервин прицелился в голову змеи из автомата. Стрелять он не решался, боясь привлечь внимание снайперов. словно зная об этом, кобра медленно, как бы дразня его, поднялась в боевую стойку. Затем, видно, передумала и так же медленно уползла прочь...

Мервин долго смотрел на труп. Он боялся, не смел прикрыть глаза мертвеца. Откуда-то появились большие желтые мухи. Они вились роем над лицом негра. Мервин почувствовал приступ рвоты. Его стошнило — раз, другой. Рвота выпачкала рубашку, штаны. Но он не решился достать платок и вытереть лицо, грудь. Закрыл глаза...

Его мысленному взору предстал шумный сайгонский базар. Блики утреннего солнца лежат на зеленоватых дынях, золотистых манго, красновато-желтых ананасах. Над ними висят фиолетовые грозди винограда. Грозно поблескивают бледно-розовой броней могучие лангусты... Кто-то трогает Мервина за локоть. Он оборачивается. Перед ним стоит невысокого роста буддийский монах. Оранжевые одежды его давно потеряли свой первоначальный цвет. Голова гладко выбрита. Он явно пьян.

«Я ясновидец, сэр,— на скверном английском языке бормочет монах.— Ты счастливый и несчастный, ты здоровый и больной, ты живой и умерший...» Вокруг Мервина и монаха собирается толпа. Подходят пятеро из военной полиции. Монах отпускает руку Мервина, начинает трястись в ритуальной пляске. Движения его становятся конвульсивными, дыхание частым, прерывистым. В тишине, наступившей на площади, раздается его жуткий вопль: «Смерть! Всюду смерть! Запомни слова мои, солдат, не верь жизни! Все ложь! Правда одна! И она — в смерти!..»

Что-то жужжало над самым ухом. Мервин через силу открыл глаза. Почти вплотную над ним висел американский вертолет. Где-то в стороне началась, быстро приближаясь к нему, перестрелка. Через несколько минут редкие прицельные выстрелы сменились непрерывными автоматными очередями. Завыли мины. С оглушающим грохотом разрывались снаряды, прилетавшие откуда-то издалека — должно быть с борта американских крейсеров. В воздух вздымались черные вихри земли. Валило как подрубленные многолетние, в полтора обхвата дерева. Пронзительно кричал раненый...

Пелена дыма, гари и пыли плотно висела над долиной. Запах крови, разлагающихся трупов проникал, казалось, в каждую пору, в самый мозг живых. Во внезапно упавшей на землю тишине громко и зловеще трещали горевшие джунгли. Тишина эта обманула даже такого опытного солдата, как полковник Китс Уэйли. Командир сводного отряда, высокий седой калифорниец, нравился подчиненным своим неизменным спокойствием и опытом старого вояки. Любимое его изречение знал в отряде даже самый юный, безусый рядовой: «Я верю себе, судьбе и святому Франциску». Вот и сейчас, оторвавшись от земли и опершись на локоть, полковник Уэйли бодро выкрикнул:

— Солдаты, бегом за мной к вертолетам! Погрузим в них наших убитых и раненых товарищей, получим боезапасы и провиант. Вперед, марш, да хранит вас святой Франциск!

Полковник и несколько находившихся рядом с ним солдат подбежали к приземлившемуся вертолету. Уэйли поставил ногу на ступеньку, схватил протянутую ему пилотом руку. И в тот же миг вертолет поразила словно упавшая с неба молния. От взрыва содрогнулась земля. Багровый факел взметнулся к мутному небу.

Упругая волна горячего воздуха отбросила Мервина в сторону. Придя в себя, он ощутил во рту острый привкус горечи. В воздухе висела пелена гари и дыма. Было трудно дышать, казалось, что в легкие с каждым глотком воздуха вонзаются раскаленные металлические опилки. Мервин с трудом приподнялся на локте. Сквозь серую пленку, заволакивающую небо, солнце казалось раскаленной каплей. Было тихо — удивительно, невероятно тихо. И в этой тишине Мервин вдруг услышал звуки музыки. Она лилась откуда-то издалека — тихая, прекрасная.

Внезапно из клубов дыма в нескольких ярдах от него вынырнул сержант Маклаф. Мервин хорошо знал этого австралийца. Вместе они проползли не один десяток миль по горящим джунглям, не из одной ржавой речушки напились теплой отравы. Сержант, широко раскрыв глаза, бежал прямо на него. Живот его был вспорот осколком, он обеими руками зажимал страшную рану. Он что-то кричал, но Мервин ничего не слышал. Австралиец споткнулся о него и исчез в слепящем смерче огня. Мервин даже не почувствовал боли от удара каблуком в грудь. В стороне рвались снаряды. На небольшой высоте промчались транспортные самолеты. Мервин все это отлично видел. И ничего не слышал. «Контужен! Оглох!» — понял он наконец.

Мервин не знал, сколько прошло времени, прежде чем воздух очистился. Солнце стояло почти в зените. Губы у Мервина пересохли и растрескались до крови. Глаза воспалились. Появились москиты. Они облепили щеки, глаза, губы.

«О великий боже,— думал Мервин.— Если все эти испытания ниспосланы мне затем, чтобы проверить истинность моей веры, то поймай милосердие! Силы мои не беспредельны...»

Как все это началось?

Когда они прибыли в Сайгон, их встречал личный эмиссар президента. Все было торжественно, празднично: и оживленно-бодрые лица офицеров союзных войск — американцев, австралийцев, тайландцев,— и бравурные мелодии воинских маршей, которые исполнял армейский духовой оркестр, и застенчивые улыбки девушек-подростков, жительниц столицы, приветливо махавших новозеландскими и южновьетнамскими флажками. Две недели, пока их батарея готовилась к отправке на фронт, Мервин был счастлив. В свободные часы он бродил без усталости по городу. Просторные, тенистые бульвары Бонар и Шарне напоминали веллингтонский Ботанический сад, аллеи в саду Джуи. Вид даже простенькой пагоды приводил его в восторг. За час до выступления бледный от волнения Дылда Ричард сообщил ему, что нужны добровольцы в сводный отряд командос. Торопливо, вполголоса, словно боясь, что кто-нибудь их подслушает и опередит, он сказал: «Денег больше, риска меньше. Всю страну исколесим — гарантировано. После каждой операции командос летят в трехнедельный отпуск в Бангкок, Сяdney или Токио. Согласен?»

И вот уже третий месяц они в этом отряде. И каждый день может быть их последним днем. За это время погибло столько людей, что они с Дылдой, пожалуй, скоро будут в отряде ветеранами...

Где-то далеко справа шел ожесточенный бой. По небу то и дело проносились истребители. Но судьба этого сражения вряд ли волновала солдат сводного отряда командос. У каждого из них была своя собственная задача: вопреки всему выжить, выжить во что бы то ни стало! Апатия равносильна смерти. Против нее единственная защита — сильная воля. Слабый неизбежно погибал...

Темнота упала на землю сразу, Мервин, видимо, задремал на какое-то время: только что было светло и вот уже не видно собственной руки. Сначала он испугался, подумав, что не только оглох, но и ослеп. Но вдали запылали далекие зарницы, и он с радостным облегчением вздохнул и негромко промолвил:

— Наконец-то стемнело, господи!

И потому что в это мгновение к нему вернулся слух, его собственный голос показался ему олушительным.

Рядом послышалось торопливое бормотание. Мервин прислушался и узнал голос Дылды Ричарда:

— Добрый Иисус, я знал, что ты оставишь меня в живых! И я сдержу слово, которое я дал тебе сегодня. Пожертвую на церковь двадцать пять долларов... Нет, не сто, как я обещал... Ну зачем тебе столько? Двадцать пять долларов — знаешь, какие это большие деньги?

— Дылда, ты где? — негромко окликнул товарища Мервин.

— Здесь! — тотчас отозвался тот. — Весь день на этом месте как прибитый. Несколько банок пива выпил, а по нужде по-людски сходить и думать не смел. Ну и денек!..

Дылда продолжал что-то говорить, но Мервин не понял ни слова. По цепочке была передана команда: «Занять круговую оборону!» Вскоре послышался шум винтов снижав-

шихся вертолетов. Началась эвакуация отряда на главную базу в один из пригородов Сайгона — Зядинь.

Вертолеты были мощные, вместительные. Каждый, не считая команды, мог принять на борт тридцать человек. Несколько первых машин увезли убитых и раненых. Наконец наступила очередь уцелевших. Два офицера и сержант американских ВВС быстро формировали очередную группу. Далекая канонада стихла. Кроме шума моторов да негромких слов команды, ничего не было слышно. Ни выстрела. Ни взрыва. А может, и впрямь не было ни партизан, ни снайперов, ни слез и крови, ни животного страха смерти? Может, все это приснилось в дурном сне?

Как только очередной вертолет отрывался от земли, Мервин молил бога, чтобы все, улетающие на нем, благополучно прибыли на базу: «Пусть все они спасутся!»

Дылда откровенно роптал:

— Почему сначала их, а нас потом? Я тоже честно воевал и тоже жить хочу! Где справедливость? Одни уже милоются с девчонками, другие окопы зубами грызут...

Мервин пытался его урезонить, но он распаялся еще больше:

— Кругом взяточники! Даже при бегстве местами на вертолеты торгуют. Я главнокомандующему, я президенту жаловаться буду!.. Эй ты, лейтенант, почему фунт человечины продаешь?

Дылда Ричард и Мервин улетали последним вертолетом. Он был почти пустой. Кроме них, в нем находились два офицера и сержант американских ВВС. Когда была набрана высота, офицеры пошли к пилотам. Дородный, краснолицый сержант, сидевший в первом ряду, обернулся, брезгливо поморщился:

— Откуда это дерьмом несет?

— Если бы ты не отсиживался на тыловом аэродроме, — зло, вполголоса проговорил Дылда Ричард, — а хватил бы хоть один глоток варева, которое мы последние три месяца хлебали, от тебя тоже, наверное, не «шанелью» запахло бы!..

— Ах ты, щенок новозеландский! — Сержант вскочил со своего места, подошел к Дылде, приподнял его за воротник. — Ты упрекать меня вздумал!

Он выволок Дылду в проход, умело ударил правым куком в подбородок. Ричард рухнул на пол. Сержант обернулся к Мервину, не торопясь засучил рукава, широко улыбнулся:

— Что, может, и у тебя, недоносок из островного захолустья, есть ко мне претензии?

Мервин вдруг почувствовал озноб. «Неужели испугался? Наглеца, негодя испугался?! В джунглях не трусил а тут...» Выхватил пистолет, направил его в лоб сержанту.

— Стреляю без предупреждения, американский ублюдок. Сейчас ты подымешь моего приятеля и попросишь у него прощения!

Американец ухмыльнулся, развалился в кресле, достал сигареты, намереваясь закурить. Мервин нажал курок. Пуля прошла в дюйме от головы сержанта. Он вскочил, сигареты посыпались на пол. Полные губы его тряслись.

— Зачем стрелять?.. Стрелять не надо! Ты что?..

Он поднял Дылду, усадил его в кресло рядом с Мервином. В салон вошли офицеры.

— Что за стрельба? — спросил один из них, глядя на Мервина, прятавшего пистолет в кобуру.

— Случайный выстрел, — спокойно проговорил Мервин.

Офицер посмотрел на сержанта. Тот забился в угол, сидел молча, опустив голову.

Дылда раскрыл глаза, подмигнул Мервину:

— Ничего страшного... Бывали меня и сильнее. А ты — герой.

Он достал плоскую флягу, сделал из нее несколько больших глотков. Протянул Мервину.

— Хочешь? «Лунное сияние», божественный эликсир!..

Мервин взял флягу, глотнул раз, другой, третий. Он закрыл глаза, откинулся на спинку кресла. Впервые в жизни он столько выпил. Однако желанное опьянение не приходило. Мысли не путались, текли спокойной чередой. Скоро они прилетят в Сайгон и он получит целую пачку писем от Джун. До экспедиции в джунгли, до этой проклятой кровавой экспедиции, он получал ее письма каждый день. Какое это было удивительное, ни с чем не схожее чувство, которое он испытывал всякий раз, вскрывая только что по-

лученный конверт! Ее послания были наивны, безыскусны, но удивительно доверчивы и непосредственны. Он заучивал их наизусть, как молитву, как заклинание, как заговор от напастей, от смерти. Шестнадцать дней они были в Сайгоне до экспедиции. Шестнадцать конвертов лежало в его нагрудных карманах. С тех пор прошло три месяца — более девяноста дней. Значит, он получит девяносто писем? Девяносто страничек ее жизни...

Геликоптер пошел на снижение. Мервин открыл глаза. На земле едва угадывались посадочные огни аэродрома.

— Сейчас — горячий душ и сон на две ночи и два дня! — Дылда Ричард зевнул так, что у него хрустнуло что-то в скулах. — А потом, клянусь небом, я предамся всем сладким земным грехам, какие доступны отважному командосу!..

Уже на земле Мервина кто-то тронул за плечо. Он обернулся — в глаза ему смотрел сержант ВВС.

— Меня зовут Грэхэм, — негромко сказал американец. — Запомни, ты еще умоешься кровью за свои шалости на борту вертолета. Не забудь — Грэхэм!

2

«Обо мне не беспокойся. Здесь операции весьма отдаленно похожи на военные действия. Постреливает, погромыхивает — и только. Мини-война в джунглях. Убитых нет, раненых тоже почти нет. Недавно опять приезжал Боб Хоуп, этот милый, добрый клоун из Голливуда, с целым батальоном своих помощниц. Так воевать, как мы, — со всеми удобствами и почти без риска — можно хоть сто лет».

Джун отложила письмо и, глядя в окно, за которым шел дождь, задумалась. Тон письма, слишком уж успокаивающий, не внушал доверия. Скупые сообщения газет, радио и телевидения — в подавляющем большинстве нейтральные или хвалебно-победные тоже, казалось бы, не давали особых поводов для беспокойства. Но это письмо — что-то в нем было не так, не то... И чем более радужными красками рисовал Мервин окопную идиллию, тем более тревожилась Джун. Она снова взяла в руки письмо. Листки его как-то мятые, грязноватые. Строчки бежали то вниз, то вверх. «Можно подумать, что оно писалось или в дикой спешке, или во время приступа тропической лихорадки».

Джун вздрогнула, уронила листки на пол. Совершенно отчетливо она вдруг увидела: по черной, обугленной земле едва бредет смертельно усталый человек с забинтованной головой. Кровавым заревом полыхает край небес. Ветер гонит черную пыль. Вокруг ни души. Человек поворачивает голову, и Джун узнает его: это Мервин. По всему дому разнесся ее крик:

— Мервин!..

Вспыхнул свет в гостиной. На пороге стоял Седрик Томпсон.

— Что с тобою, девочка?

Джун молча, испуганно смотрела на отца.

— Ты плакала? — Он подошел к ней, погладил по голове.

— Нет, папа, — тихо ответила она.

— Но ведь ты кого-то звала?

— Нет... Я просто задумалась и не заметила, как стемнело...

«С Шарлоттой она была бы откровенней», — подумал Седрик, направляясь в свой кабинет.

Он зажигал свет во всех комнатах, через которые проходил. Последние месяца два три ему почему-то стало казаться, что в доме постоянно находится кто-то посторонний — не просто посторонний, а враждебный ему... Нужно отдохнуть, подлечить нервы, и все пройдет! Но не проходило. Напротив, после отъезда Шарлотты и Дэниса чувство одиночества, подавленности усилилось. Он плохо спал. Просыпался от малейшего шороха. Желчная раздражительность, никогда ранее не свойственная ему, стала теперь постоянной. С дочерью, со своей обожаемой Джун, Седрик и раньше не всегда находил общий язык. Теперь же они в течение всего дня обменивались несколькими фразами.

Перемены в себе Седрик мог бы объяснить просто: «Старею...» Но в истинной причине своего теперешнего состояния он не признавался даже самому себе.

За два послевоенных десятилетия Седрик привык к положению одного из крупнейших финансистов — некоронованных королей бизнеса страны. Он не был жаден к деньгам. Но власть, которую они давали, сладостное сознание собственного всемогущества, влекли его. И вдруг он ощутил, что что-то важное, может быть, даже решающее, начинает постепенно от него ускользать. Но что? И как? Внешне все выглядело благополучно, безупречно: и банковские капиталы и прибыли компаний продолжали расти. Но он, Седрик Томпсон, глава всех этих банков и компаний, работодатель десятков тысяч людей, вдруг почувствовал, пока еще смутно, что в действие введены какие-то неподвластные ему враждебные силы. Какие? Этого он не знал. Пока не знал. И боялся узнать...

Как-то Седрик и Дэнис возвращались одним из поздних самолетов из Окленда в Беллингтон после открытия выставки картин художника.

Поблагодарив стюардессу за чай и закрыв глаза, Седрик стал думать о скорой встрече с Шарлоттой и Джун.

— Скажи, Седрик, что за странные намеки в твой адрес вот уже который раз делает наш дрянной листок «Истина»? — спросил Дэнис, держа в руках развернутую газету.

Седрик открыл глаза, усмехнулся.

— Не считаешь же ты всерьез, что я должен штудировать все бульварные еженедельники страны!

— Ну хотя бы бегло знакомиться с тем, что касается лично тебя или твоих дел...

— На одно это мне пришлось бы тратить круглые сутки!.. Однако что именно в их страшиле тебя встревожило?

— Я не употребил бы столь сильного слова, как «встревожило». Но все же... Вот послушай: «На наш взгляд, заигрывания финансового магната Седрика Томпсона с руководством Национальной федерации труда зашли дальше объятий и даже нескромных поцелуев. Напрашивается вопрос: не предстоит ли им разделить любовное ложе в ближайшее время?..»

— У этих проституток пера и других сравнений, кроме как постельных, нет! — Седрик брезгливо поморщился. — Где им понять, что от мира с профсоюзами выигрываем только мы, промышленники! Знаешь, сколько мне стоит один день простоя всех моих предприятий? Сто двадцать пять тысяч долларов!

— Допустим, — сказал Дэнис. — Но я не дочитал абзац до конца...

— Какие же еще откровения подарила миру потаскуха «Истина»?

— «Однако даже мистеру Томпсону не следует при этом забывать, что и более мощные иностранные промышленные империи рушились от мановения иного нью-йоркского, кливлендского или техасского мизинца...»

— Здесь «Истина» права! — сказал с улыбкой Седрик. — Не насчет мизинца, разумеется. Мизинец — это уж слишком. Права по сути дела.

— Но как же это вообще возможно?

— Возможно. И способов существуют сотни... Например, один из простейших. Оборотный капитал твоих банков — сто миллионов долларов. С известной долей разумного риска ты предоставляешь долговременные ссуды клиентам на эту же сумму. И тут «неожиданно» несколько держателей крупных счетов (а ими могут быть любые иностранные компании) требуют выплаты наличными пятнадцать — двадцать миллионов. Другого исхода, кроме банкротства, тут нет!

— И ты можешь все эти сотни разбойничьих способов обезвредить?

— Такое не под силу даже самому господу богу, мой милый Дэнис!

В одном из тщательно охраняемых сейфов Седрика Томпсона лежал доклад руководителя его службы промышленного шпионажа. Доклад назывался «Сверхмощные международные картели открывают крупную игру в Новой Зеландии».

Ничего страшного пока не произошло. Могло и вовсе не произойти. В мире бизнеса ежедневно, ежеминутно, ежесекундно деньги противостоят деньгам, вступают друг с другом в отчаянные схватки — либо погибают, либо побеждают. Таков закон борьбы, борьбы отчаянной, жестокой, из которой зачастую лишь один выход — банкротство. Есть, впрочем, и другой — капитуляция на условиях конкурентов. Этот путь отвер-

гался Седриком напрочь: стоять перед кем-либо на коленях — на такое он не был способен. Первый же путь требовал точного знания: кто конкурент? Этого Седрик пока не знал. Боксер, готовясь к схватке на ринге, проводит «бой с тенью». У Седрика не было такой возможности — отсутствовала тень. По некоторым данным, вернее даже по интуиции он полагал, что его интересы схлестнулись с интересами крупнейшего японо-американского консорциума. Полагал... и старался не думать об этом...

Седрик снял телефонную трубку, попытался заказать разговор с Парижем. Дежурная на международной станции в Окленде невыносимо долго выясняла, есть ли связь с Францией. Потом операторша, француженка, на ломаном английском языке предпринимала попытки установить нужную фамилию. И все для того лишь, чтобы через час с четвертью объявить, что мадемуазель Дюраль выехала на пять дней в Шампань.

Такое же фиаско потерпела попытка заказать разговор с Рио-де-Жанейро. Дэнис О'Брайен, заявила словоохотливая служащая бразильской почты, из Рио не выезжал. «У него, сеньор, просто разболелись зубы. Мне сообщила об этом жена его сына. Будете повторять вызов или заказ аннулировать?»

Нет, он не будет повторять вызов. Бог знает, сколько времени пробудет Дэнис у зубного врача...

Раскрыв настенный бар, Седрик налил рюмку перно, сел в кресло у телевизора, нажал кнопку дистанционного управления. На экране замелькали знакомые изображения кровожадного Индейца и добродушного увальня Матроса с трубкой в зубах — очередной мультипликационный фильм из американской макси-серии. Седрик выключил телевизор.

Раньше он, недолго раздумывая, отправился бы в один из клубов. Мог бы запросто, без церемоний, поехать в любой из лучших домов Веллингтона, пошудачить о скачках, о регби, сыграть партию в бильярд, пропустить рюмку-другую бренди. Кто не будет рад (искренне или нет — это другой вопрос) Седрику Томпсону? Но сейчас ему ничего этого не хотелось. Он подошел к окну, раскрыв его, долго смотрел в темноту. Дождь кончился, и, кроме шелеста листьев, не было слышно ни звука.

Седрик подошел к большому письменному столу, заваленному бумагами — письма, проспекты, доклады, меморандумы, отчеты, ведомости, списки... бумажный океан! Взгляд его остановился на двух маленьких розовых прямоугольниках, припиленных скрепкой к кремовому бланку. Он взял бланк и стал читать: «Руководство Веллингтонского Королевского оперного театра с особой радостью имеет честь пригласить Вас на открытие гастролей выдающегося дирижера современности маэстро Леонарда Бернштейна. Под его вдохновенным управлением Оклендский симфонический оркестр исполнит Пятую симфонию Бетховена, произведения Моцарта, Равеля...»

«Когда будет этот концерт? — подумал Седрик. — Сегодня? Который час? Половина седьмого... Поеду!»

— Джун, ты здесь? — крикнул он, повернувшись к гостиной.

— Да, папа, — услышал он негромкий ответ.

— Хочешь послушать Моцарта и увидеть Бернштейна?

— Да, папа.

— Тогда быстро одевайся. Выезд через тридцать минут!

— Хорошо, папа...

Джун начали обучать игре на фортепиано с пятилетнего возраста. С течением времени даже ее отцу стало ясно, что выдающейся пианисткой она не станет. Но преданную любовь к музыке девочке привили на всю жизнь.

В театр они приехали, когда фойе уже опустели и публика заняла места в зале и в ложах. Свет был притушен, и они прошли на свои места никем не замеченные. В ложе, кроме них, никого не было. Джун с интересом смотрела, как долго и сердечно рукоплескали веллингтонцы заокеанскому маэстро — зрелище здесь редкое. Чопорная, сдержанная столичная публика с большим трудом оттаивала даже тогда, когда многоопытные менеджеры угощали ее самыми феерическими представлениями, самыми громкими именами.

Могучие ритмы Пятой симфонии захватили Джун.

Седрик же, рассеянно глядя на оркестр, вспомнил, как накануне отъезда Шарлотты и Дэниса они втроем были в драматическом театре «Даунстейдж». Премьера спектакля

такля по пьесе Чехова «Три сестры» собрала полный зал. Седрик любил этот театр за умение создать настроение одновременно празднично приподнятое и раскованное. В небольшой степени этому помогало то, что сцена располагалась в центре зала — кулисы не было. Актеры входили и выходили через двери для публики. Зрители сидели за столиками, располагавшимися вокруг сцены двумя амфитеатрами. Перед началом спектакля молоденькие официантки из актрис-стажеров разносили нехитрый ужин, сухие вина. Всегдаги премьер, а они занимали почти весь зал, знали друг друга, что было, впрочем, естественно: «Даунстейдж» был единственным постоянно действующим драматическим театром столицы.

В антракте Шарлотта проговорила задумчиво:

— Меня волнует и восхищает душевная теплота этих трех русских женщин, живших так давно...

— Я согласен с вами, Шарлотта! — воскликнул Дэнис и добавил, помолчав: — Вот чего тебе явно не хватает, Седрик!

— Ты в этом уверен? — настороженно отозвался Седрик.

Художник промолчал.

— Ты знаешь, через полтора месяца Мервин отправится во Вьетнам? — неожиданно спросила Шарлотта.

— Допустим, знаю, — ответил Седрик.

— И ты можешь спокойно согласиться с тем, что мальчик попадет в адское пекло?

— Мальчик, не только славный и одаренный, но и близкий друг Джун! — вскричал Дэнис.

— Но я-то, что я могу тут предпринять? — казалось бы, вполне искренне удивился Седрик.

— Ты превосходно понимаешь, что после гибели отца Мервин остался без всяких средств к жизни. И ты мог бы...

— Речь идет о том, чтобы как-то устроить Мервина, — перебила Дэниса Шарлотта. — И сделать это надо деликатно. Словом, так, как это может лишь Седрик Томпсон!

— Устраивая судьбу Мервина, — сказал Дэнис, — ты, кто знает, возможно спасаешь для людей будущего Бернарда Шоу или Эрнеста Хемингуэй!

— Хемингуэй, Шоу! — Шарлотта улыбнулась и продолжила серьезно: — Ну а если Седрик спасет не будущего гения, а просто хорошего человека, тем более что этот человек — друг Джун?. Иной, может, ничего не сделал в своей жизни заслуживающего внимания, но в тяжкую минуту он поддержал кого-то теплым словом, или куском хлеба, или просто добрым взглядом. И значит, он не зря прожил свою жизнь...

Седрику было тяжело выслушивать все это. Если бы речь шла не о Мервине, он охотно откликнулся на просьбу Шарлотты кому-то помочь. Тем более что никаких особых усилий или затрат подобная благотворительность не потребовала бы. Здесь же был случай особый. Ведь речь шла о его дочери... Помочь Мервину — этому выскочке, этому не в меру честолюбивому маорийцу, который, судя по всему, возмечтал пролезть в семью Томпсонов, жениться на Джун и ее миллионах!

От Шарлотты Седрик узнал, что Дэнис сам хотел помочь Мервину, но французенка с трудом уговорила его ничего не предпринимать до разговора с Седриком — до этого самого разговора...

«Вьетнам — самое подходящее для него место, — думал Седрик, молча слушая Шарлотту и Дэниса. — А если он и не вернется, я уверен, что моя девочка не очень долго будет убиваться. Она еще так молода, и замужество для нее никогда не представит особой проблемы...»

Из раздумья его вывел голос Шарлотты:

— Ты, кажется, нас не слушаешь?

— Напротив! Напротив, дорогая. Я весь — внимание...

— Каково же будет твоё решение?

— Вы несколько запоздали, друзья мои. — Седрик натянуто улыбнулся. — Перед отъездом Мервина в Вайору я имел с ним обстоятельную беседу. Я предложил ему на выбор несколько вариантов: высокооплачиваемая работа в моем концерне, повышенная стипендия на весь период учебы в веллингтонском университете, наконец, курс в любом английском или американском колледже. Ваш протеже внимательно меня выслушал. И

отверг — с благодарностью и непонятной мне гордостью — все мои предложения. Так что... — Седрик развел руками.

Свет в зале погас. Началось второе действие. Если бы Шарлотта и Дэнис не следили с интересом за тем, что происходило на сцене, они, может быть, и заметили бы, как покраснел Седрик. Он солгал Шарлотте и Дэнису о предложениях, сделанных им Мервину. Точнее, он сказал полуправду. Предложения эти действительно были сделаны. Но преднамеренно в столь оскорбительном тоне, что Мервин, конечно же, отклонил их, едва удержавшись от ответной грубости. Подаяния он не принял бы никогда. И Седрик это хорошо знал. И как человек, для которого любая, даже самая невинная ложь была неприемлема с детства, он казнил себя — безжалостно и методично. Однако где-то глубоко в сознании билась мысль о том, что ложь его святая, что поступил он все же правильно. Пусть некрасиво, мерзко, да-да, именно мерзко, но тем не менее единственно правильно...

Теперь он внимательно и тревожно смотрел на Джун. Она, казалось, была захвачена музыкой. Он так никогда и не понял, знала ли дочь о его обмане. Никаких вопросов она ему по этому поводу не задавала. Сам же он хранил молчание. Только когда он вспоминал о своем тогдашнем разговоре с Шарлоттой и Дэнисом, им неизменно овладевало чувство болезненного стыда...

Еще не начался антракт, как в ложу Седрика вошел высокий, плотный мужчина. Покрытое загаром энергичное лицо, саркастический взгляд больших навывкате глаз, отлично сшитый вечерний костюм, наимоднейшая трехцветная рубашка, галстук — все выдавало в нем человека преуспевающего и хорошо знающего себе цену.

— Мисс Джун, Седрик, имею честь и удовольствие приветствовать вас в столь знаменательный для нашего захолустья вечер! — Он скривил губы в улыбке, поклонился.

— А-а, это ты, Джордж! — радушно отвечал Седрик. Про себя же подумал: «Чтоб тебя дьявол забрал со всеми твоими друзьями и прихлебателями. Воистину понедельник — тяжелый день. Встречаешь именно того, кого меньше всего хотелось бы встретить...»

Джордж Карнавски, президент Ассоциации промышленников и крупный банкир, был одним из главных конкурентов Седрика Томпсона. Но Седрик не любил его не за это. Седрику претили и нечистоплотность Карнавски в делах и его подчеркнутый космополитизм. Встречались они редко, только на больших приемах. И то, что этот чванливый выходец из обнищавших прусских дворян бесцеремонно ворвался к ним в ложу, не понравилось Седрику. Не понравилось и насторожило.

— Как безобразно все портят наши оклендские неучи! С ними ни Бернстайн, ни Стоковский, ни Кароян совладать не в силах. Это все равно что заставить водопроводчика стричь овцу. Взяться — возьмется, а проку — ни на пенс!

— Беру на себя смелость не согласиться с вами, мистер Карнавски! — воскликнула Джун. — Вы забыли, что все солисты привезены Бернстайном из Штатов!

— Солисты великолепны. Безнадежно плох оркестр. Даже талантливые и многоопытные генералы обречены на поражение, если их армия плохо обучена и ленива.

— Вы переходите на язык и терминологию военных сводок! — Седрик улыбнулся.

В дверь робко постучали, и в ложу бочком вошел высокий, худой юноша.

— Извините, — пробормотал он. — Ради бога, извините за вторжение...

— Вилли? Здравствуй, Вилли, — сказала Джун. — Как ты здесь очутился? Прошу познакомиться, Джордж Карнавски — Жадина Вилли. Ой, простите! Вилли Сомервиль, сын банкира и наш сосед...

Карнавски величественно протянул Вилли руку, которую тот благоговейно пожал. Седрик едва кивнул ему головой.

— Послушай, Седрик. — Карнавски, взяв Томпсона под руку, отвел его в дальний угол ложи. — Я понимаю, сплетни о твоих финансовых затруднениях, говоря словами Марка Твена. «сильно преувеличены»... Если все же они хоть в малейшей мере основательны, я сочту за честь оказать тебе любую помощь, на какую буду способен...

«Скверный, очень скверный симптом. — Седрик задумчиво улыбнулся, прищурился. — Джордж Карнавски заговорил искренне. Джордж Карнавски предлагает помощь... Скверный симптом». Вслух он сказал:

— Неужели, Джордж, я похож на человека, который чем-то удручен?

— Я бы этого не сказал! — проговорил Карнавски, внимательно вглядываясь в лицо Томпсона.

«Не сказал бы,— передразнил его про себя Седрик.— Вынюхивать примчался, стрелятник!..»

— Кто бы ни навел тебя на этот след,— сказал он,— тебя бессовестно надули, Джордж Карнавски! Тема исчерпана. Предлагаю пройти в бар администрации, промочить горло.

И не дожидаясь ответа Карнавски, Седрик вышел в фойе. В другое время и при иных обстоятельствах он не удостоил бы этого человека даже минутным разговором...

Джун между тем забавлялась разговором с Вилли.

— Как тебе нравится вторая скрипка? — спрашивала она.

— Вторая скрипка?.. Ну да, эта,— мямлил Вилли.— А еще вот тот, который рядом с медными тарелками на трубе дудит..

Очки его запотели, он старательно протирал их платком. «Чего доброго, сейчас всю музыку разбирать заставит,— с тоской думал он.— Лучше бы про регби завела разговор. Тогда уж я заикаться не стал бы».

«Для Вилли что Бах, что Оффенбах — одно и то же! — думала Джун.— Зато он наверняка помнит, какая лошадь и на каком ипподроме страны пришла вчера первой».

— Вчера ты, конечно, выиграл на скачках? — спросила она.

— Выиграл! — Вилли простодушно улыбнулся.— Принцесса Восхода принесла три доллара двадцать центов за билет, Геркулес — пять долларов ровно, Капризуля — два с половиной, Розалинда — шесть долларов тридцать пять центов, Граф — четырнадцать долларов, Атаман в комбинации с Глазастым Вихрем — сто четыре доллара...

— Постой! — Джун засмеялась.— Пощади! Расскажи уж лучше, что можно, по твоему, ждать от нашего «Олл Блэкс» в европейском турне?

— На континенте нам по-прежнему делать нечего,— вдохновенно начал Вилли.— Правда, французы покажут, как обычно, жесткую игру. Шотландцам чуть-чуть недостает техники. Из-за этой малости мы их и бьем регулярно. Как всегда, опасен Уэлс..

«Боже мой! — думала Джун, с улыбкой глядя на продолжавшего болтать Вилли.— Все его интересы легко можно упрятать в бумажник!» Ей, как и всякой девушке, нравилось внимание мужчин. Вроде бы ни к чему ей робкое ухаживание Жадины Вилли, но все-таки... Ведь вот он узнал, скорее всего у знакомого администратора, что ее отцу посланы билеты, и явился сюда в надежде, что встретит ее здесь.. Он мучается. Изнывает. Для него концерт симфонической музыки — пытка. Пытка — а все же он сидит здесь. Из-за нее, Джун...

Однако она тут же испытала раскаяние за свое пустое минутное тщеславие. Что же это как не тщеславие? Ведь ей же никто, никто не нужен на целом свеге, кроме Мервина. Будь он здесь, он посмеялся бы вместе с ней над ее горе-кавалерами. Только вот беда — видно, не до смеха теперь Мервину. Иначе, почему так болит ее сердце, почему так часто хочется ей плакать?

О боже, что может сделать с душой человека музыка Бетховена!

3

— Разве я когда-нибудь раньше поверил бы, что три недели могут пролететь так незаметно, как не попавшая в тебя пуля!

Дылда Ричард посмотрел на Мервина, словно ожидая, что тот объяснит ему, почему так быстро прошел их отпуск. Но Мервин ничего не ответил. Он приподнялся на локте, чтобы еще раз попытаться заткнуть тряпьем дыру в стене шалаша. Попытка его не увенчалась успехом.

Дожди... Они начались позавчера и теперь будут продолжаться много недель. «Старики», воевавшие в джунглях второй год, предупреждали — сами по себе дожди безвредны, опасна сопутствующая им лихорадка. А от нее одно верное средство — виски. Мервин повернулся на бок, достал флягу, медленно отпил из нее.

Вода была везде. Мокрыми были обувь и одежда. Даже воздух был пропитан водой. Стоило лишь выставить пустую кружку из шалаша, как она тотчас наполнилась бы до краев.

— Правильно, парены! Адская влага снаружи, райская — внутри, — хохотнул веселый, длинноносый англичанин Барри, лежавший справа от Мервина.

— За голову каждого партизана обещано двести пятьдесят монет, — раздумчиво проговорил Дылда, глядя на дырявую крышу шалаша. — Только подумать, сколько человек я уже поймал бы, если бы не дожди. Иногда я прямо-таки чувствую, как у меня из кармана вытаскивают мои кровные доллары. И кто?! Дожди! Чертовщина какая-то...

Мервин невольно рассмеялся, сначала тихо, потом громче, пока не зашелся тяжелым, рвущим грудь кашлем.

— Смейся, смейся. — Дылда вскочил на ноги, зашлепал по лужам на полу. — Смеяться я буду тогда, когда усядусь в каком-нибудь кабаке с красоткой, в тепле, в безопасности, а в карманах у меня будут похрустывать — сто голов туземцев умножить на двести пятьдесят долларов — двадцать пять тысяч.

Шалаш был большой, рассчитанный человек на тридцать. Его поставили наспех, кое-как, надеясь, что ливень пройдет, что это еще не начало дождей, что синоптики правы. Но метеорология на сей раз подвела. И вот они застряли здесь, в двухстах милях к северо-востоку от Сайгона, далеко от своих баз во власти дождей и джунглей. Где-то неподалеку должен был находиться небольшой резервный аэродром — да что в нем толку в этот сезон дождей? И раненых-то едва ли эвакуируешь. Геликоптеры не дотянут, а все другие машины на такую мокрую почву сесть не могут.

Дождь усиливался. Рывками налетал ветер.

— Не так представлял я себе наше предприятие, — зло проворчал Дылда Ричард. — Воюем — это понятно. Лишения терпим — тоже. Но когда нет возможности честно делать деньги, это невыносимо.

— Предъяви Пентагону счет за дрянную погоду! — проворчал длинноносый Барри.

Мервин тоже хотел сказать, что и он иначе представлял себе все это. Но он промолчал. Что толку болтать попусту? Изменить ничего не изменишь, надо жить дальше, мириться со всем, что его окружает. Жизнь — разве она не стоит того?

«Хотел бы я знать, что ответила бы на это Джун? Моя гордячка, моя честная и непримиримая Джун... Впрочем, не так уж, наверно, трудно быть правдивым и чистым, когда у тебя есть все, когда тебе все дается легко и просто!» И тут же ему стало стыдно. Защемило сердце, заплыла щеки. «Я упрекаю Джун, упрекаю в том, что мне сейчас скверно. Господи, что же это творится со мною, если я так подумал о Джун?»

Мервин снова отхлебнул виски.

— Послушай, — зашептал чуть слышно Дылда, присаживаясь ближе к товарищу, — по-моему, мы с тобой прогадали, что подались в этот отряд, будь он неладен!

— Но ты же сам...

— Знаю, знаю, — перебил Дылда. — Ошибся. Может, первый раз в жизни чутье обмануло.

— Что же ты теперь хочешь? — устало спросил Мервин.

— Подымать якорь и ставить парус.

— А курс?

— Наша батарея. По слухам, там, где она сейчас стоит, все вместе взятые ее бои не стоят и одного в этом отряде. Тихо, ничто тебе не угрожает, населения хватает — выбирай себе хоть каждый день либо партизана, либо партизаночку!

— Дерьмо ты отменное! — сказал Мервин.

— Согласен быть и второсортным — лишь бы при деньгах.

Раздался протяжный вой. Этот звук был им хорошо знаком: мина! Каждому, кто находился в шалаше, на мгновение показалось, что мина попадет именно в него. И каждый прижался плотнее к земле, зажмурил глаза.

Сильный взрыв потряхнул землю. Шалаш разлетелся. Все кругом заволочло черным дымом. Ругательства перемежались со стонами, с призывами о помощи.

Мервин хотел подняться на ноги и не мог. Почему его не слушаются ноги? Он

быстро ощупал их. Вроде бы все в порядке... Только ниже колен какая-то вязкая жижа. И темно от дыма. Ничего не видно.

Мервин нашарил на поясе фонарик. Сноп света вырвал из темноты левую, потом правую икры ног. «Кровь, моя кровь,— недоуменно подумал он.— Значит, я ранен?»

— Чтоб тебе... чтоб ты пропал со своим фонарем! — услышал он голос Барри.— Демаскируешь нас!

Чья-то рука прикрыла свет фонаря.

— Ты с ума сошел! — услышал Мервин голос Дылды Ричарда.

— Я, кажется, ранен! — негромко сказал Мервин.

Внутри санитарного шалаша была натянута палатка. Здесь было почти сухо, тепло, даже уютно. Врач отряда, молодой, на редкость молчаливый ирландец, наспех осмотрел Мервина. Во время осмотра жирный санитар, похожий на евнуха, включал и выключал по команде врача сильный переносный фонарь.

— Так, парень,— осторожно притрагиваясь к икрам Мервина, говорил врач.— Ничего страшного. Сквозное ранение мягких тканей. Через две недели сможешь твистовать.

— Тут в самый раз твистовать,— хохотнул высоким, бабьим голоском санитар.

— Сделайте перевязку, Вильям,— строго сказал врач.— Да как следует. Прежде всего — комбинированный укол! — Он повернулся к Дылде: — Посмотрим теперь, что у вас с ногой. Сущие пустяки. Радуйтесь — кость не задета.

Когда с перевязками было покончено, врач попросил Барри позвать к ним командира отряда. Вскоре в шалаше-лазарете появился подполковник американской армии.

— Чем могу быть полезен медицине? — спросил он, войдя в шалаш.

— Этих двух парней,— врач кивнул в сторону Мервина и Ричарда,— нужно срочно переправить в Сайгон и госпитализировать.

— Но, помилуйте, как я могу отсюда доставить их в столицу?

— Это ваша забота! — сухо отрезал доктор.— Моя профессия тем и отличается от вашего ремесла, что она не калечит, а врачует людей!

— Вот что, ребята,— сказал подполковник, обращаясь к Мервину и Дылде,— вы настоящие герои! Будь у меня сотня таких молодыхцов, через неделю я уже вышел бы к дельте Хонгха... Однако прежде всего надо залатать ваши дырки. Таскать с собой вас я не могу — это будет тяжело и для вас и для отряда. В трех милях отсюда расположен резервный аэродром. Мой радист вызовет самолет, а вам надо доковылять туда и как можно быстрее! Там есть несколько человек нашей охраны... Сможете?

Дылда и Мервин встали, сделали по несколько шагов.

— Пожалуй,— сказал Дылда.

Мервин, стиснув зубы, молча кивнул.

— Провожатого выделить? — Подполковник задал этот вопрос, уже подойдя к выходу из палатки.— Сами доберетесь? Отлично. Сержант, выдай им тряпье со вчерашних вьетконговцев. Все-таки маскировка. И — с богом, ребята!

«Бог давным-давно оставил эти места,— утрюмо думал Мервин.— Если и бродит здесь кто сейчас, так разве что сатана со своими подручными».

Весь мир окутала черная мокрая мгла. Дождь не шел — он висел в воздухе сплошной пеленой. И Мервину казалось, что эти мгла, вода неизменны со дня сотворения мира, что так было всегда. А солнца, света, тишины и покоя не было никогда. И не будет.

Дылде Ричарду тоже было трудно идти. Он то и дело тихонько постанывал. Хотя и было темно-темно, они не рискнули идти по дороге, а продирались сквозь кустарники. Дылда шел впереди, прислушиваясь к каждому подозрительному шуму. Он был счастлив, что так легко отдался: осколком мины ему поранило ляжку! Уж теперь-то они попадут назад, в войска батарею...

Он внезапно остановился затаив дыхание. Шедший позади Мервин наткнулся на него и замычал от боли.

— Замри! — прошептал Дылда.— Прямо по курсу кто-то шлепает по грязи!

Они переждали несколько минут, но, кроме ровного гула ливня да стука своих сердец, ничего не слышали.

— Не уложит нас снайпер, так убьет страх! — с горечью проговорил Мервин.

— Страх и осторожность — вещи разные! — возразил Дылда и добавил: — По моему, осталось яровов пятьсот. Где-то рядом должна быть развилка. Сразу за ней на лево начнется летное поле...

Они долго брели, спотыкаясь в темноте.

«Где же тут аэродромные службы? Ни огней, ни звука голосов... Темно, пустынно. Или все спят в уверенности, что в такую ночь ни свои, ни чужие не сунутся. Опасные иллюзии...» — подумал Дылда и вдруг наткнулся прямо на стену. Сдерживая радостное возбуждение, он сказал Мервину:

— Похоже, что добрались. Давай искать дверь...

Они пошли вдоль стены на ощупь. И почти тотчас же услышали, как за ней раздался выстрел. За ним последовал другой, третий.

— Ложись! — прохрипел Дылда.

Они привычно упали на землю и долго лежали не двигаясь. За стеной было тихо.

— Пойдем, — проговорил Мервин.

Он чувствовал себя все хуже, нестерпимо болели ноги. Все тело пылало. Он нащупал ручку двери и рванул дверь на себя. Дылда отпрыгнул в одну сторону, Мервин в другую — на всякий случай. Но ожидаемого выстрела не последовало. Они оказались в длинном сарае. Качнулся зыбкий язычок свечи, стоявшей на столе в дальнем от двери углу.

— Никого нет! — пробормотал Дылда.

Мервин направился к столу. Но они оба тут же услышали характерный щелчок пистолета, который ставят на боевой взвод, и упали на пол под прикрытием стола.

— Кто здесь? — спросил, всматриваясь в темноту, Дылда.

— Знакомый акцент, — резко произнес грубый мужской голос. — А ну-ка покажись!

Дылда и Мервин взглянули друг на друга, но не шелохнулись.

— Через пять секунд бросаю гранату, — спокойно произнес голос.

Дылда рывком вскочил на ноги.

— Не надо гранаты! — крикнул он. — Я вот он, здесь!

— А-а-а! Сортирный вояка! А где же твой приятель? Помнится, мы так и не закончили с ним приятную беседу.

— Здесь, он тоже здесь, — торопливо проговорил Дылда. — Только ему подняться трудно, он в обе ноги ранен...

Стараясь не застонать от боли, Мервин привстал на одно колено и медленно поднялся во весь рост. Из темноты вышел краснорожий сержант ВВС. Он остановился шагах в трех от стола и некоторое время разглядывал исподлобья Мервина и Дылду. Маскировочный костюм его был разорван в нескольких местах, лицо покрыто ссади-памп.

— А-а, кто старое помянет — тому глаз вон!. Это вам говорю я — Грэхэм Барлоу. — Он махнул рукою, словно после долгого спора с самим собою принял наконец твердое решение. — О'кей?

— О'кей! Великолепно! Отлично! — зачастил Дылда. — Предлагаю по глотку рома. Лучший ром, какой только есть в Сайгоне! Зря, что ли, я столько миль флягу таскал?

— Ром так ром, — снисходительно согласился Грэхэм. — Сегодня я добрее самой ласковой сестры милосердия.

Он взял флягу и стал пить из нее жадными глотками. Его шатало, ром лился ему на подбородок, на шею. Наконец он вернул флягу Дылде и тяжело оперся руками о стол.

— Будет ли самолет на Сайгон? — негромко спросил Мервин.

— Должен скоро сьить, — ответил Грэхэм. — Каких-то двух раненых вывезти должны. А-а, так это, наверное, о вас была речь? — Он пьяно ухмыльнулся.

— Неужели тут больше никого нет? — Дылда поежился.

— Туземцы на постах вокруг аэродрома. — Американец пренебрежительно махнул рукою. — А кто еще?

— Да мы вроде слышали выстрелы, когда сюда подходили, — сказал Дылда.

— Выстрелы? — Грэхэм пожал плечами. — Партизаны. Лазутчики.. Мне сегодня охрана троих привела.

Американец достал из-под стола большой фонарь, включил сильный свет и пошел в глубь сарая. Дылда и Мервин двинулись следом. Каждый шаг причинял боль. Сейчас бы лечь прямо вот тут, на земляной пол, и забыть, забыть обо всем на свете. У стены Грэхэм остановился и, осветив одну за другой три кучки какого-то тряпья, произнес:

— Так ни слова и не сказали мерзавки!

— Кто? — спросил Мервин.

— Да хотя бы вот эти! — в сердцах воскликнул американец и снова осветил ближайшую к нему кучку. Мервин наклонился.

— Но ведь это же девочка, почти ребенок! — в ужасе вскричал он не в силах оторвать взгляда от залитого кровью мертвенно-бледного лица. Над левой бровью чернел аккуратный кружок — сюда вошла пуля. Рот девочки был раскрыт, словно она еще силилась что-то крикнуть. Худые, почти прозрачные руки со сжатыми кулачками лежали на груди.

— Хорош ребенок! — зло проговорил Грэхэм. Он пнул ногой голову девочки и перевел луч фонаря. — Может, эта тоже ребенок? Или вот эта? Так вот эти милые детки хотели подорвать аэродром, понятно? Тот самый, с которого сегодня уже улетело более пятидесяти раненых и с которого через полчаса улетите вы!

— Откуда вам известно, что они хотели подорвать аэродром?

— Брось, парень, дурака валять. — Американец нахмурился. — Идет война. Туземцы из охраны приволокли трех деревенских девок. Ну, а лазутчицы они или нет — теперь один бог разберется в этом! Пришлепали бы вы чуть раньше, позабавились бы вместе. Верткие девицы!

Дылда Ричард, который молча стоял поодаль, первый заметил, что с Мервином творится что-то неладное, он, словно задыхаясь, стал ловить ртом воздух, руки его судорожно дергались.

— Мервин! — крикнул Дылда.

И настолько страшен был этот крик, что американец сразу отрезвел. Он рванул из-за пояса пистолет, но на какую-то долю секунды опоздал.

— Убийца! Палач! — с каждым словом Мервин всаживал в американца пулю.

Он еще кричал что-то невнятное, похожее на дикий, звериный вопль. И все стрелял и стрелял. Он и еще стрелял бы в этого корчившегося на полу гада, если бы в пистолете не кончились патроны. Перешагнув через американца, он прикрыл тельце одной из девочек грязной шинелью, которая валялась рядом. И только тогда услышал причитания Дылды:

— Что ты наделал? Что ты наделал? Нас обоих ждет военно-полевой суд.

Дылда подбежал к двери, прислушался. Потом вернулся к Мервину, с трудом вырвал у него из руки пистолет, тщательно протер его своим грязным носовым платком и бросил на пол рядом с трупом одной из девочек.

— Пистолет за тобой записан? — спросил он Мервина. — Или это трофейный?

Тот, казалось, не слышал или не понял вопросов Дылды. Он молча смотрел на него остекленевшими глазами.

— Уходить, бежать отсюда! Бежать — как можно скорее! — говорил Дылда, подталкивая Мервина к двери.

Они прошли яров пятьдесят, когда их кто-то окликнул по-вьетнамски.

— Часовой? — спросил Дылда.

— Начальник караула. Кто вы? — послышалось из темноты на довольно сносном английском.

— Раненые, — отвечал Дылда.

— Ваш самолет уже заходит на посадку...

Взлетали под минометным обстрелом партизан. В предрассветной мгле Дылда Ричард видел всплески земляных фонтанов на взлетной полосе. Делая круг, самолет наклонился на крыло. В иллюминаторе появился огненный столб. Дылда сдавленно вскрикнул. Пылал сарай. Тот самый сарай.

Седрик Томпсон стоял на верхней смотровой площадке горы Виктории. Был прозрачный, прохладный, безветренный вечер. Далеко внизу крохотные небоскребы искрились золотистыми звездочками окон. Красно-желтые фонари высвечивали то ровные линии, то причудливые изгибы, то плавные дуги улиц. По ним светящимися точками ползли автомобили. Где-то за автострадой уютно мерцали, словно крупная колония светлячков, окна коттеджей Кандаля. Правее серебряным шатром на черном небе раскинулся Лоуэр-Хатт. Наибольшее же впечатление производил центр Веллингтона, где, хотя и с трудом, можно было разглядеть башню Национального музея, овал стадиона, купол католического собора, прямоугольник городской мэрии, строгие контуры старого университета и просторные причалы по обе стороны морского вокзала.

Далеко внизу люди спешили в этот час в гости или домой. Со стадным энтузиазмом рвались на очередной кинобоевик и с молчаливой многозначительностью простаивали с рюмкой шерри у картин на выставке модного художника. Спаивали свою смазливую секретаршу в «Коучмене» и веселились на дне рождения внучатой племянницы или помолвке дочери брата приятеля троюродной сестры.

Далеко внизу приземлился самолет. Кровавой каплей протекла по улице в порт полицейская машина. За ней со скорбным воем проследовала карета «скорой помощи».

Далеко внизу люди рождались и умирали, радовались и горевали. В человеческом муравейнике бушевали страсти, отголоски которых долетали сюда, на вершину горы Виктории, еле слышным эхом. Правда и здесь все еще суетились туристы, да несколько парочек замерли в объятиях на сиденьях своих автомобилей. Но Седрик не обращал внимания ни на тех, ни на других. Облокотившись на балюстраду, он разглядывал город, вслушивался в дыхание океана, думал о своем.

Он вспомнил, что последний раз был здесь лет десять назад — привез Джун показать ей город с высоты. Было это днем, дул сильный ветер, даже отсюда, с высоты, были видны океанские волны. Он крепко держал ее за руку, а она, показывая пальцем на дома и улицы, старательно повторяла его объяснения.

Он знал, что сами веллингтонцы редко поднимаются на эту гору, так же как парижане редко посещают Эйфелеву башню, а римляне — Колизей. И сейчас он едва ли бы смог объяснить себе, почему оказался здесь. Так просто, без всякой причины. Разве что потому, что дышится здесь легче и думается свободнее.

Седрик посмотрел в ту сторону, где за проливом Кука распростерся Южный остров. Он любил его больше, чем шумный и напыщенный Северный. И не только потому, что там родился. Ему было по душе неторопливое течение жизни даже в больших городах юга — Крайстчерче, Инверкаргилле, Данидине. Пустынные пляжи Западного берега, хрустальные дали Квинстауна, суровые в своей первозданности заливы Фиордланд, полузабытые золотые прииски, равнины и сады Кентерберии — как все это было ему дорого и близко, как хорошо он все это знал, исколесив в свое время даже самые укромные уголки юга.

Седрик плохо помнил свое детство. Но один эпизод неизменно возникал в его памяти, когда он думал о самой радостной и беззаботной поре своей жизни. Большая и богатая ферма недалеко от Крайстчерча. Он и дочь владельца фермы Кэтти возвращались из дальней утренней поездки на велосипедах к морю. Было светло, тепло и радостно — как может быть радостно в двенадцать лет. И вдруг — дождь. Поначалу мелкий, он постепенно перешел в проливной. Промокнув до нитки, они укрылись в придорожной часовне. Они долго сидели на полу молча, околдованные тишиной, полумраком, уединением. Наконец в узкое окно часовни заглянуло солнце, словно приглашая их продолжить путешествие. Они вышли из часовни и тут только увидели, что часовня расположена в стороне от дороги в яблоневом саду. Большие, сильные, щедрые деревья уходили куда-то вдаль, и все они были усыпаны крупными, красными плодами. Дождь умыл яблоки. Над садом повисла радуга. «Смотри! — восторженно воскликнула Кэтти. — Будто кто развесил на деревьях тысячи маленьких солнц! Я хочу, чтобы на каждый день нашей жизни хватало по солнцу!»

Милая, добрая Кэтти! Как ни много было этих красных солнц в том саду, их не хвятило и на четверть прожитых им дней! Седрик вздохнул. Подымался ветер. Стало прохладно. Седрик застегнул пиджак, поднял воротник. Пожалуй, пора...

Через несколько минут он въехал в город и, миновав оптовые рынки, остановил машину у популярной в городе сауны, принадлежавшей австрийцу Францу.

Несмотря на поздний час, входная дверь была открыта. Поднявшись по лестнице на второй этаж, Седрик столкнулся лицом к лицу с Францем. Тот укладывал грязные полотенца в мешок — гостил их к отправке в прачечную.

— Доброй ночи, Франц!

— Мистер Томпсон? — Австриец был удивлен. — Чем можно вам служить?

— Все посетители, наверно, разошлись?

— Очень ушли, мистер Томпсон. Часа полтора. Я тоже вот-вот собираюсь исчезать сам.

— А я как раз хотел попросить тебя не закрывать свое великолепное заведение.

— Но это никак не есть возможно!

— На свете нет ничего невозможного, — усмехнулся Седрик, — было бы желание...

— Но я же не могу нарушить лицензия, — простонал Франц. — Штраф съест моя месячная выручка!

— Какой штраф? Почему?

— После девяти вода и энергии стоит очень дорогой. Все приходит домой, смотрит телевизор, купаться ванная.

— Ах, это! — Седрик достал из бокового кармана бумажник, вынул из него продолговатую книжку, что-то написал в ней, вырвал листок и протянул его Францу. — Вот открытый чек. Впишешь в него любую трехзначную цифру.

Как это прекрасно — войти в баню, когда она только что тщательно вымыта, хорошо проветрена и вновь согрета. В парной такой густой и вместе с тем прозрачный каленый пар, что трудно не только дышать, но и двигаться. Тихо-тихо. Кажется, что эта горячая тишина тонко, едва уловимо звенит. Ни о чем не хочется думать...

Соскочив с верхней полки, добегаешь до бассейна и с разбегу падаешь в студеноую воду. Холод обжигает кожу, захватывает дух, ломит в висках...

Когда же ложишься на массажный стол — думается как-то особенно легко.

Франц похлопывал, давил, растирал, мля распаренное тело Седрика и говорил, говорил, говорил — о том, как трудно стало жить мелкому предпринимателю, как гает, словно мороженое в парилке, стоимость доллара, как многолетние клиенты перестают ходить в баню: дорого, два доллара стоит один только входной билет.

Который теперь час? Три или даже четыре часа утра. Джун спит и видит счастливые сны. И она будет — должна быть счастливее меня. Дети должны быть счастливее родителей. Да и почему ей, собственно, быть несчастной? Вот только парень ей попался не совсем такой, какого я хотел бы видеть своим зятем. Но тут ни я, ни кто другой ничего сделать не в силах. Во всем, что касается ее намерений и убеждений, Джун с самого детства тверже самых крепких скал.

Уже совсем рассвело, когда Седрик вышел из бани на улицу. Франц провожал его до самых дверей — стоял на пороге, смотрел, как щедрый ночной клиент садился в машину. На улицах не было ни души. Седрик медленно проехал через центр города. Внезапно из-за поворота выплыл автофургон, остановился у мясного магазина. Из кабины выскочили два молодца в белоснежных халатах, стали выгружать бараньи туши. По параллельной улице прогромыхал открытый грузовик-платформа, груженный металлическими ящиками с бутылками молока. И снова тишина, снова ни души. Особенно странно было видеть пустынным самым большой тоннель города — обычно забитый десятками автомобилей, сейчас он тоже был погружен в глубокий сон. Какое-то время Седрик ехал вдоль берега. Море было тихое, ласковое, ни волны, ни ряби — сонный прилив. Оставив слева Мирамар, машина помчалась вдоль взлетной площадки аэродрома.

Отчаянно зевая, дежурный механик помог Седрику расчехлить его небольшой спортивный самолет. Когда он был уже в воздухе, механик поскреб пилтерней затылок, проворчал: «И чего не спится? Видно, деньги душу тянут, покоя не дают. Ну куда по-

летел? Зачем?» И поживаясь, направился в одно из служебных помещений — досматривать прерванный сон.

Седрик был уже далеко. И высоко. На земле мерцали еще кое-где пепочки уличных фонарей. Океанские лайнеры, супертанкеры, почтенные сухогрузы казались отсюда игрушечными. Мертвые причалы. Мертвый город. Мертвое море...

И почти тотчас же Седрик увидел солнце. Багровый факел его осветил полнеба ярким пламенем. Под крыльями самолета показались легкие облачка, легкие и светлые неслись они куда-то, влекомые ветром. Их становилось все больше и больше, и вот они закрыли землю плотной пеленой. Седрик обычно не получал особого удовольствия от вождения автомобиля или самолета. Но сейчас ощущение полета — это плавное скольжение по воздуху, когда мотор выключен и легкий самолетик словно птица парит в воздухе, захватило его.

«Шарлотта и Дэнис, как далеко вы сейчас от меня, друзья мои! Не знаю, как ты, мой старый дружище Дэнис, но Шарлотта наверняка почувствует в эту минуту, что я тепло вспоминаю вас и мысленно обнимаю... Удивительно, как редко оказываются рядом друзья — именно тогда, когда они должны быть рядом».

Седрик вспомнил недавний разговор с Джун. «Ты когда-нибудь вспоминаешь мать?», — спросил он дочь. «Очень часто, папа. Но я смутно помню ее. Когда я думаю о маме, я не представляю себе конкретного человека, просто возникает чувство тепла, света и радости». — «А что бы ты сказала, если у тебя появилась бы... новая мать?» — «Мне новая мама не нужна. Мама может быть только одна. Если же ты думаешь о Шарлотте, этот брак был бы мне по душе. И она была бы мне не мамой, а старшей сестрой!».

Удивительно, как быстро бегут годы. Кажется, недавно укладывал он в кровать рядом с малышкой Джун куклу. И вот она уже размышляет как взрослая женщина... Что ж, Шарлотта будет отличной сестрой его Джун, заботливой и строгой, любящей и требовательной.

О чем-то его настойчиво запрашивала служба контроля веллингтонского аэропорта, запрашивала уже в третий раз. Седрик не отвечал. Он жадно рассматривал землю, появившуюся в просветах облаков. Она была желто-зеленая, теплая, родная. Она звала, манила, притягивала к себе настойчиво, неодолимо.

И она неумолимо надвигалась, становилась все больше, все ближе.

5

— Азиатская Венеция! — восхищенно проговорил Дылда, глядя из окна автомобиля на проносившиеся мимо улицы Бангкока. — Смотри, смотри, золотища-то сколько на куполе! Не иначе, королевский дворец.

— Это храм Ват-Пиксайжат, — сказал сидевший за рулем лейтенант из американской военной администрации, согласившийся подвести Мервина и Дылду Ричарда от аэропорта до центра города.

— Еще один канал! — Дылда толкал Мервина локтем в бок, вертел головой то влево, то вправо. — А сколько джонок, сколько разных лодок. Вот бы прокатиться!

— За десять дней отпуска можно успеть слетать на луну и вернуться на землю, не то что на лодке по каналу прогуляться, — раздраженно сказал Мервин.

— У тебя после ранения хроническая хандра, — огрызнулся Дылда. Облокотившись на спинку переднего сиденья, он спросил американского офицера: — Что бы нам здесь еще посмотреть, кроме храмов и каналов?

— Все зависит от того, каковы ваши вкусы, наклонности и содержимое кошельков. Можно сходить на экскурсию в один из университетов. В Таммасарт, например. Хотя недавно красным агитаторам удалось спровоцировать там студенческие беспорядки.

— Учебные заведения нас почему-то не очень волнуют, — усмехнувшись, сказал Дылда. — А вот за информацию о других заведениях мы были бы признательны.

Лейтенант достал из ящичка на панели управления брошюру, протянул ее Дылде: — В этом путеводителе упомянуты все места, которые могут заинтересовать наших фронтовиков.

Машина шла теперь вдоль широкой улицы, по сторонам которой тянулись витрины магазинов — ювелирных, продуктовых, универсальных. Заметно гуще стал поток автомобилей. Шумная, пестрая, разноязыкая и разноплеменная толпа текла по тротуарам. Был ранний вечер, зажглись первые огни.

— Путеводитель — это не то, — разочарованно протянул Дылда. — По тропам, указанным в нем, до нас прошли десятки тысяч. Вот если бы вы нам указали не столь проторенные тропы... Ну, скажем, такое местечко, где девочки хорошо знают свое дело...

— Этим я не интересуюсь, — холодно и отчужденно произнес лейтенант.

Дылда хмыкнул, потупился.

Мервин смотрел в окно и не слушал, что говорят. После ранения прошло больше месяца. За все это время он не получил от Джун ни письма, ни открытки. Несколько раз пытался связаться с ней по телефону из госпиталя. И всякий раз телефонистка отвечала одно и то же: «Извините, сэр. Заказанный вами номер не отвечает». За день до выхода из госпиталя случилось совсем непонятное: несколько его последних писем, адресованных Джун, вернулись с пометкой «Адресат выбыл. Новый адрес не известен».

Ясно, как день, что это какое-то недоразумение. Но пока оно разрешится, он будет отрезан от Джун, от ее писем. А ведь они так нужны ему, чтобы пережить ад войны — пережить и остаться самим собой...

— Где-то я недавно читал о местном «оазисе» любви. Вот туда я вас, пожалуй, доставлю, — неожиданно сказал лейтенант, свернул с проспекта в боковую улочку и вскоре остановился у входа в приземистое каменное здание. — Скорее всего это здесь. Желая повеселиться! — Он с неприязнью посмотрел на Дылду и Мервина. Несколько секунд — и его машина растаяла в густых синих сумерках.

— Всякий раз, когда я теперь встречаю американца, — вполголоса произнес Дылда, глядя в ту сторону, где исчез автомобиль, — я вспоминаю того, там, в сарае... И мне все мерещится, что они знают, кто его убил. Тебе не страшно?

Мервин ничего не ответил.

Та часть улицы, в которой они оказались, выглядела пустынной, заброшенной. Перед домом не горел фонарь, не видно было света и в окнах. Было здесь так удивительно тихо, словно они находились где-то далеко от одной из главных артерий большого города. Вечерний воздух тропиков был пропитан терпкими, дурманящими запахами.

Парадная дверь оказалась незапертой, и они вошли. Тусклая лампочка освещала три-четыре ступеньки, ведущие вниз. За второй, более массивной дверью их встретила молодая женщина в длинном синем платье. Она приветливо улыбнулась, отчего ее косенькие миндалевидные глаза стали еще уже, и сказала по-английски с милым акцентом:

— Счастлива приветствовать вас, господа офицеры, в этом приюте мира и радости. Разрешите ваши фуражки. Чтобы попасть в «Райские кущи Бангкока», вам нужно спуститься в скоростном лифте на триста ярдов. Согласны ли вы осуществить это путешествие в подземный мир?

— Да-да, согласны! — радостно ответил Дылда.

— Входной билет — двадцать пять долларов. — Получив от Дылды деньги, женщина в синем сказала: — Теперь прошу сюда!

Мервин и Ричард вошли в металлическую клеть, похожую на те, что используют на угольных шахтах.

— Начинаем спуск! — не переставая улыбаться, женщина захлопнула дверь клетки, нажала кнопку. В то же мгновение раздался чудовищный металлический скрежет, клеть вздрогнула, задрожала и полетела вниз. Мелькали деревянные перекрытия, слабо освещенные входы в штреки. Так продолжалось минуты две. Потом все погрузилось в темноту. Мервин и Дылда инстинктивно прижались друг к другу. Внезапно из мрака возник всякающий на ржавом крюке скелет. Он захохотал, откидывая нижнюю челюсть, протянул костяшки рук к клетке, пытаясь схватить тех, кто в ней находился. Скелет исчез, захлебнувшись в дьявольском хохоте, и тотчас завыл, заорал, завизжал хор вампиров, вурдалаков, каких-то чудищ и гадов, стремящихся забраться в клеть.

Внезапно все прекратилось — исчезли жуткие призраки, стало тихо. Где-то вдалеке забрезжил розоватый свет, послышались слабые звуки музыки. И вот Дылда и Мер-

вин, выйдя из клетки, очутились на лужайке, окруженной зелеными кустами и деревьями.

— Сила! — ошеломленно пробормотал Дылда.

— Каждый, кто хочет попасть к нам, должен пройти через чистилище, — улыбнулась женщина в синем. — Теперь вас ждут неземные утехы и наслаждения!

— Там, в джунглях, мы каждую секунду проходили через такое чистилище, по сравнению с которым этот ваш балаган — веселая рождественская сказка! — сказал Мервин.

— И все же здорово придумано, — возразил Дылда. — С размахом, по-американски! Мы ведь не спустились и на метр — это просто сад за домом!

Они пересекли лужайку и оказались перед скрытым в кустах баром. Заказав виски со льдом, уселись в широкие низкие кресла. И тут же подле них возникли две девушки: высокая, гибкая негритянка и рослая белая девушка, одинаково одетые, вернее сказать раздетые — изящные короны из золотистой бумаги на головах, розовые раковинки на сосках, золотые пояски на талии, золотые туфли. Бармен поднес им на подносе две рюмки.

— Меня зовут Мери. — Негритянка улыбнулась, взяла рюмку, поставила ее на столик перед собой. — А это Ширли!

Тихие звуки музыки будили воспоминания о чем-то далеком, полузабытом, радостном. О чем? Может быть, о рождественской службе в соборе — той, на которой они последний раз были вместе с отцом? Мервин закрыл глаза, подперев голову руками. Это было совсем недавно — немногим более полугода назад. Недавно? Нет, это было сто лет назад, в совсем другой жизни... Или этого не было, а все привиделось ему сейчас под воздействием музыки?!

— Вам нравится музыка? — негромко спросила его Ширли.

Он поднял голову, открыл глаза и внимательно посмотрел на девушку. Потом залпом выпил виски.

— Мы решили прогуляться по саду, — сказал Дылда Ричард, все это время шептавшийся с хихикающей Мери. — Посмотрим, что за плоды зреют на здешних деревьях! Он обнял негритянку за голые плечи, и они скрылись в кустах.

— Мы тоже пойдем? — спросила Ширли и взяла Мервина под руку.

Он снова посмотрел на нее, спросил:

— Сколько тебе лет?

— Двадцать четыре.

— И давно ты здесь, в «раю»?

— Какое тебе дело? — Девушка оттолкнула Мервина. — Ты что, войсковой капеллан? Хочешь меня исповедать? Так я в бога не верю!

— Не сердись, — мягко сказал Мервин. — Я же не хотел тебя обидеть.

Где-то все так же тихо играла музыка. Ровный розовый свет струился, казалось, со всех сторон.

— Я была монашенкой, — сказала вдруг Ширли. — Не смейся, солдат, да-да — монашенкой!

— Я не смеюсь...

— Наверно, я появилась на свет в монастыре в Швейцарии. Во всяком случае, первые мои впечатления — это монастырь, ни отца, ни матери своих не знаю. Моя мать, по слухам, богатая женщина. Она, говорили, живет где-то в Америке. Она дала монастырю кучу денег с условием, что имя ее останется тайной для всех, в том числе и для меня — ее родной дочери. А в том, что я очутилась здесь, нет никакого чуда. Никакой магии. Одна мафия! Ха-ха-ха! Честное слово, неплохо звучит — мафия, магия... Десять лет назад мне поручили отвезти из Берна на Тайвань больного старика миссионера. На обратном пути мне предстояла пересадка и ночевка в Гонконге. Ночью в отеле я потеряла сознание, а очнулась здесь...

— Почему же ты не убежала?

— Пробовала. Дважды, даже трижды. Ловили. Избивали до полусмерти. Потом смирилась. Если подумать всерьез, кому я нужна? Да и не умею я ничего...

Из-за кустов появились Мери и Дылда Ричард.

— Сила! — проговорил Дылда, обнимая негритянку. — А твоя как?

— Ширли, уйдемте отсюда! — негромко сказал Мервин, вставая.

Девушка взяла его за руку. Пройдя несколько шагов, она раздвинула ветки густо разросшихся кустов и пропустила Мервина вперед:

— Прошу вас в мою скромную келью...

Мервин сделал несколько шагов, огляделся. Комната имитировала уголок леса. Ни ламп, ни зеркал, ни мебели. Потолок затянут сплетением ветвей. Мягкий зеленый ковер с длинным ворсом покрывал пол. Ширли легла на него, поманила рукой Мервина. Он сел рядом. Пол оказался мягким, пружинистым, как подушка. Над головой девушки висело на длинном зеленом шнуре золотистое яблоко. Она дотянулась до него, легонько дернула. Свет, сочившийся сквозь ветви на потолке, погас. Руки Ширли нежно коснулись лица Мервина, обвили его шею.

— Ты красивый, смуглый, чистый, — шептала она.

Мервин резким движением разомкнул ее руки, отшатнулся в сторону.

— Ты что? — услышал он встревоженный голос Ширли. — Где ты?

— Включи свет, — сказал он вставая.

Голубоватый свет просочился сквозь ветки на потолке. Ширли испуганно смотрела на Мервина.

— Ты извини, — сказал он, не глядя на нее. — Не могу я.. Не беспокойся, заплачу сколько следует. Но — не могу!

Ширли не расслышала или не поняла его слов.

— Я тебе противна, да?

— Ты красивая, очень красивая... Но у меня есть невеста...

— Что?! — Ширли вскочила на ноги. — Повтори, что ты сказал!

— Я сказал, что меня ждет невеста...

— Невеста? Ха-ха! Вы только посмотрите на этого сосунка! Его дома ждет невеста, а он приперся сюда, слюнять! Вот, ей-богу, слюнять! Ха-ха-ха! — Ее смех становился все более резким, пока не перешел в истерический визг. Она упала лицом на ковер, забилась в рыданиях.

Мервин сел рядом с ней, положил ей руку на плечо.

— Успокойся, — сказал он. — Тебя продали сюда, а я сам — понимаешь, — сам продал себя сатане!

Она повернулась к нему заплаканным лицом, некоторое время молча смотрела на него, потом негромко проговорила:

— Страшно жить, когда нет надежды на будущее. У тебя, солдат, все-таки есть надежда. И у твоей невесты есть. У меня такой надежды нет. Я — мертвая среди живых...

Дылда и Мервин сидели у бара; решили выпить виски и уйти. Утром предстояла церемония награждения тайландскими орденами, надо было выспаться. Дылда пребывал в философическом настроении.

— Ты романтик, Мервин, — благодушно бубнил он. — Ты романтик и всю жизнь будешь нищим, хоть женись ты на дочках всех наших миллионеров, вместе взятых. А я — человек деловой. И я говорю тебе: тому, кто владеет таким заведением, как это, не нужны ни заводы, ни фермы... Мы, новозеландцы, классические ханжи. Проституция, видите ли, нам не подходит, она неморальна. Почему, хочу я вас спросить, уважаемые леди и джентльмены, вы решаете за меня, что мне подходит и что — нет? Думаешь, так бы я и полез в это проклятое пекло, если бы знал, как еще можно быстро сделать деньги. Черта с два! Я по натуре — человек мирный. И мне всегда хотелось больше всего на свете иметь свое доходное дельце. Как славно было бы — жена, дети, надежное и прибыльное заведение. Как это... Ну чем не жизнь, скажи, Мервин, друг мой?

Мимо них быстро прошла хозяйка в синем платье.

— Серж, Бенито! — крикнула она. — Подымайте всех девочек, всех, кто не занят и кто отдыхает! Морские офицеры идут. Человек двадцать пять!

Мервин и Дылда услышали приближающийся гул голосов, смех, крики. Хлопнул выстрел, за ним другой, третий. Американская морская пехота вступала в «рай».

Вопреки наставлениям и запретам мадемуазель Дюраль Ширин и Гюйс спали в ногах у Джун. Была суббота, и все трое спали сладко и долго: уже пробило одиннадцать на часах в гостиной. Безмятежное сонное царство продолжалось бы и дольше, если бы не Гюйс. Проснулся он давно и долго лежал, прижавшись к теплому боку своей подружки, жмурясь и протяжно зевая. Ему безумно хотелось выбежать в сад хоть на минуточку. Когда терпеть стало невозможно, он поднялся на коротких лапах и твякнул.

Не раскрывая глаз, Джун улыбнулась и выпрыгнула из постели. Посмотрела на часы, воскликнула с притворным возмущением: «Боже мой, кто же это спит до полудня! Странно, что никто нас до сих пор не разбудил. Где же папа?»

Она набросила на себя стеганый халатик и вышла из спальни. Гюйс метнулся вниз по лестнице к выходу в сад. Ширин степенно последовала за своей хозяйкой. Джун подошла к отцовской спальне, прислушалась. Ни звука. Она постучала и открыла дверь. «Никого. И постель не тронута. Опять папа не ночевал дома».

Ничего особенного в этом не было. После отъезда Шарлотты во Францию Седрик часто не ночевал дома. Проведя вечер в гостях или в клубе, он отправлялся к Дэнису где и оставался до утра. Но после отъезда О'Брайена в Рио, Седрик впервые не ночевал дома.

«Может, остался в конторе?» — подумала Джун. Она знала, что рядом с отцовским кабинетом находится великолепная комната отдыха. Джун села на отцовскую кровать, взяла на колени телефон, набрала номер коммутатора банка. Долго слушала продолжительные гудки. Кто может откликнуться? Суббота. «Но сам-то папа мог бы позвонить. Может быть, он и звонил, да мы не слышали».

На субботу в их доме всю прислугу отпускали, и Джун сама сбегала к воротам за молоком и газетой.

Она наспех проглотила завтрак: стакан грейпфрутового сока, яичница с беконом, чашечка кофе. Нужно было торопиться: она опаздывала в клуб на тренировку. Быстро приняв душ и одевшись, Джун вывела «судзуки» из гаража, включила мотор. И тут вспомнила, что забыла посмотреть, когда будут показывать новый телевизионный документальный фильм «Наши парни в Индокитае». Джун поставила ревевший мотоцикл на опорную подставку, вернулась в дом, прошла в гостиную и, взяв со стола толстый номер «Доминиона», стала просматривать на первой полосе перечень основных материалов. И обмерла. В глаза бросились трехдюймовые буквы: «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ ТОМПСОНА». Неужели это о папе? Неужели... но, значит, и о ней? Строчки статьи расплывались бесформенными серыми пятнами. Она ничего не понимала. Нет, распускаться нельзя! Как бы ни было больно, как бы ни было страшно, надо заставить себя прочитать все! И, утерев рукой слезы, Джун стала медленно читать, стараясь постигнуть страшный смысл напечатанного: «...Наш отечественный финансовый гений проиграл решающую битву с заокеанским денежно-промышленным Голиафом. Тому в очень значительной мере способствовали безответственные красные пропагандисты из Федерации труда и их покровители — лидеры лейбористов. Постоянный рост беспорядков, непрекращающиеся бесплодные диспуты профсоюзных бездельников с компаниями концернов лишь отвлекали внимание его мозгового треста от умно скрытой до поры до времени, но тем не менее реальной угрозы из-за рубежа...»

Вчера поздно вечером кабинет принял чрезвычайное решение о временном замораживании всех банковских счетов концерна Томпсона. Назначена авторитетная и полномочная комиссия в составе трех ведущих промышленников. Ее главная задача заключается в том, чтобы предпринять все возможные меры и охранить интересы держателей акций. В случае крайней необходимости для этого будут выделены правительственные фонды...

Седрику Томпсону пока разрешено находиться в своем доме, который позднее будет продан с аукциона в покрытие долгов, исчисляющихся по уточняемому еще данным многими миллионами долларов.

Для биржевой паники нет никаких оснований. По заявлению председателя комиссии все предприятия концерна будут продолжать нормально функционировать. Могуще-

стенная группировка, в руках которой оказался 51 процент акций концерна, возьмет руководство в свои руки в течение ближайших трех месяцев...»

Джун аккуратно сложила газету вчетверо. Еще раз взглянула на огромный заголовок первой полосы: «Крушение империи... Крушение империи...» В висках тоненько и противно звенело. Потом стало стучать — тихонечко, будто бы крохотным молоточком. И все сильнее, сильнее. И вот уже нет никакой мочи жить, дышать, думать. Боже мой, за что, за какие грехи вбивают в голову эти раскаленные гвозди?

Джун уронила газету на пол, вышла из гостиной в сад и долго стояла возле ревущего «судзуки». Потом выключила мотор. И в наступившей тишине вновь услышала этот убийственно монотонный тоненький звон.

Она вернулась в гостиную, села в кресло, машинально включила транзисторный радиоприемник, стоявший на журнальном столике. Транслировалась викторина современного джаза. Эзру Фитцджеральда сменял Каунт Басси, Черного Моисея — ансамбль Чикаго. Джун сидела не двигаясь, тщетно пытаясь вспомнить что-то важное. Что именно? Ах, ну конечно же — фильм о Вьетнаме будет в восемь вечера. В восемь часов вечера... «Где же папа? Почему его так долго нет? Где он ночевал? Папочка, отзовись! Какая ерунда все эти деньги, эти миллионы... Был бы ты сейчас здесь, со мной, я сказала бы тебе, как ничтожно мало значат все деньги мира для людей честных и добрых. Мой седой, мой старший, чудесный папа! Я же знаю — ты самый добрый, самый честный. Где ты, отзовись! Много ли нам с тобой надо? Скоро вернется Мервин, придет Шарлотта — и мы заживем счастливо. Чем плохая семья, скажи? Внука назовем Седриком — Седрик-младший. Хочешь?»

Она сняла телефонную трубку, еще раз набрала номер конторы. Долго никто не отвечал. Наконец слабый детский голос сказал: «Мамы нет, и папы тоже нет. Одна бабушка и Нэнси дома. Это дядя Чарльз?» Джун положила трубку, набрала номер еще раз. Никто не ответил. Набрала номер еще раз. И еще. И еще. Она с ожесточением крутила диск. С раздражением, неприязнью смотрела на безмолвный аппарат. Ей и впрямь сейчас казалось, что он один виноват в том, что она не может дозвониться.

Вдруг Джун выронила из рук трубку, прижала ладони к щекам, замерла. Популярный радиодиктор, который всегда читал последние известия, доверительно сообщил:

«...Нам сейчас сообщили... сегодня около семи часов утра в авиационной катастрофе погиб известный финансист Седрик Томпсон... Спортивный самолет, который он сам пилотировал, потерял управление и врезался в землю в районе Нью-Плимута. В самолете, кроме Томпсона, никого не было...»

«Папочка, родной, что же это, как же это? Зачем это? Папочка, любимый, зачем?» Она взбежала по лестнице, с силой распахнула дверь в свою комнату и, бросившись на постель, спрятала голову под подушку. «Господи, хотя бы на минуту, хотя бы на полчаса, на час, уйти, укрыться, убежать от этой страшной, злой, несчастной жизни. Мервин, Мервин, и тебя нет со мной!»

Несколько раз звонил телефон. К дому подъехал автомобиль. Кто-то позвал Джун — сначала осторожно, тихо, потом громко, решительно. Она не ответила.

Темнело, когда Джун спустилась в гостиную. В полумраке несколько человек, сидя на диване и в креслах, негромко переговаривались. Джун включила свет. Голоса тотчас смолкли. Взоры всех обратились к ней. Она с недоумением, даже с плохо скрытым раздражением рассматривала непрошенных гостей — малознакомых, чужих людей. Молчание, гнетущее, траурное молчание нарушила пожилая, сухонькая дама. Подойдя к Джун и взяв ее руку в свои руки, затянутые в темные перчатки, она начала проникновенно-задушевным голосом:

— Девочка моя! В этот тяжкий час мы пришли сюда, чтобы разделить с вами горе невосполнимой утраты. Мы были друзьями и почитателями таланта Седрика Томпсона в его лучшие дни и не оставим его дочь в трагический момент. Мы...

— Извините, но... — Джун перебила даму и болезненно поморщилась, словно какое произнесенное ею слово причиняло ей физическую боль.

Вилли выглянул из-за плеча дамы и проговорил, запинаясь, видимо, заранее приговоренную фразу:

— Мы самые... Ну, в общем, я искренне соболезную. Джун... Это — моя мама. Да... А папа в отъезде, в Нью-Йорке... Мама и я — мы пришли. Если что...

— Да.— Дама энергично трянула завитками пепельного парика и выпустила наконец руку Джун.— Я мать Вилли. И хотя я вас близко не знаю, сын мне много о вас рассказывал. Услышав по радио... и из газет... Одним словом, в этих обстоятельствах мы сочли своим долгом быть здесь.

Она умокла. Джун стояла, опустив голову. К ней подошел коренастый усатый мужчина, которого она где-то видела — то ли в конторе отца, то ли в гостях у каких-то знакомых.

— Морис Гуттенберг,— представился он.— Я имел честь быть коллегой вашего отца. Глубоко скорблю вместе с вами. Этот господин,— он кивнул головой в сторону седовласого толстяка в золотых очках,— Джим Ошейн, правительственный юрист. Увы, мисс Томпсон, уход из жизни близкого не только ранит душу, но приносит много забот и формальностей — тягостных и, увы, неизбежных.

— Да-да, я понимаю.— Джун проглотила комок, стоявший в горле, и уже твердым голосом сказала: — Я готова, господа. Прошу пройти в кабинет... папы...

Первым заговорил Ошейн. Начал он издалека:

— Мировая экономика переживает бурную эпоху всяческих болезней роста. Могучий двигатель свободного мира — интенсивная конкуренция талантов... Может ли бороться маленькая Новая Зеландия с заокеанскими колоссами? Опыт подтверждает жизнеспособность негативных концепций... Лучшей формой эффективной конфронтации является разумная взаимоинфильтрация инвестиций... Мудрый и устойчивый симбиоз — вот путь для достижения позитивного модуля экономики малых стран...

После двух-трех фраз юриста Джун уяснила себе, что смысл его малопонятной речи заключается в том, чтобы предельно закамouflировать суть происшедшего и, главное, его последствий для нее, единственной наследницы поверженного магната. Поняла — и перестала его слушать. Она вспомнила, как отец долго и весело смеялся однажды над ней, когда она попыталась изложить хитроумно и витиевато, в общем-то, простую просьбу о покупке нового гоночного велосипеда,— и заплакала. Плакала она беззвучно, закрыв глаза, изредка украдкой вытирая слезы платком...

Да и что он, этот пузатый служитель Фемиды, мог сказать ей нового? Все самое главное выплеснула — словно чан кипящей смолы — на рядового обывателя, мелкого держателя акций газета. Нет, Джун не слушала юриста. Она думала о том, что, если бы дядя Дэнис или Шарлотта были сейчас здесь, ей не пришлось бы принимать всех этих людей, участвовать в нудных и страшных разговорах. Хотя, кто знает,— может, оно и к лучшему, что их нет рядом. Ведь надо же когда-то научиться отвечать за себя. Ведь надо же... Что там такое говорит теперь мистер Гуттенберг?

А Гуттенберг сообщал детали похорон, панихиды, маршрут и порядок следования автомобилей. Когда он закончил, Джун негромко спросила:

— Сколько будут стоить похороны?

— Три с половиной — четыре тысячи долларов,— отвечал Гуттенберг и тут же добавил: — Вы не беспокойтесь, мисс Томпсон. Мы, друзья вашего отца, берем эти расходы на себя.

— Нет! — Голос Джун прозвучал жестко, категорично.— Ни на пособие для меня, о котором говорил мистер Ошейн, ни на оплату похорон моего отца, господин Гуттенберг, я не могу согласиться. Благодарю вас, господа, но я не могу... Миссис Соммервиль,— обратилась она к матери Вилли,— не будете ли вы так любезны известить меня, когда доставят гроб с останками отца? У меня нет сил, я должна лечь... Извините меня, господа, и большое вам спасибо...

Она медленно поднялась и направилась к двери. Мужчины вскочили, застыли в почтительном поклоне.

— Гордячка! — прошептал Ошейн Гуттенбергу.

— С ней можно не соглашаться, но нельзя ею не восхищаться — в ней говорит кровь отца,— также шепотом возразил тот.

Похороны состоялись через три дня. Процессия машин растянулась на полторы мили, перекрыв основные артерии города. Был серый, безветренный день. Накрапывал дождь. И хотя было три часа пополудни, по новозеландской традиции, все машины траурной процессии ехали с включенными фарами. В зале крематория один из директоров концерна Томпсона, атлетически сложенный и не по годам моложавый старик, сочным баритоном проникновенно говорил о «невосполнимой утрате для всего англосаксонского

делового мира, о безвременной кончине отважного рыцаря свободного предпринимательства, о могучем разуме, пылком, нежном сердце и детски чистой душе» Седрика Томпсона.

Недалеко от входа на площадке были сложены венки и цветы — целая гора. Давно уже почти все разбегались по своим конторам и банкам, магазинам и компаниям. И только Джун все еще стояла под мелким дождем, смотрела на венки, цветы и думала о своем. О том, какой странный этот обычай — отмечать такие различные вехи человеческой жизни цветами. И что отец ее очень любил цветы... Долго же придется ей привыкать к тому, чтобы думать и говорить об отце в прошедшем времени... Насколько было бы теплее на душе, если бы вместо всей этой толпы чужих, в общем-то, равнодушных мужчин и женщин, рядом с ней сегодня оказались Мервин, милый дядя Дэнис, Шарлотта. Ну, хорошо, — допустим, Мервин где-то в джунглях, где его не найдут ни почта, ни телеграф. Но ведь и Шарлотту и дядю Дэниса Джун известила о несчастье в тот же день. Разумеется, они далеко, но при желании, при очень большом желании, можно было успеть приехать вовремя... Откуда Джун могла знать, что Шарлотта в это время находилась не в Париже, а в Марселе, занятая получением небольшого наследства от дяди по материнской линии, а Дэнис со своим отпрыском откликнулись на призыв Международного Красного Креста и отправились волонтерами в Чили — на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения? Знала она одно: Дэнис и Шарлотта, самые близкие после нее отцу люди, не пришли к его гробу, не простились с ним. И к горечи утраты примешивалось тяжелое чувство обиды.

— Джун, — позвал ее кто-то.

Она оглянулась. Вилли протягивал ей бумажный стакан с кофе.

— Выпей, сразу согреешься!

Джун отпила несколько глотков.

— Живо помню, — щуря в улыбке глаза, сказал Вилли, — как твой отец впервые привез тебя в школу.

— Как ты можешь это помнить? Я же училась в школе для девочек.

— В тот день мою двоюродную сестру отвезли в ту же школу. Я плакал, просился, хотелось посмотреть, что такое школа. Тетка взяла и меня.

— И что же интересного там было?

— Со спортивной площадки прибежали две девочки все в слезах. Говорят: «Новенькая дерется! Мы ей мячик не дали, а она нам в волосы вцепилась». Ну, я и увидел эту новенькую...

На мгновение тень улыбки появилась на лице Джун.

— Неужели? Ты так хорошо это запомнил? Я и то забыла...

— Помню... И это и многое другое, — негромко сказал Вилли. Он долго молчал, а когда заговорил, Джун невольно повернулась в его сторону — так изменился его голос, стал высоким, звенящим: — Я хотел... Мне очень... Ты сразу не отвечай, подумай... Я прошу тебя стать моей женой!

Джун взяла Вилли за локоть, легонько сдавила его. Так она стояла молча минуты две-три. Когда заговорила, Вилли вздрогнул, перевел дыхание, облизал пересохшие губы.

— Ты славный, Вилли, спасибо тебе! — сказала Джун. — Именно поэтому и еще потому, что не в моем характере хитрить, я отвечу тебе сейчас. Я не люблю тебя, Вилли. Все остальное не имеет значения...

— Да нет, отчего же, я подожду, — тем же неестественно звонким голосом возразил Вилли. — Я буду ждать, Джун. Может, ты все-таки передумаешь...

— Я хотела бы теперь побыть одна. Ты извини...

— Да-да, Джун, конечно... Мы с мамой подождем тебя в машине и подвезем до дома. Тебе же ведь не на чем доехать и...

— Не надо меня ждать! До дома я доберусь сама...

Джун проводила взглядом автомобиль Соммервилей. Не на чем доехать!.. Да, что бы оплатить расходы на похороны, ей пришлось продать свой любимый «судзуки». Вырученных за него денег не хватило. И Джун пришлось расстаться с единственной драгоценностью, принадлежавшей ей лично, — жемчужным ожерельем, подарком Шарлотты

Ей было до слез жаль терять эти вещи, но другого выхода не было. А раз так, то эмоции следовало спрятать в самый дальний уголок сердца.

Она пошла домой пешком: уже пятый раз в этом месяце бастовали водители автобусов. Шла часа полтора и, когда уже была у самых ворот, почувствовала вдруг неодолимую усталость. Тут ее встретили Гюйс и Ширин. Они не прыгали, как обычно выражая радость, а робко жались к ее ногам.

Вся прислуга получила расчет. В доме было холодно, пусто. Все вещи, даже стены в нем казались Джун чуждыми, враждебными — даже в ее комнате, еще недавно такой уютной, такой волшебной-счастливой обители. Она не включила свет, не разделась. Завернувшись с головой в шотландский плед, упала на постель в надежде, что мгновенно утонет в желанном сне. Но она не могла уснуть почти всю ночь. Собаки не отважились забраться к ней в постель — устроились, прижавшись друг к другу, на полу. Всю ночь в люстре под потолком позвякивали хрусталики, — это ветер бродил по дому, стучал незатворенной форточкой в гостиной, шуршал бумагами на письменном столе...

В те несколько раз, когда Седрик брал с собою дочь в деловые поездки по стране, они останавливались в гостиницах и мотелях. И Джун неизменно испытывала одно и то же чувство: в первые часы все ей представлялось на новом месте интересным, значительным. Но проходил день и пребывание в чужом, наемном доме начинало невыносимо тяготить ее. В эту ночь Джун пережила нечто подобное: ее дом, дом ее отца, стал чужим. Он перестал быть родным гнездом. Он умер.

Утром Джун прошла в последний раз по всем комнатам, отобрала кое-какие бумаги, письма, безделушки. Уложив все это вместе со своими туфлями, платьями, бельем и свитерами в чемодан, выпила стакан молока, покормила Ширин и Гюйса. Потом, взяв собак на поводок, вышла в сад. Быстро, почти бегом пересекла его. Чемодан был легкий — не тянул руку. Она остановилась было на секунду в воротах, но так и не бросив прощального взгляда на дом, вышла на дорогу.

В то же утро девушку с чемоданом из крокодиловой кожи и двумя собаками видели во дворе многоквартирного дома пожарников в Нортленде. Женщины, находившиеся в то время во дворе, узнали бостон-терьера. «Смотри-ка, пес-то нашего Мервина!» — закричала одна. «А и вправду он!» — всплеснула руками другая. «Простите, — обратилась к ним девушка, — не прислал ли Мервин сюда писем?» «Милая, кому же ему сюда писать? — спросила одна из женщин. — Отец-то на пожаре сторел, а больше у него никого и не было». «Я знаю, знаю», — сказала девушка и, простившись с женщинами, ушла.

Видели ее и в здешнем почтовом отделении. Она долго разговаривала с начальником отделения. Говорили они вполголоса, но любопытная приемщица заказной корреспонденции все же сумела кое-что услышать. Оказывается, жених девушки не так давно жил в доме напротив. Теперь он воюет во Вьетнаме и она уже третий месяц не получает от него писем. Начальник посоветовал ей обратиться в министерство обороны с просьбой объявить розыск. Ищи, ищи, красавица, пропавшего жениха! Ищи ветра в поле... Дурнушка приемщица хорошо знала Мервина, слышала сплетни о его романе с наследницей Томпсона и теперь внутренне торжествовала. Ей-богу, в тысячу раз спокойнее никого не любить, никого не терять!

Последним, кто видел в Веллингтоне в тот день девушку с чемоданом и двумя собаками, был кассир междугородной автобусной компании «Ньюмен». Он продал девушке билет до Окленда, помог посадить собак в специальный просторный ящик, расположенный в крайнем багажном отсеке. Когда все пассажиры заняли места и шофер включил мотор, бостон-терьер сначала залаял, а потом завыл — протяжно, жалобно. Кассир провожал этот автобус, как, впрочем, и все другие. И еще долго после того, как автобус скрылся за поворотом улицы, у привыкшего к самым разным встречам и расставаниям кассира стоял в ушах жалобный вой.

7

Город был охвачен паникой. Еще за час до того, как на его площадях и улицах приземлились вертолеты с отрядом командос, все здесь было относительно спокойно. И командос, внезапно переброшенные сюда за триста миль от своей основной базы, по-

началу решили, что в этом полусонном городке, центре района, можно будет неплохо отдохнуть, а если повезет, то и слегка развлечься.

Буря началась из-за того, что сержант Макинтайр ударил на улице какую-то девочку. Ему показалось, что она посмотрела на него вызывающе дерзко. И верзила американец ударил девушку по лицу. Тотчас из-за невысокой изгороди на другой стороне улицы грянул одиночный выстрел. Макинтайр упал на мостовую, чтобы больше никогда не встать. Для командос это была оскорбительно нелепая гибель. Безо всякой команды почти одновременно по проходим, автомашинам, окнам домов хлестнули десятки автоматных очередей. И почти синхронно с ними пулеметные очереди вьетконговцев с четырех сторон полоснули боевые порядки командос. Крики раненых смешались со словами команд. Приходилось принимать уличный бой.

По сведениям сайгонской контрразведки, в городе в течение длительного времени действовала довольно большая — человек пятьдесят — группа красных диверсантов. Целью отряда командос было не только очистить от них центр района, но и посеять в душах нейтральных и колеблющихся благоговейный ужас. В отряде командос был взвод, целиком скомплектованный из южновьетнамцев. Перед вылетом с базы всех офицеров и солдат этого взвода в ожидании уличных боев переодели в гражданское платье. Именно они-то и явились первыми жертвами вьетконговцев. Рукой глушца ловят змею — его же она и кусает первым...

Казалось бы, откуда в этом заштатном городишке, расположенном за тридевять земель от всех стратегических центров и перекрестков, может очутиться столько партизан? Однако град пуль, летевших со всех сторон, разрывы гранат, очереди из станковых пулеметов заставили не одного командос подумать горько и зло: «Засада! Предательство!»

Рассредоточившись, командос начали штурм ключевых зданий. Многоэтажных домов было не больше десятка. Все они находились в центре и все через четверть часа превратились в очаги смертельных схваток. Командос и местные полицейские подразделения блокировали выезды из города. Но старики, женщины, дети уходили через окраинные поля, пустоши. Впрягались в тележки, надрываясь тащили незатейливый домашний скарб. Младенцы мотались из стороны в сторону на бедрах матерей-подростков. Отчаянно кричали мелкорослые коровенки и поджарые козы. Шальные пули и осколки настигали беззащитных людей. От людской крови потемнела вода в каналах. Гибли скудные посевы риса, а вместе с ними столь же скудные надежды хоть как-нибудь пережить затянувшееся лихолетье...

— Славно было бы сейчас на нашей батарее! — мечтательно протянул Дылда Ричард. — Ночью — мягкая постель в безопасном блиндаже. Днем — несколько размеренных выстрелов с закрытых позиций...

— Перестань скулить! — оборвал его Мервин. — Радоваться должен: здесь доллар больше! Сам только этого и добивался...

Они лежали на полу в просторном холле на втором этаже городской гостиницы. Приглушенно доносилась перестрелка, которая шла в соседних домах, на близлежащих улицах. Неожиданно юношеский, почти детский голос крикнул на ломаном английском:

— Сдавайтесь, палачи!

Дылда широко размахнулся, швырнул в ту сторону гранату. Громыхнул взрыв. И снова стало тихо. Слышно было только слабое гудение и потрескивание: горели внутренние деревянные перегородки. Из облака медленно оседавшей белой пыли ярдах в десяти перед Мервином и Дылдой появилась странная фигура. Высок, широкоплечий мужчина лет шестидесяти пяти бесшумно двигался прямо на них. Руки его были в белых перчатках, вокруг шеи повязан широкий зеленый шарф, глаза закрывали большие очки с темными четырехугольными стеклами.

— Не стреляйте в него! — раздался пронзительный женский крик. — Это владелец гостиницы мсье Жак Грий!

На юге многие слышали о сумасшедшем французе, который после Дьен-Бьен-Фу остался во Вьетнаме. Только его жена знала, почему он остался в этом городишке. Здесь у него на руках скончался смертельно раненный партизанской пулей единственный друг. Здесь его и похоронили. И бедняга Жак «свихнулся» в тот день. В течение

пятнадцати лет он ежедневно приходил на могилу друга, клал на нее цветы, тихонько бормоча: «Он придет, он обязательно вернется...»

Сейчас, услышав голос жены, он остановился и спросил:

— Кто стреляет, родная? Это же музыка! Слышишь, вот заиграли флейты. А вот ударил бубен. И скрипки! Пойдем быстрее, мы опоздаем его встретить... А эти люди, — он махнул рукой в сторону солдат, — скажи им, чтобы они шли на кухню. Там их кормят...

Седая, высохшая старуха взяла Жака за руку, увлекла к выходу. Глотая слезы, она бормотала:

— Не стреляйте, господа. Умоляю — не стреляйте. Мой муж не в себе. Он и мухи не обидит. Не стреляйте! Благодарю за вашу доброту, господа...

— Красота! — сказал Дылда. — Надо же, псих объявился в самой гуще боя! А то среди нас их мало... Ей-богу, шикарное представление. Боб Хоуп со своими девицами — провинциальный хохмач по сравнению с этим Жаком и его слезливой старушенцией. Красота!

Внезапно застучал пулемет. Где-то вдалеке раздался мощный взрыв. За ним последовало еще несколько. И почти сразу же ударила, словно хорошо спрессованный горячий брикет, воздушная волна. Дом зашатался, как возвращающийся из увольнения морской пехотинец. Зазвенели стекляшки уцелевших люстр, закрипели, захлопали двери. Мервин подполз к окну, осторожно выглянул в него. Город горел. В разных его концах высокими факелами вздыбилось в небо желто-оранжевое пламя. Ветер гнал тяжелые клубы дыма вдоль улиц, перебрасывал их через крыши. Справа, со стороны собора — он не был виден Мервину, — слышались женские вопли, душераздирающий детский крик. Так могли кричать лишь живьем сжигаемые люди. В длинном одноэтажном здании школы, что находилось на той же улице, разместился временный лазарет командос. Оттуда долетали призывы о помощи попеременно с ругательствами. Черный, удушающий дым становился все более густым. Над головой Мервина прошла автоматная очередь — кто-то заметил его из дома напротив. Мервин прижался к полу, подполз к Дылде, отпил из флаги рома, сплюнул. Его тошнило — казалось, в воздухе стоит едкий запах паленых волос, горелого человеческого мяса...

От солдата к солдату цепочкой передали команду: «Выбить красных из гостиницы!» Но едва командос попытались пересечь холл, как их снова пригвоздил к полу пулеметный огонь. Несколько солдат — в их числе Мервин и Дылда — двинулись в обход. Они проползли в боковой коридор и в темноте, то и дело натываясь на обломки рухнувшего потолка, разбитую мебель, двинулись к входу в бар, где забаррикадировались вьетконговцы.

Первым туда ворвался исполин ирландец — самый сильный в отряде. Страшным ударом он высадил из проема дверь вместе с рамой. Он был так страшен, этот семифутовый детина, внезапно возникший в тылу партизан, что на несколько секунд прекратилась стрельба. Но вот послышалось лишь одно слово — слово, негромко сказанное по-вьетнамски. Непонятно как и откуда рядом с ирландцем оказался худенький, похотливый на подростка вьетконговец. Выхватив из-за пояса штык, он с силой всадил его в живот великана. Тот, замычав от боли, стал валиться на пол. В холле вспыхнула перестрелка — злая, беспощадная. Через четверть часа приказ был выполнен. На полу холла остались лежать в лужах крови пять мертвых партизан и двадцать один командос...

— Вот мы и победили! — перешагивая через трупы, Дылда подошел к бару. Зайдя за стойку, он смахнул локтем на пол разбитые бутылки, нашел несколько целых и чудом уцелевшие стаканы. — Выпьем, друзья, за счет полоумного Жака! Думаю, он не отказал бы нам в угощении...

— Смертникам грех отказывать, — проговорил сержант-австралиец. — Не жадничай, сынок, плесни до краев в этот бокал. Никогда еще я не был так близко от Костлявой, как сегодня...

Командос молча брали стаканы, молча пили. Сержант-австралиец поднял опрокинутое пианино, сел на какой-то ящик и вдруг ударил по клавишам. В холле заметались, вылетая в выбитые окна, рваные звуки джазовых ритмов.

— Под эту музыку девчонки в Сиднее скачут лучше, чем кенгуру! — выкрикнул сержант. — Танцуйте, веселитесь! Сегодня нам чертовски повезло!

Солдаты молчали, угрюмо уткнувшись в свои стаканы. Бешено плясали лишь отблески пожара на стенах холла.

— Марш за мной! — раздался в холле голос командира роты.

Командос один за другим поплелся к выходу на улицу — в пекло.

Улица простреливалась. В этом убедился первый же командос, который ступил с порога гостиницы на тротуар. Отдельного выстрела никто не расслышал — он потонул в шквале перестрелки, но командос внезапно опустился на колени и, раскинув руки, повалился на землю. Больше никто не отважился идти в рост. Солдаты скатывались по ступенькам на мостовую, ползли по улице, прижимаясь к земле.

...Стемнело. Дылда Ричард и Мервин поняли, что отбились от своих. Справа на фоне звездного неба темнела крона какого-то дерева. Звуки боя доносились сюда глуше. Они долго пили из какой-то лужи солоноватую, горькую воду. Дылда смочил лицо, грудь, руки.

— Красота! — бормотал он, размазывая платком грязь по щекам, по лбу.

— Но где же наши? — проговорил Мервин. — Как это нас угораздило оторваться..

— Ничего страшного не произошло, — успокоил его Дылда. — Отдышимся чуть-чуть и догоним. Это не джунгли. Город все же...

Совсем близко послышалась приглушенная речь. Мервин и Дылда, притаившись возле невысокой глиняной изгороди, видели, как на дороге появились темные силуэты людей. Если бы не тихие слова команды, не стук каких-то металлических предметов друг о друга, их можно было бы принять за духов.

— Прошли более двухсот пятидесяти человек, — негромко сказал Дылда, когда исчезли последние тени на дороге и вместе с ними тревожные шорохи и звуки.

— Похоже на то, что они со свежими силами хотят ударить нам в тыл, — ответил Мервин. — Надо срочно добраться до штаба.

Они выждали еще немного. Стало совсем тихо. И тишина эта была не напряженная, настороженная, как перед грозой. Нет, это была безмятежная тишина мирной жизни.

«Странно, — думал Мервин, — будто и не было всего этого страшного сегодняшнего безумия! Лицо ласкает теплый ветер. И цикады поют. И отблеск восходящей луны окрашивает обугленные развалины в мягкие тона... И полыхающие вдалеке зарницы не предвещают новой грозы... Как прекрасно и безмятежно может быть в этих местах! Боже мой, как прекрасно!»

Они ползком и короткими перебежками продвигались на юго-запад. Долго тянулась плоская пустошь. Они ползли по ней не спеша, молча. Несколько раз отдыхали.

«Скоро вернемся в зону боя, — думал Мервин. — Сейчас бы заснуть прямо здесь... Раньше я и не знал, что земля может быть такой мягкой, теплой, так одуряюще сладко пахнуть цветами и травой... Это чужая земля, где пролито столько крови, но, видно, есть в ней что-то такое, что заставляет каждого человека, откуда бы он ни был родом, преклоняться перед ней... Конечно, родина — это родина. Но есть и такое чувство, которое объединяет нас всех: мы все дети Земли — она наша мать... И как ничтожны мы перед ее лицом с нашей ненавистью и враждой!»

Они все еще ползли по пустоши, когда в небе повисла осветительная ракета — такая яркая, что на несколько мгновений стало светло как днем. Не успела догореть первая ракета, как взлетела вторая. Дылда неожиданно вскочил на ноги и, вскинув автомат, выпустил длинную очередь по ракете.

— Свет! Уберите свет! — заорал он. — Слышите, он режет мне глаза! Уберите!

— Ложись, убью! — Мервин бросился к Дылде, сбил его с ног.

«Нервы сдали...» — подумал он. Дылда повалился на Мервина. И тотчас завыла мина. Взрыв был оглушающим. Дылда охнул. Обхватив живот обеими руками, перевернулся на спину. В тишине, которая казалась особенно глубокой после взрыва, Мервин расслышал его всхлипывание. Он приподнялся на локте, потом встал, подошел к Дылде. Тот силился сесть и не мог. Руки его по локоть были черны от крови. Мервин помог ему приподняться.

— Где санитары? — простонал Дылда. — Когда не надо, они разгуливают толпами. А тут...

— Потерпи, — сказал Мервин. — Они сейчас подойдут. Сейчас...

— Ведь я не умру? Ну скажи — я буду жить?
 — Будешь, будешь жить. Сейчас тебя перевяжут. Сейчас...
 — Дай пить, — попросил Дылда и вдруг крикнул раздраженно, зло: — Пить дай! Сколько раз тебе говорить? Пить!
 — Я принесу, принесу, — озираясь вокруг, говорил Мервин. — Я — бегом. Здесь, совсем рядом...

Он осторожно опустил Дылду на землю. «Куда идти? — думал он. — Разве найдешь здесь воду? Да и не спасет она Дылду. Вся вода на свете не спасет». Он медленно отошел в сторону шагов на пятьдесят и так же медленно возвратился к раненому. Ричард тихо стонал, тяжело дышал, всхлипывая при каждом вдохе. Мервин сел рядом, бережно положил голову Дылды себе на колени. Тот смотрел Мервину прямо в глаза, быстро, захлебываясь, бормотал:

— Мерв, живот, ноги совсем не чувствую... Все. Дылда Ричард отбежал свое... У меня вот только вопрос к господину богу: почему, ну почему из нас двоих именно я, белый, должен умереть, а ты, черный?.. — Он заскрежетал зубами, закрыв глаза, часто задышал, потом снова посмотрел на Мервина. — Ну, не черный, ладно, ты парень хороший... Но почему ты остаешься жить, а не я? Почему?

Мервин окаменел — таким страшным и неожиданным было то, что говорил Дылда.

— Разве это справедливо, господи? — продолжал торопливо тот. — Справедливо?! Ведь этого... Мервина в колледже все за глаза черномазым мечтателем звали. Черномазым... Я... я же взял его с собой в надежде, что если из нас двоих кто и должен погибнуть, так это будет он. Я же просил тебя, умолял тебя, господи, чтобы ты берег меня...

Голос его стал заметно тише, дыхание участилось.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? — прошептал Мервин, наклонившись вплотную к Дылде. — Ты понимаешь?

Но тот уже не слышал и не видел Мервина, не слышал и не видел ничего. Мервин опустил голову Дылды на землю, встал и побрел по пустоши. Все вокруг было залито мертвенным светом луны. Стояла тишина, и война, страдания, кровь — все это казалось Мервину дикой, нелепой выдумкой, каким-то горячечным бредом.

«Почему человек так устроен, что борьба, кровавая драка, смертельная драка всегда была его уделом, сколько он помнит себя? — думал Мервин. — И — ненависть. Непримируемая ненависть к другому цвету кожи, к другим, не похожим на твои мыслям, другой вере, другому укладу жизни... Церковь вот уже почти две тысячи лет учит нас любить друг друга. И не научила... Но ведь человек не рождается убийцей, преступником, лжецом, вором, насильником. Кто же делает его таким? Я проклинаю себя за то, что поднял руку на брата своего, убивал брата. Я проклинаю тех, кто платит мне за эти убийства... Проклинаю!..»

Последнее слово Мервин произнес вслух, сначала хриплым шепотом, потом повторил громче. Он ускорил шаг и наконец побежал. Пустошь кончилась. Он бежал по неровному полю и кричал что было сил:

— Проклинаю! Проклина-аю!

Ему оставалось пробежать ярдов двести, и он очутился бы на шоссе, которое вело в город с северо-востока. И в эту минуту раздался взрыв. Мервина подбросило в воздух. Последнее, что он увидел, была Джун. Она протянула к нему руки, и он упал в ее теплые объятия...

Часть третья

1

Самолет представлял собою огромный, комфортабельный, великолепно оборудованный госпиталь. В нем имелась даже операционная. Гигант не испытывал в полете ни малейшей качки. Он совершал регулярные рейсы между Сайгоном и Сан-Франциско, перевозки раненых. И убитых. Стандартные гробы выстраивались мрачной шеренгой вдоль одного из служебных отсеков, иногда двух и даже трех. В этот рейс их оказалось так много, что в нескольких отсеках были сняты кресла. Звездно-полосатые флаги бережно покрывали скромные солдатские гробы. У одного из них в инвалидной коляске расположился Мервин. «Пожизненный персональный вездеход, — холодно подумал он,

приткнул коляску к гробу вплотную и поставил на тормоз.— Щедрый дар президента Тхиейу герою, потерявшему в битве за свободу обе ноги».

«Летучий Гиппократ» легко оторвался от земли, быстро набрал заданную высоту, взял курс на Бангкок. Мервин задумчиво погладил материю флага. «Кто ты, безвестный дружище, запеленатый в эту торжественную тряпицу? Где и как достала тебя «твоя» пуля? Молчишь... Да и что ты мог бы сказать? Что обидно уходить из жизни в восемнадцать лет? Будь мужествен.. И не завидуй живым. Им хуже, чем тебе. Боль, страх, ненависть, злоба — тебе все это уже не грозит...— Мервин потрогал свои протезы выше колен.— Вот это видишь, брат? Или ты всерьез полагаешь, что жить всегда, при любых обстоятельствах лучше, чем не жить? Наивная и горькая ошибка!»

Мервин чувствовал усталость, его клонило ко сну. Он подождал, не появится ли сестра и не поможет ли ему лечь. Но ее все не было, и он положил маленькую подушку из-под спины на гроб, приткнулся к ней щекой и тотчас заснул...

Сон первый

Господи, разве бывает такое небо? Как черная опухоль, оно тяжким, мокрым грузом навалилось на грудь. Нет сил ни шевельнуться, ни даже вздохнуть. Ноги онемели под этой тяжестью — словно их и нет вовсе...

Кто-то идет по полю. Слышна песня. Ее поет женщина. Тихо и горестно звучит ее голос. Слов не понять. И нет сил повернуть голову, посмотреть...

«Печальней нету материнской доли...»

Голос все ближе, явственнее. Он знаком, он знаком мне. Но я не могу повернуть голову, посмотреть, кому принадлежит этот тихий голос. Женское лицо склоняется надо мною. Доброе, скорбное лицо. «Мама!» — кричу я. Но она не слышит меня. И не видит. О, как должен быть сын виноват перед матерью, если она не узнает его!

Нет, не узнает. Ее взгляд скользит по мне, словно я ком земли, трава или куст. Она проходит мимо меня. Я не могу повернуть головы. Я не вижу ее. И только голос ее долетает до меня: «Печальней нету материнской доли...»

...Сколько времени прошло? Я попытался поднять руку, чтобы посмотреть на часы. И не смог. Далеко за горами проступила светло-бирюзовая полоска. Она постепенно ширилась, алея по краям. Я лежал на краю рисового поля в жидкой грязи, беспомощный, раненный, должно быть тяжело. Я не знал, насколько тяжело. И не хотел знать. Впервые в жизни я смотрел на себя вот так — со стороны. Лежит солдат — ему спокойно, ничего не хочется — ни спать, ни есть, ни пить. Не хочется ничего. И никого... Я не помнил, кто я, откуда, как очутился здесь и почему. Я понимал, что скоро стану частицей этого поля — этой грязью и водой. И я хотел, я жаждал только одного, чтобы это произошло быстрее — слияние, единение с тем вечным, из чего возникает все временное, преходящее...

Я открыл глаза от нестерпимой боли. Обугленная земля дымилась. Двое каких-то людей вливали мне в рот раскаленный свинец.

Сознание прояснилось. Эти двое оказались крестьянами. Один из них расправил мокрую тряпку, лежавшую на моем лице. Другой поднес к моим запекшимся губам горлышко фляги. Вода была теплая, противная, густая, как касторовое масло. Крестьяне о чем-то спорили.

На краю поля остановился «джип». Из него выскочили солдаты, двинулись через поле. Командос. Впереди — сержант из второй роты. Подбежал ко мне, весь в грязи, ворот расстегнут, рукава закатаны выше локтей. Машет мне рукой, щуря глаза, разглядывает меня в упор. Молчит, отвернувшись. И вежливо, учтиво — командос обычно не разговаривают так и с начальством — спрашивает крестьян:

— Почему не доложили о раненом в отряд? Или властям? Отвечайте!

— Мы только что его нашли,— волнуясь, отвечает на ломаном английском один из крестьян.

— Поле твое?

— Мое поле...

— И ты начинаешь работать на нем в десять? Ты не фермер, а бездельник! — дружелюбно улыбается сержант.

— Бой был,— объясняет крестьянин.— Мы боялись... Партизаны мин насовали... Он, видно, на одну и напоролся...

Издали доносится крик. Сержант хмуро молчит, ждет. Подходит солдат, сообщает:

— Еще один наш! — Он показывает рукой в сторону.— Мертвый... Вздулся уже.

— У вас под носом партизаны ставят мины,— сержант улыбается.— наших людей убивают на вашем поле. А вы спите?! Ну что ж, теперь будете вечно спать!

И он скашивает крестьян из автомата. И смеется! Или я схожу — уже сошел с ума? Он подходит к мне и, все так же улыбаясь, цедит:

— Этот вроде тоже готов?

— Дышит,— отвечает ему кто-то.

— Тащите к машине,— приказывает сержант.

— Тоже занятие — с падалью возиться,— недовольно ворчит кто-то.— Пулю в лоб — и баста.

Господи, вразуми: за что он прикончил этих двоих? За что? Уж лучше бы меня, лучше меня! Опять... свинец в рот льют...

Мервин проснулся, вздрогнул. Первое ощущение — будто самолет падает. Его стало тошнить. Что это с ним? Неужели испугался за свою жизнь? Мысль эта, вполне естественная, показалась Мервину смехотворной. Он — и страх за жизнь?!

Появилась сестра милосердия, монашенка. Мягко приподняла голову Мервина, влила ему в рот какое-то лекарство.

— Вот так, сейчас все пройдет!

Она обвела быстрым взглядом отсек, чуть заметно нахмурилась.

— Общество почтенное, но крайне молчаливое,— проговорила она извиняющимся тоном.— К сожалению, госпиталь сейчас переполнен. Я бы с радостью перевела вас в другое место. Но все забито ранеными. Даже операционная — вы сами видите...

Да, Мервин видел: красная лампочка, означающая «Внимание, идет операция!», горела непрерывно.

— Я к такому обществу привык на земле,— спокойно сказал он.— Похоже, снижаемся?

— Да, садимся — Бангкок. Здесь возьмем еще нескольких пассажиров. Они только вчера прибыли сюда на отдых. И вот...— Монашенка снова посмотрела на гробы.— С земли сообщили, что все они были молодые... Им бы жить и жить...

Мервин промолчал. Он отчетливо увидел картину из недавнего прошлого — морская пехота брала штурмом бангкокский «рай». Да, штурмы без жертв не бывают...

Потом предстояла остановка в Гёнконге. Там Мервин переседет на транспортный самолет королевских ВВС, который летит в Окленд. В отсек заглянула монашенка: «Все ли в порядке?» Мервин благодарно улыбнулся. Монашенка постояла с минуту и вышла, подумав, что этот красивый безногий юноша слишком уж молчалив и мрачен. Впрочем, для веселья у него не так много поводов. Кажется, он опять дремлет.

Сон второй

Мервин плыл вдоль широкой, тихой лагуны. Пологие берега ее были покрыты густо-зелеными зарослями. Теплая, прозрачная вода ласкала тело. Горько-соленая на вкус, она не разедала глаза. «Океан. И где-то рядом — устье реки,— подумал Мервин.— Какая благодать!» Он нырнул, захватил пригоршню донного песка. Золотистые песчинки сыпались сквозь пальцы, таяли в солнечных бликах. Появлялись и исчезали неповоротливые толстомордые рыбы-губошлепы, юркие глазастые трусишки крабы. Не было ни акул, ни морен, ни осьминогов. И дышать Мервину было легко, будто не плыл под водой, а гулял по берегу...

Неожиданно над головой нависло что-то огромное, темное. Мервин понял, что это корпус затонувшего судна, и поплыл к его носу. Это был трехмачтовый бриг постройки семнадцатого века — как раз такой, на каком он мечтал отправиться кругом света на поиски неоткрытых земель! Запутавшись в снастях, он не сразу добрался до капитанской каюты. Когда же наконец он вошел в нее, понял — кто-то успел побывать

здесь до него. Дверцы секретера оторваны. Золотые дукаты рассыпаны по полу. Значит, деньги грабителям были не нужны.

«Ха! Попался-таки! — услышал он за спиной злорадный смехок. — Не двигаться — или ты не жилец на этом свете». Он повернул голову. То, что предстало его взору, немало удивило его. Он был готов к встрече с Билли Бонсом — по меньшей мере. За спиной же у него стоял молодой человек с приятным, открытым лицом, с умными и добрыми глазами, в костюме современного покроя...

Вдруг все предметы потеряли четкие очертания, расплылись. Прямо перед собой Мервин увидел большие светло-зеленые глаза, обрамленные частоколом рыжих ресниц. Глаза в упор, не мигая, разглядывали его. «Он пришел в себя, впервые за неделю взгляд осмыслен, — сказали глаза. — Пульс девяносто пять». Каждое слово вонзалось в мозг — словно тупой толстый шприц неумело вводили в вену. Все же Мервин сумел прошептать: «Где... я... кто... вы?...» «Я доктор, вы в госпитале...» «Что... со мной?» «Ноги...»

Ноги. А что — ноги? Мервин снова плыл под водой. И его ноги, смуглые, длинные, двигались легко и сильно. Вода была мутной. Мервина охватила необъяснимая тревога, он решил было повернуть вспять, но далеко впереди забрезжило пятно света. Он поплыл быстрее. Пятно росло, увеличивалось, вода снова стала солнечной, веселой, зеленой, ласково баюкала тело. «Как хорошо, как божественно хорошо!» — подумал Мервин, зажмурив глаза от нахлынувшего на него ощущения полного блаженства.

Откуда-то сверху плавно спустилась Джун. Приблизилась к нему, взяла в ладони его лицо. Смотрела ему в глаза и молчала. И хотя слез не было видно, он знал — она плачет. «О чем ты плачешь? Или ты не рада встрече?» Молча она поплыла вверх, позвала его рукой. Они вышли на берег. Все было затоплено чернильной мглой. «Ты видишь что-нибудь?» — спросил он Джун. Ничего не отвечая, она продолжала идти...

...Когда он снова открыл глаза, Джун рядом не было. Он лежал на широкой, жесткой кровати в просторной, светлой комнате у раскрытого окна. Так бодряще-приятно в Сайгоне бывает лишь ранними декабрьскими утрами. У второго окна стояла еще одна кровать. На ней лежал человек, сплошь обвязанный бинтами. Оставлены были лишь щелки для рта и глаз.

— Ты кто? — спросил он отрывисто, требовательно. Мервину показалось, что сосед давно ждал, когда он проснется.

— Новозеландец.

— А-а-а... — протянул тот, и было непонятно, понравился ему ответ Мервина или нет. Помолчал. Отрекомендовался: — Нью-Йорк...

Мервин повернул к нему голову и встретил горячий, пронзительный взгляд.

— Ты знаешь, что у тебя нет обеих ног? Оттяпали выше колен. Знаешь?

— Знаю, — машинально ответил Мервин.

И тут же подумал: «Ног? У меня нет обеих ног?! Что он за чушь несет, этот псих?! Вот, пожалуйста, я шевелю ногами. Вот двигаются большие пальцы. Да я сейчас встану и пойду...»

— Когда выползешь отсюда, новозеландец, не забудь медикам написать благодарность. Мне в деталях расписали, как они тебя за уши да за волосы из чистилища вытаскивали!

Мервин не слушал того, что говорил американец. «Ноги... Кто мне уже говорил про мои ноги? Кто? Вспомнил — рыжий доктор! Но он ведь не сказал, что их... нет. Ведь не сказал же! Врет янки, врет!.. Вот они, мои ноги, вот, вот!» Он протянул руки и там, где всегда были ноги, нащупал под одеялом пустоту. В недоумении посмотрел на американца, еще раз ощупал пустоту — и потерял сознание...

— А ты слабак, парень, — сказал забинтованный, как только Мервин открыл глаза. — Слабак! Такой переполох был — половина госпиталя к тебе сбежалась. И чего?! У солдата, у командос, нервы отказали — как у сопливой девчонки, порезавшей палец. Еле отходили...

— Молчи! — крикнул Мервин. — Я калека, урод, огрызок! Кому я такой нужен? Эй? Жить не хочу. Не хочу, не хочу! Господи, за что? Ну за что?! Неужели я самый большой грешник?

— Тебе жить не хочется, слабак? — зло прохрипел американец. — Ты — самый несчастный на свете? Врешь, юнец! Тебе повезло. И то, что у тебя в позвоночнике осколок мины, — тоже повезло. Он мог бы сразу тебя прилепнуть. Или парализовать. Не известно, что было бы хуже...

Сквозь слезы Мервин с ненавистью смотрел на соседа.

— Оставим в покое тех, кто сыграл в казенный ящик с флагом, — они на полном довольствии у господ бога, — говорил тот. — Спятившие — в лечебницах или тюрьмах. Тоже устроены. А захотят — могут жить, как все. Мне-то как жить?

Прямо над головой американца с потолка свисал белый тонкий шнур. Мервин лишь теперь заметил его.

— Да-да, только зубами и держусь за жизнь, — проговорил американец. — Дерну за шнур, если дотянусь, — придет сестра, переложит с боку на бок. У тебя руки есть, ру-ки! У меня нет ни рук, ни ног.

Оба молчали, смотрели друг на друга.

— Я ведь здоровый мужчина, — продолжал американец. — У меня премиленькая, молодая жена. Ей с удовольствием заменят меня мои друзья, знакомые, соседи. Не отец я и сыну своему... Обуза — и еще какая! — и людям и себе. Так что, дружище, когда ты начнешь двигаться, а ты скоро начнешь — на костылях, на протезах, — ты сможешь мне по-мужски решить счета с жизнью, а? — Увидев, что Мервин отвернулся, судорожно проглотив слюну, американец быстро добавил:

— Собственно, помощи особой и не нужно. Я продиктую тебе записку к одному приятелю в штабе — это здесь, рядом. Он достанет таблетки. А ты сможешь мне их принять. Согласен, а?

Мервин молчал. Американец крикнул:

— Обещай помочь, слышишь? Я не имею права жить, не имею!

— Лишить жизни страдающего — что это: благодеяние или злодейство? — глядя в окно, прошептал Мервин.

— Что ты там шепчешь, слабак? — со злостью спросил американец.

Мервин повернулся к нему, спокойно сказал:

— Я помогу тебе... Когда смогу и если ты к тому времени не передумаешь.

— Не передумай! Нет, я не передумай! Спасибо тебе, друг! — Американец закрыл глаза, послышались его сдавленные рыдания.

— Тебе плохо? — Мервин приподнялся на кровати.

— Лучше уж помолчи, юнец! Твое обещание — самая счастливая весть из внешнего мира за все время с той поры, как из меня сделали обрубок.

«Найдется ли кто-нибудь столь же добрый, кто захочет помочь и мне уйти вдогонку за этим несчастным?» — подумал Мервин. Он потянулся за термосом, стоявшим на столике возле кровати. Рядом с термосом лежала стопка писем. Налив из термоса в стакан апельсинового сока, он пил его, глядя на конверты. Это были письма Джун — девять писем. Поставив стакан на столик, он взял письма. Ни на одном конверте не было обратного адреса. Это его не удивило: она же была уверена, что он помнит ее адрес. А что не писала долго — ну мало ли тому может быть причин? Не вскрывая писем, он рассматривал каждый конверт с лицевой и тыльной стороны, осторожно гладил их, словно они хранили тепло ее рук.

«Не на радость — на беду нашли меня твои письма, Джун! Нет больше твоего Мервина. Беда, страдание — его удел, и делить их с тобой — святотатство». Он так и не вскрыл конверты...

— Ты что хнычешь, юнец? — услышал Мервин голос соседа. — Если это от матери письма, радуйся. У тебя мать-то есть? Мать любого примет, пожалеет, не упрекнет. Любая другая женщина соврет — поверь мне, юнец! Может, и пожалеет сначала, а потом соврет!

— Джун не соврет! Нет, не соврет! — в отчаянии крикнул Мервин.

Проснулся он от прикосновения влажной марли к лицу. Монашенка вытирала ему лоб, участливо смотрела в глаза.

— Вы так стонали!

— Гм... Почему так тихо? Будто мы и не летим...

— А мы и не летим. Это Гонконг. Здесь вам делать пересадку. Сейчас придут санитары. Счастливого полета домой! — Она привычно прикоснулась губами к его лбу.

Потом другой самолет, в который его перенесли, летел над Филиппинами. Закончился поздний ужин. Пассажиры лениво досматривали заурядный «вестерн», дремали. В салоне первого класса было просторно, покойно. Мервин выпил виски, на удивление самому себе с аппетитом поел — он забыл, что еда может приносить удовольствие. Он уже было и заснул, да разбудил детский плач в соседнем салоне. Старший стюард, элегантный, седовласый, обошел всех, кто еще бодрствовал, извинился: «Мадам, сэр, примите извинения за причиненное беспокойство! Мать обещает утихомирить крикуна... Ей помогают наши девушки. Еще раз — извините! Капитан желает вам приятного пути!» Все это казалось Мервину таким странным, словно происходило в каком-то другом, давно забытом мире. Ребенок вскоре действительно затих. Мервин выпил две рюмки коньяка, поплотнее укутался в одеяло...

Сон третий

Знакомый, родной лес! Как дорога здесь каждая веточка, каждая травинка! Вон у того дерева два дупла, в верхнем живет белка. Вон старый кряжистый пенек, рядом с ним цветут незабудки. Сейчас тропинка вильнет вправо и спрыгнет на дно оврага, ополоснется в звонком прозрачном ручье, отряхнется на изумрудно-бархатистой лужайке и снова юркнет в дубовую рощу.

Мервин и отец легли грудью на землю, напились из ручья. Пошли дальше. Теперь лес был незнакомый. Мервин бежал, стараясь не отставать от отца. Тот шел легко, пружинисто, подбадривал сына, улыбался через плечо: «Молодец! Настоящий мужчина! Охотники!»

Дорожка побежала по камням, цепляясь за выступы, поднялась в гору. Мервин взглянул вниз, в долину, и обомлел. Ничего подобного по красоте он до сих пор не видел. Его ошеломили краски. Резко-голубые над головой, они без полутонов сменялись ярко-коричневыми, черные — розовыми, зеленые — белыми. Сверкнув вспышкой радуги на солнце, гейзеры вздымали купола пара. Холмы ровными складками спускались к далекому океану. Неподвижно застыли рощи древовидных папоротников. Где-то там, далеко внизу, затерялась их маленькая ферма...

Отец легонько дернул его за рукав куртки. Мервин, с трудом оторвав взгляд от поразившего его пейзажа, поднял голову. Ярдах в ста правее и выше их на небольшой ровной площадке неподвижно стоял олень. Может, он, пренебрегая опасностью, поджидал самку с олененком, а может, ветер дул в противоположную сторону и он не почувал людей. Отец сорвал с плеча винтовку, прицелился. Громом раскатился по долине выстрел. И одновременно с ним раздался пронзительный крик Мервина: «Не надо!» Олень был убит наповал. Он скатился по склону и упал недалеко от людей. Отец подхватил сына на руки, пытался успокоить его. Но тот рыдал, колотил отца по плечам и груди кулачками, исступленно твердил: «Зачем ты его убил? Зачем-ем?!»

Домой они вернулись в сумерки. Отец устал: много миль тащил он волоком, на мешковине, тушу оленя. Мервину было стыдно и за свою вспышку и за свои слезы. Он помог отцу развести на заднем дворе костер, но от жареной оленины отказался. Поел немного хлеба, запил молоком. Сидел у костра невеселый, молчаливый. Он впервые был на охоте, впервые видел вблизи смерть. И против нее восстало все его существо: «Не умираем же мы с голоду. А папа — такой добрый, справедливый. Как же он мог?!»

Отец ужинал с видимым удовольствием. Правда, он тоже молчал. Насытившись, выпил свою обычную кружку крепкого чая, закурил. Он сидел по другую сторону прогоревшего костра. В слабом свете, который отбрасывали угли, лицо его казалось бесстрастным. Но Мервин, который любил и знал это лицо, понимал: отец собирается с мыслями, хочет что-то рассказать ему. И отец рассказал...

«...Было это за сто тысяч лун до того, как первый европеец появился на наших островах. Рангатира, сын Великого вождя, убил из ревности свою невесту. Старейшины решили: сбросить его со скалы в море. Но Арики, вождь, не утвердил их приговор

«Он — моя кровь, последнее слово за мной, — объявил он племени, — да падет на него самая страшная кара — изгнание». И Рангатира, сын вождя, ушел из родных мест. Много лун прокатилось по небу прежде чем он понял, как тяжело одиночество. И стал просить Богиню смерти: «О, добрая и сладкая Хине-нуи-о-тепо! Уведи меня в свое царство — Рарохенгу». «Не могу, — отвечала та, — твой костер еще не догорел». «Какой костер?» — удивился Рангатира. Но Богиня не ответила. Тогда он воззвал к Атуа, Большому богу. «Ты хочешь увидеть свой костер? — спросил Атуа. — Пойдем, я покажу его тебе». И в тот же миг они очутились в пещере, которой не было ни конца ни края. И насколько хватало глаз в ней ровными рядами уходили вдаль костры. Разные были они! Горевшие ярко, яростно и едва-едва тлевшие; давно превратившиеся в холодную золу и только занимавшие; щедрые, светлые и чадившие горьким едким дымом. «Где мой костер?» — спросил Рангатира. «Вот он», — отвечал Атуа и указал на костер, который едва тлел, готовый угаснуть. «Как же так? — вскричал Рангатира. — Я ведь почти и не жил еще!» Ему стало страшно — впервые в жизни. «А кому нужен костер, который только и светит себе? — сказал Атуа. — Кроме того, ты же сам хотел уйти с Богиней смерти». «Теперь не хочу! — воскликнул Рангатира. — Поддержи мой огонь, о Великий Атуа, научи меня разуму!» «Хорошо, — согласился Атуа, — я научу тебя служить людям. Ты станешь славным охотником, накормишь и оденешь их». «Нет! — в ужасе проговорил Рангатира. — Я однажды погасил чужой костер и за это отвергнут людьми!» «Они поступили справедливо, — сказал Атуа. — Даже богам не дано гасить костер человеческой жизни. Вернись к людям и служи им. Гори пламенно и ярко, Рангатира. Не жалея огня и света!»

...Мервин открыл глаза. Ломило в висках. Заложило уши. Он хотел приподняться и почувствовал, что кто-то заботливо пристегнул его привязной ремень. В иллюминаторе виднелись освещенные окна домов, медленно двигались огоньки автомобилей, ровными шеренгами застыли желтые шары уличных фонарей. Сидней?

— Уважаемые дамы и господа, — звонкий девичий голос звучал проникновенно, — от имени компании «Эр Нью Зиланд» капитан и команда нашего корабля благодарят вас за полет и надеются видеть вас на своем борту и в будущем. Мы только что приземлились в оклендском аэропорту Мангере. Наружная температура — двадцать семь градусов по Цельсию. До скорых встреч!

Мервин не ощутил ни особой радости, ни волнения. «И он вновь ступил на священную землю отцов!» — вспомнил он слова древней маорийской песни. — А что можно сказать обо мне? Скорее всего: калеку вынесли на инвалидной коляске...»

И все-таки дом есть дом. И воздух кажется слаще, и дышится легче. На мгновение затуманились глаза. Забилося чаще сердце.

Раскрылась дверь, и вместе с офицерами сельскохозяйственной таможни в самолет вошел высокий молодой военный. Таможенники сейчас же деловито пустили в ход пульверизаторы с дезинфекционным раствором. «Извините за неудобство, но это закон — на острова не должен проникнуть ни один континентальный вредитель...» Военный же, перебросившись несколькими фразами со старшим стюардом, подошел к Мервину.

— Разрешите представиться — адъютант командующего Северным военным округом капитан Осборн. — Он вежливо улыбнулся, под черной полоской ухоженных усов сверкнули крепкие ровные зубы. — Мне доставляет особое удовольствие по поручению командующего приветствовать заслуженного ветерана битвы за высокие идеалы демократии. Завтра он имеет честь пригласить вас на обед. А сейчас, если вы не возражаете, несколько слов для прессы. Журналисты ждут в зале для особо важных гостей. Мисс, — вежливый поклон в сторону стюардессы, — помогите нам, пожалуйста, выбраться на грешную землю!

«Рассказать им, как пахнет гниющий труп? — устало подумал Мервин. — Или как пятилетнюю девочку насилует отделение командос?»

— Скажите, — обратился он к адъютанту, когда они были уже в здании аэропорта, — нельзя ли сегодня обойтись без репортеров?

— Ну, в таком случае, может быть, хотя бы фото? — Капитан бросил на Мервина откровенно недовольный взгляд. — Ждут уже больше часа...

— Я не в лучшей форме и для этого, — отрезал Мервин.

В гостинице он долго лежал в постели, не мог заснуть. Выкурив несколько сигарет подряд, стал писать на бланке отеля. Но стихи не шли. Он перечеркивал строку за строкой. Разорвал несколько исписанных листов. Когда он наконец задремал, перечеркнутыми остались несколько строк, их он уничтожил утром.

...В аду я был с дьяволом дружен.
 Был ранен не раз и контужен.
 И вот мною рай заслужен,
 Сонный, теплый, святой.
 Я в нем никому не нужен.
 И мне в нем никто не нужен.
 Никто никому здесь не нужен,
 И брату здесь брат — чужой...

2

Низенький толстенький человечек, небритый, бедно и неопрятно одетый, бойко торговал билетами.

— Матч атомного века! — негромко выкрикивал он, зорко поглядывая по сторонам.— Непобедимая Гейл борется с Кровавой Джуди! Кенгуру против киви! Матч века!

Над кассой висела табличка «Билеты распроданы», и люди, не торгуясь, платили перекупщикам сумасшедшие деньги. Еще бы! Схватка профессионалок на ринге, покрытом мазутом и слоем рыбы,— это стоило посмотреть. Но вот человечек увидел вдалеке полицейского и его словно ветром сдуло. Сержант хотел было броситься за ним вдогонку, но передумал. Только проворчал, застегивая форменную куртку на самую верхнюю пуговицу и поднимая воротник: «Ты у меня добегаешься!»

Океан дохнул на город штормовой прохладой. С неба посыпались крупные градины, которые вскоре перешли в такие же крупные капли дождя. «Ну и погодка! Не иначе, наверху что-то разладилось!» — ворчали водители, вглядываясь во внезапно упавшую мглу. Непрерывной чередой автомобили чуть не на ощупь пробирались к центральному подъезду Юбилейного холла, высаживали пассажиров и ползли на стоянку.

Большой Дик долго стоял у входа и наблюдал за прибывающей публикой. Просторный плащ надежно укрывал от ливня всю его могучую фигуру. Холл был расположен на одной из тех сиднейских улиц, которые находятся между центром и мостом. Оттуда было рукой подать и до роскошных отелей и ресторанов вокруг Питт Стрит и Острэлиа Скрузр и до забегаловок и притонов Книгз Кросс. Размытые желтые пятна включенных фар тянулись к холлу нескончаемой вереницей. Наконец Большой Дик, явно довольный всем увиденным, медленно прошелся вдоль фасада здания, перекинулся несколькими фразами с двумя парнями, которые попались ему навстречу, свернул за угол. Он остановился перед служебным входом, размышлял о чем-то несколько секунд, потом открыл дверь. Широкий, хорошо освещенный коридор привел его к одной из раздевалок, разместившихся под ареной. С минуту он разглядывал на ее двери табличку «Не беспокоить», прислушался. За дверью было тихо, и он негромко постучал.

— Кто? — отрывисто спросил женский голос.

— Это я, Дик.

После короткого молчания тот же голос сказал:

— Входи!

Он вошел, торопливо закрыв за собою дверь. В раздевалке на столе, покрытом большим пушистым ковром из некрашенных овечьих шкур, лежала голая девушка. Маорийка средних лет старательно делала ей массаж.

— Ну? — не поднимая головы, спросила девушка.

— Да я... я лучше потом,— пробормотал Дик, глядя себе под ноги.— Я подожду, ладно?

— Он стесняется,— хихикнула маорийка.— Большой Дик стесняется. Ну и умора! Оклендские психи-болельщики все как один попадали бы от смеха с моста в заливы!

— Говори! — приказала девушка.

— Подпишала принесла еще четыре с половиной тысячи,— поспешно сообщил он.— Пока все чисто.

— Итого двадцать пять тысяч за пять дней,— проговорила девушка.— Неплохо. Сколько, думаешь, они выручат еще?

— От силы пятнадцать сотен.

— Плюс контракт... — задумчиво сказала девушка, прикидывая цифры в уме.— В общем, не так уж плохо.

— Очень даже неплохо! — подхватила маорийка.— Конечно, не так, как в Америке. Но ведь это и не Америка!

— Я бы снял подлипал, Джун,— посоветовал Большой Дик.— Засыпаться могут. Полицейских понаехало — и в форме и в штатском. Не иначе как «стукнул» кто...

Маорийка закончила массаж, и девушка прыгнула со стола. Натягивая трико, она подошла к Дику, несильно ударила его ребром ладони по шее.

— Я уже предупредила тебя однажды, болван: Джун Томпсон умерла. Ее нет. Есть Кровавая Джуди. Помни это лучше, чем помнишь свое имя. Если же у тебя короткая память...

— Нет-нет, Джуди, я запомню! Я действительно круглый болван!

— Отлично,— сказала Джуди.— Что касается подлипал, то пусть еще потрудятся. Бизнес — всегда риск. Я не намерена заниматься филантропией. Мне, я это точно помню, за последний год никто даром и клочка туалетной бумаги не дал...

— Ладно, пусть трудятся,— согласился Дик.— Даже если и попадутся, улик против нас никаких.

Когда Джуди объявилась в Окленде и вызвалась выступить на профессиональном женском ринге, ее мало кто принял всерьез. «Слов нет, девчонка неплохо сложена,— говорили между собой менеджеры.— И техника есть. И рывок, и сила. А вот злости нет!» Однако все-таки решили попробовать. «Девчонка» в первой же схватке проявила такую злость, что ее соперницу, Свирепую Марту, через сорок пять секунд унесли на носилках. Спортивный мир был потрясен и другим обстоятельством: Кровавая Джуди отказалась от каких-бы то ни было посредников и с ней невозможно было тайно договориться об условиях предстоящих матчей. Ей организовали зарубежное турне — оно прошло с триумфом. По возвращении она встретилась с Большим Диком — королем борьбы, скандалистом и грубияном, черной звездой международного ринга. Произошло это в конторе одного из влиятельных спортивных дельцов. Джуди только что подписала контракт на поединок с «грозою Европы и обеих Америк — Убийцей Виолеттой».

— Привет, сокрушитель ребер и черепов! Вы незнакомы? — Делец вышел из-за стола навстречу знаменитому борцу, дружески похлопал по плечу, подвел к сидевшей в кресле Джуди.— Мисс Кровавая Джуди, сенсация сезона. А это Большой Дик.

Борец небрежным движением руки отодвинул в сторону хозяйина конторы, смахнул с угла стола на пол кипу бумаг, подставку для ручек и карандашей, уселся на освободившееся место и стал рассматривать девушку. Та спокойно смотрела на него.

— Тебя и твоих деток я кормлю — и, кажется, неплохо.— Борец неприязненно покосился на суетившегося у его ног человека.— А теперь вот и она прибавилась к тем, у кого весь твой выводок на содержании!

— Вы мне — я вам,— сдержанно хохотнул делец.

— Ты, наш добрый крестный отец, тебя секретарша твоя спрашивает! Не заставляй ее ждать!

— Понимаю, понимаю.— Делец подмигнул Дику, с опаской ткнул его пальцем в живот.— Меня уже нет! — Он торопливо вышел.

— Сосет из всех нас соки, как осьминог,— сердито сказал Дик, стукнул кулаком по столу.— Сутенер...

— Есть возможность обойтись без его услуг? — с деланной наивностью поинтересовалась девушка.

— Не знаю,— неохотно проговорил Дик.— Аренда залов, реклама, подпольный тотализатор... Если каждый из нас будет заниматься всем этим, когда же всерьез тренироваться?

— А я было подумала, что у вас есть на этот счет идея...

— Идея есть — поужинать сегодня с вами во «Френчмене».

Вино было хорошее — французское бургундское,— блюда великолепно приготовлены, изысканно сервированы. Все-таки здорово это придумано — есть при свечах; чуть-

чуть таинственно, чуть-чуть интимно. Едва звучит — то слегка щекочет нервы, то мурлычит, убаюкивает — оркестрик. Официанты скользят неслышно, как привидения, все делают молча, с полуулыбкой: «Ваш приход — такая честь!..» Но боже мой! Как все это не похоже на тот ресторан — тогда, давно! Он назывался «Гнездо корсара» — она помнит и будет помнить всегда «Гнездо корсара»... Однако что там болтает эта гора мускулов?

— Я в третий раз спрашиваю: как ваше настоящее имя?

— Кровавая Джуди — это самое настоящее. Когда-то давно меня, кажется, звали Джун. Но это было в другой жизни...

— А что за семья была в той жизни?

— Забыла. Не помню... Пойдемте лучше танцевать.

И Большой Дик послушно понес свои триста двадцать фунтов боевого веса на освещенный двумя большими свечами пятачок. Какая девочка!

Часов в одиннадцать его мощный «бьюик» умчал их в район горы Иден — там Джуди снимала у вдовы второй этаж двухквартирного дома. Поднялись по лестнице, которая прямо со двора вела наверх. Девушка протянула руку:

— Спасибо за приятный вечер. Я буду вас звать Большой Дик, можно?

— Можно! — В следующее мгновение он заключил ее в объятия. — Джун! Открой дверь, быстрее!

Дик так и не понял, какой болевой прием она применила. Только вдруг всего его пронзила острая боль и он загремел вниз по лестнице. Где-то залаяли собаки. Хлопнуло чье-то окно. Очутьившись на земле, Дик не пришел еще в себя, как другой прием — на сей раз элементарный залом левой руки — легко поднял его на ноги. И она — эта девочка! — усмехаясь, стояла перед ним. Он мог бы понять: испугалась, оттолкнула, убежала. Но то, что она была здесь, — нет, это было невероятно! Именно с этой минуты Большой Дик стал ее покорным рабом, преданным телохранителем.

— Разве я не говорила тебе, что Джун умерла?

— Да, мисс Джуди...

— Надеюсь, теперь ты это запомнишь?

— Запомню, мисс Джуди.

— И вот что самое главное — у меня есть парень. Жених. Сейчас он далеко. И когда вернется — не знаю. Но я его люблю.

— Да, мисс Джуди...

— Есть вакансия друга, Большой Дик.

— Я, я! — поспешно выпалил он, будто боялся, что его опередят. И обеими своими огромными ладонями бережно пожал протянутую руку девушки.

Из дневника Джун

«...Как унизительны поиски работы! Эти приторно-вежливые допросы, во время которых тебя выворачивают наизнанку. Цель этого хорошо разработанного садизма — установить, как дешево можно купить твои руки и голову. Конечно, если они вообще нужны.

А умильные «отеческие» взгляды всех этих бородатых и лысых, морщинистых и брюхатых примерных отцов многочисленных семейств и закоренелых холостяков! Сколько раз я чувствовала себя не просто раздетой — по моему телу жадно шарили липкие от пота пальцы. Каждый раз прибегаю домой и по часу моюсь в ванной — сдираю щеткой с кожи их грязные следы.

Отличная была работа в аптеке на Акбар Роуд. Покупателей не особенно много. Напарница, толстуха и хохотунья Кэтти, всегда добра и готова помочь. Хозяин, сухой, опрятный старичок, вежливый, молчаливый. Зарплата сносная — Гюйсу, Ширин и мне хватало. Нет, обязательно что-нибудь должно было случиться. И случилось. Прилетел из Лондона молодой хозяин с женой. Покатались они недели три по Южному острову, вернулись в Окленд. Наш старичок меня и Кэтти лаконично и вежливо выставил на улицу: «Спад, самим деваться некуда».

Интереснее, куда интереснее было в крупном рекламном журнале. Главный редактор — смазливый, молодежавый Лесли Андерсон, страстный игрок в гольф, эрудит,

джентльмен. И я — его секретарша. Пожалуй, впервые я была благодарна своему коллежде. А ведь хорошо помню — я не хотела учиться печатать на машинке: «Тоже мне профессия!»

Лесли Андерсон каждый день менял свои наряды — от ботинок до шляпы. От него всегда чуть-чуть пахло «Старым Пиратом». И всегда наготове шутка, анекдот, курьезный случай. И улыбнется, и по щечке тебя потреплет: «А мы сегодня опять очаровательнее Мерилин Монро!» Через месяца полтора главный редактор летит на ФиДжи — региональная конференция издателей. «Вы, мисс Томпсон, тоже едете со мной. Предстоит много работы. Да вы и сами, кажется, хотели попробовать себя в журналистике...» И вот — Сува, цивилизованные тропики. Ночь, полная воспоминаний. Думы о Мервине. О будущем... И тут в мой номер врывается пьяный Лесли Андерсон — эрудит и джентльмен. «Деточка, — шепчет он. — Деточка, я смертельно устал от морального стриптиза моих коллег и жажду простого и вечного — любви!» «Любовь, от которой вы говорите, стóит один доллар и стóит у входа в этот отель». «Дура! Я что же таскал тебя сюда из Окленда, чтобы бегать за портовыми девками?» Я, видно, и впрямь дура — на следующее утро в самолете ревела почти полпути. Обидно было. Я ведь верила Андерсону. А потом вся редакция за моей спиной потешалась надо мною...

Было и хуже. Не знаю, почему сегодня все эти горькие видения обступили меня... Но было и хуже. С мечтами о журналистской карьере я распрощалась. Нашлось место в конторе «Няньки по вызову». В основном, тут работали, вернее подрабатывали молодые, одинокие девушки-студентки, конторщицы; встречались, правда, и пенсионерки и даже мужчины, но их было мало. Что касается меня, я не испытывала особого восторга, когда мне приходилось менять чьи-нибудь мокрые ползунки или пресекать чрезмерные шалости. Но нас троих эта работа кормила, — и чем она хуже любой другой? Тут тоже доброе слово коллежде: в уходе за детьми надо многое уметь и знать.

Ну, повадился вызывать меня вдовец Авель Дейти — инженер, канадец. Приехал он в Окленд по контракту, женился. Родилась двойня — мальчишки, мать умерла родами. По три года им уже было. В будние дни они находились в пансионе «Голубая роза», а на уикэнды отец увозил их домой. Но у него — то встреча с друзьями в субботу, то товарищеский ужин в воскресенье, то гольф, то футбол. Я видела его мельком — утром пять минут да вечером столько же. Но однажды в воскресенье он вернулся домой часов в пять. Я собралась уходить, а он говорит: «Почему бы вам с нами не поужинать?» Действительно — почему? Гюйс и Ширин со мной, спешить мне не к кому. А ужин все равно где готовить — дома или здесь. Питер и Пол стали капризничать — я уложила их спать, собаки угомонились в прихожей. Еле слышно завывает «Рейдиоу Уинди»...

Авель тихий, задумчивый. Рассказывает про родной дикий Саскачеван, где рыбы больше, чем москитов, а людей меньше, чем медведей. Про девственные, дремучие ущелья, созданные природой, и про подземные рукотворные ущелья Торонто (там он учился в университете) — линии метрополитена. И пьет, и пьет свое ужасное канадское виски «Кантри Клуб». «Сколько может вместить этой дряни желудок?» — думаю я. А он как раз приканчивает пинту и подходит ко мне: «Мисс Джун, по обычаю эскимосов северо-западных территорий, вы остаетесь на ночь моей наложницей. О'кей?» «Нет, не о'кей, — отвечаю я. — Мы не эскимосы. И до территорий — тысяч десять миль». «Но разве плохо на часик-другой превратиться в эскимоса?» — ухмыляется он и лезет обниматься. «Превращайтесь в кого вам заблагорассудится, а я ухожу домой». Но дверь оказывается запертой. «Отдайте ключ», — спокойно говорю я. «Хватит ломаться, — говорит он. — Раззадорила меня, а теперь на попятную. Раздевайся». И раздевается сам. Боже, до чего может быть омерзительен голый мужчина! Он подходит ко мне, и тут я укладываю его на пол, может быть, немножко неосторожно. Секунд пять он лежит без движения, и я уже начинаю бояться, как бы не пришлось вызывать врача. Но вот он подымается на колени, встает на ноги. «Дайте ключ, и разойдемся по-хорошему», — говорю я миролюбиво. «Дрянь! Девка! — визгливо орет он. — Сейчас я тебе покажу «по-хорошему!» Он хватает телефонную трубку, набирает номер и хрипит: «Полиция! Грабят!!!» И называет свой адрес. Потом надевает халат, прикладывает к правому глазу мокрую тряпку. Через три минуты — звонок в дверь. Авель открывает. Входят трое полицейских. «Кого грабят и кто?» — строго спрашивает хмурый сержант. «Вот эта, — тычет в меня пальцем Авель. — Нянька! Прикинулась этакой овечкой, напоила меня и

хотела обобрать. Еще немного — убила бы!» И он показывает синяки на лице, ссадины на груди и какую-то пачку денег на столике у кровати. Я потрясена, ушам и глазам своим не верю — ну и подлец! Я плачу от обиды, от бессилия. Собаки жмутся к моим ногам, скулят. Полицейский внимательно смотрит на меня. «Прекратите истерику, мисс». Я реву еще сильнее. Сержант терпеливо ждет. Наконец я рассказываю все как было. «Допустим,— замечает сержант.— Но если этот мистер появился дома в пять, почему вы сразу не ушли?» Что я могу на это ответить? «Это моя ошибка». «Так,— соглашается он.— Вторая, порожденная первой: надо было не просто уходить — бежать без оглядки, как только вы поняли, что он напивается. Не слишком ли много ошибок для одного вечера, мисс?» Я рыдаю — меня бесит торжествующая морда Авеля. Сержант просит показать какой-нибудь документ. Я достаю лицензию мотоциклиста, вспоминаю своего «судзуки». Сержант разглядывает фотокарточку. «Томпсон, Томпсон,— повторяет он.— Кто ваши родители?» И тут в отчаянии я выпаливаю: «Я — дочь Седрика Томпсона». Будь все не так беспрочно, разве посмела бы я воззвать к памяти папы?! Не знаю, поверил мне сержант или нет. Но только он переглянулся с двумя другими полицейскими, помолчал и вдруг сказал, возвращая мне лицензию: «Будем считать, мисс Томпсон, что мистер АVELЬ не очень удачно пошутил». «Как пошутил? — вопит канадец.— Я буду требовать рассмотрения этого дела в суде!» «Не советую,— провожая взглядом меня, Ширин и Гюйса, замечает сержант.— У вас нет свидетелей». «Но вы же видели...» «Что мы видели? — устало отмахивается полицейский.— Пьяного мужчину и перепуганную девушку — вот что мы видели. Верно я говорю, парни? И потом, мистер, мы еще не созрели настолько, чтобы у нас появились свои Патриции Херст...»

Ринг был залит разноцветными огнями. Они набегали друг на друга, разлетались веером световых брызг — алых, зеленых, фиолетовых. Джуди сидела в своем углу, откинувшись на канаты. Короткая стрижка огрубляла ее лицо. Зрителям, сидевшим в первых рядах, внизу, оно казалось свирепым, даже безобразным. Она внимательно рассматривала тех, кто в этот вечер заполнил Юбилейный холл. Боже, как она их ненавидела — все! Для нее зал никогда не сливался в одно лицо, огромное, неясное. Это было не скопище лиц, но скопище индивидов — отвратительных, страшных. Пороки, тайные и явные, кишмя кишели в душах этих людей. Не было, казалось, такой гнусности и подлости, которым не нашлось бы здесь хозяев и покровителей. И объединяла всех их жажда жестокости.

О, Джуди слишком хорошо знала и зрителей и всех этих маклеров и шулеров — торговцев краденым, любителей поживиться на чужом унижении, боли и страхе. Знала мир бизнеса «большого спорта», тройных ставок, обмана и лжи. В глубине души она не раз молила бога, чтобы предстоящий поединок стал для нее последним. «Боже милосердный! Пусть вернется Мервин, и мне больше не нужно будет драться против целого мира с единственной целью — победить, выжить! Ведь он придет?.. Господи! Он не может не прийти!»

Из дневника Джун

«...Итак, я приняла решение — выхожу на профессиональный ринг. И дело не только в деньгах, хотя и они нужны каждому — даже после смерти... Надоело зависеть от чьих-то капризов, настроений, злой или доброй воли...»

...От Мервина давно нет ни строчки. Но я почему-то спокойна. Я уверена: скоро мы будем вместе. Газеты регулярно печатают сводки о гибели наших солдат в Индокитае. А я спокойна. Почему? Наверно, потому, что с ним не может, не должно случиться самого страшного. Не должно: ведь это будет означать гибель и еще одного человека. Меня. Я живу, дышу только надеждой. Я знаю — завтра, послезавтра, через год Мервин придет... Я, видно, произнесла его имя вслух — Гюйс вскопал со своего коврика и смотрит то на меня, то на дверь.

Настоящий ринг — завтра. Сошерница грозная. Так, во всяком случае, представляют Питонгу Мэрилин спортивные репортеры. Но я-то знаю — видела ее в работе, — что у нее есть лишь увесистые тела да медная глотка. Орет во время схватки, страх нагоняет. Ни отшлифованных приемов, ни своего почерка. Ей бы в самый раз потрясать своей могучей статью простодушных фермеров в ярмарочном балагане где-нибудь в Те-

Куити или в Кайкоура. И ее сутенер — администратор Мишель Безгубый посмел предложить мне ничью и четверть сбора! Ну я вам устрою ничью! Вы меня запомните...

Я люблю небо. По-настоящему я видела его последний раз давно — в прошлой жизни. Накануне отъезда Мервина мы купались в озере. Помню, я лежала на берегу в траве и смотрела в небо. Оно было удивительно чистым, глубоким, спокойным. Я лежала и думала, где, в каком месте ночного неба загорится через несколько часов созвездие Близнецов, — я родилась под ним».

...Даже билетеры Юбилейного холла, эти невольные завсегдатаи спортивных баталий, удивлялись, как в тот вечер не рухнули стены. Их сотрясали такие могучие взрывы криков, вырывавшиеся одновременно из двадцати тысяч глоток, что даже автомобили замедляли бег во всей округе. Пары заключались и на определенную минуту поединка (кто лидирует по очкам), и на применение того или иного приема, на возможное увечье, на самое заковыристое ругательство борющихся. Лидеры болельщиков, собиравшихся в группы по общности профессий, районов проживания, стран эмиграции, дирижировали их воплями: «Гейл — победа!», «Джуди — бей!» Через две-три минуты после начала схватки соперницы так перемазались мазутом, что различить их можно было лишь по цвету волос. Ноги их скользили по набросанной на пол живой рыбе. Они то и дело падали. Рыбы плавники резали руки, ноги, кожу на шее и лице. Кровь смешивалась с мазутом. Когда Джуди удалось после серии удачно проведенных приемов захватить ноги Гейл в замки, когда она стала резко и методично бить ее головой о пол ринга, неистовство публики достигло апогея. Весь зал вскочил на ноги, весь зал исступленно ревел:

— Кончай ее, Джуди! Кончай!

Пожилая матрона, стащив со своей головы парик, хлестала им по спинам сидевших впереди. Две девицы, крепко обнявшись, взвизгивали и дергались при каждом ударе. Тощий старик с неподвижным, как маска, лицом, застыл, скрестив на груди восковые руки, глаза его остекленели от упоения жестокостью. Широкоплечий бородастый юнец то и дело вскакивал на ноги, выбрасывая вверх непомерно длинные руки.

— Раздирай ей пасть! Бей в сонную! — орал он.

Рефери выжидал, прикидывая, когда лучше всего дать знак полицейским помочь оторвать Кровавую Джуди от потерявшей сознание Непобедимой Гейл. Он хорошо знал по опыту, что опьяненная кровью толпа не простит ему, если он хоть на миг раньше лицит ее столь увлекательного зрелища.

Из дневника Кровавой Джуди

«...Сегодня подписала первый по-настоящему крупный контракт — на сорок пять тысяч долларов. Трехнедельное турне — Тайпей, Гонолулу, Лас-Вегас. Но радости нет.

Большой Дик — верный друг. Приволок почти новенький спортивный «датсун». Купил дешево. Говорит, перехватил у перекушников под самым носом. Какая прелесть был мой «судзуки»! Где-то он теперь? В чьи руки попал?

Не так давно я огорчалась, что у меня мало или вовсе нет денег. Теперь стала равнодушна к ним. Большой Дик пугает возможным увечьем, болезнями, убеждает коптить. Он, пожалуй, и прав. Но как противно думать, что молодой и здоровый человек может стать рабом своих недугов в старости!

Карусель жизни — она вертится бесконечно, бесцельно. Одни спрыгивают с нее в небытие, на их месте появляются невесть откуда другие. Кто они? Зачем они? Никому нет дела... Мы, люди, дальше друг от друга, чем звезды Вселенной...»

3

Особым решением военных властей Мервину было назначено пожизненное пособие. Ожидая последнего слова высокого консилиума в коридоре госпиталя, он случайно услышал сквозь плохо прикрытые двери успокаивающий голос: «Не переживайте, генерал! У этого отчаянного полинезийца застрял такой изрядный кусок металла над копчиком, и — прошу заметить — так трагично для него застрял, что ваша финчасть недолго будет страдать от «геройской» пенсии... Что? О нет — операция абсолютно противопока-

зана...» Говорил подполковник, председатель медицинской комиссии округа. Еще каких-нибудь полгода назад Мервин наверняка ворвался бы в зал заседаний комиссии, надавал бы подполковнику пощечин. Теперь же он лишь стиснул зубы, подумал: «Сволочи! Все сволочи!»

Пенсия оказалась весьма внушительной — пять тысяч долларов в год. В нескольких милях от центра, на самом берегу океана, он снял уютный коттеджик: крохотная гостиная, спальня, кабинет. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, приезжала хозяйка — молчаливая пожилая шотландка. Убирала дом, подстригала траву, кусты и исчезала так же внезапно и бесшумно, как появлялась. В армейских мастерских округа для Мервина специально приспособили попавший в легкую аварию и потому списанный раньше времени пикап «холден». Через задние двери он мог сам по откидным металлическим планкам въезжать на своей коляске в машину. Перебраться с коляски на переднее сиденье было делом секунды. А там — полное ручное управление делало его властелином мощной машины. Двадцать — двадцать пять секунд — и скорость сто двадцать миль. Хочешь — и ты мгновенно окажешься на дивном золотом пляже дальнего Понсонби, хочешь — и ты уже плывешь по разноцветным волнам световой рекламы вдоль Куинстрит.

Первое время Мервин просиживал все вечера у раскрытого окна, слушал говор волн. Дни он проводил в садике перед домом, часами разглядывая сновавшие по заливу яхты. Вскоре он узнал местных мясника, молочника, зеленщика, разносчика газет и владелицу небольшого универсального магазина. Все они были неизменно вежливы, внимательны, любезны. И вместе с тем, таким безразличием, таким ледяным равнодушием веяло от их постоянных «Как вы поживаете?» или «Славная нынче погода, не правда ли?» Район был чисто европейским. И его терпели лишь потому, что дом ему помогло снять военное ведомство: «Как же, герой Вьетнама! Жертва врагов демократии!» Мервин долгое время не подозревал, что все эти такие улыбочивые люди просто хорошо умели скрывать свою брезгливую неприязнь к нему. Да и не до них ему было. Что-то с ним происходило такое, в чем он никак не мог разобраться. Но разобраться надо было, ибо надо было жить. Правда, он не раз задавал себе вопрос «зачем?» — вопрос, на который нелегко находились ответы. Наиболее частыми были: «встретиться с Джун» и «стать поэтом». Но стихи писались плохо или совсем не писались, что же касается Джун, то дальше мучительных воспоминаний о ней Мервин не позволял себе идти.

Он много спал. Во сне он часто видел американца из сайгонского госпиталя. Он выполнил его просьбу. И теперь казнился сомнениями — так ли он поступил, как подoba солдат и христианину? Вспомнил он и сержанта ВВС, которого застрелил в сарае. Тому тоже принес смерть он, Мервин. И ни единого раза не шевельнулася в его душе и тень раскаяния. Он знал — доведись ему пережить такое еще раз, рука не дрогнет. Нет, не дрогнет! Он стрелял и убивал вьетконговцев — он был солдат, они были враги. Но были ли они его врагами? Потом, через какое-то время, его дела и поступки будут судить — и бог и люди. Потом!.. В минуты же их свершения — человек сам себе и бог и судьба.

«Так кто же я, господа: вершитель добра и справедливости или просто убийца? Кто поможет мне ответить на этот вопрос?»

Месяца полтора Мервин крепился, но потом все же заказал телефонный разговор с Веллингтоном. «Разговаривать хотите с кем-либо определенным или кто подойдет?» — деловито осведомилась телефонистка. Он помедлил с ответом, потом сказал: «Кто подойдет». Никто не подходил. Он звонил день, три, пять — результат тот же: никто не подходил. Он обратился в телефонную справочную службу Окленда. «Кто в Веллингтоне? — спросил бойкий девичий голосок. — Имя, фамилия, адрес?» Мервин назвал. Почти тотчас бойкий голосок сообщил: «Седрик Томпсон по указанному вами адресу не проживает и вообще в веллингтонском телефонном справочнике не значится». «Этого не может быть, мисс! — сказал встревоженный предчувствием недоброго Мервин. — Здесь какая-то ошибка, мисс...» «В телефонных справочниках, сэр, — голосок стал сухим, резким, — так же, как и в Библии, ошибок не бывает. Даю более расширенную справку: нужный вам абонент числится в справочнике за прошлый год. В справочнике за этот год его нет». «А Джун, Джун Томпсон?» «Джун Томпсон тоже нет». «Пожалуйста, — тороп-

ливо попросил Мервин, боясь, что рассерженная девица отключится, — пожалуйста, посмотрите телефон компании «Джун и Седрик Томпсон», мисс! «Не значитя», — отрезал голос. Мервин молчал. Голос олять потеплел. «Вы слышите, сэр? Неужели вы не помните, что все газеты в течение нескольких дней только и писали, что о банкротстве вашего абонента и его гибели в авиационной катастрофе? Вы меня простите, сэр».

«А дочь — про дочь что писали?» — крикнул в трубку Мервин. «Про дочь, по-моему, ничего не было...» Видимо, девушку встревожило его волнение. «Сэр, о дочери я не читала ни слова. Можете положиться на мою память — в ней надежно держатся тысячи телефонных номеров».

Это был удар, удар страшный, неожиданный. Следствием его было то, что Мервин решил ехать в Веллингтон — и немедленно. До этого он был занят только собою — своими переживаниями, своей бедой. Все остальное, все радости и беды мира казались ему ниже, мельче его горя. И вдруг судьба поразила его в самую чувствительную болевую точку.

«Нужно разыскать Джун, — твердил Мервин, бросая рубахи и трусы, бритву и зубную пасту в небольшой старый саквояж. — Найти во что бы то ни стало! Какой я болван, ах, какой же я самовлюбленный болван! «Я ей не нужен — ее жалость будет для меня оскорбительной...» Пока я давился слезами сострадания к самому себе, она нуждалась во мне. Конечно, рядом с ней были и мадемуазель Дюраль, и Дэнис, и друзья ее отца. Но больше всех ей нужен был я. Я знаю, помню, как было, когда погиб мой отец... Джун, родная, прости меня и за мой эгоизм и за твои не прочитанные мною письма! Прости меня! Я найду, найду тебя!».

Ему теперь казалось, что каждая минута, которая не приближает его к ней, — потерянная, что она может стать роковой. В Окленде ничто его не задерживало. Дорожную карту Северного острова он посмотрел лишь тогда, когда сел за руль и пристегнул ремень. Сосчитал деньги в бумажнике: оказалось немногим больше ста долларов.

Около пяти часов вечера Мервин вывел свой «холден» на Первое шоссе. Шел дождь. Нескончаемой вереницей тянулись машины из Окленда, растекались по пригородным поселкам.

Смеркалось. Внезапно дождь прекратился. «Холден» побежал веселее. Шоссе было отличное. Широкое, гладкое, как стекло, оно поддерживалось в идеальном состоянии. То скатываясь с холмов в долины, то карабкаясь на склоны невысоких гор, оно открывало вдруг такие просторные дали, пряталось в такие укромные ущелья, что даже проезжие новозеландцы, в общем-то, привыкшие к сказочным пейзажам своих островов, и те невольно задерживали дыхание.

Мервин — он впервые проезжал по этой дороге — был всецело занят своими мыслями. Он думал о том, что жизнь человеческая петляет точно так же, как Первое шоссе. И после каждого подъема начинается спуск, а после спуска — новый подъем. Но никто не может наверное знать, что после спуска его ждет подъем... Есть одно непостижимое, великое чудо, всегда возвышающее человека. Чудо — это любовь. Многие просто не знают о нем и, прожив жизнь в неведении, в неведении умирают... А откуда он знает, что скупая судьба подарила ему и Джун столь редкое чудо? У него не было сейчас ответа на этот вопрос...

Несмотря на поздний час, Таупо сверкал веселыми огнями. Был поздний ноябрь, наступала пора летних пред рождественских отпусков. Мервин заглянул в два-три мотеля, которые попались ему при въезде в город. Везде висели таблички «Свободных комнат нет». Да он, собственно, и не надеялся, что ему повезет: курортное местечко, сезон канікул. «Не беда, — подумал он. — Есть «холден». Подложить под голову чемодан или пристроить кулак — чем не постель? Для солдата, повидавшего джунгли Вьетнама?..» Он поставил машину рядом с детским городком и вскоре заснул.

Разбудили Мервина голоса, шум волн, шорох листьев. Было десять часов. Он подъехал к ресторанчику, где можно было перекусить не выходя из машины. Проглотив несколько сэндвичей и выпив чашку чая, он вернулся на Первое шоссе и вскоре был уже далеко от курортного городка.

Когда «холден» выбирался из каменного лабиринта горных ущелий и был готов ринуться по прямой, как стрела, дороге через пустыню, Мервин увидел на обочине две ма-

ленькие фигурки. Девочки-подростки, согнувшиеся под тяжестью рюкзаков, тянули вверх большие пальцы — голосовали. Он затормозил.

— Спасибо, спасибо! — затараторили девочки, перебивая друг друга.

Глядя на них, повеселел и Мервин.

— Возьмите нас, пожалуйста. Шесть машин проехало. И все мимо!

— Кидайте рюкзаки на заднее сиденье, а сами садитесь рядом со мной. Места хватит, — сказал Мервин. — Куда это вы путешествуете?

— В Палмерстон-Норт, — отвечала та, что сидела рядом с Мервином.

— Вам повезло, — сказал он. — Доедете без пересадки.

— Спасибо. — Девочки переглянулись. — Спасибо!

— Мы едем к моей бабушке, — добавила та, что сидела рядом с Мервином. — У нее недалеко от города ферма.

Долго ехали молча. Потом девочки зашептались.

— Секреты? — спросил Мервин.

— Нет! Кто вы? — повернувшись к нему, в упор спросила та, что сидела рядом. —

Учитель?

Мервин промолчал. Он хотел было ответить шуткой, как неожиданно сдавило виски, — сдавило невыносимо больно. Он знал эту боль, знал и боялся ее. Так начинается приступ, когда от неосторожного движения или нервного потрясения давал себя знать проклятый осколок в позвоночнике. Мервин съехал на обочину, закрыл глаза. Каждый новый приступ мог оказаться роковым... Ожидая взрыва боли, он прислонился лбом к стеклу, уронил руки на сиденье. Девочки испуганно притихли, в недоумении переглядывались: «Пьянчужка? Или наркоман?!» Постепенно боль отступала, ровнее становилось дыхание.

Минут через двадцать Мервин обернулся к пассажиркам с извиняющейся улыбкой:

— Ничего, ничего... Поехали дальше!

Проезжали Вайору. Здесь Мервин проходил войсковую подготовку, отсюда отправился во Вьетнам. Нет, не всколыхнулось в его душе ни горечи, ни сожаления... Когда же промелькнул поворот к озеру — их озеру, — он засветился такой радостной улыбкой, что девочки с еще большим удивлением стали поглядывать на него.

«А ведь у Джун, — думал Мервин, — тоже может теперь возникнуть такой же вопрос: «Кто ты?» Что я отвечу? Начну взывать к милосердию, к жалости? Нет, никогда! Неужели нет выхода из этого страшного круга? Он должен, он обязательно должен быть! Мы отыщем его вместе с Джун. Только бы мне побыстрее найти ее. Вперед, «холоден», вперед!» И тут же услышал плачущий голосок одной из девочек:

— Пожалуйста, не надо так быстро, сэр! Пожалуйста, сэр! Мы боимся!

Мервин в недоумении посмотрел на спидометр. Стрелка показывала сто сорок миль в час. Он тотчас сбросил скорость. Фу-у, на сей раз обошлось...

В Палмерстон-Норт прибыли после ланча. Остановились у здания почтамта, где девочек уже ждали две пожилые, хорошо одетые леди. Девочки горячо благодарили Мервина. Он помахал им на прощание рукой.

Чем ближе подъезжал Мервин к Веллингтону, тем сильнее становилось его волнение. А что, если оклендская телефонистка что-нибудь напутала? Всякое может быть... А вдруг приходит он к Джун, а она говорит: Мервин, ты жив?! Но от тебя так долго не было ни строчки... Познакомься, это мой жених... Он вслух рассмеялся — до того невероятной, нелепо невероятной представилась ему подобная ситуация. Не верить Джун — значит не верить самому себе...

Было еще совсем светло, когда Мервин миновал причалы пиктонского парома. Здесь начинался собственно город — надо было решать, что ему предпринять теперь. Еще далеко на подъезде к городу он представлял себе, как остановится в этом районе и продумает каждый свой последующий шаг. Но ничего такого не произошло — на него вдруг нашло какое-то затмение. Он перестал видеть другие машины, пешеходов — видел лишь руль, спидометр и клочок дороги перед радиатором. Еще какой-то шаг, еще один, последний шаг — и он увидит наконец Джун!

Полицейский-регулирующий, стоявший в этот час пик на одном из оживленных перекрестков, едва успел отскочить в сторону от машины Мервина и тем спас свою жизнь. Он тут же передал по радиотелефону всем своим коллегам, чтобы они задержали «хол-

дея»-пикап с мужчиной-водителем, который только что нарушил все правила движения и может стать причиной катастрофы: «То ли пьян, то ли наркотиков нажрался». Но «холден»-пикап, чудом никого не задев, проскочил на предельной скорости малый тоннель перед Карори, свернул влево и исчез на верхней дороге.

Оторвав взгляд от дороги, Мервин поднял голову. Его машина стояла у ворот Джун.

Впервые оказалось, что перебраться в коляску с сиденья машины хлопотно и трудно. Когда же он очутился наконец на земле, им овладела такая слабость, что он какое-то время не мог сдвинуться с места. Разглядывая ворота, деревья за ними, он собрался наконец с силами и поехал в коляске по дорожке в глубь сада.

Все здесь было как прежде: чистота, уют, спокойствие. Шелковистая трава, любовно подстриженные стены кустарника, размашисто вскинувшие ввысь ветви деревьев-исполины. Возле беседки над ручьем Мервин остановился. Отсюда был виден дом, освещенный лучами заходящего солнца. Какой живой, какой теплый дом! Мервин взглянул на два больших центральных окна гостиной и вздрогнул: наглухо зашторенные, они были похожи на два страшных бельма. С сильно бьющимся сердцем Мервин торопливо подкатил к центральному входу и увидел на дверях небольшую табличку: «Сдается внаем».

Да, оклендская телефонистка сказала правду. Как он раньше не понял: тишина, спокойствие этого сада, этого дома — спокойствие не жизни, а отсутствия жизни...

Да, оклендская телефонистка сказала правду. Что же теперь делать? Как найти Джун? Где мадемуазель Дюраль, где Дэнис О'Брайен — где они все? Откуда было Мервину знать, что сразу же по возвращении в Веллингтон (они вернулись почти одновременно) Шарлотта и Дэнис бросились по следам Джун, которая — увы! — безнадежно затерялась в Окленде. Возле беседки на обратном пути он обернулся — взглянул на дом в последний раз. Золотистые тона заката переплавились в багровые. «Горит!» — невольно вырвалось у Мервина, настолько сильна была иллюзия пожара. «Ну и пусть горит, — тут же подумал он. — Все равно, это уже не дом, а пепелище».

Спустя четверть часа Мервин поставил свой «холден» у нортлендской почты, прямо против жилого дома пожарной команды. Подкатив коляску к телефону-автомату, он быстро разыскал в объемистом справочнике номер Дэниса О'Брайена. Когда после одного-двух гудков в трубке раздался чуть хриловатый голос Дэниса, Мервин едва не задохнулся от радости. Однако радость тут же сменилась горечью досады. Это был голос Дэниса, но записанный на магнитофонную пленку:

— Здравствуйте! Здравствуйте! Я — Дэнис О'Брайен. Я — Дэнис О'Брайен. Я нахожусь с выставкой своих картин в Европе... Нахожусь с выставкой своих картин в Европе. Возвращаюсь в Веллингтон в канун рождества — двадцать четвертого декабря. Если хотите что-нибудь передать, диктуйте сразу после того, как смолкнет мой голос... смолкнет мой голос.

— Дядя Дэнис! — прокричал в трубку Мервин. — Говорит Мервин! В тот же день, как вернетесь, позвоните мне в Окленд домой или в Ассоциацию ветеранов. Буду очень ждать. Буду очень ждать!

«Я и сам позвоню ему двадцать четвертого», — подумал он и положил трубку. Устало закрыв глаза, посидел с минуту, потом повернулся и въехал в помещение почты.

— Что так поздно трудимся? — крикнул он с порога дурнушке Стэлле, сидевшей за конторкой.

Она подняла голову, взглянула на Мервина и просияла.

— Мервин! — радостно воскликнула она. — Мервин!

— Привет, Стэлла, — проговорил он так, как если бы они виделись вчера. — Как справляется с реками писем почта ее величества?

— Мервин! — еще раз проговорила девушка, с восторгом и состраданием разглядывая его, не отваживаясь спросить, почему он на коляске.

— Скажи, Стэлла, за это время писем на мое имя не приходило?

— Нет, Мервин.

— И никто меня не спрашивал — дома или здесь?

Девушка вспомнила красотку, которая пожаловала как-то сюда. «А почему я, собственно, должна помнить, спрашивали его или нет?» — подумала она.

— Никто, — сухо ответила она.

— Ладно, — сказал Мервин, выкатывая коляску на улицу.

«Может быть, заглянуть в свой бывший дом?» — подумал он. И тут же решил, что делать этого не стоит — хотя бы по одному тому, что ему вовсе не хотелось выслушивать соболезнования посторонних людей.

Ночь Мервин провел в «холдене». Не спалось. Мимо машины то и дело проходили, обнявшись или держась за руки, парочки — набережная была любимым местом встреч и прогулок. На причале у морского вокзала стоял английский теплоход. Все палубы его были расцвечены иллюминацией. Начались праздничные туристические круизы.

Вокруг «холдена» крутился какой-то пес. Низенький, с длинной мордой и отвислыми чуть не до самой земли ушами. Он добродушно вилял обрубок хвоста. Мервин тихонько позвал его:

— Иди сюда, пес!

Но как только Мервин протянул к окну руку, намереваясь погладить пса, тот отскочил в сторону, стал лаять. Кто-то прикрикнул на него из темноты, и пес убежал на голос хозяина. «Гюйс, где ты сейчас, мой славный малыш? — подумал Мервин. — Наверно, забыла меня совсем?» Он представил себе Гюйса на сиденье рядом с собой — черно-белый живой комочек норовил дотянуться до окна, настораживал уши, тыкался мокрым носом в ладонь. Сразу стало веселее, уютнее...

4

В первый же вечер по возвращении в Окленд Мервин попал на традиционный рождественский обед Ассоциации ветеранов.

— У нас здесь по-солдатски, по-простецки. — Увидев, что он одиноко сидит в коляске в стороне от всех, к нему подошел мужчина средних лет. — Вы что пьете?

— Все, — коротко ответил Мервин.

Через минуточку мужчина появился с двумя стаканами, в которых лежало по куску льда. Под мышкой он держал бутылку «Джони Уокера». Налив стаканы почти до краев, он протянул один Мервину, приподнял свой и с коротким возгласом: «Счастливого рождества!» — вышил его до дна. Закусив куском индейки, представился:

— Рэй Тэйлор, капрал, Вьетнам, ранение в ногу и дважды в грудь.

— Благодарю, — сказал Мервин. — И давно оттуда?

— Полтора года.

Рядом с ним появилась стройная шатенка, синеглазая, ярко накрашенная. Поцеловала Тэйлора в щеку, взяла под руку.

— Тина, моя невеста, — представил ее тот. — А это парень, о котором нам с тобой говорили.

Тина молча оглядела Мервина. Он хотел спросить, кто и что о нем говорил, но не успел.

— Вечная невеста, — сказала она, невесело улыбаясь. — До его поездки во Вьетнам, во время и после я все еще его невеста...

— А что? — засмеялся Тэйлор. — По-моему, отличное состояние. Как у астронавта невесомости!

Тина взяла у него стакан, налила в него немного виски, выпила с отвращением.

— Вот всегда так. — Тэйлор состроил гримасу. — Пьет как отраву, смотреть тошно.

— Только первые три, — запротестовала девушка, наливая себе еще. — Только первые три...

— Ладно уж, — примирительно сказал Тэйлор. — Пойду принесу жратву.

— Мистер Тэйлор... — Мервин отхлебнул виски. — Он где-нибудь служит? Или у него свой бизнес?

— Мистер Тэйлор служит?! — удивленно переспросила Тина, и по ее тону Мервин понял, насколько смешным показался ей его вопрос. — Мистер Тэйлор...

— Я здесь, здесь, — проговорил тот, протягивая Тине и Мервину тарелки с сэндвичами. — О чем идет речь?

— Он спрашивает, не служишь ли ты? — сказала Тина.

— Ах, это! — Тэйлор махнул рукой. — Слушай, нет возражений называть друг друга по имени? Так вот, дорогой Мервин, я служу — преданно и беззаветно — лошадям!

— Да. Рэй отслужил ее величеству королеве и теперь служит ее величеству лошади,— сказала Тина.— И служит воистину преданно!

— Она ревнует меня к лошадям,— проговорил Тэйлор.— А лошади эти кормят и меня и ее. И даже поят. И даже счета на бриллианты, которые моя невеста носит на пальчиках, в ушах и на шее, оплачивают без особых возражений. Ты когда-нибудь на скачках играл, Мервин?

— Нет,— признался тот.— Был раза два еще ребенком с отцом на ипподромах. Вот и все мое знакомство со скачками.

— Быть этого не может! — вскричал Тэйлор. И тут же понизил голос почти до шепота: — Считаю, что тебе фантастически повезло. Я, Рэй Тэйлор, посвящу тебя во все тонкости и хитрости скачек! За один день ты сможешь выиграть тысячу, пять, десять тысяч долларов!

— Но могу и проиграть,— возразил Мервин.

— Проигрывают идиоты и невежды! В скачках, как и в любом другом бизнесе, только прирожденный олух будет делать ставку в надежде на одно везенье. Великая наука и тяжкий труд — вот что такое скачки!

— А почему именно меня решил ты посвятить в эту великую науку? — Мервин улыбнулся.

— Почему тебя? — переспросил Тэйлор, жуя сандвич.— Хотя бы потому, что ты прошел сквозь тот же вьетнамский ад, что и я! И потом... ты веришь в мужскую дружбу с первого взгляда? Не в любовь к женщине — это гроша ломаного не стоит! Нет, именно в мужскую дружбу?

— Не знаю,— сказал Мервин.

— За дружбу ветеранов! — Тэйлор поднял свой стакан, посмотрел в глаза Мервину.

В половине одиннадцатого они перебрались в один из портовых ресторанов. Свободных столиков не было. Но новые знакомые Мервина знали здесь всех, и спустя несколько минут они уже сидели в отдельном кабинете. Ни есть, ни пить никому не хотелось. Однако блюда сменялись блюдами и вина винами. Вопреки правилам официант принес бутылки коннектикутского кукурузного виски «бербон», лондонского джина, оклендской водки «Борзой». «Вообще-то крепкие напитки подаются только в баре», — улыбнулся он, подхватил брошенную Тэйлором пятидолларовую бумажку, поклонился, исчез.

Рэй пьяно улыбался, цедил «бербон» на льду, лениво заедал жирными устрицами.

— Мервин, ну почему ты не ухаживаешь за моей невестой? — капризно спрашивал он, выдавливая сок из ломтика лимона на устрицу и ловко подхватывая ее деревянной палочкой.— Тина обожает мужское внимание!

Синие глаза Тины стали почти черными, на бледной коже шеи проступила нежно-голубая жилка. Мервин сосредоточенно изучал содержимое своего стакана. Джин, тоник, лед, лимон — какое же это омерзительное пойло! Ему казалось, что он сидит в этом ресторане целую вечность. Этот Рэй, эта Тина — кто они, откуда? Не все ли равно...

На эстраде выступала аргентинская труша. Дородная певица закатывала глаза, горячо шептала в микрофон о бурных ласках южанок. Ритмичные танцоры — «прямые наследники братьев Александер» — исполняли свои номера старательно и бесталанно. Потом появился пожилой жонглер в потертом трико. Завершив кое-как несложные манипуляции с булавами и мячом, он трижды безуспешно пытался удержать на лбу шпагу, на острие которой находилась вращающаяся тарелка со стаканом воды. Так и не добившись успеха, он удалился, беспомощно улыбаясь и кланяясь. Публика проводила его дружными аплодисментами.

— Седьми жалеют! — неодобрительно поморщился Тэйлор.— А зря, клянусь святым Патриком, зря! Высшим проявлением гуманности было бы усыплять всех старше пятидесяти — можно даже с почестями. Столько людей стало на земле, что и молодым негде повернуться!

— А когда тебе самому исполнится пятьдесят,— с неприязнью сказал Мервин,— и тебя тоже усыпят, это будет гуманно?

— Ну, пока мне исполнится пятьдесят, закон об усыплении можно будет отменить! — Тэйлор захохотал.

— Рэй бескорыстно любит на этом свете лишь одного человека — себя! — без тени улыбки объяснила Мервину Тина.

— Ты забыла лошадей! — смеясь, воскликнул Рэй. — Ты забыла лошадей!

Когда Тина и Мервин привезли уснувшего еще за столом Рэя к нему домой, небо заметно посветлело. Дом достался Тэйлору по наследству: довольно просторный особняк с двумя спальнями, гостиной, кабинетом и комнатой для гостей.

Тина с трудом втащила Рэя на второй этаж, уложила на кровать. Спустившись вниз, она, тяжело дыша, бросилась в кресло.

— До чего он тяжел, когда пьян, — пробормотала она. — Разве разденешь такую тушу? В чем есть валится на покрывало и сразу начинает храпеть.

Она ушла в ванную комнату, а Мервин, насыпав из мешка, стоявшего у входа в кухню, древесного угля в камин, поджег тонко настроганные сухие дощечки. «Камин в Окленде — какая блажь! — усмехнулся он. — Здесь и в самый разгар зимы, в конце июня, пятнадцать градусов тепла, прохладнее не бывает». И все же было приятно сидеть у этого неяркого огня, ворошить щипцами угли. Мервин задремал.

Когда открыл глаза, в гостиной было совсем светло. В доме стояла сонная тишина. На диване сидела Тина, поджав под себя ноги, и расчесывала влажные густые каштановые волосы. На ней был прозрачный утренний халатик. Он был распахнут, и Мервин разглядывал тело Тины, не чувствуя ни стеснения, ни неловкости — искренне любовался ею, как любовался бы красивым цветком.

— Мервин, хочешь лечь со мною в постель? Сейчас?

— Как? Ты — что?

— Очень просто: раздеться и лечь. Неужели непонятно?

— А как же... Рэй?

— А что — Рэй? — Она вышла на кухню и тотчас вернулась с бутылками джина, тоника и двумя стаканами. — Что — Рэй? Все его друзья перебивали в моей постели. Друзья и компаньоны по бизнесу. Он сам толкает меня на это...

— Он — толкает?

— Да, он. Пятый год он держит меня на положении полужены, полурабыни. Ему так удобно. Я служу приманкой для всей этой... для всех этих джентльменов. А у Рэя Тэйлора передо мной никаких обязательств.

— Разве Рэй тебя не любит? — спросил Мервин.

— Любит, наверно, — с горечью ответила Тина и залпом выпила стакан едва разбавленного джина. — За все эти годы ты первый, кого мне приходится уговаривать.

— Я... знаешь... Ты, пожалуйста, не сердись, ради бога...

— Все равно приползешь — не теперь, так через неделю. Все вы одинаковы...

— Тина, — спросил Мервин минуту спустя. — Зачем я вдруг понадобился Рэю Тэйлору?

— Ты? — Она колебалась секунду-другую. — Предприятие Рэя, его любимые лошадки, игра на скачках — все это на грани риска. А ты — отличная гарантия добропорядочности в глазах закона. Бескорыстный безногий герой Вьетнама...

Мервин молчал. Она подошла к нему, обняла за плечи.

— Ты не обижайся. Я знаю Рэя и могу сказать, что ты ему по-настоящему понравился. Он игрок, шулер, подлец, это так. Но если кто пришелся ему по душе, он тому и душу отдаст.

— Я не обиделся. — Мервин тоже вышел, тут же налил еще. — В джунглях я каждый день ставил жизнь на кон. Так почему теперь не поставить на лошадей?

С того утра для Мервина началась странная жизнь. В половине девятого его разбудил Тэйлор.

— На первый раз сделаем скидку на знакомство, — сказал он. — Обычно в восемь я уже полностью готов к драке за доллары. — Он улыбнулся одними губами.

Мервин потянулся было к бутылке джина, но Тэйлор перехватил его руку.

— Если хочешь работать со мной, — медленно проговорил он, — запомни одно из главных правил: лошадь, как и собака, не выносит запах алкоголя. А потому будем пить вечером и ночью. Утром и днем — абсолютный сухой закон.

— А я читал где-то о лошадях и собаках, которые не прочь пропустить ста- канчик...

— Они такие же, если не бóльшие, выродки среди зверей, как совершенные трез- венники среди людей,— сказал Тэйлор.

Мервин проглотил, давась и охая, три ложки соли «Ено». За завтраком он ни к чему не притронулся, молча пил чай, изредка поглядывая на Тэйлора. Тот ел за двоих, делал пометки на каких-то бумагах, разговаривал с кем-то по телефону, который Тина подкатила на тележке вместе с бэконом, джемом, корнфлексом. Тех, кому Тэйлор звонил, он называл только по кличкам. И сами разговоры были совершенно непонят- ны Мервину — он никогда раньше не слышал этого арго: «съел два хвоста», «ущемил ноздрю», «стер подкову наизнанку»...

После завтрака Тэйлор пригласил Мервина в кабинет. Усевшись за уютный черного дерева письменный стол, Рэй нажал невидимую со стороны кнопку. Висевшая за его спиной старинная линогравюра С. Баррода «Маорийский вождь Рангихайета» медленно подползла к окну. В открывшейся за ней нише сверкнула выкрашенная в ядовито-крас- ный цвет дверца несгораемого шкафа. Тэйлор нажал другую кнопку — дверца бесшумно распахнулась. Мервин увидел пять секций, каждая из которых была помечена пропис- ной буквой: «А», «В», «С», «Д», «Е».

— Искусство делать деньги на скачках покоится на пяти китах,— пояснил Тэй- лор.— Эти киты — лошадь, ее владелец, жокей, тренер, трек. Казалось бы, куда как просто: собери немного сведений по каждому из компонентов и беги к кассам ипподро- мов, набивай карманы монетами. Святые заблуждения! И именно за них сотни тысяч простаков в слепой надежде на шальной выигрыш расплачиваются красивыми бумаж- ками, которые неизменно перекочевывают на счета немногих избранных и посвящен- ных. Хочешь — пример?

— Жокеи! — воскликнул Мервин.— Они и есть главный кит!

— На скачках горячиться позволено только лошади, и той лишь в правильно- выбранный момент,— сдержанно улыбнулся Тэйлор.— Все киты предельно важны. Но если хочешь, взгляни из мой микроскоп на жокеев.

Повинуясь электронной команде, секция «С» выкатилась на выдвинувшихся рель- сиках на стол.

— Эта картотека досталась мне по наследству,— проговорил Тэйлор, любовно поглаживая металлический ящик.— Понятная вещь, ее надо все время обновлять. Жо- кеи, жокеи... Кстати, самый короткий век из этих «пяти китов» у них и у лошадей. Итак, жокеев, представляющих реальный интерес, сто девяносто. Беру наугад любое досье. Ага, Герард из Вангануи. Возраст, рост, внешние данные, семья... Все это понятно и лежит, скажем, на поверхности. За такие «сведения» никто и цента не даст. Как ты думаешь, сколько мне предлагают за картотеку?

— Угадывать не берусь.— Мервин пожал плечами.

— И правильно делаешь! — воскликнул Тэйлор.— Все равно не угадаешь. Тридцать тысяч, неплохо, а? Но я ее и за миллион не уступаю. В чем же заключается тайна бу- дущих дивидендов? Пожалуйста: «Герард за час до старта может сбросить около ше- сти фунтов веса — со скакалкой». Значит — может! Но станет ли? И именно перед нуж- ным мне заездом? Еще: «Теряет самообладание исключительно редко». Следовательно, перед нами проблема: есть ли смысл заставить его сделать это? Если есть, то кто, когда и как это осуществит: «случайный» зритель, который бросит ему в лицо перед заездом подложки тухлых яиц, или другой жокей, который в самый разгар скачки притрет его к барьеру? Сколько будет стоить тот и другой вариант? Еще: «Возможны деловые компромиссы». Вот это едва ли не решающее! С Герардом из Вангануи можно «сесть на варианты», или, иначе говоря, определить исход заезда. Еще...

— Стоп! — остановил его Мервин.— Принцип понятен. Я думаю, вести регулярно эту картотеку адски трудно.

— Нелегко,— кивнул Тэйлор.— Более того, одному это просто не под силу. У ме- ня есть люди во всех городах страны. Каждый пишет мне не менее одного письма в неделю: «Сегодня в Нью-Плимуте прошел сильный дождь. Состояние трека в воскресе- сенье будет среднее, ближе к тяжелому, точь-в-точь как в прошлогодний осенний ган- дикап в Авапуни», «Тренер Джэк Кувада из Нельсона вчера обмолвился, что его фа-

воритка Донна Пари вновь вошла в полосу черной хандры», «Владелец лучшей конюшни в Тимару только что продал Черного Принца американской фирме Флайинг Пегасес»... За каждое письмо я плачу доллар. Десять писем — десять долларов. Обработку всех материалов и ведение секций мы делим с Тиной. Хочешь взять на себя для начала секцию «В» — владельцев лошадей?

В десять Рэй и Мервин были уже у Джонатана Льюэна, владельца небольшой конюшни в одном из юго-восточных пригородов Окленда. Тина осталась дома: ей нужно было принять двух жокеев из Крайстчерча, кроме того, около одиннадцати должен был звонить председатель комитета конного аукциона Брисбейна.

Тэйлор и Льюэн были старыми приятелями: когда-то вместе учились в университете, вместе заседали в советах благотворительных обществ, встречались в клубах. Инициатором предстоявшего разговора был Льюэн. Он собирался купить молодую кобылу Принцессу Ли из знаменитого клана, основоположницей которого была импортированная из Бостона несравненная Спионетта. Нужна была квалифицированная консультация. И лучшего эксперта, чем Тэйлор, сыскать было бы трудно. Льюэн знал, что гонорар Рэя за подобного рода совет составит не менее трехсот долларов, но он шел на это: в случае удачи сделка сулила обернуться устойчивыми, высокими дивидендами.

Рэй представил Джонатану Мервина. После традиционной чашки чая все трое беголо осмотрели конюшни и засели за карточки, которые привез Рэй. «Золотой пасьянс»,— думал Мервин, глядя на разложенные на столе подробные записи о семье Спионетты и стараясь не пропустить ни одной детали из беседы специалистов. Карточка хранила такие записи, что даже Джонатан несколько раз не удержался и хмыкнул от удивления, добавив: «Любопытно! Весьма любопытно!» Оказывается, многие члены клана были реэкспортированы в Соединенные Штаты и, как правило, за очень высокие цены. Лошади обладали феноменальным упорством. Жеребец Форт Хаген, участвуя в борьбе за Кубок столетия провинции Отаго, пришел к финишу первым и тут же, сделав несколько шагов, упал. Ветеринар извлек из правого переднего копыта загнанный чьей-то опытной рукой двухдюймовый металлический шип. Кроме упорства, у всех отпрысков семейства Спионетты было еще два замечательных свойства: неодолимая жажда самоутверждения и невосприимчивость к болезням. Мерин Тимор во время весенних скачек на приз Больших Дубов в Гисборне исподтишка так укусил обошедшую его было лошадь, что она сошла с дистанции. Потомки Спионетты, словно хранимые волшебным заклятием, не знали ни серьезных, ни даже самых легких заболеваний. «На этих ни гроша не заработаешь»,— ворчали ветеринары. Были, однако, у представителей клана и негативные качества: прежде всего их капризы. То они вдруг отказывались от пищи, то не «принимали» жокеев, то бунтовали против соседей.

После вкусного и сытного обеда в «Пицца Рома» Рэй и Мервин отправились на закрытый ипподром крупнейшего конозаводчика северо-восточных заливов Оливера Дженкинса. Сам хозяин постоянно жил в Лондоне. Его управляющий Дерек Аристиади показался Мервину славным, простодушным парнем.

— Этот милый простачок, имея три собственных дома и полдюжины лимузинов, преспокойно упрятал вполне еще здоровых родителей в инвалидный дом! — заметил Тэйлор, когда они остались вдвоем. — Будь мои папочка и мамочка у меня на иждивении, я наверняка поступил бы так же. Но ведь я не корчу из себя святого!

В последующие полчаса Мервин понял, что Тэйлор приезжал в конюшни Дженкинса отнюдь не для переговоров с управляющим о покупке перспективных двухлеток. Ему нужно было встретиться с глазу на глаз со знаменитым жокеем Брусом Кейптоном, которого накануне всех крупных состязаний Аристиади держал практически под домашним арестом. Ничего не поделаешь — контракт. И Рэй добился своего. Он и Брус лишь обменялись рукопожатием, перебросились, как показалось Мервину, несколькими ничего не значащими фразами. Но по тому, как весело Тэйлор на обратном пути в город напевал привязавшийся к нему мотивчик, было ясно, что съездили они не зря.

Неожиданно Рэй попросил Мервина остановиться у невзрачной бензозаправочной станции перед въездом в Окленд.

— Но у нас еще больше полбака,— удивился Мервин.— И табличка висит: «Закрыто».

Тэйлор приложил палец к губам, подмигнул, вошел в здание станции через боковую дверь из помещавшейся под навесом ремонтной мастерской. Он отсутствовал минут десять. Потом быстро вышел через ту же дверь, торопливо вскочил в машину, бросил тихо:

— Поехали.

Мервин заметил, что в полутемной мастерской появился сутулый седобородый старик в очках.

— Встречался с Санта-Клаусом? — спросил он Тэйлора минуту спустя.

— Ты никогда не был столь близок к истине! — воскликнул тот. — Через руки этого чудесного деда каждую неделю проходят десятки тысяч!

— Подпольный букмекер? — высказал предположение Мервин.

— Тсс! — остановил его Тэйлор. — Наша демократия преследует подобного рода шалости более энергично, чем ты думаешь! — Он засмеялся, включил радио. Пел Синатра.

Вечером они опять были в том же ресторане, в том же кабинете. И так же вина сменялись винами, а блюда блюдами. Раза два в кабинет заглядывали какие-то странные личности. Поздоровавшись с Тиной, они почтительно подходили к Тэйлору и с минуту о чем-то шептались. Уходили не прощаясь, внезапно, как и появлялись. Рэй делал какие-то заметки в своей записной книжке. Наконец сообщил, следя за тем, какую реакцию это вызовет:

— За сегодняшний день ты, Мервин, заработал четыреста двадцать долларов!

Мервин недоверчиво покачал головой.

— А вы с Тиной сколько? — наивно спросил он после паузы.

— Мы, конечно, несколько больше, — захлопнув записную книжку, Тэйлор положил ее во внутренний карман пиджака. — Но мы и в деле несколько дольше.

Потянулись дни, похожие один на другой. Постепенно Мервин втягивался в дело. Он уже знал многих владельцев конюшен, тренеров, жокеев. Большую часть времени проводил с Тиной и Рэем, к себе заглядывал лишь раз-другой в неделю. Лошади побывали его коляски, и Мервин больно переживал это. Постепенно, правда, они привыкали, успокоенные его мягкостью, добротой. Удивительно мудрыми, чуткими созданиями были эти лошади, чувствующие одинаково остро и ласку, и грубость, и притворное участие, и подлинную заботу. У них была своя жизнь, свои радости и огорчения, гордость, зависть, самолюбие и самопожертвование, чванство, преданность, предательство. Мервину захотелось даже перечитать свифтовское «Путешествие в страну гуингнмов», и он купил томик «Путешествий в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера».

Тэйлор, глянув на обложку и полистав книгу, обронил:

— По чести сказать, я согласен со Свифтом. Благородные лошади в тысячу раз лучше гнусных йеу! Увы, эволюция пошла явно по неправильному руслу.

За несколько дней до рождества выигрыш на скачках оказался особенно велик, и они побывали в подюжине значных мест, где мешали шерри с коньяком, шампанское с бербоном и охрипли от признаний в бескорыстной и вечной дружбе. Мервин, который каждое утро теперь давал себе клятву: «Не выпью больше ни глотка губительной отравы!» — вечером с равнодушием обреченного отмечал, что не пить он уже не может. Не может! Им овладело странное безразличие ко всему, что его окружало. Он добросовестно выполнял поручения Рэя Тэйлора, а вечером пил. Он помнил: в канун рождества нужно позвонить Дэнису О'Брайену. Впрочем — нужно ли? Зачем?

Позднее воскресное утро. Ни шума проезжающих машин, ни звука голосов прохожих, ни даже крика птиц в деревьях за окном. Не спалось. Мервин, скинув рубашку, лежал на диване в гостиной. Тина, оттащившая в спальню Тэйлора, прошла по гостиной, распахнула окна. Долго смотрела на неподвижные воды залива. Спросила не обращившись:

— Выигрыш спать не дает? Или хмель?

— Ты знаешь, к деньгам я безразличен...

— Пока они есть! А к выпивке?

— Нет, — негромко ответил Мервин.

Она ушла в кухню и вернулась, держа в руках два стакана со льдом и виски.

— Ты все еще не хочешь меня, Мервин? — негромко спросила она, наклоняясь к нему.

— Ты знаешь, я не должен... Я люблю другую... — Он с трудом увернулся от ее губ.

Стакан выскользнул из рук Тины, беззвучно покатился по ковру.

— Ты просто смешон! — проговорила она тихо, едва слышно, и Мервин удивился, сколько злости было в ее голосе. — Врешь! Нет у тебя никакой любви. Нет — и быть не может! Да и кому ты нужен, обрубок чумазий? Кому?! Любовь — где ты ее видел? На экранах? В бестселлерах? Все копошимся в навозе, да признаться себе не хотим!.. Рэя боишься, деньги потерять боишься — так и скажи!.. Лю-бовь у него!

Мервин онемел от обиды. Но длилось это недолго. Незримая нить протянулась между тем, что случилось только что и тем, что было тогда, в Бангкоке. Как же он не извлек урока из того, что было там? Как легко ранима женщина в своей жажде быть любимой, а значит — нужной, единственной! Помочь человеку уйти от одиночества иной раз равносильно спасению его жизни. Разве он не знает этого по себе самому?

Мервин почувствовал на своей руке теплые слезы. Тина, прижавшись к его руке щекой, шептала:

— Прости ты меня, шлюху! От обиды разум теряю, хоть обижаться-то вроде бы и не на что. Поверь, так ласки хочется — иной собаке завидую. Остановлюсь и смотрю, как ее хозяин гладит... Ты забудь, умоляю, забудь, что я тебе наговорила...

Мервин гладил ее по щекам, утирал слезы. Она смотрела на него сквозь слезы, повторяла:

— Ты такой добрый, такой чистый! Такой чистый...

5

Она исподлобья наблюдала за соперницей из своего угла ринга. Мельбурнская Тумба церемонно раскланивалась, кокетливо щурила в улыбку глаза, легонько ударяя себя пальцами по воинственно торчащим грудям. Кровавая Джуди смотрела на все эти отработанные перед зеркалом жесты и с удивлением ощущала, что все ее существо медленно наполняется тяжелой, холодной ненавистью. Не будоражащей мозг веселой злостью, без которой нет настоящей победы в спорте, — нет, именно ненавистью. Такого раньше не было. Но если бы она попыталась найти причины этой ненависти, то она бы поняла: ей, Кровавой Джуди, впервые пришлось уступить требованиям антрепренеров — борьба должна идти на равных, хотя бы до девятой минуты. Публика настолько привыкла к победам Джуди, что возникла реальная опасность потерять кассовые сборы. Но раздумывать над тем, что происходило с ней за последнее время, Кровавая Джуди себе запрещала. Она поправила черную маску, в которой сегодня выступала, и снова впиалась глазами в Тумбу.

Оклендский Выставочный зал сдержанно шумел. Впечатление было такое, что шум этот издавал горящий бикфордов шнур: еще мгновение — огонь по шнуру подбежит к заряду и гроыхнет взрыв. Мельбурнская Тумба и Кровавая Джуди вышли в центр ринга к судье. Он осмотрел ладони соперниц, попросил поднять ступни и показать борцовки. В памяти всех любителей этого вида спорта был жив трагический исход матча между Гавайской Торпедой и Юкатанской Буйволицей. Обезумев от болевого приема, мексиканка сумела вытащить из ботинка запрятанную там длинную острую иглу и вонзила ее в сердце островитянки. Та умерла мгновенно, с победной улыбкой на губах.

Кровавая Джуди рассеянно скользнула взглядом по первым рядам, едва заметно кивнула Большому Дик у массажистке, заняла боевую стойку. Испарина, которую она увидела на лбу австралийки, ее вымученная улыбка приятного цекотали самолюбия. Этого раньше с Кровавой Джуди тоже не бывало. Она недовольно нахмурилась, тряхнула головой. Прозвучал гонг, и она почти сразу захватила голову Мельбурнской Тумбы в «замок». Иногда чуть-чуть расслабляя руки, она закружилась по рингу, громко шепча в ухо соперницы: «Тебе осталось шлепать пятками по рингу меньше девяти минут!» Кровавая Джуди знала, что подпольные букмекеры уже прекратили принимать деньги, что Большой Дик сделал крупные ставки: «На десятой минуте Тумбу унесут санитары!»

...В тот вечер Мервин, Рэй и Тина попали в оклендский Выставочный зал случайно. Было двадцать третье декабря. Они поставили довольно большие суммы денег на «своих» лошадей в сиднейском гандикапе, на данидинских и веллингтонских скачках, на рысистых состязаниях в Перте. Больше или меньше — им везло везде. Мервин даже сказал, что в своей теории Рэй упускает шестого кита — Удачу. «Удача, — возразил ему Тэйлор, — слепа лишь тогда, когда человек пассивен. В девяноста же девяти случаях она обладает острейшим зрением и глазами ее — Знание и Труд».

Завершив дела, они на славу пообедали в «Сазерн Пасифик» и, по обыкновению, пустились в плавание по морю страстей человеческих. В дешевой стриптизной Рэй неожиданно захмелел, сильнее и раньше обычного. И все-таки после стриптизной они заскочили на полчаса в Клуб ветеранов, где Тэйлор затащил их в один из билиардных залов. Хотя кий совершенно его не слушался, он навязал игру маркеру и в первой же партии проиграл полсотни долларов. Тина почти насильно увела его на улицу.

— Вы знаете, друзья, куда нам теперь пора? — воскликнул Рэй, посмотрев на часы и словно протрезвев. — В Выставочный зал! Сейчас там начнется такое — трудно себе даже представить!

— Ты как хочешь, а я не поеду! — сказал Мервин. — Смотреть эти заранее отретированные поединки?

— Выступает Кровавая Джуди! — возразил Тэйлор. — Ты ее когда-нибудь видел на ринге?

— Нет. И не испытываю ни малейшего желания. Я устал и хочу домой. Имею я право на такое желание?

Хотя Мервин и был изрядно пьян, он помнил, что в канун рождества ему может позвонить дядя Дэнис. А дядя Дэнис — верная ниточка к Джун.

— Заедем на полчаса, — примирительно предложила Тина. Шепнула: — Не бросишь же ты меня с ним здесь одну?

Мервин неохотно согласился.

В зале они появились, когда схватка между Кровавой Джуди и Мельбурнской Тумбой уже началась. Сели в первом ряду, чуть сбоку от столика судей. Мервин поставил свою коляску в довольно широком проходе. Голова его находилась почти вровень с полом ринга, и он долго наблюдал за ногами спортсменов. Одни, затянутые в черное трико, ни секунды не стояли на месте, перемещались то влево, то вправо. Изящные, легкие, они, казалось, вовсе не напрягались — не работали, а танцевали. Другие — литые, мускулистые, были похожи на могучие столбы, врытые в пол. Тем большее удивление вызывало, когда они вдруг начинали суежливо дергаться, неуклюже подсакивать, каждый раз пытаясь поспеть за теми, в черном трико, и каждый раз отставая...

Сейчас Кровавая Джуди стояла к Мервину спиной. Он посмотрел на лицо австралийки и подумал, что так беззвучно и бесслезно плакать ей придется до конца поединка: слишком велико было преимущество ее соперницы. Он и раньше читал раза два безудержные — так ему показалось — похвалы «безупречной и вдохновенной технике» Кровавой Джуди. И то, что она в маске, и газетные оды ее мастерству, он расценивал как обычную рекламу. Теперь же он увидел, что это не так, реклама здесь ни при чем, перед ним, пожалуй, феномен...

В это самое мгновение Кровавая Джуди легко провела очередной бросок через бедро и, пока Мельбурнская Тумба поднималась с пола, посмотрела Мервину прямо в глаза. Длится это секунду, но он замер от ее взгляда сквозь прорези в маске, не смея ни дышать, ни думать. Поединок возобновился. Мервин не спускал глаз с Кровавой Джуди. И она почувствовала его взгляд, отпустила соперницу и повернулась к Мервину, подойдя к канату. Не понимая, почему внезапно прекратился бой, публика подняла дикий шум. Крики, свист, топот ног, вой рожков, пулеметный стук трещоток подняли на ноги самых азартных, испуганных возможным проигрышем. По проходу к рингу уже бежали полицейские.

И тут Мельбурнская Тумба совершила роковую ошибку. Она решила, что ее противница прекратила бой, истощив свои силы. Тумба обхватила Джуди со спины и попыталась повалить ее. Та легко вывернулась, но Тумба снова сделала попытку обхватить ее. В следующий момент произошло страшное: Кровавая Джуди вскинула Мель-

бурнскую Тумбу на плечо, пробежала с ней через весь ринг и швырнула ее за канат, в первые ряды. И столь велика была сила броска, что Тумба уже не смогла подняться. Четверо полицейских уложили ее на носилки и поволокли к выходу.

Зал обезумел от восторга. Но внезапно наступила полная тишина. И в этой, такой необычной здесь тишине Кровавая Джуди перепрыгнула через канаты и оказалась у инвалидной коляски. Сдернув с лица маску, она опустилась перед коляской на колени, взяла руку сидевшего в ней и стала ее то целовать, то прижимать к своим мокрым глазам. И весь огромный зал молча смотрел на зestyвшего как избяание смуглого юношу-инвалида в коляске и на плачущую девушку в черном трико.

Некоторые, кому было плохо видно, спрашивали шепотом стоявших впереди: «В чем дело? Что случилось?» Толпа отвечала молчанием...

Посмотрев на въехавшую в комнату коляску, Гюйс подошел к ней, недоверчиво обнюхал. Поднял морду, увидел Мервина и обмер. И вдруг из его маленькой груди вырвался такой тоскливый стон, что Мервину и Джун стало жутко. Ширин тоже попыталась было приблизиться к Мервину, но Гюйс чуть было не впился ей в горло: ну, конечно же, — это его хозяин!

— Ты, может быть, хочешь выпить, Мерв? — спросила Джун, подкатывая к нему передвижной бар-холодильник.

— А ты?

— Я? — Она отвела глаза. Наконец решилась: — Тебе я могу сказать... Понимаешь, в день матча я всегда на очень сильной дозе допинга...

— Наркотик? — воскликнул Мервин.

Она молчала довольно долго, не глядя на Мервина.

— Неужели ты думаешь, что хоть один профессионал смог бы работать без этого? Даже самый сильный, самый выносливый?

— Налей мне виски, Джун, — негромко попросил он.

Она внимательно следила за тем, как он не отрываясь выпил целый стакан золотистой жидкости.

— Пожалуй, выпью и я! — Джун налила себе виски, но сделала глоток, отставила стакан в сторону. — Не могу...

Мервин ласково привлек ее к себе. Она встала на колени перед коляской, прижалась грудью к протезам, вздрогнула, поцеловала его в щеку.

— Мы изменились за это время, не правда ли, Мерв? — тихо проговорила она.

Он молча кивнул, усмехнулся.

— Ты помнишь, — продолжала Джун, — какая светлая, солнечная была у меня комната? У меня был целый мир, радостный и теплый, отец, друзья учили меня правде и справедливости. Но я не знала и никто не учил меня тому, что у всего в жизни есть изнанка, обратная сторона. И когда я осталась одна, я чуть не захлебнулась в грязи. Я выжила, но какой ценой! Мог ли ты себе представить, что я скажу хоть слово неправды? А теперь я научилась лгать — лгать продуманно, изощренно. Лгу из-за денег — репортерам, тренерам, антрепренерам, публике... И вот у меня есть все — и ничего нет. Ничего настоящего, такого, чем я дорожила бы, что я берегла бы...

Джун выбежала в соседнюю комнату, захлопнула дверь, повернула ключ в замке. Мервин услышал сдавленные рыдания, потом они смолкли. Когда она через несколько минут снова появилась в гостиной, лицо ее было сильно напудрено, на губах — грустная улыбка.

— Знаешь, что было настоящим? Ожидание тебя. Без этого, клянусь богом, я бы не выжила!

Мервин гладил рукою лицо, волосы Джун.

— Я тоже жил надеждой увидеть тебя, — сказал он. — У человека должна быть хоть маленькая надежда — без нее в нем все угасает, — все человеческое...

Он глотнул виски, запил тоником, засмеялся стрывисто, глухо.

— Удивительно, — проговорил он, — до чего же человеку хочется верить, что он кому-то нужен на этом бесполом, враждебном свете! Нужен бескорыстно, не для чего-то, а просто так — такой, какой он есть. Но такое встречается редко. Жизнь так гнусно устроена, что каждый человек смотрит на другого как на объект, из которого

или при помощи которого можно извлечь для себя выгоду... Ты помнишь Дыду Ричарда? Того, с которым мы вместе отправились во Вьетнам? Он умер в джунглях — мир его праху! Так вот, он именно так смотрел на жизнь... Кстати, от него я впервые узнал, что и в пушечном мясе есть разные сорта. Я, черномазый, отношусь к самому низшему. Сейчас, здесь, в Ассоциации ветеранов, со мною носятся как с героем. Еще бы — маориец, отдавший две ноги, чтобы сытые новозеландцы могли счастливо и безмятежно разводить овец и сражаться по субботам в регби. Ну чем не пример для других смуглокожих собратьев? Мне воздают почести, меня превозносят. Но в джунглях у меня обострился слух. И за спиной я нередко слышу смешки презренья.

— Мервин, милый! Что тебе до них? — воскликнула Джун. — Мы нашли друг друга — важнее этого ничего не может быть! И мы будем теперь всегда, всегда вместе! — Она обняла его, стала шептать: — Помнишь, тогда там, у озера, я сказала тебе: «Не надо!» Я и тогда хотела тебя! Но тогда я боялась... Нет, не боялась, — сама не знаю, почему я сказала «не надо». О, как я потом жалела, что не стала тогда твоей, — ведь я могла бы уже родить тебе сына!

И он целовал ее — целовал ее глаза, волосы, грудь. Целовал бережно, нежно... Внезапно он почувствовал, как его голову обхватил стальной обруч, медленно и неумолимо сжимавшийся. Казалось, в мозгу его вспыхнул и завертелся со все возрастающей силой ослепительный сноп огня. «Приступ», — с ужасом понял он. Он хотел сказать что-то Джун, о чем-то попросить ее. Но горло сжали спазмы, и Джун услышала лишь хриплый стон.

Сначала ее удивил какой-то неестественно серый цвет лица Мервина. Когда же он заметался по постели и в уголках его рта появилась пена, Джун поняла, что происходит что-то страшное.

— Что с тобой, Мервин? — в ужасе повторяла она, бросаясь то в ванную за компрессом на лоб, то в кухню за водой со льдом.

Мервин едва слышно бредил, часто запрокидывая голову. Наконец он затих.

Сначала Джун подумала о «скорой помощи», но тут же вспомнила, что городские врачи и сестры бастуют уже третий день. Что же делать? Господи, что же делать? Найдя в пиджаке Мервина записную книжку, она отыскала запись на первой странице в графе «лечащий доктор», дрожащими пальцами набрала записанный там номер.

Долго, бесконечно долго никто не отвечал. Потом сонный голос сердито спросил: «Что надо?» Боясь, что ее недослушают, Джун торопливо и сбивчиво стала рассказывать о припадке Мервина. Однако голос в трубке тут же ее прервал: «Говорите адрес. Приеду».

Джун положила трубку, подошла к постели, на которой лежал Мервин, и, став перед ней на колени, стала шептать молитву. Вернее было бы назвать это мольбой о том, чтобы судьба сжалилась над ней и не отнимала у нее счастья, доставшегося ей и ее возлюбленному такой ценой. «Неужели у меня нет права на каплю радости? Только сегодня я нашла моего Мервина. Только сегодня, господи! Я отдаю все, что у меня есть, только бы с ним ничего плохого не случилось! Ради этого я готова отдать жизнь — ведь без него для меня нет жизни!»

Доктор Хаскет оказался сутулым угрюмым молчуном. Быстро осмотрев Мервина, он сделал ему укол. Отошел к раскрытому окну гостиной, раскурил трубку.

— Доктор, что это? — замирая от страха как могла спокойнее спросила Джун.

Тот с удивлением посмотрел на нее, словно говоря: «Как, вы не знаете?» Долго пытал трубку, о чем-то сосредоточенно думал. Наконец повернул свою седую голову к Джун:

— Боюсь, начинается прогрессивный паралич... Осколок в позвоночнике... — И неторопливо стал укладывать инструменты в саквояж.

— Скажите, доктор, что с ним будет! Я же должна, понимаете, должна знать!

Доктор подошел к двери и взялся за ручку.

— Слава богу, мисс, что он пережил сегодняшний приступ, — проговорил он, поворачиваясь к Джун. — Это у него уже третий. Если он переживет четвертый, я поверю в чудо. Когда придет в себя, — позвоните... — И, уже выйдя на террасу, добавил: — После обеда так или иначе наведуясь...

Мервин очнулся часа через три. С шутками — одна веселее другой — он умылся, с аппетитом съел бифштекс с грибами. Джун смеялась его шуткам, тоже старалась шутить. О приступе не было сказано ни слова. «Не было, ничего не было, — мысленно повторяла она, стараясь убедить себя. И сама мало в это верила. — Просто нервы у Мервина расшатались...»

Около полудня они позвонили дяде Дэнису. Тот же голос, записанный на пленку, заверил их, что мистер О'Брайен прибудет в Веллингтон двадцать четвертого декабря.

— Но ведь это же сегодня! И если верить расписанию «Эр Нью Зиланд», он должен давно быть дома! — воскликнула Джун.

— Наверно, «Эр Нью Зиланд» опять бастует! — улыбнулся Мервин.

— Ничего, родной! — поспешила успокоить его Джун. — Дядя Дэнис будет дома в худшем случае через несколько дней.

Мервин молчал...

В четвертом часу приехал Хаскет. Его сопровождал лысоватый, полный, розовощекий старик, который отрекомендовался профессором медицины Баркли. Они долго, очень долго осматривали Мервина, расспрашивали о малейших проявлениях болезни.

— Дорогой доктор Хаскет, — не выдержал наконец Мервин, — пожалейте хотя бы мой карман, если вам не надоело бередить мои раны!.. Я представляю, какой счет вы мне представите за столь продолжительное обследование!

— Насколько я успел удостовериться, в средствах вы не стеснены, молодой человек! — спокойно отвечал Хаскет.

Джун провожала Хаскета и Баркли к машине.

— Что же вы молчите? — в отчаянии выкрикнула она, когда врачи были уже на улице.

— Видите ли, моя дорогая... — начал нараспев бархатным баритоном профессор, сняв очки и старательно протирая стекла замшевым платком.

— Будьте готовы к худшему, — угрюмо перебил его Хаскет. — Следующий приступ может стать роковым.

— А вы, вы?... — едва сдерживая слезы, с упреком проговорила Джун.

— Поверьте, даже самый гениальный и, более того — самый удачливый эскулап оказался бы здесь, бессилён, — сокрушенно вздохнул Баркли, продолжая протирать очки.

Хаскет молча смотрел в землю...

Когда Джун, едва сдерживая рыдания, вернулась в дом, Мервин спал — спокойно, безмятежно. Он улыбался во сне и был так красив, что Джун невольно залюбовалась своим избранником. И вновь вопреки всему надежда вспыхнула в ее сердце.

«Каждому человеку, — думала она, — судьба отпускает его долю радости и счастья, страданий и мук. И человек не знает, в какой миг остановятся часы его жизни, неведомо, чьей рукой заведенные, не знает, что ему принесет каждый следующий час, каждая минута... Мервин, Мервин, когда же придет наш счастливый час?.. Вот мы вместе — и это счастье. Но долго ли продлится оно?»

Прошло несколько часов. Джун сидела в темноте, не решаясь зажечь свет — боялась потревожить Мервина. Он вдруг сам заговорил, и по его голосу она поняла, что он давно не спит:

— Когда мы с Ричардом отправлялись во Вьетнам, я меньше всего думал о войне — просто не понимал, что такое война. Мне казалось, что нам предстоит увлекательная прогулка в неведомые страны, что я увижу много любопытного, встречу не похожих на нас людей и, конечно, заработаю кучу денег для нас с тобой. Меньше всего я думал о том, что мне придется кого-то убивать... К тому же, я ведь шел защищать какие-то «идеалы»... В жизни все получилось и проще и сложнее. Я убивал, убивал и чужих и своих. И, знаешь, человек привыкает к убийству. Он ко всему привыкает. Подумай только, как это страшно звучит — ко всему!.. Труднее всего он привыкает к попранию чувства собственного достоинства...

Я часто думал, уже после возвращения из джунглей, сумеем ли мы, все мы — люди — выйти когда-нибудь из джунглей и быть хоть немного счастливыми? А если и страдать, так только потому, что другим плохо? Сумеем ли не обжираться, когда другие поддыхают без корки хлеба или горстки риса? Сумеем ли отказаться от власти и

богатства ради блага наших братьев — и не под дулом автоматов, а добровольно и без сожаления? Или миллионы людей так и будут перегрызать друг другу глотки только потому, что сотня-другая маньяков не желает расстаться с богатством и насильственно захваченным правом посылать себе подобных на смерть?.. Боже, как мерзко устроен мир!

И Мервин снова потерял сознание.

...Он так никогда и не узнал, придя позднее в себя, что состоялся второй расширенный консилиум лучших врачей Окленда. Приговор их был единодушным: необратимый прогрессивный паралич.

Джун теперь не плакала. Она ушла в себя, целиком занятая какими-то своими мыслями. Глаза ее ввалились, она постоянно зябко куталась в шотландский плед, хотя стояла летняя жара. Шепча что-то про себя, она ходила из комнаты в комнату, невидящим взглядом смотрела на Гюйса и Ширин, тихо напевала старинную английскую песенку о веселой свадьбе, смахивая пыль с мебели, картин и безделушек.

Спать ей же хотелось, хотя она не спала уже вторые сутки. Она не подходила к зеркалу и потому не знала, что надо лбом у нее появилась прядь седых волос. Она задумала привести в порядок свою маленькую библиотеку и не спеша разбирала книги, располагая их в одном ей ведомом порядке, когда вдруг почувствовала, что Мервин открыл глаза. Бросилась в спальню и сразу поняла, что левая половина его тела парализована. Это было страшно, непереносимо страшно, но она ничем не выдала своего страха. Она пересела так, чтобы быть справа от Мервина. А он — он не знал еще, что половина тела отказалась ему повиноваться, — он думал, что отлежал левый бок и руку, и поглаживал их пальцами правой руки, улыбаясь Джун. Она положила голову ему на грудь.

— Ты покрасила волосы? — спросил он и потрогал седую прядь. — Тебе это идет! Джун молчала. Но не прошло и секунды, как все тело ее стали сотрясать рыдания, конвульсивные рыдания без слез. Он ласково гладил ее плечи.

Она подняла голову, и в слабом свете ночника Мервин увидел ее спокойное, осунувшееся лицо.

— Я знаю, что нам надо делать, — тихо сказала она и вышла из спальни.

Вскоре она вернулась, принесла коробочку и стакан.

— Мервин, милый, — сказала она, садясь на кровать, — мы нашли друг друга, и это счастье! Но этого оказалось мало: ведь мы должны жить! А на это у нас нет сил — ни у тебя, ни у меня. Но мы не можем друг без друга. Не можем!.. Мы с тобой примем сейчас по несколько вот этих таблеток, — продолжала она материнским тоном, словно уговаривала большого ребенка принять лекарство. — Мы тихо заснем. И будем всегда вместе. И уже ничто, ничто не сможет нас разлучить!

Говоря так, она отсчитала несколько розовых таблеток, положила в рот и, запрокинув голову, запила водой.

— Твой стакан из-под виски попался, — улыбнулась она и протянула коробочку Мервину.

Он сразу все понял, и его лицо стало удивительно радостным и спокойным.

— Джун, Джун! Тебе нет надобности уходить... вместе со мной! Ты молода, прекрасна, ты здорова! — проговорил он, не спуская с нее глаз и сознавая в то же время, как слабо звучат его слова.

Она сидела не двигаясь, молча глядя на него.

Тогда он быстро проглотил таблетки и также запил их водой.

— Помоги мне перебраться в гостиную, к окну, — попросил он.

И когда она усадила его там в удобном широком кресле и сама примостилась на скамеечке рядом, сказал:

— Это же картина дяди Дэниса!

Джун оглянулась на стену за своей спиной, взгляд ее потеплел.

— Да, это она. Мне ее выдали под залог в несколько тысяч. Банку все равно, где она, а мне легче... было ждать... Будто и ты, и Шарлотта, и дядя Дэнис — все рядом...

В слабом свете рождавшегося дня Мервин все отчетливее узнавал и девочку, и собаку, и море, и горы.

— Еще десять минут,— сказала Джун, посмотрев на часы,— и нам станет хорошо! Мы не будем лгать, изворачиваться, не будем продавать себя. Мы будем вместе — ты и я!

Мервину внезапно стало трудно дышать. Хватаясь рукой за горло, словно отрывая от себя чьи-то злые, цепкие руки, он закашлялся. Откашлявшись, он наклонился к Джун, спросил:

— Ты веришь, что после жизни... будет еще что-нибудь?

Джун долго молчала. Потом сказала:

— Родной мой! Я верю только в то, что любовь бессмертна!

И Джун обняла его, закрыла глаза.

А Мервин вдруг вспомнил, что сегодня ему должен звонить дядя Дэнис. Но мысли его мешались, ему казалось, что разговор этот уже состоялся, и он шептал:

— Я нашел ее, дядя Дэнис. Я нашел ее!

Последнее, что он видел, уходя в небытие, было огромное, ослепительно-желтое солнце над океаном. Океан был спокоен, по нему быстро скользили боевые каноэ. Смуглые девушки, сидевшие в них, в венках из белых роз на черных лоснящихся волосах протяжно пели старинную свадебную песнь:

Как звезда находит на небе свою звезду,
Я нашла тебя, любимый, о любимый!..

...Из приемника чуть слышно сочилась музыка. Потом без перехода, без паузы зашелестел задушевный голос диктора: «Если вы решили покинуть сей мир по воле своей, задержитесь на несколько минут. Позвоните нам, «Добрым Самаритянам», по телефону 639739. У нас всегда найдется для вас и время и слово... Задержитесь на несколько минут... наберите наш номер. Пока еще не поздно...»

Было около четырех часов пополудни двадцать седьмого декабря. Как всегда по пятницам, в это время центральные улицы Окленда — и особенно Куин Стрит — были запружены людьми и машинами. У большинства проезжих и прохожих было отличное настроение. Только что прошли рождественские праздники, через несколько дней наступал Новый год. Оклендцы громко обменивались приветствиями, шутками, спешили в свои любимые бары, торопились закупить продукты и подарки. Беспечная суматоха накануне очередного уикэнда.

Через самый центр с включенными на полную мощность по новозеландской традиции фарами медленно двигалась небольшая, состоявшая из нескольких автомобилей траурная процессия. Ее открывал двухместный катафалк. Он вез два одинаковых гроба. На крышке одного из них лежали белые розы, на крышке другого — красные. В следующей машине ехали мадемуазель Дюраль и Дэнис О'Брайен. Было жарко. И он открыл задние окна. Кортёж проезжал мимо здания вечерней газеты, когда из дверей ее типографии высыпала ватага юрких мальчишек с пачками очередного выпуска.

И тотчас послышались пронзительные крики: «Окленд страйп!» Самая информированная газета в городе! «Окленд страйп!» Таинственное самоубийство звезды ринга и героя Вьетнама! Амурные похождения безногого Дон Жуана!.. Ромео и Джульетта атомного века принимают смертельную дозу наркотиков!»

Мадемуазель Дюраль вздрогнула, закрыла лицо руками. Так она сидела довольно долго, потом выпрямилась, негромко сказала:

— Мервин тоже разносил газеты... На свой первый в жизни заработок он пригласил Джун в ресторан. Тоже первый — в ее и его жизни. Она мне потом сама рассказывала... Боже, так странно говорить об этих детях в прошедшем времени...

Дэнис рассеянно смотрел в окно. Его тяготила эта поездка — такая поездка! — через центр города. И в столь неподходящее время. Ему казалось, что прохожие поглядывают на катафалк с плохо скрываемым раздражением: «Как это бестактно — портить людям настроение, обнажать перед всеми свое горе!»

— Никогда себе не прощу! — зло и убежденно произнесла мадемуазель Дюраль, откидываясь на спинку сиденья. — Я, одна я во всем виновата! Как я могла так опоздать! Если бы я была здесь, все было бы иначе, все.

— Кто же мог предположить такое? — отозвался Дэнис. — Временами и меня нестерпимо гнетет совесть...

Шарлотта хотела что-то сказать, но Дэнис ее опередил:

— Нет, не потому, что мы с тобой опоздали. Мы ведь и не могли бы успеть... Опоздал кто-то за много веков до нас, так зло, безнравственно и бездушно программируя эту жизнь.

— Ты имеешь в виду времена создания Десяти Заповедей?

— Я имею в виду времена зарождения девиза «свобода, равенство и братство».

— Да. — Шарлотта вздохнула, — мне кажется, есть печальная закономерность в профанации идеалов теми, в чьи руки они передаются как бесценное наследство...

— По-твоему выходит, что живущие сегодня повинны во всех пороках и язвах нашего мира?

Шарлотта промолчала.

— Видно, под знаком какого-то проклятья было зачато наше общество, — тихо продолжал Дэнис. — Мы в муках рожаем детей, в тревогах и страданиях растим их. Выпестовав, сами же растлеваем их нравственно и отправляем на бойню, которую называем жизнью... Шарлотта, ты только подумай: мы — убийцы своих собственных отпрысков, а значит, своего будущего, а значит, самих себя! Воистину трудно придумать более нелепый парадокс, более жестокую шутку над разумом!

— Перед отъездом Мервина во Вьетнам я имела с ним долгий разговор, — сказала Шарлотта. — Ведь это он только Джун убеждал, что едет ради устройства их будущей жизни. Страшная правда в том, что он был убежден еще и в том, что нашу жизнь, наши устои действительно нужно было защищать во Вьетнаме. Так ему внушали, и он поверил.

— То есть он думал примерно так же, как и Седрик! — раздраженно воскликнул Дэнис.

— О мертвых — или хорошо, или никак, — проговорила Шарлотта.

Внезапно с бирюзового неба хлынул дождь. Сразу потемнело. И по прохладной волне, хлынувшей в машину откуда-то из боковой улицы, Дэнис понял, что дует «южак». Плотные серые тучи скрыли верхние этажи небоскребов. Вспыхнули фары попутных и встречных автомобилей. Медленно разгорались уличные фонари.

— Всеобщие похороны! — воскликнул, поеживаясь, Дэнис. — Вселенские похороны!

Август, 1975.
Веллингтон.



О ЧЕ Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

СОЛНЕЧНЫМ ФЕВРАЛЬСКИМ ДНЕМ

Солнечным февральским днем мы вылетели из Домодедова и через час двадцать минут оказались в Набережных Челнах. Мы — это сотрудники журнала Игорь Бехтерев, Маргарита Вашкевич, Галина Койранская, Арво Метс и я. В бригаду входили поэты Равиль Бұхараев, Станислав Золотцев, Григорий Кружков и Владимир Шленский. Цель весьма конкретна — встретиться с «Орфеем» и начать подготовку совместного выступления рабочих-поэтов камского гиганта и поэтов — авторов «Нового мира» к шестидесятилетию комсомола.

Как всегда радушно, как давних и старых друзей встречают нас первый секретарь горкома партии Раис Киямович Беляев, ведающая идеологией секретарь горкома Лидия Викторовна Шилова. В городе, который вырос со времени начала строительства КамАЗа в десять раз (было 30 тысяч населения, сейчас около 300 тысяч!), сейчас три района — Комсомольский, Автозаводский, Тукаевский. «В названии трех районов, — говорит Раис Киямович, — дань великому подвигу комсомола, рабочим и инженерно-техническим кадрам автомобильного комплекса, литературе и искусству. Тукай — классик татарской литературы». Беседуем с первым секретарем Комсомольского райкома партии Александром Николаевичем Бабаевым, с Ириной Тимофеевной Козыревой (это Ира Фролова, работавшая на комсомольской и партийной работе с первого дня начала строительства) — секретарем райкома по идеологии, с Диной Борисовной Свирской — секретарем по идеологии Автозаводского райкома партии. Мой давний знакомый, бывший работник горкома партии Баязит Хайрнасевич Богданов сейчас секретарь парткома главной кузницы КамАЗа — кузнечного завода. И, естественно, рамки нашей первоначальной, составленной в редакции программы сами по себе раздвинулись. И мы решили поделиться впечатлениями об этой поездке немедленно. Пятый номер был уже запланирован, но мы вторгаемся в готовый номер.

Какое же впечатление производит КамАЗ сегодня? Об этом речь в заметках трех членов нашей бригады.

Феодосий ВИДРАШКУ.

ГАЛИНА КОЙРАНСКАЯ



ОБГОНЯЮЩЕЕ ВРЕМЯ

В Набережных Челнах я вроде бы пробыла сутки. Сутки? Да полно, так ли это? По событиям, промелькнувшим там, по всему увиденному, по впечатлениям, вместившимся в душу, тут не о сутках должна идти речь и не о двух днях, как было в действительности, а о времени, вобравшем в себя столько всего, что и год иной не сравнится с ним.

Говорят, что на КамАЗе люди живут, обгоняя время. Так вот откуда это ощущение диссонанса между реальным там пребыванием и воображаемым, будто растянувшимся на месяцы..

Мы, приехавшие в эту короткую командировку (во всяком случае, те из нас, кто в Челнах оказался впервые), были заражены убыстренным темпом той жизни, оше-

ломлены грандиозностью сделанного за срок, в который никогда еще не строились города и не возводились заводы, нас покорили люди, сочетавшие в себе удивительное трудолюбие, недюжинные знания и поэтичность.

Мне случайно довелось быть свидетелем разговора двух женщин в трамвае (кстати, скоростном — он, как и все в этом городе, последняя техническая новинка), трамвае, соединяющем северо-восточную и юго-западную части Набережных Челнов. Одна из женщин, видно новичок в городе, не привыкшая ни к его открытым широким проспектам, ни к белым громадам домов, неотрывно смотря в окно, сказала тихо, ни к кому не обращаясь, словно раздумывая:

— Неуютно тут как-то, холодно, бело...

Но слова были услышаны и вызвали мгновенную реакцию.

— Неуютно? Холодно? — удивленно переспросила стоявшая рядом молодая камазонка.

И я поняла, что для этой молодой женщины город, ею выстроенный, ни в ком не мог вызывать никаких отрицательных эмоций. Он был ее детищем, ее гордостью и любовью.

— А вы видели Московский проспект перед заходом солнца? Разве не заметили вы, как играют синие и розовые блики на стенах домов? И не показалось ли вам хоть на минуту, что вы попали в сказку? — волнуясь, будто боясь, что не сможет убедить, говорила камазонка.

Звонкий голос притягивал, пассажиры заулыбались, согласно кивая. А потом вдруг тихо, как о дорогом, сокровенном, женщина, наклонясь к приезжей, сказала:

— Мне здесь всегда тепло, даже в стужу, и уютно, кажется, что в каждый из домов могу зайти и встретить добрых людей. — И после паузы добавила: — Утром, когда выхожу на работу, не нагляжусь, не нарадуюсь на свой город, так и хочется взять в руки порошки и тряпки, мыть и чистить белые стены домов, чтоб сверкали еще краше, чтоб ни одного пятнышка не было на них...

Не правда ли, как знакомо это чувство новоселам! Многие из нас переезжали в новые квартиры, и уж кто-кто, а хозяйка-то каждую пылинку заметит — тряпочкой пройдет, каждую царапину зачистит — свое ведь, родное. А тут, вдумайтесь, свой город! Я не знаю имени этой женщины, не знаю, где она работает, но уверена, что не один кирпич положила она своими руками, потому-то ей все здесь дорого и любо, потому-то так по-доброму она воспринимает мир, видит его поэтическую красоту своим открытым сердцем.

Коренные камазовцы считают, что сейчас они вступили в новый период своей жизни. От кануна 1970 года, когда на строительной площадке Камского автозавода был вынут первый ковш земли, и до февраля 1976-го, когда сошли с конвейера первые «КамАЗы», то есть за шесть с небольшим лет проделан труд гигантский: на площади в 100 квадратных километров раскинулись корпуса огромных заводов комплекса, выросли жилые районы нового города.

В эти первые годы строительства, годы «бури и натиска», не было времени ни остановиться, ни оглянуться. Теперь, хотя впереди еще много дел, много задач нерешенных, уже можно себе позволить и поразмышлять о пище духовной и погордиться сделанным.

Вряд ли Баязит Хайрнатович Богданов, секретарь парткома кузнечного завода, в горячее время возведения этого уникального предприятия обращал особое внимание, в какой цвет окрашен очередной монтируемый пресс, — не до того было! Главное в тот первый период истории КамАЗа — выдержать темп стройки, накормить людей, обеспечить жильем... А вот в феврале этого года, проходя с нами по грандиозным залам КЗ, привычно вслушиваясь в ритмы ухающих молотов, секретарь парткома взглянул на наши ошеломленно-растерянные лица и неожиданно как-то по-домашнему сказал:

— Посмотрите, как удивительно хорошо гармонирует желтый цвет этого башенного крана с синим небом, вон там, видите, что просвечивает сквозь стеклянную крышу?

И стало ясно, откуда пришло к тебе это ощущение праздничности и высоты.

Эстетика производства... Она, как и все здесь, создавалась, конечно, не сейчас, не

сегодня, а одновременно с возведением завода, с решением необычайных по смелости и сложности задач. Но вот пришло время, когда эстетическая культура труда дает свои плоды. И это не только нарядность и простор главного цеха, это и удобные душевые и гардеробные, это светлая, красивая столовая, в которой рабочий в течение двенадцати — пятнадцати минут может пообедать, а в оставшееся время перерыва зайти в клуб (он соединен внутренним переходом с основной частью завода) прослушать короткую лекцию, или встретиться с приезжими поэтами, или, наконец, сыграть партию в шахматы.

На кузнечном есть, разумеется, и своя библиотека, даже не одна, как мы поняли из возникшего вдруг спора между заведующей парткабинетом КамАЗа Светланой Евгеньевой Листопад и одним из профсоюзных работников, Валерием Ивановичем Шарповым. Оказалось, что в библиотеках предприятий книг маловато, образуются очереди читателей. У нас, естественно, возникло желание в меру сил помочь в этом. Попробуем поговорить с руководством редакции, может быть, удастся какие-то книги-дублиеты из нашего библиотечного фонда переслать вам, неплохо было бы и личные библиотеки просмотреть, всегда найдется книга, которую не грех подарить. Валерий Иванович слушал нас, слушал, да и говорит:

— Все это хорошо, только если уж соберете посылочку — а за этой посылочкой мы и «КамАЗ» можем выслать, — то адресуйте ее на библиотеку завкома.

Все прекрасно понимают, что дело это общее, что книги — и художественные, и технические, и справочные, — как хлеб насущный, нужны людям. На повестку дня встал теперь и этот вопрос как один из важнейших.

В одной из многих челнинских школ, построенных с учетом последних достижений советского градостроения, где мы с любопытством рассматривали все — от новой архитектуры здания до оборудования кабинетов (замечу в скобках, что в Москве я таких школ не видела), — наше общее внимание привлекла теплица. На ухоженной, обильно политой, взрыхленной земле произрастали и тропические пальмы, и экзотические кактусы, и всякие там крокусы, но были в большом количестве и зацветающие гвоздики, пышно разросшиеся кустики душистого табака, настурции. Ученики с особым удовольствием выращивают эти не слишком прихотливые растения. Цветы, как объяснил директор школы, ребята передают потом во Дворцы культуры, заводские клубы. А весной будут высаживать их в городские скверы. Юные челнинцы хотят видеть свой родной город нарядным и ярким, и не только хотят, а делом помогают в этом взрослым.

Камазовцы много сделали для озеленения Набережных Челнов. Из окна гостиницы «Кама» хорошо была видна сосновая роща, заложенная несколько лет назад в юго-западной части города. Верхушки сосен сверкали на солнце снеговыми шапками, синяя мохнатая громада чуть ли не вплотную подходила к окраинным домам. Поднялись и деревца, заботливо посаженные вдоль проспектов. Правда, из-за снежного покрова многое не увидишь, но ясно и то, что весной, когда откроется земля, предстоят на ней работы немалые. Ведь земля еще не остыла от стройки. Даже в местах, где городские массивы полностью сформировались, есть на ней рубцы и ссадины, которые предстоит залечить зеленым ковром.

А стройка еще продолжается... Дина Борисовна Свирская, секретарь Автозаводского райкома партии, сопровождавшая нас в поездке по городу, то и дело обращала наше внимание на новые строительные площадки.

— Тут сооружается спортивный городок, — говорила она, указывая рукой на возвышающиеся вдали подъемные краны, — а там, дальше, за пустырем, который скоро превратится в парк, новый лечебный комплекс...

В будущем сольются Автозаводский и Комсомольский районы города, разделенные сейчас «нейтральной» полосой (жилые массивы идут навстречу друг другу), появятся новые школы, новые магазины, родильные дома, детские сады.

— В нашем городе сейчас сорок четыре детских садов-яслей, — поясняет Дина Борисовна, — но этого недостаточно. Оказывается, город Набережные Челны занимает чуть ли не первое место в стране по рождаемости. Люди сюда приезжали молодые (средний возраст челнинцев вначале строительства был двадцать три года, сейчас двадцать шесть лет), многие женились, пошли дети. Камазята, как любовно здесь

называют малышей,— особая гордость челнинцев. Им, родившимся на камазской земле, предстоит нести эстафету героического труда своих отцов и матерей в век двадцать первый.

...Татьяна Сергеевна Седенко заведует детским комплексом «Аленький цветочек». Первое, что бросилось в глаза, когда мы вошли в царство самых юных челнинцев, это идеальная чистота помещения, изящество в убранстве холла. Не сходя с места, тут же у двери сняли обувь и, соблюдая полную тишину (наш приезд совпал с тихим часом), двинулись цепочкой к мерцающей в глубине стеклянной перегородке. За стеклом плавательный бассейн. Блестящая сине-голубая мозаика стен с изображением причудливых рыб и растений отражается в водной глади овального бассейна. Здесь дети обучаются плавать с двухлетнего возраста. Занятия проводит тренер с группами по 8 человек. Малыши, проплавав полчаса, сразу же, выходя из бассейна, попадают под душ, а затем их ждут скамеечки с резиновыми ковриками, полотенца и прочие необходимые вещи.

На первом этаже есть и еще одно маленькое чудо — зимний сад, в котором живут и белочки, и черепаха, и попугай. Поднявшись наверх по деревянной лестнице, мы попали в просторную комнату для игр. Чего-чего тут только не было! Пожалуй, не в каждом магазине игрушек найдется такой богатый ассортимент. А музыкальные инструменты? Пианино, флейты, гобой, барабаны... Поистине здесь созданы все условия для всестороннего развития детей.

В левом крыле здания помещаются ясли; время сна малышей не совпадает со сном старших ребят. И тут Татьяна Сергеевна и познакомила нас с самыми юными челнинцами, на которых мы, правда, не произвели особого впечатления, зато они нас растрогали до слез.

О многом можно было бы еще рассказать из того, что довелось увидеть и услышать в Набережных Челнах за короткие два дня командировки. Думаю только, что самые подробнейшие свидетельства не смогут в полной мере передать того острейшего впечатления, которое производит на впервые попавшего туда человека сегодняшняя явь.

АРВО МЕТС



ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ КАМАЗа

А вы поставьте зло и косо
Вперед стремящиеся упрямо
Чуть рахитичные колеса
Грузовика системы «АМО»,
И мальчики моей поруки
Сквозь расстояние и изморозь
Протянут худенькие руки
Людам

коммунизма.

*Павел Коган, из романа в стихах
«Первая треть». 1940—1941.*

Очень жаль, что эти замечательные строки Павла Когана вспомнились мне позже, не тогда, когда мы, новомиргцы, словно очарованные стояли возле главного конвейера КамАЗа, откуда ритмично сходили новенькие, сверкающие красками грузовики. Но свой рассказ о поэтах КамАЗа я решил начать именно с этих стихов, потому что в них как в фокусе сосредоточилось все самое главное, что есть на КамАЗе,— и дерзкая новизна и отчетливая преэмственность. А точнее — новизна, стоящая на твердой почве преэмственности.

Я не силен в автомобильной генеалогии и не могу точно сказать, кем приходится небольшой грузовик 20-х годов «АМО» нынешнему могучему «КамАЗу» — дедом или прадедом. Но ясно одно: без этого крохотного, сегодня кажущегося игрушечным грузо-

вичка на заре социализма не было бы и сегодняшних десятитонных «КамАЗов» — могучих красавцев, сильных и чутких машин, на которых мечтает работать каждый шофер. Здесь, в Набережных Челнах, особенно ясно видишь, какой огромный путь прошла наша страна за шесть десятилетий. И вместе с тем убеждаешься, насколько живы в его строителях лучшие черты первостроителей Магнитки, Комсомольска-на-Амуре, Днепродзеса.

Только стоя на твердой почве этой двойной преемственности, можно было осуществить то, что в свою очередь следовало бы назвать двойной фантастикой — фантастикой размаха и фантастикой темпов...

Всего лишь семь с небольшим лет прошло с тех пор, когда был установлен камень с гордой надписью: «Здесь будет построен Камский автомобильный батыр». И люди свое слово сдержали. За этот короткий срок, в сущности миг в истории, они воздвигли красивый современный город, высокие дома которого издали напоминают тугие, натянутые ветром паруса.

КамАЗ настолько огромен, что ни один из пишущих не в состоянии охватить его в целом, полностью. Он непрерывно в движении, в нем постоянно рождается новое, и ни одному писателю или журналисту не угнаться за этим исполином. Нет другого уголка на земле, где бы так быстро устаревали записи в блокноте, сделанные всего лишь несколько месяцев назад. А что тогда говорить о двух-трех годах...

На КамАЗе как нигде любят поэзию. Видимо, потому, что сам воздух там насыщен поэзией, что только поэзия по-настоящему в состоянии передать порыв, устремленность в будущее, что она одна способна органически сочетать малое с бесконечностью, увидеть «небо в чашечке цветка» (В. Блейк).

...Дома и слушать не хотели о том, чтобы дочь поехала на далекую стройку. Даже заперли одежду в шкафу, спрятали чемодан. Но ничто не смогло удержать семнадцатилетнюю девушку, и она появилась в Набережных Челнах в одном легоньком платьице. Сначала жила в вагончике, потом ей дали место в общежитии. Поступила в ПТУ, работала плиточницей на строительстве РИЗа.

А по вечерам в ученической тетради появлялись строки:

У меня теперь три руки,
Моя третья рука — мастерок.
У него деловой говорок,
И движенья его легки.

На лесах, наверху светло.
Ну и пусть горизонт далек!
У меня теперь есть крыло,
Мой звенящий лихой мастерок!

Позже она стала работать в редакции «Камских зорь», поступила на заочное отделение Литературного института. Недавно у нее родилась двойня — двое крепких мальчиков. Рядом с комнатой, где мы поздно вечером читали стихи и беседовали о литературе, сушили пеленки. То и дело подавал голос один из младенцев. И тогда Инна Лимонова (читатель, наверно, уже догадался, что речь идет о ней) или кто-то из ее подруг срывались с места, чтобы успокоить детей. Мы знали о том, что Инне всячески стараются помогать подружки из «Орфея» и сослуживцы мужа по работе, и поэтому ей все же иногда удается отрываться минутку для поэзии. Недавно Инна написала поистине прекрасное стихотворение, но об этом речь впереди...

Судьба Инны Лимоновой несколько не исключительна на КамАЗе. КамАЗ строили энтузиасты, и особенно вначале строителям приходилось трудно. После первого, ставшего уже легендарным камня, после первого колышка были километровый длины и глубины с двухэтажный дом котлованы, которые осенью превращались в месиво непролазной грязи. Еще труднее было зимой вибратором вгрызаться в мерзлый грунт.

Сложна диалектика романтики, которая, в свою очередь, переходит в диалектику самоутверждения. КамАЗ поражал молодежь своей грандиозностью, несхожестью, дерзостью, а строя КамАЗ, они обретали себя, ибо человек, отдавая, не оскудевает, но, напротив, становится богаче, все больше он становится самим собой.

«Новый мир» уже писал о коллективном сборнике рабочих-поэтов КамАЗа «Город моей мечты»¹. В этот приезд я слушал немало стихов орфеевцев, и многие из них радовали. Особенно тем, что вырос кругозор рабочих-поэтов, их чувство истории и своего собственного места, своей личной ответственности в эстафете поколений. Об этом свидетельствует и стихотворение Николая Алешкова «Год рождения», прочитанное им на встрече новомирцев с «Орфеем»:

ГОД РОЖДЕНИЯ

Сын Петра и Мариши,
я родился в избе.
Над тесовую крышей
пели ветры в трубе.
Ветры весело пели
и качали звезду
над моей колыбелью
в сорок пятом году.
И салюта зарницы,
что зажглись над Москвой,
расцвели, как жар-птицы,
над моей головой.
Так же ярко сверкали
на груди сорванца
боевые медали
с гимнастерки отца.
— Ватя, вспомни!
— Не надо...—
Был отец — молодым.
Из блокадного ада
возвратился седым.
А с другими случилось,
что упали на снег...
В нашем классе училось
только семь человек.
Подсекали мы ловко
пескарей на реке.
Нас растила Орловка²
на пярном молоке.
Деревенские вдовы,
как прогоним коров,
скажут, потчуй вдоволь:
— Вудь, сыночек, здоров!—
Вытрут влажные веки
уголками платка.
Не забуду вовеки
вкус того молока.
Нас недаром растили,
пересилив беду.
Я родился в России
в сорок пятом году.

Орфеевцы с энтузиазмом откликнулись на предложение редакции «Нового мира» начать совместную работу над поэтической подборкой, посвященной шестидесятилетию комсомола.

Допоздна горит свет в кабинете первого секретаря **Набережночелнинского** горкома партии Раиса Киямовича Беляева.

В моих записных книжках сохранились записи трех встреч новомирцев в разные годы с этим удивительным человеком — мечтателем, ученым и практиком.

— Город будет рассчитан на шестьсот — восемьсот тысяч человек. Это будет один из красивейших городов страны. Хочется его сделать чем-то похожим на революционный Питер. Особенно по внутреннему миру людей, — как-то сказал Раис Киямович.

¹ «Новый мир», 1977, № 12.

² Орловка — село, которое сейчас входит в черту современного города Набережные Челны.

Строители Набережных Челнов — особая категория людей. И нужно было послушать, с какой теплотой Раис Киямович говорил: «Бригадиры у нас все снайперы».

Круг забот первого секретаря горкома поистине безграничен, особенно в новом, начинающемся городе: помимо производства, размещение приезжающих, строительство жилья, больниц, роддомов, детсадов и яслей, хлебопекарен и столовых, магазинов, клубов, кинотеатров, ресторанов, снабжение 300 тысяч человек продуктами и т. д. и т. п.

— Мы стараемся дать молодежи возможность определиться,— подчеркнул Раис Киямович в одной из бесед. И он с гордостью говорил о том, что одним из первых в Челнах было построено здание для музыкальной школы, современный Дворец культуры энергетиков.

На одном из выступлений в Набережных Челнах молодой московский поэт Владимир Шленский прочитал свое стихотворение о секретаре райкома комсомола, которое понравилось всем:

Вдоль поселка, мимо новой школы,
несмотря на снег и гололед,
секретарь райкома комсомола
нынче на собрание идет...
Утром он летел на буровую
в тряском вертолете два часа.
Сам себе он выбрал жизнь такую,
что от колеса до колеса...
Чтоб прислали книг в библиотеку,
спорил с кем-то он до хрипоты.
Много ль нужно в жизни человеку?
Книга.
Пачка папирос.
Унты...
Он высок, черноволос и молод.
Он под стать характером тайге.
Секретарь райкома комсомола —
парень на одной ноге...
Ни минуты не теряя даром,
он спешит и вечером и днем.
Снег на деревянных тротуарах
жалобно скрипит под костылем.
Дома он почти что не бывает,
разве только в редкий выходной.
Он жилье кому-то пробивает
и влюбленных мирит меж собой.
И морщины возле глаз ложатся,
и виски становятся светлей...
Дай нам бог на двух вот так держаться,
как он на одной своей!

Безусловно, в стихотворении Владимира Шленского все верно подмечено — и бесконечные хлопоты и вечное беспокойство. Все в нем верно, но с одним уточнением — на научно-техническую революцию.

Как вернее назвать наш век — веком атома, космоса, кибернетики? В одной из книг академик В. Глушков высказал мысль, что наш век по праву следовало бы назвать веком больших, или сложных, систем. «Задачи управления усложнились за последнее время настолько, что можно говорить о взрывном характере их изменений», — сказал ученый. Другими словами, небывало усложнились и удлинились те причинно-следственные цепочки, которые необходимо иметь в виду руководителю, небывало возросло их количество и их взаимосвязь.

Все это ставит среди качеств сегодняшнего партийного руководителя умение, я бы сказал — искусство научного предвидения на одно из первейших мест. Что касается Раиса Киямовича Беляева, то он владеет этим искусством в полной мере. (Здесь уместно напомнить и о том, что он кандидат философских наук.)

— С самого начала,— рассказывал Раис Киямович,— мы стремились подойти к проблемам строительства комплексно, всесторонне. К примеру, строительство КамАЗа фактически началось со строительства окружной автодороги. Параллельно с городом предметом постоянных забот партийного руководства было создание высо-

коиндустриализированной сельскохозяйственной пригородной зоны. В сущности, Набережные Челны — это один из первых опытов комплексного создания индустриального центра.

Именно поэтому в работе городской партийной организации нет мелочей. Важно все, что содействует всестороннему развитию, расцвету человека, важно все, что сближает будущее, работает на него. На левом берегу Камы нет леса, и Раис Киямович не раз выходил на субботник, чтобы вместе с челнинцами посадить тысячи деревьев. Он очень гордится тем, что школы и детские сады в городе построены по лучшим, наиболее современным проектам. Ныне он заботится о садовых участках для камазовцев...

У Раиса Киямовича внимательные, иногда по-юношески озорные, иногда чуть усталые глаза. Но когда он рассказывает, он забывает об усталости. И тогда ясно видишь, какой он обладает способностью зажигать тысячи людей.

Мои зарисовки — всего лишь штрихи к портрету КамАЗа, который может быть написан только общими усилиями писателей и журналистов.

Этой осенью в Набережных Челнах впервые пойдут в школу мальчики и девочки, родившиеся в Новых Челнах. На КамАЗе так заботятся о детях. Именно поэтому мне хочется закончить свой рассказ о Набережных Челнах стихотворением Инны Лимоновой:

Как я живу — так ходят по жнивью,
Ступаю, ступни колет, но шагаю,
Так строки в строфы, мучаясь, слагают,
И так крутое зелье жизни пьют.

Кого люблю? Теперь люблю весь мир,
Люблю тебя — ты лучший в целом свете,
Но главное не мы с тобой, не мы,
А наши очень маленькие дети.

Когда они взახлеб зовут к себе
И затихают у меня в ладонях,
Я обо всех необогретых помню,
Я целый мир могу вот так же греть.

Жги ступни мне, шершавая стерня,
Как без любви, мне не прожить без боли.
Весною вновь зазеленеет поле,
Чтоб лечь под ноги нашим сыновьям.

КамАЗ весь устремлен в грядущее. Только было бы над ним чистое, мирное небо...

МАРГАРИТА ВАШКЕВИЧ



ДО ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЫ — 245 ДНЕЙ

Эти лозунги пришли на смену уже знакомым читателям нашего журнала боевым призывам: «Здесь будет КамАЗ!», «Дадим первый автомобиль к XXV съезду КПСС!», «Построим новый город!».

Заместитель секретаря парткома Камгэсэнергостроя Юлия Сергеевна Пронина и знакомая уже Ирина Тимофеевна Козырева приглашают нас посмотреть эту стройку и встретиться с теми, кто возводит ее.

Помещение штаба перекрытия. Главный инженер Гидростроя Валериан Борисович Айзин постарался дать по возможности полное представление о Нижнекамской ГЭС, самой мощной из четырех гидроузлов, составляющих Камский каскад.

— Наша ГЭС совмещенного типа,— сказал он,— то есть здание, находясь в плотине, воспринимает напор и может выполнять функции водосброса. Длина лишь бетонных сооружений напорного фронта — здания ГЭС вместе с водосливной плотиной — пятьсот шестьдесят метров. Бетонные работы ведутся безостановочно, и семьдесят процентов их уже завершено.

Наиболее ответственными для строителей днями окажутся октябрьские дни, когда до наступления ледостава надо будет успеть выполнить ряд сложных работ, предшествующих перекрытию Камы.

Строительство и монтаж оборудования производятся параллельно, монтажники ждут из Ленинграда первую турбину. Проектная мощность станции — миллион 248 тысяч киловатт — будет достигнута в 1980 году, когда войдут в строй все 16 агрегатов. А первые два агрегата Нижнекамской ГЭС дадут ток в канун нового года.

Из густой синей тьмы зимнего вечера мы попали в море огней. Прожекторы со всех сторон освещают огромный котлован и плотину. Все на стройке в движении. Высота плотины 43 метра, мы находимся у ее гребня, и дух захватывает, когда с отвесной стены смотришь вниз, в котлован.

Перед нами панорама стройки. Вот там будет шлюз для пропуска судов и плотов, вот здесь в 1979 году по плотине пройдут автомобильные и железнодорожные пути.

После перекрытия Кама с притоками образует в своей долине новое водохранилище, которое сначала достигнет отметки 8 метров, а к 1980 году — 15. Вспоминаю Ангару; как удивительно красива плотина и вскипающие у нижнего бьефа белопенные буруны.

— Приехал ли на Камгэс кто-нибудь из Братска?

— Да,— отвечает Юлия Сергеевна.— Вот, например, Завгара Мансапова. По комсомольским путевкам работала с мужем в Братске, а как услышали, что на их родине начинается большая стройка, приехали сюда. Завгара — ветеран Камгэса, ее бригада маляров уже трудится в счет семьдесят девятого года, она кавалер ордена «Знак Почета», депутат Верховного Совета Татарской АССР.

Судьба Ирины Тимофеевны тоже неразрывно связана с Камгэсом. Вначале она была заместителем секретаря комитета комсомола, затем секретарем горкома комсомола. Глядя на залитую огнями прожекторов стройку, она вспоминает, как при свете таких прожекторов «штурмовала» молодежь, приехавшая со всех концов страны, вагончики отделов кадров строительных организаций. И танцевали.

— Освещали площадку прожектором или фарами, укрепляли динамик помощнее, чтобы музыка была лучше слышна, и забывали про усталость...

Мы покидаем гребень плотины, на которой тысячи людей разных специальностей стремятся к одной цели — в канун нового года дать в энергосистему европейской части страны первые киловатты Нижнекамской ГЭС.

1 февраля 1978 года. До перекрытия Камы — 245 дней.

Когда этот номер журнала выйдет в свет, до перекрытия Камы останется 156 дней.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ



В ПАРИЖЕ

КУРИНЫЙ ПУХ НА ПЛОЩАДИ БАСТИЛИИ

Вот площадь Бастилии!— сказала Тереза, которая вела машину и в то же время старалась исполнять обязанности гида.

Я увидел просторную площадь с высокой мощной колонной в середине, а на ее верхушке, на большой высоте — парящую бронзовую фигуру: знаменитую Июльскую колонну с гением Свободы. Но я не разглядел ни памятника, ни домов, которыми застроена теперь историческая площадь, потому что меня поразила другая ее особенность: она была вся в каком-то странном белом пуху. Белые клочья, похожие на вату или снег, кружились под колесами автомашин, носились по воздуху, облепили белыми длинными полосами кромки тротуаров и ветровые стекла стоящих по краям площади автомобилей.

— Что это?

— Куриный пух,— ответила Тереза.

Ее муж опустил боковое стекло, высунул голову из машины и подтвердил: да, это куриный пух и перья.

→ Откуда они здесь?

— В утренних газетах что-то об этом писали,— сказала Тереза, ловко маневрируя между несколькими рядами машин, мчавшихся по площади, и стараясь перескочить в крайний ряд, чтобы свернуть на другую улицу.— Вчера здесь состоялась крестьянская демонстрация, и крестьяне устроили «дикую» распродажу кур, уток, кажется, даже свиней. Вот и остался пух. Ты не читал, Тадю?

Да, он тоже что-то читал, но уже не помнит подробностей. Во всяком случае, он понятия не имеет о причинах демонстрации. Почему крестьяне выбрали столь странный способ протеста?

Но вот мы покинули площадь и помчались дальше по парижским улицам и бульварам, все время видя то сбоку, то сзади, то впереди силуэты монументальных зданий, церквей, соборов. Первые впечатления...

Разумеется, я мог записать нечто об Эйфелевой башне и о соборе Нотр-Дам. Но об этом столько раз писали авторы путевых заметок до меня... Что же я собираюсь написать о Париже? Что я могу рассказать о нем нового, еще не рассказанного? Могли ли я последовать совету Бальзака? «Париж — настоящий океан. Пройдитесь по нему и опишите его... Всегда найдется какое-нибудь девственное местечко, неизвестный вертеп, цветы, жемчужины, монстры, нечто совершенно необычное и забытое литературными ныряльщиками». Хотя великий романист, описывая Париж, предсказал нашу эпоху, действительность все же намного обогнала его фантазию. Нужна страстная одержимость и творческая сила автора «Человеческой комедии», чтобы добраться до дна парижского океана сегодня, распознать в нем цветы, отличить жемчужины от стекляшек, распознать монстров, довольно часто носящих личину поборников справедливости.

Я, однако, не забываю ни на минуту о курином пухе на площади Бастилии. Прожив в Париже целый месяц без четырех дней, я понял, что неожиданное и нелепое видение, которому был свидетель в день своего приезда, выражает характер совре-

менной парижской жизни в значительно большей степени, чем ритуалы и зрелища, отмеченные звездочками в туристических справочниках. Именно в них, в этих неожиданных образах и уличных сценах, резкое своеобразие нынешнего Парижа, его сегодняшнее время. Присматриваясь к городу, я не хотел думать обязательно о его истории. Я просто ходил по его оживленным улицам и бульварам, разглядывал лица прохожих и витрины магазинов, вступал в разговор с кем только мог, стараясь не нарушить приличия. Мне хотелось понять, почему уже одно имя этого города, произносимое по-разному, но с одинаковым чувством — Пари, Париж, Парис, Париджи, — имеет столь сильное волшебное воздействие. В этом городе, в его улицах и проспектах, площадях и скверах, в уличной толпе, в парижском воздухе есть и в самом деле особое очарование.

Удивительные взлеты и горестные падения, завязка революций, распространившихся на весь мир, и обязательные по сей день для всего мира дамские моды, танцы на руинах Бастилии, гильотины на Гревской площади и у решетки сада Тюильри, Вольтер и Наполеон, пафос и точность прозы Бальзака и странные стихотворные цветы Бодлера, краски импрессионистов и миры Пикассо, гризетки, куплетисты, кабачки Монмартра, одинаково облюбованные нищими поэтами и художниками и золотой молодежью, бездельниками со всех концов света, гордость и суетность, врожденная театральность, чувственность, легкомыслие, великолепные коллекции шедевров искусства и блистательные, бесполезные «парижские изделия», ярмарка тщеславия, выставка богатства и голодные глаза — все это Париж. Но куриный пух и перья, которые я видел на площади Бастилии в день приезда, тоже Париж. Что ж это было?

ПАРИЖ БЕЗ ПАРИЖАН?

Пробыв в Париже первую неделю, я понял, что мое узнавание местной жизни не очень-то продвинулось вперед. С утра до вечера я ходил по улицам, ездил в метро, исходил пешком набережные Сены от моста Александра III до собора Нотр-Дам, побывал на Монмартре и Монпарнасе, на Елисейских полях и на бульварах левого берега. Но нигде у меня не было уверенности, что я наблюдаю настоящую, подлинную парижскую жизнь. Всюду бросалась в глаза суета и блеск международного туризма, его ритуалы, его причуды.

На Монмартре на площади Тэртр я увидел под открытым небом не то коллективную мастерскую, не то выставку живописи. Дивясь, стояли туристы и смотрели на художников, суетящихся с самым озабоченным видом у своих мольбертов, к которым были прикреплены как будто еще не законченные холсты. Но один из художников откровенно признался мне:

— На Монмартре теперь не рисуют, а лишь торгуют картинами. То, что вы видите, спектакль для туристов. Настоящую парижскую живопись вы здесь не найдете. Ее надо искать в другом месте.

— Где?

— Может быть, в галереях... Или в мастерских и мансардах художников, у которых пока еще не было ни одной индивидуальной выставки...

На Монпарнасе в старом знаменитом кафе гарсон, уже немолодой лысый человек с мешками под глазами, сказал:

— Я вас отлично понял, месье, — мы ведь привыкли к иностранцам. У нас здесь, пожалуй, еще больше иностранцев, чем в парижском метро. Вы заметили, сколько цветных лиц можно встретить в метро?

— Но здесь я что-то их не вижу.

— Специфика района, месье. Неподалеку отсюда Сорбонна. Но сходите в магазин «Таки»: там самые дешевые цены в Париже и самое большое количество негров, марокканцев, сенегальцев. Париж, месье, это теперь настоящий Ноев ковчег.

— Разве Париж не всегда был центром международного туризма?

— Нет, месье. Дело уже не только в туризме. В городе работают теперь десятки тысяч иностранных рабочих. У нас на кухне почти все итальянцы. Парижские мусорщики все негры. Разделение труда по национальности, месье. Негр вряд ли дослужится выше чина мусорщика, а я выше старшего гарсона...

В тот же день я сидел на застекленной террасе другого кафе на бульваре Сен-Мишель и пытался делать то, что все здесь делают: смотрел на прохожих за окном, на текущий мимо весь Париж. Я не увидел парижан. Они, вероятно, были в уличной толпе, но иностранцев, приезжих, было значительно больше. Я увидел молодых японцев, перезаряжающих на ходу свои фотоаппараты, и двух молодых людей в шапочках, напоминающих турецкие фески, дожеывающих на ходу купленные на углу пирожки. Прошел человек с обожженным азиатским лицом. И опять два японца или, быть может, граждане какой-то другой азиатской страны, прилично одетые господа со скуластыми лицами и раскосыми глазами. Шли смуглолицые женщины с миндалевидными голубыми глазами. Проходили темнолицие, темноглазые молодые франты в шелковых куртках и длинных цветных шарфах, подметающих тротуар. Молодые модницы с сумками через плечо, с распущенными волосами, все в коротеньких синтетических шубках, постукивали по тротуару своими сапожками гармошкой, на которые были опущены узкие обтягивающие джинсы. Шли целыми толпами негры с черно-лиловыми лицами и черными курчавыми бородами. Одни негры были похожи на пролетариев в стоптанных ботинках и рубашках без галстуков, другие выглядели дьявольски элегантно, в великолепных светлых пиджаках, в малиновых или зеленых брюках, в лиловых каскетках. Французами в этой толпе были, пожалуй, школьники, возвращающиеся с занятий, но и среди них я увидел мальчишек с острыми смуглыми личиками и угольными глазами — испанцы или арабы. За несомненных французов я принимал полицейских в темно-синих униформах с белыми погонами, прогуливающих по улице парами. Но только до того момента, когда мимо окна кафе прошла точно такая же пара негров, одетых в форму французских ажанов. Все мыслимое разнообразие человеческих лиц — азиатских, африканских, арабских, славянских — можно увидеть, сидя в кафе на парижском бульваре.

Но как же выглядят настоящие парижане?

Гуляя по вечерам по бульварам левого берега, когда загорались огни и одно за другим вспыхивали окна, витрины магазинов, я видел то же самое. Бульвары Сен-Мишель и Сен-Жермен были набиты прохожими и автомобилями. Туристы шли по бульварам группами, подгоняемые экскурсоводами, им предстояло лихорадочное знакомство с «ночным Парижем», которому посвящены особые разделы в справочниках.

Можно было смотреть или не смотреть на прохожих, останавливаться или не останавливаться у витрин магазинов, но от одной особенности парижской улицы уйти нельзя: от гула и грохота мчащихся по ней автомобилей. Здесь он терзает глубже, чем во всех известных мне городах. Выключить слух невозможно. Каждый шорох проникает в нас помимо воли, любой крик с пронзительной остротой отдается в сердце. В этом непрерывном, слитном, почти никогда не утихающем шуме, проникающем в мозг и кровь, вероятно, кроется причина множества нервных вспышек и той особой возбудимости, что характерна для парижской улицы.

Другая причина — все те же приезжие. Легионы приезжих... Я шел в толпе и чувствовал, что она как-то по-особенному жива и впечатлительна. Готовность туристов веселиться, впихивать в себя все, что происходит на улице, чувствовалась в самом воздухе, в репликах прохожих, в мимолетных взглядах людей, сидящих за окнами кафе. В уличный гул вдруг врзался громкий смех. Смех какой-то особенный, он повторялся через определенные промежутки времени, вспыхивал и угасал по чьей-то невидимой и неслышной команде. Я подошел ближе. Длинный тощий человек в просторном плаще и шерстяной шапочке стоял неподалеку от столиков. Он не был старым, но тяжелые складки рта и впалые щеки придавали его лицу несколько трагический оттенок. Сидящие за столиками не отрываясь почему-то смотрели на него. Я тоже стал смотреть на него и увидел, как он вдруг вытащил из кармана дохлую мышь и поднес ее к лицу проходящей мимо дамы. Та взвизгнула от ужаса, за столиками раздался дружный хохот.

Итак, это спектакль. Зрители все замерли, ждут. А человек с дохлой мышью в кармане продолжает свое представление. Вот он пугнул очередную даму, которая чуть не упала на тротуар от страха и неожиданности, и опять раздался громкий взрыв хохота. Потом еще одну и еще одну. Сунув мышь в карман, ее владелец снял свою шерстяную шапочку, не покрывавшую полностью его серо-седые кудри, и спокойной величествен-

ной походкой стал обходить столики, собирать дань со зрителей, которым он доставил минутное развлечение.

У входа в метро «Монпарнас» другое представление. Плечистый малый, раздетый до пояса, с браслетами на голых и сильных руках, украшенных татуировкой, приплясывает на тротуаре и что-то показывает собравшейся вокруг него публике. Он «жуёт», «глочет» лезвия для бритвы. Сначала он их демонстрирует, разрезает ими бумагу, спичечные палочки, а потом сует в рот и начинает «жевать», «глотать» под смех и одобрительные возгласы окружающих — молодых людей в джинсовых костюмах и длинных шарфах, японских туристов в корректных пиджаках и галстуках, седых стариков в черном.

— Ле клошар,— авторитетно разъясняет один из них своим спутникам, очень на него похожим, вероятно членам одной церковной общины, приехавшим сюда изда- лека, быть может из-за океана.

— О да!— подтверждает дама в очках, но уже по-немецки.— Парижские клошары — это удивительное зрелище!

И она начинает с неописуемым восторгом рассказывать, как однажды, в свой предыдущий приезд в Париж, ей посчастливилось и она видела в кафе старуху, которая приходила туда каждый день ровно в три, когда кончалось обеденное время, и, представьте себе, поела все остатки из еще не убранных тарелок. Делала она это без всякой брезгливости или смущения, спокойно, с достоинством, громко разговаривая сама с собой. В этом своем монологе она цитировала, представьте себе, Монтеня, Анатоля Франса и еще одного француза, о котором теперь часто пишут в газетах, кажется Беккета, а может быть, Сартра. Да, скорей всего Сартра.

К л о ш а р ы, в буквальном переводе з в о н а р и,— старое парижское словечко, обозначающее бродяг, людей без определенных занятий. Французы говорят еще: л е м а р ж и н о — те, у кого нет общественного положения, кто не хочет или не может жить как все. Звонари — это тоже Париж, Париж туристских грез, радость добродетельных буржуа из Мюнхена, мещан Чикаго или Торонто.

Я продолжал ходить по парижским улицам и бульварам... Я видел пестрые уличные толпы, потоки автомобилей, мистерии и азарт торговли. Я видел знаменитые, трепетно осматриваемые туристами соборы, дворцы, построенные при королях и императорах, площади, напоминающие о Коммуне, памятники времен «культы разума», улицы и места, упоминаемые в романах Бальзака. Сидел в кафе, известных тем, что в них когда-то сживали Кокто и Дюфи, Андре Бретон и Макс Жакоб, Матисс и Дега, Курбе, Брак, Модильяни, Пикассо, Шагал. Заходил и в новейшие американизированные дрог-стори, не имеющие истории, но именно здесь собирались бледнолицые гомосексуалисты в узких брючках и дамских кружевных рубашках, проститутки с волосами, выкрашенными в огненный цвет, элегантные жиголо, высматривающие богатых туристов. А у входа стояли заросшие, запущенные, расхристанные юнцы и предлагали всей этой публике ультрареволюционный листок, пропагандирующий перманентную революцию. Была ли во всем этом сегодняшняя, настоящая парижская жизнь, или я видел только ее пеструю поверхность, которая, подобно мыльной пене, не оставляет следа?

Я познакомился с некоторыми парижанами: знал кассиршу одного из кафе на бульваре Сен-Жермен, у которой покупал жетоны для телефона-автомата, хозяина газетного киоска на том же бульваре, продавцов большого книжного магазина на Монпарнасе. Познакомился и с одним милым, интеллигентным парижанином, хорошо говорящим по-русски, который сказал, что он вовсе не парижанин, а родился в Польше и знает русский язык с детства. Юность этого человека была тяжела, жестока, ужасна — он побывал в аду одного из гитлеровских лагерей уничтожения. И вот, поселившись уже после войны в Париже, стал французским интеллектуалом, автором книг, написанных по-французски, а всегда мечтал написать книгу на русском языке. Я встретился с ним в его любимом заведении — «У лесничества». В соответствии с названием внутри был камин, в котором всегда горели дрова, распространяя уютное тепло и запах сосны. Гарсона, который нас обслуживал, разумеется, звали Жак. Мой знакомый здоровался с ним за руку и был в курсе его семейных дел.

— В провинциальном французском городке,— говорил мой собеседник,— вам

достаточно было бы посидеть в кафе на центральной площади и послушать, как завсегдаги обсуждают высокие проблемы и местные сплетни, чтобы получить некоторое представление о горожанах. В Париже это не годится. Здесь каждый квартал, улица, проулок — особый мир со своей атмосферой и своими обитателями... Вы заметили — глаза парижан покрыты еле заметной дымкой, которую накладывает на них современный стиль жизни? По внешнему виду вы мало что в них поймете. Ищите настоящих парижан, тех, кто здесь родился. Может, вам повезет...

Вокзал Сен-Лазар. Перроны пригородного сообщения. В ожидании электрички на правах чужеземца я задал одному молодому человеку несколько вопросов о парижской жизни. Он ответил с усмешкой:

— А я пока еще и не живу в Париже.— Он взглянул на вокзальные часы и продолжал:— Каждый день сверять свои часы с табельщиком, а потом с вокзальными в ожидании пригородного поезда — для этого не надо жить в Париже. Разумеется, Париж — прекрасный город. Но разве я его вижу?

— Поскольку вы еще молоды, у вас все впереди.

— Вот именно — впереди. Но почему молодость должна быть порой всех лишений? В шестьдесят пять лет многое уже будет мне безразличным. Меня не утешит надбавка за выслугу лет — эта медаль, которой награждают старательных слуг... Метро, було, додо! — заключил он наш разговор местной поговоркой, что означает: наша жизнь — поездки в метро, работа, сон.

Казалось удивительным, что родилась эта унылая присказка в шумном и нарядном городе, где толпы, фланирующие по бульварам, табуны автомобилей, расцветающие и гаснущие феерии рекламы создают впечатление вечного праздника.

«ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ»

Прошло несколько дней, и я опять встретился с парижанином, знающим не праздничный город, а серую повседневность: метро — работа.

— Где же мне искать настоящий Париж?— спросил я его.

— Я и сам не знаю. Для этого надо здесь жить.

— Может быть, обратиться к литературе?

— Нет, она вам не поможет. Современные романисты интересуются главным образом подсознанием, а реальная, описанная в «Человеческой комедии» или «Отверженных» жизнь давно ведь прошла. Ушло в прошлое время романов Дюма-сына, Золя, даже Марселя Эме, давно умерли Кокто, Монтерлан, Элюар. Я уж не говорю о Бодлере, символистах и парнасцах, обычно переносивших на Париж свои душевные противоречия и мрачные видения. Нет, никто вам не поможет разобраться в сегодняшнем дне. Не поможет вам и Стендаль... Кстати, зайдите на Монмартрское кладбище и взгляните на его могилу, мраморную плиту, на которой, согласно его завещанию, написано: «Арриго Бейле, миланец», хотя звали Стендаля Анри Бейль и родился он не в Милане, а в захолустном Гренобле. Последняя мистификация человека, который занимался этим всю жизнь.

Склонность туриста уходить от трудно познаваемой чужой жизни в литературные ассоциации была мне известна. Но однажды, сидя в кафе «Ротонда» на Монпарнасе и разглядывая ярко-оранжевую обложку меню, украшенную именами знаменитых завсегдаев этого кафе, среди которых был и Хемингуэй, я не мог не вспомнить его книгу «Праздник, который всегда с тобой». И я подумал, что, вероятно, и сегодня в Париже есть молодые и пока еще неизвестные писатели, приехавшие сюда издалека, чтобы черпать вдохновение в парижской жизни. Интересно: испытывают ли они нечто подобное тому, что здесь когда-то испытал Хемингуэй? Прогуливаются ли они, подобно молодому Хемингуэю, по этим бульварам, твердя себе: «Не волнуйся. Тебе надо написать одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь?»

Я довольно хорошо помнил книгу Хемингуэя, я не мог долго противиться искушению посмотреть, как выглядят теперь места, о которых он писал с такой любовью и грустью под конец своей жизни. Вспомнил, что он снимал квартиру на улице Кардинала Лемуана и каждое утро шел оттуда в «славное и уютное кафе на площади Сен-Мишель» писать свои рассказы. На этой площади мне приходилось бывать почти каж-

дый день. И вот оказавшись там в очередной раз, я решил не откладывать дело в долгий ящик и проделать ежедневный путь молодого Хемингуэя в обратном направлении — от площади Сен-Мишель к его бывшему дому на улице Кардинала Лемуана.

Что же я увидел?

Я знал заранее, что «уютное, чистое и теплое кафе», пожалуй, теперь уже не найти на площади Сен-Мишель. Все кафе здесь давно перестроили. Разумеется, в них и теперь все очень чисто, надраено, все блестит, но очень тесно, крохотные пластмассовые столики со своими стерильными металлическими стульями всегда заняты, вряд ли можно еще и в наши дни прийти сюда с блокнотом и карандашом и приняться за сочинение рассказа. Я знал также, что, хотя названия старых знаменитых кафе не изменились — по-прежнему существуют «Куполь», «Ротонда», «Клозери», «Де маго», и по-прежнему в них ходят, чтобы себя показать и на людей посмотреть, — напрасно теперь искать столики, за которыми ведутся жаркие дебаты об искусстве. Кипение страстей вокруг новых школ и течений уступило место механическому любопытству туристов. Но решив повторить ежедневный путь американского писателя, до конца дней оставшегося благодарным Парижу, я все же начал его с террасы кафе на площади Сен-Мишель, которое вполне могло быть именно тем кафе, куда ежедневно ходил Хемингуэй.

Когда я подошел к его дверям, в них входила молодая девушка.

«В кафе вошла девушка и села за столик у окна. Она была очень хороша, ее свежее лицо сияло, словно только что отчеканенная монета, если монеты можно чеканить из мягкой, освещенной дождем кожи, а ее черные, как вороново крыло, волосы закрывали часть щеки».

Увы, девушка, которая вошла теперь в кафе на площади Сен-Мишель, не была похожа на ту, что описал Хемингуэй. У этой девушки здесь много двойников. Лицо отнюдь не свежее, сильно накрашенное, так что дождь, который и теперь накрапывал за окнами кафе, не освежил ее кожу, а лишь способствовал появлению темных дорожек краски, стекающих с подведенных век. На поводке она вела собаку непонятной породы, неестественно красивую, с артистически выстриженным животом, а главное, удачно сочетающуюся своей светло-рыжей мастью с ярко-алой курткой и рыжими волосами хозяйки; найдя свободное место, девушка запихнула собаку ногой под свой столик, где та и осталась лежать, не смея вильнуть хвостом, с отвращением нюхая окружающие запахи, среди которых выделялся запах коктейля «американский дом», приготовляемого из какой-то сложной смеси джина, вермута, виски и порто. Девушка с выкрашенными волосами и большими выжидательными глазами сидела на ярмарке тщеславия, за столиком парижского кафе, выставив для обозрения длинные ноги в тесных брюках, заправленных в красные сапожки, а ее собака — живое украшение, образующее один гарнитур с сумкой и курткой хозяйки, — находилась в аду.

Покидая кафе на площади Сен-Мишель, я подумал, что ни одна стоящая строчка, вероятно, не была написана за его столиками с тех самых пор, когда сюда приходил тот молодой человек, что приносил с собой синий блокнот, два карандаша, точилку, а также конский каштан и кроличью лапку в кармане «на счастье».

Вступив на улицу Кардинала Лемуана, я сразу же увидел дом № 74 — второй или третий с угла, он несколько отличался от окружающих домов белизной свежей штукатурки. Я посмотрел на окна четвертого этажа, на котором жил Хемингуэй, но ничего особенного, конечно, не увидел. Зато на первом этаже мое внимание привлекла вывеска «Театр 400 ударов». Я подошел ближе и стал читать висящую на стене афишу: «„Театр 400 ударов“ показывает импортированную непосредственно из Бангкока знаменитую сигарету из кинофильма „Эммануэль“». На сцене все по-настоящему. Спектакль предназначен только для взрослой и осведомленной публики. Несоввершеннолетним вход строго воспрещен. Начало представлений в 21 ч. 15 м. и в 22 ч. 45 м. Цена билета 150 франков».

Поскольку я принадлежал к неосведомленной публике, не видел кинофильма «Эммануэль» и не совсем ясно представлял себе, что может означать нарисованный на афише не то кот, не то черт с фиговым листом, я обратился за разъяснениями к выглянувшей из окошка кассы девушке, очень молодой, с прелестной родинкой, или, как говорят французы, зерном красоты, на нежной щеке и веселыми, обманчиво невинны-

ми глазами. Она не поняла моего вопроса и сказала, что билеты на сегодняшние представления уже кончатся, ведь в зале всего 57 мест.

— А что это за представление?— снова спросил я.

— Это эротический театр,— ответила она просто.— У нас теперь выступают две пары — одна из Бангкока и французская пара. На сцене все происходит по-настоящему. Понимаете?

Да, теперь я понял. То, о чем говорила эта прелестная девушка, не нуждалось в особых разъяснениях. В своей книге Хемингуэй упоминает о танцевальном зале, который помещался в подвале дома на улице Кардинала Лемуана. У хозяина этого заведения было такси, и когда Хемингуэй, занимавшийся и газетным репортажем, торопился на самолет, тот возил его в аэропорт, а перед тем как ехать, они всегда шли в танцевальный зал и выпивали в темноте у оцинкованной стойки по стакану белого вина.

Так вот что здесь произошло: скромный танцевальный зал превратился в эротический театр, где на сцене все «по-настоящему».

Париж, этот «праздник, который всегда с тобой», теперь окончательно потускнел в моем воображении. Таким был этот город «в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы», писал Хемингуэй. И теперь в нем, вероятно, есть молодые писатели, которые очень бедны и еще не знают, что они очень счастливы. Интересно было бы прочесть, как они лет через тридцать напишут о сегодняшнем Париже. Упомянут ли они «Театр 400 ударов»? Было бы преувеличением считать, что эротические театры и секс-кино — самая характерная черта современного Парижа. Но не учитывать их тоже нельзя. Нет ли связи между кинофильмами «порно», театральными эффектами физиологической страсти, стандартизованными ужасами «черных серий» и чудовищной историей, случившейся недавно,— похищением восьмилетнего Филиппа Бертрана, завершившимся убийством его, так как преступник не получил требуемого выкупа?

Я возвращался с прогулки «по следам Хемингуэя», иронизируя над самим собой и стараясь не воскрешать больше в памяти то, что знал о Париже из книг. На улицах зажгли вечерние огни, на бульваре Сен-Мишель разливалось море света, в нем окончательно утонули старые тени. Вспоминай не вспоминай — прошлое умерло. Время настоящее было в этой спящей по бульвару космополитической толпе, в гуле проезжавших автомобилей, в модных товарах, выставленных в витринах магазинов. Взглянув на одну из них, в которой были выставлены джинсы, я заметил странную закономерность: чем невзрачнее они выглядели, тем дороже стоили. Я вспомнил рассказ Терезы о том, что некоторые фирмы обрабатывают джинсы хлором, портят еще не изношенную ткань, зато придают ей более «модный» вид, что позволяет повысить цену. И неожиданно по странной ассоциации я опять вернулся к мыслям о книге Хемингуэя. Станут ли молодые писатели, живущие сегодня в Париже, охотиться за «настоящей фразой»? Ведь как раз отсутствие выразительного языка, образов, сюжета, а в драматургии отказ от эпического, от конфликта, полное отсутствие действия признаются теперь достижением, новаторством.

«Праздник, который всегда с тобой», был внутренним праздником молодой души, полной веры в свое призвание, начинавшей свой творческий путь в далекие и уже кажущиеся ныне идеальными времена. С тех пор годы сменялись с нарастающей быстротой. Как на экране телевизора, чередовались в Париже бурные и противоречивые события: война, поражение, гитлеровская оккупация, сопротивление, непродолжительное национальное единение, потом снова война, в этот раз колониальная в Индо-Китае, потом в Алжире, де Голль, май 1968-го, нефтяной кризис, инфляция. С неменьшей быстротой вертелась карусель идейных течений и литературных мод: экзистенциализм, структурализм, театр абсурда, новый роман. Никогда не был Париж столь жаден до новшеств, как в эти десятилетия. Перестав верить в старых кумиров, стали искать себе новых властителей дум, новые увлечения и суеверия. Загадочна сегодняшняя парижская ночь с табунами гудящих автомобилей, феерией световой рекламы, сверканием белков африканских глаз, глядящих на прохожих как бы из прорезей черной маски. О чем грезят теперь молодые писатели, быть может живущие на бульваре, по которому я сейчас иду, в какой-нибудь гарсоньере, переделанной из мансарды, где жили когда-то юные герои Бальзака? Что зреет в парижской ночи?

ДЕФАНС, ИЛИ НЕПЛОДОТВОРНОСТЬ ПЛАГИАТА

Все дни моего пребывания в Париже Тереза и Тадю наперебой давали мне советы, куда пойти.

— Вы должны провести хоть один день в районе Марэ,— говорила Тереза.— Осмотрите весь квартал, он стоит того. Отели шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков — это шедевры архитектуры и искусства. Марэ — настоящий Париж.

— Париж далекого прошлого,— возражал Тадю.— Настоящий Париж надо искать в другом месте. Посмотрите башню Монпарнас-Мэйн — первый законченный проект реконструкции Парижа.

— Люксембургский дворец и сад,— говорила Тереза,— Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Северен, мосты через Сену — вот подлинный Париж.

— Ничего подобного,— возражал Тадю.— Прежде всего вам нужно посмотреть район Дефанс — новый Париж. Париж будущего.

Увлечение Тадю всем, что можно было назвать новым и современным, доходило до того, что он даже свои деньги получал не в сберкассе или банке, а прямо на улице: разыскивал аппарат, вмонтированный в наружную стену банка или где-нибудь в другом публичном месте, вкладывал в него свою карточку с магнитной лентой и ждал, пока зажжется зеленая лампочка, указывающая на то, что номер карточки проверен, на счету есть деньги, после чего он выстукивал на клавишах аппарата свой секретный код, вспыхивала еще одна лампочка, и из специального отверстия начинали вылезать зеленые бумажки, обычно три стофранковых билета, а вслед за ними и магическая карточка. Спрятав и то и другое в карман, Тадю со счастливой детской улыбкой отправлялся дальше по своим делам.

О том, что мне необходимо увидеть н о в ы й Париж, Тадю напоминал каждый день. Но проходили дни, и я все не ехал в Дефанс. Стоит ли тратить время на разглядывание небоскребов в городе, где столь богато представлены и готика во всех ее вариантах, и Возрождение, и классическая архитектура, не говоря уж о знаменитых сооружениях и дворцах XIX столетия — Мадлен, Опера, Гран-пале, Сакре-Кёр?

В конце концов я все же заинтересовался и н о в ы м Парижем, когда стал по-настоящему ощущать тесноту старого. Во всей Европе, пожалуй, не найти теперь города, где так явственно было бы это ощущение. Ничего удивительного в этом нет, в современном Париже уже 6 миллионов жителей, но почти половина их все еще обитает и н т р а м у р о с — в стенах, то есть в старых кварталах, которые были некогда окружены стеной, валом, защищавшим город от нашествий. Теснее всего в Париже автомобилям. Они ползут по каменным коридорам улиц и простаивают часами у тротуаров, несмотря на заградительные кордоны автоматов, неумолимо отсчитывающих плату за стоянку. Эти автоматы — материальное воплощение пословицы «время — деньги». Автомобиль, замерший на виду у стального столбика такого автомата-счетчика, превращающего таинственную субстанцию, непостижимую для философов и не разгаданную физиками, в вульгарные франки и сантимы, мог бы послужить эмблемой для современной парижской жизни. Впрочем, не только парижской.

Старые жилые дома, построенные сто лет назад, покрытые снаружи копотью, сколько бы их ни подновляли и ни устанавливали в переделанных квартирах современные ванны, все равно слишком тесны для сегодняшнего Парижа. Дома стоят впритык друг к другу, жилой квартал — это как бы один каменный массив с закругленными углами на перекрестках. Все дома одинаковой высоты, с одинаковыми черными графитовыми крышами и обязательными мансардами. Между ними почти нет просветов, нет зеленых площадок, даже обыкновенных дворов, а лишь каменные дыры — асфальт в нефтяных пятнах.

Итак, совершенно очевидно, что нужно спешно строить новый Париж, который отвечал бы задачам и потребностям сегодняшнего дня. И он, конечно, строится. Стихийно или по планам, вызывающим бурные споры и столкновение различных интересов. Новые дома растут как грибы, особенно на окраинах и в пригородах. Строятся и города-спутники. А в 60-х годах под влиянием радужных надежд, вызванных тогда улучшившейся экономической конъюнктурой, началось строительство нового района Дефанс, который многие считают прообразом нового Парижа. Побывав в нем, я убедил-

ся, что как раз Парижа там не увидишь. Этот район полезно посетить именно потому, что в нем можно увидеть воочию и понять некоторые вещи, имеющие отношение не только к французской столице.

Все знают, что есть в зодчестве законная последовательность, вытекающая из специфики материала и уровня строительной техники. И никто, разумеется, не станет отрицать, что пластинчатые прямоугольные башни, стеклянные стены и алюминиевые углы обладают несомненными преимуществами прочности, удобства и даже несут с собой новую эстетику. Но все еще остается невыясненным вопрос: как сочетать логику современного индустриального стиля со стихией человеческих чувств? Как раз в новом Париже вопрос этот приобрел редкую наглядность.

Отправляясь в Дефанс, чтобы посмотреть новое городское строительство, я не бывал, конечно, облик старого. Особенно знаменитую Триумфальную дорогу — между Лувром и площадью Шарля де Голля. Оказалось, что Дефанс и есть ее продолжение. Тем лучше. Я увижу, как парижские архитекторы продолжают национальную традицию, как они по-новому выражают характер своих сограждан.

Триумфальная дорога — уникальная перспектива и вместе с тем летопись многих веков парижской истории. Чтобы пройти пешком семикилометровый путь от малой Триумфальной арки с площади Карусель до большой Триумфальной арки на площади Шарля де Голля, требуется не менее полдня. Здесь нельзя не останавливаться, потому что все, что видит глаз, замечательно — не только дворцы и памятники, но и размах проспектов, пропорции площадей, расположение домов.

Но вернемся к Дефансу. Новый район расположен за Сенной, по прямой от Триумфальной арки и проспекта Великой Армии. Продолжение Триумфальной дороги должно было стать воплощением ее духа в новых, современных условиях. Проект охватывает площадь в сотни гектаров, на которой специальное строительное управление создало величайшую строительную площадку современной Франции. Официальная цель проекта: разгрузить центральные улицы Парижа, создав ультрасовременный район, где наряду с небывалой концентрацией деловой жизни города можно было бы разместить тысячи квартир, подземные гаражи и другие сооружения с максимальной экономией пространства. Другая цель, о которой умалчивают цифры, тоже очевидна: район Дефанс должен символизировать индустриальную и техническую мощь современной Франции, показать, что ей по плечу решать такие задачи. Ее историческая слава запечатлена в дворцах и памятниках Триумфальной дороги и под сводами Триумфальной арки. Дефанс, по мысли его авторов и вдохновителей, создавался как выражение величия новой эпохи. Выполненное, разумеется, в современном стиле и современными средствами. Но произошло нечто неожиданное, по крайней мере для авторов проекта. Оказалось, что проблема цели и средств существует и в зодчестве: средства извратили идею. Дефанс оказался отражением не новой Франции, а лишь того безликого архитектурного стиля, который выражает все что угодно, кроме самобытности и характера страны, где им злоупотребляют.

Зная новых строительных средств и новых архитектурных форм давно известно — это небоскреб. Архитекторы Дефанса пошли по проторенному пути: центральное место в новом районе отведено небоскрегам. И на виду у Триумфальной арки с ее статуями, античными фризами и барельефами построено полтора десятка небоскребов разной величины, но, разумеется, типичных для этой архитектурной формы, так или иначе щеголяющих прямой линией и наготой стен. За десять минут езды в метро от парижской Оперы, где монументальная лестница, лоджии и скульптуры Второй империи естественно соединились с волшебной росписью потолка, сделанной совсем недавно Шагалом, можно попасть в некий новый Манхаттан, где эстетика продиктована ценами на земельные участки. Однако нью-йоркские небоскребы возникли стихийно, после того как деловая жизнь города сконцентрировалась на ограниченном пространстве Манхаттана. А Дефанс построен по плану. Его проект отвечает не только экономии, это образец нового Парижа, такого, каким его хотели бы видеть строители, воспринявшие американские небоскребы как некую новую готику. Сумели ли они убедить парижан?

В новый район проще всего попасть по новой линии метро. Спускаясь в нее с площади Оперы по глубокому эскалатору, как бы отрешаешься от старого Парижа и от его метро неглубокого залегания, с тесными бесконечными переходами и кори-

дорами, резонирующими от неумолчных песен и бречанья на гитаре бородатых трубадуров, собирающих здесь с утра до вечера добровольную дань от пробегающих мимо пассажиров. На новой линии метро все иначе. Тут и стальные эскалаторы, и движущиеся тротуары, и просторные станции, похожие на храмы, где культ техники сочетается с мистериями торговли, за хрустальными стеклами вращаются площадки с новейшими марками автомобилей, а скрытые лампы рассеянного света окрашивают все это в серо-стальной цвет, основной цвет современного индустриального стиля, цвет космических кораблей и сверхзвуковых самолетов. И поезда на этой новой линии метро, разумеется, не похожи на старые вагончики с потемневшими скамейками и полуавтоматически раздвигающимися дверьми, они чисты и нарядны, сверкают дюралем, пластмассой и стеклом, двигаются почти бесшумно, с большой скоростью, так что пассажиров как бы заранее готовят к тому, что ожидает их при выходе на станции «Дефанс». А ожидает их там если не XXI век — никто ведь не может поручиться, что он будет именно таким, каким представляют его себе современные строители, — то уж, во всяком случае, нечто не совсем обычное и граничащее с фантастикой.

На огромной бетонной площадке, словно повисшей над землей так, что дома и крыши старого Парижа видны отсюда с птичьего полета, расставлены коробки небоскребов — высокие и узкие, алюминиевые и стеклянные, черные, как антрацит, или серые, как потухшая лава, а также фиолетовые, палевые и белые из сверкающего металлического сплава. Кое-где они соединены металлическими мостиками, глядя на которые можно подумать, что находишься на палубе сверхдредноута, уставленной орудийными башнями новой, небывалой конструкции. Эти коробки все же предназначены для жилья, потому что в них все время входят и из них выходят люди. Но зачем, спрашивается, понадобилось украсить их окнами, которые кажутся с земли нарисованными на гладких стенах? Ведь совершенно очевидно, что все эти строения герметически закрыты, закупорены, решительно отделены от окружающей среды. Они разные по своим размерам, высоте, но это их объединяет: они как будто стоят не на Земле, а на Луне или на какой-нибудь другой планете, где нет воздуха. Ощущение полной изоляции и есть, пожалуй, самое печальное и тягостное последствие неумеренного культа современной архитектурной и строительной техники.

Удобны ли эти сооружения, лишь отдаленно напоминающие жилье дома? Разумеется, удобны. Все в них комфортабельно, все предусмотрено, даже сады для прогулок, занимающие иногда целый этаж. Однако искусственные газоны, как и светящиеся потолки и никогда не открывающиеся окна, тоже кажутся чуждыми, враждебными обыкновенной растительности. Но, может быть, такое ощущение — результат новизны, отсутствия привычки, консерватизма наших представлений о городе и его среде?

В середине бетонной площадки Дефанса стоит таинственная черная полусфера. Это информационный центр нового района. Внутри все как полагается: черные стены, светящиеся диаграммы и указатели, мохнатые синтетические ковры и конструктивно целесообразные кресла. А на прилавке среди проспектов и реклам толстая книга в черном переплете с надписью: «Черная книга. Критика посетителями различных аспектов района Дефанс». Я открыл ее наугад, прочитал несколько записей, и мне показалось, что я услышал слитный крик: «Нет, нет! Это ужасно!» Я перевернул страницу, другую, но всюду было то же. И я стал выписывать подряд: «Ужас, ужас, ужас!» (Шекспир, «Гамлет»), «А Ноев ковчег?», «Браво! Замечательно!», «Нет, это безумье!», «Худший враг человека — это он сам» (Жан Ростан), «Французы, не превращайтесь в роботов!», «Дефанс, конечно, лучше, чем старые окраины. Но он нечеловечен», «Может быть, это красиво — то, что вы придумали. И это вам дорого стоило. Но это удушает. Где деревья? Где зеленые площадки? Нужно же подумать о тех, кто будет здесь жить».

Я перевернул несколько страниц и увидел надписи не только на французском, но и на других языках. Я увидел колонки миниатюрных затейливых иероглифов, которые не смог прочесть. Но все, что было понятно мне, выражало, в общем, одну и ту же мысль. И каждое слово одобрения — а такие отзывы тоже встречались в «Черной книге» — сопровождалось десятками записей, начисто отвергающих мир Де-

фанса: «Это современный муравейник», «Это плагиат Манхэттана», «Бедный Париж!», «Дефанс — возврат к пещерному веку», «Долой 2000 год!», «Мне 15 лет. Да здравствует 2000 год!». На одной из последних страниц я увидел рисунок: силуэт небоскреба, от которого ведет шнур с взрывателем. Над рисунком надпись: «Единственный выход». На другой странице кто-то наклеил пожелтевший кленовый лист: «Вглядитесь в него повнимательнее: может быть, это уже последний».

Прежде чем покинуть Дефанс, я постоял у одной из скульптур, украшающей пространство между небоскребами. Она, разумеется, тоже была выдержана в ультрасовременном стиле: стальные полосы, похожие на те, что идут на постройку мостов, сваренные вместе как попало и выкрашенные в ярко-красный цвет. Потом я долго смотрел на панораму старого Парижа, на его слитые вместе графитовые крыши, на высокие трубы, из которых клубились желто-палевые дымки, на проспект Великой Армии, заполненный во всю длину ценочками автомобилей, казавшимися издали совершенно неподвижными. Несколько в стороне от резко очерченной громады Триумфальной арки, возвышающейся над горизонтом, я увидел в солнечном блеске слабый, словно начертанный сажей силуэт Эйфелевой башни. Отсюда, издали, она казалась призрачной, похожей на акварельный рисунок, на фантазию талантливого ребенка. Зато левее и тоже страшно далеко, но ясно и отчетливо, отделенная от солнечного тумана, возвышалась другая башня, непомерно высокая и мощная: монпарнаасский небоскреб, воздвигнутый, кажется, еще до того, как приступили к строительству его двойников в районе Дефанс. И казалось, что этот великан шагает им навстречу, металлические гиганты окружают, берут в тиски старый Париж со всеми его дворцами и памятниками, архитектурными шедеврами — особняками Марэ, Сен-Клуни и Шантии, с его удивительными образцами французской готики и французского рококо, а заодно и с ничем не примечательными, но столь земными, уютными, обжитыми переулками Латинского квартала, кофейнями бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен.

Да, новая архитектура не шутит. В пятидесятиэтажных коробках с кондиционированным воздухом, скоростными лифтами и бесчисленными хитроумными механизмами воплощены не только новинки строительной техники — тут видны и определенные потребности современной жизни. Значит ли это, что им принадлежит будущее и Дефанс — это уже найденный стиль нового Парижа? Но ведь как раз Парижа в нем нет. Он целиком заимствован, все эти дома, построенные неподалеку от Сены, могли бы стоять на берегу любой другой реки. В этих постройках нет живой души города. Все придумано, натянуто, сделано как бы для того, чтобы доказать: мы тоже это умеем и нам это по плечу! В стиле этого нового, ультрасовременного Парижа нет нежности сердца парижских поэтов, утонченности его художников, страсти его общественных реформаторов.

Подобные рассуждения ничего не меняют в логике жизни? Парижане привыкнут к стилю Дефанса? Более того, архитектура переделает их психологию?

Бросая последний взгляд на ультрасовременный пейзаж, одаривший меня всей мыслимой идиллией современной техники, я вспомнил последние две записки в «Черной книге», хранящейся в информационном центре нового района: «Какую замечательную жизнь, какие приключения увидим мы между бетоном и телевизором?» И тут же расплзающимся детским почерком: «А мы дети, как мы будем тут играть?»

КОЧЕГАРЫ

«Кочегарами» в Париже называют иностранных рабочих-алжирцев, марокканцев, португальцев, турок, сенегальцев, которых во всей Франции уже 4 миллиона, а это почти 8 процентов ее населения. Традиционный образ кочегара, голого по пояс и облитого грязным потом человека, работающего в подводной утробе корабля или каменном подвале у адской раскаленной топки, хотя и не соответствует больше облику рабочего наших дней, занятого тяжелым физическим трудом, в данном случае отражает самую суть дела: иностранные рабочие в Париже находятся в нижнем этаже, иногда в подвале городского общества.

Я встречал их в Париже всюду — в метро, на улицах, в закусных и магази-

нах, как в пригородах, так и на центральных бульварах, где все излучает блеск и свет. Кочегары — это тоже Париж наших дней, особая среда, особый мир, сосуществующий с традиционным парижским миром, вернее с его остальными мирами, но почти не смешивающийся с ними, ясно различимый, странный, полный экзотических потребностей, буйства, страданий, пронзительной тоски и особой красоты, выражение живого человеческого духа, очень далекого от традиционно парижского духа. Как складываются отношения между этими столь разными мирами, между Парижем алжирцев и сенегальцев, живущих в старых, обшарпанных домах рабочих пригородов, и Парижем Елисейских полей или авеню Фош, где на тротуарах перед роскошными молчаливыми особняками почти не встретишь прохожих, а только дорогих породистых собак, которых прогуливают слуги?

Я не стану пересказывать то, что пишут об иностранных рабочих парижские газеты, называть цифры, подсчитывать, делать выводы. Однако я не могу забыть лица. Немало повидал я их в Париже — эти синие от черноты, острые или круглые лица африканцев, сожженные солнцем лица арабов, горбоносые лица испанцев, лица греков, левантинцев с крючковатыми носами. Во всем облике этих людей, в их говоре, жестах, выражении глаз есть что-то угрюмое, печальное.

...Лионский вокзал. Закопченный и тусклый, как почти все вокзалы, построенные в век каменного угля и не имеющие будущего, хотя никто пока не может сказать, когда они станут не нужны. За считанные минуты пустеет перрон, к которому подошел международный поезд, пробежавший многие сотни километров. Но какие-то люди в фесках, в коротких верблюжьих куртках и анатолийских штанах почему-то не уходят. Они молодые, загорелые, а в глазах выражение растерянности, тоски. Кто-то из поездного персонала старается им объяснить словами и жестами, что они должны вынести из вагона весь свой багаж, поезд дальше не пойдет, что уже терминус — конечная остановка. Турки его не понимают. А может, и понимают, но им не хочется расставаться с вагоном, запорошенным пылью Турции, с последним кусочком родины?

— С ними всегда так, — жалуется железнодорожник тем, кто молча наблюдает эту сцену. — Особенно турки здесь почему-то легко теряются. Они долго не хотят поверить, что уже приехали. Выйдя из вагона, они потом будут бояться покинуть вокзал, чтобы их не обманули, не обобрали жулики или таксисты.

— Но ведь они могут использовать метро.

— О, это для них еще сложнее...

Мне казалось, что он преувеличивает. Но однажды я снова встретил людей в суконных фесках, на этот раз в метро, под Северным вокзалом. Они стояли в узком коридоре, сбившись в кучу, потерянные, усталые, положив свои мешки и фанерные чемоданы на цементный пол. Вокруг них собралась небольшая толпа; молодая женщина с добрым лицом что-то пыталась им объяснить, в то же время объясняя окружающим, что эти турки прибыли в Париж еще утром, им нужно было переехать с Лионского вокзала на вокзал Монпарнас и они провели в метро почти весь день; вот уже вечер, а они снова здесь, почти на том же месте, где начинали свое подземное путешествие.

— Неслыханно! Неслыханно! — сказал юноша в черной курточке.

— Возмутительно! — строго поправил его старик с зонтом в руках.

— На вокзалах есть бюро информации для гостевых рабочих, — сказал другой человек из толпы.

— Они этого не знают, никто им не сказал, — объясняла добрая женщина.

— Неслыханно! — все повторял юноша. — Целый день от Лионского вокзала до вокзала Монпарнас. Неслыханно!

Что ж, ясно, подумал я. В парижском метро, где линии расположены не по прямой, что дает возможность достичь почти любой улицы, всюду развешаны четкие указатели, однако надо к ним привыкнуть, знать направление поезда и не терять его из виду. А переходы на пересадку здесь длинные и запутанные.

Однажды я поговорил с одним иностранным рабочим, который хорошо владел французским языком и отнюдь не чувствовал себя заморской птицей в Париже. Во

время нашего разговора он почему-то все время посмеивался. Какое-то противоречие было между тем, о чем он рассказывал, и его постоянной улыбкой и смехом.

— Я приехал во Францию с острова Маврикий туристом,— сказал он и рассмеялся.— Вы тоже турист? Но вас, наверное, не продали, а туристами с острова Маврикий здесь торгуют,— продолжал он и опять засмеялся.— За паспорт я уплатил двести пятьдесят серебряных франков и почти четыреста рупий. К тому же мы, туристы с острова Маврикий, даже не знали, куда именно мы отправляемся путешествовать. Сначала нас привезли в Остенде, а это, как вам известно, Бельгия. Я обязательно хотел попасть сюда, во Францию, и мне пришлось ждать три месяца, пока наш агент сумел найти для меня рабочее место. Один из наших туристов не выдержал ожидания и вернулся на остров. Другой попал в сумасшедший дом, а потом тоже вернулся домой: туризм оказался для него слишком трудным переживанием. Теперь все это позади. Говорят, что человек, который торговал туристами с Маврикия, уже попался и был приговорен французским судом к десяти тысячам франков штрафа. Для него это сущий пустяк, на такой торговле наживают сотни тысяч,— закончил турист с острова Маврикий и захохотал.

— А как вы себя здесь чувствуете?

— Хорошо,— сказал он с самым веселым видом.— Вы знаете, что такое аллергия на цвета? Черное и белое отлично сочетаются, не правда ли? Но приглядитесь в метро, когда в вагон входит малый, которого мать родила черным, как антрацит. Никогда не слышали, как рядом с ним кто-то цедит сквозь зубы: обезьяна, ма-ка-ка, бабу и н? Иногда все молчат и только глядят на него... Попробуйте расшифруйте эти взгляды,— говорит уроженец острова Маврикий и тихонько посмеивается.

Вскоре я познакомился с одним сенегальцем. Поразительными были его ловкие движения, легкость и быстрота походки. Всем обликом своим, наивной детской улыбкой он выражал африканский мир, столь чуждый такому городу, как Париж. Но оказалось, что он считает себя чуть ли не старым парижанином. И не только себя, но и многих своих земляков из далекой сенегальской деревушки, из страны сонинке.

— Две тысячи человек живут в нашей деревне,— сказал сенегалец.— Из них не менее трехсот находятся теперь во Франции. У нас в каждом доме есть свой парижанин. Каждый молодой человек, которому двадцать пять лет, уже, по крайней мере, один раз побывал во Франции...

— А вам легко сюда ездить?

— Если нелегально — нужны только деньги.

— Как? — спросил я.— Нелегально — легче?

— Да,— сказал сенегалец.— Ведь не просто достать, собрать все нужные бумаги, получить все разрешения и визы, обеспечить денежную гарантию на случай возвращения. А нелегально все проще. Эти паспорта оборачиваются по многу раз: паспорт можно одолжить, взять напрокат, добраться с ним до Парижа, а потом вернуть. Можно сделать иначе: в Ируне договориться с проводником-баском, который покажет дорогу через горы. «Вот отсюда пойдешь прямо, там Франция». Можно попробовать и парходом до Марселя. Помощник судового повара или кто-нибудь из матросов все устроит. Разумеется, нужно заплатить. Есть еще и итальянская дорога: Рим, Милан, дальше на такси. Сто пятьдесят тысяч итальянских лир берут таксисты за каждую голову. Можно и в кредит, но это стоит дороже. Бывает, что и не повезет — натолкнешься на слишком ретивого пограничника. Тогда нужно начинать все сначала. И опять платить. Но земляки помогают друг другу... Наша деревня называется Голми. Мы, сонинкяне, всегда помогаем друг другу. Мы старые парижане...

Сенегалец улыбался — черный, как эбонит, с бельми, как снег, зубами, он улыбался своей широкой африканской улыбкой в течение всего нашего разговора. Мы как раз проходили мимо всемирно известного универмага «Галлери Лафайет». На его фасаде и окнах висели плакаты: «Фантастическая неделя!» На тротуарах перед магазином стояли лотки с товарами, и продавцы демонстрировали различные предметы, которые можно приобрести по «фантастическим ценам». Один из зазывал был негр. Его энергичное, мускулистое, черное лицо лоснилось от пота.

— Дамы и господа! — гремел его сильный голос.— Взгляните на эти коврики

для туалета. Взгляните на цену! Вы когда-нибудь видели что-либо подобное? Дамы и господа, учтите, что фантастическая неделя заканчивается через два дня!

В сильной черной руке с длинными пальцами почти невесомый розовый коврик выглядел смешно. Я смотрел на эту черную руку и на запарившееся лицо молодого негра и вспоминал Африку из видовых кинофильмов и школьных учебников — образы, запавшие в память еще в детстве. С африканцем во плоти, которого я видел перед собой, они не имели ничего общего. Можно, конечно, считать прогрессом то, что негр не хуже белого выполняет работу зазывалы в «Галлери Лафайет». Так ли это на самом деле? Книжки на эту тему, вероятно, уже пишутся, может быть, уже написаны. Что до меня, то я мог сделать только одно: запомнить и облик этого негра, дослужившегося до чина зазывалы в знаменитом парижском магазине, вместе с обликом других цветных людей, которых я встречал здесь на каждом шагу. Глядя на них на фоне парижских улиц и парижской жизни, на негров-мусорщиков в их громадных неуклюжих машинах, на марокканцев в желтых жилетах, чинящих парижские мостовые, я не мог не подумать и о том, что подражание бывшим колониальным хозяевам, стремление к их образу жизни, заимствование их ценностей и обычаев не сулит ничего хорошего. Негр, рекламирующий коврики для туалета, может быть, и живет теперь лучше, чем он жил у себя на родине. Но кто рискнет утверждать, что должность зазывалы в «Галлери Лафайет» возводит его на более высокую духовную ступень? Миллионы людей с еще не растроченной мускульной и духовной силой, выросшие под другим небом, в другой среде, проходят теперь ускоренный курс обеления в больших городах Западной Европы. Их пригнала сюда не только нужда. Не последнюю роль играет и вирус приобретательства, который, вероятно, можно назвать белым вирусом. Из колониальных метрополий привезли этот вирус, и он привился среди африканских и азиатских народов наравне со спиртными напитками. Но процесс приручения и одомашнивания выходцев из Африки и Азии в таких городах, как Париж, их легкомысленная готовность усвоить окружающий стиль жизни наряду с ощущением, что пользующиеся их трудом белые все же не признают их равными себе,— все это не может не вести к душевной, эмоциональной травме. В этих людях не мог так быстро умереть их природный, национальный дух. Он лишь затаился.

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ — ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЧТО?

Пора уезжать из Парижа. Я хожу по городу и пытаюсь привести в порядок свои впечатления, подвести итоги встречам. Трудное это занятие в городе, где сосуществуют, не сливаясь, не признавая и даже мало зная друг о друге, разные миры. Париж Латинского квартала, где Сорбонна, и академии — студенческий и интеллектуальный Париж так мало похож на Париж Елисейских полей с их выставками модных и роскошных товаров, а Париж рабочих кварталов — Бельвиля, Бильянкура, Клиши — и вовсе не имеет ничего общего с просторными авеню и богатыми особняками западных районов, с аристократическим Булонским лесом. Однако Париж сенегальцев, алжирцев, марокканцев не похож даже на рабочий, демократический Париж французов. Несовместимость разных улиц и кварталов можно изобразить как нравоучительную картинку или агитплакат: «Париж — город контрастов». Но в каком очерке не засвидетельствован этот факт? Мне кажется, однако, что это самое поверхностное наблюдение, которое можно сделать в Париже.

В своих «Зимних заметках о летних впечатлениях», опубликованных свыше ста лет назад, Достоевский писал о том, что в Париже его поразило затишье порядка. Он писал: «Право, еще немного, и полуторамиллионный Париж обратится в какой-нибудь окаменелый в затишье и порядке профессорский немецкий городок вроде, например, какого-нибудь Гейдельберга. Как-то тянет к тому. И будто не может быть Гейдельберга в колоссальном размере? И какая регламентация! Поймите меня: не столько внешняя регламентация, которая ничтожна (сравнительно, разумеется), а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая».

Увидел бы Достоевский современный Париж — не о порядке и затишье пришлось бы ему писать, а нечто прямо противоположное. Какой дух сомнения и отри-

дания! Какой разницей в оценке всего на свете! Какое неверие в учреждения, порядки и традиции, на которых держалось общество! И какая сложная борьба, какое упорное отстаивание и личного и общественного начала, своих интересов и желаний и интересов коллектива, запутанные поиски возможностей как-то ужиться, устроиться на общепризнанных большинством началах! Париж, вероятно, самый современный город в Западной Европе и в то же время самый неудовлетворенный, отрицающий сам себя. Духом отрицания захвачены или делают вид, что захвачены, и те, кто не готов ничем пожертвовать, поступиться ни одной из своих привилегий, но с не меньшим пылом, чем все остальные, рассуждает о необходимости перемен. Парижане, ведущие изо дня в день борьбу за совершенно определенные требования и права, меньше рассуждают, но больше действуют.

Недовольство, возмущение, идейное брожение витают в Париже надо всем. Они флочуют не только на митингах и демонстрациях. Даже в маленьких объявлениях личного характера, которые печатаются в прессе, чувствуется тот же беспорядок в умах и сердцах. Одна парижская газета отводит им бесплатно раз в неделю четыре страницы в надежде, что это окупится увеличением тиража. Я прочитал несколько сот таких объявлений — это сплошной крик! В этих анонсах звучат голоса читателей, обращающихся к таким же, как они сами, сообщая им о своих нуждах, ища помощи и сочувствия. Слова «одинокий» и «одиночество» — наиболее часто повторяющиеся слова. Даже когда они отсутствуют в тексте, нетрудно догадаться, что именно в них ключ к пониманию причин появления этих объявлений в газете. Какая тоска по любви, дружбе, нежности, пониманию! Как много молодых людей, живущих в самом шумном и наиболее опьяненном современным комфортом, культом наслаждений, сексом городе, чувствуют себя в нем неудовлетворенными и несчастными: «Меня угнетает одиночество», «Не выдержу, если еще долго буду один».. «Сенегалец тридцати одного года», «юноша восемнадцати лет» и «интеллигентный человек средних лет» почти в идентичных выражениях ищут «добрую женщину от восемнадцати до пятидесяти лет». «Ищу друга для переписки», «Пиши мне о чем угодно, лишь бы это адресовалось мне»; или: «Пищи мне все то, что ты не можешь сказать другим (родителям, друзьям, священнику)». Поиски средств преодоления одиночества столь же наивны, как и стиль этих газетных посланий. Один ищет товарищей для создания «нового художественного коллектива», другой согласен ограничиться «мирным товариществом» для совместных выездов за город по выходным. У третьего больше фантазии: он мечтает о поездке в Кению или Танзанию. Один из авторов объявлений предлагает создать в Париже «культурную группу», которая займется разработкой вопроса «изменить жизнь, но как?». И если о большинстве анонсов можно сказать, что они характерны лишь для одной, и, конечно, не самой многочисленной, группы современной молодежи, ведь к наивному поиску через газету прибегают обычно малокультурные люди, то в последнем объявлении выражена черта, присущая большинству парижан: изменить жизнь. Но как?

Разумеется, я не стану здесь заниматься обзором политической жизни Парижа, оценкой его рабочего движения, я скажу лишь о том, что мне довелось видеть своими глазами. За время моего пребывания в городе там бастовали железнодорожники, обслуживающие пригородное движение, учителя, студенты, стенографистки, машинисты, пожарники и костюмеры парижской Оперы. В те же дни во Франции шла война; стычки виноделов с жандармами в Монтредоне стоили жизни двум человекам. Как в хорошей драме, хроника печальных событий сопровождалась элементами фарса. Однажды я прочел в газетах сообщение о том, что Джекки, представительница «коллектива» парижских проституток, послала президенту республики приглашение на обед, намереваясь рассказать ему о притеснениях, которым подвергаются девушки, практикующие «самую древнюю в мире профессию»: с одной стороны, их штрафуют за их промысел, и в то же время требуют уплаты налогов за предполагаемый заработок. В беседе с журналистами Джекки пригрозила, что, если президент не откликнется на ее приглашение и ничего не будет сделано для облегчения условий работы девушек, она опубликует книгу, в которой расскажет «все до конца». Представители других коллективов не звали президента на обед, а пожарники и машинисты парижской Оперы сорвали ему гала-спектакль: они забастовали

именно в тот день, когда он пригласил на представление «Похищение из серала» именитых гостей. Рассерженный президент будто бы припролил прекратить государственные субсидии Опере.

В духовном облике современного парижанина есть что-то неожиданное, негармоничное. Он рассудочен, но в то же время темпераментен, слишком увлекаем, склонен к преувеличениям, он не любит власть имущих, накопителей, эксплуататоров, но и сам заражен жадой приобретать, мещанскими грезами, духом биржевой игры, он своенравен и склонен к непримиримости, но в то же время легко поддается новым модам и внушениям пропаганды. Все люди подвержены влиянию среды, массовые идеи всюду распространяются, как радиоволны. Но воздух Парижа особенно благоприятствует этому явлению. Переменчивость, сомнение и отрицание вкраплены здесь и в борьбу, цели которой не вызывают сомнений. Разве удивительно, что это ослабляет ее действенность?

Я несколько раз видел в Париже студенческие демонстрации. Сотни, а иногда тысячи юношей и девушек маршировали по улицам, скандируя свои лозунги или напевая их на мотив песенки «Мадемуазель Анжела». Впереди колонны несли транспарант с надписью: «Алис уступит. Парижский университет победит!» Я спросил одного из студентов, раздававших листовки прохожим, кто эта Алис, и узнал, что речь идет о мадам Алис Сойте-Сонье, государственном секретаре по высшему образованию, авторе нового законопроекта, который студентов не устраивает. На другой день я видел в газетах фотографию: привлекательная молодая дама в белой блузке широким жестом протягивала руку представителям студентов. Они, однако, не торопятся ее пожать. Они стоят насупившись, с папками в руках, эти сердитые молодые люди, не разделяющие мнения министра, что студенческое волнение вызвано, собственно, не новым законом, а «великим страхом перед жизнью», который характерен для нынешнего поколения слушателей французских университетов. Впрочем, позвоительно было бы спросить министра: а разве новый закон не есть составная часть того самого будущего, которого боятся студенты?

Но вот однажды я наблюдал, как начиналась студенческая демонстрация, как строились в колонну различные группы, пришедшие с разных факультетов со своими плакатами, и оказалось, что студенты воюют не только против злой Алис, но и друг с другом, не признают свои собственные организации. В колонне то и дело вспыхивали скандалы: группа правых студентов не соглашалась маршировать под лозунгами Всеобщей ассоциации французских студентов на том основании, что в ее руководстве много коммунистов, другие требовали удаления плакатов Лиги революционных студентов, обвиняя ее в том, что она стремится манипулировать настроениями студенческих масс. Никто никого не признавал, все руководители, организации, лозунги, планы действия подвергались сомнению. Это была правда не только студенческого движения, но и города. Такова общая атмосфера парижской жизни, от нее никому не уйти.

Я уже ничему не удивлялся, хотя многого еще не знал. Увидев однажды, как владельцы магазинов в районе Оперы поспешно опускают шторы на витринах, а по улице впереди студенческой демонстрации пробегает какие-то люди, на ходу бросая друг в друга камнями, я сначала подумал, что студенты почему-то дерутся между собой, несмотря на то, что из синих полицейских автобусов уже выскакивают специально обученные для борьбы с демонстрантами ажаны, похожие на фехтовальщиков в своих касках и узких, облегающих костюмах. Потом где-то неподалеку раздался звон разбитого стекла. Обернувшись, я увидел, как у только что разбитой витрины два длинноволосых парня набросились на третьего, внешне ничем от них не отличающегося, и пытаются повалить его на тротуар.

— Что здесь происходит? — спросил я у молодого человека, который стоял рядом со мной и с усмешкой наблюдал сцену у витрины. Он был похож на студента, однако стоял совершенно спокойно, то, что происходило на улице, по-видимому, его не касалось.

— Ле кассёр, — ответил он кратко.

— Что? — спросил я, лихорадочно припоминая: кассе — ломать, взламывать, колоть...

— Ле кассёр,— повторил он.— Вы не понимаете? К студентам прилипают полууголовники — специалисты по ограблению витрин. Они занимаются этим промыслом и независимо от студентов, но самое удобное для них время — уличные демонстрации. Они читают студенческие газеты и заранее знают, когда и где будет демонстрация. Внешне они и сами похожи на студентов, так что их можно видеть в первых рядах демонстрантов. Я знаю двух таких типов — неглупые парни. Они посмеиваются над студентами: все равно демонстрации ни к чему не приведут, а вот удачно разбитая витрина приносит от одной до двух тысяч франков. Они еще и возмущаются: студенты организовали группы самообороны и воюют теперь со взломщиками витрин с еще большей яростью, чем полицейские. А ведь кассёры считают и себя жертвами общества. Только они борются с ним своим способом.

Молодой человек говорил совершенно спокойно, он давно привык к таким вещам. Тем временем демонстрация удалась, и мимо нас в последний раз пробежали какие-то молодые люди, преследующие друг друга. Трудно было понять, кто здесь студенты, кто грабители, охотящиеся за товарами из витрин, а кто филеры, преследующие и тех и других. Я вспомнил пух и куриные перья на площади Бастилии. Сцена, которую я теперь наблюдал на бульваре, была странной и нелепой, но без этого, как я уже понимал, невозможно разобраться в своеобразии сегодняшней парижской жизни. Между прочим, я так и не узнал, в чем заключался смысл «дикой» распродажи цыплят на площади Бастилии, никто из опрошенных мною парижан этого не знал. Причина их неосведомленности была очень проста: здесь попросту невозможно уследить за всеми демонстрациями, забастовками, протестами, запомнить, почему вышли на улицу те или иные демонстранты и что говорилось в листовках, которые раздавались прохожим в тот или иной день недели.

Это, пожалуй, самая примечательная черта Парижа — его одержимость и неуверенность в своей мечте изменить жизнь. Какой-то особой притягательной силой обладают здесь идеи нового обществоустройства. Нет такого социального прожекта, который не нашел бы здесь пусть немногочисленных, но шумных сторонников. Соблазны Парижа для иностранных туристов не изменились — это все те же шедевры Лувра, ретроспективные площади и бульвары, пышные дворцы, отели, памятники, магазины мод, кафе, кабачки, картинные галереи. А соблазн, который больше всех других завораживает самих парижан,— это мечта об изменении жизни, упорное стремление нарушить статус-кво, найти что-то новое. Было время, когда все, кто писал о Париже, не забывали упомянуть его благодуществующих сибаритов и рантье — «французы умеют жить», говорили в самых разных странах. Сейчас иностранец видит здесь главным образом благодущных туристов и постоянно волнующихся, митингующих, бастующих, демонстрирующих парижан. Здесь нет ни небоскребов, ни размышлений Ивана Карамзова писал в 30-х годах один русский писатель. Теперь и этого уже не скажешь, особенно про небоскребы. В Париже теперь есть даже министерство по улучшению качества жизни. Но никакие мази и бинты, накладываемые традиционными правительствами, уже не в состоянии изменить брожение, которое все время прорывается наружу.

Изменить жизнь. Но как? Для чего?

Общественные мечты и страсти бывают загадочнее, чем они кажутся на первый взгляд. Стремление к переменам заводит иногда в такие идеологические дебри и тупики, что только диву даешься, как могут люди образованные, вероятно, и неглупые, выросшие в городе, где существуют традиционные духовные ценности, поддаваться глупейшему обману и принимать трескучие, ничего не значащие фразы за некое откровение, указывающее новый путь жизни.

...Метро «Сен-Мишель». Оно окружено лабиринтом улочек и тесных проулков, где, помимо обязательных кафе и бистро, есть еще и маленькие кинотеатры, каждый из которых рассчитан на несколько десятков зрителей. Я побывал в них в те дни, когда там показывали серию документальных фильмов о Китае под общим названием «Как Юконг переместил горы». Отснял эти ленты старый западноевропейский документалист, задавшийся целью показать, как идеи Мао преобразовывают современный Китай. Но он добился прямо противоположных результатов. Эти суетящиеся массы китайцев,

эти бесконечные дискуссии о «ревизионизме», эти самообличения, самоистязания профессоров и ученых, которые говорят, говорят без остановки, без тени сомнения и, по-видимому, совершенно не задумываясь над смыслом своих речей, эти бесчисленные стенные газеты дацзыбао, то внезапно появляющиеся, то столь же внезапно по мановению чьей-то невидимой руки исчезающие... Да, это поразительное зрелище, но говорит оно совсем не о том, что, видимо, хотел доказать автор этих кинолент. Буквально в каждом кадре чувствуется страшная угнетающая сила, способная превращать людей в жестоких муравьев, готовых по первому знаку набрасываться на всех, на кого им укажут, а также друг на друга. Смотришь на эти сотни тысяч, миллионы китайцев, которых заставляют повторять хором одни и те же слова-лозунги, отказываться от своей собственной речи, от собственных мыслей и чувств и поклоняться идолу, и удивляешься, как можно все это показывать парижанам, в которых столь развиты личное начало, здравый смысл и дух независимости.

— Как вам понравилось то, что мы видели? — спросил я молодого человека с черной мезистофельской бородкой, сидевшего рядом со мной в кинозале, когда мы вместе выходили на улицу. На нем была черная куртка, в руках большой кожаный портфель; судя по виду — аспирант или даже молодой преподаватель.

— Очень интересно, — охотно ответил он. — Поразительный пример устройства, достойного удивления и восхищения.

— А не показалось ли вам, что это устройство несколько напоминает лагерные сцены?

Он сухо посмотрел на меня и сказал:

— Нынешняя Франция — вот истинный концлагерь!

Он ошеломил меня, и я не знал, что сказать, и только подумал: удивительно, как все эти европейские гошисты уверены, что варварские методы устройства новой жизни у них, в Западной Европе, непременно приобретут благородный характер. Что это — глупость? Или аморальность, и уже без маски? Закрытие университетов, насильственная отправка профессоров и студентов в отдаленные районы на перевоспитание — все это они считают вполне разумным и правильным для Китая или Кампучии. Но вот в Париже «культурная революция» будет означать жизнь в тех же кафе, веселые демонстрации и митинги в захваченных аудиториях и театрах, соревнование в придумывании парадоксальных лозунгов, как это уже было в шестьдесят восьмом году, в знаменитый май, который оставил после себя свою собственную «красную книжечку»: в ней собраны надписи, сделанные тогда на стенах Сорбонны и театра «Одеон», захваченного студентами. Я обнаружил ее на прилавке одного букинистического магазина и долго не мог оторваться от чтения:

«Освободитесь от Сорбонны! (Подожгите ее.)»,

«Будьте реалистами — требуйте невозможного!»,

«Занимайтесь любовью. А когда кончите — начните сначала»,

«Да здравствует насилие и изнасилование!»,

«Никаких угрызений совести!»,

«Изобретайте новые сексуальные извращения! (Я уже не могу.)»,

«Не ездите в Грецию этим летом, оставайтесь в Сорбонне»,

«Ни учителей, ни бога. Бог — это я»,

«Беситесь!»,

«Искусство — это дерьмо»,

«Не докучайте себе, докучайте другим! Бешеные...».

Мифический Юконг, который «переместил горы», нашел в Париже поклонников и в некоторых солидных редакциях: газета «Монд» отвела сочувственному разбору китайских кинофильмов две полные страницы и напечатала пространное интервью с кинорежиссером. Выступал он и по французскому телевидению. Слушая его и читая рассуждения его сторонников, я представлял себе, будто присутствую на спектакле, устроенном сумасшедшими. Все это происходит в Париже? В городе, где всегда поклонялись разуму, где видели прогресс — в образовании, волшебство — в свободе, оплот — в науке и культуре?..

И все же рядом с данью легкокрылой моде, снобизмом ощущаешь главное: по-

требность более справедливого общественного устройства в Париже неугасима. Она в традиции города, в крови его обитателей. Но общество страшно усложнилось. Пропасть между имущими и неимущими выглядит в наши дни не так, как во времена санкюлотов. Более того: немало бедных отравлено предрассудками и страстями тех, против кого они ведут борьбу.

Самое распространенное ходячее выражение, встречающееся день за днем в газетных статьях, речах, манифестах, программных заявлениях, это ну контекстон (мы сомневаемся, оспариваем, не признаем!). Но каждое сомнение уживается рядом со своей противоположностью, старым суеверием, предрассудком, мифом. Почти сто лет назад Толстой спрашивал:

«Машины, чтобы делать что? Телеграфы, чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей — чтобы делать что?»

Это как будто написано о сегодняшнем Париже. В городе, где собрано столько богатств, где так много передовой техники и удобств, со всей ясностью выяснилось, что все это само по себе не дает ни удовлетворения, ни успокоения даже тем, кто имеет возможность всем этим пользоваться. Но как далеко еще многим парижским сторонникам контекстасион до понимания того, что хотел выразить Толстой.

«Жить правильно» — но что означает «правильная» жизнь? В Париже множество людей считают не только правильным, но даже само собой разумеющимся, что нужно летать и ездить все быстрее. И они же возмущаются загрязнением среды промышленностью и авиацией. Люди, охотно пользующиеся услугами банковских и посреднических контор, маклеров, агентов по рекламе, осуждают механизм, создавший эти конторы и услуги. Ценители своеволия, эгоисты и эгоцентристы восхваляют принуждение, разумеется не то, которое могло бы затронуть их самих, а насилие, применяемое где-нибудь в Азии или Африке. Не зная, что делать с собственной жизнью, с ее несправедливостью, ложью и скукой, они совершенно точно знают, что надо делать со всеми другими людьми, как научить их «правильно жить».

...Сегодня я прошелся по городу в последний раз. Пепельно-синий день, полный солнца и ветра, который то и дело нагонял тучи. Вот Елисейские поля и большая Триумфальная арка. Вот сад Тюильри, Лувр, малая Триумфальная арка на площади Карусель. Вот витрины, в которых выставлены последние новинки парижской моды, и стекла кафе, за которыми сидят последние прибывшие в Париж туристы. Вот памятники — воспоминание об истории Франции, ее королях и революционерах, ее философах и великих писателях. Все в порядке: как и миллионы других иностранцев, побывавших здесь до меня, я увидел воочию все то, о чем написано в справочниках, монографиях, романах. Но почему меня не покидает смутное чувство неудовлетворенности и тревоги? Я смотрю в последний раз на Сену. Это всего лишь река, петляющая между каменными городскими массивами, Париж не расположен на воде. Почему же мне кажется, что город уплывает?

Завтра я уезжаю из Парижа, увозя с собой восхищение этим сложным, запутанным, сумасшедшим городом, преклонение перед его красотой и разочарование его бездумным подчинением современной технике, никогда не смолкающим гулом его бесчисленных автомобилей, воздухом, пропитанным выхлопными газами, голизной и схематичностью его небоскребов. И я не могу избавиться от тяжелых сомнений, вспоминая парижскую духовную жизнь, в которой так много разнообразия, поэты, суеты, но мало вдохновенности и мудрости, такая острая жажда «жить правильно» и такое поверхностное понимание норм и принципов, идей и средств, которые могут привести к такой жизни.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Ч. ЧАПЛИН: «Я ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

Бесстрастный телеграф отстукал сообщение, которое заставило сжаться сердца многих людей: «25 декабря 1977 года в возрасте 88 лет в Швейцарии скончался выдающийся мастер мирового кино Чарльз Спенсер Чаплин...» Из жизни ушел удивительнейший артист, талантливый режиссер, автор многих фильмов, вошедших в золотой фонд мирового искусства. Из жизни ушел человек, обладавший печальной улыбкой, человек, горевший желанием помочь всем обиженным и обездоленным социальным строем — людям всей земли. Он ушел, но его голос в защиту угнетенных еще долго будет звучать... Ушел из жизни человек, имевший смелость одним из первых в Америке не скрывать своего расположения к Стране Советов. Именно об этом хотелось бы сегодня вспомнить, отдавая дань светлой памяти Ч. Чаплина.

Перенесемся мысленно в Соединенные Штаты Америки 1941 года и с помощью некоторых ныне забытых документальных материалов восстановим события, не столь далекие от наших дней¹. Где-то очень-очень далеко, в Старом Свете, фашистская Германия напала на Советский Союз. Американский обыватель, рассудив, что из этого события не извлечь прибыли, разве только убытки, поначалу совершенно спокойно отнесся к новому витку мировой войны. Водное пространство двух океанов, мощь вооруженных сил, казалось, надежно защищали его дом — его крепость. Пусть там, в Европе, дерутся, думал он, пусть убивают друг друга, и зачем это наше правительство 24 июня 1941 года неосмотрительно приняло решение о готовности оказать помощь красной России в борьбе против гитлеризма?

Конец первого года войны для Советского Союза выдался особенно тяжелым, хотя и последующие годы были не из легких. Враг захватил значительную часть европейской территории страны. Фашистские орды вплотную подошли к Москве. Из сильных биноклей можно было различить звезды на башнях Кремля.

Но социалистическая Москва выстояла и не только сдержала бешеный натиск непрошенных пришельцев, но и сама перешла в решительное наступление.

В канун нового, 1942 года по каналам Всесоюзного общества культурной связи с заграницей из далекой Америки в числе других десятков искренних и теплых поздравлений и пожеланий быстрой победы поступило новогоднее послание советскому народу от Ч. Чаплина. «Будучи сторонником свободы и прав всех народов на земном шаре,— писал он,— я хочу поблагодарить граждан СССР за их блестящую борьбу против тиранов, которые пытаются поработить все человечество. Мужество, героизм и самопожертвование, проявленные русскими,— это высшее проявление патриотизма, выходящее человечество. Те, кто отдает свои жизни за это великое дело, не умирают, ибо дух, который посылает ваших героев на борьбу, является силой, из которой возникает жизнь. Пусть новый год принесет победу, мир и братство всему человечеству!»

До желанной победы, однако, было весьма далеко. Война приняла затяжной характер. Со временем все большее число людей в мире начинали понимать, что от исхода единоборства Советского Союза и гитлеровской Германии зависит во многом, каким будет завтрашний день всей планеты. Экспансионистские, захватнические планы Гитлера, мечтавшего о создании мировой «коричневой» империи, грозили потерей свободы

¹ В данном сообщении использованы материалы фонда Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), который хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР (ЦГАОР СССР). Тексты выступлений Ч. Чаплина даются в русском переводе, сделанном ВОКСом.

любому гражданину любой страны, как бы далеко или близко он ни находился по отношению к очагу войны. Все большее число американцев осознают вселенский характер европейских военных событий и потому все более четко определяют свое отношение к войне.

Для Ч. Чаплина не было вопроса, с кем он — с Германией или СССР. Одним из первых американцев он дал понять общественности США, что его симпатии целиком и полностью на стороне советских людей, ведущих справедливую, освободительную борьбу. Одним из первых американцев артист приходит к мысли о том, что свобода его страны находится в прямой зависимости от той моральной и материальной поддержки, которую по долгу совести обязаны оказать России Соединенные Штаты Америки. Одним из первых американцев Ч. Чаплин открыто выступает за скорейшее создание второго фронта, о котором широкообъявительно объявило правительство США.

20 октября 1942 года в Нью-Йорке состоялся массовый митинг, организованный Комитетом Победы американских художников. Участники митинга требовали открытия второго фронта. Наибольшее впечатление произвела речь Ч. Чаплина, которую он озглавил «Я призываю».

«Второй фронт,— говорил великий артист,— сейчас нужен больше, чем когда-либо. Мы должны делать что-то более решительное. Америка не хочет, чтобы другой народ воевал за нее. Америка страстно хочет принять участие в борьбе.

Это серьезный и напряженный момент. Я верю, что если мы поддержим Россию теперь, то война может закончиться еще в этом году.

Немцы боятся двух фронтов, и я призываю вас — давайте откроем второй фронт. Это не только моя идея. Это инстинкт народа. И этот инстинкт правилен.

Гранит России, демократической страны, подвергся более жестоким ударам, чем другие страны. В Америке, в Англии, во всем мире мы должны сейчас сконцентрироваться на этой линии фронта. Я знаю хорошо: если мы это сделаем, то агрессия рухнет, как карточный домик.

Русский народ, который может так мужественно и стойко бороться за свою страну и идею, я говорю, почти святой; русские люди, должно быть, имеют чувство чего-то вечного в своих душах. Снова я повторяю: они почти боги.

Существует только одна цель, на которой мы должны сосредоточить все наши силы,— это разбить Гитлера и его банду сейчас же.

На полях сражений в России решается вопрос: будет жить или умрет демократия. Судьба союзных наций в руках советского народа.

Если бы Россия проиграла войну, весь громадный и богатый азиатский континент оказался бы под властью нацистов. Какие тогда будут у нас шансы победить Гитлера? Со всеми трудностями транспорта, с проблемой наших путей сообщения, исчисляемых тысячами миль, проблемами стали, нефти, каучука, лицом к лицу с гитлеровской стратегией раздела и завоевания мира — мы были бы поставлены в отчаянное положение. Некоторые говорят, что это продлило бы войну на 10—20 лет. С моей точки зрения, это оптимистический прогноз — в таких условиях будущий мир был бы очень неопределенным.

Русские нуждаются в помощи. Необходим второй фронт! В союзных государствах есть несколько различных мнений о том, возможно ли немедленно открыть второй фронт. раздаются голоса, что союзники еще не имеют достаточного количества военных материалов для питания второго фронта. Говорят, что союзники не хотят рисковать вторым фронтом, пока полностью не будут уверены в успехе и не приготовятся окончательно.

Но имеем ли мы право ждать? Можем ли мы позволить себе считать, что мы в безопасности? Как известно, безопасной стратегии не может быть в войне.

Мы знаем о больших экспедициях, готовых к высадке. 95 процентов наших конвойных кораблей благополучно прибывают в Европу. Два миллиона англичан с полным вооружением готовы к высадке, готовы выступить. Чего же мы ждем? Мы должны честно сказать, что мы думаем.

Россия — ведущая страна демократического фронта. Когда нашему миру, нашей жизни, цивилизации грозит гибель, мы должны рисковать и спасти их.

Если немцы добьются успеха на Кавказе, это будет громадным ударом для дела союзников.

Фашистские волки стремятся нас закабалить. Они хотят отнять нашу свободу, контролировать наши мысли, изменить наш язык и властвовать над нашими жизнями. Мира с Гитлером не может быть. Если земля будет управляться гестапо, человечество не будет больше прогрессировать. Кончатся всякие права меньшинств — все это будет уничтожено и искоренено.

Поборники демократии, все, кому дорога свобода, будьте начеку! Если мы сохраним моральную силу духа, победа будет обеспечена».

Гражданская смелость и яркая политическая окраска выступления Ч. Чаплина пришлось не по вкусу власти предрежащим в Америке. Искренняя восхищенность народом СССР, его воинами и стремление артиста помочь советскому народу стали объектом нападков со стороны всех средств массовой информации.

Начавшаяся кампания преследования не остановила Ч. Чаплина. 3 декабря 1942 года он вновь выступает публично и вновь признается в своих симпатиях к коммунистическим идеалам. В отеле «Пенсильвания» на обеде, организованном Комитетом по проведению недели русского искусства при Комитете помощи России, Ч. Чаплин говорил так:

«Господин председатель, леди и джентльмены! Быть гостем на собрании, посвященном такому великому делу, как помощь России, поистине приятно и почетно. Я также ощущаю в себе честолюбивое желание помочь делу «сохранения культуры и искусств для будущего свободного мира».

Коммунизм — форма правления, за которую сражается Россия, и из того, как она сражается, я делаю вывод, что русским эта система очень нравится.

Немцам приходится биться за каждую пядь земли... Чтобы уйти из России, если они вообще смогут уйти оттуда, живыми... Сейчас около 400 000 немцев находится в мешке, и, я надеюсь, они никогда оттуда не выберутся.

Эта война смела и уничтожила много бессмыслицы и лицемерия... Так или иначе, вся грязная клевета о коммунизме тает, как туман при солнечном свете.

Защита Сталинграда — тоже коммунизм, и я могу привести еще несколько подобных фактов.

В 1914 году в России было 70 процентов неграмотных, сегодня их только 7 процентов. Это тоже коммунизм.

Обязательное семилетнее обучение для каждого ребенка и возможность поступить в высшую школу для каждого желающего — это тоже коммунизм.

Меня спрашивают — этого ли я хочу? Я могу ответить только словами: «Мы не стоим на месте, мы движемся. Мы не останавливаемся. Нет ничего вечного в жизни. Даже человеческое горе минует».

Я не хочу возврата к дням, когда сжигались миллионы тонн кофе, миллионы бушелей пшеницы, когда горы апельсинов обливались годным к употреблению газOLIном, чтобы сохранить чью-то прибыль.

Мы не хотим возврата к тем дням, когда половина нашей страны была раздета, лишена жилища и пищи. Какой больной и безумный мир! Какой обвинительный акт против XX столетия! Ничего удивительного, что такой мир родил Гитлера!

Мы в этой стране демократии обязаны добиться лучшего! Таковы мои взгляды, и, поверьте мне, я не коммунист. Но потому, что так велика антикоммунистическая пропаганда, которую ведут реакционеры в прессе, я чувствую себя на стороне коммунистов.

Я приветствую тебя, Россия, ибо ничто не может остановить тебя на пути прогресса, ничто — даже фашисты со всей своей звериной жестокостью, со всей своей организованной мощью — не могут победить тебя!»

Да, Ч. Чаплин никогда не был коммунистом. Его понимание сущности коммунистических начал было довольно наивным. Но будучи большим художником, обостренно воспринимавшим мир, он не мог не почувствовать истинной правды жизни, правоты исторических перипетий. А познав правду, Ч. Чаплин не мог оставаться к ней равнодушным, бездеятельным и потому продолжал бороться за свои взгляды, за свои идеи.

Другим его выступлением была речь в Сан-Франциско на митинге, проведенном Комитетом помощи России в войне под лозунгом «Наполним корабли!». Основную свою цель Ч. Чаплин сформулировал следующим образом:

«Передовая линия демократии проходит на русском фронте. Они сражаются не только за себя, за свои принципы понимания жизни, но и за наши...»

Сегодня мы должны перед всем народом сказать, как мы понимаем истину. Сейчас не время быть поверхностным или снисходительным. Народ спрашивает: «Кто эти коммунисты?» Это люди, которые умирали тысячами — правда, не за наши идеалы, а за свои, но все же тысячами. Говорят, что они безбожный народ, но если они умирают тысячами за идею, как они это делают, — они не безбожники...»

В заключение Ч. Чаплин отметил:

«Россия обладает духовной цельностью. Я не знаю, что такое коммунизм. Но если он производит людей подобно тем, которые сражаются на русском фронте, мы должны уважать его.»

Настало время отбросить всякую клевету, потому что они отдают свою жизнь и кровь за то, чтобы мы могли жить. Нам следовало бы отдать не только наши деньги, но и всю духовную способность к дружбе, которой мы обладаем, чтобы помочь им».

Легко себе представить, какой переполох в официальном стане США произвели подобные выступления Ч. Чаплина. Против него единым строем выступили все газеты треста Херста. Эту бесподобную по своим масштабам и средствам травлю артиста и гражданина описал в своем письме в ВОКС К. М. Симонов, побывавший в гостях у Ч. Чаплина в 1946 году:

«С 1942 года, когда впервые в Америке Чаплин произнес чрезвычайно резкую и непримиримую речь о позорности дальнейших затяжек с открытием второго фронта и необходимости немедленно открыть его, в американской правой прессе началась систематическая травля Чаплина, причем это усугублялось тем обстоятельством, что на Западном берегу, где живет Чаплин, как раз основная часть прессы — и Лос-Анжелоса и Сан-Франциско — в руках Херста.»

Все эти годы Чаплина травят по самым различным линиям: и по линии его приверженности к левым течениям, называя его «красным», «просоветским» и т. д. и т. п., и по той линии, что он якобы плохой американец, потому что до сих пор не принял американского гражданства (и в самом деле он его не принял: с тех пор как он приехал из Англии, он остался английским подданным).

И наконец, беспрестанная травля идет по личной линии, причем создаются провокационные дутые процессы, на которых выступают девицы, которых Чаплин якобы обесчестил и у которых от него дети. Последний из этих процессов кончился всего за несколько дней до моего приезда в Голливуд...

В общем, с ним осуществляется старый метод американской прессы. Когда она не может целиком шельмовать человека по общественной линии, политической, то травля переносится в область искусственно создаваемых личных скандалов».

Но у Ч. Чаплина были в Америке и настоящие друзья, которые его поддерживали, ободряли в трудные минуты. В их числе газета американских коммунистов «Дейли уоркер».

Были у Ч. Чаплина настоящие друзья и за рубежом, и прежде всего в Советском Союзе.

Советские люди знают великого артиста, любят его фильмы и будут всегда помнить человека с печальной улыбкой.

Ю. ФЕДИНСКИЙ.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

М. КУДИНОВ



СТИХОТВОРЕНИЯ ВОЛЬТЕРА

Вольтер умер 30 мая 1778 года в возрасте восьмидесяти четырех лет. Этим же годом помечено его последнее стихотворение «Прощание с жизнью».

От школьной скамьи и до глубокой старости поэзия сопутствовала ему, хотя занимала далеко не главное место в его творчестве: он жил в эпоху, когда лирика почти прекратила во Франции свое существование. Почти, но не совсем, чему свидетельство стихи самого Вольтера, отмеченные печатью удивительной и неповторимой личности их создателя, «великана сей эпохи», как назвал его Пушкин.

Все публикуемые здесь стихотворения даны в новом переводе. Часть из них переведена на русский язык впервые.

НАДПИСЬ ПОД ПОРТРЕТОМ ЛЕЙБНИЦА

Весь мир его узнал по изданным трудам,
Был даже край родной с ним вынужден считаться;
Уроки мудрости давал он мудрецам,
Он был мудрее их: умел он сомневаться.

К МАДАМ ДЕ ***

Узрев Траяна наших дней,
Пред ним не преклоню колени;
Власть ваших глаз куда сильней,
Но не от них мое смятенье;
Красивых женщин и царей
Боюсь я: им всего милей
Держать нас в рабском подчиненье..
Влюблен в свободу я — и вот
Взгляните: по душе мне гнет
И цепи, что сулят мне счастье.
Тому виной ваш ум и нрав:
В сто крат дано им больше прав,
Чем красоте и царской власти!

К МЕСЬЕ ПАЛЛЮ

Поэт английский, признанный толпой
И слывший мудрецом в своей отчизне,
Сказал, что есть всего три блага в жизни:
Наличие средств, здоровье и покой.
А где ж любовь? Ниспослан небесами
Нам этот дар, что в список не включен.
Мне жаль поэта: счастлив не был он!
А был ли мудр, о том судите сами.

К МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ГИЗ

Вы обладаете изяществом, умом,
Прелестной внешностью... И только не хватает
Того, кто это вам сказал бы и притом
Был сам из тех, кто этим обладает.

ОТВЕТ ОБЩЕСТВУ ВЕРОТЕРПИМОСТИ ГОРОДА БОРДО

Коль вы хотите строить храм
Веротерпимости, я тоже
Свой вклад внесу: мне, как и вам,
Терпимость всех святых дороже.

Да! Вашим каменщикам я
Прислал бы матерьял хороший:
Те камни, коими меня
Хотят в церквах побить святоши.

Однако не в пример иным
Я по евангельским заветам,
Как христианин, прощаю злым,
Прощаю дуракам отпетым.

ЭПИГРАММА

Прекрасный бюст вчера мне показали:
Аббат Сен-Пьер, не кто-нибудь иной,
Изваянный возник неожиданно в зале
И как живой предстал передо мной.

Смущен я был и удивлен немало:
Из камня он? А может, во плоти?
Нет! Это бюст: уста оригинала
Разверзлись бы... и стали б чужь нести.

РАКА С МОЩАМИ

От Суеверья дар подобный
Могла лишь Глупость получить.
Молчи, Рассудок! Неудобно
Нам сор из Церкви выносить.

ЭПИГРАММА

Французы, что умом рехнулись,
Поход в Италию свершили,
И там они заполучили
Неаполь, Геную и люэс.

Из Генуи прогнали вон,
Неаполь был потерян тоже,
Но кое-что осталось все же,
Поскольку люэс сохранен.

ЭПИТАФИЯ

Покоится здесь прах того,
Кто для себя лишь одного

На свете жил... А ты, прохожий,
 Живи не так и не затем,
 Чтоб о тебе сказали тоже:
 «Уж лучше бы не жил совсем».

ЭПИГРАММА

Алиборон, томясь от коллик злых
 И в страхе перед вечной мукой ада,
 Покаяться решил в грехах своих
 И список их, составленный как надо,
 Представил исповеднику на суд.
 Как ни верти, всего хватало тут:
 Гордыни глупой, пьянства, лжи, притворства,
 Бессовестности, злобного упорства —
 Не пропустил он вроде ничего
 И потрудился, кажется, немало...
 И все же не хватало одного:
 Невежества в том списке не хватало.

К МАДАМ ДЕ ***, КОТОРАЯ ПОДАРИЛА АВТОРУ РОЗОВЫЙ КУСТ

Вы мой украсили приют,
 Где от возни глупцов я скрылся
 И где, свой завершая труд,
 Я к мирной жизни приобщился.
 Благодаря таким дарам,
 Когда брожу я вдоль аллеи,
 Мой сад, что я возделал сам,
 Становится еще милее.
 И мне счастливый век Астрей
 На ум приходит: предо мной
 Прелестный образ возникает,
 Что лепестками устилает
 Тернистый этот путь земной.

ПРОЕЗЖАЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЕВНЮ ЛАФЕЛЬТ¹

Все в запустении. Пропитан кровью прах.
 Погибших воинов могилы.
 О, мне куда милей колосья на полях,
 Чем славы урожай и этот лавр унылый!
 Зачем же лили кровь, сражаясь до конца?
 Чтоб только овладеть деревнею несчастной?
 Велик их подвиг был. В глазах же мудреца
 То было жертвою напрасной.

МОЛОДОЙ ДАМЕ, КОТОРАЯ ПЕЛА НА ЗВАНОМ УЖИНЕ

Какое наслажденье ей внимать!
 И как смотреть мне на нее опасно!
 Так совершенно все в ней, так прекрасно,

¹ Бельгийская деревня, близ которой французские войска в 1747 году одержали победу над англичанами.

Так молодо, что как тут не сказать:
Уж поздно мне чего-то ждать напрасно
И слишком рано ничего не ждать.

К МЕСЬЕ ***

Что я себя похоронил,
Сказали вы, и это верно.
Но склеп мой, право же, мне мил,
А вам, живым, живется скверно.
Смог от безумств укрыться я,
От королей вдали держаться,
И вот, похоронив себя,
Учусь я жизнью наслаждаться.

К МЕСЬЕ ***

Мне вскоре предстоит проделать долгий путь
К пределам вечности, откуда нет возврата;
И вряд ли кто-нибудь решится присягнуть,
Что бог пришлет за мной, как за Ильей когда-то,
Карету пышную с четверкой лошадей:
Привык он дорожить конюшнею своей
И прежний этикет не соблюдает свято...
Все изменяется на небе и земле,
Удобства не в чести у Нового завета:
Когда-то подана была Илье карета,
А после сам Христос уж трясся на осле.

К МАДАМ ДЕ СЕН-ЖЮЛЬЕН

Обремененный грузом лет,
Жил филин, век свой коротая;
А рядом чиж, его сосед,
Пел песни, перьями сверкая.
Прелестный чижик мой, к чему
И этот блеск и это пенье?
Вам не дано вернуть ему
Ни слух потерянный, ни зренье.

ИЗ СЕНЕКИ

Не трепещи, коль близок твой черед.
Не нужно ни надежд, ни утешенья.
Ты хочешь знать, что после смерти ждет?
Представь себя до своего рожденья.

К МЕСЬЕ ***

Химеры, что меня когда-то увлекали,
Не властны над душой моей:
От них отрекся я, мне безразличны стали
Признание публики и милость королей.
Мираж бессмертия? Он как мираж в пустыне.
Мне день сегодняшний куда милей, чем он!
Жизнь близится к концу, и каждый день мой ныне
Лучом свободы озарен.

Ее боготворя, я ей бывал неверен,
Но искупить вину сумею все равно;
Я для нее живу и лишь в одном уверен:
Другого счастья не дано.

ПРОЩАНИЕ С ЖИЗНЬЮ

Париж, 1778 год

Прощайте! Отправляюсь я
В тот край, откуда нет возврата;
Прощайте навсегда, друзья,
Чье сердце скорбью не объято.
Прощайте и враги! Я дам
Вам повод к смеху, но похоже,
Что в край забвения и вам,
К писаньям вашим и трудам,
Путь предстоит, и в свой черед
Над вами посмеются тоже.
Роль сыграна, и настает
Пора исчезнуть, но веками
Со сцены жизни наш уход
Сопровождается свистками.
Я видел в их последний час
Вельмож беспомощно покорных,
Епископов, чей взгляд угас,
И умирающих придворных.
Напрасно к их одру спешил
Для соблюдения обряда
Кюре, все делавший как надо,
Напрасно душу их кропил,
Когда она рвалась из тела:
Лишь поводом к насмешке был
Конец их, не венчавший дела.
Сатира краткий свой набег
На их поступки совершила,
Потом забыть их поспешила,
И фарс окончился навек.
Одно я знаю: отмечает
Судьба среди живых того,
Кто жизнь в безвестности кончает.
И не боится ничего.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. СУРОВЦЕВ



МИР ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ*

Женская лирика: обзор мотивов и попытки портретов

... **Т**ак и можно было бы продолжать вести обзор сегодняшней женской лирики, как делалось это в первой статье,— по «экстенсивному» принципу: вот одна группа мотивов, вот другая, а за нею и следующая, третья. И если я теперь прерываю ряд, то не только потому и прежде всего не потому, что надо с самого начала развеять возможное у читателя впечатление монотонности избранного композиционного приема, но главным образом из-за боязни упустить из виду — при эдакой композиции статьи — ни много ни мало, а индивидуальности, творческое своеобразие наших поэтесс.

Ведь в самом деле: все, что было сказано, хотя и давало определенное представление о характере творческой личности авторов, все же не обнаруживало некое цельное ее изображение. Нас интересовала женская лирика, ее распространенные на сегодняшний день мотивы, чтобы по ним можно было в какой-то мере воссоздать обобщенный, суммированный портрет лирической поэтессы наших дней, круг ее интересов и душевных переживаний. Прием законный в критике, особенно обзорной, мы и дальше на некоторых распространенных мотивах будем задерживаться в этой статье, но уже наряду с портретами индивидуальными, подчеркивая черты личного своеобразия. Искусство, поэзия не соглашаются с одним только суммированием, обобщением типового. Интеграция, коль скоро она оправдана в глазах критика, литературоведа, требует от них же и умения дифференцировать: типовое, при- сущее многим, в реальности существует

как индивидуальное, конкретное, и плох тот критик, который только и знает что «типологизировать».

Задумывая этот обширный обзор, я предполагал, что только обзором не обойдусь, и вот почему сразу же в подзаголовке статьи помянул про свой второй «прицел» — попытки портретов. Хотелся показать читателю, какие интересные индивидуальности есть у нас в современной поэзии...

Издавна повелось — со времен Сент-Бёва — строить портретный анализ на канве биографии поэта. Такой подход несет в себе все плюсы и минусы биографического метода в литературоведении. История этой науки доказала, пожалуй, что минусов больше — вольно или невольно биографический метод толкает к тому, чтобы рассматривать творчество писателя как иллюстрацию случившегося с ним лично, иллюстрацию или неприятно простою, или, может быть, усложненную изысками психоанализа. В любом случае излишнего увлечения биографизмом объяснение творения, уже объективно и вне автора существующего, подменяется более или менее обоснованным толкованием души творящего — такое «чтение в душе» может представлять собой самостоятельную психологическую задачу, а в разумных пределах ее решение можно обусловить и анализом произведений. Однако для целей эстетических, литературоведческих, литературно-критических прямой переход от биографии автора к его художественным созданиям, вера в то, будто второе есть лишь «переодетое» первое, неплодотворны и попросту наивны.

Это явно видно, когда мы имеем дело с произведениями эпическими и драматическими. «Душа» Толстого очень заметно

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

проявляет себя в «Анне Карениной», скажем, или в «Живом трупе», но эти произведения вовсе не «инобытие» толстовской биографии. Не столь ощутима нетождественность биографического и творческого «я» автора в созданиях лирических. Понятие «лирический герой» (и как выражение авторского творческого «я» и одновременно как категория, указующая на отмеченную нетождественность) до сих пор вызывает споры; нередко, особенно иные из поэтов, требуют вообще его устранить, выбросить из арсенала литературоведческих понятий-инструментов. Не вдаваясь сейчас в эти споры, подчеркну здесь только следующее: в дореалистической и в реалистической лирике смысл и характер этого понятия различны. В первой — больше от «эмблемной» маски, во второй — лирический герой действительно близок к автору но и в реалистической лирике авторское «я» и «лирический герой» не одно и то же, авторское «я» перевоплощается в «лирического героя». Точнее же сказать во множественном числе: перевоплощается в лирических героев. И чем крупнее поэт, тем, как правило, они у него разнообразнее, лирические персонажи, и это надо понимать не так, будто цельность личности поэта рассыпается, а так, что перед нами система лирических персонажей, выражающих степень творческой мощи автора-лирика, многообразие и сложность его духовно-творческой жизни, его интересов, переживаний, стремлений, воплощающихся вовсе не всегда одним и тем же образом в каждом конкретном случае.

В своих эскизных портретах поэтессы мы и будем далее исходить из такого понимания, и если употребляем термин «лирическая героиня», то приглашаем тут же и припомнить, что это не «переодетая» поэтесса — создательница данного стихотворения и не одна, одинаковая во всем творчестве автора, героиня, — речь о героине данного стихотворения. Но поскольку все стихотворения сцеплены друг с другом, а в лучшем варианте органично вырастают из единого центра, из многогранного авторского «я» — «солнца» лирической системы, — постольку и мы будем стремиться уловить главенствующий пафос художника, автора, выявить основную творческую энергию, преломляемую в его разных и одновременно родственных друг другу лирических персонажах.

«Наблюдения дня» и «сознание дел» человеческих

Я объясню позже, почему эскизный портрет москвички Ларисы Таракановой назван так, а не иначе. Начну же с другого, совершенно простого и очевидного факта: среди поэтесс, героинь моей статьи, Лариса Тараканова одна из самых молодых. Не столько по хронологическому возрасту. Не столько по творческой биографии (сборник «Дитя мое», выпущенный в 1977 году издательством «Молодая гвардия», у Таракановой второй). По мироощущению и мировосприятию, по состоянию души и направленности интересов — молодостью, осознаваемой как определенная позиция.

Осознание своей молодости, неопытности, неискушенности не составляет, к счастью, всего содержания стихов Таракановой (а это бывает у немало числа молодых стихотворцев, не правда ли?). Мило и трогательно, романтично даже чувствовать, что для тебя детство еще не вполне день вчерашний душевно, пусть оно день вчерашний или позавчерашний чисто «анкетно». Тут исходный рубеж, исходное настроение, которое еще должно трансформироваться. Не застылое, оно даст начало иным, новым душевным движениям. И первое из них — вопрошение, обращенное не иначе как к миру:

Я давно ищу ответ,
Что такое белый свет,
Неужели тот, в котором
Целый год меня уж нет?

Миг останавливает поэтесса в том или ином своем стихотворении редко. Куда чаще у нее ситуация измененных рубежей, порою с горечью (опять-таки учтем хронологию молодой личности!) констатируемых. Цитированное только что стихотворение продолжается так:

Надоело мыть стекло,
Пропадать среди настрюль.
Мне сказали: — Все прошло,
Оглянись, вокруг июль.

Огляделась я вокруг,
Чашка выпала из рук.
В самом деле все прошло:
На дворе — белым-бело.

Не будем снисходительно улыбаться, как улыбаемся мы, когда услышим, например, от шестнадцатилетней девушки суждение о какой-нибудь тридцатилетней женщине: «О, ей уже тридцать, старая...» Примем эти

строки всерьез: помня про относительность всех возрастов, воспримем их шире, чем только «тема возраста». Они — о быстротечности жизни человеческой, что лишь внешне противоречит тезису о молодости авторского «я» Ларисы Таракановой. Пожалуй, напротив — не на склоне лет, а именно на первом подъеме самостоятельной, лично-осознанной жизни быстротечность времени ощущают особенно остро, открытая для себя и для других (если это не просто вирши о твоём собственном возрастном взрослении и старении).

Детство и ранняя юность — прекрасные фазы человеческого развития, и о них приятно и полезно вспоминать, подчас и со светлой печалью на душе. Но горевать о том, что они миновали, нет смысла, бесполезно. А иногда и бесполезно. Инфантилизм эгоистичен, замкнут в себе.

Но был бы мир
Неинтересен,
Когда б не знать
В начале дня,
Что без меня
Он так же тесен
И так же звонок
Без меня.

«В начале дня» — это сказано здесь тоже очень молодо, но уже в иных масштабах возраста. Лирическая героиня стихотворения охвачена печальным настроением человека, погруженного в себя, в свою быстротечность, открывшего свое скромное место в грандиозном развороте мира вне себя и независимо от себя, — настроение тоже весьма характерное для молодости, но молодости, уже значительно отдаленной от школьного детства. Такого рода скромность, право же, приобретение для серьезной поэтической работы, если она возбуждает интерес к миру (в частности, как к источнику усложнения внутреннего собственного мира), если ориентирует поэта в нем, нацеливает на то, чтоб выразить его динамику, его вечное обновление. Об этом можно сказать прямо, в лоб:

Все в мире не напрасно.
И, зная свой черед,
Грядущее прекрасно,
Когда оно грядет.

А можно — иносказательно, однако сохраняя прелесть конкретного образа-иносказания (в этом стиливая сила Ларисы Таракановой). Например, через ту же важную и общую для поэтов тему материнства:

Через каждые два с половиной часа
Оглашаются наши поля и леса,
Оглашается мир поднебесный:
Это дети его подают голоса
Через каждые два с половиной часа
По причине простой и известной...

Все на свете проходит своим чередом:
Добывается уголь, и строится дом,
И, к молочной реке припадая,
Умолкает дитя, обретая покой,
И от глаз его солнце отводит рукой
Даль весенняя, мать молодая.

Детство, ранняя юность еще живут — стойко и толкая к плодотворной конкретности стихов — в душе Ларисы Таракановой. Ей хочется оставить в себе прошлое как нынешнюю свою силу и радость. Но это не повторение: у лирических персонажей ее стихов детское, напряженное ожидание чуда преобразилось в наблюдательность, внимательное всматривание в мир — в других людей и в себя. Наблюдать, вникать, сопереживать увиденному, открытому собственными усилиями сердца и ума — в этом она чувствует свое рабочее призвание.

Напряженной внутренней жизнью, постоянными нравственными самопроверками живет человек в стихах Таракановой. Открываются новые рубежи и возникают новые проблемы в самосознании творческом.

Что мне делать с прихлынувшей силой?
Не умея сидеть взаперти,
Все кружу по окрестности милой,
Будто что-то желаю найти.
Но все реже открытыя, все реже...

Остаться просто такой, как есть, не развиваться, не изменяться человечески, духовно тем паче нельзя. И вот жестокая детская зоркость извне («И незаметно женщины стареют у всех у нас, у юных, на виду») сменяется сочувственной, идущей изнутри наблюдательностью человека молодого, но открывшего, что он частица этого мира, всех этих «женщин», всего этого «человечества», и вместе с таким изменением, поворотом сознания приходит строгость к себе как к личности, к творческой личности в частности и в особенности.

Вот «Я сижу у большого огня...»; любимый образ Л. Таракановой — источник света и тепла, зажженный еще до тебя, «очаг в доме», костер, горящий «в самом центре родного отечества». Сижу и мучаюсь поэтически резким ощущением, что

Человечество любит меня
Чуть поменьше, чем я человечество.

Но перепроверив лирическую героиню любовью человечества, поэтесса круто поворачивает русло и поток чувств в иную сторону: а чем, собственно, заслужена эта любовь к тебе? Не кажется ли тебе, что ты любишь человечество на словах, умозрительно только? Подумай-ка над всем, «отойдя от себя», не делая себя центром мироздания и масштабом измерения всего и вся...

А как выйду на это крыльцо
Постоять, помолчать за оградой,
Все как есть звездопады в лицо
Голубой и звенящей прохладою.

И тогда, отойдя от себя,
Я спрошу у себя, как другая:
Человечество любит тебя,
Хорошо ли тебе, дорогая?

На такой вопрос нельзя ответить: «Да, хорошо». Нескромно. Самоуверенно и самоуспокоенно было бы ответить так. Но что же тогда — ей плохо? Тоже нет. Ей тревожно. Ответственно. Дар поэтический не для игр и забав (вот что открывается!); свобода творческого духа не для любования собой.

И тут я подошел к тому, чтоб объяснить наконец название гравки-портрета.

Есть у Ларисы Таракановой стихотворение, которое прямо подбило меня на это название — «Наблюдения дня» и «сознание дел» человеческих». Пр процитирую несколько строф (в них разрядка моя. — Ю. С.).

Все в городе. Заняты делом,
Лишь я, отрешив суету, —

(Тараканова любит иногда чуть-чуть «архаизировать» и лексику и даже грамматику) —

Блуждаю в лесу опустелом
С травинкою горькой во рту.

Под куполом вечного свода
Живу наблюдением дня.
Но ежели это — свобода,
Зачем она давит меня?

Среди багровеющих сосен,
Где каждая — вверх острие,
Мне собственный облик несносен.
Ничтожество чую свое...

Спаси меня маленький случай,
Наполни сознанием дел.
Я знаю, за темною тучей
Высокий таится предел.

Наполниться «сознанием дел» — вот оправдание творческой тревоги, недовольства собой вплоть до ощущения собствен-

ного «ничтожества», вот ответ на самокритику и позитивное следствие — выход. Правда, меня покорила здесь непродуманный и как-то небрежно вставленный в строку, противоречащий ее смыслу «маленький случай». Такая глухота к отдельным выражениям, их возможному смысловому истолкованию не в духе нынешнего состояния души лирического «я» Л. Таракановой. Это скорее всего некий рудимент детских игр других лирических персонажей поэтессы. Она вдруг может не почувствовать фальши всяких там «призраков начал» и «пронзительных былей», приплетаемых — вот те на! — в качестве характеристик поэзии, которая, оказывается,

...проходит словно сон —
И ничего не остается.

Но это, я уверен, «опечатки», не замеченные достаточно строгой к себе поэтессой. Лучшее из детства взято и переработано. Инфантильность подхода к вопросам никак не наивным отринута. Наблюдательность поэтессы остра, пытливая серьезна.

Понимание дел человеческих приносит поэзии мудрость, поэту — ощущение необходимости и незрешности его существования. И стимул — новой его работе.

«Малая родина» в сердце поэта

Ключ к портрету (еще раз напомним — эскизному портрету) Ларисы Таракановой отыскать было нетрудно: в центре системы ее лирических персонажей действительно она сама, ее человеческое, духовно-нравственное взросление, результатом которого поэтически явилась и наблюдательная предметность образов как черта стиля, и тема внутренней оправданности, выстраданности «чуда», тяга к которому и вера в которое не ослабли с годами.

Иногда «биография» автора лирических стихов тесно и осознанно переплетается с реальными картинами родных ему мест. И тогда важно бывает и критику посмотреть на «географическую» пристрастность творчества того или иного художника, на его «малую родину», на то место, точку на карте, где он родился.

Такой подход для критика-портретиста может быть плодотворным, но при одном условии, а именно: если реальность, конкретика «малой родины» не есть нечто внешнее для поэта, нечто такое, что остается ему припомнить, проявить как некий негаллив

памяти — и вся недолга; нет, такой подход оправдан, когда мы имеем дело с поэтом, вообще думающим и чувствующим сквозь призму данной реальности.

Поясню мысль суждением Маргариты Алигер о Деборе Вааранди. В своем предисловии к избранному томуку эстонской поэтессы М. Алигер пишет: «Дебора Вааранди — поэт своей родной Эстонии; ее землю, ее море и небо она пишет в своих стихах не потому, что ставит перед собой только такую задачу, — это было бы, может быть, даже слишком ограниченно и просто, — а потому, что эта земля, ее облик, и внешний и внутренний, и поэт, рожденный на этой земле, ощутивший себя поэтом на этой земле, неотделимы друг от друга, и когда Дебора Вааранди пишет об Эстонии, она пишет, в сущности, о себе, о своей душе, широко открытой для восприятия окружающего ее мира и творящих его людей...»

Нет ничего легче, чем доказать справедливость цитированной прозы цитированием стихов Д. Вааранди. Но именно потому не стану множить доказательств — каждый, кто сам прочтет хотя бы такие стихотворения Вааранди, как знаменитое «Лечу над Сааремаа», «Встреча» или «Вереск», «Почвы Эстонии», «Наша родная погодка!», «Птичья трава», «Год ос», «Черно-зеленая земля» и т. д., легко убедится в этом. Слияние эпичной наблюдательности, характерных деталей, зарисовок точных и выразительных с лирической медитацией, передающей себя, здесь столь полное, что никакой разграничительной линии даже предположить, не то что провести нельзя.

Дебора Вааранди — крупный, авторитетный, значительный художник, получивший право говорить от имени Эстонии, стать как бы воплощением лирического образа целой, пусть небольшой страны, целого народа в содружестве братских советских народов. «Не скажу, что в руке моей ключ от души моего народа»,

Но зато ощущать могу
Его радость, его тоску,
Запах весен и запах зим,
Запах смерти и пот работы,
Знаю также чашу невзгоды,
Я пила ее вместе с ним.

Кстати, хороший пример скромности для тех наших поэтов мужского и женского пола, кто слишком легко присваивает себе — в собственном сверхнескромном воображении — право на «ключ от души своего народа»!

Ну а если говорить о «малой родине» Деборы Вааранди, то, пожалуй, небольшое уточнение в сказанное Маргаритой Алигер внести стоит: в образности, в «воздухе» стихов Вааранди чувствуется не вся Эстония, а именно островная (поэтесса родом оттуда, с Сааремаа), прибрежная, морская, и потому море и берег — образы заглавные в лирике поэтессы, определяющие ее тропы и даже, отважусь сказать, ритмику, в том числе ритмику верлибров, прихотливых на первый взгляд, но подчиненных упругой силе волн, приливам и отливам беспокойного чувства. Дебора Вааранди не из лесов эстонских, она с побережий, с вересковых каменистых плоскостей, над которыми открыто взору поднимается солнце, где плотной стеной, не встречая препятствий, ходит ветер.

Северное солнце отчего края,
из воздушной пучины ты выплываешь,
вечно слишком далекое,
желанное, скоротечное.
Росные бубенцы,
трепет рассветных струн,
сквозь бурю страдальческий взгляд
на злаковые поля...
И первая тень моя, нарисованная тобою
на вересковой пустоши, прямо на почке
шмелиной...
Тень, расцвеченная лиловыми лепестками,
крыльями мотыльков, песчинками
бледно-желтыми,
Прохладный голос песка
в моих костях и суставах
всегда.

(Перевел Л. Миль)

...Вначале неожиданно для меня самого, а потом обоснованно оказалось поставить в ряд с Деборой Вааранди, таким насквозь эстонским художником, сугубо русскую, северорусскую поэтессу Ольгу Фокину. Не скажу, что все написанное ею, уже известным художником, лауреатом Государственной премии РСФСР, было бы столь же значительно в проблемно-содержательном отношении. Но душевный мир Фокиной — большой гражданский сегодняшний мир женщины-современницы, нашего современника, немалая часть его бескрайнего внутреннего мира.

Совершенство слитность мироощущения поэта и «физических условий, в которых он существует»; полностью естественно для нее, для Фокиной, лирическое самораскрытие даже не через, а прямо в реальностях ее «малой родины», ее Вологодщины. Как и у Вааранди, эти реальности, конечно, преобразованы, поэзия дальше всего от фото-

О лирике Дануты Бичель-Загнетовой:
поддерживая критика, ее похвалившего,
и с ним же дружески споря

В стихах Бичель-Загнетовой — у меня в руках недавний, в определенном смысле итоговый на сегодняшний день сборник (на белорусском языке) «Ты — это ты» — звучат все или почти все мотивы, о которых шла речь в обзоре женской лирики.

Счастье мира и тревоги за судьбы мира, тревоги, диктующие поэтессе и общее, далекое от самоудовлетворенной идилличности настроение («Стыдно быть спокойной в неспокойном веке»); материнские заботы и радости; лирика любовных мук и озарений с несколько печальной от сознания преходящности времени «фоновой» мелодией, которая даже на свадьбе доброй подруги составляет лирическую героиню провозгласить тост такого рода: «Осушим кубок за любовь — реальный счастья вкус отведай — горький» (так переосмыслен свадебный клич); в сборнике есть и воспоминания о военных годах, они застали Дануту Бичель уже не в младенческом возрасте; и женская проблема романтики и быта — поэтесса не хочет углубляться в их нередко конфликтные отношения, но видит возможность конфликтов между ними, а если уж надо выбирать, то выбор делается решительно далекий от высокопарных романтических разговоров:

Разве я не современная женщина?
А вот моей отсталости причина —
приемный мой покой,
моя держава —
кухня,
где при огоньке
в квашне
пухнет тесто.

Я деятельность начинаю на рассвете.
Кстати,
философские вопросы,
тратить ли нервы на детей
и мужа,
не возникнут,
пока я наормить их должна...

Не знаю, есть ли в такой заботе романтика, а вот пафос необходимости долга жены и матери поэтесса чувствует хорошо, об этой необходимости пишет нарочито пафосно, просто, вроде бы констатируя только:

На свет явилась
кормить и лелеять.

Напряжены все время
зренье и слух.

В самый радостный,
в самый горький миг
тебя поднимет голос:
— Ма-ма, дай поесты!

(Подстрочный перевод)

Единством, слиянием пластики и поучения примечателен и очень оригинален большой и, не боюсь этого слова, мудрый цикл «Аромат и шелест» — целая галерея «портретиков», на удивление естественно сочетающих точность описания растений, птиц, зверей, разнообразных живых существ природы и внутреннее авторское эмоционально-нравственное напряжение. Погружение, растворение авторского «я» в мире живой природы несет внутри себя определенную лирическую цель. В открывающем цикл стихотворении «Купальник» читаем (здесь и далее подстрочный перевод):

Цветок арника —
тебя назвали книжные мужи.
Помолодеть душой мне помоги.
Преодолеть оцепенелость нервных клеток.
Во мне спасите нежность,
цветы.

Могу сказать, что по органичности самовыражения через реалии и картины природы, через ею навеванный образный строй Данута Бичель-Загнетова не уступит, по моему, и Деборе Вааранди. Так же как не уступит она, пожалуй, Ольге Фокиной в умении придать гораздо более широкий гуманистический смысл своим обращениям к природе, чем однолинейная стихотворная экология. Поэтесса создает лирический образ современника, которого тянет к природе, к «натуральности», поскольку он не приемлет «механистичности», излишней рациональности, не приемлет бездушия. Как бы от имени природы говорит Д. Бичель-Загнетова тем, кто поддался искусству неприродности, сверхрациональности, заорганизованности:

Вы ждете,
что продиктует диктор.
Как диктор скажет:
— Доброй ночи, люди,—
вы послушно спите.
Мы вас будим,
напоминаем вам
о травах росных,
спасаем вас,
неряшливых и раздраженных.

Есть у белорусской поэтессы, как я уже сказал, лирически преобразованные, то есть

повернутые к своей душе «портретики» птиц, цветов и зверей — вот как, например, кончается миниатюра об анютиных глазках: «Няўжо глядзіць у вочы мне маё маленства, не зміргне?» Но еще более прелестны и многозначительны ее зарисовки, как бы совсем отрешенные от самовыражения, совсем «объективные» и одновременно полностью залитые потоком авторского лирического настроения на манер (не подберу иной параллели) дальневосточной, китайской или японской, миниатюры на шелке.

Как писал о цикле «Аромат и шелест» критик Г. Березкин, тонкий знаток поэзии, отлично чувствующий ее конкретность, перед нами «многокрасочный и многоликий гербарий, составленный чувством. И чувством же, душой, темпераментом переосмысленный и «смещенный» («Дружба народов», 1977, № 4).

«Смещения» и переосмысления, отмеченные критиком, — внутри целостной образной картины. Лирический подтекст растворен в изобразительности текста. Вот стихотворение «Кузнечики»:

На крутым адхоне
непазбежных спраў
стомленыя коні
між д'хмяных траў.

Вось адзін зялёны
на маёй далоні
г'е з лістка расу...

Конікаў пасу.

(«На крутом склоне неизбежных дел утомленные кони меж душистых трав. Вот один зеленый на моей ладони пьет с листка росу... Кузнечиков пасу».)

Заметьте, как ловко использует поэтесса двусмысленность «коней» и «кузнечиков» в слове «конікі»!

Вообще фонетическая и семантическая игра словом, звукопись, аллитерационные поиски в строке у Дануты Бичель-Загнетовой собственной выучки, собственной красоты, уверенного умения.

Мне кажется и тонким и справедливым утверждение Г. Березкина, что Данута Бичель-Загнетова вся в «летучих промельках живого, в их убедительнейшем разноречии и разное, которые вместе с тем всегда искусство, всегда поэзия, поскольку за ними и в них всегда человек, неповторимая личность и неизменно свойственное ей стремление охватить всю «бестолочь» стремительно меняющихся состояний и деталей неким общим «внутренним» взглядом».

Верно, по-моему, и сожалеемое наблюдение Г. Березкина относительно того, что сейчас поэзия (не из-за модных ли тяготений к интеллектуализму где надо и, увы, где не надо, то есть к лжеинтеллектуализму, к мнимой философичности, оборачивающейся нередко скучным и банальным рассуждательством?) «начинает заметно терять вкус к подобного рода несложным, дышащим обаянием новизны и свежести положениям, лицам, жестам и репликам, прямо и «бессознательно», нимало не тщаь перераста в многозначительный символ, намекающим на простые и всем доступные богатства мира».

Эти богатства — несомненно богатства! — сильно и оригинально заявляют о себе в стихах белорусской поэтессы.

И все же хочется мне здесь и поспорить с трактовкой оригинальности таланта Д. Бичель-Загнетовой, данной Г. Березкиным. Ему кажется, что «среди многих дарованной современной белорусской поэзии дарование Бичель-Загнетовой, возможно, самое непосредственное и свежее». Может быть, и так, если иметь в виду слово «свежее», во всяком случае, как и мне кажется, среди женских поэтических дарований, что никоим образом не означает, будто я хочу принизить дарования недавно безвременно скончавшейся Евдокии Лось, или Веры Вербы, или Ольги Ипатовой и многих, кто по тем или иным причинам не попал в мой обзор. Но вот слово «непосредственное» у Г. Березкина меня сильно смущает истораживает.

Похвалить поэта за непосредственность? Но что это значит — в стихах! — непосредственность? Предметность образности? Да, она у Бичель-Загнетовой ощутима; и нам, читателям, эстетически радостно воспринимать ее, тем более в таких циклах, как «Аромат и шелест», где эта образная предметность исключительно оригинальна, художественно уникальна.

Щедры и естественно чувствуют себя лирические героини поэтессы и на городских улицах и на сельских стежках. Душа их распахнута в простор многообразной конкретности бытия. Действительно — еще раз повторю Г. Березкина, — «очень она симпатична у белорусской поэтессы, эта невыборочная и ненаигранная расположенность ко всему, «что не ты», эта искренняя и молодая любовь к жизни во всем объеме и развороте ее непререкаемо точных, разнохарактерных проявлений и при-

мет». Но так ли уж непосредственна поэтесса? Каков ее собственный этический «некий общий «внутренний» взгляд», организуемый (все-таки организующий!) поток впечатлений бытия? Можно так прочитать Г. Березкина, что окажется, будто непосредственность стиха означает едва ли не стихийность автора, не выбирающую, а лишь впитывающую в себя все на свете и одинаково пластично выражающую стихийную отзывчивость души Д. Бичель-Загнетовой.

А это совсем не так!

Почему я думаю, что не так?

По Г. Березкину, главное в авторском «я» поэтессы как раз та самая естественность, в которой нет «ничего заданного наперед и заранее». Этическая программа данной личности если и существует, то... вроде бы несамостоятельно выработанная, ведь «одновременность сердечного отзвука на многое и разное» у Д. Бичель-Загнетовой идет «от естественной, как дыхание, слитности с народной сферой, воспринятой во всем богатстве не столько ее практических, сколько духовных, культурных, песенно-сказочных элементов». Правда, критик, тут же противореча своему тезису о «слитности», говорит и о «готовности меняться, становиться другой и новой, сохраняя при этом некоторые устойчивые моральные основы и принципы». Вот такая оговорка, по-моему, куда вернее! И не оговорочно эту мысль высказать бы!

Я вижу смысл названия книги Д. Бичель-Загнетовой «Ты — это ты» именно в утверждении пафоса становления себя как личности самостоятельной, как раз не растворяющейся, не сливающейся с каким бы то ни было, пусть самым родным и благодатным (и остающимся родным и благодатным) «множеством», коллективом, «почвой». Движение, развитие лирики Д. Бичель-Загнетовой (и в этом ее сходство со многими поэтессами и поэтами, но в этом и ее особенность как лирического голоса в хоре голосов современной Белоруссии) — сторону обогащающей себя человеческой и не в последнюю очередь женской человеческой души. А индивидуальное своеобразие действительно в особой тяге к предметности, в умении открывать неожиданные миры вокруг себя. Но не вне личностного «самосозидания»! Свообразие в том, что мы присутствуем сегодня как бы еще на волевой стадии данного процесса, когда человек

убеждает себя стать не тем, кем был вчера, когда действует еще не инерция движения, а стимулирующий волевой самоконтроль, перепроверка, когда вопрошают, когда намечают цели: каким быть, к чему стремиться, что считать более или менее ценным и необходимым для себя, для такой вот именно («ты — это ты») личности.

Подобная лирическая позиция заслуживает по-человечески всяческой поддержки и искреннего уважения. Но надо понимать и видеть, что художнически она не всегда (на нынешнем-то этапе развития даровитой поэтессы, развития ее таланта) приводит к эстетически полным успехам. Г. Березкин не отметил элементов дидактизма в сборнике. Между тем он, этот дидактизм, это «учительство», этот перст указующий, здесь есть и несколько портит общую радость, вызванную чтением, и связан он, этот дидактизм, на мой взгляд, как раз с тем самым этапом внутреннего духовного роста, душевного устройства, о котором я говорю, — может быть, связан отчасти с профессией педагога Д. Бичель-Загнетовой, может быть, и с учительским характером ее как человека, но главное — именно с переходным этапом, полюсы которого обозначились в сборнике «Ты — это ты».

Поэтесса разработала для выражения своих переживаний и волеизъявлений интересную строфику: наряду с обычными четверостишиями она использует короткие строфоиды с меняющимся ритмом в них и с «расположением» строф и строк как бы по различным этажам-плоскостям авторского творящего сознания и читательского сотворческого восприятия. Там, где эта «разноэтажность» крепко объединена, «прошита» каким-либо сквозным мотивом, необязательно утверждаемым явно, подчас пусть присутствующим «за сценой», — там стихотворение оригинально и целостно в стилевом отношении (стихотворение «Жаворонок», например, или дистих «Купальник», стихотворения «Сумерки», «Волна», «Как соблазнительно...», «Колыбельная лесу» и др.). Сложный смысл, неоднозначный смысл — и один стиль! Но так «отличаются», строятся не все сложные, разновыемы по смыслу стихотворения поэтессы — в иных еще видны каркасные детали, не связанные друг с другом, пролеты, а бывает (я возвращаюсь к высказанному упреку), и дидактические леса.

Вот, например, вспоминает поэтесса мост юности — и строится не одна картина, не просто воспоминание, но и одетое в предметность (это не душа предметов — это одежда, натянутая на них волей автора) нравоучение, урок поведения на сегодня:

Ен, хітранькі,
байку пляце незнарок,
каб мне, летуценніцы,
выдаць урок:
мінулі каленак абветраных дні —
спакусныя думкі далей
прагані,
пра сталае дбай,
паводзь сябе строга.

Вяртайся паціху
да моста старога...

(«Он, хитренький, байку плетет пенароком, чтоб мне, мечтательнице, выдать урок: минули коленок обветренных дни — соблазнительные мысли подальше прогони, о взрослом заботься, веди себя строго. Потихоньку возвращайся к мосту старому...») Выделенная в конце строфа и дидактична и просто двусмысленна: то ли нам советуют возвращаться потише к старому мосту, потому что не по возрасту прыжками и бегом возвращаться в юность, то ли совсем не стоит возвращаться?

Возвращение к прошлому, кстати, преисполнено у поэтессы дидактических императивов. «На древнем камне присядь, неутомимый путник-размышление», — предписывает себе лирическая героиня одного стихотворения. «Посмотри, как молчат снопы, как на былинке ветер играет, какой на слова луг скупой, — трава умирает молчаливо», — убеждает себя героиня в другом стихотворении-воспоминании. Все начинается хорошо, «открывается окошко в мир доверья», и человек, «ветром века вдохновенный, мчится с распростертыми руками», но стоп, «покуда не выскочит на стезжку камень», — предостерегают нас от прекраснотушия в третьем.

Все это справедливо, но, увы, малоэмоционально, а стало быть, малопоэтично. И такое морализаторство высокооталантливой Д. Бичель-Загнетовой присуще. Пока, до окончательного расставания с «волевым» переходным этапом...

Теперь — о свойствах страсти

Читатель, может быть, заметил, что в статье нашей не было еще разговора о теме, которая традиционно столь крепко связана с поэзией женщин, что стала чуть ли не

вообще ее синонимом. Речь идет, разумеется, о теме любви.

Задолго до Сафо на берегах Нила во времена древнейшего из древних человеческих обществ было пропето:

Забота у сердца одна:
Чтоб милый меня возлюбил.

И тогда уже было отмечено:

Раза в четыре быстрее колотится сердце,
Когда о любви помышляю.
Шагу ступить по-людски не дает,
Торопливо на привязи скачет.

Ни тебе платье надеть,
Ни тебе взять опахало,
Ни глаза подвести,
Ни душистой смолой умаститься!

(«Лирика Древнего Египта».
Перевела В. Потанова)

Конечно, такое опьянение чувством способен пережить и мужчина, а выразить — поэт. И все же, если иметь в виду закон больших чисел, разумеется, мужская душа рациональнее и суше. Можно ли с уверенностью предположить, что женщина, поэтесса, поставила перед собой следующую задачу:

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало
И повторял ее имен
Инициалы.

(Борис Пастернак)

Удивительный парадокс, стремление достичь невозможного: хочется передать психологическую непосредственность любовного чувства, «свойств страсти», и одновременно подвергнуть их логическому анализу, вывести «закон», обозначить этапы; задача, которая уже сама по себе характеризует мужскую психику, и задача, над решением которой, в общем-то, тщетно бились такие незаурядные прозаики-аналитики, как, например, Стендаль, — изображение живого чувства было его сильнейшей особенностью художника, логические же рассуждения трактата «О любви» интересны (и поучительны) как раз тем, что автору удалось успешно доказать: любовь не поддается логическому объяснению.

Женская душа при прочих равных условиях более эмоциональна, эмотивна, чем мужская. Это начинают все лучше понимать работники сферы управления и производства — о том, какие хорошие результаты получаются при учете данной психической закономерности («Женщины эмоциональнее мужчин. Доброе слово, человеческий подход действуют на них сильнее, чем холодный приказ или — упаси бог — грубый окрик»), рассказала, например, эстонская журналистка Ресси Каэра в статье «В цехе только женщины...» («Литературная газета», 6 июля 1977 года). Душа мужчины «устроена» и «функционирует» более рационалистически и потому именно, может быть, менее богата оттенками чувств и тем паче способностью улавливать — интуитивно удивительно точно — такие оттенки. В конце концов, потому мужчина и «грубее» женщины.

Займемся же теперь специально темой любви в нашей женской лирике (она так или иначе затрагивалась и в предшествующих цитациях).

Вряд ли надо сегодня доказывать то, что вчера-позавчера доказывать приходилось: тема эта, по свидетельству Маяковского, «перепетая не раз и не пять», лишь иронически названная им «личной и мелкой», на самом деле общественно важна, воспитательно необходима, глубоко социальна. Она интимна (потому что касается интимных чувств мужчины и женщины), но вовсе не обязательно камерна. И та женственность, которой мы пропели хвалу в одной из предыдущих главок статьи, здесь, в стихах женщин о любви, проявляется, естественно, с особой выразительностью.

Психологи, к сожалению, не используют великолепной возможности изучения различия женской и мужской психики на основании анализа лирических стихов о любви. Не могу, конечно, сказать, что я провел такие психологические изыскания, но, право, когда читаешь подряд сборники женской лирики авторов-поэтов, совершенно разных и в эстетическом и в индивидуально-психологическом планах, и пытаешься сравнить некие общие свои впечатления с впечатлениями от такого же чтения сборников поэтов-мужчин, то помимо твоей воли даже возникает устойчивое ощущение, что о любви, о движениях души, связанных с любовным чувством, поэтессы-современницы пишут в целом тоньше, открывают в этой теме больше нюансов и красок, чем

поэты-мужчины. Правда, опять же по закону больших чисел, «выходы» от четко обозначенной темы любви в круг иных общественно важных мотивов в женской лирике реже, тут мы чаще находим как бы самоудовлетворение души внутри данного чувства, «одной, но пламенной страсти», законченности протекающего на наших глазах переживания, что в эстетическом плане оборачивается, и это лишь внешне парадоксально, большим числом художественных побед, большей художественной цельностью этого стихотворения.

Стали знамениты слова Маяковского: «Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все пр. Любовь это сердце всего... Любовь не установишь никаким «должен», никаким «нельзя» — только свободным соревнованием со всем миром». Это своеобразный эпиграф к женской лирике: эпиграф-пожелание. Маяковский из гениев, а гений — непостижимо для простых смертных — способен чувствовать за людей обоего пола, отсюда «загадочные» перевоплощения гениальных прозаиков в образы их героинь, отсюда и пушкинская любовь всепонимания по отношению к Татьяне, отсюда и цитированная мысль Маяковского о любви. Поэтессы, о которых идет у нас речь, литераторы способные, даровитые, но далеко не гениальные (утверждение, которое, надеюсь, будет ими извинено). Их стихи про любовь не стихи про все. И, несомненно, стоит призвать наших женщин-лириков к большей смелости в связывании темы любви с другими темами, а значит, к большей жизненности, полнокровности и ее самой. Но пожелание пожеланием, а и то, что есть, есть, и оно вовсе не мало.

Любовь — в женской лирике особенно очевидно — истинно призма жизни. И сколько же граней сверкает в этой призме! Читая женские стихи о любви, убеждаешься — обопрусь на еще один классический авторитет, — что «женщинам дана способность удивительно остро чувствовать различия в формах привязанности, неуловимые изменения человеческого сердца, самые тонкие движения самолюбия» (Стендаль).

Эта статья была уже написана, когда в мои руки попал совсем недавно вышедший в свет сборник украинской поэтессы Лины Костенко «Над берегами вечной реки» (Киев, 1977), сборник примечательный и при-

метный: о нем несомненно следует писать особо. Но и тут я не удержусь, чтобы, пусть коротко, не сказать о входящем в сборник цикле стихов «Моя любовь, я пред тобою...» — удивительно гармоничный и глубоко драматический цикл. Спектр любовных переживаний, «форм привязанности, неуловимых изменений человеческого сердца» здесь широк, и каждая градация, каждая «линия спектра» выявляется с обезоруживающей искренностью и убедительностью.

Соединение изысканности, я бы сказал, филологически-культурной изысканности с бьющей изнутри темпераментностью очень характерно для Л. Костенко. Здесь, в этом любовном цикле, оно нашло себе гармоническую меру выражения. Высокий тон воспринимается как единственно достойный и возможный, коль скоро речь ведется о такой любви, о таких любящих. Это очень важно в поэзии (и в жизни, конечно) — благородство чувства, возвышение любви. Чем возвышается она? В чем оно, это возвышение? Поразительны и не случайно многообразны «первичные образы» — тропы в женских стихах о любви, о любимом, о себе как любящей и любимой. Метафоры, сравнения, синекдохи и прочее здесь психологически оригинальны, неожиданны и оправданы какой-то удивительной логикой — женской, сказал бы я, не будь в выражении «женская логика» чего-то традиционно-обидного, хотя по мне, повторю, женская логика, в которой так сильна интуиция, тоньше и богаче, нежели рационалистически-формальная.

...Глаза любимого как звезды или как солнце — образы, миллионнократно употреблявшиеся в поэзии всех стран, народов и времен. Этибор Ахунова употребляет эти «расхожие» сравнения, неожиданно продолжая: «И, как на солнце, я смотреть на них не в силах». Римма Казакова начала перевод этого стихотворения так:

Твои глаза — моя гроза, моя тревога...
Мне кажется, что их не два,
А много, много...

Если это, как я ощущаю, и добавлено русской переводчицей (ее переводы поэтесс-узбечек во многом близки стилистически к собственным стихам: видимо, переводимое близко), то добавлено умело и в хорошем смысле слова эффектно.

Ты был моей далью, ты был моей высью,—

начинает О. Фокина скорбную и полную любви жалобу на человека, не оправдавшего надежд, стал же

...Смертельно усталый,
С угаснувшим взглядом,
Как черный осколок
Сгоревшей планеты...

Только сильное и благородное чувство могло продиктовать такой страшный (и нешаблонный) образ!.

Корабль еще не совсем отчалил от пристани — метафора, в которую отлилась боль женщины, причиненная ей уходом близкого человека. Эта «приморская», «прибалтийская», «латышская» метафора вдруг перебивается у Ольги Лисовской неожиданным интерьерно-женским сравнением, право очень эффективным и тонко-эмоциональным:

Может, у двери еще постучатся.
Пойду отворять тому,
Кого, как духи во флаконе початом,
Не удержать в дому.

(Перевела Людмила Копылова)

Человек, несколько иначе настроенный, чем я сейчас, признаюсь, вдохновленный стихами наших поэтесс, мог бы по-стенда-левски строго и безжалостно сказать по поводу иных стихов не о «празднике воображения», а скорее о женской «привычной экзальтации», о «лихорадке воображения». Пусть его! Но, отвечу я, экзальтация, которой, допустим, и не чужда женская форма эмоциональности, не несет в себе обычного такого человеческого острого и по-своему умного и глубокого смысла. Игра воображения, то есть игра образами, свободное порождение их волной любовного переживания, вовсе не бесцельна. Ее цель — выразить соответственно чувству его накал и своеобразие. Бывает, конечно, или наигранный, или излишне бедный, или излишне пышный образность, но в эстетически удачных стихах мы ощущаем глубокую оправданность игр женского воображения, естественную включенность его, пусть даже и в «лихорадочном» варианте, в психологическое развертывание чувства, в нагнетание, в обвал, в лавину его. Сила чувства — вот, помимо собственно психологического, еще и эстетическое оправдание и «лихорадочной» образности истинно человеческого, свободно выявляющего себя человеческого чувства, и обычной господствующей в такого рода стихах интонации лавинообразного за к л и н а —

ни я. Спокойных медитаций, рассуждательских стихов о любви больше, явно больше у мужчин; не скажу, что поэтому их чувство обязательно слабее, скажу, что переживание, в которое оно отливается, иное. И если уж цитировать Стендаля, то именно к женской лирике очень подходит его анализ процесса кристаллизации и любовного чувства, когда любящий человек «из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами», когда, таким образом, «каждый шаг воображения награждается мигмом восторга».

Мы видели это, знакомясь с образностью женских стихов о любви. Теперь же вслушаемся в их заклинания, молитвы, экзотически «обвальные» признания. Их интонации, как и богатство их образности, не отблеск ли нравственного богатства души? О чем закливают, о чем молятся? Отвечу строками поэтессы, творчества которой я здесь не касаюсь:

О чем? Как все искусства. О любви.
О сладости духовного страдания.

(Юнна Мориц. Сборник «Суровой нитью»)

Как это переключается и с женскими безрассудными заклинаниями эпохи Древнего Египта, и с мыслью о том, что «любовь — это все», Маяковского! Справедливо, гуманно ли говорить о «сладости духовного страдания»? Справедливо ли Чюрленис считал, что «любовь — это дорога к солнцу, усыпанная острыми алмазами, и по этой дороге каждый должен идти босым» (образы, навевшие Дайне Авотыне два ее стихотворения из самых лучших — «Дорога к любви» и «Откройся, море...»)?

Справедливо, гуманно и всегда индивидуально осуществляется этот нравственный закон!

Посмотрите, как многообразны эти лирические заклинания-мотивы...

Береги себя для меня
на закате любого дня.
На рассвете любого дня
береги себя для меня.
Береги, береги, береги —
ты ведь русло моей реки...

(Руфь Тамарина. Сборник «Весна, лето, осень...»)

В том же ключе — душевно взвихренной, но простой, ясной по смыслу настойчивости — зовет своего друга лирическая героиня Этибор Ахуновой:

Приди и приглашения не жди,
Зову не зовом, воплощенным в слово.

Глазами говорю тебе: «Приди!»
«Приди!» — молчаньем повторяю снова.

(Перевела Римма Казакова)

Совершенно иначе — яростно и с угрозой — обращается к «нему» лирическая героиня армянской поэтессы Метаксэ. Если иметь в виду, что узбекская восточная женщина как бы заменяет язык слов языком вежливо-просительных жестов, то «армянскость» признаний героини Метаксэ, надо думать, не в повышенной остроте образности, эмоциональности, а в резких психологических сломах настроения, к чему причудила нас, неармянских читателей, например, лирика великого Кучака, великого Саят-Новы, великого Исаакяна, а если говорить о поэтессах-современницах, то, скажем, психологически контрастная лирика Сильвы Капутикян. Итак, Метаксэ:

Ни на шаг тебя не отпущу!
Ни на час, ни на ночь, ни на день.
Не сули мне в залог твою тень —
Я ногами ее растопчу!..
Так ужало я душу твою,
Чтобы жить и дышать ты отвык.
Я осколками смеха насквозь
Твое сердце немое прорву.
Занавешу я ночью волос
Твоих дерзостных глаз синеву.

Ну и так далее. Но вот когда эти нарочито взвинченные угрозы рассеиваются, мы сквозь их туман видим истину, а она совсем не в вампирной психологии лирической героини, напротив, —

Но едва из-за темных окон
Твоих глаз
Настоящую боль
Я увижу
И подлинный стон
Твой услышу,
Я крикну: — Позволь
Мне слезами пожар затушить.
Пусть мелеют моря моих глаз,
Высыхают озера души —
Я спасу тебя тысячу раз!

(Перевела Надежда Григорьева)

Уверенно «привораживает» Нелли Тулупова. Кстати, мотив ворожбы и гаданий со времен Ахматовой и Цветаевой, конечно очень популярных у наших поэтесс, стал настолько присущ женской лирике, что, пожалуй, о нем стоит говорить как уже об особой жанровой разновидности. Она не фольклорна по существу, но очень часто использует символику, эмблематику и ритмику фольклорного лиризма. Так и у Тулуповой. В победе своей при-

сушливой заговорки, в своей победе ее героиня нисколько не сомневается:

Ты гары, гары
На крутой гары,
На лясной гары
Ды над кручаю.
Ты шугай, агонь,
За ляса-бары,
Хай душа твая,
Як мая, гарыць—
Так любоў мяне
Перамучыла.
Праз агонь скачу,
Да цябе лячу,
Прыварот шапку,
Сэрцу горача!
Не бываць журбе!
Быць маім
табе!

(«Ты гори, гори на крутой горе, на лесной горе да над кручею. Ты полыхай, огонь, за леса-боры, пусть душа твоя, как моя, горит — так любовь меня перемучила. Чрез огонь скачу, к тебе лечу, приворот шепчу, сердцу горячо! Не бывать печали! Быть моим тебе!»)

И, напротив, просительно-неуверенны интонации Татьяны Кузовлевой.

Любить тебя — как захлебнуться небом,
Единым вздохом переполнив грудь.
Любить тебя — как вновь поверить в небыль
Пред тем, как выйти в неизбежный путь.

Любить тебя — искать тебя повсюду,
И вдруг найти единственную дверь.
И спрашивать: все это мне? Откуда?
И повторять: надолго ли теперь?

Конечно, это женское покорство следует понимать, как говаривали древние, *cum grano salis* — оно «со щепоткой соли», это покорство. И все же...

Когда человек заклинает, привораживает, молится? У разных по-разному, но согласитесь — чаще, когда человек еще не победил, когда он сомневается в успехе, когда ему хочется опереться на силу. Стихи о радостях любви, ее победах — замечено давно — встречаются и читаются реже, чем стихи о любовных ожиданиях и тем более о неудачах. Но... но разве не сказано: «Не бывает любви несчастливой» (Юлия Друнина)? Во всяком случае, для поэзии?

Известно, что психологи и медики делают наши эмоции — весьма упрощенно, но все же обоснованно — на положительные и отрицательные, советуя, понятное дело, избегать вторых и не скупиться на первые. В поэзии как в жизни — эмоции обоого

толка присутствуют в лирических стихах; в поэзии не все как в жизни, и вот по отнюдь не формальной логике поэзии из эмоций отрицательных следуют переживания и выводы противоположного эмоционально-позитивного толка, поднимающие, облагораживающие человека.

Теперь не умирают от любви —
Насмешливая трезвая эпоха.
Лишь падает гемоглобин в крови,
Лишь без причины человеку плохо.

Это сказано Юлией Друниной внешне в шутку, по существу же — горько и неприязненно к тем, кто в самом деле думает, что теперь от несчастливой, неразделенной любви не умирают. Как раз умирают! И мы понимаем поэтессу, понимаем ее настойчивое желание утвердить эту мысль, по-человечески разделяем и поддерживаем ее пафос, несмотря на то, что с точки зрения художественно-эстетической мотив этот у Друниной звучит иногда монотонно, а иногда с несвойственной поэтессе выпренности, романсовой многозначительностью (стихотворения «Все зачеркнуть. И все начать сначала...», «Вновь одинока, словно остров...», «Помоги, пожалуйста, влюбиться...»).

В стихотворениях о любви — особенно, может быть, о неудачливой, неразделенной, — как воздух, нужна тонкость и чувств, и мимолетно фиксируемых душевных состояний, и, как следствие, тонкость словесно-образного выражения. Если все это есть, стихи обогащают твой душевный опыт. Если все это есть, возникает и еще одно качество — более всего именно в женской лирике, — которое отважусь назвать по-старинному — г р а ц и е й.

Именно этим словом я могу выразить свое впечатление, например, от такого тонко написанного стихотворения Юлии Друниной, от такой ее миниатюры (заметим, что грация не терпит, как правило, длиннот и тяготеет к особому лаконизму):

С собою душой не криви:
Признаться без ханжества надо —
Есть боль в умирание любви,
Но есть и свободы награда.
Кончается странная власть,
Бессмертное хрупкое чудо —
Власть голоса, смеха и глаз...
Бедней и богаче я буду:
Я буду вольна над собой.

И снова, как в юности ранней,
В крови нарастает прибой,
В груди — холодок ожиданья...

Грациозность отнюдь не синоним легкой игривости. Может быть, и есть еще на свете критики, читатели, что привыкли связывать с понятием «женская лирика» нечто несерьезно-прихотливое, капризно-кокетливое, некий, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, «лепет галантерейной души»; в изученных мной сборниках я нашел очень мало тому примеров. Случаются, бывают, но редко. Иногда от неопытности, как, скажем, у Нелли Тулуповой, которая вполне элементарному выражению довольно простенького чувства «оттаивания сердца от морозов бесконечных» придала зачем-то претенциозное, «музыкально-итальянское» название, да еще с ошибкой напечатанное: *Allegro temperamento*. Иногда кокетливо-игривые настроения просто шутка, но, к сожалению, малоудачная, как получилось, например, у Щипахиной в стихотворении «Ничего не замечаю...», — за героиней этого стихотворения, видно, кто-то сильно «ухаживает», расточает ей лестные слова, а она, принимая эту игру в «охотника» и «дичь», вдруг делится своим прежним опытом такого рода в нижеследующем откровении:

В добрый час, охотник милый.
Не томись. Исполнишь силой.
Страна вольна лесная,
И раздолье — по плечу.

Ох мужчины! Слово дети...
Все гляжу на игры эти.
Кто выигрывает — знаю
И неслышно хохочу...

Нет, грация, повторяю, это не жеманство. Это искренность чувства в лаконично точном, минимальном по средствам выражении! Умение (пожалуй, не благоприобретенное, но врожденно-интуитивное) быть грациозным — не истинно ли женское умение?

Недавно на Украине целую группу молодых поэтесс приняли в Союз писателей. Большинство их авторы одной, реже двух небольших лирических сборников. Я познакомился с некоторыми из этих изданий... Да, несовершенно многие стихи; есть перемены мотивов и образов не только старшего поколения поэтов (например, без конца и без успеха подражают тычинскому образу «ветра»), но и поколений предшествующих, близких к собственному... Сборники неравноценны и, в общем, не выходят за межи «нормальной», «неплохой» поэзии, которая, однако, не делает ни одну из прочитанных мной книг событием

в литературной жизни. Общая сильная черта этих сборников в их естественной «светлой тональности, с которой не дисгармонируют естественные ноты женских печалей и горестей». Эту характеристику из коротенького предисловия Леонида Новиченко к сборнику «Рожденная в степях» одной из способнейших молодых поэтесс, Любови Голоты (Днепропетровск, 1976), мы вправе распространить в целом и на других «новобранок». Им еще не хватает умения выразить индивидуальность, неповторимость переживаемого. Но им присуща подлинная эмоциональность, ненаигранность темперамента и — почему я и заговорил о них в данном месте статьи — та грация, о которой идет речь. Грация, что передается младшим словно по генетическому женскому коду от старших. Тонкость наблюдений и сильный лаконизм образов ошутимы, например, в цикле Любови Голоты «Горицвет».

Осознанное стремление преодолеть различные графеты для выражения «стандартных» психологических состояний (первая любовь, первое разочарование, предощущение любви, горести непониманий и недоразумений и т. д.) заметно у Юлии Ильиной, и у нее же это стремление дает видимые результаты (мне понравился, например, грациозный диптих «Две попытки написать натюрморт»).

Уловить неуловимое, обозначить словом такие состояния души, когда кажется, что слово слишком грубо, слишком материально, — в это положение поэзия попадает нередко. Ситуация ухода или, наоборот, прихода любви, предчувствия ее, эмбрионального ее первого шевеления как раз из таких состояний. Наши поэтессы одержали и одерживают на этом тематическом поле многие победы. Верным подспорьем им служит здесь мать природа, ее реалии, действующие как тонкое и изящное средство эмоционального выражения, как его одушевленная материя.

Впечатление грациозности возникает иногда от умения (врожденного?) недосказать, недовыговорить, к месту и вовремя умолкнуть. А в другом случае — напротив, когда все что нужно произнесено, когда ясно видишь все вокруг и определенно мыслишь и чувствуешь.

Майя Борисова обычно хочет такой ясности:

Белый день.
А точнее — денек.

Тихо.

Тень
не ложится у ног.
Солнца нет.
Небо просто бело.
Чистый снег —
потому и светло.
Ни следов,
ни скользящей лыжни.
Вскинь ладонь
и снежинку лизни!
Даль — подарком
для жаждущих глаз:
не темно и не ярко —
как раз.
Тишь в ушах.
Равновесие дня.
Но ведь шаг
от тебя до меня!

...Да, для поэзии не бывает любви несчастливой. Прерывая и преодолевая одиночество человека словом, исполненным любви, этой истинной вдохновительницы образной силы стиха, поэзия освобождает от одиночества и того, кто оставлен, и того, кто еще не нашел себе друга.

«...То жар, то лед»

Если можно сказать (с определенным, осознанным заострением, упрощением), что у Дануты Бичель-Загнетовой строку диктует, движет нравственная сила воли, а у Ларисы Таракановой — пытливая наблюдательность, жажда найти (или наткнуться, пусть случайно) откровение, неожиданное чудо, то строка Светланы Йовенко есть воплощенная страсть. Она не о чувстве, в большинстве случаев она — чувство, причем доведенное до высокого градуса накала, кипящее чувство, то есть именно страсть.

Критик должен быть логичен, но его (обычная) логика и логика страстей не лежат в одной плоскости...

Честно сказать, давно уже я не встречал столь темпераментных, обнаженно-трепетных стихов... не о любви опять-таки, а стихов любви:

Коли б я мала вроду таку,
якої не знала земля,—
я так само стояла б тут перед Вами
І землі б під собою не чула...

Коли б я вмiла мовити так,
щоб слова були — променiв ласка,—
я так само стояла б тут перед Вами,
І вуста б мої — онiмiлi...

Коли б можно було з розпачу вмерти,
а вважати́ся — я жива,—
я б воскресла од слова і дотику Вашого,
щоб посмерти від шастя й страху...

(«Если б я была такой красивой, какой не знала земля,— я все так же стояла бы тут перед Вами и земли не чула бы под собой... Если б я умела говорить так, чтоб слова были — лучей ласка,— я все так же стояла бы тут перед Вами и уста бы мои — онемели... Если б можно было с отчаянья умереть, а считается — я жива,— я воскресла б от слова и прикосновения Вашего, чтоб умереть от счастья и страха...»)

Полная поглощенность чувством: рассудок только и может что пассивно засвидетельствовать опасность — опасную для человека степень облучения любовью. Но что значит рассудок, если человек так любит:

Так не можна жадати
єдиного погляду й слова.
Так не можна: вiддати
кожен день свiй на ласку хуги.
Крижанiю в мовчаннi —
хто ж мiй вiддих душею ловить:
— О зiцли і звильни
вiд любовi, як вiд недуги!

(«Так нельзя жаждать единого взгляда и слова. Так нельзя: отдавать каждый день свой на ласку пурги. Леденю в молчанье — кто ж мой вздох душою уловит:— О, исцели и освободи от любви, как от болезни!»)

Традиционные для женской лирики признания-заклинания у Светланы Йовенко сверхнакаленны; достигает она этого часто простыми словами, обыкновенными образами-тропами, произнося их, однако, словно жарким шепотом, с вопросами и паузами в строке (недаром столь много в ней тире и многоточий), с нарушением ритмики, прерывистой, задыхающейся, пульсирующей, как кровоток.

Я так тебя люблю,
що вже не розумiю,
чи досi — я жила.
чи сад — уперш заквiт?
Я так тебя люблю,
що й думати не смiю,
й не думати — не вмiю.
Вогнити то жар, то лiд...

Стихи о любви — самая сильная часть творчества поэтессы, что вовсе не означает, что о другом она писать не любит и не умеет. Я упоминал раньше ее поэму «Чиї — птиця моя!»; интересны ее стихи, навеянные поездками, трогательны — о материнстве, ироничны — о конфликтах поэзии и быта. В общем, как и другим нашим поэтессам, Светлане Йовенко ничто человеческое, женское, поэтическое не

ко преисполнена страстности, ею воздействует на читательскую душу. И еще одним важным качеством — отграниченностью, законченностью, строгостью лирической композиции. Это, видимо, у поэтессы тоже от бога данное, а не приобретенное, хотя ее осведомленность в мировой поэзии, в искусствах широка, да и реактивность, отзывчивость на предшественников (украинских, русских, некоторых польских, немецких, Рильке особенно, и т. д.) тоже немалая; Йовенко не чужды мотивы и восточной поэзии... Учиться никогда не зазорно. И учиться всегда лучше с энтузиазмом и одновременно «холодной» головой. Украинская поэтесса приятно удивляет разнообразием строфики, чекацностью, цельностью и гармоничной естественностью места каждого, почти каждого образа-тропа в строке, почти каждой строки в строфе, почти каждой строфы в стихотворении...

Впрочем, такие проблемы, такие материи, кажется мне, уже для другого, не портретного контекста, а этот портрет Светланы Йовенко, поэтессы драматичной и страстной, я закончу обыкновенным пожеланием ей новых творческих дорог, новых усилий, новой дальнейшей беспощадности к себе.

Более 40 сборников стихов, принадлежащих нашим поэтессам-современницам и вышедшим за последние примерно три года, послужили мне подспорьем для написания этой статьи. 27 поэтесс дали материал для более или менее подробного конкретного анализа в самом тексте статьи. Можно бы и еще расширить круг поэтесс, но некоторые сборники, изданные совсем недавно (из русских, например, — Л. Василье-

вой, Р. Казаковой, Н. Павлович, Б. Ахмадулиной, С. Мекшен, С. Соложенкиной, Ю. Мориц, И. Волобуевой, М. Румянцевой, А. Баевой...), не попали мне в руки вообще или попали слишком поздно. Интересную лирическую поэму украинки Ирины Жиленко «Дом» (концентрированное выражение конфликта, о котором шла речь: быт, проза жизни и романтика, поэзия) я прочитал в июньском номере харьковского журнала «Прапор», когда уже написал эту статью. А поэма очень подходила бы сюда... Но ведь сказано: необъятного не обнимешь! Цифры 40 и 27 тоже немалые, по крайней мере дающие право на то, чтоб взяться за выяснение характера в женской лирике наших дней. Иные имена читателю хорошо известны, немалое число имен не пользуется пока той известностью, которую они, как я думаю и как я попытался показать, заслуживают.

Вообще понятиями «крупное имя» и «известное имя» следует оперировать в критике осторожнее. Не всякое известное оно же и крупное. Бывает и так, что крупное достаточно долго не становится известным. А главное: «Я хочу сказать, что художник по призванию есть всегда предмет, достойный внимания нашего, на какой бы ступени художественного совершенства ни стоял он, как бы ни было невелико его творческое дарование. Если он точно художник, если точно природа помазала его при рождении на служение искусству, если он только не дерзкий самозванец, непосвященно и самовольно присвоивший себе право служения божеству,— то, говоря я, не пройдем мимо его с холодным невниманием, но остановимся перед ним и посмотрим на него испытующим взором...» (Белинский).



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Лев Славин. Очень серьезно! — Дм. Молдавский. Зоревая земля. — Ахилр Хакимов. Книга о поэте-борце. — Вадим Ковский. Пафос реальной сложности.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Яковлев. Труд о подвиге фронта и тыла. — Ю. Рытов. НТР в мире капитала. — В. Левин. Вектор личности. — Б. Никифоров. Преступность — недуг внутренний.

Литература и искусство

ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО!

Ю. Никулин. Почти серьезно... «Молодая гвардия», 1976, №№ 4—10; «Молодая гвардия», 1977, №№ 8—12.

Какая любовь к цирку! Не отвлеченная, а конкретная — к самому запаху его, острой смеси опилок и конюшни, к его округлой арене, к его кулисам, где угрожающе зевают львы и повизгивают собаки, к его куполу, этому цирковому поднебесью. Но:

«Больше всего я полюбил в цирке людей», — пишет известный клоун и киноактер Юрий Никулин в своих мемуарах, таких неброских по первому впечатлению и таких увлекательных, по мере того как вчитываешься в них и проникаешься их особым духом.

Никулин ведет рассказ неторопливо и подробно. Он знает эту особенность своего стиля. Он настаивает на ней. Это даже в некотором смысле родовая черта. «Все мы в семье были «подробниками», — пишет он. — Когда отец или я приносили домой какую-нибудь новость, то рассказывать о ней полагалось обстоятельно, не торопясь, со всеми деталями». Никулин не пропустит случая, например, упомянуть, сколько стоил чемоданчик для реквизита, хотя это как будто не обогащает ни художественную, ни идейную сторону его повествования, и у читателя может на мгновение возникнуть досадное чувство: а ведь это лишнее. Но только на мгновение, ибо кончается рас-

сказ — и вы признаете: нет, не лишнее, такие подробности создают бесспорное ощущение действительности, они реалии времени и играют как необходимые детали либо цирковой атмосферы, либо эпохи, либо облика того или другого человека.

Блистательным номерам цирковой программы предшествует труд беспрестанный, каждодневный. Описанию этого труда, никогда не прекращающегося, монотонного в своей повторяемости, отдает Никулин немало страниц. А в нужный момент он прерывает будничность описания счастливой образной находкой — тогда, например, когда он дает портреты цирковых работников: инспектора манежа Буша, в манере которого «присутствовала какая-то магия значительности», или дрессировщика Филатова («...когда Филатов на кого-нибудь сердился, его зеленоватые глаза становились прозрачными. В такой момент к нему лучше не подходить»). Превосходны портреты клоунов Карандаша, Мусле, Кустылкина.

Я всегда считал — да это и не только мое мнение, — что каждый портрет, вообще говоря, в какой-то мере автопортрет, что он не только раскрытие существа модели, но и самораскрытие. С этой точки зрения мне представляется, что главная сила в душевном строе Никулина — сердечность и опти-

мизм. Те страницы, где он упоминает о личных неприятностях и горестях — вероломство девушки, провал при поступлении в театральный институт, — вероятно, единственные признания неудачника. Но заметьте, с каким оптимизмом и незлобивостью о них рассказывается.

Счастлив человек, у которого профессия совпадает с его призванием. Но быть клоуном очень нелегко. Куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Дадим слово самому Юрию Никулину: «Я всегда радовался, когда вызывал у людей смех. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других...» Призвание, которое у Никулина так сильно, что он не мог ему противиться, — доброта. Именно поэтому — плюс выдающийся артистический талант — профессией Никулина стало «заражать добротой и других».

Не так легок был путь к доброте в искусстве. Мемуары — какой это всегда соблазн для самовозвеличения! Иногда даже бессознательного. Но если наиболее стойкие из мемуаристов воздерживаются от подробных рассказов о себе, то уж, во всяком случае, они обычно не обнаруживают склонности к самопронии и публичному раскрытию собственных недостатков.

Никулин принадлежит к тем немногим авторам исповедальной прозы, которые беспощадны к себе. Не раз, рассказывая о долгом и мучительно трудном процессе овладения профессией клоуна, он со строгостью мастера к своей работе отмечает неудачи, даже провалы:

«Публика на этой клоунаде смеялась. Она хорошо принимала все, что делал Карандаш... но когда я оставался один на один со зрителем и произносил текст, в зале воцарялась гробовая тишина».

Он безжалостен даже (быть может, и слишком) и к тому, к чему большинство артистов особенно чувствительны, — к своей наружности. Он приводит слова одного циркового артиста, который застал Никулина в момент, когда тот гримировался: «Выступай без всякого грима. У тебя и так глупое лицо». Никулин не обиделся. Он даже согласился: «Может быть, он и прав. Попробую завтра нос не лепить». Конечно, «глупый» — это профессиональный термин. А все же привести в мемуарах такую характеристику своей наружности — для этого надо обладать и скромностью, и изрядным бесстрашием, и тонким чувством юмора.

Никулин не утаивает от читателя и сомнений в самом себе. Однажды сомнения эти охватили его в критический момент — перед выполнением акробатического номера:

«У меня за секунду перед прыжком возникла вредная мысль: «А может быть, не прыгать?» Это самое страшное, когда акробат начинает перед выполнением трюка раздумывать: делать или не делать? Это все. Верная дорога к травме. И я перестал прыгать».

Значение такого предостерегающего рефлекса выходит далеко за рамки акробатики. Это общечеловечно. Это, с одной стороны, точное знание своих возможностей, своего пика, а с другой — опасность предаваться рефлексии перед решительным поступком.

Да, в этом и познание самого себя. Никулин в другом случае с той же подкупающей откровенностью определяет себя как человека «не очень решительного по характеру, можно даже сказать осторожного, испытывающего скорей огорчение, чем радость (неизвестность меня пугает), когда в твоей судьбе происходят перемены».

Воспоминания Никулина — не только о цирке. Он не только циркач. Он солдат-фронтовик. И фронту отдано немало страниц, написанных с той же обстоятельностью и наглядностью. Ровесники Никулина узнают в его переживаниях знакомые чувства, испытанные ими в начале внезапного вторжения гитлеровцев в нашу страну. «Как же так? — пишет Никулин. — Только что народный комиссар иностранных дел Советского Союза товарищ Молотов ездил в Германию, с которой мы подписали договор о ненападении...» И незабываемая для переживших ее первая военная ночь. «А у нас, — вспоминает солдат 115-го зенитно-артиллерийского полка Никулин, — на пятых три допотопные бельгийские винтовки и к ним сорок патронов».

Солдат Ленинградского фронта, блокальник Никулин проделал в рядах армии весь ее победный путь до Берлина. Военный быт, солдатские будни на войне воспроизведены с такой бесспорной реалистической яркостью, какой могут позавидовать авторы иных книг о войне. Вот, например, о том, как пришла победа:

«Восьмого мая нам сообщили, что утром начнется общее наступление наших войск по всему фронту».

Казалось бы, ночь перед последним бо-

ем должна быть тревожной, но мы спали как убитые, потому что весь день строили, копали.

В нашей землянке лежали вповалку семь человек. Утром мы почувствовали какие-то удары и толчки. Открыли глаза и видим: по нашим телам пригнувшись бегают разведчик Володя Бороздинов с криком «а-ааа, а-аа!». Мы смотрели на него и думали — уж не свихнулся ли он?

Оказывается, Бороздинов кричал «ура!». Он первым узнал от дежурного телефониста о том, что подписан акт о капитуляции фашистских войск. Так пришла победа».

Мемуары свои Никулин назвал «Почти серьезно...». Почему «почти»? Это уступка скромности. По живописности повествования, как и по значительности затронутых проблем, это просто серьезно, без «почти». «Я — клоун.

Я получаю радость, когда слышу, как смеется зал. Я получаю радость, когда вижу улыбки детей и взрослых».

Признание неполное. Никулин не только получает — он излучает радость. Этой радостью дышат его записки. Радостью человечности.

Лев СЛАВИН.



ЗОРЕВАЯ ЗЕМЛЯ

Михаил Алексеев. Собрание сочинений в шести томах. Тт. I—VI. М. «Молодая гвардия». 1975—1977.

Николай Асеев был в своих оценках чрезвычайно строг и в то же время восторжен. Я слышал от него превосходные отзывы о нескольких современных писателях, главным образом поэтах. Из прозаиков он похвалил, кажется, одного — за богатство языка, за умные, «не подделочные» связи с фольклором, за «чувство Гоголя» и за его «клокочущую ненависть» ко всему «кондому, толстомятому» в деревне.

Речь шла о Михаиле Алексееве.

Реализм Михаила Алексеева существует в формах, безусловно связанных с классической традицией нашей литературы, но развивается не как слепое подражание им, а как этап поисков собственного пути. Недаром среди его очерков о современных писателях — прозаиках и некоторых поэтах есть очерк об Александре Довженко, с чьим именем связана новая страница в нашем кинематографе. С сочувствием, пониманием и любовью пишет Михаил Алексеев о реалистических сценах этого мастера, которые претерпевают на глазах удивительные превращения, «порой обретают формы сказочные» и вырастают до символов, о сценах, где будни, окопная грязь, кровь, «дымный смрад» сменяются образами легенды, мечты...

Каждый раз, когда я читаю прозу Михаила Алексеева, думаю об одном — по чужим «рассказам о себе» такое не сконструируешь, во время даже длительной командировки не узнаешь, по словарям местного говора, хотя бы и очень подробным,

так не сочинишь. Есть во всем, что пишет Михаил Алексеев, ощущение подлинности, достоверности, если хотите, избыточной правды, уж очень порой колючей, злой, неприкрытой. Но правда жизни есть правда жизни, а есть еще литература, правда писательского слова, право и умение воздействовать на читателя.

Выход последнего тома из шеститомного собрания сочинений Михаила Алексеева несколько опередил его шестидесятилетие. Можно обратиться к его работе в целом, проверить свои читательские впечатления полученные в разное время, сравнить свое представление о писателе с оценкой коллег-критиков.

По одним статьям он типично военный писатель («Наследники...»), по другим — деревенский («Вишневый омут», «Карюха», «Хлеб — имя существительное», «Ивушка неплакучая»...). Это всего лишь дань тематическому отбору, попытка вогнать писателя в определенную графу.

Для меня Михаил Алексеев просто писатель. Яркий. Со своим языком. Со своим поэтическим кругозором. И, если говорить по совести, я его люблю за смелость и занимательность, за точность позиций, за ум, за глубинность связей истории и современности, истории и будущего.

Его роман «Солдаты» и сегодня остался одной из сильных и значительных книг о войне. Еще не вобравший в себя простоты и одновременно яркости красок более поздних вещей, этот роман скорее связан с

графикой, с ее суровыми и точными решениями, с подчеркнутой акцентировкой главного.

Проявилась здесь и та черта, о которой мы порой забываем, говоря о том или ином писателе,— занимательность, умение рассказать о героях своей книги так, что каждый их поступок, каждый их шаг представляет для нас непреходящий интерес. Справедливо писал автор предисловия к собранию сочинений А. Овчаренко: «Нам начинает казаться странным, что мы жили, ничего не зная о сержанте Шахаеве и старшине Пинчуке, о рядовых Семене Ванине, Акиме Ерофеенко, Али Каримове, лейтенантах Марченко и Забарове...» Это образы тех, кого мы называем «человек на войне». Человек, сохранивший все, что он получил в семье и в обществе в мирные годы, и приобретший новые качества, и в первую очередь чувство коллектива, связывающее людей в часы огромной повседневной опасности, которая в равной мере грозит каждому и может быть предотвращена (хотя бы в какой-то мере) лишь усилиями всех...

Героизм рядового солдата. Знание «механизма» армии во всех его зримых звеньях, понимание человека на войне. И видение его со всеми трагическими движениями души. И я добавил бы — хороший темп повествования, современность языка, органичность военного пейзажа, умение взять пейзаж в динамику, «в нерве».

Философия войны — войны справедливой, войны народной — определяет главное в этом произведении.

Военный писатель или «деревенщик»? Наивная постановка вопроса. Есть у Михаила Алексева повесть, рассказывающая об интеллигенции на войне — о журналистах опытных и начинающих, о солдатах, писавших свои первые фронтовые корреспонденции и первые стихи, а потом ставших известными писателями. В стандартную классификацию повесть вроде бы и не входит. В ней описаны будни войны, но будни в особом преломлении — через труд газетчиков, труд, который смело может быть назван творчеством. Труд, который прочно вошел в историю нашей страны и, добавим, историю нашей культуры. Речь идет о повести «Дивизионка». Она «сопредельна» очеркам Михаила Алексева, его публицистике, но это художественная проза в полном смысле этого слова — с точно найденными характерами, с хорошим ощу-

щением юмора, мягкого и незлобивого в сложной, трагической ситуации.

Мне запомнился образ Дубицкого с его высокой деловой требовательностью, железной ненавистью к фальши, к «показухе чувств», к симулированию эмоций. Раскрывается не только образ персонажа, но и нечто большее — та эстетическая позиция, которую пронес М. Алексеев через все свое творчество,— ненависть к фальши, к «красивой выспренности», к лице.

Есть у писателя примечательный очерк, называющийся «Познай самого себя!..». Это декларация литературы реалистической, правдивой, не боящейся, более того — готовой говорить о вещах более чем серьезных — страшных! — и не чурающейся той правды, которая готова вызвать упрек в декларации. Декларация М. Алексева зовет к литературе, далекой от бытовизма, от излишнего накопительства деталей и подробностей. И решительно отказывается от «нехитрых рецептов, по которым до меня и, увы, после меня писали и продолжают писать», — от облегченной, эпигонской литературы.

Этот разговор о формировании писательского мышления, о рождении писателя-реалиста подводит нас к произведению, сыгравшему большую роль в нашей современной литературе, — к роману «Вишневый омут», в котором подлинная смелость сочетается с точностью идейно-этической позиции.

«У Вас деревня многоцветная, многозвучная, на великолепном фоне природы, в которой Вы разбираетесь любовно, отточено,— писал автору «Вишневого омута» Н. Н. Асеев.— Вы знаете и голоса птиц и названия растений так, как ни из какого ботанического или орнитологического атласа не узнать. Вы с природой заодно, не наблюдатель, а участник ее дел. Поэтому прекрасны Ваши утра и вечера на лугу над рекой и в лесу. И тут нет искусственности литературных украшений. В этом Вы ближе всего гоголевским «Вечерам на хуторе»...»

В автобиографии Михаил Алексеев спрашивал не без удивления: «Меня интересует, как поэт, о котором Маяковский сказал: «Этот может, хватка у него моя!» — как этот поэт, будучи сам новатором стиха и склонный немедленно поддерживать всякого, кто дерзнет что-то выворотить, что-то резко изменить в привычной стихии поэзии, — как он мог поддержать автора, к тому же прозаика, пишущего едва ли не в старомод-

ной манере, нимало не заботящегося о том, чтобы как-то прослыть новатором?»

В самом вопросе много неточностей. Прежде всего неверен разговор о старомодной манере и отдает он — да простит мне Михаил Алексеев — писательским кокетством. Вряд ли можно отнести к старомодной форму, где реалистическое — в самом широком плане — повествование соединено с открытой публицистикой, где фольклорные реминисценции определяют самую суть психологических решений, где временные перебивки подчеркивают спады и подъемы внутреннего состояния персонажей, где, наконец, бьются поэтическая образность. Это первое. Второе: Николай Николаевич был страстным поклонником Гоголя. Это тоже немаловажно. Но это не главное. Дело в том, что Н. Н. Асеев терпеть не мог какую бы то ни было идеализацию деревни, сомнительные пасторали о былом ее благополучии, лживые слова о патриархальности ее нравов и др. И где мог старался ткнуть сочинителей подобного рода опусов в реальность! Я убежден, что прозу Михаила Алексеева Н. Н. Асеев воспринял — и воспринял с самых высоких художественных и политических позиций, — видя в ней антипод идеалистической болтовни о безоблачном прошлом некоего «бесклассового села».

Сила народности, естественность чувства природы отчетливо проступают и в последующих произведениях М. Алексеева, в частности в одном из самых популярных и самых глубоких его произведений — повести «Карюха», связанной с благородной гуманистической струей русской литературы: умение так написать «конскую душу», что она получает отзыв в душах человеческих, это искусство большого мастера. Тезис Маяковского «все мы немножко лошади» вдруг становится здесь открытым и понятным, сдержанный юмор, вольное или невольное очеловечивание персонажа пронизывают эту вещь.

Справедливо сравнивая повесть в новеллах «Хлеб — имя существительное» с «Вишневым омутом», В. Панков писал:

«Этой его во многом автобиографической повести предшествовал роман «Вишневый омут». В нем изображена та же саратовская деревня, только в дореволюционные и послереволюционные годы, в пору классовых схваток, со всей остротой социальных и нравственных конфликтов. И в заглавии, и в художественных вариациях романа сле-

тены два образа — глубокого, страшного омута и радующего, поэтического сада. С омутом связан образ кулака Савкина, с садом — крестьянина, трудолюбива, поэта в душе Михаила Харламова. Судьбы дедов, сыновей, внуков этих деревенских антиподов проходят перед нами, судьбы сложные, у некоторых героев трагичные. В «Вишневом омуте», романе суровом и поэтичном, автор довел действие до конца Отечественной войны.

Нельзя сказать, что «Хлеб — имя существительное» буквально прямо продолжает предыдущий роман, но автор возвращается сам и возвращает нас в те же места, показывает жизнь саратовской деревни в последние годы. Однако в новеллах много предыстории, особенно памятных автору с детских лет».

Да, эти памятные истории дали героям романа право на высказывания, на дискуссию, на спор — Кузьме Удальцову, Николаю Зулину, Журавушке, Акимову, Стышнову. За каждым из них человеческая история, за каждым судьба. Подлинная, живущая своей жизнью деревня!

Михаил Алексеев по-настоящему знает село. Никаких искусственных, романтизированных коллизий! Привычная схема «черное и белое», «да и нет» рушится под пером настоящего писателя. В повести «Хлеб — имя существительное» есть короткий эпизод. Мальчишек рассаживают по караульным вышкам, назвав их «интригующими и очень высокими словами «Легкая кавалерия по охране урожая». Мальчишки должны были обнаруживать кулацких «парикмахеров», то есть тех, кто забирался в зреющие хлеба и состригал в мешок колоски. Ах, какое широкое поле для остро сюжетного эпизода, но у Михаила Алексеева все проще, глубже и, может быть, трагичнее:

«Петька и Васка не раз обнаруживали стригунов, дудели во всю свою силу в пионерский горн, колотили в барабан, а когда прибегали с полевого стана взрослые и настигали «парикмахера», то им чаще всего оказывался какой-нибудь сельский многодетный бедолага, подвигнутый голодом на такое дело. Мальчишкам было стыдно, они прятали глаза перед преступником и готовы были провалиться сквозь землю: нередко пойманный доводился им родственником — дальним или близким».

Немало проблем — острых, животрепещущих — поставил писатель в этой повести.

Безукоризненная точность выбранной — нет, не выбранной, а породившей писателя! — позиции позволяет ему говорить о вещах достаточно серьезных.

Повесть эта, производственная по своим внешним «параметрам», в то же время глубоко человечна и поэтична. Напомним его гимн ночи:

«Уверяют также, что, помимо волков, по ночным улицам и проулкам рыскают разбойники. При этом как-то забывается, что разбойники тоже люди и не им ли обязана ночь дурной своей репутацией? Что сама-то она тут ни при чем. Что вовсе не для волков и не для разбойников создана она, ночь, ноченька, ночушка. Мы страшимся ее, между тем как именно ночью совершается самое удивительное, что только бывает на земле.

Уставший человек может хорошо отдохнуть лишь ночью. Долгая засуха, невыносимая жара, казалось, должны были иссушить, испепелить все живое на земле, и представляется великим чудом, что там и сям зеленеет еще трава, и никто не подумает, видя такое чудо, что спасла эту травку капля росы, которая невеста откуда появляется на ней всякий раз, когда огромное раскаленное светило нехотя, медленно погружается за кровавый от зноя горизонт».

А вот сцена: пришло известие о победе. С какой предельной, подчеркнутой, я бы сказал, изысканной простотой написана она: «За сбором прошлогодних колосков и застала их победа. Примчался на жеребой толстопузой кобыле какой-то мальчишка и что было моченьки заорал:

— Мам, победа!

Женщины вмиг разогнули спины и не почувствовали даже обычной в таких случаях боли в пояснице. Минуту стояли в странном оцепенении. А потом так же дружно все расплакались, начали обнимать одна другую, целовались. Кто-то предложил ссыпать все колоски в одну кучу, чтобы испечь потом общий для всех каравай и поделить его поровну, по числу душ. И ныне помнит Журавушка, что слаще, вкуснее того хлеба ни до того дня, ни после она никогда не едала».

Герои М. Алексеева никогда и ни при каких обстоятельствах не говорят тоном сомнительных сказителей, авторов маловыразительных «новин» (кстати, один из таких персонажей высмеян еще в его «Дивизионке»). Слова «государство», «диалектика»

и т. д. прочно вошли в их речь, как вошли в речь любого нормального современного человека, и в этом еще один признак достоверности Михаила Алексеева.

Бывает, что писатели, пишущие о самой что ни на есть глубинке, опираются то на повесть немецкого романтика прошлого века, то на финского юмориста предреволюционных лет, а то и на аллегории модного французского эссеиста — все это слабивается сомнительной, стилизованной речью, все это красится в соответственные псевдолобучные тона. М. Алексеев слишком хорошо знает деревню, слишком уважает ее жителей, чтобы стилизовать их речь «под XVII век». В этом он неколебим, его язык подлинный — не искусственно реставрированный язык «деревенщика», который давным-давно позабыл речения родного села и лихорадочно пытается восстановить их, укрепляя свою славу «самородка» при помощи оставшихся со студенческих (а то и аспирантских) лет диалектологических справочников, безбожно мешая говоры и речения.

Мне приходилось писать об «Ивушке неплакучей», о том, что ее значение наряду с «Вишневым омутом», «Хлебом — именем существительным» — во вторжении в сложнейшие вопросы общественной жизни времени, в умении писателя создать галерею типических характеров в типических обстоятельствах, носящих очень определенные черты эпохи, воссоздать самое мышление людей. Один из героев «Ивушки неплакучей» говорит: «И какой это идиот мог сказать, что война все спит?! Ну нет! Война — жестокий бухгалтер. Она ни о чем не забывает и никому ничего не списывает и, наверное, долго еще будет хранить строги свои счета».

В романе эта мысль отзывается во всем — в сюжетных перипетиях и судьбах персонажей. Жизнь, любовь, долг, смерть — это то, что определяет бытие героев. Война, даже когда она, казалось, ушла в прошлое, продолжает бушевать в каждом герое — она со старыми и молодыми, она — в людях...

С психологической точностью обрисовывает Михаил Алексеев людей послевоенных лет; пишет он жителей деревни Завидово, но читатель видит в них своих близких знакомых, а порой и самого себя, даже если он и никогда не бывал на Волге. Разве такого не бывало с вами, со мной, с вашими друзьями?

Острым психологизмом отмечены многие сцены романа. Напомню одну из многих.

«— Ты вот что, Сережа,— первым, как и следовало ожидать, заговорил дядя Коля,— ты скажи ей всю правду. Так-то будет легче, чем всю жизнь понапрасну ждать. Убит ежели, так и скажи...»

Теперь глаза Аграфены Ивановны обратились на старика, и была в них такая ярость, такая лютая ненависть, что тот сейчас же замолчал и в замешательстве начал оглядывать всех, как бы ища поддержки. Но его выручила сама хозяйка, вновь повернувшая лицо к Сергею:

— Правду ли нам написали... правду ли? — Умолкла, тяжело задыхалась.

— Правду, Аграфена Ивановна,— сказал Сергей тихо...»

А. Овчаренко писал о героине романа: «Сдержанная на жест и на слово. Внутренне замкнутая, как чаще всего бывают замкнутыми люди беспредельной душевной щедрости. До поры до времени ее нежная душа словно сковывается утренним морозцем... Но есть какой-то внутренни́й огонь, пылающий в ее синих-синих глазах, освещающий ее лицо радующей всех улыбкой. Ей-то и выпадает в годы войны стать главной опорой семидесятилетнего председателя колхоза, сестра на трактор, сплотить вокруг себя и стариков, и ребятешек, и девушек».

Люди у Михаила Алексева просто люди с их маленькими и большими трагедиями, с судьбами, порой лишь затронутыми, а порой изуродованными войной, голодом, злой волей. С любой страницы романа на нас гля-

дят их живые глаза, и мы им верим и склонны им простить многое из-за их непосредственности и обаяния. Беспощадность и доброта, смех и грусть, которой окрашены многие страницы романа (в том числе и явно «гоголевские»), помогают сделать события книги понятными и близкими людям.

Я не люблю сравнивать понравившиеся мне книги, не могу сказать, что сильнее — «Вишневый омут» или «Ивушка неплакучая». Мне кажется, что последний роман, не теряя живописности, более, что ли, мускулист, раздумчив, не только более масштабен, но и в чем-то проникновеннее, глубже, хотя концентрированная цветастость «Вишневого омута» продолжает пленять сегодня, как и тогда, когда этот роман впервые появился на свет.

Читая «Ивушку неплакучую», я порой жалею, что Николай Николаевич Асеев не окунулся в «кареглазую речку» этой новой книги, что не прочтет он как подтверждение его мысли о знании языка и преданий о тучках, которые «сошлись, столкнулись, облизались грозными языками молний, зацепили кончиком страшного языка березку, расщепили ее, сожгли, превратили в черную головешку пастуха. Давно это было, даже корней не сохранилось от дерева, а имя Березка осталось».

Михаил Алексеев отмечает шестидесятилетие. Убежден, что к первым шести томам его собрания сочинений прибавятся еще многие такие же яркие и талантливые.

Дм. МОЛДАВСКИЙ.

Ленинград.



КНИГА О ПОЭТЕ-БОРЦЕ

И. Нуруллин. Тунай. Авторизованный перевод с татарского Радия Фиша. Серия «ЖЗЛ». М. «Молодая гвардия». 1977. 238 стр.

В начале две цитаты. Первая:
«Наша нация нуждается в джигитах, которые, как и сыны других наций, отстаивали бы интересы беззащитного, обездоленного бедного и рабочего народа, сами бы понимали и смогли бы объяснить, что прошли те времена, когда можно было пять бедняков менять на одну собаку. И наша нация нуждается в Пушкиных, Толстых, Лермонтовых...»

Вторая:
Здесь родились мы, здесь росли, вот здесь мы встретим смертный час.
Вот с этой русскою землей сама судьба связала нас.
Нет, черносотенцы, не вам, не вам смутить мечты святые:
К единой цели мы идем, свободной мы хотим России...

И фрагмент статьи и стихотворные строки принадлежат перу одного человека. На-

писаны они в 1906—1907 годах двадцатилетним поэтом.

Есть что-то пророческое в словах юноши, который в двадцать лет мыслит как зрелый муж и сквозь годы мучительных поисков провидел светлое будущее своего народа. Этим человеком был великий татарский поэт Габдулла Тукай.

Я с умыслом привел его собственные слова, перед тем как начать разговор о посвященной ему книге Ибрагима Нуруллина. Книге добротной, интересной, вобравшей в себя много ценных свидетельств и о самом Тукае и о его времени. А умысел мой заключается в том, что хотелось бы, говоря об этой книге, попытаться привлечь внимание прежде всего к личности поэта, чье творчество, освященное идеями гуманизма, страстно взыскующее правды, народное от первой строчки до последней, находится, я бы сказал, еще на полпути к своей заслуженной славе. Вероятно, не любой читатель и в нашей стране (кроме разве нас — татар, башкир и отчасти казахов) знает Тукай так же хорошо, как его земляки, с молоком матери впитавшие каждое слово поэта. Как сердце русского — волшебный мир пушкинской поэзии. Как украинец — боль и откровения шевченковских дум...

Роль Тукая в развитии татарской литературы и искусства, без преувеличения, сродни той особой миссии, которая выпала на долю Пушкина и Шевченко в истории русской и украинской культур. Сознание татарского народа, его литература и искусство, его нравственность насквозь пронизаны Тукаем. Ему посвящаются фолианты исследований, диссертации и романы, многие его стихи и поэмы стали песнями, операми, балетами. Немало прекрасных слов о глубине и величии таланта Тукая сказали выдающиеся деятели литературы разных народов нашей страны, но задача широкой популяризации его наследия не утрачивает своей остроты и актуальности и в наши дни.

Я не хочу сказать, что к Тукаю редко обращались русские переводчики. Переводов много. Есть среди них и просто блестящие, выполненные А. Ахматовой, С. Липкиным, другими знатоками татарской поэзии. И все же на русском языке Тукай в целом пока нет. Имеющиеся переводы за редкими исключениями передают лишь смысл стихов. Легкость и изящество слога, игра настроений, праздник созвучий — все то, чем завораживает Тукай, когда чи-

таешь его в оригинале, пока что ждет адекватной передачи.

Выход книги Ибрагима Нуруллина, прозаика и ученого, в популярной серии «Жизнь замечательных людей» — важная веха на пути поэта к всесоюзному читателю.

Перед нами книга-исследование и одновременно книга-очерк. От рождения до смерти (а хочется написать — гибели) прослежена беспокойная, горестная жизнь поэта, так рано сгоревшего в борьбе. Немногие годы были отмерены ему судьбой. Он прожил на свете всего двадцать семь лет и умер от чохотки, но и за этот ничтожно малый срок успел сделать так много, проложил такой глубокий след в истории своего народа, что стал подлинным знаменем и символом татарской культуры, неиссякающим источником многих ее выдающихся достижений.

Внешними событиями биография Тукая не богата, и оттого, видно, автор столь пристален даже к незначительным на первый взгляд переменам в его жизни. Во всяком случае, начальные главы книги целиком построены на «бытовом» материале и вполне отвечают распространенному канону художественно-биографического повествования. И. Нуруллин стремится раскрыть атмосферу духовной жизни татарского общества на рубеже столетий и на этом фоне показать, как шло формирование нравственных и эстетических воззрений будущего поэта. Неспроста внимание автора останавливают откровенные вспышки протеста против насилия, пробуждение социальной мысли героя, радость от ощущения им своего родства с людьми труда, крестьянами и ремесленниками, от которых впервые были услышаны задушевные народные песни, волшебные сказки, легенды и предания.

Тукай на себе испытал все беды обездоленного, задавленного нуждой народа. Па-сынок судьбы, в детстве он до дна испил горькую чашу сиротства и скитаний. У взрослого Тукая личной жизни, семьи также не было. Не было и своего угла. Жил то в душном медресе, то в крохотном номерке дешевой гостиницы, не пользуясь элементарными бытовыми удобствами. Но дух его не был сломлен трудностями. Очень рано Тукай осознал свое призвание борца, заступника за людей труда. Кадимисты — блюстители затхлых, домостроевских традиций старины и лютые враги всего нового, прогрессивного, реакционное духовен-

ство, фабриканты и купцы-толстосумы, продажные журналисты, стихотворцы, щеголяющие декоративной «народностью», — вот мишени постоянных насмешек и сатирических ударов Тукая. Здесь он не знал пощады, и арсенал его разящего оружия был неисчислимым.

При этом великий поэт-гуманист находил ярчайшие краски, нежнейшие слова, когда писал о народе. В статье-лекции Тукая «Народная литература» (1910) читаем: «...народ велик, он могуч, он страстен, он музыкален, он писатель, он поэт». Эту черту творчества и общественной деятельности поэта И. Нуруллин исследует с особой тщательностью. Мы видим, что слова о народе и народности отнюдь не красивая фраза в устах Тукая, а выражение его сущности и главной заботы. Он жаждет счастья для народа, торопит его пробуждение, отдает ему всего себя. Глубокий знаток жизни и психологии родного народа, Тукай неустанно изучает его устную и письменную литературу. Собирает легенды и сказки, поучительные были и истории — они становятся под его пером бессмертными поэмами; запоминает услышанные в беседах с крестьянами образные речения, колоритные слова и меткие сравнения — они легко и изящно вписываются в его стихи...

Тукай был влюблен в Пушкина. Он постоянно переводил стихи великого поэта, пропагандировал его творчество, учился у него. «О, как мне мощь твоя нужна, певец неповторимый!» — обращается Тукай к своему кумиру, когда его одолевают сомнения в своем предназначении. Все чаще он ощущает, насколько Пушкин близок ему, уверяет по Пушкину тональность собственного поэтического слова.

Огромную роль в жизни Тукая сыграла революция 1905—1907 годов. Это период наивысшей общественной активности поэта, его сближения с социал-демократическим движением. Именно в эти годы обостряется и углубляется социальная проблематика поэзии и публицистики Тукая. В непримиримой борьбе с черносотенной реакцией мужает его талант, становится более зрелым понимание интернациональных задач революции. И не случайно И. Нуруллин особенно подробно остановился как раз на этом отрезке биографии своего героя.

Облик поэта в книге И. Нуруллина многогранен. Причем диапазон общественной и литературной деятельности Тукая был настолько широк, понимание им насущных

проблем своего времени так глубоко и всесторонне, что мы вместе с автором испытываем чувство преклонения перед грандиозной духовной работой, позволившей больному юноше, вышедшему из схоластического медресе, обрести столь основательные знания, совместить в себе поэта и публициста, критика и журналиста, редактора и фольклориста. «Я не только поэт, как ты, — писал он своему другу С. Рамиеву. — Я ведь дипломат, политик и общественный деятель. Мои глаза многое видят, мои уши многое слышат». Это поистине так. Острый, व्यскаательный взгляд Тукая проникал во все сферы народной жизни, его перо с одинаковой силой живописало и картины крестьянского труда и жизнь городской бедноты. Поэту были равно доступны и фантастический мир сказок, и сложные проблемы философии и истории, и тончайшие движения человеческой души.

Вспомним еще раз — Тукай прожил всего двадцать семь лет, и автор, избегающий романтической идеализации образа поэта, рисует характер, во многом еще формирующийся, в котором черты застенчивого деревенского паренька причудливо уживались с качествами опытного политического бойца. То он темпераментный полемист, то нежный лирик. Ему не чужды и минуты беспричинной грусти, и вспышки мальчишеской бесшабашности, и доходящая до абсурда мнительность... Все это очень тактично, ненавязчиво раскрывается в книге. Конечно, можно было бы посоветовать по поводу того, что при всей достоверности созданного автором образа уделено недостаточно внимания духовной биографии поэта, тому, что Лев Толстой назвал «диалектикой души». Скажем, мы узнаем очень много внешних фактов, относящихся к рождению тех или иных художественных замыслов Тукая, а вот часы его уединенных раздумий, внутренних борений или даже просто работы над стихами видим весьма редко.

На русский язык книгу перевел Радий Фиш. Перевел хорошо, достаточно ровно, профессионально. Правда, встречаются в ней и чересчур стилизованные под русское просторечие выражения в устах персонажей-татар («Как живешь-можешь, милочек?» — или: «Ученый, бают, парень»), а в авторском тексте вдруг такое: «Волосы, борода и усы подстрижены по национальной моде». Бросается в глаза отсутствие единого принципа в транскрипции татарских имен. Но, к счастью, подоб-

ных изъянов очень немного. Можно смело утверждать: выпустив книгу о Тукае, и автор, и переводчик, и издательство внесли

серьезный вклад в дело изучения и популяризации наследия великого поэта.

Ахьяр ХАКИМОВ.



ПАФОС РЕАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ

А. Бочаров. Требовательная любовь. Концепция личности в современной советской прозе. М. «Художественная литература». 1977. 365 стр.

По своему жанру новая книга А. Бочарова — своеобразный практический ответ на популярные нынче споры о границах критики и литературоведения. Это несомненная критика, ибо посвящена книга актуальным проблемам текущей литературы, пронизана личным, заинтересованным отношением автора ко всему, о чем он пишет, полемична по самой своей «срочечной сути». И это несомненно литературоведческое монографическое исследование — с обсуждением методологических вопросов, отступлениями в историю и теорию литературы, генеральной темой, объединяющей многообразный по художественному звучанию материал.

Даже если согласиться с недавним и весьма, как мне кажется, спорным разграничением критики и литературоведения, сделанным академиком Д. С. Лихачевым, то можно с уверенностью утверждать, что книга А. Бочарова — подобно литературоведению — «объясняет литературу» и — подобно критике — «с помощью литературы объясняет действительность». Именно литературоведческая сторона книги и побудила, вероятно, Ю. Кузьменко почти целиком посвятить свою рецензию на нее («Октябрь», 1977, № 11) общим методологическим позициям автора. Начнем отсюда и мы, это сделать тем проще, что А. Бочаров сам четко обозначает их в первой же, вступительной главе.

Когда-нибудь, изучая историю советской критики, будущие исследователи отметят, надо полагать, одну характерную ее черту, особенно бросающуюся в глаза с конца 60-х и на протяжении всех 70-х годов. Это стремление объять литературный процесс двух десятилетий в целом, стремление, чреватое своими издержками. Заметны они и в работе А. Бочарова, где есть несколько утомляющий, загромождающий восприятие переизбыток фактов и информации. Но есть в этом стремлении и нечто объективно необходимое и полезное, возникшее как

реакция на эмпиризм иных критических работ, произвольность оценок, узость и односторонность трактовки отдельных, взятых изолированно от всей их совокупности художественных явлений.

Автор недвусмысленно заявляет объем своего материала и широту поля зрения: «Обычно роль критики видят в общественно-эстетическом истолковании конкретных художественных произведений, «текстов». Но критика — это ведь и осмысление литературного процесса с позиции общественного самосознания... Взгляд извне, «со стороны» дает возможность реально судить как об одержанных литературой успехах, так и о пока не решенных ею задачах. Критику волнует не только установление внутрилитературной «иерархии», но и то, как свершаемое литературой соотносится со знанием человека, добытым другими искусствами и наукой».

Последнее — соотношение литературы, литературоведения и критики со знанием, «добытым» в других областях исследования общественной жизни, — наряду со «взглядом извне», осмыслением литературного процесса в его широком общественном масштабе является принципиальной методологической установкой автора. Поэтому его книга столь обильно насыщена ссылками на труды философов, социологов, психологов, публицистов, причем ссылки эти носят отнюдь не формальный характер — они дают А. Бочарову ту самую картину развития общественного самосознания, социальных процессов и т. д., с которой он и сверяет «совершаемое литературой», развертываемую в ней художественную панораму действительности. И так критик делает всякий раз, о чем бы ни шла речь, — не обойдены вниманием ни теория человеческой деятельности и общения, ни самые разные подходы современных наук к структуре личности (от акцентирования «биофизиологических стимулов» до «социально-исторической детерминированности»), ни концеп-

ции социального прогресса, ни «новейшие исследования высшей нервной деятельности», ни понятие социальной роли, введенное в научный обиход социологией и социальной психологией, ни проблемы подсознательного и бессознательного, ни полемика в связи с усиливающимся воздействием на личность средств массовой коммуникации, ни категория «образ жизни», ни социологическая статистика в области брачно-семейных отношений...

Нельзя сказать, что все здесь А. Бочарову удается: комплексный анализ, который чем дальше, тем больше привлекает критику и литературоведение в их поисках новых методологических подходов к литературе, дело хотя и перспективное, но сравнительно новое. Интенсивность использования данных общественных наук в рецензируемой книге значительно выше, чем в других известных мне работах о современном литературном процессе, и естественно, что автору во многом приходится идти нехоженными путями. Этим объясняются и наши неизбежные в подобных случаях претензии.

Философские или социологические преамбулы, предваряющие живой разговор о литературе, в книге нередко выглядят громоздкой надстройкой, вместо того чтобы органически вытекать из самого существа предмета, а подчас даже втягивают А. Бочарова в совершенно не свойственное ему прямолинейное сопоставление и противопоставление — не в пользу литературы — двух принципиально разных форм общественного сознания. Я, например, не думаю, чтобы знакомство со сборником статей «Насущные вопросы этики» (М. Изд-во АН СССР. 1971), «прямо и категорически» определяющим компоненты нравственности, могло бы, как полагает критик, оказаться настолько «ошеломительным» для «многих литераторов», что заставило бы их пересмотреть свои «попытки открыто поэтизировать простоту, извечность, невозмутимость нравственных норм человеческого бытия». Или что литературу следует корить за якобы отставание от «смежных общественных наук», которые «сегодня значительно более объемно (чем литература. — В. К.) оценивают существование отрицательных явлений в жизни советского общества, видя их причины не только в «родимых пятнах» буржуазного строя, но и в возможном отклонении от социалистических принципов в субъективной деятельности людей...»

Далее, говоря о современной прозе, А. Бочаров сам убедительно вскрывает, насколько объемна в этом отношении именно художественная мысль.

Бывает, впрочем, и наоборот — тонкий и точный эстетический анализ вдруг «проваливается» в некий «социологический эквивалент», не столько дополняющий, сколько затемняющий наше восприятие художественного явления. В самом деле, вот дана довольно пронизательная характеристика творчества Б. Васильева, которому «отлично известны секреты воздействия на читателя... пусть иногда это звучит немного мелодраматично, иногда чуть-чуть сентиментально, а иногда тонко рассчитано на то, чтобы поддразнить, польстить „простому человеку“...». И тут же такое неожиданное заключение: тенденция книг Б. Васильева «при всей их неровности, а то и беллетристичности», оказывается, «отвечает общему характеру социальной жизни, в которой общество ставит своей целью стабильное равновесие, а динамической задачей — регулирование, направленное на поддержание этого равновесия». В то же время, повторяю, стремление автора включить науку о литературе и критику в состав обществоведения, высветить новые грани в самом художественном процессе методологически очень перспективно и происходит как раз из острого ощущения меняющейся эстетической реальности.

Несмотря на свое пристальное внимание к общественным наукам, исследователь, конечно же, прежде всего «обитает» внутри, а не вне литературы. Главный «сюжет» его работы — концепция личности.

Само понятие «художественная концепция личности» стало энергично вводиться советским литературоведением в оборот с начала 60-х годов и, безусловно, было шагом вперед по сравнению с господствовавшим ранее анализом «образа героя». А. Бочаров, по существу, характеризует именно эту эволюцию, когда утверждает, что концепция личности связана с духовными поисками литературы (а не только ее «запечатлевающими» способностями), с авторской позицией, «разлитой во всем произведении и необязательно персонифицированной в образе конкретного героя». Не вполне ясно, правда, что имеет в виду автор, намечая при столь широком взгляде на этот вопрос в качестве критерия отбора материала для изучения следующий: «...предполагаю ориентироваться лишь на

книги, примечательные для познания того, какие творческие проблемы концепции личности волнуют наших прозаиков...», ибо «есть художники, которым раздумья над концепцией личности представляются несущественными, поскольку их волнуют иные (!) творческие проблемы». Однако благодаря тому, что в поле зрения исследователя множество книг, и их разнообразию, свидетельствующему, что концепция личности не может не волновать любого прозаика, исходная формулировочная неясность утрачивает свое принципиальное значение.

Критик действительно «не создает никаких логизированных схем концепции личности», а пытается «выделить те проблемы, которые представляют интерес для сегодняшнего состояния умов, для сегодняшнего уровня художественных поисков».

В поле зрения А. Бочарова — историческая динамика гуманистического содержания концепции личности, типология художественных конфликтов, жанровые изменения в процессе субъективации повествования, отношения между методом и средствами художественной выразительности, связь эстетики с этикой и многое другое. Сложно и интересно следить за напряженным движением живой полемической мысли исследователя. Он утверждает: «Взяв на вооружение классические способы повышения психологической напряженности повествования — исповедь, письмо... современная проза стала все охотнее вообще снимать обрамляющие «строительные леса». Повествование сразу обрушивается на читателя страстной духовной обнаженностью признаний, покаяний, раздумий. И редко какое «объективное» описание может так вывернуть наизнанку душу человека, как это делают подобные путешествия в глубь себя...» Или по другому поводу: «То, что ни наши критики, ни философы, ни даже психологи не занимались серьезно проблемой выбора, было связано с узкими, прямолинейными воззрениями на социальную детерминированность человека... Интерес к выбору возникает лишь тогда, когда человек осознается в множественности своих потенциалов, когда социально-психологический анализ не ограничивается анализом социальной психологии, когда атипичный путь признается столь же поучительным, что и типичный».

Это в качестве примеров, дающих представление не только о характере авторских

раздумий и интонаций, но и о том главном содержании, которое усматривает А. Бочаров в самой художественной концепции личности, создаваемой современной советской прозой. Всю монографию пронизывает постоянно повторяющаяся и варьирующаяся мысль об усложняющемся отношении художника к герою, о понимании многомотивности возможностей и поступков человека, о художественных решениях, базирующихся «на прочной идейно-философской и научно-этической основе» и чуждых какому бы то ни было рода упрощениям и нивелированию.

Отсюда возражения критика против «жесткой меры» положительности или отрицательности персонажа, нередко разрушающей «целостный в своей многослойности» художественный мир произведения; отсюда активная поддержка «семейно-бытовой» литературы, которая показывает, что человек не исчерпывается непосредственно производственными функциями, и стремится исследовать новые сложные процессы общественного развития, преломляющиеся в сфере личных, интимных отношений людей; отсюда полемика с «застарелыми страхами» вокруг категории подсознательного, призыв «не бояться конфликтов, в том числе конфликтов в душе человеческой, — через них открываются сущность личности, истина человеческого существования, глубинные пути социализации индивида».

На большом и выразительном художественном материале А. Бочаров демонстрирует, какой нравственной, воспитательной силой может обладать эстетический анализ «психологии ложного решения», исследование внутренней логики распада личности, морального краха «антигероев», драматических заблуждений многочисленных «негероев», «неборцов», «непобедителей». Пафосом реальной сложности жизни и литературы продиктованы и те страницы книги, где речь идет о преодолении «иллюзорного оптимизма» во имя оптимизма «подлинно исторического», философского, о повышении драматического и трагического потенциала художественных решений, резко выявляющих нравственную коллизию, дающих читателю «эстетический эффект катарсиса, трагического очищения». Нельзя не согласиться с критиком, когда он утверждает, что все это делает современную концепцию личности более полной, определенной, многозвучной, усиливает ее реалистическую объемность.

Менее удалось, мне кажется, А. Бочарову обращение к прозе, которую мы традиционно привыкли обозначать как «производственную» и «деревенскую» (хотя автор и здесь пытается методологически отойти от привычных схем). В одном случае разговору просто не хватает фактической основы: трудно строить его всего на двух, причем далеко не блестящих художественными достоинствами романах — «Современниках» С. Бабаевского и «Обычном месяце» И. Штемлера. В другом случае художественных фактов вполне достаточно, но их трактовка вызывает желание поспорить. Как эстетическое явление «деревенская проза» всецело взята в плюсквамперфекте (мол, в 60-х годах «всплеск лирической деревенской прозы был нужен»), будто это не она породила такие известные произведения самых последних лет, как «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Царь-рыба». Более того, на главных героев ее — Ивана Африкановича, старуху Анну — фактически возлагается вина за их же собственную трудную долю, поскольку героев якобы отличает «нравственная неподвижность», «отсутствие потребности самостоятельно принимать жизненные решения». Даже «в ужасной судьбе Андрея и Настеньки», получается, повинны «простейшие желания», природность и естественность, неспособные «выдержать внезапных духовных сверхнагрузок». Так возникает в итоге совершенно неоправданное противопоставление: «Те, кто ищет незамутненной цельности в человеке, — ищут героев в лесной, деревенской глуши... Те же, кто отыскивает биение нервного пульса эпохи, чаще обращаются к судьбе интеллигентов, ибо интеллигенция — особенно творческая и научная — наиболее чувствительный, нервный сейсмограф, регистрирующий самые слабые содрогания тверди».

Поскольку мы имеем дело с монографией яркой, дискуссионной и местами неровной, можно было бы, вероятно, всякий раз, отмечая новые и новые ее достоинства, находить и недостатки, прямо с ними связанные. Например, исследователь постоянно стремится к типологическим сопоставлениям, ко взгляду на советскую литературу как на органичную часть мирового литературного процесса. И это очень хорошо. Но «зарубежного» материала у него маловато, и сопоставление сплошь и рядом оборачивается всего лишь противопоставлением (причем противопоставляется советская литература модернистской, однако последняя не присутствует в книге ни одним конкретным названием, ибо романы М. Фриша и К. Оутс сюда никак не отнесешь). Или вот обращение к книгам и статьям критиков. Автор действительно выполняет данное во введении обещание «сравнительно обильно цитировать» критику (и тут, пожалуй, никаких особых оправданий не нужно: беда наша в том, что мы как раз обычно цитируем мало, а значит, мало учитываем уже сделанное и потому часто занимаемся открытием Америк). Вместе с тем широкие концептуальные высказывания критиков по главным вопросам, поставленным книгой, здесь вводятся все же недостаточно (за исключением очень сложной и явно недооцененной автором в ее собственной задаче и пределах работы Л. Арутюнова).

Книга А. Бочарова дает повод для интересного разговора о многих существенных линиях нашего литературного развития. Она, несомненно, свидетельствует о требовательной любви исследователя к своему предмету. И потому может рассчитывать на любовь читателя — но тоже, естественно, требовательную.

Вадим КОВСКИЙ.



Политика и наука

ТРУД О ПОДВИГЕ ФРОНТА И ТЫЛА

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
1941—1945. М. «Наука». 1977. 727 стр.

Советская историография Великой Отечественной войны начинается с летописи войны, первые строки которой были написаны 22 июня 1941 года. Зловещие от-

светы военного пожара легли на страницы книг (да, книг!), ибо уже в эти годы писались книги о войне. Они были по необходимости сжатыми, но в концентрирован-

ной форме несли читателю вести о беспримерном мужестве советских людей, поднявшихся на защиту Родины. В фокусе внимания, естественно, была военная героика, прежде всего и больше всего фронт — обнаженное, сверкающее острие вооруженной мощи Советского государства.

Благодарную традицию освещения ратных подвигов советская литература с честью пронесла через годы и десятилетия. На смену популярным книгам и очеркам пришли капитальные монографии, а также по велению неумолимого течения времени — мемуары. Поседевшие прославленные военачальники, многочисленные герои войны бросали ретроспективный взгляд на те трудные годы, делясь своими воспоминаниями о пережитом и раздумьями с поколением, не слышавшим грохота орудий и разрывов бомб. К нашим дням едва ли остался без внимания сколько-нибудь существенный эпизод героической эпопеи 1941—1945 годов.

Одновременно, хотя и с известным опозданием, набирало силу другое направление — показ свершений советских людей в тылу по обе стороны фронта. Конечно, уже в первые послевоенные годы была прекрасно документирована борьба нашего народа по ту сторону фронта, тех, кто имел несчастье попасть под вражескую оккупацию, но никогда не мирился с ней. Но борьба партизан и партизанок вплотную примыкает к историографии Советских Вооруженных Сил, а многие книги о движении Сопротивления прямо входят в нее. Несколькими более скупой освещался подвиг тыла. На то были свои закономерные причины — разве успехи на фронтах не были кульминационной точкой усилий тех, кто ковал победу в тылу, и разве рассказы о боях одновременно не воздавали им должного? Вероятно, то была одна из причин, если не главная. Тем не менее в многотысячной библиотеке работ о войне есть немало блестящих книг, целиком посвященных подвигу тыла. Однако вплоть до последних лет можно было заметить определенный разрыв между двумя описанными потоками литературы.

Значение рассматриваемого коллективного труда в том, что он является ярким примером современного направления в изучении истории Великой Отечественной войны — комплексного исследования всех ее важнейших проблем. Монографии типа этой, вышолненной в Институте истории

СССР, связывают воедино фронт и тыл, о чем ясно заявлено во введении: «Народ в войне — такова основная проблема, раскрываемая в данном труде. Фронт и тыл были едины в сражениях и битвах против опасного и сильного врага». Победа Великого Октября вызвала такой могучий подъем творческих сил народа, под руководством партии преобразившего страну, что Советский Союз оказался в состоянии не только отразить вражеское нашествие, но и освободить народы Восточной и Юго-Восточной Европы. В смертельной схватке с Германией и ее сателлитами в Европе социализм показал и доказал свою величайшую жизнеспособность, свое превосходство над любыми другими формами организации общества. Испытание огнем с честью выдержала советская плановая экономика.

Авторы книги постоянно подчеркивают именно эту сторону дела. Они напоминают: «Советский Союз, имея накануне вторжения гитлеровского агрессора в 3—4 раза меньше станков, металла, угля, электроэнергии, произвел за годы войны военной техники и вооружения в 2 раза больше, чем фашистская Германия». В этом и был залог побед Советских Вооруженных Сил, помноженный на воинское мастерство наших военачальников. Партия воспитала плеяду замечательных полководцев, которые на полях сражений убедительно показали превосходство советской стратегии. К концу 1941 года Красная Армия, испытав горечь неудач в первые месяцы войны, перешла в наступление под Москвой. Гитлеровская Германия потерпела первое поражение в развязанной ею войне.

Зимнее контрнаступление советских войск в 1941/42 году и многие другие стратегические операции Красной Армии — объект злостной кампании фальсификаторов истории. Злопыхатели на Западе с подсказки битых немецких генералов ныне распространяют вздорные басни о «русской зиме», якобы определившей поражение вермахта. Восстановление исторической правды — благородная задача исследователей войны. Отрадно, что это сделано в солидном научном труде, где факты убеждают в рамках стройной концепции, объективность которой не вызывает сомнений. В самом деле, к началу декабря 1941 года «противник все еще имел под Москвой численное превосходство, но оно уже не было подавляющим. Группа армий «Центр» вместе с военно-воздушными силами насчитывала 1,7 млн.

человек, около 13 500 орудий и минометов, 1170 танков и более 600 самолетов. Советские фронты имели здесь 1,1 млн. человек, 7650 орудий и минометов, 415 установок реактивной артиллерии, 770 танков (из них 220 тяжелых и средних) и 1000 самолетов». В этих условиях советские войска сумели нанести решительное поражение вермахту на подступах к Москве. Разве это не ярчайшее свидетельство воинского мастерства советских войск и тех, кто вел их в бой! Или взять соотношение сил накануне перехода Красной Армии в контрнаступление под Сталинградом. 13 ноября 1942 года Г. К. Жуков и А. М. Василевский докладывали Верховному Главнокомандующему и ГКО: «Силы сторон на сталинградском направлении, по данным фронтов, подтверждаемым и Генеральным штабом, в целом равны. На направлениях же главных ударов фронтов благодаря созданию здесь мощных группировок за счет поступивших из Ставки резервов и ослабления до предела на время операции второстепенных направлений фронта мы имеем значительное превосходство над противником, которое, безусловно, позволяет рассчитывать на успех». Это превосходство и было реализовано в ходе контрнаступления. Окружение и разгром немецкой группировки под Сталинградом — классическая операция, вошедшая в учебники военного искусства.

Высокий патриотизм в лучшем смысле слова пронизывает всю книгу. В ней в полный рост предстает титаническая работа партии, которая через тяжелейшие испытания, когда-либо выпадавшие на долю народа, привела нашу великую страну к победе. Партийное руководство всех звеньев в годы войны оказалось на высоте неслыханных требований. Вновь и вновь авторы обращаются к тому, что обеспечило конечные успехи государства, — руководству войной на высшем уровне. Государственный Комитет Обороны сосредоточил все нити ведения беспрецедентной в истории войны. В результате была достигнута такая степень мобилизации всех без исключения ресурсов для нужд вооруженной борьбы, какой не знала ни одна страна как в лагере антигитлеровской коалиции, так и в стане ее противников.

То, что отбоевывалось кровью советских солдат и беззаветным подвигом труженников тыла, необходимо было закрепить в плане международных отношений. История знает немало примеров, российская история в

особенности, когда добытое русским оружием пускалось по ветру в результате интриг и давления иностранных держав. В Великой Отечественной войне Советский Союз, вынесший основную тяжесть войны, имел союзников — США и Англию. Со всех точек зрения ведение коалиционной войны требует совершенной политической и военной стратегии. Авторы глав, посвященных международным проблемам, шаг за шагом, скрупулезно анализируя факты, рисуют реалистическую картину межсоюзнических отношений в рамках антигитлеровской коалиции. Хорошо известная история открытия второго фронта тому наглядный пример. Критерий успехов советской дипломатии — искусство и вековой опыт ее партнеров за столом конференций и совещаний — представителей США и Англии.

Если ныне советская держава имеет за плечами более шестидесяти лет, то испытания 1941—1945 годов выпали на долю государства, не просуществовавшего и половины этого срока, причем многие годы мы находились в международной изоляции. Нашим дипломатам приходилось иметь дело с изощренными профессионалами Форейн оффиса и кажущимися простаками из государственного департамента. Путеводной звездой для всех них была империалистическая политика «баланса сил», которую они пытались претворить в жизнь и в годы второй мировой войны. Однако все надежды возобладать над Советским Союзом в сфере дипломатии рухнули, разбившись о принципиальную и зрелую внешнюю политику Советского правительства. Отрадный урок второй мировой войны — все, что отстаивали Советские Вооруженные Силы, было закреплено за столом международных конференций. Как справедливо сказано о Потсдамской конференции глав правительств СССР, США и Англии: «Ее успеху содействовала благоприятная международная обстановка летом 1945 г. Советский Союз занимал прочные позиции в самой Германии, его Вооруженные Силы стояли в ее центре, на Эльбе. Через неделю после окончания Потсдамской конференции предстояло вступление Советского Союза в войну против Японии, в чем были весьма заинтересованы западные державы».

Рассматриваемый труд в целом носит обобщающий характер. В нем сведены воедино новейшие достижения советской исто-

риографии вопроса. Достоинства книги очевидны, и отнюдь не в последнюю очередь динамизм и композиционная соразмерность изложения. Избежав «флюсов», авторы сумели в то же время рационально распорядиться выделенными им печатными листами, равномерно и в соответствии с действительной значимостью раскрыв недостаточно исследованные проблемы, в первую очередь относящиеся к истории тыла в Великую Отечественную войну. Среди литературы по отечественной истории книга безусловно займет почетное место как образец квалифицированного, обобщающего исследования.

Книга, естественно, обращенная к прошлому, в то же время удивительно современна. «В единоборстве фашистской Герма-

нии и Советского Союза, принявшем острую форму классовой борьбы двух общественных систем,—подчеркивается в заключении,—наиболее реакционные и воинствующие силы империализма потерпели сокрушительное поражение. Отсюда вытекает и такой важный урок: любая попытка мировой реакции силой оружия уничтожить Страну Советов ведет к военно-политическому и классовому поражению империализма». Вывод этот опирается на положение В. И. Ленина: «Наша социалистическая республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами». Актуальность этих слов непреходяща.

Н. ЯКОВЛЕВ,

доктор исторических наук.



НТР В МИРЕ КАПИТАЛА

В. И. Громека. Научно-техническая революция и современный капитализм.
М. Политгиздат. 1976. 278 стр.

Пожалуй, ни одно из явлений общественной жизни последних лет не вызвало такого количества разноречивых суждений, домыслов, предположений, теорий, концепций, как научно-техническая революция.

Мы помним, например, концепцию так называемого технотронного общества, выдвигавшуюся помощником нынешнего президента США профессором Колумбийского университета Збигневом Бжезинским. Помним и не менее модные в свое время концепции «постиндустриального», «нового индустриального» общества, принадлежащие американским ученым Г. Кану, Д. Беллу, Р. Арону.

Суть этих теорий при всей терминологической пестроте, в сущности, одна: апологетическая защита буржуазного строя, где научно-техническая революция выдается за союзницу капитализма, якобы способную омолодить его дряхлость и послужить трамплином для прыжка в XXI век — «век всеобщего процветания».

Под воздействием научно-технической революции буржуазные философы и социологи начали приписывать капитализму такие качественные изменения, на которые он в корне неспособен по самой своей природе, в частности отход от стихийности в развитии экономики. «Американское общество,—писал З. Бжезинский,—выходит из

спонтанной фазы развития и вступает в более самоконтролируемую фазу; выходит из стадии индустриального общества и впервые становится первым технотронным. Это, по крайней мере, частично объясняет большинство случаев напряженности и беспорядков». Напомним, что эти мысли крупнейшего буржуазного теоретика были высказаны им в 1967 году.

В том же году в другой своей работе З. Бжезинский, характеризуя относительно благоприятную конъюнктуру, сопутствовавшую экономическому развитию США в 60-е годы, заявлял: «...последние годы... были свидетелями дальнейшего роста нашей страны. В эти годы наблюдалось все более широкое распространение на мировой арене американских технических знаний. Американский образ жизни, наш стиль, наши обычаи во все большей степени служат примером. Если есть сейчас в мире какое-то творческое, создающее общество, то это Соединенные Штаты — в том смысле, что все, часто не сознавая этого, подражают им».

Однако конкретные факты свидетельствуют о противоположном — о том, что «реализм» западных ученых оказался наголову разбит реализмом действительной, живой жизни.

Растущая безработица только в США

охватывает, по официальным данным, свыше 6 миллионов человек (по сведениям коалиции борьбы за предоставление работы — 12 миллионов). Инфляция так быстро съедает покупательную способность трудящихся, что правительство США вынуждено было объявить об увеличении числа живущих ниже официального уровня бедности на 2,5 миллиона человек. Новая цифра — 25,8 миллиона человек — составляет восьмую часть населения богатейшей капиталистической страны. Многие города подобно Нью-Йорку становятся банкротами, бегство жителей из таких городов принимает массовый характер. По данным официальных буржуазных источников, за последние десять лет стоимость предметов потребления увеличилась в США на 75 процентов, во Франции — в два раза, в Японии — в 2,3 раза. Рост цен на продукты питания и квартирную плату составил соответственно: в США 183 и 185 процентов, во Франции 223 и 215 процентов, в Японии 250 и 216 процентов... Таким образом, вместо предсказанного буржуазными теоретиками процветания и всеобщего благоденствия научно-техническая революция лишь усугубила кризис капиталистического общества.

Как известно, в конце XIX века начался период революционных открытий в естествознании. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин писал, что последовавший за этими открытиями «кризис физики» был вызван «крутой ломкой старых установившихся понятий». XX век ознаменовался качественным скачком в исследованиях микромира, апофеозом которых явилось использование энергии атомного ядра. Революция в естествознании заложила теоретический фундамент для грандиозных сдвигов в развитии современной техники. Овладение ядерной энергией, освоение космоса, внедрение электронно-вычислительной техники, развитие химии, автоматизация производства и другие крупнейшие достижения науки и техники преобразовали их взаимосвязь и общественные функции, привели к универсальному перевороту в структуре и динамике производительных сил.

Вызвав к жизни принципиально новые технологические процессы (получение электроэнергии на атомных станциях и многие другие), принципиально новые материалы (пластмассы и т. д.), обеспечив возможность широкой автоматизации про-

изводства и управления им, научно-техническая революция позволяет в невиданных ранее масштабах повысить производительность труда. Вместе с тем все более характерным стало и сокращение разрыва между научными открытиями и их практической реализацией. В. Громека приводит интересные факты: для использования телефонной связи, идея которой возникла примерно в 1820 году, понадобилось пятьдесят шесть лет. Тридцать пять лет прошло с того момента, когда возникла идея радио, до ее применения в жизнь. Сто двадцать лет понадобилось для того, чтобы на свет появилась фотография. А ныне: транзисторы были созданы за три года, солнечные батареи — за два...

Но... по образному сравнению руководителя американской «Мерк корпорейшн» А. Кношперса, многие крупные капиталистические корпорации напоминают автомобиль со сверхмощным двигателем, который едет на третьей скорости с включенным ручным тормозом. Руководитель корпорации объясняет это стремлением компаний, производящих в широких масштабах исследования и разработки, «создать самого различного рода финансовые и организационные барьеры с целью помешать чрезмерным успехам исследований» и нежеланием идти на «дорогостоящую реорганизацию и реориентацию их производственной и бытовой структуры». Особенно ярко тормозящая роль капитализма в научно-технической революции проявляется в тех случаях, когда корпорации, используя свои монопольные позиции на рынке, умышленно отказываются от осуществления уже имеющихся в их распоряжении изобретений, кладут патенты под сукно. Таким образом, они не дают возможности своим конкурентам применить запатентованное изобретение. Вот только один из многих приведенных в книге примеров. В США и в Англии в течение двадцати пяти лет разрабатывался турбинный двигатель для автомобилей, который содержит на 80 процентов меньше деталей, чем поршневой. К тому же новый двигатель почти не требует смазки, дает меньше выхлопных газов. К середине 60-х годов перспективность и преимущества такого двигателя стали очевидны. Однако английская монополия «Лейланд» и американские фирмы «Форд» и «Дженерал моторс» отказались от перехода на его массовое использование. Другая американская автомобильная корпора-

ция, «Крайслер», продолжала работу над новым двигателем. Но, втрое уступая по объему производства «Дженерал моторс», фирма «Крайслер» не решилась конкурировать с автомобильными гигантами, определяющими моду и, соответственно, спрос на рынке сбыта автомобилей.

Анализируя воздействие капиталистических производственных отношений на развитие научно-технической революции, на характер и особенности производительных сил в мире капитала, В. Громека обращает внимание читателей на несколько групп противоречий.

Несомненно прежде всего, что распространение до настоящего времени даже в наиболее развитых капиталистических странах лишь частичной автоматизации, частичной механизации, немалый удельный вес ручного труда объясняется тем, что для буржуазного предпринимателя применение новой техники целесообразно лишь в том случае, если она позволяет увеличить прибыль. В противном случае новая техника, даже если она существенно улучшает условия труда людей или повышает его производительность, не представляет для капиталиста никакой ценности. В результате ограничиваются потенциальные рамки применения достижений современной науки как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Точно так же безразличие капитала к потребительной стоимости товара как таковой, использование механизма государственного бюджета и налогов с целью переложить на плечи трудящихся затраты на осуществление научно-технических проектов, гарантирование властями рынка сбыта для определенного вида продукции (в частности, в области вооружения) наряду с политическими мотивами привели к тому, что типичной для капитализма формой использования научно-технического потенциала стала милитаризация экономики, науки и техники.

С указанной группой противоречий неразрывно связана и другая. Ее источник — в прямом, непосредственном воздействии капиталистических производственных отношений на социально-экономические последствия развития производительных сил: монополизация производства, конкурентная борьба, расстановка классовых сил в той или иной стране, рост безработицы и т. д. Наконец, хотя научно-техническая революция развивается неравномерно как в промышленно развитых капиталистических

государствах, так и — особенно — в странах «третьего мира», она представляет собой явление глобальное. Следствием ее является усиление и усложнение противоречий не только внутри капиталистических стран, но и в отношениях между ними.

Все эти противоречия, как убедительно показывает автор рецензируемой книги, привели к тому, что научно-техническая революция вопреки предсказаниям буржуазных теоретиков не только не стала панацеей от всех бед, потрясающих в наши дни мир капитала, но и усугубила его социально-экономический кризис. Факты, приведенные в работе В. Громеки, еще раз свидетельствуют, что один из главных мифов, созданных реформистами и буржуазными идеологами, миф о том, будто современный капитализм способен избавиться от кризисов, опровергнут самой историей. Все обещания «оздоровить» капитализм и создать в его рамках «общество всеобщего благоденствия» потерпели очевидный провал.

Да и о каком «всеобщем благоденствии» может идти речь? Достижения НТР крупные монополии сплошь и рядом используют для изыскания все более утонченных форм эксплуатации людей. Даже для тех из них, будь то «синие» или «белые воротнички», кто имеет постоянную работу и относительный достаток, характерны постоянная неудовлетворенность условиями своего труда, стрессовые перегрузки, возрастающая отчужденность от общества, в котором они «благоденствуют».

Известный французский социолог Дж. Фридман рассказывал о гестах, проводившихся на бельгийском заводе точных приборов с целью выявить наиболее толковых, сообразительных работников. Исследование, казалось бы, в высшей степени полезное... Но, увы, проводилось оно отнюдь не для того, чтобы продвинуть талантливых людей по службе или прибавить им зарплату, а для того, чтобы их... уволить. Руководители фирмы придерживаются мнения: думать на конвейере вредно. Такова логика капиталистической эксплуатации.

«Вот что рассказывает о своих обязанностях «специализированный», то есть полу-квалифицированный рабочий завода «Рено» в Мансе: «Я делаю одно и то же движение 3500 раз в день. Я знаю, что буду делать это завтра, через шесть месяцев, через десять лет. Когда я возвращаюсь домой, меня

уже ничто не интересует, даже телевизор. Я не переношу малейших криков моих детей. Нервы мои истощены до предела».

Однако, может быть, научно-техническая революция в капиталистических странах приводит к значительным изменениям в отраслевой и профессиональной структуре рабочей силы и к важным переменам в уровне квалификации людей? Несомненно, такая тенденция существует, но она не столь значительна, как представляется на первый взгляд. Например, среди промышленных, строительных и транспортных рабочих США квалифицированные рабочие составляли в 1970 году 36,5 процента, полуквалифицированные — 50,3 процента, неквалифицированные — 13,2 процента. В 1975 году эти цифры соответственно выглядели так: 40, 46 и 14 процентов. По прогнозам же на 1980 год, число квалифицированных рабочих в указанных отраслях уменьшится до 39,2 процента, полуквалифицированных возрастет до 49,5 процента, а количество неквалифицированных работников составит 11,3 процента.

К тому же нужно учесть, что хотя на автоматизированных участках производства физические нагрузки сокращаются, зато резко возрастает нервное и психическое перенапряжение. Ответственность за выполняемые обязанности может вызвать удовлетворение лишь в том случае, когда она связана с инициативой, со знанием технологии производства. Между тем, как отмечают буржуазные исследователи, рабочий на автоматизированном производстве, не знакомый с сутью дела, не понимая устройства сложнейшего оборудования, на котором работает, ощущает все большую ответственность за его исправность, испытывает все большие нервные перегрузки.

Стремление бизнесменов к увеличению

прибыли ведет к дальнейшему росту интенсификации труда и поискам новых методов ее усиления. На одном из американских заводов, например, автоматическая система «Телеконтроль» следит за действиями ста машин и сообщает о ходе операций звуковыми и световыми сигналами через каждые 36 секунд. Если на одной из машин рабочий трудится не в том темпе, который ему предписан, об этом немедленно узнает оператор и сообщает мастеру.

Буржуазным философам ныне все труднее становится открыто апологетически восхвалять капиталистический способ производства. Небывало обострилось противоречие между растущим обобществлением производства, отражающим объективные законы развития современной экономики, и частнокапиталистическими методами ведения ее. Усиливается разрыв между гигантскими возможностями современной науки и техники и узкими рамками их использования в условиях капитализма. Государственно-монополистические меры не могут разрешить этих противоречий, каждый раз возникающих на более высоком уровне и с новой остротой. Наряду с неспособностью капитализма решить проблемы, связанные с голодом, нищетой, материальной необеспеченностью сотен миллионов тружеников, загрязненностью среды обитания, все более явно обнаруживается не только идейный, культурный, но и экономический, научно-технический кризис буржуазного общества.

«...только в условиях социализма,— подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС,— научно-техническая революция обретает верное, отвечающее интересам человека и общества направление».

Ю. РЫТОВ.



ВЕКТОР ЛИЧНОСТИ

Георгий Федоров. Дневная поверхность. М. «Детская литература». 1977. 287 стр.

Средоточием жизни нашей экспедиции был костер. Его разжигали после ужина, и когда он начинал прочное и самостоятельное бытие, высвечивая стены палаток, обступивших «вечевую площадь» лагеря, вокруг огня постепенно собирались все. Последним из своей палатки обычно выходил начальник экспедиции доктор

исторических наук Г. Федоров и усаживался на легкий брезентовый стульчик. О чем только не говорилось и не пелось на этих ежевечерних «огневых ассамблеях»... Но «на закуску», перед отбоем, обязательно был какой-нибудь рассказ шефа — о людях, с которыми ему довелось встречаться на жизненных и экспедиционных путях, о

самых невероятных случаях на раскопках, о буднях и праздниках единственно существовавшей тогда для нас науки — археологии.

Потом мы обсуждали эти рассказы, уже облаченные в «машинописные одежды», шумно и с бесцеремонной безапелляционностью. Но название будущей книги — а мы не сомневались, что появление ее лишь вопрос времени, — было утверждено всеми сразу же и безоговорочно: «Дневная поверхность».

Для археологических отчетов и публикаций это словосочетание всего лишь термин, означающий конкретный горизонт культурного слоя, который когда-то был на поверхности, освещался солнцем. Но разве можно забыть, что это реальная почва той жизни, которая, создав историю, растворилась в ней? Да, на полевые планшеты заносятся только материальные знаки истории — осколки керамики, наконечники стрел и копий, следы очагов, остатки стен жилищ и крепостей: наука безразлична к эмоциям, ей важен только результат. Но разве может этот результат не зависеть от духовного богатства и душевного настроения той жизни, которая, всецело отдав себя изысканиям, как бы растворилась в них?

Один из героев книги Г. Федорова — старый археолог профессор Помонис (повесть «Статуэтка из Танагры»). За вымышленным именем угадывается реальный прототип — крупный ученый, первооткрыватель и исследователь одной из тех «территорий» науки, без которой сейчас не мыслима ни одна археологическая карта Европы самых общих масштабов. Жизнь Помониса с обыденно-житейской точки зрения выглядит как непрерывные взлеты и падения. Но что такое взлет и что есть падение? Бывший помещик, уважаемый профессор вдруг становится нищим. Но это нищий, раздавший свое состояние умирающим с голода соотечественникам и учредивший на свои деньги несколько университетских стипендий для детей бедняков. Издатель чрезвычайно популярной газеты, он вдруг в один день остается без работы и каких-либо средств к существованию. Но газету закрыли за его статью, направленную против фашизма, начавшего поднимать голову в этой придунайской стране. Без гроша в кармане, он становится бродячим цирковым артистом — то ассистентом-мишенью, то дрессировщиком обезьян. Но именно здесь он находит любимого человека, вме-

сте с которым позже с оружием в руках сражается в антифашистском Сопротивлении.

Судьба Помониса в изложении Г. Федорова читается как притча, где биографический сюжет — всего лишь сонетной жесткости каркас для обобщающей мысли... Да, годы меняют характер и личные привязанности, вкусы и взгляды на те или иные явления действительности. Человек не может жить не развиваясь. Но в какой-то момент, как бы говорит Г. Федоров биографией своего героя, в характере человека появляется нечто неизменяемое, некий «вектор личности», определяющий в конечном счете ее судьбу, ее смысл существования, ее ценность. Ненавязчиво, всей своей художественной тканью повесть убеждает нас в том, что и конкретные научные достижения, и научный итог жизни исследователя неотделимы от высокого благородства, душевной щедрости, интеллектуального гуманизма... И не было поэтому никаких взлетов и падений — эти обывательски здравые меры отсчета не совместимы с настоящим человеческим бытием, — но была полнокровная, с абсолютной самоотдачей прожитая жизнь, где «в каждой капле спал потоп, сквозь малый камень прорастали горы».

Именно эта мысль объединяет повесть-притчу с остальными произведениями книги. Автор меньше всего заботится о популяризации археологических знаний. «Дневная поверхность» написана в первую очередь для того, чтобы читатель задумался о той связи времен, что соединяет человечество во времени и пространстве, осознал эту связь как личную необходимость и закономерность своего существования. Разве «дневная поверхность» всего лишь термин исторической науки? А наш вчерашний день? Поступок, который уже совершен? Слово, кому-то сказанное нами? Разве их можно выкинуть из биографии всего человечества? Да, нет нужды доказывать, что человечество было бы другим, если бы не было Трои и «Одиссеи». Но вспомним, разве в нашей жизни не случались свои трои и одиссеи, без которых ее история была бы иной? А наш сегодняшний день? Разве не его дневная поверхность определяет вектор нашей завтрашней жизни? Действительно ли так уж незначительна жизнь каждого из нас, чтобы не нести ответственность за весь ход истории?

В новелле «Аллея под кленами» расска-

зывается о докторе Гаазе. В Москве его называли «святой доктор». Он был тюремным врачом и всю свою жизнь посвятил облегчению участи заключенных в царских тюрьмах. Для него не существовало различия между делами «великими» и «малыми». Долгие годы, например, он потратил на то, чтобы добиться отмены жестокого правила этапировать ссыльных в Сибирь в кандалах. Федор Петрович Гааз умер в 1853 году. Но вот диво дивное! — не может сдержать восклицания автор: могила Гааза на Введенском кладбище всегда убрана живыми цветами и, словно только что выбитая, горит надпись «Спешите делать добро»...

Этот рассказ — а он тоже родился у экспедиционного костра — я не услышал в экспедиции, прочел только в книге. И вот почему.

...Костер по неумолимому полевому закону гасили в половине одиннадцатого. Ровно в одиннадцать повариха наша Митриевна была в кастрюлю, после чего всякое хождение и разговоры строго пресекались. Но в один из полнолунных вечеров нам, экспедиционной молодежи, показалось слишком тесным это время, ограниченное отбоем. Мы тайком сразу же после ужина ушли на городище, где вели раскопки, и устроили весьма шумную «автономию». А когда не-

задолго до подъема мы столь же тайно пробирались к своим палаткам, то увидели начальника экспедиции, одиноко и неподвижно сидящего на стульчике около черного холодного кострища. Он ни словом, ни жестом не остановил наши крадущиеся тени, но шмыгнуть под спасительный брезент палатки не смог никто. Мы сели вокруг пепла — он чернел на светлеющей земле, как бездонный провал во времени и пространстве. А когда молчание стало невыносимым, Георгий Борисович сказал:

— Вы украли у себя один экспедиционный костер. Сегодня я хотел познакомить вас с удивительным человеком. Но отныне на дневной поверхности сегодняшней нашей жизни будут только вот эти угли...

К счастью, рассказ о докторе Гаазе, знакомству с которым мы предпочли какие-то давно забытые пустяки, Г. Федоров включил в свою книгу. Но ведь мы, сами того не желая, более чем на десять лет отдалили себя от этого замечательного человека.

...Не украдите у себя своего прошлого, как бы говорит книга Г. Федорова, чтобы не было на его поверхности холодного черного пепелища незажженного костра, когда его осветит солнце памяти.

В. ЛЕВИН.



ПРЕСТУПНОСТЬ — НЕДУГ ВНУТРЕННИЙ

Эдвин М. Шур. Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности в Америке. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1977. 326 стр.

Профессор Э. Шур принадлежит к тому направлению современной буржуазной криминологии, которое можно назвать либерально-критическим. Представители этого направления «безжалостно» вскрывают язвы капитализма, однако лишь для того, чтобы вслед затем заявлять, что они отнюдь не смертельны, и подсказать методы их врачевания. В первом отношении они, по словам В. И. Ленина, дают «приблизительно правдивую картину» действительного положения вещей. Во втором же отношении все, что они пишут, остается, разумеется, «на буржуазной точке зрения».

Это в полной мере относится к самым что ни на есть «радикальным» буржуазным теориям. Как бы критически ни осмысливали такие теоретики факты буржуазной действительности, их цель неизменно — не столько разоблачение, сколько от-

стаивание капитализма. Положение не меняется и тогда, когда они, как наш автор, видят в преступности «цену, которую общество платит за то, что его социальная структура построена определенным образом». Они и в этих случаях далеки от революционных выводов, потому что вместо них в их головах иллюзии некой другой «структуры». В условиях современной научно-технической революции это может быть либо «новое индустриальное», либо «техническое», либо «технотронное» общество, в котором якобы происходит всеобщий рост изобилия, увеличивается досуг, «гармонизируются» классовые отношения и «затухает» классовая борьба. Нарисовав поистине удручающую картину всеобщего распространения в американском обществе лжи и обмана, Э. Шур вместе с тем высказывает уверенность в том, что «сущест-

венное сокращение наиболее очевидных форм лжи могло бы — вполне в границах жизнеспособного капитализма — привести к большому уменьшению институционализированного поощрения обмана». В этой затейливой формулировке с полной ясностью выражена мысль, что задача подавления преступности или, во всяком случае, ее существенной и наиболее «буржуазной» части не столь уж сложна: стоит только заменить нынешний нежизнеспособный капитализм «жизнеспособным».

Буржуазная мысль никогда не выходит за пределы того, что известный американский либерал Дж. Гелбрейт саркастически — и очень удачно — именует «приличной мудростью». «Приличная мудрость, — пишет он, — существует на всех уровнях изощренности. В общественных науках на самом высоком уровне учености некоторая новизна формулировки или определения не вызывает возражений. Напротив, очень ценится умение выразить старую мысль в новой форме и весьма приветствуются малые ереси. И сама горячность дискуссии по второстепенным вопросам дает возможность исключить как не относящееся к делу и без риска показаться отставшим от науки или провинциальным любое покушение на структуру как таковую».

При чтении книг, подобных рецензируемой, советскому читателю приходится проделывать своего рода научно-исследовательскую работу: отделять факты, образующие картину, от их авторского истолкования и авторских выводов из них. Так, расшифровывая «радикальное» наименование книги, Э. Шур видит преступность американского общества в том, что оно неравноправно, участвует в массовых насилиях за рубежом, что среди его ценностей есть такие, которые порождают преступность, что оно при подходе к проблемам преступности руководствуется нереальными и недейственными принципами и т. д. Похоже на то, что именно в этом Э. Шур усматривает источник особой криминогенности американского образа жизни, породившего только в 1975 году более 11 миллионов одних только «серьезных» преступлений. Между тем неравноправность американского общества, его насильственная природа, его криминогенная ценностная ориентация — все это, в свою очередь, порождается дальнейшими, более глубинными явлениями, относящимися не

к сучкам или ветвям, а к самому стволу и корням капиталистического древа. Это особенно высокий в США уровень концентрации, централизации и монополизации производства и капитала, особенно высокий уровень государственно-монополистического развития капитализма в этой стране и в то же время вытекающие из цикличности развития производства низкие темпы экономического роста, рост длительности и углубление экономических кризисов. В этом плане можно было бы упомянуть и о некоторых других характерных чертах американского капитализма, содействующих возникновению «особой» американской преступности, но поскольку все рассуждения автора о причинах преступности развертываются на совершенно другом уровне, в этом, наверное, нет смысла.

И все же при всем том нельзя не заметить, что среди малых ересей буржуазной криминологии книга Э. Шура, как и переведенная у нас недавно книга Р. Кларка «Преступность в США», представляет собой «большую ересь». Автор развивает ее в целом ряде направлений. С одной стороны, он резко выступает против манипулирования социально острой проблемой преступности в целях политической спекуляции, как это на протяжении ряда последних лет происходит в Америке.

Лет десять назад, например, в период избирательной кампании 1968 года, когда проблема преступности, если брать ее количественную сторону, была примерно в два раза «легче», чем сегодня, американские политики пытались одновременно и использовать ее в качестве козыря в предвыборной игре, и «расправиться» с нею с помощью легковесной политической риторики, разумеется соответствующим образом «стратегически ориентированной». К этому времени относятся заявления избирательной платформы республиканцев о необходимости «восстановить в стране уважение к законам и восстановить законы, которые заслуживали бы уважения», и призывы тогдашнего республиканского кандидата в президенты Р. Никсона покончить с мягкотельным попустительством и «вооружить полицию такими законами, которые ей нужны». Заявления такого рода должны были служить дымовой завесой для практических шагов в сторону усиления репрессивной борьбы со всякого рода «подрывными элементами», беспокоящими истеблишмент. Поэтому понадобилось вы-

жесть впечатляющее клеймо преступности на всех выступлениях протеста, чтобы вслед затем открыть ураганный огонь по подготовленному таким образом объекту нападок.

Нет, утверждал тогда республиканский кандидат, виновны не только радикалы, которые подкладывают бомбы. Кровь на руках у всех, кто поощряет их, кто безрассудно твердит о революции, кто добродушно порицает экстремистское насилие, намекая в то же время на то, что оно применяется ради правого дела. «Надо понять,— говорил Р. Никсон,— что если, как оказалось, этим делом является дело мира, никакие протесты во имя мира не оправдывают насилия, не оправдывают обструкций ораторам, не оправдывают беззакония или действий какого бы то ни было рода».

Показывая действительную цель таких заявлений и призывов, Э. Шур пишет, что «беззаконие стало удобным словом для порицания различных действий, которые следовало бы во многих отношениях различать. Уличный разбой, проявление гражданского неповиновения против войны и призыва в армию, крупные гражданские беспорядки, за последние годы потрясшие американские города, убийства государственных и общественных деятелей, таких, как Джон Ф. Кеннеди, Мартин Лютер Кинг и Роберт Кеннеди, студенческие движения в кампусах в пользу университетской реформы, изменение представлений в области половой морали и даже решения Верховного суда, направленные к охране процессуальных прав подсудимых и подозреваемых,— все это свалено в одну кучу и обобщено в том смысле, что, взятое вместе, оно означает все шире распространяющийся в нашем обществе упадок авторитета права».

Сегодня, когда преступность приобрела в США поистине грандиозные масштабы, политиканство в отношении этой проблемы выходит из моды. Обжегшись на преступности в 60-х — начале 70-х годов, политики теперь все меньше говорят о ней (скрытая хитрость «открытого общества!»). Быть может, они надеются, что избиратели уже не помнят их недавних обещаний с помощью «заслуживающих уважения» законов взять преступность под контроль и поставить на колени преступников. Видимо допуская такую возможность, автор подчеркивает, что преступность в Америке

очень высока, значительно выше, чем это «допустимо», и что ее фактические размеры значительно превышают те, что фиксируются официальной статистикой.

С другой стороны, хотя автор, разумеется, не стремится (и не в силах) обнаружить истинные, коренные причины преступности в Америке, он в то же время высоко приподнимает завесу над существенными «условиями», порождающими это явление, существенными настолько, что мысль читателя получает достаточный материал, чтобы самостоятельно продолжить начатую автором работу...

Каковы же, в самом деле, по мнению автора, эти «условия»? Это, по ходу чтения книги, разрыв между идеальным и реальным (стр. 18), неуправляемость молодежи, распространение наркомании, существование крайней нищеты в богатом обществе, погоня за долларом любыми средствами (стр. 41), рост городов (стр. 54), неумное применение законов (стр. 59), жесткие структурные барьеры, мешающие вертикальному социальному движению (стр. 73), расовая дискриминация (стр. 78), наличие социальных влияний всякого рода, способствующих развитию преступных наклонностей у молодежи (стр. 102), в частности влияние средств массовой коммуникации, напоминающих «низшим классам», что «личные достоинства измеряются имеющимися у человека деньгами и материальными ценностями» (стр. 124). Можно было бы привести и другие высказывания Э. Шура на эту тему, но все они клонятся к одному и тому же: необходимо покончить с ложным представлением о том, что преступность существует вне общества, что она есть нечто, что происходит в отношении общества, что преступники — находящиеся вне общества его недруги и что общество ведет войну с преступностью как с внешним врагом; пора понять, что преступность существует внутри общества как его составная часть и что борьба с нею есть, так сказать, сфера его не «внешней», а внутренней политики.

Здесь автор вплотную подходит к более общим и более содержательным формулировкам — и частично переходит к ним. «Главное внимание в борьбе с преступностью,— излагает Э. Шур свой социолого-криминологический символ веры,— должно быть отвлечено от вопросов применения законов (и даже воздействия на преступников) и сосредоточено на общих усилиях

по предупреждению и надзору. Основой же этих усилий должна быть не работа с потенциальными преступниками, а прямые действия в отношении благоприятствующих преступности социальных условий». Он подчеркивает, что преступные наклонности не наследуются и не изобретаются, они усваиваются путем обучения, и преступность нельзя понять без анализа ее связей с общепринятыми социальными ценностями и происходящими в обществе процессами. Более того, именно за социальной структурой общества автор признает решающую роль и в возникновении проблемы преступности, и в создании возможностей для достижения успеха законными средствами и методами. И наконец, весьма решительно на заключительной странице: «Цель превращения нашего общества в менее преступное может в конечном счете стать социальной реальностью лишь в случае, если мы действительно готовы принять на себя необходимое обязательство — направить наши усилия непосредственно на социальные и правовые источники американской преступности».

Автор, как мы видели, верит в то, что может существовать «жизнеспособный капитализм», которому под силу это сделать. Блаженны верующие! Ну а что же делать пока? Для этого «пока» автор намечает вполне добропорядочную реформистскую линию борьбы с преступностью. Он предлагает произвести существенное переключение энергии и средств, идущих на борьбу с преступностью, из различных специализированных программ в области применения законодательства и репрессивных мер в фундаментальные долговременные программы, направленные на устранение общих социально-экономических недугов американского общества.

Книга Э. Шура переведена живым, литературным языком и читается легко и с интересом. Однако со стороны общей и терминологической точности перевод оставляет желать лучшего. Поэтому, приводя выдержки из книги «Наше преступное общество», мы в ряде случаев переводили соответствующие места заново. Так, на странице 29 слова «street mugging» оригинала выглядят в переводе как «уличная перебранка». В действительности речь

здесь идет (переводчик мог бы убедиться в этом, заглянув хотя бы в словарь Вебстера) об одном из видов разбойного нападения, когда преступник, подкравшись к жертве сзади, захватывает ее шею в сгиб руки и душит ее на манер гарроты с целью овладения ее имуществом. Далее в этом же плане обращает на себя внимание и таблица, отражающая картину преступности в США в 1967 году (стр. 48). Подобные таблицы не раз публиковались у нас в продуманном переводе на русский язык, однако переводчик решил предложить свой вариант — и потерпел неудачу. «Случайное и преднамеренное убийство» вместо «умышленного» неправомерно хотя бы потому, что «случайное убийство» вообще не есть убийство и не учитывается американской статистикой, которая, как знают специалисты, на федеральном уровне отражает даже не все неосторожные убийства. «Ограбление» неправомерно потому, что, с одной стороны, это слово есть описание события, а не обозначение состава преступления грабежа; с другой — американское уголовное право вообще не знает состава грабежа, и американское «robbery» есть русское «разбойное нападение». Наконец, «угон автомашин» неоправданно потому, что «auto theft» есть похищение автомобилей (stealing), которое по соображениям простоты учета включает в себя также их угон («unlawful taking»); предложенный вариант перевода неосновательно преобразует составную часть в целое, а заодно легко делает то, что никак не удастся всей полицейской рати Америки: одним махом ликвидирует весьма распространенное (более миллиона в 1975 году) серьезное и специфически американское преступление — похищение автомобилей.

В целом издание книги профессора Э. Шура в русском переводе — дело весьма полезное. Не решая проблемы американской преступности — она и не могла решить ее, — эта книга реалистически описывает ее, и в результате одна из острых социальных проблем современной Америки встает перед нами во весь свой рост.

Б. НИКИФОРОВ,
профессор.



КОРОТКО О КНИГАХ



ПАРТИЯ И АРМИЯ. Под общей редакцией генерала армии А. А. Епишева. М. Политиздат. 1977. 382 стр.

В этой книге семь глав, в которых в хронологической последовательности рассказывается об организации боевых сил пролетарской революции, о создании в нашей стране армии принципиально нового типа — армии Страны Советов, о ее всемерном укреплении в годы мирного социалистического строительства, об исторической победе Советских Вооруженных Сил над фашистскими полчищами, о реорганизации и техническом перевооружении армии и флота в послевоенный период, о строительстве Вооруженных Сил, верного стража завоеваний Октября и международной безопасности, в условиях развитого социализма, о военной организации социалистических государств. И в каждой из глав красной нитью прослеживается созидательная, руководящая и направляющая роль Коммунистической партии, ее ленинского ЦК в организации и строительстве Советской Армии и Флота.

«Всякая революция,— учил Владимир Ильич Ленин, — лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...» Ленинское положение о том, что защита социалистического отечества, отвоёванного рабочим классом и трудящимся крестьянством у капиталистов и помещиков, является их священной обязанностью, находит свое дальнейшее творческое развитие во многих партийных и государственных документах.

Видное место в книге занимает четвертая глава, названная «КПСС — организатор победы в годы Великой Отечественной войны». Победа в этой войне ярко продемонстрировала силу и сплоченность первого в мире социалистического государства, еще раз подчеркнула единство всех членов братской семьи народов Советского Союза и доказала, что Советская Армия, первая в мире подлинно народная армия, крепка и непобедима. И именно партия, партия коммунистов, организовывала и сплачивала десятки миллионов людей, в первых рядах всюду, на фронте и в тылу, были коммунисты.

«Здесь уместно будет вспомнить, что на фронтах Великой Отечественной войны пали смертью храбрых три миллиона ком-

мунистов,— пишет в своих воспоминаниях, опубликованных в февральском номере «Нового мира», Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.— И пять миллионов советских патриотов пополнили ряды партии в годы войны. «Хочу идти в бой коммунистом!» — эти ставшие легендарными слова я слышал едва ли не перед каждым сражением, и тем чаще, чем тяжелее были бои. Какие льготы мог получить человек, какие права могла предоставить ему партия накануне смертельной схватки? Только одну привилегию, только одно право, только одну обязанность — первым подняться в атаку, первым рвануться навстречу огню.

Вопросы военного строительства постоянно стояли в центре внимания партии, ее Центрального Комитета и в послевоенный период. Постановление октябрьского (1957) Пленума ЦК КПСС «Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Флоте», постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте» от 21 января 1967 года — в этих и других партийных документах намечался ряд важнейших практических мер по укреплению боевой мощи нашей армии, совершенствованию ленинских принципов партийного руководства Вооруженными Силами, всемерному улучшению партийно-политической работы с учетом сложной международной обстановки, коренных изменений в организации и вооружении войск.

Необходимость дальнейшего укрепления Советских Вооруженных Сил подчеркнута в документах XXV съезда КПСС. «Ни у кого не должно быть сомнений и в том,— сказал в Отчетном докладе ЦК Л. И. Брежнев,— что наша партия будет делать все, чтобы славные Вооруженные Силы Советского Союза и впредь располагали всеми необходимыми средствами для выполнения своей ответственной задачи — быть стражем мирного труда советского народа, оплотом всеобщего мира».

В условиях развитого социалистического общества Советская Армия опирается на нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции, воспитывается в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Незыблемой основой ее

строительства и высокой боеспособности является руководство Коммунистической партии.

Георгий Степанидин.



ДЕКРЕТЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ. Авторы-составители Ю. А. Ахажкин и М. П. Ирошников. Лениздат. 1977. 143 стр.

«Простому рабочему и крестьянину,— говорил В. И. Ленин на XI съезде партии,— мы свои представления о политике сразу давали в форме декретов. В результате было завоевание того громадного доверия, которое мы имели и имеем в народных массах». В первые месяцы революции в Смольном иногда принималось по 10—12 декретов одновременно; они были одной из форм пропаганды программы и практических действий большевистской партии.

Под термином «декрет» тогда понимались не только те документы, в названии которых присутствовало это слово, но и постановления, декларации, манифесты, положения, указы, инструкции, изданные Всероссийскими съездами Советов, Совнаркомом и ВЦИК, а также отдельными наркоматами. Рецензируемая книга рассказывает о 60 важнейших декретах, обнародованных с 25 октября (7 ноября) 1917 года (обращение «К гражданам России») до 10 июля 1918 года (принятие первой Конституции РСФСР).

От каждой страницы книги веет дыханием революционной эпохи, которое воссоздадут ленинские автографы, броские, словно сошедшие с афишных тумб и газетных полос фотокопии декретов, иллюстрируемые яркими плакатами и рисунками (художник Л. Яценко), и удачно подобранные комментарии, в качестве которых используются выдержки из речей и статей Ленина и его соратников, письма и телеграммы, адресованные главе Советского правительства, воспоминания участников событий, произведения писателей. Обращение II Всероссийского съезда Советов к рабочим, крестьянам и солдатам о победе революции и тут же отрывок из репортажа Джона Рида; Декрет о мире и рядом восторженный отклик Альберта Риса Вильямса: «Еще не сформированное по-настоящему правительство... обращалось ко всей планете со своими мирными предложениями». На многих страницах строки из стихотворений Маяковского, Блока, Демьяна Бедного.

Такая по характеру и обстоятельности книга-альбом, посвященная первым законодательным актам Советского государства, выпущена у нас впервые, и цель, которую поставили перед собой авторы,— показать титаническую деятельность первого Советского правительства во главе с В. И. Лениным в политической, экономической, военной и культурной областях в первые восемь месяцев революции — несомненно достигнута. Очень важно, что книга обращена отнюдь не только в прошлое: от декретов

Великого Октября в ней протянуты незримые нити в нашу нынешнюю действительность. Как ленинским Декретом о мире, принятым 26 октября 1917 года, мы обращались «ко всей планете со своими мирными предложениями», так и сегодня внимание всего человечества приковано к новым инициативам Советского правительства о разоружении. От Декрета о мире, от «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятой в январе 1918 года, и Конституции РСФСР 1918 года до Конституции развитого социализма, принятой в октябре 1977 года, отчетливо прослеживается забота Советского государства о людях, о незабываемых, надежно гарантированных великих политических и социальных правах советского человека, таких правах, какие никогда не сможет предоставить трудящимся ни одно капиталистическое государство.

Идеологам капитализма нечего противопоставить подлинно демократическим правам советских людей, и они пускаются во все тяжкие, чтобы очернить, оклеветать положения нашей Конституции. Даже в той ее статье, где говорится о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии, они усматривают некую «диктатуру партии», «ущемление прав» советских людей. В докладе о проекте Конституции на внеочередной сессии Верховного Совета СССР 4 октября 1977 года Леонид Ильич Брежнев дал достойную отповедь подобным «критикам». «Пытаться противопоставить партию и народ друг другу, рассуждать о «диктатуре партии»,— сказал он,— это всё равно, что пытаться противопоставить, скажем, сердце всему остальному человеческому организму».

Мыслью о нерушимом единстве партии и народа проникнуты публицистические статьи авторов рецензируемого издания (обращение к читателям и вступления к каждому разделу), об этом единстве красноречиво свидетельствуют все документы книги-альбома «Декреты Великого Октября».

Б. Исаев.



ОРУЖИЕМ СЛОВА. Военно-патриотическая тема в советской литературе. Сборник статей. Составители: В. Косолапов, Л. Лазарев, В. Пискунов. М. «Художественная литература». 1978. 415 стр.

В 1939 году во время боев с японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол в газете «Героическая красноармейская» работала большая группа писателей, впервые увидевших Красную Армию в бою. Среди них были В. Ставский, Л. Славин, К. Симонов, Б. Лапин, З. Хацривия и другие. В одной из статей сборника — «В предгрозовые годы» — бывший редактор этой газеты Д. Ортенберг, вспоминая те дни, пишет: «Красная Армия увидела в бою и

своих литераторов. И не ошиблась в них. Они оказались достойными своей армии».

В годы Великой Отечественной войны сотни советских писателей стали сотрудниками армейской печати. Используя свое испытанное оружие — пламенное большевистское слово, они вдохновляли бойцов на подвиги во имя Родины. Это было закономерно, ибо между советскими писателями, советской литературой и нашей армией всегда существовали прочные, неразрывные связи, а военная тема стала для многих литераторов главной в их творчестве.

«Военно-патриотическая тема в советской литературе» — такой подзаголовок и стоит на титульном листе литературно-критического сборника «Оружием слова», изданного к шестидесятилетию Советских Вооруженных Сил. Подобные сборники, в том числе и в издательстве «Художественная литература», выпускались и раньше («Живая память поколений» в 1965 году, например, или «Литература великого подвига» — два выпуска, в 1970 и 1975 годах). Отличительная особенность данной книги в том, что она ставит своей задачей показать, какое отражение в советской художественной литературе нашла вся героическая шестидесятилетняя история армии и флота — от гражданской войны до наших дней. При этом составители сборника использовали разнообразные литературно-критические жанры: читатель найдет здесь и обзорные статьи, и литературные портреты, и воспоминания, и ответы на вопросы анкеты, проведенной редакцией журнала «Вопросы литературы».

В короткой рецензии невозможно рассказать о всех материалах сборника. Объединяет их одна мысль: литература, в которой воин, защитник социалистического отечества, стал одним из главных героев, не только стражует историю нашего народа, ее наиболее сложные и драматические периоды, но и служит той благородной цели, о которой говорил в своем докладе на XXV съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев: «Утверждение в сознании трудящихся, прежде всего молодого поколения, идей советского патриотизма и социалистического интернационализма, гордости за Страну Советов, за нашу Родину, готовности встать на защиту завоеваний социализма было и остается одной из важнейших задач партии».

Наглядное представление о том, как наша литература помогала и помогает партии в выполнении этой задачи, дают такие обзорные статьи сборника, как «Армия и литература» В. Косолапова, «Бессмертный подвиг народа и наша литература» Л. Якименко, «Этих дней не смолкнет слава...» В. Пискунова. Анализируя произведения, посвященные гражданской и Великой Отечественной войнам, авторы этих статей прослеживают, как развивался в художественной литературе образ воина — советского человека, сражавшегося за свободу и независимость Родины, как усилиями писателей создавалась художественная летопись великого подвига армии и народа.

С интересом читаются статьи, посвященные военной теме в творчестве отдельных писателей, в особенности статьи А. Кондратовича «Петь привыкший на войне...» (об А. Твардовском) и А. Когана «Верность времени, верность теме» (о К. Симонове). В них речь идет не только о характерных чертах творчества писателей, с большой художественной силой нарисовавших картину великих боевых подвигов народа, но и о подвиге самих писателей, которые сумели глубоко и правдиво показать советского человека, защищающего страну от захватчиков. Речь идет о писателях, которые сами плечом к плечу с героями будущих книг сражались с врагом.

Особо следует сказать о том внимании, которое уделено в сборнике произведениям о сегодняшнем дне Советской Армии. За последние годы появилось немало книг о жизни армии и флота, о наших современниках в военных шинелях. Естественно, что книги эти различны по своим художественным достоинствам, по глубине проникновения в тему. Требуется большое мастерство, чтобы нарисовать образы солдат и офицеров 70-х годов, которых многое отличает не только от воинов времен Великой Отечественной войны, но и от тех, кто составлял костяк армии в 50-х и 60-х годах. За последние десятилетия в нашей стране произошли такие изменения в социальной и культурной жизни, последствия научно-технической революции были столь значительны, что это не могло не сказаться на облике воина.

Произведения, посвященные сегодняшнему дню наших Вооруженных Сил, требуют постоянного внимания критики. Однако, как справедливо замечает Владимир Жуков в статье «Воины семидесятых», «наша серьезная критика долгие годы обходила стороной произведения об армии и флоте, они существовали как бы особняком, не вовлекались в общий поток современной литературы». За последние годы кое-что для исправления положения сделано, но предстоит сделать гораздо больше. Определенным вкладом в этом направлении является и помещенная в сборнике статья «Наш современник в солдатской шинели» Б. Сапунова.

Можно было бы упрекнуть составителей сборника в том, что они относительно мало места уделили творчеству поэтов, пишущих на военные темы, и почти совсем обошли вниманием драматургов. С другой стороны, трудно требовать, чтобы в одной книге были равно охвачены все жанры литературы. Надо надеяться, что традиция издания литературно-критических сборников, посвященных военно-патриотической теме, будет продолжена и в них найдет отражение все многообразное творчество литераторов, пишущих о воинах наших славных Вооруженных Сил.

В. Бродер,
подполковник запаса.



М. ПЕВЗНЕР. Высокое звание — писатель. М. «Знание». 1977. 80 стр.

Трудно писать о том, к чему сам причастен. Сознание этого создает некоторую неловкость в изложении собственных впечатлений. Но что ж поделать: издана книжка «Высокое звание — писатель», книжка малая по объему, но очень емкая по содержанию, а кроме того, интересная, нужная, рассказывающая о московских домах на улице Воровского, 50 и 52. Это дома Союза советских писателей, связанные невидимыми нитями с Молдавией и Сахалином, с Киевом, Якутском, Карагандой — со всеми уголками нашей необъятной родины, с тысячами людей, целиком отдавших себя трудному и почетному делу писателя.

В нашей стране около восьми тысяч писателей. Но самый большой отряд писательский — москвичи. Когда началась Великая Отечественная война, московские писатели приняли резолюцию, которая началась словами: «Писатели нашей страны считают себя мобилизованными на фронт...» В тот день, закрывая митинг, Александр Фадеев сказал, выступая перед московскими писателями: «Многие из нас будут сражаться с оружием в руках, многие — пером, а точнее, и тем и другим, потому что война эта не на жизнь, а на смерть, война эта — с фашизмом». Литераторы-москвичи с честью оправдали эти слова, вписав яркую страницу подвигов в летопись Великой Отечественной войны.

В брошюре М. Певзнера приводится только одно из сотен писем писателей-москвичей с фронта. Жаль, что одно письмо, ибо писем было много, и жаль, что здесь можно дать только небольшую выдержку из этого письма:

«Я как есть — черный от грязи, заросший щетиной — сижу в зарослях кукурузы... Зачитываются рекомендации. Что это за удивительные рекомендации: в них есть целые описания боев, в которых я участвовал... Я вступил в партию в тот момент, когда все соединение находится в окружении, т. е. накануне решающего смертельного боя для меня и моих товарищей. На душе у меня удивительно спокойно и хорошо...»

Предсмертное, неоконченное, залитое кровью письмо, орден и военный билет убитого советского командира, лежавшего в кукурузном поле, нашел и переслал в Москву, в Союз писателей крестьянин деревни Богодуховка Полтавской области. Из этого письма и документов стали известны подробности последних дней и последних часов героической жизни и смерти московского писателя Юрия Крымова, автора известной повести «Ганкер «Дербент».

Брошюра рассказывает о ста писателях-москвичах, воевавших в одной только 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения.

Писательское ополчение было создано ввиду грозной опасности, нависшей над Москвой. А вообще-то не было ни одного писателя-москвича, не принимавшего так или иначе участия в войне, в обороне столицы.

В Центральном доме литераторов на мемориальной доске запечатлено в мраморе 81 имя писателей-москвичей, погибших в Великой Отечественной войне. Из писателей, ушедших на фронт, не вернулся какой третий.

По одному только перечню глав можно судить о том, как обширен тематический диапазон брошюры. Вот названия некоторых разделов и глав: «От Второго к Шестому съезду писателей СССР», «Как устроен Союз писателей СССР», «Писательский формуляр страны», «Писатель на трибуне», «Литературные газеты и журналы», «В писательских клубах», «Охрана авторских прав», «До 700 зарубежных гостей в год», «Учитель, воспитай ученика!»...

Автор сумел выбрать наиболее значительные объекты деятельности писательской организации, и его работа «Высокое звание — писатель» читается с неослабевающим интересом.

Марк Ефетов.



Ц. СОЛОДАРЬ. Дикая полянь. М. «Советская Россия». 1977. 285 стр.

Книга видного советского писателя и журналиста Цезаря Солодаря начинается с воспоминаний о детстве.

Родной город автора — дореволюционная Винница. Как кровавый шрам на лице города проклятая «черта оседлости», учрежденная царизмом для подавления еврейской бедноты. Родная улица, прозванная Иерусалимкой, но какие разные люди ее обитатели! С одной стороны, это «набитый золотом» крупный акционер сахарозаводческих компаний и хлеботорговец Львович, с другой — те светлые и замечательные люди (и их большинство), которых В. И. Ленин в одной из статей, направленной против антисемитизма, назвал «нашими братьями по угнетению капиталом, нашими товарищами по борьбе за социализм».

Первый «взрослый» друг Ц. Солодаря — неунывающий работника портной Хаим Пекер. Львович и Пекер. Что же могло, кроме принадлежности к одной национальности, объединять столь разных людей? Не удивительно, что вскоре они неизбежно должны были встать по разные стороны баррикад. Львович и подобные ему еврейские толстосумы, к стати очень мало пострадавшие во время погромов, в 1918 году приняли программу сионистской организации «Цейре-Цион», где декларировалось: «Социализм стоит сионизму поперек дороги. Сионизм и социализм не только два полюса взаимоотталкивающиеся, но два элемента, друг друга совершенно исключающие». А Пекера ход истории привел к революционерам — русским, украинцам, белорусам, евреям и другим, которые поклялись: «Мы наш, мы новый мир построим...» — мир социализма, мир братства трудящихся всех народов.

В годы, когда кровавый фашизм принес неисчислимые страдания всем народам мира, перед автором будущей книги встала чу-

довишняя картина предательских акций сионистов против евреев, связей сионистской верхушки с нацистскими разведывательными учреждениями.

После создания Израиля правители этого государства, высокопоставленные сионисты, прикрываясь велеречивыми фразами о «земле предков», развернули широкую кампанию по привлечению иммигрантов в Израиль. Особый упор они делают на граждан социалистических стран, прежде всего на советских граждан. К сожалению, некоторые люди поддались на посулы сионистов. Ныне они дорого платят за свою ошибку. За короткое время пребывания в сионистском государстве они стали непримиримыми врагами еврейского буржуазного национализма. Вырвавшись из Израиля, «творцы собственного несчастья», как их справедливо называет Ц. Солодарь, бедствуют в венских или римских лагерях для перемещенных лиц. Автор имел многочисленные встречи с этими людьми, которые покинули свою родину... Покинули? Нет, предали ее! Они презрели слова, некогда сказанные нашим замечательным писателем Львом Абрамовичем Кассилем: «Для тех, кто воспитан советским строем, не может быть никакой второй родины. У советского человека может быть только одна родина».

По-человечески сочувствуя их несчастью, мы вместе с тем не можем не согласиться с горькими, но искренними словами автора о том, что чужбина этих людей «началась с черной неблагодарности братской семье советских народов... с непростительного забвения того, что по-матерински сделала для них родная земля». Люди, выросшие в условиях дружбы народов, самого гуманного социального строя, не могут мириться с условиями жизни в Израиле — с шовинизмом, милитаризмом, коррупцией, полным безразличием властей к культурным чаяниям народа.

Но есть и другой Израиль. Будущее этой страны в израильских коммунистах, в демократах, в тех людях, которые, несмотря на репрессии, приходят в помещение Общества израильско-советской дружбы на улице Ахад-Гаама, 70, выступая тем самым за дружбу между нашими народами. Сионизм же заводит в тупик, из которого нет и не может быть выхода, — таков главный, закономерный и справедливый итог этой книги. Ц. Солодарь сумел ярко показать всю реакционную сущность сионизма, его злобный антисоветизм.

Автор удачно приводит замечательные слова еврейского писателя-демократа Ицхока Лейбуша Переца, не утратившие своего значения и сейчас: «Мы не хотим выпустить из рук общечеловеческое знамя и не хотим сеять ни шовинистическую дикую полын, ни фанатический терновник тунейдской философии. Мы хотим, чтобы еврей чувствовал себя человеком, чтобы он участвовал во всем человеческом, имел человеческие стремления...»

Общечеловеческое знамя, а не дикая полын шовинизма.

Я. Кудряшов.



Р. КИРЕЕВ. *Посещение*. Повести. М. «Советский писатель». 1977. 359 стр.

В книге Руслана Киреева три повести («Посещение», «Приговор», «Черная суббота»), объединенных не только «сквозными» персонажами, но и внутренне, проблемно. Писатель размышляет о трудностях нравственного выбора, о жизни перед лицом смерти, о связи поколений и ответственности перед будущим; о жизни, что правильна, но расщеплена, механична, и о жизни со страстью, увлечением, как сердце велит...

«Уменье жить» — что это значит? Речь идет о главном уменье: чтобы не обстоятельства человеком управляли, не жесткий свод прописных правил постоянно давил, а чтобы в любых условиях оставался человек самим собой, не сбиваясь с курса, сохраняя достоинство.

Смысл позиции Р. Киреева, как мне кажется, можно сформулировать следующим образом: надо беречь заложенный в каждого природой дар воспринимать жизнь во всей ее полноте и многообразии, не подавлять в себе добрые порывы души, верить им. Писателю удается избежать плоской назидательности и плакатного нарочитого пафоса. Его персонажи — фигуры пластические, объемные. Их запоминаешь, за ними видишь определенные социальные явления.

Очень принципиальной женщиной считала себя всю жизнь мама Риммы Владимировны (повесть «Черная суббота»). Сказала, что не пустит мужа ночевать, если он еще хоть раз придет пьяным домой, — и не пустила. Он, правда, простудился и вскоре умер, но угрызений совести женщина не почувствовала — отпор пьянству был дан и принципы соблюдены. И Римму мама воспитала в неустанном повторении того, что счастье — в труде, в сознании исполненного долга, в чистоте девичьей чести. Так Римма и жила: принципиально не заботилась о внешности, трудилась, старалась быть справедливой к подчиненным, доброй к дочери, верной мужу. Даже после того, как он шесть лет назад ушел к другой... Холодным, ироничным взглядом фиксировала она «мужские приемчики» обольщения тех, кто пытался за ней ухаживать. Но... многое из этого оказалось обидным и оскорбительным самообольщением: не умеет она быть женственной и обаятельной, не умеет ни сама быть счастливой, ни сделать счастливым другого. И вот тогда ей стало невмоготу от своего гордого одиночества.

Аристарх Иванович (повесть «Приговор») тоже жаждет жизни, которая могла бы стать примером для его сына. Он понимает, как надо было бы жить, мучается собственной беспринципностью, примиренчеством с подлощами и пошлостью, а сделать с собой ничего не может. Сумеет ли он начать жить так, как считает нужным? Сомнительно. Но если и начнет,

останется таким же рефлектирующим, колеблющимся без конца, несчастным. В нем не развилась, подавилась живая душа с ее естественными порывами, способностью увлечься, ошибаться, зарабатывать шишки, извлекать из этого свой смысл и радоваться жизни. И он мучительно завидует... кому бы вы думали? Смертельно больному, еле таскающему ноги дяде Паше Сомову (повесть «Посещение»).

Даже просто вставая с кровати, дяде Паше приходится «беречь как зеницу ока дыхание — короткое поверхностное дыхание, которое лишь касается дырявых легких». Последняя стадия туберкулеза — эхо фронтовых невзгод. Но оберегает свое дыхание дядя Паша не для того, чтобы выклянчить у судьбы лишний день жизни. Нет, чтобы прожить оставшееся в своем стиле, не унижаясь даже перед смертью.

Не был дядя Паша в жизни каким-то особым героем, хотя войну прошел не хуже других. И выпить с приятелями был не прочь, и в бильярдной пропадад, и за женщинами любил поухаживать. Но все делал со страстью, от души. Поэтому, наверное, к нему, немощному и неказистому на вид, женщины тянулись, поэтому шоферы-таксисты целое чествование своего бывшего диспетчера и коллеги устроили, стоило дяде Паше, вырвавшись из больницы, появиться в парке. Поэтому, надо полагать, и чувствует он себя, стоя одной ногой в могиле, «бесовестно счастливым» среди своих близких — жены, сына, бывшей возлюбленной. И этому веришь, в этом не чувствуешь авторского преувеличения.

Повестям Киреева присущи психологическая убедительность в раскрытии духовных исканий основных героев (особенно удачной мне представляется повесть «Посещение»), выразительно прописанный второй план. Проходных, незапоминающихся персонажей в книге почти нет. У каждого свое лицо, свой «кураж», своя смысловая нагрузка. А какие непохожие и выразительные старухи встречаются в каждой из трех повестей!

И все-таки один упрек мне хотелось бы сделать. Повесть «Приговор» выглядит незавершенной, несколько «смазанной» по мысли. И не в том, разумеется, дело, что напряженно развивавшийся сюжет оказывается неожиданно оборванным, так что мы не знаем, окажется ли Аристарх Иванович способным переломить жизнь, отказаться от дармовых, нечестных пятерок и трешек, от подкупа нужных людей и заискивания перед дядей Федей. Иногда читателя полезно оставить в неведении. Смущает многозначительная, но оставляющая в полном недоумении последняя сцена повести, в которой «прикрытая Лизинкой кофтой настольная лампа освещала нежным розовым светом прекрасное лицо ребенка». То, что мы узнали из повести об этом уже большом мальчике (трусливый, ленивый, расположенный к доносам и т. д.), не позволяет увидеть в его лице, даже освещенном розовым светом, символ какого бы то ни было разрешения подня-

тых в повести острейших жизненных проблем. Эта ненатуральная нота тем досаднее, что другие повести завершаются довольно умело — немного неожиданно, но сильно — и поэтому запоминаются.

Г. Петрова.



СТРАНИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ. XX ВЕК. Переводы Мориса Ваксмахера. М. «Художественная литература». 1976. 237 стр.

Морис Ваксмахер назвал свою книгу «Страницы европейской поэзии. XX век» и представил на суд читателей не панораму, претендующую на исчерпывающий охват всех важнейших аспектов многоголовой, вернее — бесчисленноголовой поэзии XX века Европы, а свое прочтение ее, свое видение ее пути, ее корней, ее движения. Прочтение пристрастное, влюбленное и строгое. В книге М. Ваксмахера предстает картина живая и одновременно точно выстроенная. В ней явственно предстают не только отдельные поэты, но их взаимосвязи, нити, протянувшиеся в нашем веке между поэзиями различных стран. Переводы Ваксмахера воссоздают не только неповторимость отдельного стихотворения — в них оживает сама поэтическая стихия, эхо, звучащее между вершинами европейских литератур XX века: Элюаром и Мачадо, Рицсом и Максимович, Сен-Жон Персом и Арагоном, Брехтом и Превьером. Две основные ипостаси европейской лирики предстают на страницах сборника. Восходящая к Брехту традиция открытой гражданственности, свободно соединяющая гротеск, сарказм и лиризм в своем песенном строе, сегодня звучит в строках французского шансонье Жака Бреля, заставляет вспомнить бельгийских поэтов Жео Норжа и Давида Шайнерта. И философская лирика, где абсолютные понятия ставятся в один ряд с фиксацией тончайших движений души, насыщенная и перенасыщенная ассоциациями, где философские категории вечны, как приметы пейзажа. Такова лирика крупнейшего поэта Греции Янниса Рицоса, сплетающая отголоски древнейших мифов и голоса сегодняшних стадионов, символика вырастает в ней из необычайно плотной и осязаемой картины мира; такова поэзия и классика испанской литературы XX века Антонио Мачадо, многозначность которой неотделима от пластичной описательности; таков стихотворный язык югославской поэтессы Десанки Максимович. Они все могли бы повторить слова Рене Шара: «Между миром и мной больше нет досадной завесы» («Листки Гипноса») — это путь, пройденный большинством поэтов XX века. Строка, написанная Шаром в годы Сопротивления, стала камертоном всей книги.

Особо хочется сказать о французском разделе сборника, которому отдано почти

две трети объема, это как бы книга в книге. Страницы поэзии Франции, представляющие два десятка поэтов от Аполлинера до Бреля, можно назвать эскизом антологии современной французской поэзии, которую давно ждут советские читатели. Переводы французских поэтов Мориса Ваксмахера давно и широко известны: вошедшие в книгу стихи представляют голоса французских поэтов XX века во всей сложности и неоднозначности их творческих поисков. На первый план выходит поэзия, созданная в годы Сопротивления—звездного часа французской литературы XX века, годы расцвета и перелома в творчестве художников самых различных направлений—Элюара, Реверди, Арагона, Кейроля, Понжа, Шара, Сегерса. Дебютировавшее в подпольных изданиях поколение поэтов, таких, как Френо, Гильвик, Боске, сейчас наиболее активно работает в поэзии. Строки «Листков Гипноса» Рене Шара, Жюля Сюпервьеля или Сен-Жон Перса одухотворены одним чувством прорыва сквозь кристаллическую решетку зашифрованного стиха к поэзии, равной действию. Представлена в сборнике и философская лирика, насыщенная реальными приметамы бытия, легко вводящая в лирическую ткань абстрактные категории и символы. На этом пути были созданы шедевры французской поэзии. Стихи Руссело, Гильвика, Сегерса, Френо и Шара при всей их несхожести объединяет подчиненность движения строки развитию мысли, чаще всего не скованной метрикой, широта проблематики, жесткая графичность рисунка, ассоциативность образного строя.

Работы Мориса Ваксмахера отличает то изящество и сдержанность, то «неприсутствие» переводчика, которые достижимы только при виртуозном владении всеми регистрами русского стиха. Нестесненное дыхание подлинника присутствует во всех переводах, представленных в книге.

Наталья Лузкова.



М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ. Миф. Л. «Наука». 104 стр.

Термин «актуальность» не столь уж часто применим к научным трудам, посвященным древности. Однако, помимо всех прочих положительных определений, книга известного советского ученого-скандинависта М. Стеблин-Каменского «Миф» заслуживает именно этой оценки. Актуальность работы определена и ее темой и подходом автора к ней. Теория мифа, на протяжении нашего столетия волновавшая не только историков и этнографов, но и представителей других наук (в частности, философов, психологов), как известно, в последние десятилетия стала краеугольным камнем в трудах многих западных исследователей литературы и языка.

В первой главе автор в сжатой форме излагает основные течения в разработке теории мифа. Обозревая их от античных толкований до структуральных концепций наших дней, М. Стеблин-Каменский отмечает, что значение мифологии в истории и художественном творчестве человечества может быть объективно и полно осознано лишь при комплексном научном подходе к вопросу. Одних только данных этнографии, лингвистики или археологии в отдельности мало, необходимо привлечение историко-философского диалектического метода. Попытки же обособить любую картину мифологии лишь с помощью какой-либо отдельной отрасли науки, утверждает ученый, привели и приводят многих западных исследователей к одностороннему, тенденциозному и подчас абсурдному пониманию не только древности, но и современности в языке, литературе и развитии общества в целом.

М. Стеблин-Каменский рассматривает миф как проявление общественного сознания на определенной ступени в истории человечества. В книге четко разграничивается понятие мифа, с одной стороны, и таких форм сознания и творчества, как религия, обряд, эпос, сказка,—с другой. Однако автор прослеживает и подчас тесную взаимосвязь этих понятий с мифотворчеством древних. Он критически анализирует теории, выработанные западными учеными XX века, в особенности психологами и психоневрологами Фрейдом и Юнгом, пытавшимися объяснить психическим подсознательным процессом не только жизнь отдельного человека или истоки литературных произведений, но и явления социальной жизни. В книге убедительно показывается, что подстановка мифа в форму сновидения или невроза в основу сознания современного человека беспочвенна именно вследствие оторванности этого метода от реальной среды, от мыслительно-психологического процесса, вызываемого в человеке условиями его общественного бытия.

Рассматривая труды зарубежных структуралистов, опирающихся на миф как на логическую структуру языка и мышления, автор вскрывает причины возникновения и распространения их необычайно узкого метода в западной литературоведении. Стремление заковать язык в жесткую схему структуры, пишет он, соответствует осознанию того, «что человек в чем-то подобен роботу». В этом проявилась общая дегуманизация современного буржуазного общества, обезличивание человека, растерянность ученых перед трудностями определения связей между духовным миром общества и новыми явлениями в его речевой стихии. Однако, объективно оценивая работу зарубежных ученых, М. Стеблин-Каменский отмечает и те отдельные черты их методологии, что позволяют более конкретно выявить психологическую структуру художественного текста.

Не менее глубоко разработан автором и вопрос о соотношении пространства и времени в мифологии. Так, он говорит, что

прерывность и конечность времени и пространства в сознании Древних заключали в себе противоречие, и метафизический круг, в котором происходит действие мифа, подтверждает это: в гибели мира или в смерти отдельного героя заключено их новое рождение. Именно это противоречие сделало мифологию столь притягательной для художников нового времени.

Трактуя роль личности в мифе, М. Стеблин-Каменский, как и в прежних своих книгах, опирается прежде всего на скандинавские источники («Старшая Эдда» и «Младшая Эдда»). Причем характеристики, которые он дает различным действующим лицам мифов, вполне оправданы содержанием этих источников. Однако думается, что исследователь, который обратится к вопросу о личности в мифе на основе древнего творчества других народов, сможет выдвинуть точку зрения, несколько отличающуюся от взглядов автора. В частности, в якутском «Олонхо» или в киргизском «Манасе» (то есть в памятниках

языческих времен) идеальность героя заметно отличается от этого понятия в эддических мифах.

У некоторых наших теоретиков литературы, занимающихся вопросами авторского метода, могут вызвать полемику и взгляды М. Стеблин-Каменского на типы авторства в мифе. Но эти страницы книги (как, впрочем, и вся она) тем и примечательны, что оставляют широкий простор для дальнейшей разработки другими исследователями множества общих и частных вопросов, затронутых автором.

Радует и язык книги, стиль изложения. Не упрощая сложных историко-литературных и философских проблем, М. Стеблин-Каменский написал свою работу в яркой, подчас метафорической и в то же время доступной форме. Это качество книги «Миф» делает ее достоянием не только специалистов, но и весьма широкого круга читателей.

Ст. Золотцев.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

А. Асмолов. Фронт в тылу вермахта. 320 стр. Цена 85 к.

Ф. Константинов и др. Основы марксистско-ленинской философии. Изд. 4-е, переработанное. 464 стр. Цена 1 р. 10 к.

З. Косидовский. Библийские сказания. Перевод с польского. 455 стр. Цена 1 р. 40 к.
П. Лепешинский. На рубеже двух веков. Воспоминания о встречах с В. И. Лениным. 24 стр. Цена 5 к.

Материалы XXV съезда КПСС. 256 стр. Цена 50 к.

Положение в области прав человека в США. Публикация Коммунистической партии США. Перевод с английского. 95 стр. Цена 25 к.

И. Фомин. Этой силы частица... (Повести о делах и людях партии). 215 стр. Цена 35 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Ахмадулина. Метель. Стихи. 102 стр. Цена 45 к.

Н. Бялосинская. Поздний свет. Стихи. 128 стр. Цена 35 к.

И. Бергасов. Останется с тобою навсегда... Роман. 302 стр. Цена 1 р. 3 к.

С. Данилов. Лиственница. Повести и рассказы. Перевод с якутского. 318 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Западот. От рукописи к печатной странице. О мастерстве редактора. 304 стр. Цена 1 р.

В. Илус. Проигрышное положение. Роман и рассказы. Перевод с эстонского. 375 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Каверин. Освещенные окна. Трилогия. 544 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Кешоков. Восход луны. Роман. 391 стр. Цена 1 р. 30 к.

Л. Лазарев. Это наша судьба. Заметки о литературе, посвященной Великой Отечественной войне. 288 стр. Цена 90 к.

Д. Мулдагалиев. Сель. Поэмы. Перевод с казахского. 119 стр. Цена 50 к.

П. Панченко. Крик сойки. Стихи. Перевод с белорусского. 142 стр. Цена 35 к.

И. Радволина. У одного костра. Портреты югославских писателей. 304 стр. Цена 80 к.

А. Розен. Прения сторон. Роман. 246 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Тарба. Белый конь. Стихи. Перевод с абхазского. 104 стр. Цена 35 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Гребнев. Зеленый колокол. Стихи и поэмы. 95 стр. Цена 30 к.

В. Лацис. О самом главном. Публицистика, письма, воспоминания. Перевод с латышского. 238 стр. Цена 75 к.

Пограничники. Сборник. Изд. 3-е. («Жизнь замечательных людей») 383 стр. Цена 1 р. 80 к.

«СОВРЕМЕННОК»

БАМ — стройка века. Публицистический сборник. Вып. 3. («Наш день») 202 стр. Цена 80 к.

Ю. Додолев. «Верю». («Новинки «Современника») 384 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Елегчев. Таяжники. Роман. («Новинки «Современника») 430 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Конечный. Начало конца комедии. Повести и рассказы. («Новинки «Современника») 367 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Конорев. Шмелиный мед. Рассказы и повесть. Предисловие Е. Носова. («Первая книга в столице») 254 стр. Цена 70 к.

В. Федоров. Женидьба Дон-Жуана. Ироническая поэма в 7-ми песнях. 223 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ф. Хусни. Любовь под звездами. Повесть. Перевод с татарского и предисловие Н. Богданова. 220 стр. Цена 1 р.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 22/II 1978 г. Объем 21 п. л. Подписано к печати 13/IV 1978 г.
А 10973. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 31,9 уч.-изд. л., 10,5 бум. л. (29,4 усл. печ. л.)
Тираж 270.000 экз. Зак. 666.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-6, Анри Барбюса, 51/2.
Зак. 01830.

Цена 70 коп.

70636